Судьба и грехи России
профессор Георгий Петрович Федотов

С.-Петербург, 22 апреля (5 мая) 1918 г.

Неслыханные страдания России едва дают решимость поднять пригнувшуюся голову и заглянуть вдаль. Но для тех, кто имеет мужество это сделать, за агонией России открывается катастрофа – уже всемирного значения. Одна из величайших сил, творящих историю наших дней, – социализм переживает время тяжкого кризиса, из которого он может выйти возрожденным или погибнуть, задавив под своими обломками европейскую культуру.

В России нет сейчас несчастнее людей, чем русские социалисты, – мы говорим о тех, для кого родина не пустой звук. Они несут на себе двойной крест: видеть родину истекающей кровью и идеалы свои поруганными и оскверненными в их мнимом торжестве.

И ко всему этому присоединяется сознание, что именно попытка реализации этих идеалов – повинна, в какой-то еще не подлежащей определению мере, в гибели России.

Мы целый год с невыразимой болью созерцали, как влачится в грязи красное знамя, как, во имя братства и справедливости, бушует ненависть, алчность и вожделение. Зверь не может досыта упиться кровью, животное – отвалиться от корыта с помоями.

Именем социализма трудящиеся массы отравлены ядом подлинно буржуазной, мещанской жадности. Кто думает ныне о труде и его святости? Кто знает, что социализм есть организация труда, а не общественных столовых? Кто помнит сейчас об «идее рабочего сословия»?

Многие думают всю вину возложить на Россию. Говорят, что здесь нет ни атома социализма, что нельзя смешивать пугачевщину с марксизмом.

Для культурного Запада не страшна будто бы зараза русских илотов. Социализм в Европе полон здоровых, созидательных сил. Все это верно лишь наполовину. Если Европа может четвертый год топить в крови с варварской'жестокостью себя и всю завещанную прошлым великую культуру, в борьбе за национальные цели ее народов, почему обманывать себя надеждой, что ее грядущие классовые войны будут менее жестоки и не погребут всех ценностей, которые пощадила война? Западный социализм давно уже серьезно болен. Энтузиазм его первых бурных лет сменился десятилетиями культурной борьбы, которые утешали Энгельса «красными щеками» пролетариата, а противников социализма – его безвредностью. Вынуто было жало ненависти, но с ним вместе горение

энтузиазма. Обнажился, во всей его скудости, «интерес» как единственный двигатель классовой борьбы. Дети и внуки революционеров с аппетитом уселись за чечевичную похлебку и готовились по счетам принять наследство буржуазного общества, со всеми наследственными долгами и тяжбами. Через душу пролетариата мещанство готовилось одержать последнюю победу: стать человечеством.

Война вскрыла этот кризис для тех, кто еще не видел его. Второй Интернационал погиб. Рабочие всюду заняли свои места в «империалистических» армиях, чтобы убивать друг друга, и если для многих в этот трагический момент впервые открылась ценность родины, то другие хладнокровно взвешивали барыши и убытки, которые несет с собой эта река крови. Уже империалистический социализм показывал миру свое страшное лицо.

Что сулит будущее? Война окончится, но вместе с нею исчезнет ли преграда непонимания и вражды, разделившая надвое мировой пролетариат? И если революция и политическое развитие поставят вчерашних «красных» вождей у кормила власти, кто поручится, что они не возобновят старые тяжбы из-за рынков, договоров, границ, которые они уже сделали своими, и не спустят снова на кровавые поля тех армий, в рядах которых они уже сражались?

Может быть, спасения ждать из Циммервальда? Но во имя Циммервальда в России вот уже целый год, как социалисты убивают друг друга, и две социалистические республики – Россия и Украина – находятся в состоянии войны. С одной стороны, внутренний мир, купленный ценой международных войн, с другой – гражданская война, возведенная в принцип и неминуемо становящаяся войной международной. Маркс знал, что революция ведет к войне, но он не знал, что к войне ведут разные понимания социализма.

Здесь обнажается со страшной силой, как мало единящих начал выработал современный социализм. На механике интересов и ненависти он построил надежды на свое торжество. Но ненависть обращается на самое себя, «революция пожирает своих детей». Интересы образуют причудливо скрещивающиеся круги, которые, вместо того чтобы расширяться от класса до человечества, все суживаются от группы к группе, чтобы прийти к оторвавшемуся от всякого социального тела хищнику: человек человеку волк.

Но мы верим и знаем: в социализме живет вечная правда, всего смысла которой он еще сам не постигает. Человечество должно воплотить в жизнь свое умопостигаемое братство. Лазарь должен сойти со своего

гноища, чтобы занять место рядом с облеченным в порфиру.

Бессмысленные и унизительные страдания, которые человек причиняет человеку, оскорбляя родимую землю, должны быть прекращены. Труд и радость должны облагородить всякую жизнь. Но каждый должен взять и свою меру страданий, страданий мысли, творчества и ответственности, стать причастником трагедии культуры, работником в искуплении человечества. Каждый своей дорогой – к одной цели, равные в своем неравенстве единящим духом любви – растущее единое тело единого духа, – таким мы видим грядущее человечество.

Сейчас оно у края бездны, но мы верим, что оно не может погибнуть, не осуществив своей вселенской миссии. Оно не может умереть, значит – оно будет жить. Социализм, который вел его к Царству Божию на земле, а привел к бездне, должен найти в себе силы для возрождения, для нового рождения.

Он должен найти новый камень вместо песка эгоизмов, на котором будет основана его Церковь. Новая мысль должна озарить сознание трудящихся, новая вера – зажечь сердца. В кровавом кошмаре наших дней пролетариат, потрясенный, но не сломленный, переживет свое обращение.

Нас мало, и глухая ночь кругом, но мы вышли искать новый путь. Наша слабость нас не пугает. Мы верим, что кругом нас, в темноте, не видя друг друга, тысячи одиноких искателей блуждают в поисках той же цели. Когда мы найдем друг друга, то найдется заветный путь... И занявшийся день застанет нас в бодром паломничестве.

Мы имущие, но еще не обретшие. У нас разные мысли, разные веры. Но мы не спорим, а ищем вместе. Голоса перекликаются во мраке, пусть разные слова слышатся в них, но дух один, одна перед нами цель. Дерзновенна эта цель, но время требует подвига: спасти- правду социализма правдой духа, и правдой социализма спасти мир.

Лицо России

У всякого народа есть родина, но только у нас – Россия. Недостаточно отвлеченно признать совместимость социализма с любовью к родине. Чтобы быть живой и действенной, любовь должна быть личной. Не «любовь к любви», а любовь к лицу. Любовь – как бы ни старались скрыть ее имя в холодных понятиях солидарности, чувства общения, социальной связи – есть начало, скрепляющее всякое общество. Без нее высвобождается хаос противоречивых стремлений групп и личностей, начинается процесс распада. Не механической силе и не проблематическому сознанию общих интересов (общий интерес – всегда софизм) растопить и сплавить в единство формы этническую материю. Государство чудится самым внешним и грубым из человеческих объединений. Но оно может жить лишь ценой общих и вольных жертв, как непрерывное горение костра, поддерживаемое валежником в лесу. Только любовь делает его возможным.

В начале войны у части русских социалистов проснулось сознание права на отечество как самостоятельную ценность. Теперь пора определить это все еще международное отечество как наше, как Россию.

Еще недавно это стоило бы многим из нас тяжких усилий. Мы не хотели поклониться России-царице, венчанной царской короной. Гипнотизировал политический лик России – самодержавной угнетательницы народов. Вместе с Владимиром Печериным проклинали мы Россию, с Марксом ненавидели ее. И она не вынесла этой ненависти.

Теперь мы стоим над ней, полные мучительной боли. Умерла ли она? Все ли жива еще? Или может воскреснуть? Приблизилась смерть, и, затененные ее крылом, мучительно близкими, навеки родными стали черты ее лица. Отвернувшиеся от царицы, мы возвращаемся к страдалице, к мученице, к распятой. Мы даем обет жить для ее воскресения, слить с ее образом все самые священные для нас идеалы.

Но прежде хочется отдать себе отчет в том, что мы нашли, что любим.

Трудно выразить лицо России, как все живое и все близкое. Легче говорить о лице Франции, условившись в неизбежной односторонности оценок. Но мы воздержимся от дерзкой характеристики России или души русского народа. Скажем просто и правдиво: что мы любим и как мы узнали о том, что любим.

Кто пил горькую чашу изгнания и жил с предчувствием, что долгие годы – быть может, целая жизнь – отделяют его от России, тот знает

острее всякого другого, что значит тоска по родине. Пусть мысль, в плену предрассудков, отвергала Россию, – самое суровое сердце билось живее при воспоминании о родине. Что ощущалось всего сильнее в образе родины? Ее природное, земное бытие: линии ландшафта и воздух родных полей или лесов. Пусть убогая, но милая, родина не могла быть вытеснена из души ни мягкостью и живописностью европейских урочищ, ни сладким обаянием юга: это было в крови, сильнее нас. И мы томились – кто по березам и соснам северных сторон – помните? «полюби эту вечность болот – навсегда безысходна их мощь», – кто по суровым просторам степей, по безбрежной Волге и дыханию восточных песков. И, может быть, всего ярче – как наваждение – овладевал душой призрак лета, зноя, истомы, золотых снопов и страдного труда – труд и обилие, как мечта сермяжной Руси, мечта Некрасова, связавшая народное и народническое в одной, не вымышленной, реальной красоте:

А в полях, в страду, как прежде, шумно,
И скрипят возы с поникшей рожью,
И под солнцем златоверхи гумна,
И вихриста пыль по придорожью.
М. Зенкевич

В родине впервые приоткрывается лицо России.

И теперь мучительно думать, как родные поля топчутся немецкой ратью, как родина отторгается от России, становясь иноземной страной, «заграницей», разрывая с кровью то, что в душе слитно и неразрывно.

На чужбине же мы начинали любить и раздражавшее прежде, казавшееся безвольным и бессмысленным начало народной стихии. Среди формальной строгости европейского быта, не хватало нам привычной простоты и доброты, удивительной мягкости и легкости человеческих отношений, которые возможны только в России. Здесь чужие в минутной встрече могут почувствовать себя близкими, здесь нет чужих, где каждый друг другу «дядя», «брат» или «отец». Родовые начала славянского быта глубоко срослись с христианской культурой сердца в земле, которую «всю исходил Христос», и в этой светлой человечности отношений, которую мы можем противопоставить рыцарской «куртуазности» Запада; наши величайшие люди сродни последнему мужику «темной» деревни.

Пусть ныне замутилась ненавистью эта человечность – мы знаем: страсть отбушует и лицо народа просветлеет, отражая «нерукотворный Лик».

Еще недавно мы верили, что Россия страшно бедна культурно, какое-то дикое, девственное поле. Нужно было, чтобы Толстой и Достоевский

сделались учителями человечества, чтобы алчные до экзотических впечатлений пилигримы потянулись с Запада изучать русскую красоту, быт, древность, музыку, и лишь тогда мы огляделись вокруг нас. И что же? Россия – не нищая, а насыщенная тысячелетней культурой страна – предстала взорам. Если бы сейчас она погибла безвозвратно, она уже врезала свой след в историю мира – великая среди великих, – не обещание, а зрелый плод. Попробуем ее осмыслить – и насколько беднее станет без нее культурное человечество.

Именно более глубокое погружение в источники западной культуры открыло для всех – еще не видевших – великолепную красоту русской культуры. Возвращаясь из Рима, мы впервые с дрожью восторга всматривались в колонны Казанского собора; средневековая Италия делала понятной Москву. Совсем недавно, после первой революции нашей, совершилось это чудо: воскрешение русской красоты, не сусальной, славянофильской, провинциальной, а строгой, вселенской и вечной. Мы не успели пересчитать наши церкви-музеи, описать старые города-сокровища, не успели собрать нашу живопись. Но сколько открытий уже сделано. Мы знаем, что в темной, презираемой иконе таилось живописное искусство дух захватывающей мощи. Война прервала в самом начале эту работу изучения. Мы к ней вернемся. Если Россия пала навеки – мы не верим в это, – тогда мы будем с лопатой в руке рыться в ее могилах, как на священной почве Греции, чтобы спасти для мира останки божественной красоты.

Культура творится в исторической жизни народа. Не может убогий, провинциальный исторический процесс создать высокой культуры. Надо понять, что позади нас не история города Глупова, а трагическая история великой страны, – ущербленная, изувеченная, но все же великая история. Эту историю предстоит написать заново.

Тяжелый социальный процесс слишком исключительно занял внимание наших историков, затенив его глубокое духовное содержание.

Лицо России не может открыться в одном поколении, современном нам. Оно в живой связи .всех отживших родов, как музыкальная мелодия в чередовании умирающих звуков. Падение, оскудение одной эпохи – пусть нашей эпохи – только гримаса, на мгновение исказившая прекрасное лицо, если будущее сомкнется с прошлым в живую цепь.

Как же ответим мы на вопрос: где лицо России?

Оно в золотых колосьях ее нив, в печальной глубине ее лесов.

Оно в кроткой мудрости души народной. Оно в звуках Глинки и Римского-Корсакова, в поэмах Пушкина, в эпопеях Толстого.

В сияющей новгородской иконе, в синих главах угличских церквей.

В «Слове о Полку Игореве» и в «Житии протопопа Аввакума».

Оно в природной языческой мудрости славянской песни, сказки и обряда.

В пышном блеске Киева, в буйных подвигах дружинных витязей, «боронивших Русь от поганых».

В труде и поте великоросса, поднимавшего лесную целину и вынесшего на своих плечах «тягло государево».

В воле Великого Новгорода и художественном подвиге его.

В одиноком, трудовом послушании и «умной» молитве отшельника-пахаря, пролагавшего в глухой чаще пути для христианской цивилизации.

В дикой воле казачества, раздвинувшего межи для крестьянской сохи до Тихого океана.

В гении Петра и нечеловеческом труде его, со всей семьей орлов восемнадцатого века, создавших из царства Московского державу Российскую.

В молчаливом и смиренном героизме русского солдата- мученика, убелившего своими кистями Европу и Азию ради прихоти своих владык, но и ради целости и силы родной земли.

Оно в бесчисленных мучениках, павших за свободу, от Радищева и декабристов до безымянных святых могил 23 марта 1917 года.

Оно везде вокруг нас, в настоящем и прошлом – скажем твердо: и в будущем.

В годину величайших всенародных унижений мы созерцаем образ нетленной красоты и древней славы: лицо России.

Пусть для других звучат насмешкой слова о ее славе. Пусть озлобленные маловеры ругаются над Россией как страной без будущего, без чести и самосознания. Мы знаем, мы помним. Она была Великая Россия. И она будет!

Но народ, в ужасных и непонятных ему страданиях, потерял память о России – *о* самом себе. Сейчас она живет лишь в нас, в немногих. В нас должно совершиться рождение будущей великой России.

Всякое рождение есть дело эроса. Вот почему мы призываем с напряженным восторгом вглядываться в лицо России и запечатлеть ее черты. Поведать всем забывшим о ее славе. Влить бодрость в малодушных, память в непомнящих, свет в темных.

Но всякое рождение есть воплощение. Как путь от духа к материи, это процесс мучительный. Мы должны облечь плотью великую душу России.

Плоть России есть та хозяйственно-политическая ткань, вне которой

нет бытия народного, нет и русской культуры. Плоть России есть государство русское.

Государство русское, всегда пугавшее нас своей жестокой тяжестью, ныне не существует. Мы помогли разбить его своею ненавистью или равнодушием. Тяжко будет искупление этой вины.

До сих пор мы все – и материалисты среди нас – работали над тем, чтобы одухотворить косное тело свободой, культурой, справедливостью.

Мы требовали от России самоотречения, возлагали на нее вериги и власяницу. И Россия мертва. Искупая грех аскетизма, мы должны отбросить брезгливость к телу, к материально-государственному процессу. Мы будем заново строить это тело до последней его клетки. Нет царя, нет власти, которой мы могли бы кинуть эту обузу национальной политики, оставив себе святость интернационалистического созерцания.

Нам придется сочетать национальное дело с общечеловеческим. Мир нуждается в России. Сказать ли? Мир, может быть, не в состоянии жить без России. Ее спасение есть дело всемирной культуры.

Едва ли многие отдают себе в настоящее время отчет, к чему нас обязывает эта задача. От многого придется отказаться, к многому приучиться.

Совлечь с себя ветхого человека, начать возрождение России с себя самих. Найти в себе силы делать все, чего потребует от нас спасение России, как бы тяжко это ни было старой, монашеской совести. Но от падения в омут и страстей будет спасать нас всегда хранимое, всегда любимое – небесная путеводительница – лицо России.

Мысли по поводу брестского мира

Теперь, когда мысль упорно ищет все самые отдаленные корни событий, приведших к гибели Россию, пусть не покажется надуманным предлагаемое сближение: славянская библия – и Брестский мир. Связь с прошлым бесконечно глубже, чем она мнится нашим современникам. Разрывая с отцами и верой отцов, чаще всего лишь по-новому утверждают эту веру.

Мы все еще недооцениваем силы духа, творящего историю. Слово облекается плотью, и самые коренные материальные изменения в быту и в мире могут являться отражениями «словесных» бурь или медленных раскрытий «слова». Иногда все «слово» данной культуры вмещается в одной книге. Есть культура одной книги. Христианское средневековье исходит из библии и ею почти исчерпывается. Отсюда огромное значение «евангелия в истории» именно как книги, как литературного факта.

В настоящих беглых строчках да будет мне позволено остановить внимание на тех культурно-исторических последствиях, которые имел или хотя бы мог иметь (мы осуждены здесь на гадания) литературный факт, зачинающий историю русской культуры: перевод греческой библии на славянский язык.

Мы привыкли видеть в этом факте исключительное счастье, редкий дар судьбы народу русскому. В то время как Запад внимал без разумения словам латинских молитв и целые столетия не умел закрепить на пергаменте материнской речи, наша литература своим рождением едва ли не упредила образование Киевского государства. С тех пор вот уже целые тысячелетия растет и крепнет русский язык в живом взаимодействии народно-русской и книжно-славянской речи. Мы богаче других народов оттенками для выражения тона речи. Нам доступна полная гамма звуков, от «подлых» до «высоких», еще Ломоносову открывших заложенные в нашем языке возможности «штилей». Поднимаясь от литературы к религиозной жизни, как не радоваться тому, что между словом Христа и душою народа никогда не стояло внешней преграды чужого языка, что христианизация Руси была глубже и полнее любой католической страны? Все это так. И, казалось бы, мы должны сделать еще одно отрадное наблюдение: если книжная культура слагается на языке, доступном для народа, не может быть глубокого отрыва интеллигенции от народа, национальная жизнь должна быть цельной и органичной.

Жизнь зло смеется над этим заключением и заставляет пересмотреть

его посылки. Надо отдать себе отчет в том, какою ценою мы заплатили за славянское слово.

Западное христианство – и не одно германское или кельтское, но и романское – оказалось обладателем сокровища, ключ к которому был запрятан глубоко в преданиях светской античной образованности. Может быть, библия есть единственная «книга». Но чтобы понять ее, нужно трудом и терпением преодолеть целые библиотеки книг. «Тривий» и «квадривий» – энциклопедия филологических и естественных знаний были пропедевтикой к царице наук – теологии. Но, раз овладев этим ключом – не только к библии, но и ко всей великой греко-романской цивилизации, – трудно было уберечься от обаяния ее мудрости и красоты.

Монастырские библиотеки хранят и множат тома Вергилия, Овидия, Горация. Несмотря на предостерегающие голоса ревнителей, «языческая» красота и истина освящалась латинским словом. Ибо латынь – священна, это язык Божий.

В сущности, в этом факте дана неизбежность «возрождения» классической древности, по отношению к которой средневековье было только односторонним ее переживанием. И мы .могли бы читать Гомера при Ярославичах,переписывать в суздальских лесах Софокла и Платона... Сперва повторять ученическими устами мудрые слова, потом, окрепнув, дерзнуть на творчество – на собственную мысль. Творчеством не скудна, конечно, Русь, но ее мысль – научно-философская мысль – спала веками, проспала Возрождение и очнулась так поздно, что между ее вещими, но смутными мечтами и наукой Запада выросла пропасть.

А между тем мы были ближе к источнику живой воды. Эллада ведь учительница Рима; а эллинизмом запечатлено наше христианское рождение. Наше невыполненное призвание было воскресить, когда исполнятся сроки, уснувших богов Греции и, просветляя их новой верой, начать воистину великолепный путь новой культуры.

Но, начавши с перевода нашу историю, мы сочли для себя излишним «эллинское суемудрие» и за то обречены были снова сделаться переводчиками при Петре, чтобы до сих пор пробавляться переводной немецкой подшивкой – при живом сознании и бесспорной наличности собственных творческих сил. Итак, славянская речь, то есть разрыв со вселенской мыслью, объясняет, так сказать, абсолютную нищету нашу. Но почему же она не искуплена демократическим равенством в культуре и как пришли мы к полному разрыву с народом?

Нужно сказать, что духовное народничество, то есть тяга к уравнительному распределению духовных благ, несомненно связано со

всем обликом нашей интеллигенции, которая сменила в деле учительства православного, не греко-кафолического, а славяно-российского священника. У нас не могло развиться гордого сознания латинян, что истина любит прикровенность, что кощунственно разоблачать мистерии, ибо не подобает бросать святыню псам. Но сея слово повсюду – при дороге и на камне, – мы не растили, не копили его, не умножали таланта. Только бы передать детям во всей чистоте «веру отеческую». Зато когда пришла пора и мы ужаснулись своей скудости, то, потерявши голову, принялись грабить нужное и ненужное чужое добро, в зрелом возрасте сели учиться азам, и с того рокового дня с каждым поколением выбрасываем, как ветошь, старое достояние, хотим переучиваться всему сначала, чувствуя себя голым Адамом в раю. Мог ли народ угнаться за нами в наших причудливых скитаниях и не ясно ли, что мы должны были потерять его из виду? Отсюда Брест.

Теперь мы догадываемся, что надо иметь что-нибудь, чтобы давать другим, что творчество предшествует просвещению и академия – школе. Что, преследуя чистые ценности культуры, мы в конце концов скорее приобщили бы к ней народ, чем начиная со служения народу.

Жалеть ли? Жалеть ли об извилистых и скорбных путях, которыми мы шли, завидовать ли мудрым латинянам, которые «из нужды сделали свою добродетель»?

Не станем. Это запрещает уважение к року, amor fati.

Россия стояла на распутье. И некто спросил у нее: хочешь ли владеть словом и быть землей Христа – или владеть знанием и быть государством? Она сделала свой выбор.

Три столицы

Старая тяжба между Москвой и Петербургом становится вновь одной из самых острых проблем русской истории. Революция – столь богатая парадоксами – разрубила ее по-славянофильски. Впрочем, сама проблема со времени Хомякова и Белинского успела изменить свой смысл. Речь идет уже не о самобытности и Европе, а о Востоке и Западе в русской истории. Кремль – не символ национальной святыни, а форпост угнетенных народов Азии. Этому сдвигу истории соответствует сдвиг сознания: евразийство расширяет и упраздняет старое славянофильство. Но другой член антитезы – западничество – и в поражении своем сохраняет старый смысл. Дряхлеющий, зарастающий травой, лишенный имени, Петербург духовно живет своим отрицанием новой Москвы. Россия забывает о его существовании, но он еще таит огромные запасы духовной силы. Он все еще мучительно болеет о России и решает ее загадку: более, чем когда-либо, она для него сфинкс. Если прибавить, что почти вся зарубежная Россия – лишь оторванные члены России петербургской, то становится ясным: Москва и Петербург – еще не изжитая тема. Революция ставит ее по-новому и бросает новый свет на историю двухвекового спора.

I

Как странно вспоминать теперь классические характеристики Петербурга из глубины николаевских годов: Петербург-чиновник, умеренно-либеральный, европейски просвещенный, внутренне черствый и пустой. Миллионы провинциалов, приезжающих на берега Невы обивать пороги министерских канцелярий, до самого конца смотрели так на Петербург. Оттого и не жалеют о нем: немецкое пятно на русской карге. Уже война начала его разрушение. Похерила ненавистный «бург», эвакуировала Эрмитаж, скомпрометировала немецкую науку. Город форменных вицмундиров, уютных василеостровских немцев, шикарных иностранцев революция слизнула его без остатка. Но тогда и слепому стало ясно, что не этим жил Петербург. Кто посетил его в страшные смертные годы 1918–1920, тот видел, как вечность проступает сквозь тление. Разом провалилось куда-то «чрево» столицы. Бесчисленные доходные кубы, навороченные бездарными архитекторами четырех упадочных царствований, – исчезли с глаз, превратились в руины, в пещерное жилье доисторических людей. В городе, осиянном небывалыми зорями, остались одни дворцы и призраки. Истлевающая золотом Венеция и даже вечный Рим бледнеют перед величием умирающего Петербурга.

Рим – Петербург! Рим опоясал Средиземное море кольцом греческих колонн, богов и мыслей. Рим наложил на южные народы легкие цепи латинских законов. Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа. Кто усомнится в том, что Захаров самобытнее строителей римских форумов и что русское слово, раскованное Пушкиным, несет миру весть благодатнее, чем флейты Горация и медные трубы Вергилия?

Русское слово расторгло свой тысячелетний плен и будет жить. Но Петербург умер и не воскреснет. В его идее есть нечто изначально безумное, предопределяющее его гибель. Римские боги не живут среди «топи блат»; железо кесарей несет смерть православному царству. Здесь совершилось чудовищное насилие над природой и духом. Титан восстал против земли и неба и повис в пространстве на гранитной скале. Но на чем скала? Не на мечте ли? Петербург вобрал все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и насильственное в душе России. Вне его осталась Русь, Москва, деревня, многострадальная земля, жена и мать, рождающая, согбенная в труде, неистощимая в слезах, не успевающая оплакивать детей своих, пожираемых титаном. Когда слезы все выплаканы, она послала ему проклятье. Бог услышал проклятье матери, «коня и всадника его ввергнул в море». При покорном безмолвии Руси что заполняет трагическим содержанием петербургский период? Борьба Империи с порожденной ею культурой, – еще резче: борьба Империи с Революцией. Это борьба отца с сыном, – и нетрудно узнать фамильные черты: тот же дух системы, «утопии», беспощадная последовательность, «западничество», отрыв от матери-земли. В революции слабее отцовские черты гуманизма, зато сильнее фанатические огоньки в глазах – отблески материнской веры, но, пожалуй, сильнее и тяга к ней, забытой, непонятной матери. Народничество – болезнь этой неутоленной сыновней любви. Отец не знает ни любви, ни тоски по ней. Он довольствуется законным обладанием. Размышляя об этой борьбе перед кумиром Фальконета, как не смутиться, не спросить себя: кто же здесь змей, кто змееборец? Царь ли сражает гидру революции, или революция сражает гидру царизма? Мы знаем земное лицо Петра – искаженное, дьявольское лицо, хранящее следы божественного замысла, столь легко восстанавливаемого искусством. Мы знаем лица революционеров – как лица архангелов, опаленные печалью. В жестокой схватке отца и сына стираются человеческие черты. Кажется, что не руки и ноги, а змеиные

кольца обвились и давят друг друга, и яд истекает из разверстых пастей.Когда начиналась битва, трудно было решить: где демон, где ангел? Когда она кончилась, на земле корчились два звериных трупа.

Империя умерла , разложившись в невыносимом зловонии. Революция утонула в крови и грязи. Теперь нет города в России, где не было бы Музея Революции. Это верный признак ее смерти: она на кладбище. Дворцы царей – тоже музеи. Да и вся Европа превратилась в сплошной музей русской Империи – или, что одно и то же, в ее кладбище. Когда ходишь по Зимнему дворцу, превращенному в Музей Революции, или по Петропавловской крепости, то начинаешь уже путать: чьи это памятники и чьи гробницы – цареубийц или царей?

Ужасный город, бесчеловечный город! Природа и культура соединились здесь для того, чтобы подвергать неслыханным пыткам человеческие души и тела, выжимая под тяжким давлением прессов эссенцию духа. Небо без солнца, промозглая жижа под ногами, каменные колодцы дворов среди дворцов и тюрем – дома-гробы, с перспективой трясины кладбища, – туберкулез и тиф, изможденные лица тюремных сидельцев... И закон жизни – считай минуты, секунды, беги, гори, колотись сердце, пока не замолчишь навсегда! Для пришельца из вольной России этот город казался адом. Он требовал отречения – от солнца, от земли, от радости. Умереть для счастья, чтобы родиться для творчества. Непримиримо враждебный всякому язычеству, невзирая на свои римские дворцы, он требовал жизни аскета и смерти мученика. Над каждым жильем поднимался дым от человеческих всесожжений. Если бы каждый дом здесь поведал все свое прошлое – хотя бы казенной мраморной доской, – прохожий был бы подавлен этой фабрикой мыслей, этим костром сердец. Только коренные петербуржцы – есть такая странная порода людей – умели как-то приспособиться к почве, создать быт, выработать защитный цвет души. Они острили над жизнью и смертью, уверенным мастерством заменяли кровь творчества шлифовальщики камней, снобы безукоризненного. Спасибо мэтрам неряшливой, распущенной России, но не ими оправдываются граниты Невы и камни Петропавловской крепости. Провинциалы, умиравшие здесь, лучше их слышали голос Петербурга.

Да, этот город торопился жить, точно чувствовал скудные пределы отмеренного ему времени. Два столетия жизни, одно столетие мысли, немногим более сроков человеческой жизни! За это столетие нужно было, наверстывая молчание тысячи лет, сказать миру слово России. Что же удивительного, если, рожденное в муках агонии, это слово было часто

горьким, болезненным? Аскетизм отречения Петербург простер до отречения от всех святынь: народа, России, Бога. Он не знал предела жертвы, и этот смертный грех искупил жертвенной смертью.

Россия приняла факел из его холодеющих рук. О, если бы он не потух на ветру ее степных дорог, не заглох под мерою косного, уютного быта, не разошелся на тысячи мелких свечечек!..

Что же может быть теперь Петербург для России? Не все его дворцы опустели, не везде потухла жизнь. Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями. Весь воздух здесь до такой степени надышаниспарениями человеческой мысли и творчества, что эта атмосфера не рассеивается целые десятилетия. Даже большевики, не останавливающиеся ни перед чем, не решились тронуть этих сокровищ из страха стен. Эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей, созерцателей. Вечные мысли родятся в тишине закатного часа. Город культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времени Прокла, – Петербург останется надолго обителью русской мысли.

Но выйдем из стен Академии на набережную. С Невы тянет влажный морской ветер – почти всегда западный ветер. Не одни наводнения несет он петровской столице, но и дух дальних странствий. Пройдитесь по последним линиямВасильевского острова или к устью Фонтанки, на Лоцманский островок, – и вы увидите просвет моря, отшвартовавший пароход, якоря и канаты, запах смолы и соли, – сердце дрогнет, как птица в неволе. Потянет вдаль, на чудесныйЗапад, омытый Океаном, туда, где цветут сады Гесперид, где из лона волн возникают Острова Блаженных. Иногда шепчет искушение, что там уже нет ни одной живой души, что только мертвые блаженны. Все равно, тянет в страну призраков, «святых могил», неосуществленной мечты о свободной человечности. Тоска целых материков – Евразии – по Океану скопилась здесь, истекая узким каналом Невы в туманный, фантастический Балт. Оттого навстречу западным ветрам с моря дует вечный «западнический» ветер с суши. Петербург остается одним из легких великой страны, открытым западному ветру.

Не сменил ли он здесь, на Кронштадской вахте, Великий Новгород? Мы в школе затвердили: «Шлиссельбург – Орешек», но только в последние годы с поразительной ясностью вскрыли в городе Петра города Александра Невского, князя Новгородского.

Революция, ударив всей тяжестью по Петербургу, разогнала все прошлое, наносное в нем, – и оказалось, к изумлению многих, что есть и глубоко почвенное: есть и православный Петроград, столица Северной Руси. Многие петербуржцы впервые (в поисках картошки!) исколесили

свои уезды, и что же они нашли там? На предполагаемом финском болоте русский суглинок, сосновый бор, тысячелетние поселки-погосты, народ, сохранивший в трех часах езды от столицы песни, поверья, богатую славянскую обрядность, чудесную резьбу своих изб, не уступающую вологодским... И среди этих изб Старая Ладога с варяжскими стенами, .с древнейшей росписью, память о новгородских крепостях – Ям, Копорье, Ивангород, – о шведских могилах – следах вековой тяжбы племен. Ижорские деревни, эстонские хутора среди славянского моря говорят о глухой, но упорной этнографической борьбе, борьбе деревьев, сплетающихся ветвями в глухом лесу, отвоевывая у чужих пород каждую пядь почвы, каждый луч света. Когда бежали русские из опустелой столицы, вдруг заговорила было по-фински, по-эстонски петербургская улица. И стало жутко: не возвращается ли Ингерманландия, с гибелью дела Петрова, на берега Невы? Но нет, русская стихия победила, понажала из ближних и дальних уездов, даже губерний, возвращая жизнь и кровообращение в коченевшую Северную Коммуну. В ту пору отмирали кровеносные сосуды по всему телу России, и с особенной ясностью прощупывались естественные, географические связи. Петербуржцы чувствовали: Москва на краю света, Украина едва ли вообще существует, но близки, ощутимы Ладога, Новгород, Псков, Белозерск, Вологда. Пока мешочничал обыватель, искусствоведы, этнографы исколесили всю северо-восточную Русь, чьи говоры сливаются на питерских рынках, и связи эти не заглохнут.

В последние годы перед войной новгородские церковки и часовни одна за другой начали возникать по окраинам столицы – памятник новых художественных вкусов и древней народной религиозности. Интеллигенция почти не различала народного православного Петербурга, с его чудотворными иконами, живыми угодниками, накаленной – быть может, как нигде в России – атмосферой пламенной веры. Только скандалы хлыстов или братцев привлекали внимание. Теперь остатки старой интеллигенции вросли в этот народный церковный массив и внесли в него чистую пламенность новых культурных катакомб.

Есть верная молва, что в последние дни Оптиной пустыни один из ее старцев послал свое благословение Петрограду – «самому святому городу по всей России». Богат и сложен Великий Новгород. Мы и сейчас не понимаем, как маг он совместить с буйным вечем молитвенный подвиг, с русской иконой ганзейский торг. Все противоречия, жившие в нем, воскресли в старом и новом Петербурге... Васька Буслаев предсказал уже нигилизм, как Садко, гусляр и купец, – вольнолюбивое, широкое

творчество. Есть в наследстве Великого Новгорода завещанное Петербургу, чего не понять никому, кроме города Святого Петра. Первое – завет Александра – не сдавать Невской победы, оборонять отливонцев (ныне финнов) и шведов невские берега. Второе – хранить святыни Русского Севера, самое чистое и высокое в прошлом России. Третье – слушать голоса из-за моря, не теряя в виду ганзейских маяков. Запад, некогда спасший нас, потом едва не разложивший, должен войти своей справедливой долей в творчество национальной культуры. Не может быть безболезненной встреча этих двух стихий, и в Петербурге, на водоразделе их, она ощущается особенно мучительно. Но без их слияния – в вечной борьбе – не бывать русской культуре. И хотя вся страна призвана к этому подвигу, здесь, в Петербурге, слышна ее историческая задача, здесь остается если не мозг, то нервный узел России.

II

Москва куда проще Петербурга, хотя куда пестрее его. Противоречия, живущие в ней, не раздирают, не мучают, как-то легко уживаются в народной полихромии. Каждый найдет в Москве свое, для себя, и если он в ней проезжий гость, то не может не почувствовать себя здесь совсем счастливым.

Многоцветность архитектурных одежд, слой за слоем, как луковицу, покрывает тело Москвы. На каждой печать эпохи – настоящая ярмарка стилей, разбросанная в зелени садов под вольным небом и ласковым солнцем. Сама история утратила здесь свою трагическую тяжесть, лаская глаз пышностью декораций. За два века благодушного покоя развенчанная столица отвыкла от ответственности дела государева – и такую любил ее народ: безвластную и вольную, широкую и святую. Вероятно, Москва – сердце России, любовь ее не похожа на строгую царскую Москву, но новое чувство Москвы органически переработало памятники царского времени, утопив их в мягком свете благочестивых воспоминаний. Революция пощадила тело Москвы, почти ничего не разрушив – и ничего не создав в ней. Она лишь исказила ее душу, вывернув наизнанку, вытряхнув дочиста ее особняки, наполнив ее пришлым, инородческим людом. С тех пор город живет как в лихорадке – только не красной. Стучат машинки, мчатся «форды», мелькают толстовки, механки, портфели. В кабаках разливанное море, в театрах балаганы. В учреждениях беличий бег в колесе. Ворочают камни Сизифы, распускают за ночь, что наткали за день, Пенелопы. Здесь рычаг, которым думали перевернуть мир и надорвались, нажив себе неврастению. Осталась кричащая реклама, порой талантливая, безусловно смелая, которая облепила Москву, кричит с плакатов, полотнищ, флагов,

соблазняет в витринах окон, играет электрическими миражами в небе – «Нигде кроме, как в Моссельпроме...», «Пролетарии всех стран... покупайте облигации выигрышного займа!». Но ступите шаг от Тверской, от Никитской, и вы очутитесь в тихих, мирных переулочках, где редко встретишь прохожего, где гуляют на солнышке бабушка с внучкой, вспоминая минувшие дни. Все так же гудит золотой звон «сорока сороков», по-прежнему чист снег и ярки звезды, по-прежнему странно волнуют в сумерках башни и зубцы древних стен. На несколько часов Москва, как добрая, старая няня, баюкает истерзанного россиянина. За что Россия так любила Москву? За то, что узнавала в ней себя. Москва охраняла провинциальный уклад, совмещая его с роскошью и культурными благами столицы. Приезжий мещанин из Рыбинска, из Чухломы мог найти здесь привычный уют уездного трактира и торговых бань, одноэтажные домики, дворы, заросшие травой, где можно летом дуть самовар за самоваром, обливаясь потом и услаждаясь пением кенара или граммофоном, в зависимости от духа времени. Замоскворечье и сейчас огромный, провинциальный и едва ли не уездный город во всей его нетронутости. А чудесные дворянские усадьбы, с колоннами или без колонн, с мезонинами или без мезонинов, но непременно в мягком родном ампире – разве не кажутся перенесенными сюда прямо из глуши пензенских или тамбовских деревень? Хотите видеть теперь воочию, как жили в них поколения наших дедов? Пойдите в дом Хомяковых на Собачьей Площадке, где, кажется, ни один стул не тронут с места с 40-х годов. Какой тесный уют, какая очаровательная мелочность! Низкие потолки, диванчики, чубуки, бисерное бабушкино рукоделие – и полка с книгами: все больше немецкие романтики да любомудры. Если Бог убережет вас от экскурсии с «классовым подходом» и если вы еще не до конца растратили способность умиления, вы поймете здесь корни старого славянофильства.

Да и не только славянофильства. Весь вклад Москвы в культуру двух истекающих столетий таков: неотделим от культуры русских дворянских усадеб и провинциальных иерейских домов. На нем лежит печать светлой наивности, доброй здоровой лени. Здесь нет ни грана петербургского излома, мучительства – зато нет и мучительной напряженности подвига. Свободная от тяжести власти, Москва жалела Россию, как жалеют отсталого, но милого ребенка, не имея сил принуждать его к учению. Оттесняемая Петербургом, Москва не злобствовала, но пребывала – два столетия – в лояльнейшей, кротчайшей оппозиции. Москва по сердцу – не по идеям – всегда была либеральной. Не революция, не реакция, а особое

московское просвещенное охранение. Забелины, Самарины, Шиповы до последних лет отрицали «средостение», мечтая о Земском Соборе и о Земском царе. Здесь либералы были православны, чуть- чуть толстовцы. Здесь Ключевский был гостем «Русской мысли» и ходил церковным старостой. Здесь именитое купечество с равной готовностью жертвовало на богадельни, театры и на партию большевиков.

Эта милая обывательская Москва не воскреснет. Лихорадящий Петербург и обломовская Москва – дорогие покойники. Но за последнее человеческое поколение Москва необычайно росла и менялась, явно готовясь снова стать духовной столицей России. Новая промышленная, купеческая Москва покрылась небоскребами, передовыми театрами, музеями, щедро, по-царски обставив новую русскую культуру. Москва сравнялась с Петербургом как центр научный и обогнала его как центр художественный. Здесь сложилась и крепла русская философская школа, здесь культивировались самые левые направления в живописи. Щукин и Морозов ограбили Париж, Мясницкая старалась обскакать Монпарнас. Кабацкая Москва, ориентируясь на Монмартр, вещала самоновейшие слова. Все это было буйно, но молодо, всегда пленяло здоровьем, если не вкусом. По сравнению с Петербургом, здесь можно было скорее встретить «почти гениальное», но никогда – безукоризненное. Новая Москва работала широко, торопливо и не любила доделывать до конца. Философы без метода, блещущие афоризмами, художники, побивающие рекорды квадратных аршин... Москва все еще жила слишком привольно и слишком безответственно. Почти на всех ее созданиях лежал отпечаток порою милого, порою претенциозного безвкусия.

Новая большевистская Москва уродливо продолжает эту «метропольно"-кабацкую традицию. Современное творчество Москвы так же относится к дореволюционному, как дутый нэп – к размашистому индустриализму довоенных годов. И это на фоне все той же безответственности. Политическая мысль Кремля столь же далека Москве, как была далека государственная мысль Петербурга.

И все же основное русло нашей культуры пролегает именно здесь. Сюда несет свои воды русская провинция – особенно юг и восток. Здесь верят в будущее, захлебываются настоящим – пусть по-дурацки -и не в силах вырваться из власти прошлого. Здесь стены слишком насыщены воспоминаниями, чтобы ультрамодерные жильцы могли уцелеть от их заразы. Мечтающая стать Америкой Москва в плену декоративных чар XVII века. Москва – модерн, может быть, более Москвы ампирной... Метрополь на фоне Китай-города понятнее Большого театра. И это ставит

вопрос о качестве культуры древней Москвы.

Что говорят нам фасады и купола ее бесчисленных церквей? Конструктивно перенесенный в камень северный шатер да владимирский куб, отяжелевший, огрузневший, с пышно изогнутой восточной луковицей. Нет новых идей, нет и строгости завершений. Нет ничего, что взволновало бы присутствием подлинно великого искусства. В Москве есть несколько чудесных церквей. Но ведь и очарование нарышкинского стиля только в его декоративности. О, в декоративном чутье нельзя отказать Москве! Архитектурно бессмысленная идея Василия Блаженного разрешена с удивительным мастерством. Самые грузные и грубые формы согреты и оживлены яркой живописностью. Чтобы вполне оценить декоративный эффект лубочного искусства в его ансамбле, нужно видеть Троицкую Лавру. Когда я пишу эти строки, я пытаюсь с усилием оторваться от того лирического наваждения, перед которым бессилен в Москве. Хочется целовать эти камни и благославлять Бога за то, что они все еще стоят. Но, вдумываясь, вижу, что это художественное впечатление неглубоко, что его идея бедна. Как назвать ее? умилением? – нет. Стоит увидеть эти формы хотя бы в недалеком Угличе, где еще чувствуется дыхание Севера, чтобы понять, каков может быть чисто религиозный смысл этого искусства. Московские кокошники, барабаны, крыльца, как пасхи и колокольни – как пасхальный стол с куличами и крашеными яйцами... Веселый трезвон, кумачовые рубахи, шапки набекрень, гулящая, веселящаяся Русь. Это идеал великорусской нарядной праздничности. Очевидно, в Москве мы видим пышный закат великого и строгого древнерусского искусства. Непонимание этого факта натворило уже много бед делу нашего национального возрождения. Подражать Москве – значит обрекать себя на педантическую пошлость: таково русское «возрождение» Александра III.

Беда Москвы в том, что искусство ее слишком неполно выражает ее историческую идею. В нем сказалась показная пышность царской власти да бытовая праздничная сторона уже оплотневающей народной религиозности. Где же искать нам величие старой Москвы?

Попробуем подойти к Кремлю. Отрешимся от мишуры «николаевской готики», от шума людных площадей, от отступивших небоскребов новой Москвы, – обойдем, лучше всего ночью, окружность его стен и башен – и, может быть, тогда за лубочной декоративностью Кремля мы почувствуем тяжкую мощь. А если вообразим себе старую, деревянную («васнецовскую»)' Москву с ее лабиринтом клетей и теремов, то эта каменная твердыня, словно орел, упавший с облаков в сердце нищей России, покажется грозным чудом. Тени Ивана III и Ивана IY встают над

древними стенами, столько раз облитыми кровью – врагов России и царских недругов. Набеги ханов, казни опричнины, поляки в Кремле -всю трагическую повесть Москвы читаем мы на стенах Кремля , повесть о нечеловеческой воле, о жестокой борьбе, о надрыве. Недаром Грозный, Годуновпросятся в шекспировскую хронику. Дух тиранов Ренессанса, последних Медичи и Валуа, живёт в кремлевском дворце, под византийско-татарской тяжестью золотых одежд. Грозные цари взнуздали, измучили Русь, но не дали ей развалиться, расползтись по безбрежным просторам. Обойдите когда-нибудь в летний день кольцо южных московских монастырей-сторожей: Донской, Данилов, Симонов. Поднимитесь на гигантскую колокольню Симонова и, окинув взглядом бескрайнюю равнину, вы поймете географический смысл Москвы и ее историческое призвание. Северная лесная Русь, со своими соснами, остатками некогда дремучих лесов, добегает до самого города, защищает его, создает ему надежный тыл. Москва питается северной Русью, ее духовными силами, ее трудовой энергией, но, чувствуя ее за плечами, она смотрит -на юг и восток. Эти колокольни-крепости вглядываются зорко в безлесную (ныне) равнину, по которой расходятся ленты дорог: на Калугу – Смоленск, Коломну- Рязань, на Нижний, Саратов. Здесь, за Ордынкой, пролегала дорога в Орду. Отсюда ждали крымчаков. Степь набегала в вихре пыли, в пожарах деревень, чтобы разбиться у московских стен. И отсюда Москва посылает рой за роем своих стрельцов и детей боярских в остроги на Дикое Поле, в вечной борьбе со степью. Но странная эта борьба: она как будто чужда ненависти. Овладевая степью, Русь начинает ее любить; она находит здесь новую родину. Волга, татарская река, становится ее «матушкой», «кормилицей». Здесь, в Москве, до Волги рукой подать: до Рыбинска, до Ярославля, до Нижнего. Порою кажется, что Москва сама стоит на Волге. То, что Москва сжала в тройном кольце своих белых стен, то Волга развернула на тысячи верст. Умилие угличских и костромских куполов, крепкую силу раскольничьего Керженца, буйную волю Нижнего, Казани, Саратова, разбойничью жуть Жигулей, тоску степных курганов, поросших полынью, и раскаленное море мертвых песков – ворота Азии. В сущности, Азия предчувствуется уже в Москве. Европеец,посетивший ее впервые, и русский, возвращающийся в нее из скитаний по Западу, остро пронзены азиатской душой Москвы. Пусть не святые и дикие, но вечно родные степи – колыбель новой русской души. В степях сложилось казачество (даже имя татарское),которое своей разбойной удалью подарило Руси Дон и Кавказ, Урал и пол-Азии. В степях сложился и русский характер, о котором мы говорим всегда как о чем-то

исконном и вечном.. Ширь русской натуры и ее безволие, безудержность, порывистость – и тоска, тяжесть и жестокость. Ненависть к рубежам и страсть к безбрежному. Тройка, («и какой же русский не любит быстрой езды!»), кутежи, цыганские песни, «бессмысленный русский бунт», и мученический подвиг, и надрыв труда.В природе Азии живет дух тяжёсти. Туранскую безблагодатную стихию он гнетет к земле, то зажигая пожарами страстей, то погружая в дремотную лень. Для религиозного гения славян дух тяжести – тема творческого преодоления, как грудь земли для пахаря. Микула поднимает «тягу земную», которую не поднять удалому и хитрому витязю. В этом – тема русского творчества. Старая Москва не смогла художественно осмыслить свое призвание. Это сделал Толстой, в котором воплотился гений Москвы, как в Достоевском- гений Петербурга.

Ныне тяжесть государствённого строительства России опять ложится на плечи Москвы. Конец двухвековому покою и гениальному баловству. На милое лицо Москвы ляжет трагическая складка, наследие освобожденного Петербурга. Теперь Москва настороже – и как должны быть зорки ее глаза, как чутки и напряжены ее нервы! Все, что творится на далеких рубежах, в Персии, в Китае, у подошвы Памира, – все будет отдаваться в Кремле. С утратой западных областей Восток всецело приковывает к себе ее творческие силы. Москва призвана руководить подъемом целых материков. Ее долг – просветлять христианским славянским сознанием туранскую тяжелую стихию в любовной борьбе, в учительстве, в свободной гегемонии. Да не ослабевает она в этом подвиге, да не склонится долу, побежденная – уже кровным и потому страшным – духом тяжести.

III

Западнический соблазн Петербурга и азиатский соблазн Москвы – два неизбежных срыва России, преодолеваемых живым национальным духом. В соблазнах крепнет сила. Из немощей родится богатство. Было бы только третье, куда обращается в своих колебаниях стрелка духа. Этим полюсом, неподвижной православной вехой в судьбе России является Киев, то есть идея Киева.

О Киеве кажется странным говорить в наше время. Мы сами в недавнем прошлом с легкостью отрекались от киевской славы и бесславия, ведя свой род с Оки и с Волги. Мы сами отдали Украину Грушевскому и подготовили самостийников. Стоял ли Киев когда-нибудь в центре нашей мысли, нашей любви? Поразительный факт: новая русская литература прошла совершенно мимо Киева. Ничего, кроме «Печерских антиков» да

слабого стихотворения Хомякова. А народ русский во все века своего существования видел в Киеве величайшую святыню, не уставал паломничать к нему и в былинах, говорят, очень поздних, славил чудный город и его светлого князя.

Для северянина Киев не только святыня, но и город, прекраснейший из всех городов русских. И прекраснейший вовсе не башнями храмов, не золотом куполов, а первозданной красотой Божьего мира, которая открывается здесь превыше всех памятников человеческих. С холмов старого Киева, Печерска, Цековицы – отовсюду выступает из зелени лазурная бескрайняя ширь, от которой дух захватывает. Кажется, что не стоит человек такой красоты, что не перенести человеку надолго такой красоты. Понятно, что от нее зарывались в пещеры из простого самосохранения. Или только измученной великорусской душе не по силам сияющая осанна земного рая? И потому прошел мимо нее северный поэт, принимающий красоту только в аскетической строгости. Впрочем, что могло бы прибавить здесь человеческое слово, когда земля уже сказала все? Изумительная особенность киевского городского пейзажа – это вторжение в него природы, почти не тронутой человеком. Над людным Подолом, над старыми – с ярославских времен – «Гончарами» и «Кожемяками» высятся необитаемые, обрывистые холмы, по которым карабкаются козы. Монастырь на Киселевке, кладбище на Цековице не нарушают тихого сельского характера этих урочищ. Эти просторы манят вдаль, во все стороны света, – трудно засидеться здесь на горах: на запад, к Карпатам и к Польше, теперь уже недалекой, на восток, сквозь черниговские леса, на Москву и больше всего, конечно, на юг, куда змеится серебряная лента Днепра, – за пороги, к степям половецким, к Черному, «Русскому» морю, к святой Греции.

Сколько народу проходило по этим холмам, сколько культур осаживалось здесь! Нигде в России не топчешь почвы, столь насыщенной обломками древности. Человек каменного века уже облюбовал эти холмы, где гнездился в пещерах по их склонам. Если у вас есть чувство времени, которое в Киеве волнует так же, как пространство, зайдите в богатый Археологический музей поудивиться останками множества народов, наших предков на Киевской земле. Киммерийцы, скифы, люди, не имеющие имени для нас... И среди них, древнее всяких скифов, те таинственные «трипольцы», которые обжигали здесь горшки на своих «площадках», прежде чем спустились на Балканы, чтобы строить по берегам архипелага Эгейскую культуру. Уже позволительно думать, что Киевские горы были родиной будущих эллинов. С этих холмов, с

черепками в руках, может быть, легче, чем где бы то ни было, обозреть древнейшую историю Европы. Как в Риме, чувствуешь здесь святость почвы, но насколько глубже уводят здесь воспоминания в седую древность!

Я не обмолвился: это предки наши, не прохожие гости. Мы носим их память в крови, в языке, в быту. Вспомним вклад скифов в наш словарь, греческие формы малороссийской посуды, азиатский орнамент украинских ковров. Недавно в армянском фольклоре Н. Я. Марр отыскал легенду о Кие, Щеке и Хориве и сестре их Лыбеди – с тождеством самих имен, и вероятным становится незапамятно древнее, «яфетическое» ее происхождение.

Но все это спит под землей, на земле же идет и поныне борьба двух культур: византийско-русской и польско-украинской. На фасадах древних церквей археолог читает летопись этой борьбы, но отчетливы и центры культур. Киев с чрезвычайной легкостью срывался со старых насиженных мест с каждым переломом своей бурной истории. Русский княжеский город на старейшем холме (Кия?), украинский Подол с польской крепостью (разрушенной) наКиселевке, русский правительственный центр на Печерске и современный, всего более еврейский, город – Киев, с упадком Одессы, столицы русского еврейства, сливший старые островки и раздавшийся по плоскогорью.

Живописен украинский Киев, нарядно и мило его провинциальное барокко на мазепинском Никольском соборе, – увы, безжалостно изрешёченном ядрами гражданской войны, – это барокко не лишено и благородства. На Подоле обступает рой почтенных воспоминаний: магистрат с магдебургскими вольностями, Академия Петра Могилы – бурсаки со своими виршами, латынью и сомнительной «философией». Но тут же упраздненный доминиканский монастырь напоминает, что мы в польской провинции: словно в захолустном углу Галиции, куда сквозь толщу Восточной Европы доносятся отголоски итальянского и немецкого Возрождения. Стойко борются с ополячением, но не могут спастись от полонизмов: в архитектуре, в языке, в богословии. Весь излом современного украинского возрождения уже дан в этом возрождении XYII века: Малороссия осознает себя как мятежная Украина, окраина Польши.

Любуясь широкими выкрутасами киевского барокко, как не подосадовать, когда оно облепило, точно слоем жира, стройные, скромные стены княжеских храмов? Как ни дороги воспоминания о национальном пробуждении Украины-Малороссии, они исчезают перед памятью о единственной великой эпохе киевской славы. В этой славе все исчезает.

Бесчисленные народы, проходившие по этим горам, культуры, сменявшие друг друга, имели один смысл и цель: здесь воссиял крест Первозванного, здесь упало на славяно-варяжские терема золотое небо святой Софии. И этого нам не забыть, пока стоит Русь. Впрочем, в Киеве об этом забыть невозможно. Северянин-великоросс, привыкший к более скромным историческим глубинам, не верит глазам своим, видя, в какой сохранности и блеске встречает его византийский и княжеский Киев. Спас на Берестове, Кириллов, Выдубицкий, Михайлов-Златоверхий монастыри – стоят, вплоть до самых куполов своих, – с XI или XII века, лишь снаружи приукрашенные не в меру ревностной рукой современников Могилы и Мазепы. И венец всему – неповрежденная внутри, девственно чистая святая София.

Может быть, южно-русский домонгольский храм, гармоничный и стройный, не является еще совершенным образцом русской идеи храма, достигнутым на Владимирском и Новгородском севере. Но в святой Софии – едва ли не единственный раз на русской земле- *воплотилась идея греческая.* Я говорю не о знаменитых мозаиках ее и их религиозной символике, но о самом пространстве. Здесь земля легко и радостно возносится к небу в движении четырех столпов, и свод небесный спускается ей навстречу, любовно объемля крылами парусов своих. Здесь все полно завершенным покоем, достигнутой мерой, свободой в законе, бесконечностью, замкнутой в круг. Тем, кто не видел иной, великой святой Софии, кажется, что лучше не выразить в камне самой идеи православия. Большинство киевских мозаик – как, впрочем, и римских – не представляют самых совершенных образцов византийского искусства, хотя по богатству и сохранности своей делают Киев одним из главных центров его изучения. Но в последние годы – под слоем известки – в Софийском соборе, в Спасе на Берестове – вскрыли ряд фресок-икон, выполненных в духе поразительного архаизма. С ними в Киеве чувствуешь себя на почве древнейшего христианского искусства – как в Santa Maria Antiqua или перед лицом энкаустических икон, словно недаром вывезенных с Синая в Киев как редчайшая драгоценность епископом Порфирием. Здесь заря русского христианства встречается с зарей христианства восточного, сочетающего в искусстве своем заветы эллинизма и Азии.

Мы знаем, что русский Киев лишь очень мало использовал культурные возможности, которые открывала ему сыновняя связь с матерью – Грецией. Говорят, что он даже торопился оборвать и церковные связи, рано утверждая свою славяно-русскую самобытность. Захлестнутый

туранской волной, он не сумел создать во всей чистоте на счастливом юге очагов и русской культуры. Но в куполе святой Софии был дан ему вечный символ – не только ему, но и всей грядущей России.

О чем говорит этот символ?

Не только о вечной истине православия, о совершенной сфере, объемлющей в себе многообразие национально-частных миров. В нем дано указание и нашего особого пути среди христианских народов мира.

В жизни России было немало болезненных уклонов. В Москве нам угрожала опасность оторваться от вселенской жизни в гордом самодовлении, в Петербурге – раствориться в романской, то есть латинской по своему корню, цивилизации. Теперь нам указывают на Азию и проповедуют ненависть к латинству. Но истинный путь дан в Киеве: не латинство, не басурманство, а эллинство. Наш дикий черенок привит к стволу христианского человечества именно в греческой ветви его, и это не может быть незначащей случайностью.

Культура народа вырастает из религиозных корней, и какие бы пышные побеги и плоды ни приносило славяно-русское или турано-русское дерево, оно пьет соки земли христианской через восточно-греческие корни. Но религия не живет вне конкретной плоти – культа, культуры, – и вместе с греческим христианством мы приобщились и к греческой культуре. Как германство – хочет оно этого или не хочет – не может, не убивая себя, разорвать связи с латинским гением, так православная Русь не может отречься от Греции. В глубине христианской Греции-Византии живет Греция классическая, созревающая ко Христу, а ее-то драгоценный дар принадлежит нам по праву как первенцам и законным наследникам. Неизбежный для России путь приобщения к Ренессансу не был бы для нас столь болезненным, если бы мы пили его воды из чистых ключей Греции. Романо-германское, то есть латинское, посредничество определило раскол нашей национальной жизни, к счастью, уже изживаемый. Но безумием было бы думать, что духовная жизнь России может расти на «диком корню» какой-либо славянской или туранской исключительности. Великое счастье наше и незаслуженный дар Божий – то, что мы приняли истину в ее вселенском средоточии. Именно в Греции и больше нигде связываются в один узел все пути мира. Рим – ее младший брат и духовный сын, ей обязанный лучшим в себе. Восток и на заре, и на закате его истории – и в Микенах, и в Византии – обогащает своей глубиной и остротой ее безукоризненную мерность, залог православия. Чем дальше, тем больше мы открываем в эллинизме даров Востока. Нам не страшен ни Восток, ни Запад. Весь мир обещан нам по

праву, нет истины, нет красоты, которой бы не нашлось места во вселенском храме. Но каждому камню укажет место и меру тот зодчий, который подвесил в небе «на золотых цепях» купол святой Софии.

Трагедия интеллигенции

Извинения автора

Ч*итатель:* Опять! Как можно ставить такую бездарную тему? Вы возрождаете традиции толстых журналов 90-х годов. Неужели с вас мало возов бумаги, исписанных народниками и марксистами?

Автор: Вы могли бы прибавить к ним и Александра Блока. Не говорит ли вам это имя о том, что мы имеем дело с одной из роковых тем, в которых ключ к пониманию России и ее будущего?

Читатель: Но откуда ваша уверенность в том, что после стольких почтенных предшественников вам удастся сказать новое слово?

Автор: Это не самомнение, просто счастливая позиция. Я хочу сказать: наше общее историческое место. Мы, современники революции, имеем огромное, иногда печальное преимущество – видеть дальше и зорче отцов, которые жили под кровлей старого, слишком уютного дома. Мы – пусть пигмеи – вознесены на высоту, от которой дух захватывает. Может быть, высота креста, на который поднята Россия... Наивным будет отныне все, что писал о России XIX век, и наша история лежит перед нами, .как целина, ждущая плуга. Что ни тема, то непочатые золотые россыпи.

Читатель: Гм, вот не подумал бы, читая весь этот вздор, который пишут о России люди, ущемленные революцией.

Автор: Да, ущемленные... Те, что не хотят видеть. Простите за несколько классических сентенций: истина открывается лишь бескорыстному созерцанию. Очищение от страстей – необходимое для нее условие. И прежде всего от духа злобы.

Читатель: Посмотрим, насколько вам это удастся. Мне это кажется даже чем-то бесчеловечным.

Автор: «Человек есть нечто, что должно быть преодолено». Еще одна цитата.

Читатель: Допустим, но все-таки ваша тема... Она уже потому мне представляется дикой, что революционная Россия изжила противоположение интеллигенции и народа. Правда, в значительной мере ценой уничтожения интеллигенции, Эта тема русской историей уже исчерпана.

Автор: Вот это именно мне и хотелось бы исследовать.

More scholastico

Говоря о русской интеллигенции, мы имеем дело с единственным, неповторимым явлением истории. Неповторима не только «русская», но и вообще «интеллигенция». Как известно, это слово, то есть понятие, обозначаемое им, существует лишь в нашем языке. Разумеется, если не говорить об intelligentia философов, которая для Данте, например, значила приблизительно то же, что «бесплотных умов естество». В наши дни европейские языки заимствуют у нас это слово в русском его понимании, но неудачно: у них нет вещи, которая могла бы быть названа этим именем.

Правильно определить вещь – значит почти разгадать ее природу. В этом схоластики были правы. Трудность – и немалая – в том, чтобы найти правильное определение. В нашем случае мы имеем дело с понятием историческим, то есть с таким, которое имеет долгую жизнь, «живую», а не только мыслимую. Оно создано не потребностью научной классификации, а страстными – хотя идейными – велениями жизни. В этой жизни полны определенного и трагического смысла нелепые на Западе антитезы: «интеллигенция и народ», «интеллигенция и власть». Мы должны исходить из бесспорного: существует (существовала) группа, именующая себя русской интеллигенцией и признаваемая за таковую и ее врагами. Существует и самосознание этой группы, искони задумывавшейся над своеобразием своего положения в мире: над своим призванием, над своим прошлым. Она сама писала свою историю. Под именем истории «русской литературы», «русской общественной мысли», «русского самосознания» много десятилетий разрабатывалась история русской интеллигенции в одном стиле, в духе одной традиции. И так как это традиция ав-тентическая («сама о себе»), то в известном смысле она для историка обязательна. Мы ничего не сможем понять в природе буддийской церкви, например, если будем игнорировать церковную литературу буддистов. Но, конечно, историк остережется слепо следовать традиции. Его биографии не жития святых. Кое в чем он прислушается и к голосу противников, взор которых обострен ненавистью. Ненависти многое открывается, только не то, самое главное, что составляет природу вещи – ее essentia.

Но обращаясь к «канону» русской интеллигенции, мы сразу же убеждаемся, что он не способен подарить нам готового, «канонического» определения. Каждое поколение интеллигенции определяло себя по-своему, отрекаясь от своих предков и начиная – на десять лет – новую эру.

Можно сказать, что столетие самосознания русской интеллигенции является ее непрерывным саморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести интеллигенции таких глубоких ран, какие наносила она сама в вечной жажде самосожжения.

«Incende quod adorasti. Adora quod incendisti».

Завет святого Ремигия «сикамбру» (Хлодвигу) весьма сложными литературными путями дошел до «Дворянского гнезда», где в устах Михалевича стал исповедью идеалистов 40-х годов:

И я сжег все, чему поклонялся,

Поклонился всему, что сжигал.

За идеалистами – «реалисты», за реалистами – «критически мыслящие личности» – «народники» тож, за народниками – марксисты, – это лишь один основной ряд братоубийственных могил. Но, отрицая друг друга, отрицая даже «интеллигенцию» как таковую (марксизм), братья-враги одинаково видели ее: живую историческую личность в ее скитальчестве от Новикова и Радищева до наших дней. Во всех «историях» русской интеллигенции мы встречаем одни и те же имена. Не согласные в определении понятия, канонические авторы согласны в его объеме. Из объема мы и должны исходить. Для исторического понятия объем не произволен, а дан. Признаки определения должны его исчерпать, не насилуя, как платье, сшитое по мерке. Попытаемся установить этот объем, ощупью, примеряя и исключая то, что не является русской интеллигенцией. Прежде всего ясно, что интеллигенция – категория не профессиональная. Это не «люди умственного труда» (intellectuels). Иначе была бы непонятна ненависть к ней, непонятно и ее высокое самосознание. Приходится исключить из интеллигенции всю огромную массу учителей, телеграфистов, ветеринаров (хотя они с гордостью притязают на это имя) и даже профессоров (которые, пожалуй, на него не притязают). Сознание интеллигенции ощущает себя почти как некий орден, хотя и не знающий внешних форм, но имеющий свой неписаный кодекс – чести, нравственности, – свое призвание, свои обеты. Нечто вроде средневекового рыцарства, тоже не сводимого к классовой, феодально-военной группе, хотя и связанное с ней, как интеллигенция связана с классом работников умственного труда.

Что же, быть может, интеллигенция – избранный цвет этих работников, людей мысли по преимуществу? И история русской интеллигенции есть история русской мысли без различия направлений? Но где же в ней имена Феофана Затворника, Победоносцева, Козлова, Федорова, Каткова – беря наудачу несколько имен в разных областях

мысли.

Идея включить Феофана Затворника в историю русской интеллигенции никому не приходила в голову по своей чудовищности. А между тем влияние этого писателя на народную жизнь было несравненно более сильным и глубоким, чем любого из кумиров русской интеллигенции.

Попробуем сузиться. Может быть, еп.Феофан, Катков и Победоносцев не принадлежат к интеллигенции как писатели «реакционные», а интеллигенцию следует определять как идейный штаб русской революции? Враги по крайней мере единодушно это утверждают, за то ее и ненавидят, потому и считают возможным ее уничтожение – не мысли же русской вообще, в самом деле? Да и сама интеллигенция в массе своей была готова смотреть на себя именно таким образом. И однако: не говоря уже о том, что очень значительная часть русской интеллигенции не помышляла о революции (либералы), есть и в святцах интеллигенции имена, не имеющие ничего общего с политической борьбой. При чем здесь, например, Чаадаев? В каком смысле могут быть причислены к революционерам славянофилы? И еще: заметьте, с какой нежностью историки русской интеллигенции говорят о гегельянских блужданиях Белинского. Белинский эпохи «Бородинской годовщины» чем не «реакционер»? Но ему все прощают – и не только как временное падение, искупленное сторицею. Нет, при всем своем политическом пафосе русская интеллигенция проявляла иногда и бескорыстие, умела ценить героическую личность и идею, чуждые ее господствующим идеалам. Умела ценить идеализм как таковой. Да, но не всякий. И не всякого идеалиста заносила в святцы. Занесла старых славянофилов, но отвергла новых. Занесла Чаадаева, Печерина, Вл. Соловьева, но отвергла Хомякова, Гоголя, Победоносцева – как богословов, – уж конечно, не по пристрастию к католичеству.

Есть в истории русской интеллигенции основное русло – от Белинского через народников к революционерам наших дней. Думаю, не ошибемся, если в нем народничеству отведем главное место. Никто, в самом деле, столько не философствовал о призвании интеллигенции, как именно народники. В этот основной поток втекают разные ручьи, ничего общего с народничеством не имеющие, которые говорят о том, что интеллигенция могла бы идти и под другими знаменами, не переставая быть сама собой. Вдумаемся, что объединяет все эти имена: Чаадаева, Белинского, Герцена, Писарева, Короленко, – и мы получим ключ к определению русской интеллигенции.

У всех этих людей есть идеал, которому они служат и которому стремятся подчинить всю жизнь: идеал достаточно широкий, включающий и личную этику, и общественное поведение; идеал, практически заменяющий религию (у Чаадаева и некоторых других, впрочем, связанный с положительной религией), но по происхождению отличный от нее. Идеал коренится в «идее», в теоретическом мировоззрении, построенном рассудочно и властно прилагаемом к жизни как ее норма и канон. Эта «идея» не вырастает из самой жизни, из ее иррациональных глубин, как высшее ее рациональное выражение. Она как бы спускается с неба, рождаясь из головы Зевса, во всеоружии, с копьем, направленным против чудовищ, порождаемых матерью- землей. Афины против Геи – в этом мифе (отрывок гигантомахии) смысл русской трагедии, то есть трагедии русской интеллигенции.

Говоря простым языком, русская интеллигенция «идейна» и «беспочвенна». Это ее исчерпывающие определения. Они не вымышлены, а взяты из языка жизни: первое, положительное, подслушано у друзей, второе, отрицательное, – у врагов (Страхов). Постараемся раскрыть их смысл. Идейность есть особый вид рационализма, этически окрашенный. В идее сливается правда-истина и правда-справедливость (знаменитое определение Михайловского). Последняя является теоретически производной, но жизненно, несомненно, первенствующей. Этот рационализм весьма далек от подлинно философской ratio. К чистому познанию он предъявляет поистине минимальные требования. Чаще всего он берет готовую систему «истин» и на ней строит идеал личного и общественного (политического) поведения. Если идейность замещает религию, то она берет от нее лишь догмат и святость: догмат, понимаемый рационалистически, святость – этически, с изгнанием всех иррациональных, мистических или жизненных основ религии. Догмат определяет характер поведения (святости), но сама святость сообщает системе «истин» характер догмата, освящая ее, придавая ей неприкосновенность и неподвижность. Такая система обыкновенно не способна развиваться. Она гибнет насильственно, вытесняемая новой системою догм, и этой гибели идей обыкновенно соответствует не метафорическая, а буквальная гибель целого поколения. Святые неизбежно становятся мучениками.

«Беспочвенность» вытекает уже из нашего понимания идейности, отмежевывая ее от других, органических форм идеализма (или идеал-реализма). Беспочвенность есть отрыв: от быта, от национальной культуры, от национальной религии, от государства, от класса, от всех

органически выросших социальных и духовных образований. Конечно, отрыв этот может быть лишь более или менее полным. В пределе отрыв приводит к нигилизму, уже не совместимому ни с какой идейностью. В нигилизме отрыв становится срывом, который грозит каждому поколению русской интеллигенции – не одним шестидесятникам. Срыв отчаяния, безверия от невыносимой тяжести взятого на себя бремени: когда идея, висящая в воздухе, уже не поддерживает падающего, уже не питает, не греет и становится, видимо, для всех призраком.

Только беспочвенность как идеал (отрицательный) объясняет, почему из истории русской интеллигенции справедливо исключены такие, по-своему тоже «идейные» (но не в рационалистическом смысле) и, во всяком случае, прогрессивные люди («либералы»), как Самарин, Островский, Писемский, Лесков, Забелин, Ключевский и множество других. Все они почвенники – слишком коренятся в русском народном быте или в исторической традиции. Поэтому гораздо легче византинисту-изуверу Леонтьеву войти в пантеон русской интеллигенции, хотя бы одиночкой – демоном, а не святым, – чем этим гуманнейшим русским людям; здесь скорее примут Мережковского, чем Розанова, Вл. Соловьева, чем Федорова. Толстой и Достоевский, конечно, не вмещаются в русской интеллигенции. Но характерно, что интеллигенция с гораздо большей легкостью восприняла рационалистическое учение Толстого, чем православие Достоевского. Отрицание Толстым всех культурных ценностей, которым служила интеллигенция, не помешало толстовству принять чисто интеллигентский характер. Для этого потребовалось лишний раз сжечь старые кумиры, а в этих богосожжениях интеллигенция приобрела большой опыт. В толстовстве интеллигенция чувствовала себя на достаточно «беспочвенной почве» вместе с англо-американцами, китайцами, японцами и индусами. Век Достоевского пришел гораздо позднее и был связан с процессом отмирания самого типа интеллигентской идейности.

Так, примеряя одно за другим памятные имена русской культуры, мы убеждаемся, что указанные нами признаки интеллигенции подтверждаются жизнью; что, взаимно дополняя и раскрывая друг друга, они дают необходимое и достаточное определение: русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей.

В дальнейшем мы делаем попытку в размышлении над общеизвестными процессами русской истории дать посильный ответ на вопросы: как возможна интеллигенция в указанном понимании, когда она

возникла в России и может ли она пережить революцию?

История русской интеллигенции есть весьма драматическая история и, как истинная драма, развивается в пяти действиях. Но так как в трагическую историю России эта частная трагедия вступает сравнительно поздно, то для «экспозиции действия» необходим пролог – и даже два.

Пролог в Киеве

Не бойтесь, я не начну с призвания варягов или с потопления Перуна, как ни эффектна была бы такая завязка для трагедии беспочвенности. Но это дешевая эффектность, мнимая связь. Принятие христианства варварским народом всегда есть акт крутой и насильственный: новое рождение. Не иначе крестилась и германская Европа, тоже рубившая и сжигавшая своих богов. У нас процесс истребления славянской веры, по-видимому, протекал даже гораздо легче, ибо славянское язычество было примитивнее германского. Призвание варягов – иначе, иноземное завоевание, кладущее начало русской государственности, – тоже не наш лишь удел: вся романская Европа сложилась вокруг национально чуждых государственных ячеек: германских королевств. Это не помешало пришельцам и на Западе, и у нас быстро раствориться в завоеванной этнической среде. У нас обрусение германцев шло еще быстрее, чем на Западе их романизация, да и насильственный характер варяжских экспедиций на Руси не столь резко выражен, подчас даже спорен: создал же Ключевский, в духе начальной легенды русской летописи, схему князей-охранников, наемных сторожей на службе городских республик.

Итак, ни государство, ни церковь на Руси не стояли – по крайней мере на памяти истории – как сила чуждая против народа и его культуры. Поэтому духовенство, книжники, «мнихи» Древней Руси не могут быть названы в нашем смысле ее интеллигенцией. Правда, они несли народу чужую, греческую веру, а вместе с ней греческий быт, одежду, понятия, нравственность... Но они не наталкивались на сопротивление иной культуры. Они были учителями признанными, хотя и не всегда терпеливыми. При всех обличениях двоеверия, языческих пережитков, жестоких нравов церковный проповедник далек от сознания пропасти, отделяющей его от народа, подобной той пустоте, в которой живет русская интеллигенция средины XIX века.

Киевская культура аристократична. Она не питается народным творчеством. Она излучается в массы от княжеских теремов и монастырей, и хотя рост ее в народной среде протекает страшно медленно, но органично и непрерывно. Конечно, это только прививка на грубом славянском дичке, но он весь перерождается под действием прививки. И эта органичность вполне понятна. Новое не ложится поверхностным слоем, «культурным лоском» поверх старого быта. Оно завоевывает прежде всего сердцевину народной жизни – его веру. Здесь нет сомнений

и разлада. Суеверия, обвивающие веру, не разлагают ее. И вера освящает всю культуру, всю книжную мудрость, которая идет за ней.

Византинизация русской жизни, конечно, не закончилось в Киеве. Массы, быть может, лишь к XYII веку, органически в своем быту растворили и претворили идеалы жизни, приличий, нравственных понятий, которыми жили в Киеве боярские и княжеские терема, вдохновляясь, в свою очередь, пышной «лепотой» цареградского двора. Так отголоски церемониала Константина Багрянородного докатились до черных курных изб Заочья и Заволжья, и сейчас еще, после коммунистической революции, поражают нас на Русском Севере строгостью быта, аристократической утонченностью форм, стильной условностью, «вежеватостью» обхождения.

И все же именно в Киеве заложено зерно будущего трагического раскола в русской культуре. Смысл этого факта до сих пор, кажется, ускользал от внимания ее историков. Более того, в нем всегда видели наше великое национальное преимущество, залог как раз органичности нашей культуры. Я имею в виду славянскую Библию и славянский литургический язык. В этом наше коренное отличие в самом исходном пункте от латинского Запада. На первый взгляд, как будто славянский язык церкви, облегчая задачу христианизации народа, не дает возникнуть отчужденной от него греческой (латинской) интеллигенции. Да, но какою ценой? *Ценой отрыва от классичес-кой традиции.* Великолепный Киев XI-XII веков, восхищавший иноземцев своим блеском и нас изумляющий останками былой красоты, – Киев создавался на византийской почве. Это, в конце концов, греческая окраина. Но за расцветом религиозной и материальной культуры нельзя проглядеть основного ущерба: научная, философская, литературная традиция Греции отсутствует. Переводы, наводнявшие древнерусскую письменность, конечно, произвели отбор самонужнейшего, практически ценного: проповеди, жития святых, аскетика. Даже богословская мысль древний церкви осталась почти чуждой Руси. Что же говорить о Греции языческой? На Западе, в самые темные века его (Yl-YIII), монах читал Вергилия, чтобы найти ключ к священному языку церкви, читал римских истори ков, чтобы на них выработать свой стиль. Стоило лишь овладеть этим чудесным ключом – латынью, чтобы им отворились все двери. В брожении языческих и христианских элементов складывалась могучая средневековая культура – задолго до Возрождения.

И мы могли бы читать Гомера, философствовать с Платоном, вернуться вместе с греческой христианской мыслью к самым истокам эллинского духа и получить как дар *("а* прочее приложится») научную

традицию древности. Провидение судило иначе. Мы получили в дар одну книгу, величайшую из книг, без труда и заслуги, открытую всем. Но зато эта книга должна была остаться единственной. В грязном и бедном Париже XII века гремели битвы схоластиков, рождался университет – в «золотом» Киеве, сиявшем мозаиками своих храмов, – ничего, кроме подвига печерских иноков, слагавших летописи и патерики. Правда, такой летописи не знал Запад, да, может быть, и таких патериков тоже.

Когда думаешь о необозримых последствиях этого первого факта нашей истории, поражаешься, как много он уясняет в ней. Если правда, что русский народ глубже принял в себя и вернее сохранил образ Христа, чем всякий другой народ (а от этой веры трудно отрешиться и в наши дни), то, конечно, этим он прежде всего обязан славянскому евангелию. И если правда, что русский язык – гениальный язык, обладающий неисчерпаемыми художественными возможностями, то это ведь тоже потому, что на нем и только на нем говорил и молился русский народ, не сбиваясь на чужую речь и в нем самом, в языке этом (распавшемся на единый церковно-славянский и на многие народно-русские говоры), находя огромные лексические богатства для выражения всех оттенков стиля («высокого», «среднего» и «подлого»).

Все это так. Но этот великолепный язык до XYIII века был орудием научной мысли. Понятно, что он должен был рано или поздно оказаться затопленным варваризмами. И по сию пору наш научный, особенно философский, язык, несмотря на обилие иностранных терминов, лишен некоторых основных слов, без которых невозможно отвлеченное мышление. Разными «значимостями» и «воззрениями» мы расплачиваемся за Пушкина и Толстого. А за органичность Древней Руси – глубоким расколом петербургской России. И это возвращает нас к теме об интеллигенции. Монах и книжник Древней Руси был очень близок к народу – но, пожалуй, чересчур близок. Между ними не образовалось того напряжения, которое дается расстоянием и которое одно только способно вызывать движение культуры. Снисхождению учителя должна отвечать энергия восхождения – ученика. Идеал культуры должен быть высок, труден, чтобы разбудить и напрячь все духовные силы. Это как движение жидкости по трубам: его напор зависит от разницы уровней. Только тогда достигается непрерывное восхождение, накопление ценностей, когда, по слову Данте: «Tutti tirati sone tutti tiranu» – «Все влекутся, и все влекут».

Русская интеллигенция конца XIX века столь же мало понимала это, как книжники и просветители Древней Руси. И как в начале русской письменности, так и в наши дни русская научная мысль питается

преимущество переводами, упрощенными компиляциями, популярной брошюрой. Тысячелетний умственный сон не прошел даром. Отрекшись от классической традиции, мы не могли выработать своей, и на исходе веков – в крайней нужде и по старойленности – должны были хватать, красть (compilare) где и что попало, обкрадывать эту нищающую Европу, отрекаясь от всего заветного, в отчаянии перед собственной бедностью. Не хотели читать по-гречески – выучились по-немецки, вместо Платона и Эсхила набросились на Каутских и Леппертов. От киевских предков, которые, если верить М.Д. Приселкову, все воевали с греческим засильем, мы сохраняли ненависть к древним языкам и, лишив себя плодов гуманизма, питаемся теперь его «вершками», засыхающей ботвой.

Пролог в Москве

Москва для нас имя, покрывшее всю Северную Русь. В нее как в озеро, во внутреннее море (вроде Каспия) вливались все ручьи, пробившиеся в северных мшистых лесах. Теперь мы знаем, что главное творческое дело было совершено Новгородом. Здесь, на Севере, Русь перестает быть робкой ученицей Византии и, не прерывая религиозно-культурной связи с ней, творит свое – уже не греческое, а славянское или, вернее, именно русское – дело. Только здесь Русь откликнулась христианству своим особым голосом, который отныне неизгладим в хоре народов-ангелов. Мы знаем с недавних пор, где нужно слушать этот голос. В церковном зодчестве, деревянном и каменном, в ослепительной новгородской иконе, в особом тоне святости северных подвижников. Без ложной гордости мы говорим теперь о гениальности древнего русского искусства и не колеблясь отдаем ему предпочтение перед искусством западного средневековья и Возрождения. Не столь явен для всех голос святости. И это отчасти потому, что расслышать его отчетливо удается лишь в XIX веке. Святые, современные или почти современные нам, конечно восходят в самом типе своей праведности к древнерусской традиции духовной жизни, как архангельские деревянные церкви, строенные десятилетия тому назад, уходят в новгородскую древность. Иначе и быть не может. Иначе – откуда? Откуда цветение православной культуры в уже чужеродной, враждебной ей среде, если не на старой почве, на крепких корнях?

Но самая постановка этого вопроса возможна лишь благодаря страшной немоте Древней Руси. Она так скупа на слова и так косноязычна. Даже образы своих святых она не умеет выразить в их неповторимом своеобразии, в подлинном, русском их лике и заглушает дивный колос плевелами переводного византийского красноречия, пустого и многословного. Не в житиях находим ключ к ним, а в живой, современной, часто народной (даже апокрифической) традиции.

Покойный князь Е.Н. Трубецкой, плененный северно-русской иконой и открывшимся ему за ней миром духовной жизни, характеризовал ее как «умозрение в красках». В красках, в сложных и мудрых композициях новых икон (особенно в начале XYI века) Русь выражала свои глубокие догматические прозрения. Только в красках умела она поведать о некогда живом, именно русском культе святой Софии. Но ведь «умозрение» открывается в слове. В этом его природа – природа Логоса. Отчего же

софийская Русь так чужда Логоса? Она похожа на немую девочку, которая так много тайн видит своими неземными глазами и может поведать о них только знаками. А ее долго считали дурочкой только потому, что она бессловесная!

И замечательно – этот паралич языка еще усилился со времени ее бегства с просторов Приднепровья. Уже не сказать ей «Слова о полку Игореве», не составить «Повести временных лет». От новгородско-московских столетий нам осталась почти одна публицистика, отрывочный младенческий лепет, который говорит лишь об усилиях осознать новый смысл или, чаще всего, недуги государственного и церковного бытия. Не умножился скудный запас книг, спасенных в киевском разоренье. И еще дальше отодвинулся культурный мир, священная земля Греции и Рима с погребенными в ней кладами. А удачливый и талантливый Запад, овладевший их наследством, повернулся к Руси железной угрозой меченосцев да ливонцев, заставив ее обратиться лицом к Востоку. На Ближнем Востоке не было культур и не было еретических соблазнов. Но на Востоке были пространства, подобные пустыням, зовущие и коварные, шаг за шагом увлекающие вдаль, не дающие остановиться, обстроиться, возделать родную землю. Начинается еще не законченная история бродячей Руси, сдержанной от расползания тяжелой рукой Москвы. Прощайте, северные, святые безмолвия! Начинается: «Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма...»

Тяжек был для Руси ее первый «счастливый» дар, дар первоучителей словенских; еще тяжелее оказался дар второй: пространство. Но эта тема – пространства (колонизации) – давно осознана и разработана русскими историками.

Культура Северной Руси в зените к началу XYI века. Дальше уже начинается склон. XYI век – это декаданс, хотя и утонченный, ее живописного мастерства; XYII – уже чрезвычайное огрубение. Города, цветущие в XY-XYI веках, хиреют в XYII вместе с богатством и предприимчивостью былых Садко и Афанасиев Никитиных. Закрепощается народ к земле, все население к службе и тяглу. Гибнут остатки мирского самоуправления. Грубеет и тяжелеет быт, оплотневает, словно действительно пропитавшись татарской, степной стихией. Само православие начинает ощущаться как стояние на уставе, как быт, как «обрядовое исповедничество».

Конечно, рисовать два столетия Москвы как сплошной упадок несправедливо. Нельзя закрывать глаза на подвиг создания великой державы, нельзя не видеть и огромных сил народных, которые живы в узах

сыромятных ремней. Но страшно, что эти силы громче всего говорят о себе – в бунте: Ермак, смута, Разин, раскол! Как не поразиться, что единственный великий писатель московской Руси – мятежный Аввакум! Москва полнокровна, кряжиста, если говорить о ее этнических силах. Но уже развивается старческий склероз в ее социальном теле. Такая юная годами, она видимо дряхлеет в XYII веке, и дряхлость ее сказывается во все растущем общественном недомогании, в потребности общих перемен и вместе с тем неспособности органически осуществить их. Государственное бытие становится невозможным в примитивно варварских формах, но силы инерции огромны, быт свят, предание и православие одно. Со времени Грозного оборона государства во все растущей мере зависит от иностранцев. Немецкая слобода, выросшая в Москве, стоит перед ней живым соблазном. Как разрешить эту повелительно поставленную судьбой задачу: усвоить немецкие хитрости, художества, науку, не отрекаясь от своих святынь? Возможна ли простая прививка немецкой техники к православному быту? Есть люди, которые еще в наши дни отвечают на этот вопрос утвердительно. Но техника не падает с неба. Она вырастает как побочный плод на древе разума, а разум не может не быть связан с Логосом. Пустое место, зиявшее в русской душе именно здесь, в «словесной», разумной ее части, должно быть заполнено чем-то. В десятилетие и даже в столетие не выращивается национальный разум. Значит, разум тоже будет импортироваться вместе с немецкими пушками и глобусами. Иначе быть не может. Но это страшно. Это означает глубокую деформацию народной души, вроде пересадки чужого мозга, если бы эта операция была возможна. Жестоко пробуждение от векового сна. Тяжела расплата – люди нашего поколения ощущают это, как никогда. Но другого пути нет. Кто не понимает этого, тот ничего не понимает в истории России и русской интеллигенции.

Интеллигенция? Знаете ли, кто первые русские интеллигенты? При царе Борисе были отправлены за границу – в Германию, во Францию, в Англию – 18 молодых людей. Ни один из них не вернулся. Кто сбежал неведомо куда – спился, должно быть, – кто вошел в чужую жизнь. Нам известна карьера одного из них – Никанора Олферьева Григорьева, который в Англии стал священником реформированной церкви и даже пострадал в 1643 году от пуритан за свою стойкость в новой вере. Не будем торопиться осуждать их. Несомненно, возвращение в Москву означало для них мученичество. Подышав воздухом духовной свободы, трудно добровольно возвращаться в тюрьму, хотя бы родную, теплую тюрьму. Но нас все же поражает эта легкость национального обезличения:

растворится в чужеземной стихии, без борьбы, без вскрика, молча утонуть, словно с камнем на шее! Этот факт сам по себе обличает породившую его культуру и грозно предупреждает о будущем.

За ним идут другие. Непривлекательны первые «интеллигенты», первые идейные отщепенцы русской земли. Что характеризует их всех, так это поверхностность и нестойкость, подчас моральная дряблость. Чужая культура, неизбежно воспринимаемая внешне и отрицательно, разлагала личность, да и оказывалась всего соблазнительнее для людей слабых, хотя и одаренных, на их несчастье, острым умом. От царя Димитрия (Лжедмитрия) к кн.Ивану Андреевичу Хво-ростинину, отступившему от православия в Польше и уверявшему, что «в Москве народ глуп», «в Москве не с кем жить», – к Котошихину, из Швеции поносившему ненавистный ему московский быт, – через весь XYII век тянется тонкая цепь еретиков и отступников наряду с осторожными поклонниками Запада: Матвеевыми, Голицыными, Ордиными-Нащокиными. Чья линия возьмет верх? Мы уже – задним числом, конечно, – пытались показать неизбежность. революционного срыва. Раскол был серьезным доказательством неспособности московского общества к мирному перерождению. В атмосфере поднятой им гражданско-религиозной войны («стрелецких бунтов») воспитывался великий Отступник, сорвавший Россию с ее круговой орбиты, чтобы кометой швырнуть в пространство.

Царское село

Действие первое

По-настоящему, как широкое общественное течение, интеллигенция рождается с Петром. Конечно, характеристика «беспочвенности» не применима к титану, поднявшему Россию на своих плечах; да и «идейность» не выражает пафоса его дела – глубоко практического, государственного, коренившегося в исторической почве и одновременно в потребностях исторического дня. Но интеллигенция – детище Петрове, законно взявшее его наследие. Петр оставил после себя три линии преемников: проходимцев, выплеснутых революцией и на целые десятилетия заполнивших авансцену русской жизни, государственных людей – строителей Империи и просветителей-западников, от Ломоносова до Пушкина поклонявшихся ему, как полубогу. XYIII век раскрывает нам загадку происхождения интеллигенции в России. Это импорт западной культуры в стране, лишенной культуры мысли, но изголодавшейся по ней. Беспочвенность рождается из пересечения двух несовместимых культурных миров, идейность – из повелительной необходимости просвещения, ассимиляции готовых, чужим трудом созданных благ – ради спасения, сохранения жизни своей страны. Понятно, почему ничего подобного русской интеллигенции не могло явиться на Западе – и ни в одной из стран органической культуры. Ее условие – отрыв. Некоторое подобие русской интеллигенции мы встречаем в наши дни в странах пробуждающегося Востока: в Индии, в Турции, в Китае. Однако, насколько мы можем судить, там нет ничего и отдаленно напоминающего по остроте наше собственное отступничество: нет презрения к своему быту, нет национального самоуничтожения – «мизопатрии». И это потому, что древние страны Востока были не только родиной великих религий и художественных культур, но и глубокой мысли. Они не «бессловесны», как Древняя Русь. Им есть что противопоставить европейскому разуму, и они сами готовы начать его завоевание. Пожалуй, лишь Турция, как более бедная мыслью (если не смешивать ее с арабским миром ислама), готова идти в отрицании своего быта и веры по стопам русских вольтерьянцев. И здесь причина одна и та же.

Сейчас мы с ужасом и отвращением думаем о том сплошном кощунстве и надругательстве, каким преломилась в жизни Петровская реформа. Церковь ограблена, поругана, лишена своего главы и независимости. Епископские кафедры раздаются протестантствующим

царедворцам, веселым эпикурейцам и блюдолизам. К надругательству над Церковью и бытом прибавьте надругательство над русским языком, который на полстолетия превращается в безобразный жаргон. Опозорена святая Москва, ее церкви и дворцы могут разрушаться, пока чухонская деревушка обстраивается немецкими палатами и церквями никому не известных календарных угодников, политическими аллегориями новой Империи. Не будет преувеличением сказать, что весь духовный опыт денационализации России, предпринятый Лениным, бледнеет перед делом Петра. Далеко щенкам до льва. И провалившаяся у них «живая» церковь блестяще удалась у их предшественника, который сумел на два столетия обезвредить и обезличить национальные силы православия.

Не знаю, было ли все это неизбежно. Неизбежны ли самоубийственные формы опричнины Грозного, коммунизм большевистской революции? Откуда эта разрушительная ярость всех исторически обоснованных процессов русской истории? Они протекают с таким «запросом», что под конец не знаешь – и через столетия не знаешь, – что это, к жизни или к смерти?

Петру удалось на века расколоть Россию на два общества, два народа, переставших понимать друг друга. Разверзлась пропасть между дворянством (сначала одним дворянством) и народом (всеми остальными классами общества) – та пропасть, которую пытается завалить своими трупами интеллигенция XIX века. Отныне рост одной культуры, импортной, совершается за счет другой – национальной. Школы и книга делаются орудием обезличения, опустошения народной души. Я здесь не касаюсь социальной опасности раскола: над крестьянством, по безграмотности своей оставшимся верным христианству и национальной культуре, стоит класс господ, получивших над ним право жизни и смерти, презиравших его веру, его быт, одежду и язык и, в свою очередь, презираемых им. Результат получился приблизительно тот же, как если бы Россия подверглась польскому или немецкому завоеванию, которое, обратив в рабство туземное население, поставило бы над ним класс иноземцев-феодалов, лишь постепенно, с каждым поколением поддающихся неизбежному обрусению. Значит ли это, что мы отвергаем дело Петра? Империю, созданную им, этот огромный дом народов, на четыре моря, на шестую часть земного шара, где в суровой школе зрели для творческого пробуждения многомиллионные пласты европейско-азиатской целины? Где русский гений впервые вышел на пространства всемирной истории и с какой силой и правом утвердил свое место в мире! Петербург, с кольцом своих резиденций, – единственный в мире город

трагической красоты, где в граните воплотилась воля к сверхчеловеческому величию, и тяжесть материков плывет, как призрачная флотилия в туманах, с легкостью окрыленной мысли. Отречемся ли мы от развенчанного Петербурга перед вновь торжествующей Москвой?

Людям, которые готовы проклясть Империю и с легкостью выбросить традиции русского классицизма, венчаемого Пушкиным, следует напомнить одно. Только Петербург расколол пленное русское слово, только он снял печать с уст православия. Для всякого ясно, что не только Пушкин, но и Толстой и Достоевский немыслимы без школы европейского гуманизма, как немыслим он сам без классического предания Греции. Ясно и то, что в Толстом и Достоевском впервые на весь мир прозвучал голос допетровской Руси, христианской и даже, может быть, языческой, как в Хомякове и в новой русской богословской школе впервые, пройдя искус немецкой философии и католической теологии, осознает себя дух русского православия.

Как примирить это с нашей схемой сосуществования двух культур? Для всех ясно, что эта схема откровенно «схематична». Действительность намного сложнее, и даже XYIII век и русское барство, особенно в нижних слоях его, много народнее, чем выглядит на старинных портретах и в биографиях вельмож. Не все получали свой последний лоск в Версале. В саратовских и пензенских деревушках – я говорю о дворянстве (см. у Вигеля) – XYII век затянулся чуть не до дней Екатерины. Обе культуры живут в состоянии интрамолекулярного взаимодействия. Начавшись революционным отрывом от Руси, двухвековая история Петербурга есть история медленного возвращения. Перемежаясь реакциями, но все с большей ясностью и чистотой звучит русская тема в новой культуре, получая водительство к концу XIX века. И это параллельно с неуклонным распадом социально-бытовых устоев древнерусской жизни и выветриванием православно-народного сознания. Органическое единство не достигнуто до конца, что предопределяет культурную разрушительность нашей революции. Ленин в самом деле через века откликается Петру, отрывая или формулируя отрыв от русской культуры впервые к культуре приобщающихся масс.

Вглядимся в интеллигенцию первого столетия. Для нас она воплощается в сонме теперь уже безымянных публицистов, переводчиков, сатириков, драматургов и поэтов, которые, сплотившись вокруг трона, ведут священную борьбу с «тьмой» народной жизни. Они перекликаются с Вольтерами и Дидеротами, как их венценосная повелительница, или ловят

мистические голоса с Запада, прекраснодушествуют, ужасаются рабству, которое их кормит, тирании, которой не видят в позолоченном абсолютизме Екатерины. Над этой толпой возвышаются головы истинных подвижников просвещения, писателей, уже рвущихся к народности, Фонвизиных, Новиковых, масонов. Ломоносов и Державин вообще перерастают «интеллигенцию». Но что единит их всех, так это культ Империи, неподдельный восторг перед самодержавием. Нельзя забыть, в оценке русской интеллигенции, что она целое столетие делала общее дело с монархией. Выражаясь упрощенно, она целый век шла с царем против народа, прежде чем пойти против царя и народа (1825–1881) и, наконец, с народом против царя (1905–1917). В пышных дворцах Екатерины в Царском Селе поэты встречаются с орлами-завоевателями; две линии наследников Петровых еще не разошлись. Лавр венчает меч, Державин поет Потемкина, и все на коленях перед Фелицей. Никакой фимиам не претит, как не кажется льстивым в наши дни в России дифирамб пролетарской музы. Гармония между властью и культурой, как во дни Августа и Короля-Солнца, ничем не нарушается. Интеллигенция, оторванная от народа и его прошлого, не порвала связей со своим классом и с царем (царицей). Здесь ее почва, суррогат почвенности; только через самодержавие она связывается с историческим потоком русской жизни.

Арбат

Действие второе

Между Царским Селом и Арбатскими переулками, новой резиденции русской интеллигентской мысли, маленькая интермедия на Сенатской площади. 14 декабря 1825 года, почти незаметное в политической истории государства Российского, – неизгладимая веха в истории русской интеллигенции. Здесь совершается ее отрыв от самодержавия, отныне и навсегда она покидает царские дворцы.

В оценке этого тяжелого для обеих сторон разрыва нельзя забывать, что интеллигенция начала XIX века осталась верной себе и традиции Петра. Не она первая изменяет монархии, монархия изменяет своей просветительной миссии. Перепуг Екатерины, Шешковский, гибель Радищева и Новикова – в этом русская интеллигенция неповинна. Она с ужасом встретила восстание крестьянства при Пугачеве и безропотно смотрела на его подавление. Отвечать ей пришлось за французских якобинцев да за дурную совесть Екатерины. Интеллигенция простила ей все и в светлые дни Александра боготворила ее имя. С Александром интеллигенция всходит на трон, уже подлинная, чистая интеллигенция, без доспехов Марса, в оливковом венке. Этот кумир, обожаемый, как ни один из венценосцев после другого Великого Александра, – заключит над трупом своего отца безмолвный договор с молодой Россией: смысл его был в хартии вольностей, обеспечивавших дворянство, только что перенесшее режим Павла. Этому договору Александр изменил и всю жизнь сохранял сознание своей измены. Потому и не мог карать декабристов, что видел в них сообщников своей молодости. Но личный страх определил измену Александра – за корону, за власть, – но все же страх: страх перед свободой, неверие в человека, неверие в свой народ. В реакции он остался таким же оторванным от национальной и религиозной жизни народа, каким был во дни свободолюбивых иллюзий. Отметим: русская монархия изменяет Западу не потому, что возвращается к Руси, а потому, что не верит больше в свое призвание. Отныне и до конца, на целое столетие, ее история есть сплошная реакция, прерываемая несколькими годами половинчатых, неискренних реформ. Смысл этой реакции – не плодотворный возврат к забытым стихиям народной жизни, а топтание на месте, торможение, «замораживание» России, по словуПобедоносцева. Целое столетие безверия, уныния, страха: предчувствие гибели. В самые тихие «бытовые» годы Николая 1,

Александра III все усилия и весь строй государства ориентированы на оборону от призрака, от тени Банко. Пять виселиц декабристов – это «кормчие звезды» Николая 1, пять виселиц первомартовцев освещают дорогу Александра III. Русская монархия раскрывает в этом природу своей императорской идеи: «Не царство, а абсолютизм». Ключ к ней на Западе, как и ключ к идеологиям русской интеллигенции. Революция во Франции убила абсолютизм просвещенный, и реставрация могла на несколько десятилетий оживить абсолютизм охранительный. Русский абсолютизм повторил, симпатически, этот излом, не имея своей революции, и этим создал карающий призрак революции.

Декабристы были людьми XYIII века по всем своим политическим идеям, по своему социальному оптимизму, как и по форме военного заговора, в которую вылилась их революция. Целя пропасть отделяет их от будущих революционеров: они завершители старого века, не зачинатели нового. Вдумываясь в своеобразие их портретов в галерее русской революции, видишь, до чего они, по сравнению с будущим, еще почвенны. Как интеллигенция XYIII века, они тесно связаны со своим классом и с государством, Они живут полной жизнью: культурной, служебной, светской. Они гораздо почвеннее интеллигентов типа Радищева и Новикова, потому что прежде всего офицеры русской армии, люди службы и дела, нередко герои, обвеянные пороховым дымом двенадцатого года. Их либерализм, как никогда впоследствии, питается национальной идеей. В их лице сливаются две линии птенцов гнезда Петрова: воинов и просветителей. На них в последний раз в истории почил дух Петра.

Неудача их движения невольно преломляется в наших глазах его утопичностью. Это обман зрения. Ничто не доказывает, что либеральная дворянская власть была большей утопией для России, чем власть реакционно-дворянская. Не нам решать этот вопрос. Против обычного – и в революционных кругах – понимания говорит весь опыт XYIII века.

Крушение западнических идеалов заставляет монархию Николая I ощупью искать исторической почвы. Немецко-бюрократическая по своей природе, власть впервые чеканит формулу реакционного народничества: «православие, самодержавие и народность». Но дух, который вкладывается в эту формулу, менее всего народен. Православие в виде отмеренного компромисса между католичеством и протестантством, в полном неведении мистической традиции восточного христианства; самодержавие, понятое как европейский абсолютизм; народность как этнография, как московские вариации в холодном классицизме Тона, переживание Хераскова в Кукольнике: не вполне обрусевший немец на

русской государственной службе, имя которому легион, именно так только и мог понимать Россию и ее национальную традицию.

Это был первый опыт реакционного народничества. С тех пор мы пережили еще русский стиль Александра III и православную романтику Николая II. Нельзя отрицать, что к XX веку познание России делает успехи, но вместе с тем глубокое падение культурного уровня дворца, спускающегося ниже помещичьего дома средней руки, делает невозможным возрождение национального стиля монархии.Она теряет всякое влияние на русское национальное творчество.

Однако нельзя забывать, что именно в николаевские годы в поместном и служилом дворянстве, как раз накануне его социального крушения, складывается до известной степени национальный быт. Уродливый галлицизм преодолевается со времени Отечественной войны, и дворянство ближе подходит к быту, языку, традициям крестьянства. Отсюда возможность подлинно национальной дворянской литературы, отсюда почвенность Аксакова, Лескова, Мельникова, Толстого... О, конечно, это почвенность относительная. Исключая Лескова, сознательная национальная традиция не восходит к допетровской Руси; но допетровский быт, в котором не живет народ, делается предметом пристального и любовного изучения. Иногда кажется, что барин и мужик снова начинают понимать друг друга. Но это самообман. Если барин может понять своего раба (Тургенев, Толстой), то раб ничего не понимает в быту и в миру господ. Да и барское понимание ограничено: видят быт, видят психологию, но того, что за бытом и психологией – тысячелетнюю традицию, религиозный мир крестьянства – «христианства» – еще не чувствуют.

Но не забудем – и это основной, глубокий фон, на котором развертывается новая русская история, – что существует Церковь, прочнее монархии и прочнее дворянской культуры, Церковь, связывающая в живом опыте молитвенного подвига десять столетий в одно, питающая народную стихию, поддерживающая холодно-покровительственное к ней государство, – и что Церковь именно в XIX веке обретает свой язык, начинает формулировать догмат и строй православия.

И вот среди этой общей тяги к почвенности, к возвращению на родину зарождается русская интеллигенция новой формации, предельно беспочвенная, отрешенная от действительности и зажигающая в катакомбах «кружков» свою неугасаемую лампаду. Она просто не заметила св.Серафима, она не принимает православия постных щей и «квасного» патриотизма. Ее историческая память, как и память царя,

подавлена кровью мучеников: Радищевых, Рылеевых. Характерен самый уход из бюрократического Петербурга в опальную Москву, где в барских особняках Поварской и Арбата, вслед за фрондирующими вельможами XYIII века, появляются новые добровольные изгнанники: юные, даровитые, полные духовного горения, – но почти все обескровленные. С пламенностью религиозной веры, какой мы не видим у просветителей старого времени и в которой улавливаются отражения религиозной реакции Запада, юные философы утверждаются на Шеллинге, на Гегеле, как на камне вселенской Церкви; диалектически выводят из «идеи» весь мир данного и должного, «рефлектируют», созерцают, разлагают, – и все для того, чтобы в конечном счете связать себя новым моральным постулатом: найти внутренний подвиг, дать обеты, навсегда преодолевающие мир пошлой действительности. С этим миром интеллигенцию 30-х и 40-х годов связывает еще одна непорванная нить: культура класса, дворянский быт, в котором она живет, еще не рефлектируя над ним, ибо он сливается для нее, как и все конкретное, в голом понятии действительности. Идейность этих десятилетий не могла уже быть превзойдена: это эссенция абстрактной веры. Но на пути беспочвенности предстоял еще один тягчайший подвиг.

Каковы смысл и ценность этого идейного отшельничества? Когда власть отрекается от своей культурной миссии, интеллигенция возжигает очаг чистой мысли. Именно в эти годы она осваивает самые глубокие и сложные явления европейской культуры; место поверхностного «просвещения» прошлого века занимает немецкая философия и гуманистическая наука. Этим заканчивается европеизация России, начавшаяся с париков и бритых бород и завоевывающая теперь последние твердыни разума. Здесь, в 30-е и 40-е годы, рождается русская наука – прежде всего историческая и филологическая, – которая к концу века импонирует и Западу. Только здесь дано культурное завершение дела Петра и вместе с тем достигнут предел законной европеизации. Дальнейшее западничество русской интеллигентской мысли будет бесплодным и косным твержением задов.

От Шеллинга и Германии к России и православию – таков «царский путь» русской мысли. Если он оказался узкой заросшей тропинкой, виной был политический вывих русской жизни. Бурное разложение дворянской России требовало творческого руководства власти. Монархия, поглощенная идеей самосохранения, становится тормозом, и политически активные силы, которые некогда окружали Петра, теперь готовятся к борьбе с династией. А в этой борьбе славянофилы не вожди и не

попутчики. Их мир действительности, по которому они тоскуют, – в романтическом прошлом, в Руси небывалой; от России реальной их отделяет анархическое неприятие государства. В этом их право на место в истории русской интеллигенции. Но поскольку они находят или осмысливают для себя Церковь, они приобретают, в свернутом состоянии, всю Россию, прошлую и настоящую, – ту, которая уже уходит, но не ту, что рождается в грозе и буре. Утверждаясь на ней, они уходят от русской интеллигенции, которая, однако, любовно хранит память о них, почитая своим за общие радения в катакомбах, за отрешенность идейного подвига, хотя он и выводит их из подземелий на бытовую русскую почву.

Действие третье

Вполне мыслимо было бы выводить родословную семидесятников непосредственно от людей 40-х годов: представить Белинского и Герцена спускающимися в народ и концентрирующими в социализме свою политическую веру. Но русская жизнь смеется над эволюцией и обрубает ее иной раз только для того, чтобы снова завязать порванную нить. Таким издевательством истории было вторжение шестидесятников.

Все, что имели сказать поповичи, было, в сущности, уже сказано дворянской интеллигенцией. Поколение отрешенных гегельянцев сделалось родоначальником русского либерализма и даже западнического консерватизма (Чичерин, Катков), но самые яркие его представители кончали свой век с евангелием материализма и социализма. Оно послушно повторило процесс разложения левого гегельянства в антропологии Фейербаха и католического романтизма в сенсуализме утопистов. Этот перелом падает на 30-е годы и еще не изучен во всех подробностях. По-видимому, Герцену принадлежит активная роль соблазнителя. Во второй половине 30-х годов он уже покончил с философским идеализмом, проповедует физиологию и обращает в свою веру Белинского и Бакунина. Разрыв с Грановским, который не хочет отказаться от бессмертия души, – но дело Герцена выиграно. Попав на Запад в 1847 году, он переживает революцию 48-го года в качестве законченного страстного социалиста французской школы.

Но дворянство социально разлагается – оно не в силах пережить «эмансипации» и теряет культурную гегемонию. Разночинцы вытесняют его с командующих высот, но принимают часть его духовного наследства. По самой природе своей, они должны были поддержать интеллигентскую, а не почвенную мысль, традицию западничества, а не славянофильства. Сами они были воплощенным отрывом от почвы, отщепенцами той народной (духовной, купеческой, крестьянской) Руси, которая живет еще в допетровском сознании. Тяжело и круто порвав со «страной отцов», они, в качестве плебеев, презирают и дворянскую культуру, оставшись вне всякой классовой и национальной почвы, уносимые течением европейского «прогресса». Идее западников они сообщили грубость мужицкого слова, донельзя упростили все и одним фактом этого упрощения снизили уровень русской культуры совершенно так, как снизила его революция 1917 года. В рабоче-крестьянской молодежи наших

дней мы вправе видеть тот же психологический тип, что в разночинцах 60-х годов, с соответствующей поправкой на уровень. Недаром старые большевики воспитывались на Писареве, который к началу XX века переживает в революционных кругах настоящее воскресенье.

Старая традиция и старый уровень русской культуры не гибнут с этим нашествием варваров. Пережив тяжелые для них 60-е годы, они продолжают расти и крепнуть преимущественно в почвенных, «реакционных» направлениях русской мысли. Вместе с тем линии русской интеллигенции и русской культуры все более расходятся. К XX веку это уже две породы людей, которые перестают понимать друг друга. Но их духовная значимость и культурный уровень обратно пропорциональны исторической действенности. Нужно ли повторять, что здесь мы занимаемся только «интеллигенцией»?

Отрыв шестидесятников от почвы настолько резок, что перед их отрицанием отходит на задний план идейность и на сцену на короткий момент выступает чистый «нигилист». То, что литературно его представляет дворянин Писарев – безупречный джентльмен, – может быть понято только в свете семидесятского народничества. Интеллигентные дворяне отныне увлекаются потомком разночинцев, а не обратно, как было хотя бы с Белинским в 40-х годах.

По-видимому, нигилизм 60-х годов жизненно в достаточной мере отвратителен. В беспорядочной жизни коммун, в цинизме личных отношений, в утверждении голого эгоизма и антисоциальности (ибо нигилизм антисоциален), как и в необычайно жалком, оголенном мышлении – чудится какая-то бесовская гримаса: предел падения русской души. По крайней мере русские художники всех направлений, от Тургенева до Лескова, от Гончарова до Достоевского, содрогнулись перед нигилистом, Толстой прошел мимо него только потому, что не нашел в своей палитре подходящих красок: он не умел смеяться и не любил малевать черта.

Нетрудно показать и много раз показана отрицательная связь, существующая между духом русского православия и нигилизмом. Отсутствие мира гуманистических ценностей, срединного морального царства, делает богоотступника уже не человеком. Неудивительно, что нигилистическая проказа идет прежде всего из семинарий. Недавно мы познакомились и с патриархом этих взбесившихся бурсаков, развращавшим еще в 40-е годы юного Фета: с жутким Иринархом Введенским. Но, конечно, демоны шестидесятников не одни «мелкие бесы» разврата. Базаров не выдумка и Рахметов тоже. Презрение к людям –

готовность отдать за них жизнь; маска цинизма – и целомудренная холодность; холод в сердце, вызов к Богу, гордость непомерная – сродни Ивану Карамазову; упоение своим разумом и волей – разумом без взлета, волей без любви; мрачность, замораживающая истоки жизни, – таково это новое воплощение Печорина, новая демонофания, в которую нам не мешает вглядываться пристальнее: в ней ключ к бескорыстному героическому большевизму «старой гвардии».

В анархизме 60-х годов еще нет политической концентрации воли. Поскольку он отрицает царизм, он становится родоначальником русской революции. И в историю ее он вписывает самую мрачную страницу. «Бесы» Достоевского родились именно из опыта 60-х годов; по отношению к 70-м они являются несправедливой ложью, 60-е годы: это интернационал Бакунина, гимны топору, прокламации, требующие 3 000 000 голов, идеализация разиновщины и пугачевщины, ужасное, дегенеративное лицо Каракозова, зловещий Нечаев, у которого Ленин – бессознательно, быть может, – учится организационному и тактическому имморализму.

Это второе по времени освобождение «бесов», скованных веригами православия. Всякий раз взрыв связан с отрывом от православной почвы новых слоев: дворянства с Петром, разночинцев с Чернышевским, крестьянства с Лениным. И вдруг этот бесовский маскарад, без всяких видимых оснований, обрывается с началом нового десятилетия. 1870 год – год исхода в народ. Неожиданный, изумительный подвиг, аскетизмом своим возвращающий нас вФиваиду или по меньшей мере в монтанистскую Фригию, совершается теми тысячами русских юношей и девушек, которые воспитаны на Писареве и Чернышевском, на Бокле и Бюхнере, иные побывали в коммунах и по основам мировоззрения мало чем отличаются от нигилистов. Вот уж подлинно: чистым все чисто. Но откуда же взялись девственники и мученики в этом аду, от которого они даже не отрекаются?

И здесь доля вины за эту апорию падает на схематичность нашего изложения: нам пришлось многое упростить, выпустить связующие нити, идущие от 40-х годов к 70-м; не нашлось места Добролюбову, человеку типично переходного времени (50-е гг.), обойдены народолюбивые тенденции «Современника», гражданская муза Некрасова. Все эти почки 70-х годов, в век Базарова. Да и Чернышевский не то же, что Писарев, – хотя, впрочем, менее всего семидесятник.

Но как ни раздумывай в поисках корней народничества, оно необъяснимо до конца, как всякое религиозное движение: это взрыв долго

копившейся, сжатой под сильным давлением религиозной энергии, почти незаметной для глаза в латентном состоянии. Ее можно угадывать в неистовстве Белинского, в тоске Добролюбова, в идеологическом аскетизме 40-х годов. И все же: перед нами стихийное безумие религиозного голода, не утоленного целые века.

Идейный багаж юных подвижников невыразимо скуден; отправляясь в пустыню, они берут с собой вместо евангелия «Исторические письма» Лаврова, – так и спят на них, положив под изголовье. За это евангелие и идут на смерть, как некогда шли люди за сугубое аллилуйя. Святых нельзя спрашивать о предмете их веры: это дело богословов. Но читая их изумительное житие, подвиг отречения от всех земных радостей, терпения бесконечного, любви всепрощающей – к народу, предающему их, – нельзя не воскликнуть: да, святые, только безумец может отрицать это! Никто из врагов не мог найти ни пятнышка на их мученических ризах.

За Лавровым, за Боклем явно стоит образ иного Учителя, зовущего на жертвенную смерть. Если от мира подпольных социалистов обратиться к искусству 70-х годов, то мы поразимся, как в гражданской поэзии, в живописи передвижников – всюду возносится сорванная с киота икона Христа: Крамской, Поленов, Ге, Некрасов, К. Р. Надсон не устают ловить своей слабой кистью, лепечущими устами святые черты. Этот бледный Христос, слишком очеловеченный, слишком нежный, может раздражать людей консервативной церковной традиции. Но еще большой вопрос, чей Христос ближе к Подлиннику.

В одном своем автобиографическом произведении Михайловский вспоминает о сильном впечатлении, какое на него, юношу, произвела картина Семирадского «Суд над христианами при Нероне». Характерно, что он, не колеблясь, почувствовал: христиане – это мы, а наших гонителей, жандармов, прокуроров, надо искать среди язычников.

Атеисты-народники отзываются о Христе всегда с величайшим уважением. Они проникнуты сознанием, что социализм обосновывается в христианской этике.

Д. С. Мережковский с большой убедительностью вскрывал христианские черты в творчестве Некрасова и Глеба Успенского. Их можно восстановлять по скудным библиографическим фрагментам, какие нам остались, и для многих революционеров этой эпохи – конечно, не для всех. Ни в ком, быть может, они не поражают так, как в Александре Дмитриевиче Михайлове, великом организаторе «Народной воли». Тот, кто читал его удивительное письмо к родителям после смертного приговора, скромное и благородное, трепещущее любовью и радостным

ожиданием казни, тот не забудет имени Христа, завершающего его, завершающего всю жизнь человека. Этот дворянский сын, такой нежный, преданный сын (террорист урывает дни для свидания со стариками), юный красавец с холеной русой бородой, впоследствии неумолимый конспиратор, «дворник», кого любили и боялись все в партии, – проходил свою народническую Фиваиду на Волге, в старообрядческом селе. Конечно, нелепые идеи о потенциальной революционности раскола привели его сюда. Он живет около года в крестьянской избе среди верующих людей, подражая им во всем, часами простаивая на молитве, с лестовкой в руках, отбивая поклоны... Об успехах, даже о попытках пропаганды с его стороны мы ничего не слышим; но в Саратове он признается товарищам, что находит особое удовлетворение в этой жизни. Что же, это удовольствие актера, хорошо вошедшего в роль? Нелепое предположение для Михайлова. Пусть, почти наверное, Михайлов не был христианином, тем более церковным, – он должен был находить в душе отклик этому православному быту, заражаться чужой верой – и, во всяком случае, чтить ее.

Религиозный ключ к народникам и народовольцам дает не только имя Христа, но и особое отношение к мученикам раскола. Когда в Шлиссельбурге другая праведница, более сурового склада, Вера Николаевна Фигнер, получила возможность читать книги, она вспоминает, что ничто так не потрясало ее в русской истории, как образ боярыни Морозовой и протопопа Аввакума. Через двести лет мученикам двуперстия откликаются мученики социализма. Это дает право понять природу нового движения как христианской секты, сродной тем, что возникли на почве раскола, бегунам, беспоповцам, взыскующим града, с эсхатологической устремленностью, с жаждой огненной смерти.

Движение, в идее утверждающее крайнее западничество, разоблачает себя как русская религиозная секта. Да, это уже не борьба за дело Петрове... Аввакум – против Петра, воскреснув, расшатывает его Империю. Каким тонким оказался покров европейской культуры на русском теле. Ведь это уже не вековая дворянская школа. Разночинство берет немецкое «последнее слово» на медный пятак. Его хватает ровно настолько, чтобы опустошить русские мозги, но оно бессильно перевоспитать «натуру». Запад дает, как некогда «жидовство», новые символы и догматы. Но идолам молятся как иконам, по-православному.

И вдруг – с 1879 года – бродячие апостолы становятся политическими убийцами. Они объясняют это сами своим политическим опытом, поумнением. Историку новое безумие может показаться горше первого.

Но объяснение правильно: это срыв эсхатологизма. Царствие Божие, или царство социализма, не наступило, хотя прошло уже девять лет. Надо вступить в единоборство с самим князем тьмы и одолеть его. Помните, у Гаршина, красный цветок, в котором для безумного сосредоточилось мировое зло? Как нынешние апокалиптики видят в большевизме воплощенного антихриста, так народовольцы увидели его в царе.

Эти страшные годы борьбы не прошли для них бесследно, не могли не запятнать их голубиной чистоты. Партия террористов уже со всячинкой. Среди нее уже работают провокаторы. Один из предателей после 1 марта всходит вместе с героями на эшафот. Не гнушаются ложью и принимают сотрудников из III отделения. Дисциплина, моральные требования очень высоки; но ищут доблести солдата, а не христианских добродетелей. Вероятно, многие сорвались и погибли в этом бесчеловечном деле. Но другие донесли до эшафота или сохранили на четверть века в каменных мешках Шлиссельбурга сердце, полное веры и любви. Митрополит Антоний видел их и благословил в 1905 году.

Но кровь не прощает. Мученики, становясь палачами, обречены на гибель. Поколение, вынесшее как свой цвет, как чистейшую жертву – цареубийц, должно погибнуть и без преследований правительства. Отметим для многих оставшихся в живых религиозный исход. В 70-е годы «маликовцы», Н. В. Чайковский, Фрей... В 80-е годы толстовцы, Другие, «ренегаты», среди них загадочный Лев Тихомиров, редактор «Народной воли», кончают православием.

Таврический дворец

Действие четвертое

Люди 40-х годов и народники 70-х представляют крайние вершины русского интеллигентского сознания. Дальше начинается распад социального типа, идущий по двум линиям: понижения идейности, возрастания почвенности. Русская интеллигенция агонизирует долго и бурно: она истекает кровью в настоящей, не умозрительной уже, народной революции. Интеллигенция принадлежит к тем социальным образованиям, для которых успех губителен; они до конца и без остатка растворяются в совершенном деле. Дело интеллигенции – европеизация России, заостренная, со второй половины XIX века, в революции. Победы революции наносят поэтому интеллигенции тяжкие раны. Вот даты их: 1 марта 1881 года, 17 октября 1905 года, 25 октября 1917 года. Из них уже первая смертельна. На 1 марта, если не по времени, то по существу, русская мысль (не интеллигентская, а русская), ответила явлением Толстого и Достоевского. По-разному, но с одинаковой силой они отрицают западнический идеал интеллигенции и делают возможным строительство русской культуры на древней, допетровской почве. Интеллигенция была смущена, но не смогла ответить отлучением. Она приняла в себя сильно действующий, хотя и медленный яд, который через четверть века начал видимо разлагать ее сознание. Но количественно, в культурной работе России интеллигенция преобладает – по крайней мере до первой русской революции.

Она не может умереть, потому что дело, которое она себе поставила сначала как апокалипсический идеал, чем дальше, тем больше становится русским государственным делом. Дворянская Россия с 1861 года безостановочно разлагается, Самодержавие не в силах оторваться от дворянской почвы и гибнет вместе с ней. Замороженная на двадцать лет Победоносцевым Россия явно гниет под снегом (Чехов). Интеллигенция права в своем ощущении гнилости 80–90-х годов, хотя духовно, в глубине национального сознания, эти годы, как часто годы реакции, были, быть может, самыми плодоносными в новой русской истории. Но общественное тело явно требует хирурга. Революция, убитая Достоевским в идее, оправдывается уже политической необходимостью. Отсюда воскресение революционного идеала и движения в конце 90-х годов.

Жизнь интеллигенции этих десятилетий, расплющенной между молотом монархии и наковальней народа, ужасна. Она смыкает свои

бездейственные ряды в подобие церкви, построенной на крови мучеников. Целое поколение живет в тени, отбрасываемой Шлиссельбургской крепостью. Оно подавлено идеей мученической смерти: не борьбы, не подвига, не победы, а именно смерти.

О, зачем не лежит твой истерзанный труп
Рядом с нами, погибшими братьями? –

терзает себя Якубович, поэт-каторжник, идейный наследник «Народной воли».

В сущности, настоящим гимном русской революции была не бездарная лавровская Марсельеза, а похоронный марш:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу...

И даже в новом революционном приливе 1900-х годов демонстрации студенческой молодежи чаще всего связаны с похоронами: Шелгунова, Михайловского, Бунакова, кн. С. Н. Трубецкого... И как настоящие политические демонстрации, первомайские и другие, они всегда безоружны, их смысл всегда в избиении – нагайками, шашками – беззащитных, не сопротивляющихся людей. Это всегда жертва, и не бескровная; единственная, но глубокая политическая идея ее: из крови мучеников восстанут новые борцы.

Новых идей до появления на сцену марксизма не поступает; их боятся, как ереси. Весь смысл этой секты в хранении чистоты и «заветов». Кодекс общественной этики вырабатывает мелочную систему запретительных норм, необходимых, чтобы сохранить дистанцию перед врагом, с которым нет сил бороться. Враг этот откровенно – русское государство и его власть. Умственный консерватизм навсегда остается главным признаком идейно чистой, пассивно стойкой русской интеллигенции в ее основном, либерально-народническом русле.

Для России и эта формация людей не бесплодна. Вытесненные из политической борьбы, они уходят в будничную культурную работу. Это прекрасные статистики, строители шоссейных дорог, школ и больниц. Вся земская Россия создана ими. Ими главным образом держится общественная организация, запускаемая обленившейся, упадочной бюрократией. В гуще жизненной работы они понемногу выигрывают в почвенности, теряя в идейности. Однако остаются до конца, до войны 1914 года, в лице самых патриархальных и почтенных своих старцев безбожниками и анархистами. Они не подчеркивают этого догмата, но он является главным членом их «Верую». Душа этой религии, впрочем, не в догмате: она в жертве, которая составляет неотъемлемую основу

народнического мировоззрения.

Революционная лава, остывая в земском, трудовом народничестве, принимает облик демократического либерализма. Социализм если не линяет до утопии, то отодвигается в туманное будущее. Семидесятники ненавидели либерализм, который, ответвившись от идейного ствола 40-х годов *а* окрыленный было коротким десятилетием реформ, питается всего больше модной англоманией. Остывшие народники конца века могли уже подать руку конституционалистам английской школы. Такова формула будущей партии «Народной свободы». Но либерализм не создает ни одной новой идеи; он несет вместе с народничеством вахту у знамени «хранимых заветов».

Появление марксизма в 90-х годах было настоящей бурей в стоячих водах. Оно имело освежающее, озонирующее значение; в марксизме недаром получают крещение все новые направления – даже консервативные – русской политической мысли. Это тоже импорт, разумеется, – в большей мере, чем русское народничество, имеющее старую русскую традицию. Но в научных основах (все-таки научных!) русского марксизма были моменты здорового реализма, помогшие связать интеллигентскую мысль с реальными силами страны.

Россия, под победоносцевскими льдами, социально переродилась. Новые классы – рабочие, промышленники, – приобщаясь к «просвещению», начинают реальную, а не утопическую классовую борьбу. Плеханов оказался пророком: рабочий был той точкой опоры, куда должен быть приложен революционный рычаг. Пролетарий, оторванный от народной (то есть крестьянской) почвы, сам сделался почвой, на которую мог осесть революционный скиталец. Русская социал-демократия, несомненно, самое почвенное из русских революционных движений. В нем практически профессионалы революции путем радикального упрощения своего интеллигентского сознания сливались с верхушкой «сознательных пролетариев», образуя не новую интеллигенцию, а кадры революционных деятелей. В этом свете понятен особый пафос классовой идеи в России и особая ненависть к интеллигенции в марксистском лагере. Для него «классовый» означало «почвенный», «интеллигенция» – мир старой, отрешенной кружковщины XIX века.

Конечно, и в марксизме, особенно русском, живет, хотя и темная, религиозная идея: по своей структуре революционный (не реформистский), марксизм является иудео-христианской апокалипсической сеткой. Отсюда он сделался в России не только рассадником политических буржуазных идеологий (Струве), но и

богословских течений. В отличие от народничества, которое, по своей отрешенности, могло развиваться только в сектантство, марксизм в социально-классовом сознании своем и догматизме системы таил потенции православия: они и были вскрыты вышедшими из него вождями новой богословской школы.

Молодое народничество социалистов-революционеров идейно ничего не приносит в сокровищницу заветов, хотя оказывается более чутким к веяниям культуры. Оно воскрешает в политической борьбе опыт «Народной воли», более грозный и действенный на фоне растущего движения масс. Террор дал несколько героев с чертами христианского мученичества, но морально разложился еще скорее народовольчества. Революция была уже делом, а не жертвоприношением. И потому авантюризм и провокация необычайно быстро убили жертвенную природу террора: Азеф и Савинков – Каляева и Балмашева. Но народничество уже нашло путь к деревне, возделанной за несколько десятилетий земским плугом; к 1905 году «смычка» интеллигенции с народом была уже совершившимся фактом. Нельзя обойти молчанием еще одной силы, которая в эту эпоху вливалась в русскую интеллигенцию, усиливая ее денационализированную природу и энергию революционного напора. Эта сила – еврейство. Освобожденное духовно с 80-х годов из черты оседлости силой европейского «просвещения», оказавшись на грани иудаистической и христианской культуры, еврейство, подобно русской интеллигенции Петровской эпохи, максимально беспочвенно, интернационально по сознанию и необычайно активно под давлением тысячелетнего пресса. Для него русская революция есть дело всеобщего освобождения. Его ненависть к царской и православной России не смягчается никакими бытовыми традициями. Еврейство сразу же занимает в русской революции руководящее место. Идейно оно не вносит в нее ничего, хотя естественно тяготеет к интернационально-еврейскому марксизму. При оценке русской революции его можно было бы сбросить со счетов, но на моральный облик русского революционера оно наложило резкий и темный отпечаток.

К 1905 году все угнетенные народности царской России шлют в революцию свою молодежь, сообщая ей «имперский» характер.

Революция 1905 года была уже народным, хотя и не очень глубоким, взрывом. И в удаче, и в неудаче своей она оказалась гибельной для интеллигенции. Разгром революционной армии Столыпиным вызвал в ее рядах глубокую деморализацию. Она была уже не та, что в 80-е годы: не пройдя аскетической школы, новое поколение переживало революцию не жертвенно, а стихийно. Оно отдавалось священному безумию, в котором

испепелило себя. Дионисизм вырождался в эротическое помешательство. Крушение революции утопило тысячи революционеров в разврате. От Базарова к Санину вел тонкий мост, по которому прошло почти все новое поколение марксистов. Лучшие впитывались творящейся русской культурой, слабые опускались, чтобы всплыть вместе с накипью русского дна в октябре 1917 года.

Я сказал, что интеллигенцию разлагала ее удача. После 17 октября 1905 года перед ней уже не стояло мрачной твердыни самодержавия. Старый режим треснул, но вместе с ним и интегральная идея освобождения. За что бороться: за ответственное министерство? за всеобщее избирательное право? За эти вещи не умирают. Государственная дума пародировала парламентаризм и отбивала, морально и эстетически, вкус к политике. И царская, и оппозиционная Россия тонула в грязи коррупции и пошлости. Это была смерть политического идеализма.

И в те же самые годы мощно росла буржуазная Россия, строилась, развивала хозяйственные силы и вовлекала интеллигенцию в рациональное и европейское и в то же время национальное и почвенное дело строительства новой России. Буржуазия крепла и давала кров и приют мощной русской культуре. Самое главное, быть может: лучшие силы интеллигентского общества были впитаны православным возрождением, которое подготовлялось и в школе эстетического символизма, и в школе революционной жертвенности.

За восемь лет, протекших между 1906 и 1914 годами, интеллигенция растаяла почти бесследно. Ее кумиры, ее журналы были отодвинуты в самый задний угол литературы и отданы на всеобщее посмешище. Сама она, не имея сил на отлучение, на ритуальную чистоту, раскрывает свои двери для всякого, кто снисходительно соглашается сесть за один стол с ней временным гостем. В ее рядах уже преобладают старики. Молодежь схлынула, вербующая сила ее идей ничтожна.

И, однако, изжито ли старое противоположение «интеллигенция и народ»? Изменяя революции, интеллигенция забыла о народе. Что там?

Из столыпинской деревни доносится голос хулигана, но она уже шлет в город своих поэтов. В ней совершаются какие-то сдвиги, с которыми былая интеллигенция уже утратила связь. Тогда-то раздался голос часового на башне: Блок поднял брошенную тему «интеллигенция и народ» и указал на пропасть, все еще зияющую. Пророчил гибель и тогда уже звал: «Слушайте революцию!» А из низов, из темной черносотенной глубины ему отзывался нутряной злобой крестьянский голос: Карпов, «Пламя».

Война заглушила все голоса. В ней остатки интеллигенции утонули, принеся себя в жертву России, и в этой жертве утопили остатки революционной совести.

Действие пятое

Что такое народ и что такое большевики 1917 года по отношению к интересующей нас проблеме интеллигенции? Легче и проще ответить на второй вопрос.

Есть взгляд, который делает большевизм самым последовательным выражением русской интеллигенции. Нет ничего более ошибочного. В большевизме, правда, доживает множество отдельных элементов русского радикального сознания, что облегчает темному слою «работников просвещения» сотрудничество с ним. Но самая природа большевизма максимально противоположна русской интеллигенции: большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции.

Преодоление интеллигенции может совершаться и совершается многими путями. Если не говорить об органической национальной идее, которая в корне меняет тип «идейности», то почвой для оседания кочевой интеллигенции может быть всякое подлинное «дело». Для многих такой почвой была наука. Люди 40-х годов – Буслаевы, Соловьевы – находили свою почву в исторической и филологической науке, нигилисты 60-х годов – Сеченовы, Мечниковы – в естествознании. Наука несет с собой традицию, всечеловеческую связь – пусть не национальную, но все же историческую почву. Личность включается в цепь поколений, в определенном звене ее, ее дело определяется уже не ею самой, а коллективным разумом. Но и всякое профессиональное дело, взятое, как призвание, с чувством личной ответственности, выводит из кочевого быта. Врач, инженер, поскольку они преданы своему делу, уже не интеллигенты или остаются интеллигентами в каком-то верхнем, безответственном плане сознания: на чердаке, куда сваливают всякую рухлядь. Деловитость и интеллигентность несовместимы.

Большевики – профессионалы революции, которые всегда смотрели на нее как на «дело», как смотрят на свое дело капиталистический купец и дипломат, вне всякого морального отношения к нему, все подчиняя успеху. Их почвой была созданная Лениным железная партия. Почва не Бог весть какая широкая – было время, когда вся партия могла поместиться на одном диване, – но зато страшно вязкая. Она поглощала человека без остатка, превращала его в гайку, винт, выбивала из него глаза, мозги, заполняя череп мозгом учителя, непомерно разросшегося, тысячерукого, но одноглазого. Создание этой партии из такого дряблого материала было

одним из чудес русской жизни, свидетельством о каких-то огромных – пожалуй, даже допетровских – социальных возможностях. Вся страстная, за столетие скопившаяся политическая ненависть была сконденсирована в один ударный механизм, бьющий часто слепо – вождь одноглазый, – но с нечеловеческой силой.

И все же эта машина была почти стерта в порошок столыпинской каторгой и ссылкой, где получили свою последнюю шлифовку многие из нынешних государственных деятелей России. Было разрушено все, кроме традиции, кроме плана, чертежа (ведь здесь единство механическое, а не органическое), материала злобы и несломленной воли вождя.

Остальное сделала народная стихия, питательный бульон, который с микробиологической быстротой размножил «палочки» большевизма в революционной России.

Но эта Россия, этот народ – как понять его? С одной стороны, революция, медленно, но верно просачивающаяся в самую толщу масс, привила ему (еще с 1905 г.) основы интеллигентской веры... С другой, – едва почувствовав себяхозяином жизни, народ принялся яростно истреблять интеллигенцию, наплевал на свободу и демократию, которые были ему предложены, и успокоился только в новом, едва ли не тяжелейшем рабстве, которое в России и поныне слывет под презрительной кличкой «свободы». В чем источник этого трагического недоразумения?

Я не пишу историю революции и не стану останавливаться на социальных основах классовой ненависти (ясно, что они восходят к не изжитому в России крепостному строю). Здесь меня интересует только народное сознание. К 1917 году народ в массе своей срывается с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, теряет быт и нравственные устои. Интеллигенция может считать его своим – по недоразумению. Ее «идеи», то есть положительное содержание ее евангелия, для народа пустой звук. Более того, предмет ненависти, как книга, шляпа (бей шляпу!), иностранная речь, как все, что разделяет, подчеркивает классовое расстояние: все атрибуты барства. В 1917 году народ максимально беспочвен, но и максимально безыдеен. Отсюда разинский разгул его стихии, особенно жестокий там, где он не сдерживается революционной диктатурой, – в сибирской партизанщине.

Революция пронеслась: в крови утоплена классовая злоба, народ .вернулся к земле, в труде и хозяйстве найдя свою почву. Но в его сознании на месте тысячелетних основ жизни образовалась пустота. У крестьянской молодежи, у активных слоев она быстро заполняется

примитивным материалистическим «просвещением». Разумеется, эта старая интеллигентская идея (в сущности, идея 60-х годов, освеженная марксистским модерном) теперь лишена всякого нравственного пафоса. Но она прекрасно уживается с мощной жаждой жизни, наживы, наслаждений, которой проникнута современная Россия. Повсюду – в городе и в деревне, в высших слоях еврейского нэпа, в разлагающемся коммунизме и в предприимчивой крестьянской молодежи – царит один и тот же дух: накопления, американизма, самодовольства. Гибель коммунизма, можно думать, не только не остановит, но еще более подвинет этот рост буржуазного сознания. Интеллигентские «идеи» находят свою настоящую (не псевдоморфную, религиозную) почву: в новом мещанстве. Тем самым вековое противостояние интеллигенции и народа оканчивается: западничество становится народным, отрыв от национальной почвы – национальным фактом. Интеллигенция, уничтоженная революцией, не может возродиться, потеряв всякий смысл. Теперь это только категория работников умственного труда или верхушка образованного класса.

Полно, так ли?

Вся ли Россия проходит азбуку атеизма и американизма? Этому противоречит хотя бы всеми отмечаемый расцвет Церкви и православного быта. Кто же в России ходит в Церковь?

Уже сразу бросается в глаза – по крайней мере в городе, – как много в храмах бывшей интеллигенции. И не только выбитых из жизни стариков, но и молодежи, активно строящей новую Россию. Знакомство с этой христианской молодежью сразу вскрывает в ней знакомые черты: да это все былые народники, вчерашние эсеры! Быть может, без прежней удали, с большею сдержанностью и строгостью – но с тем же энтузиазмом. Воочию видишь; наконец-то поколения «святых, не верующих в Бога», нашли своего Бога и вместе с Ним нашли себя. Вековой маскарад кончился. Интеллигенция влилась в основное русло великой русской культуры, уже начавшей свое оцерковление с конца XIX века.

Но, может быть, в этой точке рождается новая интеллигенция, с новым отрывом от народа, переменившаяся с ним ролями: народ отрывается от исторической почвы, интеллигенция хранит религиозное сознание? Да, это правда, что отныне религиозное и национальное сознание России может строиться только в работе этой новой церковной интеллигенции: не на этнографических пережитках, а на идее-символе. Но, по самой природе Церкви, она не может стать отрешенной. Если мы и видим сейчас среди новообращенных увлечение аскетической Фиваидой,

слабость общественного и культурного сознания, то все это болезни старой интеллигентской души: новый вывих, который должен быть исцелен органической жизнью церковного тела. Церковь слишком связана с живой исторической плотью народа, с его историей и бытом. Она не может жить лишь отрешенным мистическим подвигом, и ничто не чуждо ей в такой степени, как романтика прошлого.

Да и неверно, разумеется, что православие в народе умерло. Оно парализовано в массах, но живо в личностях. В Церкви живут сейчас все классы русского общества. Только в ней в наши дни и можно встретить подлинно всенародное единение.

Две России стоят друг против друга. Социально они перемешаны обе: в обеих верхи и низы, темная масса и интеллигенция. Если хотите определить их, то следует прежде всего отбросить политические мерки. Россия живет сейчас с аполитическим сознанием. Никто не думает в ней о реставрации, мало кто думает о демократии. Что разделяет людей, так это два типа, два идеала жизни: меньшинство живет запросами духа, большинство – хозяйственными злобами дня. Меньшинство почти целиком сейчас в Церкви. Большинство – в организациях правящей партии, но и в неорганизованных массах ее врагов. Россия православная – против России-Америки (тоже провидение Блока). Революция провела в народном сознании глубокую трещину, которая, вероятно, не зарастет и в ряде поколений. Эта трещина та самая, что прорубил Петр, только проходит она теперь иначе, не по классовым линиям, а сверху донизу рассекает народное тело. Классовое образование интеллигенции отныне в самом деле невозможно.

Обе России национальны. Революция самым фактом своей победы и обороны от белых и европейских армий развила в себе мощное национальное чувство. Ему не хватает исторической перспективы, но сама революция, ставшая историей, дает эту недостающую традицию. Принимая в свои святцы декабристов, народовольцев, революционная Россия, отправляясь от них, -приобщается и к дворянско-интеллигентской культуре. Это пока лишь задание, но оно будет выполнено. А за приятием дворянской культуры неизбежно ее преодоление. Народ пойдет путем интеллигенции – хотя бы опаздывая на столетие – через Толстого в Церковь. Раз исцелен дух страны, он будет животворить и тело.

Церковная Россия живет традицией Древней Руси. Ей трудно принять Петра – особенно трудно теперь, когда ее не поддерживает созданная Петром государственность. Однако ей это столь же необходимо, как революционной России – приобщиться к православной культуре. Лишь в

этом слиянии залог подлинно национального творчества. Конечно, это слияние необычайно трудно и может ставиться лишь как предельная задача. На пути к ней стоят различные проекты решений, различные «идеологии», которыми будет жить Россия XX века. Но думается, что одна черта должна резко отличать их от большинства идеологий дореволюционной России: они будут соединять в себе элементы древнерусской и новой, петровской, культуры, в разных сочетаниях и разных стилях. По существу и правде, не может быть и спора о том, кому принадлежит гегемония. Но гегемон должен не забывать об изначальном ущербе, который сделал неизбежным многовековой раскол: не презирать золотых сосудов Египта и прекрасных хананеянок, уже готовых обрезать свои волосы.

На поле куликовом

Настоящая работа задумана как опыт комментария к лирическому циклу Блока, носящему это имя, – комментария неполного, отнюдь не формального, а только тематического. Впрочем, тематический момент в творчестве Блока бесспорно первенствует. Все оно может быть воспринято как движение нескольких основных символов (быть может, даже символа), притом перерастающих план искусства. Символы Блока коренятся в самой глубине его личности, своим развертыванием определяют его жизнь и даже смерть. Они имеют для него трагическое значение.

Впрочем, не только для него. Некоторые из них имеют такое значение и для всех нас. Таков прежде всего символ России.

Национальное самосознание есть непрерывно раскрывающийся духовный акт, смысл которого, говоря словами В. Соловьева, есть постижение в судьбе и духе народа того, «что Бог думает о нем в вечности». Мы всегда неполно и отрывочно созерцаем отдельные стороны этой таинственной личности. Самые устойчивые национальные характеристики приходится пересматривать, перестраивать, потому что мы имеем дело с подвижным объектом, с меняющимся образом. Самосознание народа непосредственно совпадает с его актуализацией. Новый подвиг, новая жертва – и новый грех – влекут за собой новую установку национального сознания. В этой опознающей работе участвуют, по следам исторического деятеля, проясняя его часто слепую интуицию, философ, историк и поэт. Но поэт и здесь нередко оказывается предвестником. Ему дано упреждать не только историческую мысль, но и самый исторический опыт.

Стало трюизмом утверждать, что поэт Блок был пророком революции, но все еще нельзя без волнения читать среди юношеских «Стихов о Прекрасной Даме»:

Мой конец предначертаний близок,
И война и пожар впереди.

Или: Увижу я, как будет погибать
Вселенная, моя отчизна.

В его стихах была не только «роковая о гибели весть» – гибели мира старого. В них жило предчувствие и новой России: точнее, творящих ее стихий. Мы, пережившие революцию, имеем в ней огромный опыт для нового осознания России. Завершающаяся революция, конечно, выводит нас далеко из мира Блока, застигнутого и испепеленного пожаром. Но до

осмысления всего нового опыта еще далеко. Лава извержения еще не застыла. Наша мысль не в силах еще претворить новой жизни. Даже опыт Блока воспринят и уяснен нами не до конца, хотя он уже не современен: новые поколения смотрят на него как на давно преодоленную ступень. Мы считаем, что для нового национального сознания небесполезно подвести итоги этому уже забываемому опыту поэта.

Тем самым я хочу сказать, что мы подходим к нашей задаче не бескорыстно и не эстетически. Мы хотим обогатить через Блока наше знание о России. Мы выбираем за отправной пункт «На поле Куликовом», потому что это произведение центрально (даже по времени – 1908): в нем сходятся концы и начала Блока, «Ante lucern» (1898) и «Скифы» (1918). Скажем заранее, последней целью нашей работы должно быть понимание «Скифов», последнего слова Блока о России. Ключ к ним – «На поле Куликовом». Вместе с тем Куликовский цикл, взятый сам по себе, весьма загадочен. Он прямо требует комментария. Но, раскрыв его смысл, мы непосредственно получаем и разгадку «Скифов».

1

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.
О Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь степной, наш путь – в тоске
безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы ночной и зарубежной –
Я не боюсь.
Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя И ханской сабли сталь.
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль.
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...
И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!

Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови! Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

Уже этот первый листок лирического пятилистника волнует противоречивостью образов. Где мы? На берегах северной речки или в южных степях? Грусть реки и стогов, скудность глины указывают на великорусский север, близкий и родной поэту. Но кобылица его мнет ковыль! И почему она «степная» (дважды)? Символ степи здесь очень значителен, так как повторяется до пяти раз. Конечно, степь, где «грустят стога», совсем не та степь, где растет ковыль. В первом случае степь взята вместо лугов, но взята умышленно, предваряя основную тему: тоска-печаль северного поля вливается в тоску-страсть южных степей. Эта безбрежная тоска – «твоя, о Русь!», и вместе с тем она «пронзает грудь стрелой татарской воли». Тоска Руси – татарская тоска. Поэт мчится на бой с татарской ратью, неся в груди татарскую тоску по древней, степной воле. Вот основное противоречие, определяющее весь сдвиг образов. С ним связано и другое. Степная воля лирически звучит по- разному. Сначала это радостное упоение: «Я не боюсь... Домчимся. Озарим». И вдруг ужас: «Останови!.. Испуганные тучи... плачь, сердце, плачь!..» Итак, вся пьеса проходит в трех вариациях основной темы степной тоски. Первая вариация: печаль и верность («жена», «долгий путь»). Вторая – страсть; третья – отчаяние. Переломы падают на вторую и пятую строфы. «Стрела татарской воли» вторгается совершенно неожиданно, разрушая печальную верность «долгого пути». Но ужас отчаяния подготовляется ужасом вечной битвы: «Покой нам только снится сквозь кровь и пыль». Выражаясь языком этики, можно сказать, что преступление (измена) менее мотивировано, чем наказание.

Часто говорят, что в лирике романтического поэта, каков Блок, нельзя искать строгой четкости образов. Нельзя требовать соблюдения идеологического тождества. Это, конечно, верно. Но верно и то, что сдвиги смыслового значения образа у Блока неслучайны: они отмечают смену эмоциональных тонов, ряд шагов, образующих определенный путь, развитие темы. Вот почему мы считаем себя вправе подвергнуть этот лирический отрывок такому придирчивому анализу. В результате анализа он не распался на куски, а обнаружил свой подлинный смысл. Смысл этот и есть настоящая тема всего пентаптиха. Последующие пьесы развивают отдельные темы, уже содержащиеся здесь: вторая и третья – тему

верности, четвертая – страстного отчаяния.

Легкие и чистые хореи – как песни детства – объединяют вторую и третью пьесы, уже самой формой своей изолируя их от стремительных, отрывистых ямбов первой и томящих, безвольных амфибрахиев четвертой. Тема верности строга и проста. Ночь перед битвой. Как в летописи, слушают голос земли. Не радостное ожидание боя, не мысль о победе – жертвенная обреченность «сказания о граде Китеже», «Не вернуться, не взглянуть назад...», «Светлый стяг над нашими полками не взыграет больше никогда». И эта покорная жертва смиренна: «Я не первый воин, не последний». Погибнуть, раствориться в жертве народной. Ее молитвенный обряд, церковный, всенародный, – единственная чаемая награда. Робка и скромна личная нота в заключительном призыве к светлой жене – «помянуть за раннею обедней мила друга».

От смирения и жертвенной верности к радости любви услышанной, к восторгу неземных видений. В третьем стихотворении отходят вдаль грозовые голоса битвы, становясь лишь предвестниками таинственной встречи. «В темном поле были мы с Тобою». Только двое, я и Ты. Русь, «жена моя» первой пьесы, «светлая жена» (с маленькой буквы), земной образ иной, Светлой, здесь отступает перед Ней, безымянной, называемой Ты. Светлое видение оставляет на щите друга свой «нерукотворный лик», который будет его эгидой перед «черной тучей орды»: «Светел навсегда»!

Навсегда?
Опять с вековою тоскою
Пригнулись к земле ковыли,
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали.

Срыв после мистического подъема головокружительно резок:

Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.
И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою.
Куда мне лететь за тобой!
Я слушаю рокоты сечи
И трубные клики татар,
Я вижу над Русью далече

Широкий и тихий пожар. Русь далеко. Кругом татарская степь. Вчерашний воин белого стяга бесцельно рыщет во власти темной, вражьей стихии.

Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем...

В бесцельной борьбе с собой, он еще не изменник, он находит силы молить исчезнувшую:

Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи!

Но он забывает ее лицо, он сомневается в ее природе. Он пишет ее с маленькой буквы. Кто она, небожительница или смертная? Заключительная пьеса не разрешает противоречия; она отодвигает его решение в будущее. Сдержанное спокойствие почти классических ямбов лишь приглушило остроту напряженности. Мы возвращаемся к исходному положению:

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла...
Доспех тяжел, как перед боем,
Теперь твой час настал. Молись!

Молись о том, чтобы быть верным, быть «светлым навсегда», чтобы сделать последний выбор. И, однако, после пережитого опыта, мы менее всего уверены в том, каков этот выбор. Не в смирении, не в жертвенной готовности встречает поэт «начало высоких и мятежных дней». Мятежных? Разве смерть за святое знамя – дело мятежа, хотя бы и высокого? Упоение битвы манит. «Не может сердце жить покоем». Но мы уже знаем это: «Покой нам только снится... Покоя нет». Это воет степная тоска, страстный ветер над ковылевым простором. Дух беспокойства и мятежа поэт уже прочно связал с татарской стихией. Это против него бросает он свое последнее заклятие: «Молись!» Но до конца остается темным: когда настанет час последней битвы, которая для Блока была не поэтической фикцией, а реальным ожиданием всей жизни, в чьем он будет стане, в русском или татарском?

2

Ставя так вопрос, мы, может быть, ставим его неправильно. Мы уже видели, что для Блока «путь татарской воли» есть путь Руси. Измена Руси была бы невозможна без изменчивости ее собственного образа. Самый мотив измены нами не вымышлен, не вложен насильственно в лирический цикл Куликова поля («темные мысли», «дикие страсти»). Но все же мы провели глубокий разрез там, где у поэта едва намеченные рубцы. Он пожелал скрыть свою измену в игре меняющегося лица Руси. Но не

пожелал скрыть до конца. Сама тема Куликова поля требует беспощадного разделения двух стихий («биться с татарвою»). Блок сознавал и эту неизбежность, и личную для себя невозможность бесповоротного выбора. Отсюда неразрешенность конфликта. Для нас же встает задача: выяснить, как возникло и какой смысл имеет в поэзии Блока раздвоение лица России.

Тема России у Блока начинает звучать с особой силой в последний период его творчества. Но уже третья пьеса Куликовского цикла прямо говорит нам – предполагая, что мы этого не знаем, – что Россия-родина для Блока есть одно из воплощений Той, о которой он пел сначала под псевдонимом Прекрасной Дамы. Это заставляет неизбежно связывать тему России с основною – в сущности, единственной -темой Блока. Но, говоря об общеизвестном, можно быть кратким.

Поэзия Блока растет и крепнет в разложении единого образа, озарившего его юность. Он идет путями творческих падений, обогащающей нищеты. Его талант вскормлен и вспоен кровью погибающей личности. МноголикостьПрекрасной Дамы не просто ряд икон, воплощений, но ряд измен. В дни безбурных восторгов его гложет предчувствие, и с поразительной четкостью он предрекает собственную судьбу:

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.
О, как паду – и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты![122]

Уже здесь его грядущая измена оправдывается многоликостью Ее, как бы Ее обманом.

В роковой год (1902) «Свершений» (Ст. о Пр. Д. IV), когда демонические соблазны начинают искушать поэта, он высказывает вслух свое подозрение:

В тебе таятся в ожиданьи

Великий свет и злая тьма... и готов уже видеть во лжи и обмане природу вечной женственности:

Я люблю эту ложь, этот блеск,
Твой манящий девичий наряд...
Как ты лжива и как ты бела!
Мне же по сердцу белая ложь...

Белая – запомним эпитет – это все та же, о которой он только что пел:

Белая Ты, в глубинах несмутима...

Всегда в часы холодных раздумий, в часы «возмездий» поэт определяет свой жизненный путь как путь измен:

Ты пред вечностью полон измен, –

и видит свой жребий отмеченным в круге безысходных повторений: «любить Ее на небе и изменить ей на земле».

Конечно, эта онтологическая измена определяет и указанный выше закон его поэзии: постепенные сдвиги образов, меняющих свой смысл.

Мы, разумеется, не будем следить за всеми масками, в каких является Прекрасная Дама. Нас интересует лишь образ России. Его значение, поистине особое, не сравнимое с другими. Слово «маска» всего менее к нему приложимо.Средневековая дама, Снежная дева, Коломбина, Незнакомка – все они носят печать призрачности, воздушной грезы. Поэт сознательно отдается их обману, лишь проводя в их чертах неизменный лик. Потому руки его неизбежно обнимают пустоту, а душа опалена «языками преисподнего огня». К России, родине он возвращается, ища спасения от обманов, как в подлинной правде. Россия – и только Россия – есть действительное воплощение Девы, то есть живая плоть, а не романтическая мечта. Прикасаясь к родной земле, поэт перестает быть романтиком, в жажде подлинной, верной земной любви. Не потому, чтобы его «обольстил» образ России, а потому, что без России он больше не в силах жить.

Он готов принять ее такой, какова она есть, родной ему в святом и грешном, чтобы, приобщившись к ее могучей жизни, исцелить в ней свое больное «я».

Но до этого возвращения к родине какой долгий, мучительный путь!

Долгие годы память германской крови боролась в поэте с памятью родины. Он чувствует себя «потомком северного скальда»; его тянет в романское средневековье, в мир скандинавских саг. Рейн, Гейне, Сольвейг, Ночная фиалка, короли, рыцари и дамы – вот мир, в котором живет поэт, который сливается для него даже с землей петербургских окраин («Ночная Фиалка») и с петербургским взморьем (тема «Кораблей»). Но уже русские мотивы, сперва робко и отдаленно, прозревают эту сложную музыку.

В «Стихах о Прекрасной Даме» (1901–1902), даже в «Ante lucern» (1898–1900), столь отрешенных и бескровных, есть некоторый конкретный фон: земной пейзаж. Небесная лазурь и пояс зорь – обычное место действия или даже действующее Лицо. Там, в небесах, разыгрывается подлинная драма, в борьбе света, тьмы и облаков. Но и земля служит подножием небесного театра. Линии пейзажа даны скупо, как на иконе, но

они конкретны, они безошибочно характеризуют родной поэту русский, подмосковный ландшафт: «Роща у оврага, зеленый холм... Море клевера... Белая церковь вдали... Камыши, осока... Кругом далекая равнина, да толпы обгорелых пней».

Они повторяются, эти намеки, и белая церковь, и клевер, и камыши, свидетельствуя о памяти родной, не пригрезившейся земли. Есть одна деталь, которая, как мы знаем из книги Бекетовой, характерна именно для шахматовскогопейзажа:

Там над горой твоей высокой
Зубчатый простирался лес.

Этот образ, прочно связанный с закатным видением Девы, расширяется до космического значения: «зубчатой земли».

Над русской землей поднимается русское небо, в огнях зари горят небесные терема Царевны, с узорной резьбой коньков, с крыльцом, «словно паперть», под углом гул колокольных звонков. Войди в «узорчатую дверь» и увидишь «узорную скатерть»; в углу образа и красные лампадки. Здесь царица смотрит заставки, «буквы из красной позолоты», царевна кормит белых голубей, и облик ее рисуется чертами русской сказочной красоты: «молодая, с золотою косою, месяц и звезды в косах». Поэт сам тогда чувствует себя героем русской сказки:

Входи, мой царевич, приветный...
Мой любимый, мой князь, мой жених.

Изредка терем царевны расширяется в сказочную страну, в преображенную Русь, где в вечер под вербную субботу идут боярышни, где царю и боярам снятся заморские гости. Почти всюду на неясном бытовом фоне этой фантастической Руси – икона, свеча, лампада, кроткая поэзия церковного обряда.

Весь этот мир образов совершенно лишен плотности, тяжести, характерной для условно-национального русского стиля. Из каких впечатлений строится этот мир? Мы видели отражения русского искусства (деревянное зодчество Севера, книжная миниатюра), русской сказки, песни, духовного стиха и церковного обряда. Этот мир, построенный из тех же элементов, как и живописная Русь, открытая Васнецовым, Билибиным, Нестеровым на рубеже XX века. Русь Блока еще более воздушна, бесплотна, ирреальна. Ее идея – девическая чистота и мужская верность. Это святая, «белая» Русь. За лазурью неба, за алыми золями .именно белый цвет особенно дорог поэту (см. выше: «Белая Ты»).

Прилетали белые птицы...
И плескались белые перья...

Белая рука, белый, белогрудый конь, белые цветы и даже белые слова... Тот же смысл имеет первоначально образ снегов:

Отошла я в снега без возврата, –

прежде чем обернуться синей метелью и заворожить поэта недобрым колдовством. Для Блока «Прекрасной Дамы» белый цвет столь же характерен, как синий романтический цвет для поэта «Снежной Маски» и «Незнакомки».

Как ни слабо намечен у раннего Блока русский пейзаж и образ сказочной Руси, но, сжившись с ними, нельзя не почувствовать между ними некоторого противоречия. Среднерусский московский пейзаж Блока слишком спокоен, реален, цветущ для пригрезившегося рая и для томящейся по нем души. С годами Блок сознает это и навсегда отказывается от «зеленого пира» земли. В одном из стихотворений второго тома, в кольцовских хореях, поэт убедительно показывает, почему для него невозможно кольцовское наивно-радостное упоение родной природой:

Не мани меня ты, воля,

Не зови в поля!

Но здесь дана уже сложная мотивация. С обычным для Блока сдвигом образов и эмоциональных тонов поэт делает здесь два, в сущности, противоположных признания. Языческое слияние с родной землей для него невозможно потому, что он получил религиозное посвящение от «белой руки» (это в прошлом), но оно невозможно и потому, что он живет, в настоящем, с опустошенной, нищей душой.

Мы понимаем, почему шахматовские поля и рощи не вернутся в стихах поэта, но не вернутся и розовые сказочные образы «Белой Руси». Но об этом позже. Сейчас же необходимо указать, что в русские темы певца Прекрасной Дамы врезывается еще один, всего более волнующий нас мотив: чувство исторического рока. Поэт переживает его в прошлом родины, перед васнецовским Гамаюном, который

Вещает иго злых татар,

Вещает казней ряд кровавых,

И трус, и голод, и пожар,

Злодеев силу, гибель правых.

Он читает этот рок и в грядущем, по каким-то ему одному ведомым знамениям времени. Мы уже видели примеры его исторического ясновидения. Особенно поразительно известное стихотворения «Все ли спокойно в народе?» с его страшным призраком «народного смирителя» («Распутья», 1902–1904).

Заканчивая этот анализ, подчеркиваем, что образ Руси у раннего Блока слагается из трех элементов: в него входит среднерусский, подмосковный пейзаж, религиозно-сказочное восприятие древнерусской культуры (Белая Русь) и прозрение русских исторических судеб, всегда трагических. Все это только намечено, очерчено бледно, как и вообще русские темы тонут в массе иных, по большей части отвлеченных тем, вдохновляющих певца Прекрасной Дамы.

3

Когда совершилось неизбежное – «Ты в поля отошла без возврата» (или «в снега»), – поэт очнулся на земле. Но это не твердая, цветущая земля, а наиболее зыбкая, наиболее фантастическая, ирреальная из земных стихий, сродни облакам и туманам, – болота, «пузыри земли». По его признанию, он не может «говорить без волненья» об этих пузырях земли, читая о них в «Макбете». Тема болот чрезвычайно характерна для всех наших символистов: она отвечает общему для них ощущению жизни как таинственного тления. В этом символе заключена порочность и вместе беззащитность, обреченность, тоска по нежной смерти. Каждый по-своему переживает эту волнующую тему. У Блока пузыри земли пережиты наиболее чисто и даже религиозно. Не здесь, не в тлене плоти таились его демонические искушения. Как это ни странно, в недвижной тишине болот поэт видит образ вечности и верности, нетления сквозь вечный тлен:

Полюби эту вечность болот...

Этот куст, без нетления, тощ. Опускаясь так глубоко на дно земли, он еще видит над собой «алую ленту» зорь своей подруги и клянется ей в верности:

Я с тобой – навсегда, не уйду никогда
И осеннюю волю отдам.

Здесь спасение от страстей, от дикой воли, в смиренной покорности.

Мне болотная схима – желанный покой.

Но, конечно, поэт обманывает себя, видя «ласку подруги» в «старине озаренных болот». Там он оказывается совсем в другом обществе – «тварей весенних», «болотных чертенят», «болотных попиков». Детски трогательные, смиренные твари, но, разумеется, некрещеные, разумеется, «нежить, немочь вод». И поэт спускается в эти низы тварного мира, лишенные сознания добра и зла.

Душа моя рада
Всякому гаду,
Всякому зверю
И о всякой вере.

Поэт сливается с этим миром в забвении, в утрате своей личности:

Я, как ты, дитя дубрав,
Лик мой так же стерт...
Мы – забытые следы
Чьей-то глубины.

Это уже не смирение только, не унижение, а уничтожение «я», отказ от бессмертия. Запомним эту черту: готовность к онтологическому отречению от своей личности, безмерность в нисхождении, – она характерна и для некоторых моментов в отношении Блока к России.

Из этих болот она и возникает – новая, уже не сказочная Русь Блока. Как ни зыбка болотная почва, это все же почва, земля. Поэт реально соприкоснулся с ней, реально пережил землю – мы знаем где: в болотных окрестностях Петербурга во время своих уединенных скитаний, о которых он рассказал нам в «Ночной Фиалке». В Шахматове цветущая земля почти не останавливала его взоров, прикованных к небесным пейзажам. В Петербурге он впервые полюбил землю, отдался стихии болот, ища потерять в них свое разлюбленное «я». Петербургские болота открыли для него аскетическую красоту северной России и ее религиозную идею. «Болотная схима» принимает конкретные формы, и из болот возникает монастырь:

Я живу в отдаленном скиту...

Болота отвердевают в северно-русский пейзаж, может быть воспринятый не без влияния Нестерова, и на этой скудной и нищей земле происходит первая встреча Блока с Христом. В стихотворении «Вот Он – Христос – в цепях и розах» неприятной фальшью звучит начало: здесь есть привкус розенкрейцерства, религиозное ощущение Андрея Белого, Блок почему-то дорожит этим символом розы, когда решается говорить о Христе: таков Христос «Двенадцати». Но дальше образ Христа развивается в полном единстве с «окладом убогой природы».

Единый, Светлый, немного грустный –
За ним восходит хлебный злак,
На пригорке лежит огород капустный,
И березки и елки бегут в овраг.
И все так близко, и так далеко,
Что, стоя рядом, постичь нельзя
И не постигнешь синего Ока,
Пока не станешь сам, как стезя...
Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,

Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мертвый злак.

«Глухой овраг», «истоптанна стезя» повторяют тему болотного смирения, и нищий Христос выступает на фоне нищей Руси почти как символ небытия.

Но это смиренное небытие недостижимо. Покой болот сменяется тоской осеннего безвременья, уничтожение – распятием. Алые грозди рябины в ржавой листве – как капли крови. Он сам, поэт, вознесен на крест над свинцовой рябью осенних рек «пред ликом родины суровой». И видит:

...по реке широкой
Ко мне плывет в челне Христос.
В глазах такие же надежды,
И то же рубище на Нем.
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздем.

Христос теряет последние знаки божественности, превращаясь в двойника поэта. Уничтоженный лик становится жалким и распятие безнадежным. Блок мог религиозно пережить лишь Сына Человеческого, соблазненный идеей своего с ним единосущия. Он и сам знает, что его Христос – «не воскресший». Не забудем этих как бы невзначай брошенных слов: «пред ликом родины». Они говорят о том, что и осенняя тоска земли, и образ Христа для поэта слились в нераздельное ощущение родины. Ее лик становится все более четким, и наступает момент, когда он наконец уже не просвечивает сквозь северный пейзаж, а одевается в него. Есть разница между живым ощущением родины, которое всегда было свойственно Блоку, и отношение к ней как к живому лицу. Отныне уже не небесная Подруга и не Христос принимают его песни, а живая родина, Русь, Россия.

Как характерно для Блока, что рождение этой новой его любви связано с новым – для морального суда – падением. Северная аскетическая Русь обращается к поэту новым ликом: кровь рябин, песня дождя и ветра вдруг начинают звучать для него не крестной мукой, а хмельным разгулом:

Разгулялась осень в мокрых долах, –
Обнажила кладбища земли.
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.
Вот оно, мое веселье, пляшет...

Навстречу этому призыву «осенней воли» откликается безумная, хмельная душа поэта, и он торжественно и несколько декларативно совершает свой выход в Русь: «Выхожу я в путь...»

Буду слушать голос Руси пьяной...

Приюти ты в далях необъятных!

Как и жить и плакать без тебя!

Впервые Русь, родина – «ты», живая, хотя совсем не святая – мать ли, жена ли, любовница? – с которой поэт связывает себя вечным, на этот раз нерушимым обетом:

Твой простор навеки полюблю...

Много раз еще изменит свой облик Русь, но поэт уже никогда не изменит ей.

4

Мы по необходимости изолируем тему России у Блока и отказываемся показать жизнь образа России в общем лирическом потоке его творчества. Задача эта и невыполнима в точности и строгом смысле впредь до установления хронологической сетки его «Трудов и дней». Впрочем, хронология здесь не имеет решающего значения. Несомненно, что первые звуки России раздались еще тогда, когда поэт был пленником «Снежных Масок» и «Незнакомок». Долго еще продолжается перебой последних «арф и скрипок» и новых песен родины. Но что из того, что «Песни Родины» и «Возмездия» одновременны? Тематически

непосредственно ясен переход от:

Я пригвожден к трактирной стойке –

к «Осенней воле»:

Запою ли про свою удачу,

Как я молодость сгубил в хмелю.

До этого момента зарождение и рост русской темы протекают на заднем плане, как мотив побочный, лишь теперь становящийся леймотивом. Этот прорыв темы России с нарастанием реализма в поэтической стихии Блока и выражается, как мы сказали, в очеловечивании образа родины.

Новая Россия Блока сразу раскрывает свое женское лицо. Для всякого народа стихия родины, как стихия материнства, является в женском лике. Для Блока это, конечно, не могло быть иначе, хотя сыновнее чувство к России ему чуждо. Его отношение к ней всегда эротично. Как образ любимой, она не терпит в себе никаких мужских черт. В России Блока нет места мужику, нет места и трудовой страде, которая разрушает эротическое созерцание. Одно это проводит пропасть между Блоком и

народническими поэтами, у которых (Кольцова, Некрасова) он заимствует ритмы. Это отличает его и от молодых крестьянских поэтов, воспитавшихся на нем.

Разумеется, у Блока нет и следов аристократического презрения к народу как к трудящимся низам. Он всегда остро болея их страданиями. Но, как певец нищеты и горя, Блок знал лишь петербургскую улицу, рабочих, швеек,проституток, – крестьянский мир остался ему чужд. Голос мужицкой Руси не доходил до его сознания. Он бродил по русским дорогам, глухой к этим звукам, слепой ко всему, кроме родной земли и женских лиц, сливающихся в одно лицо:

...лес да поле,

Да плат узорный до бровей...

Женское лицо облекается в пейзаж и характеризуется культурно-этнографически («узорный плат»). Мы узнаем две стихии их трех, из которых слагался образ родины в цикле «Прекрасной Дамы». Скоро с ним соединится и третья – стихия исторического рока, – получая преобладание в последних стихах Блока о России. Но и пейзаж, и культурная печать изменились. Вместо древнего искусства – живая этнография, вместо среднерусского пейзажа – пока – Северная Русь.

Эта Северная Русь является поэту, естественно, не в летнем или весеннем убранстве, а в слезах осенних дождей или погребенная в зимних сугробах. Мы видели двоякое значение осени для Блока: вольный разгул и распятие. Есть в осени и третий смысл – тоже знакомый нам: смысл болотного покоя и уничтожения. Когда стихает ветер и дождь, «осенний день высок и тих», и в сжатых полях, где стелется дым над овином, слышен плач улетающих журавлей.

И низких, нищих деревень

Не счесть, не смерить оком...

О нищая моя страна,

Что ты для сердца значишь?

Нищета любимой пронзает до боли обнищавшее сердца поэта и связывает их неразрывным кольцом, «перстнем-страданием». Только такой и только здесь Русь для него жена, а не любовница.

Это поле, да еще сжатое, – самая бесстрастная и самая строгая черта родного лица. Но во всех осенних освещениях – в пасмурный, тихий день, в разгуле ветров и в распятии осенней смерти – ощущается единство этого лица. Одна и та же на разных путях страдания, родина остается чистой, нестрашной, Христовой. Но движение образа только началось. С Россией повторяется с роковой необходимостью то же, что было с Прекрасной

Дамой. По мере того как поэт вглядывается в ее лицо, он открывает в нем иные, пугающие его черты. Начинается дрожание, разложение лица на множество изменчивых ликов. С одной разницей. Это разложение России есть в то же время ее познание. Именно здесь творчество Блока достигает такой объективности, которая делает его для нас равнозначным историческому открытию. Воскрешается из забвения, собирается по черточкам таинственное для нас, оживающее ныне в истории лицо России.

Опасное исследование начинается с Русского Севера, с легкой перемены пейзажа.

Задобренные лесом кручи:
Когда-то там, на высоте,
Рубили деды сруб горючий
И пели о своем Христе.

Историческая память – раскольничьи срубы – вдвигает образ пейзажа в даль веков. Прошлое живое и поныне. «Лесные капли» зарождающихся здесь ручьев Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе.

Поэт вдруг увидел в древней Руси чуждый лик Христа – словно Спас Ярое Око глянул на него с новгородской иконы.

Но не только грозный Христос пугает его в северной Руси. Ему мерещатся в ней колдовские, языческие чары.

Лишь мох сырой с обрыва виснет,
Как ведьмы сбитая кудель.

Но чары действуют. Образ спящей колдуньи с ресницами, опушенными мхом, развертывается в целое видение, в дифирамбический гимн – «Русь»:

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь...

Неверный, он сейчас же сбрасывает покровы, окутывающие тайну, и видит странную, «необычайную», но далекую от святости Русь.

С болотами и журавлями
И с мутным взором колдуна...
Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешутся с чертями
В дорожных снеговых столбах.

Мы едва узнаем лицо Руси в этой недоброй колдунье. Всего замечательнее: Русь теряет здесь славянские черты, превращаясь в хоровод «разноликих народов».

Мы, впрочем, еще не вышли из северных болот и дебрей. Только осень сменилась метельной зимой – недоброй магической стихией поэта, – и чужекровная Русь глянула на нас финскими глазами. Историческое ясновидение вскрывает пласты огромной глубины. Поэт сам дает этнографическую разгадку своей Руси.

Не в богатом покоишься гробе,
Ты убогая финская Русь!

Разглядев ее языческую, дославянскую природу, он уже не верит крестам ее церквей, когда-то возникшим для него из северных болот, не верит ее «синему, росному ладану».

И «не старческий, не постный лик» чудится ему под цветным московским платком.

Сквозь земные поклоны, да свечи,
Ектеньи, ектеньи, ектеньи, Шопотливые тихие речи,
Запылавшие щеки твои...

Блок знал чары русской, сжигающей, беспамятной страсти. От Снежной Дамы через цыганку – к «тихой солдатке», разлетевшийся вихрем малявинских баб:

Смотрю я – руки вскинула,
В широкий пляс пошла...
Неверная, лукавая,
Коварная, – пляши! –
под звуки русской гармоники.

И в страсти, как в колдовстве, старая тема измены – «неверная, лукавая» – вторгается, отравляя, а может быть, усиливая очарование.

Впрочем, гармонику поэт любит слушать в рабочих пригородах. Коварная плясунья, должно быть слободская девка, и пляс ее и разгул – из мещанских тем, из песен Фаины. Для Северной Руси поэт оставил ведовство, точно изнанку святости. Северный разгул – осенний, сквозь пьяные рыдания. Для темы вольного, цыганского разгула поэт ищет иных пейзажей.

Прискакала дикой степью
На вспененном скакуне.
Долго ль будешь лязгать цепью?
Выходи плясать ко мне!

Кто эта степная Млада, «дикой вольности сестра»? Что-то не верится в ее славянское имя. Цыганка ли она, любительница «краденых кладов», или иная тяжелая кровь струится в ней, – но тема степей сразу же ассоциируется с неславянской стихией. А где же настоящая, «привольная»

Русь со «светлыми глазами» («Вольные мысли»)? с простором полей и безгрешной любовью? Мы уже видели, говоря о Блоке «Прекрасной Дамы», почему для него невозможно слияние с «земным пиром» земли. Один лишь раз Блок сделал попытку облечь свою русскую любовь в светлые, славянские одежды:

Здравствуй, князь!

Вот здесь у меня – куст белых роз.

Вот здесь вчера повилика вилась.

Но и князь, и повилика лишь отголоски юношеской грезы певца «Прекрасной Дамы»;

Повиликой средь нив золотых

Завилась я на том берегу. Нет, Блоку чужда славянофильская Русь, пожалуй, еще более, чем Русь народническая. Русь для него не икона, и боится он, смотря на нее, новых обманов. Все мы знаем, что нет пределов низости, где отрекся бы он от России («Грешить бесстыдно») – скорее от Христа отречется:

В тумане да в бурьяне,

Гляди – продашь Христа

За жадные герани,

За алые уста!

Неразрывно связаны: славянская стихия, простор полей и славянофильская, идеализированная Москва. Блок, несомненно, не любит Москвы. Об этом мы догадываемся уже по его молчанию. Случайные воспоминания о «прозрачной нежности Кремля в час утра чистый и хрустальный» не в счет для него, певшего Петербург. Не поверив в святую Москву, Блок разглядел мрачную тяжесть ее исторического призвания:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?

Царь, да Сибирь, да Ермак, Да тюрьма...

Он, который готов простить ей все, теперь грозит разрывом любовной связи, вспоминая московскую «тьму». Конечно, это бессильная угроза навеки прикованного сердца. Но его любовь к родине зорка, как ненависть. Под его мучительным взором распадается исторический миф России, оставляя тяжелое сомнение:

Знала ли что, или в Бога ты верила?

Что там услышишь из песен твоих?

Чудь начудила, да Меря намерила

Гатей, дорог да столбов верстовых.

Знакомый мир: финская Русь для поэта реальнее славянской. Исторический подвиг Руси не удался:

До Царьградских святынь не дошла...
Соколов, лебедей в степь распустила ты –
Кинулась из степи черная мгла.

Из разложения старой славянофильской схемы святой Руси рождается новая философия ее истории: финская северная Русь отважилась на бой со степной, татарской стихией, и в этой борьбе тьма одолела ее. Вражескую тьму она приняла в себя, и с той поры

Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни... Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим.

Русь сама обратилась в ханское кочевье – оттого тяжесть и тьма Москвы. И напрасно поэт проклинает свою любовь, отмалчивается на призыв Млады. Голос татарской Руси громко звучит в сердце, заглушая славянские звуки. В «Новой Америке» мы имеем своего рода историко-географическую картублоковской России. Поэт начинает свое путешествие по занесенной снегами «убогой, финской Руси». Но едва разглядел он ее «запылавшие щеки» –

Дальше, дальше... и ветер рванулся,
Черноземным летя пустырем.
Куст дорожный по ветру метнулся,
Словно дьякон взмахнул орарем.

Вот и вся она – черноземная, подлинно русская Россия: сплошной пустырь, о котором нечего сказать: даже куст-дьякон едва ли не из Андрея Белого. Этот провал славянской, черноземной России – самое примечательное в национальной интуиции Блока. В самом центре его географической карты (вот оно, истинное «оскуднение центра») зияет черное пятно. Черное пятно вокруг Москвы, расползаясь радиусами на сотни верст, предвещает близкий провал национального единства: СССР.

А уж там, за рекой полноводной,
Где пригнулись к земле ковыли,
Тянет гарью горючей, свободной,
Слышны гуды далекой дали.
Иль опять это... стан половецкий
И татарская буйная крепь?
Не пожаром ли фески турецкой
Забуянила дикая степь?

Половецкая, татарская Русь воскресает на наших глазах буйством заводов, царством донецкого угля.

Черный уголь – подземный Мессия, –

в новой Америке встает старая Орда. Ко ведь за хаосом огня в доменных печах должен стоять строй машин, тяжелый порядок, – и татарская орда на миг является у Блока в виде «буйной крепи», предваряя евразийскую концепциюЗолотоордынской государственности.

5

Наш анализ окончен. Татарская Русь непосредственно подводит нас к циклу «Куликова поля», из которого мы исходили. Теперь в нем нет для нас ничего загадочного. Мы понимаем раздвоение лица России, понимаем смысл измены. Единственно новое для нас – это «белый» образ Руси, оцерковленный и вознесенный в непосредственную близость «Небесной Жены». Со времени Прекрасной Дамы Блок не дерзал писать иконописных ликов, и только здесь он становится в религиозное отношение к святой Руси. В этой Северной Руси нет ничего финского, загадочного, колдовского. Тем страшнее и стремительнее измена.

Другая волнующая черта этого цикла – его актуальность.

Он обращен к будущему, а не к прошлому. Блок мысленно стоит перед грядущей революцией, «началом высоких и мятежных дней», и сознает повелительную необходимость выбора. Но он объективно прав: образ России двоится не только в его предательском сердце, – единой России нет. Быть может, в этом ее расколе объяснение того, почему родина не могла исцелить поэта, не могла научить его верности.

При всем социальном радикализме Блока, при всем отвращении его от мира «сытых», он долго верил в святость «белого знамени». В октябрьские дни 1905 года для него еще кажется прекрасным

С дикой чернью в борьбе бесполезной
За древнюю сказку мертвым лечь.

И в страшные годы войны он еще уверяет: «Я не предал белое знамя».

Очевидно, революция должна была ощущаться им в своей оргиастической, татарской стихии. Для поэта исключается верность ей, служение ей, – он мог лишь упасть в нее, утонуть в ней.

Но революция 1917 года была воспринята им не только как русское явление. Долгие годы поэт слушал в мире – европейском – подземный гул, предчувствуя обвал ненавистного буржуазного мира. Тогда-то поэт Блок стал публицистом, чтобы уяснить для себя смысл надвигающейся энергии, которая разрядилась в создании «Скифов».

Нам остается одно: наметить генезис самого образа «Скифов». Его «Двенадцать» – это не Россия. «Двенадцать» созданы не по линии воплощений родины, а продолжают городские, фабричные, уличные мотивы «Нечаянной радости». «Скифы» рождаются, несомненно, из «Поля

Куликова».

Рождение это, однако же, лишено органического характера. В творчестве Блока нельзя найти зародышей этого образа. Он создан искусственно, умышленно и в этом смысле должен быть изучен в связи с публицистикой: тема «крушения гуманизма». Однако можно отдать себе отчет в том, как возник этот образ.

Становясь на сторону революции, Блок отдается во власть дикой, монгольской стихии. Но он не хочет совершать измены до конца и обороняется от судьбы эклектическим образом «евразийского» смысла.

Да, азиаты мы

С раскосыми и жадными очами.

Но «варварская лира» сзывает «на братский пир». Эта лира, собственно, не скифская, а славянская лира, и восходит она не только к Пушкину (как сам образ «Скифов» с их ритмом), а даже к Жуковскому, «певцу во стане русских воинов». Между «мирной лирой» и страстью разрушения, которая составляет подлинный пафос поэмы, конечно, невязка, конечно, двуликость. Потому-то и взял поэт этот почти мифологический (сродни кентаврам) образ, что он двулик: азиатской роже должно соответствовать славянское лицо. Но это певучее славянство не имеет ничего общего с белой Русью Блока. Оно насквозь искусственно в своей великолепной риторике. Патриотическая муза Жуковского вторит в нем манифесту Совета рабочих и солдатских депутатов. Поэтому оно неубедительно. Зато «азиатская рожа» удалась необыкновенно. И перевес ее свидетельствует о том, что начала хаоса, распада, «ущербной луны» победили для поэта на Куликовом поле.

Изучение России

Христианская жизнь в миру – процесс двусторонний. Углубление в Церковь, погружение в ее таинственную глубину, замыкание, свертывание, питание в безмолвии, оплодотворение в таинстве – и выход из себя, развертывание, труд, созревание плодов и жатва. От мира в Церковь – от Церкви в мир. Это похоже на двойной ритм дыхания. Движение от Церкви не есть еще отрыв от Церкви. Не выход из Церкви, но исхождение о т нее, в смысле отправления от Начала. Движение в мир не есть рабство и плен в мире, но борьба с миром, его преодоление, преображение. Русское Христианское Студенческое Движение всегда сознавало неразрывную двойственность своей задачи. Спасающиеся в потоке наших дней на церковном корабле не могли не соединяться в некое общество спасания на водах. Только в порядке времени и личной биографии «вхождение» в Церковь сначала должно было заслонить все другие задачи. Это вхождение – процесс, не имеющий конца, абсолютный, как вся духовная жизнь. Но уже на первых шагах пути можно сказать себе: «Я в Церкви. Я живу ее жизнью», хотя бы эта жизнь была весьма слаба и элементарна. И это сознание уже налагает ответственность не только за свою судьбу, но и за весь погибающий мир.

Только монах – и то лишь отшельник, затворник, молчальник – может и должен отрешиться от гложущей боли о мире. В этом е г о подвиг, требуемый духовной иерархией призваний. Для нас, в миру, его установка к миру была бы одновременно гордыней и нерадивостью, знаком охлаждения любви.

Ныне сознание это забило в Движении с непроизвольной стремительностью, пугающей многих. Поставлены новые задачи, привлечены новые работники. Возникает даже опасение, чтобы Движение не потеряло равновесия, не сделало «крена» налево, в сторону чисто мирских задач.

Опасности существуют реально на всяком пути. Но они преодолеваются не пугливым отходом от дела, не сторонними предостерегающими голосами, а внутренним блюдением, постоянной самопроверкой, судом над собой. В этих строках мы хотим осветить задание новой секции «Изучение России». Не о ее конкретной работе, достижениях и промахах идет речь, а именно о ее задании, ее идее, о том духе, с каким она подошла к своей задаче.

Мир, обступающий Церковь, бесконечно сложен. Работа в нем столь

же сложна и разнообразна. Каждый из нас призван трудиться на своей полосе: в хозяйстве, науке, искусстве, воспитании, общественной жизни. Но есть и призвания, общие для всех.

Все мы дети одной родины, боль о которой объединяет нас. Будучи христианами, мы не перестаем быть русскими. Больше того, для нас здесь, в изгнании, почти неразличимо сливается Россия и русская Церковь. Мы не знаем христианства бесплотного, отрешенного от исторической жизни народов. Каждый народ, не только каждая душа, призван исповедать Христа своим языком, своим гением, своим особым служением в мире. Отсюда ясно, что мы подходим к задаче изучения России религиозно и церковно. Это дает нам возможность в отношении России освободиться от всяких партийных и кружковых традиций, объединить людей всех направлений, монархистов и республиканцев, левых и правых, в общем усилии и любви. Наше усилие направлено к разгадке лица России, затуманенного революционной бурей. Мы стремимся разглядеть его в настоящем – сквозь разделяющие нас пространства, сквозь новый, чуждый нам язык; разглядеть его в прошлом, в культуре, в исторических судьбах России, в ее самосознании, разглядеть и в ее будущем, поскольку это будущее определяется ее призванием. Мы не ставим себе задач чисто образовательных, не думаем конкурировать с «Народным университетом», хотя момент информации, изучения входит и в современное, и в историческое постижение России. Но наше изучение подчинено задачам деятельного служения. Идея России, которая опознается нами, должна определить путь нашего будущего служения ей. Мы не выдвигаем конкретных задач этого служения – особенно избегаем политических тем. Мы предвидим, что общность идеи не создает еще единства служения. На пути к реализации лежат бесконечные трудности и блуждания. То, что мы можем уже сейчас ставить своей задачей, – это работа над новым национальным сознанием. У нас есть незыблемое начало – Православие. Есть изменчивая, становящаяся, постигаемая нами материя – Россия в ее исторической жизни. Мы надеемся, что этот расплавленный ныне металл скоро отольется в твердую форму национального самосознания.

Нас не могут удовлетворить господствующие среди нас, в зарубежье, ответы на национальную боль. В них мы видим слишком много ветхого язычества, не перегоревшего в огне испытаний. Мы хотим подчинить служение родине служению ее идее, «интересы» России – ее призванию. В национальном сознании должна быть восстановлена законная иерархия ценностей, которую мы все признаем для отдельной личности. Наш путь лежит посредине – между отрешенным, космополитическим

христианством и конкретным национальным язычеством. Вот что объединяет нас, пришедших из разных политический станов, чтобы делать общее христианское и национальное дело.

Скажут: это утопия. Вы создаете новую политическую группировку. Нынче многие спекулируют на Православии. Евразийцы тоже исходят из Православия и тоже не хотят быть партией.

На это можно ответить: разница в установке. Мы не спешим действовать. Мы не вырабатываем методов действия – а только лишь новое мировоззрение. Мы знаем, что люди, работающие с нами, в жизни разойдутся по разным дорогам, и это не страшит нас. Но мы хотим, чтобы, работая всюду, они унесли с собой искру того огня, которым горим мы: просветленную во Христе любовь к России.

Конкретно: как мы работаем? Но это вопрос о материале. Материал может быть чрезвычайно разнообразен. В нынешнем году у нас работают три семинара. Семинар по изучению марксизма, конечно, лишь одной стороной связан с познанием России. Это изучение одной из самых страшных болезней русского духа – вместе с тем и школа борьбы с нею. Школа, необходимая для всякого, кто хочет работать – сейчас или в будущем – в России. Литературный семинар ставит себе двоякого рода задачи: раскрытие русского национального самосознания в русском слове и изучение духовного состояния современной России в ее художественной литературе. Третий семинар, «историософский»,работает над философией русской истории в лице наших мыслителей и историков XIX века. Смысл этой работы – пересмотр традиций, западнической и славянофильской, установление связей с отцами и освобождение от исторических предрассудков. Собственно, главной нашей задачей было бы философское изучение самой истории, русского исторического процесса. Но такая работа над историческим материалом требует научной школы, подготовки, которой нет у большинства. Изучение историков, философов, публицистов, которые уже переработали, худо или хорошо, этот исторический материал, облегчает нам подход к нему, приучает нас к постановке исторических проблем.

Разумеется, эти первые три семинара не исчерпывают круга возможных, проблем. И современную Россию можно изучать не только по художественной литературе. И русское самосознание раскрывается не только в политической истории России, но и в ее философии, искусстве, прежде всего в ее религиозности.

Одной из первоочередных задач мы считаем изучение национальных проблем современной России с нашей точки зрения: православного

понимания нации как личности со своим историческим призванием. Отчасти эти темы затрагиваются (не изучаются) нами в общих собраниях секции, или кружка, в свободных беседах на «русские» темы.

Когда-нибудь мы поделимся с читателями «Вестника» опытом нашей работы, расскажем о наших успехах и неудачах. Но уже сейчас можно сказать одно. Дело это живое и благодарное. Оно отвечает требованиям жизни, оно вливает в Движение новые силы, не отрывая их от других отраслей работы. В ошибках вините нас, но не отвергайте нашего дела.

Революция идет

Нижеследующие фрагментарные очерки не задаются целью воссоздать облик старой императорской России. Это всего лишь история ее болезни – схематическая до крайности. Из многих линий декадентства автор выбрал линиюсоциальную лишь потому, что она прямее всего приводит к теме революции. Русская революция развивалась и победила как революция социальная. Но даже в этих рамках многое существенное не затронуло: например, экономическое развитие. Самые отношения между общественными классами становятся понятны лишь на фоне духовной жизни общества. Эта основная тема русской истории, которой автор касался в другой связи, здесь лишь просвечивается сквозь социальный узор, сама его освещая.

В настоящей полупублицистической работе честолюбием автора было создать схему, совершенно не зависимую от дореволюционных публицистических направлений русской мысли. Эта задача может быть разрешена лишь приблизительно, но, по убеждению автора, лишь полная свобода от дореволюционных традиций обеспечивает жизненность всякой дореволюционной национальной конструкции.

Оценка недавнего прошлого для автора подчинена задаче искания нового национального сознания. По отношению к этой основной задаче пересмотр традиции является, выражаясь моральным языком, актом покаяния. Ничто так не вредит созидательной работе будущего, как закоренелость в старых грехах, выражающаяся в постоянных попытках идеализации России вчерашнего дня. Все это хилые потуги пересудов уже совершившегося Божия суда.

Если для русской молодежи в России основной задачей является введение в наследство бессмертной культуры старой России, восстановление надорванной связи поколений, то здесь, за рубежом, это же восстановление связи достижимо лишь путем отречения от тленного и мертвого в прошлой культуре.

Лишь совершивший эту суровую работу – прежде всего в самом себе – может надеяться войти небесполезным работником в трудовую мастерскую новой России.

1. Когда зашаталась империя?

Две силы держали и строили русскую Империю: одна пассивная - неисчерпаемая выносливость и верность родных масс, другая активная – военное мужество и государственное сознание дворянства. Теперь всякому ясно, до какой степени эти силы были чужды друг другу. Со времени европеизации высших слоев русского общества дворянство видело в народе дикаря, хотя бы и невинного как дикарь Руссо; народ смотрел на господ как на вероотступников и полунемцев. Было бы преувеличением говорить о взаимной ненависти, но можно говорить о презрении, рождающемся из непонимания. Отдельные примеры патриархальных отношений к крестьянам в иных помещичьих семьях, сохранивших православный быт, не опровергают основного факта. Он засвидетельствован Пушкиным для дней Екатерины, Толстым для Двенадцатого года и середины прошлого столетия. Единственной скрепой нации была идеяцаря – религиозная для одних, национальная для других. Нетрудно видеть, что дворянская империя и мужицкое царство – совершенно, разные идеи. Монархизм русского дворянства, наследственный, кровный, даже религиозно окрашенный, был очень близок к легитимизму французского дворянства или прусского юнкерства. В основе его лежала идея рыцарской верности государю-сеньору, верности данной присяге, своему, дворянскому слову. Эта личная, почти феодальная связь углублялась патриотическим сознанием, видевшим в государстве средоточие национальной жизни, воплощение отечества. Идея национального служения государю была привита нам с Петра. Идея дворянской, личной верности выковывалась в изменнических гвардейских переворотах XVIII века. В век Екатерины дворянское монархическое чувство сложилось окончательно и в существенных чертах своих жило до революции. Дворянство наше могло обожать государя ,но не позволяло унижать себя. Оно уже не могло кланяться царю в ноги, как его предки в старой Москве, или лезть под стол в местнических спорах. Оно восприняло западные начала личной чести и личной верности, хотя и в сословно-корпоративных формах.

Народ относился к царю религиозно. Царь не был для него живой личностью или полити-ческой идеей. Он был помазанником Божиим, земным Богом, носителем божественной силы и правды. По отношению к нему не могло быть и речи о каком-либо своем праве или свей чести. Перед царем, как перед Богом, нет унижения. Пытаясь свести царя на

землю, очеловечить его в своем воображении, народ пользовался образом сказки. Царь Берендей, царь Додон приобретал то бармы и венец московского государя XVII века, то ленту через плечо и аксельбанты. Что касается государственного смысла Империи, то он едва ли доходил до народного сознания. Россия с Петра перестала быть понятной русскому народу. Он не представлял себе ни ее границ, ни ее задач, ни ее внешних врагов, которые были ясны и конкретны для него в Московском царстве. Выветривание государственного сознания продолжалось беспрерывно в народных массах за два века Империи. Россия такова, какой хочет ее царь. Это было подчинение по доверию, а не по убеждению, что не мешало ему быть безусловным и неограниченным. «Поляк ли бунтует» или «наш батюшка велел взять дань с китайцев чаем», народ готов лить свою кровь, не считая, не спрашивая объяснений. Но он льет ее «за веру и царя». Отечество здесь на последнем месте. Для дворянства оно на первом. У него и народа в обиходе даже разные имена для верховного носителя власти. Одни называют его государем, другие – царем. «Государь» – «prince», «seigneur». Это старое московское слово переводимо на иностранные языки. «Царь» – непереводимо, ибо мистически связано с русской религиозной идеей.

Соединение мужицкого царя с дворянским государем создавало из петербургской императорской власти абсолютизм, небывалый в истории. Неограниченный государь Западной Европы на самом деле был ограничен личными и корпоративными правами, еще более – правовым чувством аристократии. Московский царь(как все деспоты Востока) был ограничен религиозными верованиями и бытовым укладом народной жизни.Петербургские самодержанцы могли, опираясь на народ, подавлять дворянство и, опираясь на дворянство, разрушать быт, оскорблять нравственное чувство народа. Религиозная концепция власти, в связи с невидимостью, нереальностью для народа ее носителей, сообщала им полную неуязвимость. Вся ненависть за поругание национальной правды направлялась на господ, на министров, останавливаясь у порога даже Екатерининского дворца.

Если на практике императорская власть обнаруживала большую мягкость сравнительно со своими юридическими возможностями, то это потому, что, по своему воспитанию и культуре,государь был первым дворянином Империи и должен был разделять европейские понятия о приличиях и благовоспитанности, свойственные своему классу. Однако значение народной почвы самодержавия сказывалось всякий раз, когда дворянство пыталось, или только мечтало, перевести свои бытовые и

гражданские привилегии на язык политический. Против дворянского конституционализма царь всегда мог апеллировать к народу. Народ, по первому слову, готов был растерзать царских недругов, в которых видел и своих вековых насильников. В этой обстановке, при двойственности самой природы императорской власти, становится понятной ее органическая неспособность к самоограничению. Конституция в России была величайшей утопией.

В оболочке петербургской Империи Московское царство было, выражаясь термином Шпенглера, «псевдоморфозной». Раскрытие ее приводило само по себе к крушению построенного на ней здания государственности. Другими словами, русская государственность могла – следовательно, должна была – погибнуть от просвещения.

В просвещении был весь смысл Империи как новой формы власти. Рождение Империи в муках петровской революции предопределило ее идею властного и насильственного насаждения западной культуры на Руси. Без опаснойпрививки чужой культуры, и при этом в героических дозах, старая московская государственность стояла перед неизбежной гибелью. Речь шла прежде всего о технике и формах народного хозяйства. Но разве мыслима техника без науки,а новые формы хозяйства без новых хозяйствующих классов? Восемнадцатый век шел без раздумья и колебаний по европейской дорожке. (Только с новыми хозяйствующими классами дело обстояло слабо.) Социальная пугачевщина, с одной стороны, и политический либерализм Новикова и Радищева, с другой, отмечают конец просвещенного абсолютизма в России. Отныне и до конца Империя, за исключением немногих лет, стоит на противоестественной для нее – но не удивительной для последних поколений – позиции охранения. То, что охраняется,– не вековые основы народной жизни, а известный этап их разрушения. В консервативный догмат возводится выдохшийся, мумифицированный остов петровской революции. В этом вечная слабость русского консерватизма – его подлинная беспочвенность. Консерватизм прекрасно понимал лишь одно: опасность просвещения для крепости Империи. Трудно даже сказать, какое просвещение было опаснее: православно-национальное славянофилов или космополитическое и безбожное западников. И то и другое разоблачало основную ложь, поддерживающую всю систему, – ложь, которую можно было бы наглядно выразить так: московский православный царь в мундире гвардейского офицера или петербургский гвардейский офицер, мечтающий быть московским царем.

Для всякого проницательного политика было ясно: когда сознание

этого противоречия проникнет в тугие мужицкие головы, рухнет все здание величайшей в мире Империи, построенной на искусно прикрываемой лжи. Другими словами, задача власти, как справедливо формулировали ее Леонтьев и Победоносцев, – заморозить Россию, ее заживогниющее тело, оттянуть, елико возможно, неизбежный процесс разложения и смерти.

Но задолго до того, как раскрытие основной лжи расшатало крестьянский устой Империи, зашаталось дворянство. Народ был еще как мягкая глина в руках ваятелей, а творчество ваятелей уже иссякало. В военном и государственномотношении Россия достигла своего зенита при Екатерине, в культурном – при Александре. Потемкин, Суворов, Пушкин, Захаров означают предельные вершины русской славы. Большего не могла дать дворянская Россия. Культурный расцвет запоздал вполне нормально на одно поколение. Но если остановиться на военной истории александровского времени, то сквозь весь блеск его всемирных триумфов нетрудно видеть, что подвиги его сынов уступают орлам Екатерины. Слишком ясно, что не военный перевес обеспечил победу над Наполеоном. Государственные люди и полководцы екатерининской эпохи казались титанами для современников Александра. О новом поколении достаточно сказать, что оно ничего не уступило из старых лавров.

Если окинуть взглядом войны, которые Россия вела в XIX и XX столетиях, то линия упадка обозначится с поразительной четкостью. После турецкой войны 1827–1830 годов Россия уже не знает побед. Все серьезные столкновения неизменно оканчивались для нее катастрофой. Даже турецкая воина,1877–1878 годов по своим жертвам и ничтожности политических результатов воспринималась современниками как поражение. Эта военная слабость маскировалась непрерывным ростом Империи. В XIX веке приобретается Кавказ, Туркестан, перед катастрофой 1904 года – Манчжурия. Перед самой гибелью Империи она утверждается в Монголии и северной Персии. Экспансия идет, не встречая серьезного сопротивления. «Дряхлый Восток» не противник и ослабленной России. Да и слишком велик накопленный за полтысячелетия капитал, чтобы промотать его за одно-два поколения. Сила инерции, присущая самой массе исполинского тела России, замедляет упадок.

Откуда эта неизбежность военных неудач России? Ее живая сила – «святая серая скотинка» генерала Драгомирова – сохраняет почти до конца пассивный героизм, совершенно беспримерный. Севастополь, Плевна тому свидетели. Только в Манчжурии впервые дала трещину солдатская верность. Откуда же поражения? Говорят о технической отсталости, о

злоупотреблениях в организации армии (интендантство!). Все это верно. Но почему же в век Петра, Екатерины, даже в веке Александра русская армия не страдала от технической отсталости? Титанические усилия Петра и прогрессивная инерция его преемников завалили на время техническую пропасть между Россией и Западом. Недостаток технических средств заменялся с избытком количеством и качеством живой силы. Сама Европа в XVII веке жила спокойным темпом промышленной работы; весь XIX и начало XX – непрерывная хозяйственно-техническая революция. Чтобы сохранить дистанцию, от России требовалось непрерывное и нечеловеческое напряжение. Достаточно сопоставить идиллию николаевской – гоголевской России с .промышленной горячкой не только Англии 30–40-х годов, но и Франции июльской монархии, чтобы получить головокружение от развертывающейся пропасти. Результатом был Севастополь.

Проблема технической отсталости России сводится к двум основным: слабости западного просвещения, отмериваемого с опаской и с оглядкой чайными ложками, и слабости торгово-промышленного класса, оттесняемого всюду дворянством. Первая возвращает нас к основному пороку власти, вторая – к истории правящего класса.

К этим двум источникам приводит нас и другой урок Крымской войны. Он вскрывает не одну отсталость, но и нечто худшее: коррупцию «тыла». Здесь дала трещину созданная Сперанским бюрократия. Бюрократия была, с одной стороны, формой самодержавной власти, с другой, по личному составу, «инобытием» того же русского дворянства. К дворянству надлежит обратить и первый вопрос об ответственности. До Александра II из числа сил, работавших по разложению Империи, должна быть исключена революционная интеллигенция, по всем известной причине: она ещё не существовала. Без нее происходило разложение николаевской России. Из всех классов русского общества только одно дворянство являлось носителем государственной идеи и государственной власти. Ни в одном из других классов, живущих еще в старом московском быту, мы не видим симптомов разложения. Недуг поразил прежде всего тот класс, который и был мозгом и волей страны, который полтора века, вместе со своим дворянским государством, строил судьбу России.

2. Дворянство

История русского дворянства еще не написана. Может ли она быть написана когда-нибудь удовлетворительно?

Живая семейная память самых старых русских фамилий не восходит дальше XVIII века. Петровская реформа, как мокрой губкой, стерла родовые воспоминания. Кажется, что вместе с европейской одеждой русский дворянин впервые родился на свет. Забыты века, в течение которых этот класс складывался и воспитывался в старой Москве на деле государевом. Родившись в XV веке, широко пополнившись в XVI за счет пришлых, бродячих, даже преступных элементов общества (татар и казаков), поместный служилый класс выявил в опричнине свои социальные притязания, свою плебейскую мстительность против старого боярства, отбунтовал в Смутное время и, выйдя из него победителем, выдвинулся на первое место в государстве Романовых. Закрепощение крестьян было его экономическим завоеванием. НоМосква XVII века, в отличие от петровской России, еще не была узкосословным государством. Служилый класс правил страной не один: духовенство и купечество – земская Русь – имели ещёголос на земских соборах, а первое из них и в царском совете.

Хотелось бы представить себе русского помещика XVII столетия в его бытовой обстановке, в его отношении к крестьянам. До сих пор историки не собрали материала для этого социального портрета. Быть может, самое поразительное – это трудность представить себе московского профессионального воина с военными традициями, с оружием в руках. И эта трудность сама по себе говорит о многом. Русское военное сословие не обнаруживает никаких черт рыцарства. Рыцарство, в общем смысле феодальной этики и быта, свойственно не одному католическому Западу. Его знали и арабско-турецкий ислам, и старая Япония. Вот этих-то самых общих черт профессионально-военного класса – высоко развитого чувства личной чести, независимости и увлечения боевым делом – мы не видим в московском служилом классе. Несомненно, военное дело было для него «службой>>, а не правом. Служба, как и «тягло», есть нечто такое, от чего можно уклониться, быть в «нетех». Рыцарство не знает «нетчиков»: оно выбрасывает беспощадно из своей среды – в клир, в монастырь – всех, лишенных военной доблести. Есть люди, которые объясняют слабость военного сознания московской Руси духом православия. Достаточно указать на православную Киевскую Русь, создавшую свое княжеское

рыцарство, чтобы отвести.эту ссылку. По-видимому, самая принудительность, государственное закрепощение военного дела как службы парализовали развитие рыцарского сознания. Китай и Древний Египет – какпоздний Рим и Византия – тоже его не знают.

В XVIII веке дворянство стоит одно у трона. Оно оттесняет купечество и духовенство далеко вниз к черным, податным сословиям, к крепостному мужику. Оно одно восприняло дух Петровской реформы: западное просвещение и новый имперский патриотизм. У европейского дворянства оно нашло наконец то, чего ему недоставало: кодекс чести, «chevalerie», и идеал военной доблести. Русское офицерство жило ими до дней великой войны, все более одинокое со своими «средневековыми» пережитками среди мирного, «цивилизованного» общества. Европейски воспитанные офицеры сделали русскую армиюнепобедимой. Вооруженный помещик в Москве умел отсиживаться за стенами крепостей или трудиться, проливая более пота, чем крови, в обороне страны от азиатов. При преемниках Петра русские били пруссаков, французов – лучшие европейские армии. Россия создает и первоклассных военных гениев. Золотой век дворянства – дворянской царицы Екатерины – есть вместе с тем вершина русской государственной мощи.

Золотой век дворянства принес ему и дары Пандоры: указ о вольностях. Ещё свежа была память о том роковом дне, когда раздоры в среде шляхетства и его политическая неорганизованность помешали ему закрепить в правовых формах его участие в государственной власти. Оно продолжало влиять на судьбу Империи путем цареубийств и дворцовых заговоров. И благодарное самодержавие освободило его не только от власти, но и от службы. Дворянин остается государем над своими рабами, перестав нести – сознавать на своих плечах – тяжесть Империи. Начинается процесс обезгосударствления, «дезэтатизации» дворянства, по своим роковым последствиям для государствааналогичный процессу секуляризации культуры – для Церкви. Его скрашивает пышный расцвет дворянской культуры: александровские годы, век поэтов и меценатов, денди и политических мечтателей. Конечно, дворянство еще служит, еще воюет, но из чтения Пушкина, как и Вигеля, выносишь впечатление, что оно больше всего наслаждается жизнью. Эта утонченная праздная среда оказалась великолепным питомником для экзотических плодов культуры. Но самая их экзотичность внушает тревогу. Именно отрыв части дворянства – как раз наиболее культурной – от государственного дела усиливает заложенную в духе Петровской реформы беспочвенность его культуры.

Политическое мировоззрение декабристов, конечно, питается не столько впечатлениями русской жизни, сколько западный либерализмом. Их героическая фаланга в Пруссии строила бы вместе со Штейном национальное государство.В России они не нашли себе места, или им не нашлось места. Трагизм России был в том, что «лишними людьми» в ней оказались не только слабые. Дворянство начинает становиться поставщиком лишних людей... Лишь небольшая часть их поглощается впоследствии революционным движением. Основной слой оседает в усадьбах, определяя своим упадочным бытом упадочные настроения русского XIX века.

Конечно, о николаевской России нельзя судить по Гоголю. Но бытописатели дворянской России Григорович, Тургенев, Гончаров, Писемский – оставили нам недвусмысленную картину вырождающегося быта. Она скрашивается еще неизжитой' жизнерадостностью, буйством физических сил. Охота, любовь, лукулловские пиры и неистощимые выдумки на развлечения – заслоняют иппократово лицо недуга. Но что за этим? Дворянин, который, дослужившись до первого, корнетского чина, выходит в отставку, чтобы гоняться за зайцами и дурить всю свою жизнь, становится типичным явлением. Если бы он, по крайней мере, переменил службу на хозяйство! Но хозяйство всегда было слабым местом русского дворянства. Хозяйство, то есть неумелые затеи, окончательно разоряют помещика, который может существовать лишь за счёт дарового труда рабов. Исключения были. Но все экономическое развитие XIX века – быстрая ликвидация дворянского землевладения после освобождения – говорит о малой жизненности помещичьего хозяйства. Дворянин, переставший быть политической силой, не делается и силой хозяйственной. Он до конца, до дней революции, не перестает давать русской культуре людей, имена которых служат ее украшением. Но он же отравляет эту культуру своим смертельным недугом, имя которому «атония».

Самое поразительное, что эта дворянская «атония» принималась многими за выражение русского духа, Обломов – за национального героя. Наши классики-бытописатели дворянства – искали положительных, сильных героев среди иностранцев, не находя их вокруг себя. Только Мельников и Лесков запечатлели подлинно русские и героические образы, найдя их в нетронутых дворянской культурой слоях народа. Лесков-этот кроткий и склонный к идиллии писатель- становится жестоким, когда подходит к дворянскому быту. Самый могучий отпрыск дворянского ствола в русской литературе, Толстой, произнес самый беспощадный суд

над породившей его культурой и подрубил под корень вековое дерево.

Дворянская культура не могла пережить крестьянского освобождения. Хозяйственный упадок разорил почву, на которой некогда произрастали пышные цветы: усадьбы-дворцы с домашними театрами и итальянскими картинами, тонкий язык, воспитанный на галлицизмах, общение с передовыми умами Запада. Безостановочное продвижение разночинцев завершило «разрушение эстетики», гибель философии, порчу языка и, главное, искусства жизни. В России перестают веселиться, разучиваются танцевать, забывают самое сладостное из искусств – любовь. Наступает время желчевиков и поджигателей. С каждым поколением дворянство неудержимо падает, скудея материально и духовно. Последние зарисовки дворянскими беллетристами – Буниным, Ал. Толстым-своего класса показывают уже труп.

В смерти дворянства нет ничего страшного. В Европе XIX века дворянство представляет тоже скорее упадочный, хотя и не сдающийся класс. Беда России в том, что умирающий класс не оставил после себя наследника. Его культурное знамя подхватили разночинцы, его государственной службы передать было некому. Поразительно: чем более хирело благородное сословие, тем заботливее опекало его государство, стремясь подпереть себя гнилой опорой. С Александра III дворянская идея переживает осенний ренессанс. Всякий недоучка и лодырь может управлять волостями в качестве земского начальника, с более громкой фамилией – целыми губерниями. Несомненно, что в этой запоздалой попытке оживления трупа самодержавие расточило весь свой моральный капитал, которым оно обладало еще на нашей памяти в сознании народных масс.

Но политическая пора дворянства ушла давно и безвозвратно. Отодвинутое монархией от участия во власти в начале XIX века, оно с тех пор утратило все политические традиции лучшей своей поры. Теперь, когда понадобилась его служба, оно могло принести государству лишь опыт псарни и сенной. Среди всеобщей абулии неврастеническое покрикивание капризного барина сходило за проявление сильного характера. Во дворце тосковали по сильным людям не меньше, чем тосковали по ним героини русских романов. Барановы, Зеленые и Думбадзе были в государственном масштабе тем же, чем босяки Горького в литературе: допингом для усталых душ.

Дворянство как класс умирало. Это не значит, что оно растворилось бесследно. Напротив, его влияние в русской жизни было и оставалось громадным. Дворянство, сходя со сцены, функционально претворилось в

те силы, которые поделили между собой его былое государственное и культурное дело. Эти силы, призванные сменить его были: бюрократия, армия, интеллигенция.

3. Бюрократия

Русская бюрократия – это новый служилый класс, который создает империя, пытаясь заменить им слишком вольное, охладевшее к службе дворянство. В XVI веке смена княжеского боярства худородным поместным классом приняла характер насильственной революции, поколебавшей самые устои Московского царства. В XIX веке реформа была проведена так бережно, что дворянство сперва и не заметило ее последствий. Дворянство сохранило все командные посты в новой организации и думало, что система управления не изменилась. В известном смысле, конечно, бюрократия была “инобытием“ дворянства: новой, упорядоченной формой его службы. Но дух системы изменился радикально: ее создатель, Сперанский, стоит на пороге новой, бюрократической России, глубоко отличной от России XVIII века.

Пусть Петр составил табель о рангах, – только Сперанскому удалось положить табель о рангах в основу политической структуры России. XVIII век не знал бюрократии: плодил еще московских дьяков и подьячих, старое «крапивное семя», строчителей кляузных бумаг, побирушек и «ябедников», сообщающих провинциальному административному быту XVIII века столь архаическойдопетровский стиль. Над этой армией старых приказных, переодетых в новые мундиры, всюду царит вельможа, роскошный и своевольный барин, который на службу склонен смотреть как на жалованную вотчину. XVIII век – век временщиков и фаворитов – налагает на провинциальную Россию причудливые черты позднего европейского феодализма. Перед нами словно последние дни княжеских сеньорий – дни Фронды, феодальное лето святого Мартина, в канун политической смерти французского дворянства. Мемуары александровского времени еще отражают этот быт. Пленные французы 12-го года всерьез принимали саратовскую вотчину князей Голицыных за вассальное княжество. Порода и связи – помимо талантов – почти исключительноопределяет служебную карьеру. Каждый вельможа поднимает за собой целый клан родственников, клиентов, прихлебателей. Карьеры создаются фантастически быстро, но столь же быстро иобрываются, в результате катастрофы.

Попович Сперанский положил конец этому дворянскому раздолью. Он действительно сумел всю Россию уловить, уложить в тончайшую сеть табели о рангах, дисциплинировал, заставил работать новый правящий класс. Служба уравнивала дворянина с разночинцем. Россия знала

мужиков, умиравших членами Государственного Совета. Привилегии дворянина сохранились и здесь. Его подъем по четырнадцати классическим ступеням лестницы напоминал иногда взлет балерины; разночинец вползал с упорством и медленностью улитки. Но не дворянин, а разночинец сообщал свой дух системе.

Начиная с николаевского времени, русская литература разрабатывает новую, неистощимую тему: судьба маленького чиновника, его подлостей, его добродетелей, его страданий. Явный признак перерождения социальной ткани. Дворянская усадьба Тургенева, Григоровича, Гончарова, социально бездейственная, «лишняя», хотя и утонченная, и канцелярия, которая открывает свои двери не только для жалких Акакиев Акакиевичей, но и для сильных, кипящих рабочей энергией честолюбцев («Тысяча душ»).

Сперанский создал, как известно свою административную систему с наполеоновских образцов. Чтобы привести ее в действие, чтобы впрячь в оглобли даровитую, но беспорядочнуюрусскую натуру, понадобились немцы, много немцев. Недаром два русских бюрократических царствования – Николая 1 и Александра II – были эпохой балтийского засилья. И все же нельзя отрицать, что эта система получила некоторый национальный оттенок. Николаевский чиновник, как и бессрочный николаевский солдат, в конце концов умел вложить в эту чужую немецкую форму труда и службы капельку сердца, теплоту русского патриотического чувства. Николаевская эпоха знала не одних взяточников и черствых карьеристов, но и неподкупных праведников, честно заработавших свою пряжку за тридцатипятилетнюю «бессрочную» службу. Те, кто знавал в своей молодости старых служак николаевского времени, поймут, что я хочу сказать. Два или три праведника спасают Гоморру. Спасали они и николаевскую Россию вплоть до Севастополя. Не только спасали, но и окружили ее память легендой, живым, творимым мифом. Николай 1, столь ненавистный- и справедливо ненавистный – русской интеллигенции, был последним популярным русским царем. О нем, как о Петре Великом, народное воображение создало множество историй, анекдотов, часть которых отложилась у Лескова и которые жили в патриархальной России до порога XX века. Носителем этой живой легенды был николаевский ветеран, старый служака, вложивший в канцелярскую службу свой идеал служения.

Следует ли удивляться тому, что праведников было так мало? Древней Руси, по-видимому, всегда был чужд образ честного судьи. В отличие от всех народов, ни одного из царей своих народ русский не

понимал как царя правосудного. Народные пословицы, сказки ярко и беззлобно отразили неправду московских приказов, воеводских изб. Народ веками свыкся с двумя истинами: нет греха в том, чтобы воровать казенное добро, а судья на то и судья, чтобы судил несправедливо. Удивляться надо тому, насколько удалось Сперанскому оздоровить это крапивное болото прививкой европейского идеала долга. Главный порок николаевской системы не в этом. Болезнь заключалась в оскудении творчества, в иссякании источников политического вдохновения. Огромная, прекрасно слаженная машина работала, по-видимому, исключительно для собственного самосохранения; ее холостой ход напоминает беличий труд большевистских ведомств. Царь, изолировавший себя от дворянства и общественных влияний, был бессилен указать великой России достойные ее пути: увязил ее в провинциальном миргородском болоте.

Николаевская канцелярия не была последним словом бюрократии на Руси. Вернее, она была ее первым словом. После нее бюрократия пережила у нас две фазы: либеральных реформаторов Александра II и «людей двадцатого числа» двух последних царствовании.

Свежий ветер,подувший по петербургским канцеляриям в пятидесятые годы, был так крепок, что обещал было опять, к великому счастью России, закопать ров между людьми службы и людьми идеи. Милютины, Зарудные и Кони тому свидетели. Либеральный бюрократ, искореняющий взяточничество, ревизующий губернии, проветривающий темное царство, – излюбленная фигура у беллетристов середины века. Но свежий ветер упал быстро. Молодым либералам на службе приходилось и спешном порядке консервироваться. Модная англомания позволяла изящно и нечувствительно совершать превращение из вигов в тори. Но эта быстрая смена течений, с повторными перебоями и реакциями, оказала самое губительное моральное действие. Царствование Александра II создало совестный тип карьериста, европейски лощеного, ни во что не верующего, ловящего веяние сфер.

Чуткость к веяниям- явление новое – делается едва ли не главным двигателем бюрократической карьеры: родовитость, связи и таланты – все отступает перед барометрической чувствительностью.

С 1881 года особой чуткости опять не требуется. Ветер дует один без перерыва – ветер реакции, который гонит корабль на скалы. Опасности никто не видит, – не чувствует даже движения корабля. Кажется, что он прочно засел на мель, и команда от нечего делать разбрелась кто куда – ловить рыбу, играть в карты. Русский служилый класс конца XIX века открыто и принципиально приносит в жертву личным и семейным

интересам дело государства. Ему уже нечего стесняться. Своекорыстие как форма аполитизма служит патентом на благонадежность. За Россию могут, если хотят, умирать крамольные студенты; чиновник думает о том, чтобы вывести в люди своих детей и обеспечить себеприличную пенсию под старость.

Сравнительно с классическим режимом николаевских лет, служба облегчилась, дисциплина повыветрилась. Служба в конце концов сводится к просиживанию в учреждениях пяти-шести часов, скрашиваемых приятными разговорами. Нужно быть горьким пьяницей или совершить уголовное преступление, чтобы потерять обеспеченное место. Служба и являлась для сотен тысяч особой формой социального обеспечения, пожизненной рентой, на которую дает право школьный диплом. Элемент соревнования, борьбы за жизнь, озонирующий деловые и либеральные профессии, на службе был не обязателен. За исключением немногих карьеристов – мало уважаемых в своей среде, – служебное повышение обусловливалось временем, то есть фактором, несоизмеримым с количеством и качеством труда. Призванная некогда спасать Россию от дворянской атонии бюрократия вырождалась в огромную государственную школу безделья.

Самое страшное -это непомерное разбухание нового правящего класса, который стремился вобрать в себя едва ли не всю грамотную Русь. Дворянство, когда-то уклонявшееся от службы, к концу века, нищая и разоряясь, возвращается на казенные хлеба. Для крестьянского или «кухаркина» сына, если он имел (легкую) возможность протащиться через четыре-шесть классов средней,школы, но не имел дарований пробить себе путь в жизни, служба была единственной дорогой. Половина населения русских городов ходила в форменных шинелях. Синие фуражки гимназистов приготовляли к цветным ведомственным околышам.

Когда два человека в старой России осведомлялись о социальном положении друг друга, они спрашивали: «Где вы служите?» подобно тому, как китайцы, говорят, здороваются друг с другом, задавая вопрос: «Кушали ли вы рис?» Мы все отлично помним, что обилие мундиров не придавало русской улице военного стиля. Одутловатые, сутулящиеся, с ленивой, развинченной походкой, носители форменных шинелей всем своим обликом сигнализировали физическое и моральное истощение.

Унылой паутиной скуки была затянута эта жизнь – благословенное царствование Александра III. Падение честолюбия сказывалось в том, что даже чиновничьи жены не помнили хорошо ни порядка знаменитых четырнадцати ступеней, ни качества получаемых крестиков –

невещественные, но некогда могущественные социальные символы, определявшие судьбу человека поколение тому назад. Слово «чиновник» (в сущности, чем не «сановник»? – филологически одно и то же) перестало связываться с идеей чина, почета, вырождаясь в «чинушу», обогащаясь ассоциациями скуки и мелочности. Характерно, что сами члены этого первенствующего в России сословия предпочитали называть себя интеллигенцией. И это при всем побочном одиозно-революционном смысле, связанном с последним словом.

Конечно, талантливые люди есть везде. Давала изредка талантливых, чаще дельных, трудолюбивых людей и русская бюрократия последних десятилетий. Но самые выдающиеся среди них, подлинно государственные люди, вроде гр.Витте, поражают однобокостью специалиста, отсутствием настоящей культуры. В сущности, русским бюрократическим верхам хватало не только творческих идей, но и воли к власти, даже реальной власти над страной.

Старое, еще не умершее окончательно, начало породы действовало анархически. Родовитая знать, слишком ленивая, чтобы управлять государством, охотно свалила эту обузу на

плечи министров-тружеников, честных «спецов"-ещё действительно честных под строгой ферулой Александра III. Но принять этих дворян-чиновников, полуплебеев, в свою среду знать не могла. Императорские министры царской России стояли иногда вне света, как министры республиканской Франции. Не имея путей во дворец, лишенные возможности использовать в государственных целях почти всесильные в условиях вырождающегося самодержавия закулисные влияния, министры оставались техниками-рутинерами, бессильными дать новый поворот рулю.

Вот почему было бы трудно сказать, что бюрократия управляла Россией. Во всяком случае, она не направляла. Отсюда потребность в последнее, бурное царствование найти новый волевой стержень для русской политики. Отсюда эти запоздалые поиски суррогатов общественности – попытка подпереть престол Советом Объединенного Дворянства, или Союзом Русского Народа. Когда эти опоры оказались гнилыми, утопающие во дворце хватаются за сильных людей, ищут героев, святых. За Столыпиным приходит час Илиодора, пока наконец русские министры и вместе весь чудовищный бюрократический механизм не оказывается игрушкой в руках зловещего Старца, подлинного правителя России в ее последние трагические годы.

4. Интеллигенция

Кому должна достаться власть, выпадающая из слабых дворянских и чиновничьих рук? Такова проблема, поставленная перед Россией конца XIX века – самая серьезная из ее политических проблем. За судорогами революционных и реакционных спазм вырисовывается все тот же вопрос: где класс, который вольет новую кровь в дряхлеющий государственный организм, вдохнет в него волю к творчеству, к жизни и победе? Объективно интеллигенция предъявила свои права на власть, боролась за нее более полувека и потерпела поражение в 1917 году. Я говорю: объективно, потому что в сознании своем интеллигенция боялась власти, презирала ее и-в странной непоследовательности – мечтала о власти для народа. Во власти интеллигенции всегда чуялось нечто грязное и грешное. Она была сурова ко всем ярким выразителям государственной идеи в истории. В политику она вкладывала моральный пафос, видя в ней необходимую форму реализации справедливости. Да и в политике ее пленяла скорее сама борьба, а не реализация, – жертва, а не победа. И все же: интеллигенция была охвачена политической страстью, имеем право сказать – политическим безумием. Кто борется, рискует победить. Интеллигенция не могла не считаться с возможностью своей победы, но победа в политической борьбе есть власть. Интеллигенция шла к власти и лишь обманывала себя призрачной властью народа. Чем реальнее рисовалась грядущая революция, тем неизбежнее было для нее пересаживаться со старого анархического копя шестидесятых и семидесятых годов в седло западноевропейской демократии, лишь скрашенное социалистическим флером. Но демократия есть представительство. Именем и голосом мужика и рабочего адвокат, профессор и журналист будут править Россией. Это стало ясно в 1906 году, когда интеллигенция уже наметила свое «общественное» правительство. Отныне исход революции и вместе с ним судьба России определяются степенью способности интеллигенции к власти.

В другом месте[123] мы пытались судить интеллигенцию как идеологическую группу, усматривая ее ахиллесову пяту (и даже ее конститутивный признак) в беспочвенности ее идеализма. Не трудно видеть, что эти качества были предопределены самым рождением ее в петровской революции. В течение столетий ее функцией было несение в Россию – в народ – готовой западной культурны, всегда в кричащем противоречии с хранимыми в народепереживаниями древнерусской и

византийской культуры. Отрыв от почвы был своего рода заданием Петра. В этом отрыве интеллигенция более века шла с монархией, пока не обратила против нее жала своей критики.

Сейчас нас интересует, однако, лишь та интеллигенция, те ее течения, особенно влиятельные, которые вели борьбу с властью – и, следовательно, предъявляли права на власть. «Правые» течения поддерживали монархию и ее исторические опоры: дворянство, бюрократию, пытаясь или

оправдать существующее, или возродить его огнем идей. «Левые» таранили власть более полувека, в самых сильных своих партиях и общественных движениях ставили революцию своей целью и, следовательно, несут или по крайней мере разделяют ответственность за нее.

Каковы были причины господствующего революционного настроения интеллигенции? Отрешимся от ее собственных схем, субъективно окрашенных. С ее точки зрения, движущим стимулом были невыносимые страдания народныхмасс. Страдания масс, на костях которых строится культура, остаются наиболее устойчивым явлением в истории. Но лишь изредка, при особых обстоятельствах они ощущаются как трагическое бедствие. Сравнительно с Англией половины **XIX** века, Россия, только что освобождённая от крепостного права, казалась страной социального благополучия. На этом относительном благополучии крестьянства, без всякого лицемерия, славянофилы могли строить свою веру в крепость русского социального быта. Но и славянофилы могли строить свою веру в крепость русского социального быта. Но и славянофилы задыхались в николаевской России. Где же корень трагического расхождения между исторической властью России и ее интеллигенцией?

По нашему убеждению, этот корень – в измене монархии своему просветительному признанию. С Александра 1 монархия находится в состоянии хронического испуга. Французская революция и развитие Европы держат её в тревоге, не обоснованной в событиях русской жизни. Обскурантизм власти – это ее форма западничества, – тень Меттерниха, которая, упав на Россию, превращала ее в славянскую Австрию. Благодаря петровской традиции и отсутствию революционных классов, для русской монархии было вполне возможным сохранить в своих руках организацию культуры. Впав в неизлечимую болезнь мракобесия, монархия не только подрывала технические силы России, губя мощь ее армий, но и создала мучительный разрыв с тем классом, для которого культура – нравственный закон и материальное условие жизни. Красные чернило николаевской цензуры, по определению Некрасова, были кровью писателя. Этой крови

интеллигенция не имела права простить.

XIX век- время величайшего расцвета новой русской культуры. Бытие народов и государств оправдывается только творимой ими культурой. Русская культура оправдывала Империю Российскую. Пушкин, Толстой, Достоевский были венценосцами русского народа. Правительство маленьких александров и Николаев дерзнуло вступить в трусливую, мелкую войну с великой культурой, возглавляемой исполинами духа. Интеллигенция, еще чуждая политических интересов и страстей, воспитывалась десятилетиями в священной обороне русского слова. Борьба за слово и, следовательно, за совесть, за высшие права духа была той правой метафизической почвой, которая вливала силы в новые и новые поколения поверженных политических бойцов.

Вступление интеллигенции на политический путь вызывалось, помимо духовного разрыва с властью (что само по себе недостаточно), самым вырождением дворянской и бюрократической политики. В интеллигенции говорилаправедная тревога за Россию и праведное чувство ответственности. Но вся политическая деятельность интеллигенции была сплошной трагедией.

Она вышла на политический путь из дворянских усадеб и иерейских домов – без всякого политического опыта, без всякой связи с государственным делом и даже с русской действительностью. Привыкнув дышать разреженным воздухом идей, она с ужасом и отвращением взирала на мир действительности. Он казался ей то пошлым, то жутким; устав смеяться над ним и обличать его, она хотела разрушить его с корнем, без пощады, с той прямолинейностью, которая почиталась долгом совести в царстве отвлеченной мысли. Отсюда пресловутый максимализм программ, радикализм – тактики. Всякая «постепеновщина» отметалась как недостойный моральный компромисс. Ибо самоеотношение интеллигенции к политике было не политическим отношением, а бессознательно-религиозным. Благодаря отрыву от исторической Церкви и коренного русла народной жизни, религиозность эта не могла не быть сектантской. Так называемая политическая деятельность интеллигенции зачастую была по существу сектантской борьбой с царством зверя-государства – борьбой, где мученичество было само по себе завидной целью. Очевидно, у этих людей не могло найтись никакого общего языка с властью, и никакие уступки власти уже не могли бы насытить апокалипсической жажды. В этом была заколдованность круга.

Правда, остается еще умеренный либерализм как возможный контрагент переговоров. Но либеральные течения никогда не были

особенно влиятельны в русской жизни. За ними не стояло силы героического подвижничества, не стояло и спокойной поддержки общественных классов. Самое содержание их идеалов представляло зачастую лишь остывшую форму революционной лавы. Русский либерализм долго питался не столько силами русской жизни, сколько впечатлениями заграничных поездок, поверхностным восторгом перед чудесами европейской цивилизации, при полном неумении связать свой просветительный идеал с движущими силами русской жизни. Только монархия могла бы, если бы хотела, осуществлять либеральные реформы в России. Но монархия не хотела, а у барина-либерала не было общего языка даже с московским купцом, не говоря уже о его собственных крепостных. В условиях русской жизни (окостенение монархии) либерализм превращался в силу разрушительную и невольно работал для дела революции.

Западническое содержание идеалов, как левой, так и либеральной общественности, при хронической борьбе с государственной властью приводило к болезни антинационализма. Все, что было связано с государственной мощью России, с ее героическим преданием, с ее мировыми или имперскими задачами, было взято под подозрение, разлагалось ядом скептицизма. За правительством и монархией объектом ненависти становилась уже сама Россия: русское государство, русская нация. Русский революционизм и даже русский либерализм принимал пораженческий характер, ярко сказавшийся в японскую войну. Это антинациональное направление если не всей, то влиятельной интеллигенции делало невозможным для патриотических кругов дворянства (и армии) примирение с нею, признание относительной правды ее идей.

Перед интеллигенцией ставилась задача: пробиться из осажденной крепости самодержавия – в народ. Найти в крестьянских и рабочих массах, тоже страдающих от чиновничьего произвола, сообщников в своей борьбе. Но тут она встретилась с тяжелым, непреодолимым недоверием к ней со стороны масс, которое сопровождает все трагические попытки интеллигентского исхода «в народ». Это недоверие лишь видимо зарубцевалось в революцию 1905 года и снова в 1917 году разверзло между народом и интеллигенцией пропасть, похоронившую не только царскую власть, но и демократическую революцию.

Как объяснить это вечное недоверие народа к интеллигенции? Для понимания его необходимо остановиться на одной особенности образования интеллигенции в России. Углубившись в нее, мы вместе с тем

дорисуем наш портрет интеллигенции – уже не только как носительницы известных идей, но и как общественного слоя с его бытовыми чертами, обрекавшими его, не менее самих идей, на политическое бессилие.

* * *

Есть коренное отличие в истории образования интеллигенции, в широком смысле, на Западе и в России. Различие это сводится к тому, что европейская интеллигенция нового времени была одним из слоев третьего сословия, питалась соками городской буржуазии, воспитывалась в ее дисциплине, защищала ее право. У нас питомником интеллигенции было дворянство. С приходом разночинцев гегемония дворянства не сразу пала. Поразительно, до какой степени даже революционные партии блещут дворянскими именами – до самого конца: Герцен, Бакунин, кн. Кропоткин, Лавров, Плеханов, Ленин. Мы видим: это не перебежчики, а вожди. Дворянский слой непропорционально велик и среди квалифицированной интеллигенции, в науке, литературе, искусстве.

Главным проводником дворянских влиянии, настоящей машиной для переливки в дворянские формы демократической России была школа.

Средняя и высшая школа создана у нас государством для надобностёй дворянства и для образования бюрократии. Такой характер она сохранила до самого конца. Неудача профессиональных и коммерческих школ всего лучше свидетельствует об этом. Процент дворян в средней школе и в университете был невелик: русская школа чрезвычайно демократична по своему составу. Но какие-нибудь десять процентов дворян определяли характер школы, характер всего образованного класса. Дворянин, выходя из университета, даже живя революционными идеями, в общественном отношении оставался членом своего класса. Для «кухаркиных» и даже купеческих детей образование означало разрыв с семьей, с классом, с целой культурой. Дети пролетариев получали у нас дворянское воспитание, какое в Европе выпадает на долю привилегированной элиты. Классические языки составляют, как известно, главный ингредиент аристократического образования – строго охраняемые ворота в мир утонченной культуры. У нас ворота эти не вели никуда, стояли просто на телячьем выгоне, в виде непонятной классической руины. «Кухаркины дети» жили – или должны были жить – в мире греческой мифологии, подобно меценатам пушкинской эпохи. Все мы знаем, что наша школа воспитывала в лености и барстве. Виной тому не одна ее программа и педагогические методы. Дворянин приносил с собою лень как наследственную привилегию. Разночинец разлагался в школе, потому что семья его была, в сущности, ей враждебна, не понимала ее смысла, могла

пороть лентяя за единицы, но не могла приучить его к умственному труду.

Не давая навыков к умственному труду, школа убивала в разночинце вкус к труду физическому. Крестьянская девушка, попадая в уездную или сельскую гимназию, училась бренчать на фортепьянах, но стыдилась помогать матери по хозяйству. Мыть полы, даже стряпать на кухне для барышни величайший позор. Дворянское презрение к черному труду русской интеллигент умел привить даже людям, которые не успели еще отмыть своих трудовых рук. Дворник и лавочник с величайшим трудом и жертвами тащили своих Ванек и Васек сквозь мытарства классической, в худшем случае реальной школы и не желали отдавать их в ремесленные училища. Если мальчишка проявлял клиническую гносифобию, изгнанный из двух, трех заведений, он все еще мог попасть в юнкерское училище и, в конце концов, выйти в люди околоточным надзирателем или помощником надзирателя тюрьмы. Белые руки были знаком благородства и культуры. Что удивительного, если господами и белоручками народ считал своих непризнанных учителей?

Физическая беспомощность влечет за собой физическое бессилие. Интеллигент презирал спорт так же, как и труд, и не мог защитить себя от Физического оскорбления. Ненавидя войну и казарму как и школу войны, он стремился обойти или сократить единственную для себя возможность приобрести физическую квалификацию – на военной службе. Лишь офицерство получало иную школу, и потому лишь одно оно оказалось способным вооруженной рукой защищать свой национальный идеал в эпоху гражданской войны. Масса российской интеллигенции тучнела или тощала в четырех стенах кабинетов – обреченный на заклание, убойный скот революции.

Еще более опасным, чем презрение к чёрному труду, было презрение к хозяйству. И это черта чисто дворянская. Дворянство видело в своих вотчинах чистую обузу; из разорительных опытов рационального хозяйства выносило лишь отвращение к этому грязному делу. Земля, отданная в аренду или управляемая заведомыми ворами приказчиками, не могла быть источником хозяйственной этики. Промышленность, торговля были уделом черной кости. В торговле дворянство всегда чуяло нечто низкое. И это аристократическое презрение рантье к купцу разорившееся дворянство сумело влить с молоком матери в своих блудных детей. Повальный социализм русской, поначалу дворянской, интеллигенции в значительной мере классового происхождения, наряду с княжеским анархизмом Кропоткина и Толстого. Против социалистической критики в русском сознании не нашлось ни одной нравственной или бытовой

реакции в защиту свободного хозяйства. Крестьянство неустанно, путем величайшего напряжения вырабатывавшее из своих недр трудовую буржуазию, никогда не могло бы понять интеллигентского отрицания хозяйства. Для него социальнаяпроблема сводилась к изъятию земли из нехозяйственных барских рук. В непонимании смысла хозяйства дворянская интеллигенция сходилась с пролетариатом, да разве еще с выбитыми с земли бродячими элементами крестьянского мира.

Интеллигенция не имела классов, на которые могла бы опереться. Не заметив растущей буржуазии, она не пустила корней и в народных массах. Ведя борьбу с дворянством, она разделяла его слабости, его предрассудки. Она могла бы завладеть государством, став над классами. В России внеклассовая государственность вовсе не утопия. Но для этого нужно было уважать государство, иметь вкус к власти. Если бы огромная численно русская интеллигенция в эпоху разложения сословно-чиновничьего строя объединилась на определенном завоевании государственной власти, это предприятие не было бы безнадежным: слишком слабы были руки, державшие власть. В странах революционного Востока- Турции, Китае, в России XVII века возможна диктатура интеллигенции, кующей национальное сознание. Там смысл диктатуры-просвещение, а упрощенность просвещения допускает широкие национальные партии. Русская политически активная интеллигенция XIX века жила в сектантском подполье. Дробление интеллигенции приводило к дробности политической ответственности.

В этом трагическом тупике оставалась еще одна возможность: захват власти какой-либо интеллигентской сектой. В семидесятые годы некоторые воинствующие секты изъявляли притязание на власть. Но в то время охранительные силы страны еще не иссякли. Позже либерально-демократическое содержание политических идеалов делало самую идею диктатуры неприемлемой для интеллигенции. Её сектанская строгость и идейный динамизм постепенновыветривались. Из сектантских течений после 1905 года сохранился лишь большевизм. Он же оказался единственной сектой, стремящейся к государственной диктатуре. Вот почему нелюбимый интеллигенцией и ненавидящий ее большевизм один имел некоторые шансы. Но его диктатура означала гибель интеллигенции.

5. Буржуазия

Есть один факт в истории русского революционного движения – поразительный и необъяснимый, если его рассматривать по западноевропейской схеме. В этом движении не участвует третье сословие, буржуазия, торгово-промышленный класс. Революция, которая ставит своей целью разрушение дворянского строя, начинается с дворянского заговора декабристов и до конца окрашивается в цвета дворянской интеллигенции. Купечество и мещанство неизменно остаются силой консервативной. «Темное царство», «чумазый», «кулак», «охотнорядец», «черная сотня» – вся позорящая ономастика русской контрреволюции совпадает с сословными кличками купечества. Многие уже забыли, что «черная сотня», по происхождению самого слова, связана не с черным словом зла, а с низовыми, торгово-демократическими организациями старой Москвы. И это не только ономастика. Охотнорядцы действительно били студентов в 1905 году – и притом во всех городах России. Чайные Союза Русского Народа действительно были базарными, «черными», демократическими притонами, возглавляемыми обычно каким-нибудь толстосумом. В презрении, с которым интеллигенция относилась к «черной сотне», всегда слышался обертон брезгливости к плебсу, к грубой и дикой «черной кости». У интеллигенции, боровшейся в городских самоуправлениях за либеральную и демократическую политику, у провинциальной прессы – не было злейшего врага, чем местное купечество, корыстные и невежественные «отцы города».

И, однако, марксисты, уверенные в буржуазном характере грядущей революции, отвели буржуазии в ней красный угол. Они напрасно дожидались почетного гостя. Революционный пир, очевидно, не прельщал русского купечества, привыкшего к иным яствам. Когда пришла революция, буржуазия сыграла в ней лишь страдательную роль. Она дала свое злосчастное имя, как позорное клеймо, для всей коалиции погибших классов. Князья Рюриковой крови и революционные социалисты, как представители «буржуев», гибли в подвалах Чека.

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы буржуазия была твердым оплотом режима. Этому мешало прежде всего её антиобщественное воспитание. Как сословие казнокрадов, она была силой, разлагающей не менее дореформеннойбюрократии взяточников. Интеллигентское отвращение к профессиональному купеческому быту, нужно признаться,, имело некоторые бытовые основания. Когда поэт Блок хотел с максимальной

силой воплотить идею зла в старой России, он не мог найти для этого лучшего образа, чем лавочник его страшного «Грешить бесстыдно»... Поэт прав. Ниже этого икающего благочестия нельзя опуститься по ступеням человеческого падения. Рядом с «кондовой», «толстозадой» Русью двенадцать красногвардейских хулиганов несут какое-то освобождение. Хотя бы освобождение смерти.

Вопрос лишь вот в чем: исчерпывается ли «темным царством» характерология русского торгово-промышленного класса? Вопрос, который приобретает тем большее значение, что класс этот, в противоположность остальным классам старой России, не погиб в революции. Вырезываемый и удушаемый, он каждый день возрождается к жизни и, несомненно, призван строить будущую Россию.

Печальная моральная физиономия и еще более печальная репутация этого класса в России XVIII и XIX веков вызывает в памяти его великое прошлое.

Славянофильское и народническое восприятие Древней Руси не отдает достаточного отчета в том огромном вкладе в русскую культуру, который внес купеческий дух. Иностранцы поражались в XVI и XVII веках коммерческим способностям русских и их страсти к торговле. Ярославец, нижегородец по сие время сохранили в своем областном характере эти некогда национальные черты. На торговле держалась вся Киевская Русь. Торговля создала Великий Новгород – не город, а великое северное государство, охватившее половину русских земель. С отмиранием южных очагов культуры и старых Ростово-Суздальских Новгород делается главным выразителем русской культурной идеи: прежде всего в искусстве. Военно-служивая Москва, сломив Новгород, заглушив городскую жизнь Севера, и в XVII веке сохраняет еще купеческий размах и предприимчивость. Минины (северное ополчение) спасли Россию в годы смуты, и еще при Алексее Михайловиче их голос слышится во дворце. «Земская Русь» это прежде всего посадская, торговая Русь. Именно эти слои сообщают земскую окраску соборам. Еще Петр опирается в своих экономических мероприятиях на инициативу старого купечества. Лишь XVIII век глубоко принизил древнее почетное сословие. Отчужденное от европейской культуры, оно оказалось лишенным права на общественное, то есть дворянское уважение. Оторванность от государственного дела вызывала неизбежно гражданский декаданс, измельчание, личную и хищническую направленностьинтересов.

И, однако, верность старомосковским церковным традициям, отторгая класс от новой общественности, сохранила в нем драгоценное качество:

строгость аскетического закала, трудовую дисциплину, национальное чувство. Старая личная этика могла, как часто на Руси, совмещаться с общественной беспринципностью. Неуважение к профессии подрывает профессиональную этику. Прекрасный семьянин, набожный церковник мог быть вором, столь же мало стыдясь этого, как старый чиновник – взятки. К тому же чиновничья коррупция была зачастую источником коррупции купеческой. При слабости торговой предприимчивости в XVIII – начале XIX века, главный источник образования капиталов – эксплуатация государства. Наиболее заметный тип среди торгово-промышленного класса – подрядчик, кабатчик, откупщик. Но в этой области особенно велики искушения, «ослаблен как раз творческий момент предприимчивости. Впрочем, и в эту эпоху встречается строгое отношение к деловой этике – гораздо чаще, чем это кажется с дворянских верхов. Не по Островскому, а по Лескову надо изучать купеческий быт. 0стровский -сатирик переломной эпохи. Проникновение передовых, то есть капиталистических идей в патриархальную среду не может не вызвать на первых порах явление иммoрализма. Крепче, строже других оставались старообрядческие слои купечества, закаленные в гонениях, в борьбе за веру, поставленные на место былого боярства во главе подпольной старой Руси.

Освобождение крестьян дало мощный толчок долго скованной хозяйственной энергии народа. Деревня сразу же выделяет энергичный слои «кулаков», предпринимателей, скупщиков дворянской землицы, основывающих торговые предприятия. Эта новая буржуазия подготовлялась задолго в оброчных формах крепостной зависимости. Мобилизация дворянских земель, железнодорожное строительство вызвали горячку ажиотажа, создавали огромные богатства, нередко дутые и грюндерские предприятия, 60-е годы – первая волна русского капитализма, очень нездорового и хищнического. Банковские судебные процессы и сатира Некрасова отразили эту пиратскую эпоху «первоначальногонакопления».

Но за ней идет в 80-х годах волна промышленного расцвета. Капиталы приливают в текстильную индустрию, создавая мощный центрально-промышленный район. И здесь коренное московское старообрядчество сохраняет гегемонию, как и на Волге, Каме, Урале. Рост хозяйственной энергии и капиталов продолжается беспрерывно, постепенно меняя социальную физиономию страны.

В 80-е и 90-е – чеховские – годы единственным представителем русской силы и предприимчивости был русский купец, это часто грубая,

жестокая сила – но она спасала нацию на фоне дворянской атонии. Горький-босяк, ненавидевший мещанство, – дал трагические образы этой стихийной силы, разрушительной в слепоте своей борьбы за освобождение. Имморализм все еще отмечает успехи нового господина жизни. Народная память и литература отражают темное, нередко преступное происхождение недавних богатств. Обобрал хозяина, казну, а то и зарезал кого-нибудь темной ночью, – эти зловещие легенды плетутся по Руси за многими из миллионщиков и отцов города. Но и для такой карьеры недостаточно дерзости и счастья. Яркая талантливость окрашивает социальное восхождение новых людей. Они стоят художественных биографий, они еще ждут своего Плутарха.

На фоне старого, удушливого, скаредного быта творится сказка из мира кондотьеров, завоевателей России. Для полноты аналогии московские Медичи превращаются в меценатов. Уже 80-е годы Мамонтов окружает себя художниками, создает оперу, подмосковную усадьбу свою превращает в памятник-музей русской художественной культуры. За ним идут другие: Третьяковы, Морозовы, Рябушинские, собиратели картин, основатели театров, клиник, журналов. С начала XX века Москва начинает явно претендовать на культурное первенство перед петровской столицей. И вместе с тем всем своим цветением она обязана новым хозяевам жизни. Вклад торгово-промышленного класса в русскую культуру обгоняет не только вклад дворянства, но даже государственную инициативу. Для интеллигенции находятся новые организаторы ее творчества, которые дают нередко из своих рядов и первоклассных культурных деятелей. Провинция отстает от Москвы, но Пермь, Сибирь уже шлют новых людей.

Купеческое меценатство – явление настолько недавнее в русской жизни, что интеллигенция не успела приспособиться к нему, не успела как будто заметить его. Менее всего – революционная интеллигенция. Впрочем, для нее имелось некоторое оправдание. Политическое пробуждение русской буржуазии значительно отставало от ее культурного роста. Новая сила не предъявляла никаких притязаний на власть. Давно уже голос торгово-промышленногокласса звучал на съездах, но всегда в разрез с голосом русской «общественности». Вместо свобод он требовал от государства покровительственных тарифов. Протекционизм был, конечно, необходимой теплицей для русскойпромышленности, но в его банной температуре атрофировалась политическая воля. Пока государство было дойной коровой, промышленники охотно мирились с безвластием. Их угол в избе был невидный, но теплый. Однако проблема деревенского рынка вводила русского предпринимателя в курс роковых вопросов русской

жизни. Постепенно верхи класса втягиваются в колею либеральной оппозиции. Путь политического радикализма был заранее отрезан тем социалистическим характером, который приняло русское революционное движение. С рабочими шутки плохи. В 1905 году фабриканты, случалось, заигрывали с левыми партиями. Не один Морозов давал деньги на большевиков. Но забастовки были слишком разорительны. Призрак диктатуры пролетариата и крестьянства не улыбался. Оставалась средняя тропа октябризма, для немногих – партия к.-д.

Между 1905 и 1914 годами умеренный либерализм, определяющий настроение двух последних Дум, носит заметный буржуазный отпечаток. Он стремится договориться с бюрократией, найти мирный выход из политического тупика. Но он не создает до конца ярких политических деятелей. Политика его тускла, совершенно не соответствует размаху хозяйственной и культурной работы буржуазии. Прошлое тяготело над ней, принижая ее молодое, неуверенное честолюбие. Наиболее яркие ее политики не носят характера своего класса. Они усвоили замашки дворянского либерализма.

Поразительно, что дворянский декаданс просачивается и сюда. Через ту же школу, через общеинтеллигентскую традицию молодой наследник старого дома отравляется дворянским ядом. Потеря вкуса к наследственнойхозяйственной работе и уважение к ней,– прямое и рожковое по- следствие этих дворянско-интеллигентских влияний. Самое меценатство иногда носит опасный характер. Оно еще почвенно, здорово, почтенно до начала XX века. В новом столетии разлагающие эстетические влияния покоряют золотую молодежь Москвы. Сыновья патриархальных староверов кутят не только с цыганами у Яра, но и в артистических кабаре, впивая с шампанским сладкий, трупный яд стихов. Эта атмосфера утонченного имморализма приводит к необъяснимым самоубийствам. Taedium vitae, болезнь снобов, и здесь косит свои жертвы. Становится страшно, когда думаешь о ломкости древней и мощной породы. Века труда, самоотречения и борьбы воспитывали купеческий род. Дед еще был начетчиком, держал дом по Домострою, лишь изредка напяливая на свои могучие плечи европейский сюртук. Сын- просвещенный либерал, учился в Англии, ведет рациональное производство. Внук проживает жизнь по кабакам, среди мертвых эстетов, и умирает от тоски и пустоты жизни.

Не будем обобщать этих явлений. Они показательны, но не всеобщи. Это недуг быстрой ломки нравственных устоев, резкой европеизации, опустошающей религиозным и моральным нигилизмом даже сильную, но дурно воспитанную, незащищенную личность. Приспособление было

вопросом времени. Тема новой буржуазной Москвы была обещающей, богатой темой, несущей обновление русской жизни. Но она не успела получить своего развития и была жестоко оборвана. Бродильный процесс в русском крестьянском тесте только что начался. Новая, выдвигаемая народом промышленная аристократия не успела организовать народной жизни, получить признание, не успела даже освободиться от дворянских влияний. Рост молодого класса протекал в критических болезнях двойного иммoрализма: первоначального накопления и скороспелого декадентства. Народ, порождающий из своей среды буржуазию, не научился уважать ее. Более близкая ему, чем дворянство и интеллигенция, она вызывала его зависть; поскольку же приобретала интеллигентский облик – разделяла судьбу господ. Захваченная врасплох революцией, она утонула в ней, не сумев овладеть ею, пала жертвой не столько своих, сколько чужих грехов.

6. Народ

В русской социальной терминологии «народ» (как и «интеллигенция») значит бесконечно больше, чем в любом европейском языке. За крестьянством, за трудящимися классами, даже за «землей», это слово ознаменовывает всю Русь, оставшуюся чуждой европейской культуре. Это «черная», «темная», социально деградировавшая, но морально крепкая Русь, живущая в понятиях и быте XVIII века. Это базис, на котором высится колонна Империи, почва, на которойпроизрастают ее сады. Не только народничество русское, но и все консервативные направления русской мысли сохраняют сознание, что в этой почве коренятся моральные устои России. Власть, интеллигенция, просвещение сами по себе бессильны пробудить живительные родники национальной жизни; они способны лишь культивировать, организовать ее. Народничество заблуждалось, связывая свое верное ощущение моральных начал народной жизни с фактом земледельческого труда. Славянофилы точнее определяли их – как хранение древней, религиозной и национальной культуры. В этом смысле понятие народа выходило за пределы крестьянства, обнимая слои городского мещанства, купечества, связанного со старым бытом, и духовенства, особенно сельского.

Разумеется, все эти слои тонут в сером море крестьянства. Кроме России, не было ни одной страны, консервативные силы которой в такой мере питались бы крестьянской правдой и крестьянской косностью. Чем сильнее заболевала светобоязнью власть, тем определеннее делала она ставку на крестьянскую темноту. Беда власти была лишь в том, что потребности государства(армии) заставляли ее, скрепя сердце, дозировать народное просвещение, которое – она видела ясно-разлагало устои народной жизни. Мы уже говорили, почему монархия в России могла погибнуть от просвещения.

Но было и другое коренное противоречие в отношении власти и народа. Консервативный религиозно-политический народ, то есть крестьянство, не был благонадежен социально. Империя жила в течение двух веков под судороги крестьянских бунтов. Это был нормальный ритм русской жизни, к которому государственные люди привыкли, как привыкают к дымку Везувия жители деревень на его склонах. Мы очень мало знаем о народе, его жизни, его затаенных мыслях – до XIX века, когда русская интеллигенция начала жадно приглядываться и прислушиваться к нему. По-видимому, мы все же имеем право сказать:

русский народ в глубине своей совести никогда не принимал крепостного права. Он мог временно с ним мириться, он покорялся Божьей и царской воле, которая судила ему жить в рабстве, но морально это рабство не было для него оправдано. Факт удивительный, принимая во внимание суровость семейных и государственных форм, к которым привык московский человек. Но крепостное право было слишком новым явлением русской жизни. Оно не имело за собой тысячелетнего прошлого, которое на Западе приковывало поколения сервов к их суровым сеньорам связью наследственной верности, где верность земле сливалась с верностью господину. В России при текучести населения, особенно на новых местах колонизации, эти личные связи не успели еще закрепиться, когда государство фиксировало их. Личный момент в отношениях подвластных к владельцам был очень слаб сравнительно с публично-правовым. И, что особенно важно, тяжесть зависимости, переходящей в рабство, все усиливалась к исходу XVIII века, когда личная связь ослабевала окончательно, подрезанная сословным строением новой культуры.

Если крестьянин и видел когда-нибудь в московском помещике своего социального вождя и защитника(и это сомнительно), то он мог признать его в полунемце отрекшемся от родных обычаев, одежды, речи, нередко даже от Бога.Естественная социальная рознь обострялась рознью национальной. Народ относился к дворянству почти так же, как он относится к польской шляхте там, где он подпал под чужеземное иго.

Оригинальнее всего было то, что народ всегда сохранял убеждение в своем праве на помещичью землю. Говорила ли в нем старая память о государственном происхождении дворянского поместья? Исходил ли он из социальной идеи самодержавия, идеи царя, которому принадлежит вся земля, который дает и отнимает ее по своей воле? По мере того, как дворянство снимало с себя социальные функции, крестьянство делало свои выводы. Оно привыкло видеть в барине паразита. В сущности, воинская повинность, легшая на крестьян в XVIII веке, уже уничтожила дворянское право на землю как плату за кровь.

Раздел земли между крестьянством и дворянством во время освобождения был воспринят первым как тяжелая несправедливость. Уже тогда оно предъявило притязания на всю землю. Это требование вытекало не из экономической нужды, а из сознания права – своеобразного, не частно-коммунистического, а скорее публичного права. Как ни странно, но освобождение крестьян нанесло первый удар монархическому чувству крестьянства. Оно же положило начало разложению тех духовных основ, на которых держалась старая мужицкая верность.

Со времени эмансипации медленно, но неизменно начинает крошиться тот гранитный массив, на котором стояла Империя. Пока сила инерции держала могучий комплекс консервативных чувств в душе крестьянина, расшатанность и разброд среди правящих классов были не опасны. «Россия управляется случаем и держится силою тяжести», – заметил один умный дипломат при петербургском дворе начала XIX века. 19 февраля вывело страну из равновесия. Начался процесс брожения, не прекращающийся до дней революции. Крестьянство расползалось по лицу России в поисках земли и заработков. Постоянное падение сельского хозяйства обостряло извечный голод по земле. Освобождение создавало прецедент для черного передела. Борьба за землю сталкивала крестьянство с официальной Россией, которая держалась лишь именем царя. К ней не было уважения, а с ослаблением режима убывал и страх. Школа, город, казарма, железная дорога стихийно разлагали основы крестьянского мировоззрения. На поверхности было незаметно: мужик не читал, не рассуждал. Но он терял веру, уходил в себя, хитрил и ждал.

Думается, что огромная разница восприятии крестьянской стихии у Тургенева и Некрасова, с одной стороны, и Чехова, с другой, связана не только с изменившимся сознанием интеллигенции, но и с эволюцией самого крестьянства.Комплекс благоговейных чувств рассыпался. Остался практический материализм последовательное недоверие. Это еще не нигилизм, но начало духовного омертвения. Их всех социальных инстинктов болезненно разбухает инстинкт зависти,

Несмотря на полвека, протекшие со дня освобождения, реминисценциями рабства была проникнута вся русская жизнь. Есть две мерки, два свода приличий для господ и для простонародья. При официальном гражданском равенстве в суде и управлении – какая разница в языке, в обращении! В участке околоточный рассыпается в любезностях перед дворянином и гонит в шею – совсем не фигурально – мужика. Мужик не обижается на «ты», на грубую брань, но уже с неудовольствием переносит побои. Он возмущается, собственно, не грубостью, которой пропитан и его собственный быт, но бытовым неравенством. С ним он встречается на каждом шагу. в приемных канцелярий, на железной дороге – особенно в казарме. Это неравенство оскорбляет его потому, что общественная иерархия лишена в его глазах благообразия. Быт господ, их идеал красоты и жизни для него отвратителен. Вот почему эти мелкие уколы, от которых постоянно страдает его чувство достоинства (а в нем много самого подлинного, аристократического достоинства!), будят в нем темные воспоминания. И поныне еще в русских деревнях живы дряхлые

старцы, которые помнят время рабства. И не из книг, а по устным преданиям повторяется злая повесть о том, «как нас на собак меняли» или «как травили медведями наших детей». Народ еще не забыл и не простил старых обид, оживляемых новыми ранами.

Переживание крепостнических навыков среди правящих классов, не замечавших сдвига в народной душе или думавших справиться с ними классической розгой, являлось при этих условиях серьезной угрозой. И вот – уже в XX столетии – наступает пора, когда мужик ощущает губернаторскую порку как оскорбление и думает о мести. В этот момент он впервые становится восприимчив к революционной пропаганде.

Здесь происходит наконец долгожданная встреча народа и интеллигенции. Доселе все ее героические усилия пробить стену народного непонимания оканчивались неудачей, для нее трагической. Десятки лет народ видел своих людей в жандармах и сыщиках, ловивших социалистов, и отвращался от последних с религиозным ужасом. Социальное отчуждение питалось дворянским происхождением и стилем интеллигенции. Перед этим бледнеет даже чуждость проповедуемой, антимонархической, доктрины. Крестьянин видел перед собою непонятное, беспомощное существо, которое претендовало учить его, но вызывало его презрение. Оно было по-господски одето, говорило барским языком и хотя чем-то, несомненно, отличалось от настоящих господ, но для народа не было возможности входить в разбирательство оттенков во вражеском стане. Интеллигент всегда был для мужика барином, пока в один прекрасный день не был перекрещен в буржуя.

Разумеется, за всеми частными поводами для недоброжелательства зияла все та же пропасть, разверзшаяся с той стороны, немецкой, безбожной, едва ли не поганой. Барину-крепостнику, принципиальному консерватору, было даже легче пробиться к мужичкову пониманию, чем революционеру. Бог и царь создавали общую почву – до конца прошлого столетия. Конечно, мужик не верил в искренность барского монархизма, подозревая в нем обманные и захватнические поползновения. Но просветителей-радикалов он окончательно не понимал.

В японскую войну завершился распад монархической, отчасти религиозной идеи народа. На мгновение интеллигенция нашла в крестьянстве себе союзника. «Земля и воля» соединяла их в двусмысленном компромиссе: одному земля, другому воля. Но вековое недоверие не было изжито. На место разрушенных богов в народной душе не встали новые. Народ вступил в полосу своего нигилизма, еще неизжитого. Волей-неволей народ передоверял интеллигенции свой

политический голос: трудовикам, эсерам, даже эсдекам. Но, подозревая обман, держал камень за пазухой.

В реакционной пропаганде роль посредника между интеллигенцией и народом достается рабочему. Молодой численно, слабый класс, пролетарий сыграл в судьбах России огромную, хотя чисто отрицательную роль. Его значение соответствует значению города в крестьянской стране. Город всегда ведет деревню, и удельный вес горожанина может в десять раз превосходить удельный вес сельского обывателя. У нас пролетариат еще не порвал связи с деревней, и как ни свысока относился крестьянин к фабричному, он поневоле заимствовал от него то, чего не стал бы и слушать от интеллигента. Почему городской пролетариат неминуемо должен был сделаться носителем революции, это не требует объяснения. Его духовная беспочвенность, безжалостная эксплуатация его труда, беспросветное существование заставляли жадно мечтать о перевороте. Ему подлинно нечего было терять. В революцию русский рабочий вложил свое понимание справедливости (которое не все сводилось к классовой зависти), и для нее принес за 20 лет немало жертв, геройствуя не хуже студентов: на эшафоте, в тюрьмах и ссылке. В 1905 году этот союз революционной интеллигенции, пролетариата и крестьянства был уже совершившимся фактом. Схема русской революции была дана – вплоть до идеи советов.

Совершенно условно и приблизительно рабочий и крестьянин шли за социалистическими партиями с.-д. и с.-р. Просто потому, что первые, во главу угла ставили пролетария, вторые -мужика. Но если для рабочих социализм, в самом туманном понимании, был действительно красным цветком, освещающим жизнь и борьбу, то для крестьянина это было пустое слово. С с.-р. у него было общим требование земли. Когда ему говорили о воле, он не противоречил, когда говорили о социализме – молчал. Социализацию земли переводил на язык общинных распорядков. Любая партия, написавшая в своей программе ликвидацию помещичьего земледелия, могла бы рассчитывать на поддержку крестьянства.

При наличии данных (связанных с интеллигентской традицией) партий, крестьянство числилось в с.-р. по недоразумению.

Недоразумений было достаточно и с рабочими. Экономические основы марксизма, на которых с таким талмудическим начетничеством настаивали пропагандисты, с трудом влезали в голову пролетария. Бланкизм или бакунизм, вероятно, более соответствовали бы его природе и умственному уровню. Его выступление в рядах социал-демократии было тоже «псевдоморфозой», хотя и не столь причудливой, как крестьянский

социализм. 1917 год разоблачил и тот и другой маскарад.

7. Новая демократия

Пролетариат и крестьянство были огромной силой в русской революции, но силой чисто разрушительной. Не им было организовать революцию. Не им, но и не старой интеллигенции, которая руководила движением в течение полувека. С 1906 года интеллигенция постепенно сходит с революционной сцены. Оставленная ею брешь заполняется новыми людьми – можно сказать, новым классом. Ему не повезло, этому классу. Его не заметили в момент рождения. Увидели и испугались, когда он уже пришел к власти и отнесли его за счет большевистской революции. Насколько помнится, только проницательный К. Чуковский в одном из своих фельетонов отметил появление чуждой, страшной силы – «битнеровцев» – и забил тревогу. Эту силу можно было бы назвать новой интеллигенцией. Мы предпочитаем называть ее новой демократией.

Есть демократия убеждений и есть демократия быта. С начала XX века Россия демократизуется с чрезвычайной быстротой. Меняется самый характер улицы. Чиновничье- учащаяся Россия начинает давать место иной, плохо одетой, дурно воспитанной толпе. На городских бульварах по вечерам гуляют толпы молодежи в косоворотках и пиджаках с барышнями, одетыми по-модному, но явно не бывавшими в гимназиях. Лущат семечки, обмениваются любезностями. Стараются соблюдать тон и ужасно фальшивят. Барыни-чиновницы в ужасе, что прислуга дерзит и носит шляпку. Несомненно, прислуга – вчера полукрепостная – превращается в барышню. Она уже требует, чтобы ее так называли. Около 1905 года это уравнительное, европейское «барышня» (Fraulein, demoiselle) входит в разговорный язык, означая огромную культурную революцию. Мужика еще никто не называет господином или гражданином, но женщина (девушка) первая завоевывает гражданское равноправие.

Приглядимся к ее кавалерам. Иногда это чеховский телеграфист или писарь, иногда парикмахер, приказчик, реже рабочий или студент, спускающийся в народ. Профессия новых людей бывает иногда удивительной: банщик, портной, цирковой артист, парикмахер сыграли большую роль в коммунистической революции, чем фабричный рабочий. Разумеется, с этим разночинством сливается и выделяемый пролетариатом верхний слой, отрывающийся от станка, но не переходящий в ряды интеллигенции. Сюда шлет уже и деревня свою честолюбивую молодежь. Могуч этот напор, идущий с самого дна. В конце прошлого векабосяки появляются в литературе не только в качестве темы, но и автора. С

Максима Горького можно датировать рождение новой демократии, с Шаляпиным она дает России своего гения. Горький и Шаляпин десятилетиями варились в интеллигентском котле, в общении с цветом русского культурного слоя. Несмотря на это в их культуре остались такие пробелы и, главное, их отношение к жизни настолько необычайно для интеллигенции, что она часто отказывается понимать их.

Русская интеллигенция конца XIX века была весьма демократична по своему происхождению, но это не нарушало ее преемственной связи со стародворянской культурой. Связь эта, как мы видим, устанавливается через школу. Всеотличие новой демократии от интеллигенции в том, что она не проходит через среднюю школу, и это образует между ними настоящий разрыв. Новые люди – самоучки. Они сдают на аттестат зрелости экстернами, проваливаясь из года в год. Экстерны-это целое сословие в старой России. Экстерны могут обладать огромной начитанностью, но им всего труднее дается грамота. Они с ошибками говорят по-русски. Для них существуют особые курсы, особые учителя.Для них издают всевозможные «библиотеки самообразования», питающие их совершенно непереваримыми кирпичами в невозможных переводах. Это невероятная окрошка из философии, социологии, естествознания, физики, литературы: de omnibus rebus et guibusdam aliis. Для них издается «Вестник знания», самый распространенный журнал в России, о котором настоящая интеллигенция не имеет понятия. Никому не известный Битнер делается пророком, вождем целой армии. Впервые в русской литературе образуется особый нижний этаж, плохо сообщающийся с верхом. Многие течения русской интеллигенции – символизм, религиозная философия – вниз не доходят вовсе. Зато там увлекаются эсперанто, вегетарианством, гимнастикой Мюллера. Среди новых людей множество неудачных изобретателей и еще больше непризнанных поэтов. В социалистических партиях они встречаются с интеллигенцией на равной ноге, – пожалуй, преобладают здесь после крушения первой революции. Но было бы ошибочным считать их господствующее настроение революционным. Сред них попадаются яростные антисоциалисты, ученики Леонтьева, мстящие революционерам за тайную классовую обиду.

Ибо настоящее, кровное их чувство-ненависть к интеллигенции: зависть к тем, кто пишет без орфографических ошибок и знает иностранные языки. Зависть, рождающаяся из сознания умственного неравенства, сильнее всякой социальной злобы. Социалисты – они кричат о засилии в партии интеллигентов, литераторы – протестуют против

редакторской корзины, художники – мечтают о сожжении Эрмитажа. Футуризм – в социальном смысле – был отражением завоевательных стремлений именно этой группы. Маяковский показывает, какие огромные и взрывчатые силы здесь таятся.

Более скромен, мягко выражаясь, их вклад в науку. Но не надо забывать, что они уже до войны имели свой университет, созданный Бехтеревым в Петербурге, – «Психоневрологический институт». За странным его названием скрывается еще более странное содержание. Там читали философию зырянин Жаков и Грузенберг. Там было все свое, доморощенное – для экстернов, для полуграмотных. Уже тогда, вращаясь среди этой молодежи, можно было представить себе, каков будет большевистский университет.

Говорить о единстве миросозерцания среди нового слоя совершенно невозможно. Но, когда он примыкал к революции, обнаруживалось огромное различие в направленности воли. Для интеллигенции революция была жертвой, демократия – нисхождением. «Все для народа». Народничество лежало бессознательно и в марксистском преклонении перед пролетариатом. Новая демократия сама народ. Она стремится к подъему, не к нисхождению. 0на, скорее,презрительно относится к массе отсталой, тупой, покорной. Она хочет власти для себя, чтобы вести народ. Она чужда сентиментального отношения к нему. Чужда и аскетического отречения. Большевику последнего призыва нетрудно промотать часть экспроприированных для партии денег, он цинически относится к женщине, хотя бы своему товарищу по партии. Теоретический имморализм Ленина находит в нем практического ученика. В 1910 году примерно, из революционных партий в России фактически действовали, хотя и чрезвычайно слабо, почти одни большевистские группы. В этих группах почти не было интеллигенции, в старом смысле. За исключением рабочих, это были представители -новой демократии. Да и рабочие, ставшие профессиональными революционерами, принадлежали к той же социальной группе. Уже одно это обстоятельство необыкновенно повышает ее удельный вес. Но в партии Ленина были, конечно, единицы. Массе новых разночинцев пришлось дожидаться октября 1917 года, чтобы схватить столь долгожданную власть. Это они – люди Октября, строители нового быта, идеологии пролеткультуры.

8. Партийная псевдоморфоза

Нет ничего ошибочнее мнения – у марксистов догмата, – что политические партии отражают интересы общественных классов. Обслуживание классовых интересов часто является условием жизненности и почвенности партии, но создается она и живет идеей. Идея – не всякая, конечно, – способна проявлять огромную социально действенную и организующую силу. Религиозная идея может создать государство даже при отсутствии национальных для него предпосылок: пример- ислам. Идея меньшего калибра способна создать партию.

Есть два рода политически активных идей. Одни коренятся в глубине народного самосознания, оформляют могучие инстинкты, дремлющие в массах. Другие приходят с книгой, как готовый товар, «made in Germany». Почвенные в ином месте и в иное время, они ведут автономное, кочующее бытие, проявляют нередко огромную, чаще всего разрушительную энергию, но лишены творческой, органической силы роста, цветения и плода.

Русские политические идеи-партии были чаще всего второго сорта. Причин тому было две. Во-первых, подавляющее, обессиливающее влияние Запада и его опыта на русскую мысль, особенно политическую. Во-вторых, полицейское давление абсолютизма, которое вплоть до 1905 года- в течение полувека – делало возможным существование лишь нелегальных, то есть революционных партий. Последнее обстоятельство было роковым для правых и умеренных течений, первое – для партий революции.

Запад привил нам доктрины: бюрократического и классового (прусского или английского) консерватизма, свободомыслящего, буржуазного (французского и английского) либерализма и революционного (сперва французского, потом немецкого) социализма. Все эти идеи действовали разлагающе на народную жизнь и углубляли пропасть между политическим сознанием народа и интеллигенции.

Русский консерватизм, как он сложился при Николае I и Александре II (Катков), был государственным миросозерцанием бюрократии и оставался таким до последних ее дней. Это особая формазападничества, то есть петровской традиции: постепенного разрешения основ прежней жизни во имя цивилизации. В сущности, это была постепенность в революции или консервирование определенного фазиса революции – на царствовании Николая 1 или Александра III. В этом внутреннее

противоречие русского консерватизма. Отсюда его бездушие, бюрократическая сухость, ироническое отношение к народной душе и ее святыням. Атеизм чувствовал себя легко и удобно в этой среде, где не принято было спрашивать о вере и где религия поддерживалась больше по традиции. Консерватизм был просто силой инерции государственного аппарата, того аппарата, который был создан Петром для целей грандиозной революции. Русский консерватизм всегда относился подозрительно к черной контрреволюции, к почвенному черносотенству. Правые почвенники наши не могут называться консерваторами: они глашатаи реакции, чаще всего насильственной, то есть революционной.

Либерализм русский, начиная с Кавелина и Чичерина первых лет, был всегда слабейшим течением в русской интеллигенции. Его слабость была следствием идейного угасания либерализма на Западе после 1848 года и слабости нашего третьего сословия, на которое мог бы опереться чисто буржуазный либерализм. Один из основных пороков русского либерализма заключается в том, что он строил в расчете на монархию, будучи совершенно лишен монархического пафоса. Русский либерал видел свой идеал в английской конституции и считал возможным пересадку ее в России), забывая о веках революций, о казни Карла II, о страшном опыте почти тысячелетней истории, которая заканчивалась идиллически сотрудничеством монархии, аристократии и демократии. Второй поток либерализма – чрезвычайная слабость национального чувства, вытекавшая, с одной стороны, из западнического презрения к невежественной стране и, с другой, из неуважения к государству и даже просто из непонимания его смысла. За английским фасадом русского либерализма скрывалось подчас чисто русское толстовство, то есть дворянское неприятие государственного дела. В сущности, от этого порока либерализм освободился лишь в 1914 году, когда всерьез связал защиту России с защитою свободы.

И, наконец, социализм русский, с которым связано столько грозных недоразумений для России! Совершенно ясно, что в социальных и политических условиях России не было ни малейшей почвы для социализма. Ибо не было капитализма, в борьбе с которым весь смысл этого европейского движения. Реально, исторически оправдано одно: борьба интеллигенции за свободу (свободу мысли прежде всего) против обскурантизма упадочной Империи. Борьба за свободу связывалась с горячим, иногда религиозным народолюбием, но отсюда если и вытекала революция, то уж никак не социализм. Социалистическая формула была просто подсказана западным опытом как формула социального

максимализма. Говоря точнее, первоначально такой формулой явился анархизм, и все развитие русской революционной идеологии совершалось, с чрезвычайной медлительностью, по линии: анархизм социализм демократия. Социализм постепенно выветривался из конкретных программ всех социалистических партий. С-р. вообще мало беспокоилась о судьбах промышленности. Что касается с.-д., то груз социалистической доктрины приводил их на практике к ряду безвыходных противоречий. Пропагандист уничтожал до конца современный строй и кончал убеждением в том, что этот никуда не годный строй должен быть пощажен революцией. Не было тех бранных слов, которыми он не клеймил бы буржуазии – для того, чтобы передать этой гнусной буржуазии политическую власть, завоеванную руками рабочих. Поистине, от русского рабочего требовалось безграничное самоотречение и безграничная доверчивость. Французский рабочий класс дважды, в 1848 и в 1871 годах, доказал, что подобное самоотречение выше его сил и разумения. Гибель республики была совершенно неизбежным последствием классовой борьбы 1848 года, и в 1871 году республику спас случай. В России социалистический характер всех революционных партий делал невозможной честную коалицию с либералами, делал невозможной национальную революцию.

Вдумываясь в господствующие политические настроения, смутные чаяния во всех слоях общества, поражаешься, Насколько они не соответствовали официальным партийным группировкам. В России могли создаться по крайней мере три могущественные партии, из которых каждая могла бы повести страну. Они не создались из-за отсутствия вождей и идейного оформления.

Во-первых, «черносотенная» партия крестьянства, которая соединила бы религиозный монархизм с чёрным переделом. Народ до японской войны мечтал о царе Пугачеве. Для монархии этот путь был реально возможен. Пугачевщинамогла и не принять разрушительных форм, будь она провозглашена престолом и поддержана Церковью. В сущности, при слабости и быстрой ликвидации дворянского землевладения экономические потери были бы невелики. От монархии требовалось только одно: отказаться от гнилой опоры в дворянстве и опереться на крестьянство с возвращением к древним основам русской жизни. Это путь, указанный Достоевским и немногими идейными черносотенцами. Потери на этом пути: варваризация, утрата (временная) многого, созданного интеллигенцией за два века. Однако эти утраты были бы, может быть, не столь тяжелы, как в условиях марксистской пугачевщины Ленина.

Во-вторых, партия славянофильского либерализма: православная, национальная, но враждебная бюрократия и оторвавшемуся от народа дворянству, защищающая свободу печати и слова, единения царя и земли в формах Земского Собора. Эта партия могла бы быть не классовой, а всенародной, с ударением, однако же, на торгово-промышленные слои как силу земскую по преимуществу, почвенную и прогрессивную. Вырождение старого славянофильства в черносотенство конца 19-го века обескровило это направление. Однако в Москве (и провинции) никогда не угасала эта благородная традиция – Самариных, Шиповых, Трубецких. Самая распространенная в России газета «Русское слово», несмотря на наружную бульварную окраску, была именно органом этой никогда не оформившейся национально-либеральной партии. Миллионы людей в гуще провинциальной жизни мыслили и чувствовали по «Русскому слову», даже в среде дипломированной интеллигенции, расписанной по иным, радикальным и социалистическим, партиям. Огромная сила национального возрождения растрачивалась зря, растекаясь по чуждым ручейкам или заболачиваясь в низинах, за отсутствием вождей. Национально-демократическая партия приобрела бы огромный резонанс в городском купеческом и служивом населении, будь она почвенна и национальна. Конечно, ее успех был бы немыслим без доброй воли царя, от которого в этом случае требовался бы не жест Пугачева, а дело Александра II в идейном обрамлении Алексея Михайловича.

И, наконец, в-третьих, если выяснилась неспособность монархии к творческому акту, если путь революции оставался единственным открытием для интеллигенции, то теоретически мыслима партия демократической революции, русского якобинства. Ее элементы имелись уже в русской политической культуре, в памяти декабристов, в поэзии Некрасова и Шевченко, в прозе Герцена и Горького, с «Дубинушкой» в качестве национального гимна. Тысячи бунтовавших студентов именно в «Дубинушке», а не «Марсельезе» (всего менее в «Интернационале») находилиадекватное выражение вольнолюбивым своим чувствам. В «Дубинушке», да еще в песнях о Стеньке Разине, которые были в России поистине национальны. Русские радикальные юноши в массе своей безнадежно путались между с.-д. и с.-р., с трудом и внутренним отвращением совершая ненужный выбор между ними – ненужный потому, что не социалистическая идея волновала сердца, а манящий призрак свободы. В этой борьбе студенчество, конечно, было бы поддержано новой демократией, как мы ее определили, и крестьянством, которое поднялось бы за землю, кто бы ни обещал ее. Конечно, революционная стихия в

России несла с собой неизбежно пугачевщину, сожжение усадеб, разгром богачей, но гроза пронеслась бы и вошедшее в берега море оставило бы (за вычетом помещиков) все те же классы в той же национальной России. Вчерашние бунтовщики оказались бы горячими патриотам, строителями великой России. Это путьреволюции в Германии, Италии, Турции. Почему же в России не нашлось места младотуркам и Кемалю-паше? Неужели турецкая политическая культура оказалась выше русской? Одна из причин этого столь невыгодного для нас несходства заключалась в том обстоятельстве, что турки учились у политически отсталой Франции, а мы у передовой, то есть у социалистической Германии. Но за этим стоит другое. Французские учебники оказались подходящими для Турции, потому что они твердили зады революции 1793 года – буржуазной и национальной. Турция 1913-го или 1918. года ближе к Франции 1793-го, чем современная Россия к современной Германии. За легковесностью политического багажа турецких генералов скрывается большая зоркость к условиям национальной жизни, большая чуткость, большая трезвость. Трезвые люди были и в России. Но им не хватало турецкой смелости. Нужно представить себе Скобелева, Драгомирова или Гучкова конспираторами, организующими дворцовый переворот, поднимающими военные восстания, чтобы почувствовать всю ирреальность этого исхода. Ни в русской армии, ни в русской интеллигенции не было людей, соединяющих холодную голову, понимание национальных задач с беззаветной смелостью и даже авантюризмом, необходимым для выполнения такого плана. Гражданский маразм, деформация политической психологии делали невозможным образование национальной революционной партии в России.

9. Была ли революция неотвратимой?

Ставить так вопрос – не значит ли заниматься пророчествами наизнанку: гаданием о том, что могло бы быть и чего не было? – Самый никчемный, ибо ни на что не вдохновляющий вид пророчеств. – Вопрос этот может иметь смысл лишь как новая, оценочная и в то же время поверочная форма нашей аподиктической схемы. Отчасти это вопрос о вине и ответственности, отчасти поправка к безнадежно черной картине, умышленно односторонней, ибо предназначенной для объяснения гибели.

И вот, на пороге последней катастрофы, мы останавливаемся, чтобы сказать: не все в русской политической жизни было гнило и обречено. Силы возрождения боролись все время с болезнетворным ядом. Судьба России до самого конца висела на острие – как судьба всякой живой личности.

Начнем издалека.

Первый признак государственного упадка в России мы усматривали в политической атонии дворянства. Заметное с конца XVIII века явление это связано-отчасти, по крайней мере, – с крушением его конституционных мечтаний. Даже если мечтания эти не были ни особенно сильными, ни особенно распространенными, в интересах государства было привлечь дворянство как класс к строительству Империи: возложить на него бремя ответственности. Всенародное представительство в виде Земского Собора было невозможно с того момента, как все классы общества, кроме дворянства, остались за порогом новой культуры. Но дворянский сейм был возможен. Он сохранился повсюду в Восточной Европе, и русские государственные деятели часто испытывали его соблазн. Эта аристократическая (шведская) идея жила и в век Екатерины (граф Панин), и в век Александра I (Мордвинов). Декабристы – значительная часть их – усвоили демократические идеи якобинства, беспочвенные в крепостной России. Но и среди них, а еще более в кругах, сочувствующих им, в эпоху Пушкина были налицо и трезвые умы, и крупные политические таланты, чтобы, сомкнувшись вокруг трона, довести до конца роковое, но неизбежное дело европеизации России. Конечно, эта задача делала невозможным немедленное освобождение крестьян, которое неминуемо ввергло бы Россию в XVII век. Единственный шанс русского конституционализма в начале XIX века – это что крестьянство могло бы н е заметить перемены, всецело заслоненное от государства лицом помещика. Новый строй был бы принят им на веру, на слово царя.

Постепенное приобщение к представительству других слоев – духовенства, интеллигенции, купечества – сообщало бы земский характер Собору, открывало бы возможности нормальной демократизации, плоды которой со временем достались бы и освобожденному крестьянству. Конечно, в тот день, когда царь апеллирует к народу, от дворянства не останется ничего. В этом, в необходимости политического самоограничения царя, и заключается практический утопизм конституционного пути. Абсолютизм нигде и никогда себя не ограничивал, а в России не было силы, способной ограничить его извне. Весь этот первый политический ренессанс – дворянский – был задушен навсегда тяжелой рукой Николая I.

Реформы Александра II, надломив бюрократический строй, но не перестроив государства на новых началах, оставили хаос, разброд в умах, междоусобную борьбу во всех колесах правительственного механизма, уничтожая левой рукой то, что делала правая, царь вывел Россию из равновесия. С 60-х годов начинается последняя, разрушительная эпоха Империи. А между тем вызванная ею к жизни так называемая общественность, то есть дворянско-интеллигентские силы были значительны, одушевлены идеализмом политической и культурной работы и далеко не всегда беспочвенны. Земская, позже городская Россия, плод самоотверженного труда двух поколений деятелей, доказывает положительные, созидательные способности новых людей. Государство оттолкнуло их, отвело им тесно ограниченный удел, создав из земщины как бы «опричнину» наизнанку, вечно подозреваемую и подрезываемую экспериментальную школу новой России. Эта изоляция от государства воспитала земцев – безгосударственников, деятелей уездного и губернского масштаба, слепых к мировым задачам России.

Но атмосфера государственного сознания была искусственной: поддерживалась вечной мелкой .войной с губернаторским самодурством и зрелищем попятного движения Петербурга. «Увенчание здания» в 60-х годах организовало бы эту общественную энергию, превращая её в национальную. Трудности были – и немалые. Во-первых, политическая школа Запада угрожала превратить русский Земский Собор в театр красноречия и борьбы за власть. Но правительствораспологало ещё большими славянофильскими ресурсами. Опершись на духовенство и купечество, оно могло бы оживить древнюю легенду православного царя. Приобщая к реальной власти, то есть давая политические посты земским деятелям, наряду с бюрократией правительство вырвало бы почву у безответственной оппозиции. Вторая, и несравненно большая трудность

заключалась в свободном крестьянстве, которое не замедлило бы предъявить своипритязания на всю землю. Пришлось бы идти на ликвидацию дворянского землевладения гораздо решительнее, чем шли в действительности. Последствия были бы не из легких – сельскохозяйственные и общекультурные. Но жизнь показала, что этот процесс неотвратим. Россия должна была перестраиваться: из дворянской в крестьянско-купеческую. У власти был шанс сохранить в своих руках руководство этим процессом, проведя ликвидацию с возможной бережностью к старому культурному слою. Третьей опасностью являлся анархический нигилизм. поскольку он отражал не реально-политические, а сектански-религиозные потребности русской интеллигентской души, он не поддавался политическому излечению. Но в 60-х годах болезнь была в зародыше, и в условиях гражданского мира максималистские тенденции могли быть направлены по их подлинному религиозному руслу.

Для этого пути от власти требовалась большая смелость – и вера, вера в свою правду и в свой народ. Александр II и его правительство ни верой, ни смелостью не обладали. Правительство ориентировалось на немцев, было чуждо русским национальным течениям и трусливо так, как мог быть только доживающий абсолютизм Габсбургов. Тяжелая моральная атмосфера двора, столь несоответствующая народной легенде о Царе-освободителе, доказывает эту внутреннюю опустошенность монархических ресурсов в народной душе.

Под пышной порфирой Александра III гниение России сделало такие успехи, что надежды на мирный исход кризиса к последнему царствованию были невелики. Главное было в исчерпанностиморальных ресурсов. Славянофильский идеал был опоганен мнимонациональной полицейской системой удушения. Внутренняя хилость и бездарность консервативных течений конца века (Достоевского, Леонтьева!) – показатель безошибочный. Консервативные идеи в «Новом времени» оказались продажными. Без субсидии от правительства не могла существовать ни одна правая газета. Ясно, что возрождение теократической идеи царства стало невозможным.

Но для России были даны еще два последних шанса. Первый шанс – революция 1905 года. Второй – контрреволюция Столыпина.

Невозможно доказать, невозможно даже утверждать с полной убежденностью, что победа революции в 1905 году не привела бы к тому же развалу России, что революция 1917 года. Все же можно привести серьезные противопоказания. В движение 1905 года в отличие от революции 1917 года все партии и группы русской интеллигенции шли с

огромной верой и энтузиазмом. Моральный капитал революции, скопленный за столетие, не был растрачен. Народ не находился в состоянии отчаяния и слабо чувствовал войну. Огромные массы крестьянства жили еще в условиях патриархального быта и сознания. Самое главное: международная обстановка была сравнительно благоприятной. Война могла быть закончена в любой момент. Конечно, успех революции неизбежно привел бы к захвату помещичьей земли, пожарам и погромам. Конечно, социалистическая агитация в рабочих массах возбуждала их против либеральной демократии. Но все эти опасности действовали в неизмеримо меньшей степени, чем через 10 лет. Даже большевики 1905 года со своей программой диктатуры пролетариата и крестьянства стояли на почве русской, национальной революции. Гражданская война была неизбежна. Но она имела шансы окончиться победою опирающихся на удовлетворенное крестьянство умеренных слоев демократии.

Впрочем, самые шансы эти, то есть недостаточная острота революционной ситуации, и сделала возможной сравнительно легкое подавление революции.

Инициатива была в руках правительства. Оно имело шанс. И какой шанс!

Восьмилетие, протекшее между первой революцией и войной, во многих отношениях останется навсегда самым блестящим мгновением в жизни старой России. Точно оправившаяся от тяжелой болезни страна торопилась жить, чувствуя, как скупо сочтены ее оставшиеся годы. Промышленность переживала расцвет. Горячка строительства, охватившая все города, обещавшая подъем хозяйства, предлагавшая новый выход крестьянской энергии. Богатевшая Россия развивала огромную духовную энергию. Именно в это время для всех стал явен тот вклад в русскую культуру, который вносило русское купечество. Университет, получивший автономию, в несколько лет создал поколение научных работников в небывалом масштабе. В эти годы университеты Московский и Петербургский не уступали лучшим из европейских. Помимо автономии и относительной свободы печати, научная ревность молодежи поддерживалась общей переоценкой интеллигентских ценностей. Вековое миросозерцание, основанное на позитивизме и политическом максимализме, рухнуло. Созревала жатва духа, возросшая из семян, брошенных в землю религиозными мыслителями XIX века. Православная Церковь уже собирала вокруг себя передовые умы, воспитанные в школе символизма или марксизма. Пробуждался и рос горячий интерес к России,

ее прошлому, ее искусству. Старые русские города уже делались целью паломничества. В лице Струве и его школы – самой значительной школы этого времени – впервые после смерти Каткова возрождалась в России честная и талантливая консервативная мысль. Струве подавал руку Столыпину от имени значительной группы интеллигенции, Гучков – от имени буржуазии. Как использовала монархия эти счастливые для нее возможности?

Император Николай II имел редкое счастье видеть у подножия своего трона двух исключительных, по русской мерке, государственных деятелей: Витте и Столыпина. Он ненавидел одного и предавал обоих. Они были совершенно разные, особенно в моральном отношении, люди. Но оба указывали монархии ее пути. Один – к экономическому возрождению страны через организацию сил промышленного класса, другой – к политическому возрождению России – в национально-конституционных формах. Николай II хотел принизить Витте до уровня ловкого финансиста, а Столыпина – до министра полиции. Он лукавил с обоими и окружал себя политическими гадами, публично лаская погромщиков и убийц. Он жил реакционной романтикой, созвучной славянофильским идеалам, растоптанным его отцом и дедом. Лет сорок-тридцать тому назад они имели действенную силу. Теперь это была вредная ветошь, нелепый маскарад, облекавший гвардейского полковника в одежды московского царя. В Царском Селе императрица строила Феодоровский городок для задуманного ею духовно-полицейского ордена рыцарей самодержавия (старая идея «опричнины»). В жизни рыцари оказывались наемными охранниками или бандитами. Во дворце жили в сознании войны со своими мятежниками подданными и подменивали политику полиции. Это выпячивание полиции бередило уже зарубцевавшиеся раны, срывало дело национального объединения. Беспричинно и бессмысленно разрушалась автономия университетских корпораций. Кассо и Шварц сумели вызывать из потухшего пепла слабые вспышки студенческих забастовок. Но хуже всего былопроституирование народного представительства.

Монархия не могла править с Думами, состоящими из социалистов и республиканцев. Это ясно. Но она так же не доверяла Думе октябристов и националистов. Она вела в лице ее войну с консервативными силами страны – мелочную, нелепую, дискредитирующую и власть, и народное представительство. Народ приучался к мысли о бессилии и никчемности Думы, интеллигенция – к аполитизму. Не стоило создавать Думы, не приобщая к власти ее вождей. Оставляя за ними лишь право слова, правительство превращало Думу в «говорильню», в митинг, который, как

митинг, имел тот огромный недостаток, что отражал настроения лишь правого сектора страны. Столыпин не принял протянутой руки Струве и Гучкова – не потому, чтобы недооценивал значения гражданского мира. Но за ним стоял дворец, который парализовал его волю, дворец, который превратился в штаб гражданской войны.

В довершение бедствия дворцовый мистицизм принял уродливые и опасные формы. Вся Россия- с ужасом или захлебываясь от удовольствия – переживала годы распутиниады. Хлыст, через царскую семью, уже командовал над русской Церковью в ожидании того момента, когда война отдаст ему в руки государство. Подобранный Распутиным Синод, распутинские митрополиты, ссылка епископов – неслыханное поругание Церкви совершалось именем царя, который мистически сознавал себя помазанником Божиим, который всецело принимал сверхчеловеческую ответственность самодержавной власти. Для религиозного сознания один этот грех обрекал на смерть династию. Для всей грамотной России это была ванна мерзости, в которую она погружалась каждый день.

Оглядываясь на последние предвоенные годы, чувствуешь странное раздвоение: гордость достижениями русской культуры и тяжесть от невыносимого нравственного удушья. Имморализмом была поражена более или менее вся Россия. Ренессанс культуры не сказался еще ничем в ее сердце. Но ясно замечаешь и определенные черные лучи, Исходящие из одного фокуса: отравляющие правительство, Думу, печать, общественность. Этот фокус-в царском дворце. Можно, конечно, думать, что рок войны, непосильной для России, все равно обрекал на гибель работу ее творческих сил. Но и без войны было ясно, что вся эта работа парализуется и отравляется в самом сердце страны.

Нельзя преуменьшать значения личной ответственности в истории. В самодержавной монархии не может не быть особенно тяжелой ответственность царя. Но бывают годы в жизни народов, годы кризисов, распутий, когда чаша личной ответственности начинает перетягивать работу бессознательных исторических сил. В русской революции только два человека сыграли роковую, решающую роль, не сводимую к типическим факторам, к воздействию групп. Эти два человека – Николай II и Ленин. Первый спустил революцию, второй направил ее по своему пути.

Будет ли существовать Россия?

Вопрос этот, несомненно, покажется нелепым для большинства русских людей. Мы привыкли, вот уже одиннадцать лет, спрашивать себя об одном: скоро ли падут большевики? Что за падением большевиков начинаться национальное возрождение России, в этом не было ни искры сомнения. В революции мы привыкли видеть кризис власти, но не кризис национального сознания. Многие не видят опасности, не верят в нее. Я могу указать симптомы. Самый тревожный – мистически значительный – забвение имени России. Все знают, что прикрывающие ее четыре буквы «СССР» не содержат и намека на ее имя, что эта государственная формация мыслима в любой части света: в Азии, в Южной Америке. В Зарубежье, которое призвано хранить память о России, возникают течения, группы, которые стирают ее имя: не Россия, а «Союз народов Восточной Европы»; не Россия, а «Евразия». О чем говорят эти факты? О том, что Россия становится географическим пространством, бессодержательным, как бы пустым, которое может быть заполнено любой государственной формой. Одни – интернационалисты, которым ничего не говорят русские национальные традиции; другие – вчерашние патриоты, которые отрекаются от самого существенного завета этой традиции – от противостояния исламу, от противления Чингисхану, – чтобы создать совершенно новую, вымышленную страну своих грез. В обоих случаях Россия мыслится национальной пустыней, многообещающей областью для основания государственных утопий. Можно отмахнуться от этих симптомов, усматривая в них лишь новые болезни интеллигентской мысли – к тому же не проникшие в Россию. Но никто не станет отрицать угрожающего значения сепаратизмов, раздирающих тело России. За одиннадцать лет революции зародились, окрепли десятки национальных сознаний в ее расслабевшем теле. Иные из них приобрели уже грозную силу. Каждый маленький народец, вчера полудикий, выделяет кадры полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя своих русских учителей. Под кровом интернационального коммунизма, в рядах самой коммунистической партии складываются кадры националистов, стремящихся разнести в куски историческое тело России. Казанским татарам, конечно, уйти некуда. Они могут лишь мечтать о Казани как столице Евразии. Но Украина, Грузия (в лице их интеллигенции) рвутся к независимости. Азербайджан и Казахстан тяготеют к азиатским центрам ислама.

С Дальнего Востока наступает Япония, вскоре начнет наступать Китай. И тут мы с ужасом узнаем, что сибиряки, чистокровные великороссы-сибиряки, тоже имеют зуб против России, тоже мечтают о Сибирской Республике – легкой добыче Японии. Революция укрепила национальное самосознание всех народов, объявила контрреволюционными лишь национальные чувства господствовавшей вчера народности. Многие с удивлением узнают сейчас, что великороссов в СССР числится всего 54%. И это слабое большинство сейчас же становится меньшинством, когда мы мысленно прилагаем к России оторвавшиеся от нее западные области. Мы как-то проморгали тот факт, что величайшая империя Европы и Азии строилась национальным меньшинством, которое свою культуру и свою государственную волю налагало на целый этнографический материк. Мы говорим со справедливою гордостью, что эта гегемония России почти для всех (только не западных) ее народов была счастливой судьбой, что она дала им возможность приобщиться к всечеловеческой культуре, какой являлась культура русская. Но подрастающие дети, усыновленные нами, не хотят знать вскормившей их школы и тянутся кто куда – к Западу и к Востоку, к Польше, Турции или к интернациональному геометрическому месту – то есть к духовному небытию.

Поразительно: среди стольких шумных, крикливых голосов один великоросс не подает признаков жизни. Он жалуется на все: на голод, бесправие, тьму, только одного не ведает, к одному глух – к опасности, угрожающей его национальному бытию.

Вдумываясь в причину этого странного омертвения, мы начинаем отдавать себе отчет в том, насколько глубок корень болезни. В ней одинаково повинны три главнейшие силы, составлявшие русское общество в эпоху Империи: так называемая интеллигенция и власть. Для интеллигенции русской, то есть для господствовавшего западнического крыла, национальная идея была отвратительна своей исторической связью с самодержавной властью. Все национальное отзывалось реакцией, вызывало ассоциацию насилия или официальной лжи. Для целых поколений «патриот» было бранное слово. Вопросы общественной справедливости заглушали смысл национальной жизни. Национальная мысль стала монополией правых партий, поддерживаемых правительством. Но что сделали с ней наследники славянофилов? Русская национальная идея, вдохновлявшая некогда Аксаковых, Киреевских, Достоевского, в последние десятилетия необычайно огрубела. Эпигоны славянофильства совершенно забыли о положительном творческом ее

содержании. Они были загипнотизированы голой силой, за которой упустили нравственную идею. Национализм русский выражался главным образом в бесцельной травле малых народностей, в ущемлении их законных духовных потребностей, создавая России все новых и новых врагов. И наконец, народ, – народ, который столько веков с героическим терпением держал на своей спине тяжесть Империи, вдруг отказался защищать ее. Если нужно назвать один факт – один, но основной , из многих слагаемых русской революции, – то вот он: на третий год мировой войны русский народ потерял силы и терпение и отказался защищать Россию. Не только потерял понимание цели войны (едва ли он понимал ее и раньше), но потерял сознание нужное™ России. Ему уже ничего не жаль: ни Белоруссии, ни Украины, ни Кавказа. Пусть берут, делят кто хочет. «Мы рязанские». Таков итог векового выветривания национального сознания. Несомненно, что в Московской Руси народ национальным сознанием обладал. Об этом свидетельствуют хотя бы его исторические песни. Он ясно ощущает и тело русской земли, и ее врагов. Ее исторические судьбы, слившиеся для него с религиозным призванием, были ясны и понятны. В петровской Империи народ уже не понимает ничего. Самые географические пределы ее стали недоступны его воображению. А международная политика? Ее сложность, чуждость ее задач прекрасно выразилась в одной солдатской песне XVIII века:

Пишет, пишет король прусский
Государыне французской
Мекленбургское письмо.

Крепостное рабство, воздвигшее стену между народом и государством, заменившее для народа национальный долг частным хозяйственным игом, завершило разложение политического сознания. Уже крестьянские бунты в Отечественную войну 1812 года были грозным предвестником. Религиозная идея православного царя могла подвигнуть народ на величайшие жертвы, на чудеса пассивного героизма. Но государственный смысл этих жертв был ему недоступен. Падение царской идеи повлекло за собой падение идеи русской. Русский народ распался, распылился на зернышки деревенских мирков, из которых чужая сила, властная и жестокая, могла строить любое государство, в своем стиле и вкусе.

Итак, каждая из трех русских общественных сил несет вину – или долю вины – за национальное крушение.

К этим разлагающим силам присоединилось медленное действие одного исторического явления, протекавшего помимо сознания и воли

людей и почти ускользнувшего от нашего внимания. Я имею в виду отлив сил, материальных и духовных, от великорусского центра на окраины Империи. За XIX век росли и богатели, наполнялись пришлым населением Новороссия, Кавказ, Сибирь. И вместе с тем крестьянство центральных губерний разорялось, вырождалось духовно и заставляло экономистов говорить об «оскудении центра». Великороссия хирела, отдавая свою кровь окраинам, которые воображают теперь, что она их эксплуатировала. Самое тревожное заключалось в том, что параллельно с хозяйственным процессом шел отлив и духовных сил от старых центров русской жизни. Легче всего следить за этим явлением по литературе. Если составить литературную карту России, отмечая на ней родины писателей или места действия их произведений (романов), то мы поразимся, как слабо будет представлен на этой карте Русский Север, весь замосковский край – тот край, что создал великорусское государство, что хранит в себе живую память «Святой Руси».

Русская классическая литература XIX века-литература черноземного края, лишь с XVI-XVII веков отвоеванного у степных кочевников. Тамбовские, пензенские орловские поля для нас сталисамыми русскими в России. Но как бедны эти места историческими воспоминаниями. Это деревянная, соломенная Русь, в ней ежегодные пожары сметают скудную память о прошлом. Здесь всего скорее исчезают старые обычаи, песни, костюмы. Здесь нет этнографического сопротивления разлагающим модам городской цивилизации. С начала XX века литература русская бросает и черноземный край, оскудевший вместе с упадком дворянского землевладения. Выдвигается новороссийская окраина, Одесса, Крым, Кавказ, Нижнее Поволжье. Одесса, полуеврейский город, где не умеют правильно говорить по-русски, создает целую литературную школу.

До сих пор мы говорили об опасностях. Что можно противопоставить им, кроме нашей веры в Россию? Есть объективные факты, точки опоры для нашей национальной работы – правда, не более чем точки опоры, ибо без работы, скажу больше – без подвига, – России нам не спасти.

Вот эти всем известные факты. Россия не Австралия и не старая Турция, где малая численно народность командовала над чужеродным большинством. И если Россия, с культурным ростом малых народностей, не может быть национальным монолитом, подобным Франции или Германии, то у великорусской народности есть гораздо более мощный этнический базис, чем у австрийских немцев; во- вторых, эта народность не только не уступает культурно другим, подвластным (случай Турции), но является носительницей единственной великой культуры на

территории государства. Остальные культуры, переживающие сейчас эру шовинистического угара – говоря совершенно объективно, – являются явлениями провинциального порядка, в большинстве случаев и вызванными к жизни оплодотворяющим воздействием культуры русской. В-третьих, национальная политика старой России, тяжкая для западных, культурных (ныне оторвавшихся) ее окраин – для Польши, для Финляндии, – была, в общем, справедлива, благодетельна на Востоке. Восток легко примирился с властью Белого царя, который не ломал насильственно его старины, не оскорблял его веры и давал ему место в просторном русском доме.

Из оставшихся в России народов прямая ненависть к великороссам встречается только у наших кровных братьев – малороссов, или украинцев. (И это самый болезненный вопрос новой России.) В-четвертых, большинство народов, населяющих Россию, как островки в русском море, не могут существовать отдельно от нее; другие, отделившись, неминуемо погибнут, поглощенные соседями. Там, где, как на Кавказе, живут десятки племен, раздираемых взаимной враждой, только справедливая рука суперарбитра может предотвратить кровавый взрыв, в котором неминуемо погибнут все ростки новой национальной жизни, то касается Украины, то для нее роковым является соседство Польши, с которой ее связывают вековые исторические цепи. Украине объективно придется выбрать между Польшей и Россией, и отчасти от нас зависит, чтобы выбор был сделан не против старой общей родины. И, наконец, в-пятых, за нас действуют еще старые экономические связи, создающие из бывшей Империи, из нынешней СССР, единый хозяйственный организм. Разрыв его, конечно, возможен (пример: та же Австрия), но мучителен для всех участников хозяйственного общения. Силы экономической инерции действуют в пользу России.

Сумеем ли мы воспользоваться этими благоприятными шансами, это зависит уже от нас, то есть прежде всего от новых поколений, которые вступают в жизнь там, в Советской России, и в меньшей степени здесь, в изгнании.

Я не буду останавливаться здесь на политических условиях, совершенно бесспорных, русского возрождения. Таким непременным условием является создание национальной власти в России. Замечу лишь в скобках, что момент падения коммунистической диктатуры, освобождая национальные силы России, в то же время является и моментом величайшей опасности. Оно, несомненно, развяжет подавленные ныне сепаратистские тенденции некоторых народов России, которые

попытаются воспользоваться революцией для отторжения от России, опираясь на поддержку ее внешних врагов. Благополучный исход кризиса зависит от силы новой власти, ее политической зрелости и свободы от иностранного давления.

Здесь я остановлюсь лишь на духовной стороне нашей работы, на той, которая выпадает по преимуществу на долю интеллигенции. Говоря кратко: эта задача в том, чтобы будить в себе, растить и осмыслять, «возгревать» национальное сознание.

Наша эпоха уже не знает бессознательно-органической стихии народа. Эти источники культуры почти иссякли, эта «земля» перепахана и выпахана. И русский народ вступил в полосу рационализма, верит в книжку, в печатное слово, формирует (или уродует) свой облик с детских лет в школе, в обстановке искусственной культуры. Оттого так безмерно вырастает влияние интеллигенции (даже низшей по качеству, даже журналистики); оттого-то удаются и воплощаются в историческую жизнь новые, «умышленные», созданные интеллигенцией народы. Интеллигенция творит эти народы, так сказать, «по памяти»: собирая, оживляя давно умершие исторические воспоминания, воскрешая этнографический быт. Если школа и газета, с одной стороны, оказываются проводниками нивелирующей, разлагающей, космополитической культуры, то они же могут служить и уже служат орудием культуры творческой, национальной. Мы должны лишь выйти из своей беспечности и взять пример с кипучей страстной работы малых народов, работы их интеллигенции, из ничего, или почти из ничего, кующей национальные традиции. Наша традиция богата и славна, но она запылилась, потускнела в сознании последних поколений. Для одних затмилась прелестями Запада, для других – официальным и ложным образом России, для которого в искусстве – и не только в искусстве – типичен псевдорусский стиль Александра III. Мы должны изучать Россию, любовно вглядываться в её черты, вырывать в ее земле закопанные клады.

Мы должны знать ее историю, любить ее героев, ценить и самые древние памятки ее литературы (первыми у нас никто не интересовался), особенно – ее искусством. Это великое искусство было открыто незадолго до войны.

Огромное большинство русской интеллигенции не имеет до сих пор понятия о его существовании. Но в нем дана объективная, говорящая и внешнему миру, мера русского гения.

Мы должны читать и уметь различать в иконописном житии живые лики русских святых, которые несут нам свой заветы, свое национальное

понимание вечного христианства. Понять эти заветы не всегда легко, но мало кто задумывается над этим. Мы должны чтить и героев – строителей нашей земли, ее князей, царей и граждан, изучая летописи их борьбы, их трудов, учась на самых их ошибках и падениях, не в рабском подражании, но в свободном творчестве вдохновляясь подвигом предков. Мы должны знать живую Россию, ее природу, жизнь ее народов, их труд, их искусство, их верования и быт. И прежде всего мы должны знать Великороссию.

Наше национальное сознание должно быть сложным, в соответствии со сложной проблемой новой России (примитив губителен). Это сознание должно быть одновременно великорусским, русским и российские.

Я говорю здесь, обращаясь преимущественно к великороссам. Для малороссов, или украинцев, не потерявших сознание своей русскости, эта формула получит следующий вид: малорусское, русское, российское.

После всего сказанного выше ясна повелительная необходимость оживления, воскрешения Великороссии. Всякий взгляд в историческое прошлое России, всякое паломничество по ее следам приводит нас в Великороссию, на ее Север, где и поныне белеют стены великих монастырей, хранящих дивной красоты росписи, богословские «умозрение в красках», где в лесной глуши сохраняются и старинная утварь, и старинные поверия, и даже былинная поэзия; старые города (Углич, Вологда), древние монастыри (Кириллов, Ферапонтов) должны стать национальными музеями, центрами научно-художественных экскурсий для всей России. Работа изучения святой древности, ведущаяся и в большевистской России, должна продолжаться с неослабевающей ревностью, вовлекая, захватывая своим энтузиазмом все народы России. Пусть не для нас одних Русский Север станет страной святых чудес, священной землей, подобно древней Элладе или средневековой Италии, зовущей пилигримов со всех концов земли. Для нас, русских и христиан, эта земля чудес вдвойне священна: почти каждая волость ее хранит память о подвижнике, спасавшемся в лесном безмолвии, о воине Сергиевой рати, молитвами державшей и спасавшей страдальческую Русь.

Но Русский Север не только музей, не только священное кладбище. По счастью, жизнь не покинула его. Его население – немногочисленное – крепко, трудолюбиво и зажиточно. Перед ним большие экономические возможности. Белое море и его промыслы обещают возрождение целому краю при научном использовании его богатств.

Московский промышленный район (здесь: Ярославль, Кострома) устоял в испытании революции. На этой земле «Святая Русь», святая старина бок о бок соседит с современными мануфактурами, рабочие

поселки – с обителями учеников преподобного Сергия, своим соседством вызывая часто ощущение болезненного противоречия, но вместе с тем конкретно ставя перед нами насущную задачу нашего будущего: одухотворения православием технической природы современности.

Русский Север, Святая Русь в полноте своей жизни открывают свои сокровища, конечно, лишь православному взору: только для него подлинно живет и древняя икона, и народная песня, и даже вещественный осколок уходящего быта. Но, конечно, работа найдется и для неверующего, но любящего исследователя. Здесь понадобятся целые плеяды этнографов, искусствоведов, бытописателей – собирателей материалов. Самая работа над памятниками религиозной культуры не проходит даром для религиозного роста личности. Но лишь живой вере суждено построить из камней культуры храм живого духа.

От великоросского – к русскому. Это прежде всего проблема Украины. Проблема слишком сложная, чтобы здесь можно было коснуться ее более чем намеками. Но от правильного решения ее зависит самое бытие России. Задача эта для нас формулируется так: не только удержать Украину в теле России, но вместить и украинскую культуру в культуру русскую. Мы присутствуем при бурном и чрезвычайно опасном для нас процессе: зарождении нового украинского национального сознания, в сущности новой нации. Она еще не родилась окончательно, и ее судьбы еще не предопределены. Убить ее невозможно, но можно работать над тем, чтобы ее самосознание утверждало себя как особую форму русского самосознания. Южнорусское (малорусское) племя было первым создателем русского государства, заложило основы нашей национальной культуры и себя самого всегда именовало русским (до конца XIX века). Его судьба во многом зависит от того, будем ли мы (то есть великороссы) сознавать его близость или отталкиваться от него как от чужого. В последнем случае мы неизбежно его потеряем. Мы должны признать и непрестанно ощущать своими не только киевские летописи и мозаики киевских церквей, но украинское барокко, столь прививщееся в Москве, и киевскую Академию, воспитавшую русскую Церковь, и Шевченко за то, что у него много общего с Гоголем, и украинскую песню, младшую сестру песни великорусской. Эта задача – приютить малоросские традиции в общерусскую культуру – прежде всего выпадает на долю южнорусских уроженцев, сохранивших верность России и любовь к Украине. Отдавая свои творческие силы Великороссии, мы должны уделить и Малой (древней матери нашей) России частицу сердца и понимания ее особого культурно-исторического пути. В борьбе с политическим

самостийничеством, в обороне русской идеи и русского дела на Украине нельзя смешивать русское дело с великорусским и глушить ростки тоже русской (то есть малорусской) культуры. Та же самая русская идея на севере требует от нас некоторого сужения, краеведческого, областнического углубления на юге – расширения, выхода за границу привычных нам великорусских форм.

И здесь, на охране единства Великой и Малой России, самой прочной связью между ними была и остается вера. Пусть разъединяет язык, разъединяет память и имя Москвы – соединят киевские святыни и монастыри северной Руси. До тех пор, пока не сделан непоправимый шаг и народ малорусский не ввергнут в унию или другую форму католицизующего христианства, мы не утратим нашего братства. Разрываемые националистическими (и в то же время вульгарно-западническими) потоками идей, мы должны соединяться в религиозном возрождении. И сейчас подлинно живые религиозные силы Украины от русской Церкви себя не отделяют. От русского – к российскому. Россия – не Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси. И народы эти уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом нестройных голосов. Для многих из нас это все еще непривычно, мы с этим не можем примириться. Если не примиримся – то есть с многоголосностью, а не с нестройностью, – то и останемся в одной Великороссии, то есть России существовать не будет. Мы должны показать миру (после крушения стольких империй), что задача Империи, то есть сверхнационального государства, – разрешима. Более того – когда мир, устав от кровавого хаоса мелкоплеменной чересполосицы, встоскуется о единстве как предпосылке великой культуры, Россия должна дать образец, форму мирного сотрудничества народов, не под гнетом, а под водительством великой нации. Задача политиков – найти гибкие, но твердые формы этой связи, обеспечивающей каждой народности свободу развития в меру сил и зрелости. Задача культурных работников, каждого русского в том, чтобы расширить свое русское сознание (без ущерба для его «русскости») в сознание российское. Это значит воскресить в нем, в какой-то мере, духовный облик всех народов России. То в них ценно, что вечно, что может найти место в теле Вселенской Церкви. Всякое дело, творимое малым народом, как бы скромно оно ни было, всякое малое слово должны вложиться в русскую славу, в дело России. В наш век национальные самолюбия значат порою больше национальных интересов. Пусть каждый маленький народ, то есть его интеллигенция, не только не чувствует унижения от соприкосновения с национальным сознанием русских

(великоросса), но и находит у него помощь и содействие своему национально-культурному делу. Было бы вреднейшей ошибкой презрительно отмахнуться от этих шовинистических интеллигенций и через головы их разговаривать с народом. Многие думают у нас сыграть на экономических интересах масс против «искусственных» национальных претензий интеллигенций. Рано или поздно народ весь будет интеллигенцией, и презрение к его духовным потребностям отомстит за себя. Конечно, духовные потребности приходится отличать от политических притязаний: в титуле московских царей и императоров всероссийских развертывался длинный свиток народов, подвластных их державе. Многоплеменность, многозвучность России не умаляла, но повышала ее славу. Национальное сознание новых народов Европы в этом отношении не разделяет гордости монархов, но Россия не может равняться с Францией или Германией: у нее особое призвание. Россия – не нация, но целый мир. Не разрешив своего призвания, сверхнационального, материкового, она погибнет – как Россия.

Объединение народов России не может твориться силой только религиозной идеи. Здесь верования не соединяют, а разъединяют нас. Но духовным притяжением для народов была и останется русская культура. Через нее они приобщаются к мировой цивилизации. Так это было в петербургский период Империи, так это должно остаться. Если народы России будут учиться не в Москве, не в Петербурге, а в Париже и в Берлине, тогда они не останутся с нами. На русскую интеллигенцию ложится тяжкая ответственность: не сдать своих культурных высот, идти неустанно, без отдыха, все к новым и новым достижениям. Уже не только для себя, для удовлетворения культурной жажды или профессиональных интересов, но и для национального дела России. Здесь не важна сама по себе культурная отрасль, профессия, – России нужны ученые и техники, учителя и воины. Для всех один закон: квалификация, ее непрерывный рост в труде и подвижничестве. Если великороссы составляют 54% России, то русская интеллигенция должна выполнить не 54%, а гораздо более общероссийской культурной работы, чтобы сохранить за собой бесспорное водительство.

Время для нас грозное, тяжелое. Бесчисленные народы России рвутся к свету, к культуре. Среди всех только великорусская интеллигенция, придавленная, разреженная искусственно, вытесняется с пути национального творчества... Молодое поколение варваризуется и в России, и в Зарубежье. Для него подчас, кажется, не под силу поднять культурную ношу отцов. Но надо не только поднять ее, но и нести дальше и выше, чем

умели отцы. Ибо голос времени звучит неумолимо: «Всякое промедление – смерти подобно», как говаривал Петр Великий. Наши творческие силы еще не иссякли. Мы верим в наше призвание, не мириться с мыслью о гибели. Нам нужна лишь школа аскезы – культурной, творческой аскезы, без которой не создаются ни духовные, ни материальные ценности культуры.

Последние слова к христианам, к православным. Нельзя, разумеется, подчинить путь веры путям национальной жизни. Нет ничего гнуснее утилитарно-политического отношения к христианству. Но в православии дано нам религиозное освящение нации. Церковь благословляет наше национальное делание, при условии просветленности его Светом Христовым.

Но мы должны преодолеть в себе две слабости, которые до сих пор обеспложивают творческие силы христианской интеллигенции. Во-первых, мы должны отрешиться от привычной сращенности православия с политическими, культурными, бытовыми формами старого времени. Не считать идеалом православия реставрацию старины и найти в нем источник свободы для творческого отбора в старых сокровищах, для творческого созидания новой жизни. Вторая – в известной степени противоположная слабость – это индивидуализм личного религиозного пути. Для отрешенного, погруженного с собственный мир строя души не возникает и проблем национальной культуры, да и культуры вообще. Как первая школа духовной жизни, эта замкнутость души может быть законной, необходимой. Как традиция, как стиль целого поколения – это уже некое уродство, становящееся национальной пассивностью. В обстановке русской трагедии, в наш грозный исторический час, это направление (как направление) свидетельствует просто о недоразвитии христианской совести.

Если мы в эмиграции – и поскольку наши братья в России – преодолеем в себе эти слабости, эти болезни роста, то главное дело русского национального возрождения уже сделано. Ибо жизненность и крепость русского религиозного возрождения русской Церкви не подлежит сомнению. В ней, в русской Церкви, давно живое средоточие нашей национальной работы, источник вдохновляющих ее сил. Но нужно помнить, что для этой работы необходима сложная, опосредственная трансмиссия этих духовных сил, что в деле национального возрождения участвуют: Церковь, культура, государство. И здесь я останавливался преимущественно на втором члене, наиболее угрожаемом и наиболее сложном, связующем действие сил духовных с механизмом социальных

необходимостей.

На вопрос, поставленный в заглавии настоящей статьи: «Будет ли существовать Россия?», я не могу ответить простым успокоительным: «Будет!» Я отвечаю: «Это зависит от нас. Буди! Буди!»

К вопросу о положении Русской Церкви

Молчание «Вестника» по одному из самых болезненных вопросов, которыми мучится сейчас русское православное общество – в России и за рубежом, – могло удивлять наших читателей. Объяснение – в самой трудности темы, особенно в условиях нашей разобщенности от России. Эти трудности таковы, что даже в близком и тесном редакционном кругу «Вестника» не могло быть достигнуто единомыслие. Вот почему мы воздержались от редакционных статей по самым злободневным вопросам, касающимся русской Церкви. И сейчас мы можем подойти к ним в порядке выражения не общего, а личного мнения. Не претендуя на исчерпывающее освещение вопроса, мы лишь открываем обмен мнений в среде Движения.

§ 1

Спорным и трудным для понимания является, собственно, не положение, русской Церкви пред лицом государства, пред лицом врагов, но путь церковного водительства, политика ее верховных иерархов. Правда, сама эта политика может уясниться лишь для того, кто отчетливо представляет себе всю сложность русской жизни. Здесь, в эмиграции, это не легко, это требует внимательного изучения материалов, постоянного пересмотра предвзятых взглядов. Трудно представить себе конкретно ту обстановку полулегальности, в которой живет Церковь. Храмы открыты, но храмы взрываются динамитом. Епископы и священники в торжественных облачениях совершают свое служение у алтаря, и они же тысячами ссылаются в Соловки и Сибирь за это дозволенное законом, открыто совершаемое служение. Конституция и декреты объявляют свободу совести, но открытое исповедание себя христианином для большинства означает потерю работы, голод, гражданскую смерть.

Понять это трудно, но возможно. Даже в материалах, публикуемых нашим «Вестником» можно найти краски для этой фантастической картины. Мы не будем к ней возвращаться. Подчеркнем лишь ее пестроту, смущающую и тревожную для совести, которая жаждет определенности. В одном отношении эта пестрота нас, в отличие от большинства иностранцев, не может ввести в заблуждение. Мы знаем, что в России преследуют Церковь, христианство, религию вообще, что тысячи людей уже пролили свою кровь за Христа, что не будет преувеличением, а точным выражением действительности назвать тот режим, в котором живет русская Церковь, режимом гонений.

2.

Всякий раз, когда в мире возобновляется гонение на Христа и Его Церковь, мысль возвращается ко временам первых мучеников, чтобы там искать уроков и назидания. Два факта проходят красной чертой сквозь трагическую и славную историю этих столетий: 1) Церковь не одобряет добровольного искания смерти, вызова гонителям, доносов на себя (в предведении человеческой слабости и возможного отступничества перед казнью); 2) Церковь очень строго и широко толкует самое понятие отступничества. Отлучению подлежат не только воскурившие фимиам перед идолом (статуей императора), но и лица, получившие за деньги ложное удостоверение в этом акте, которого они не совершали (libellatici), и лица, выдавшие по требованию властей священные книги (traditores). История говорит нам о том, что и в те героические времена пламенной веры отступничество в эпоху гонений бывало массовым явлением. Держалось стойко лишь меньшинство, бежавшее, укрывавшееся или в тиши ожидавшее своего часа. И среди этого меньшинства мученичество было единичным, исключительным явлением. Это объясняет общее благоговейное почитание мучеников с самого момента их славной кончины, а часто даже и при жизни. С прекращением гонения начинается возврат в Церковь падших и слабых, которые принимаются через публичное покаяние.

Русская Церковь дала Христу тысячи мучеников, особенно в первые годы революции. Гонения воспламенили веру и ревность избранного меньшинства. Давно русская Церковь не знала такого цветения святости, как в наши дни. Мы все с любовью и надеждой взираем на чистую кровь новых мучеников, это «семя Церкви», по слову древнего отца.

И, однако, при сравнении нашей эпохи с древнехристианской, не может не поражать один факт: крайняя и всеобщая терпимость по отношению к отступничеству. Если бы к современной России применить древнюю строгость, мало кто мог бы считать себя членом Церкви. В России не требуют воскурения фимиама, но требуют на каждом шагу отречения от Бога. От учителя – атеистической пропаганды в школе, от артиста и художника – участия в безбожных спектаклях, изданиях, плакатах и проч., от всех советских служащих и рабочих – участия в процессиях под знаменами с кощунственными и антихристианскими лозунгами. Наконец, почти каждый служащий и рабочий должен быть членом профессионального союза и на его профсоюзной книжке написано, что он входит в состав III Интернационала, принципиально атеистическая доктрина которого всем известна. С точки зрения древней

Церкви, почти все православные граждане СССР – libellatici , а многие и traditores (почти все священнослужители), выдавшие врагам церковные святыни. Удивительно не то, что масса людей под угрозой голодной смерти совершает кощунственные акты, но то, что зачастую совершают их верующие, церковные люди, которые и не помышляют хотя бы временно выйти из состава церковного общества или искупить свое публичное отступничество публичным покаянием. И если мы склонны извинить несчастных невольных демонстрантов, то уже с ужасом думаем о профессорах и педагогах, которые ходят в Церковь и читают материалистические и атеистические лекции, или о набожных актерах, которые на подмостках глумятся над Христом. Это вещи, которые не могут быть ничем и никогда оправданы, извинены, а только прощены при условии раскаяния. Самая возможность их свидетельствует о глубокой деморализации, которая господствует в России, верующей и неверующей, а с другой стороны, об утрате симолического сознания. Символ – знак, внешнее выражение веры, исповедание ее перестает казаться вещами важными. Лишь бы иметь Бога в душе. Но это презрение к символу таит большие догматические опасности и вместе с тем угрозу для единства и крепости церковного тела.

3.

Есть несколько условий, которые делают положение Церкви в России глубоко отличным от христианства римских времен и если не оправдывают указанной выше терпимости, то объясняют совершенно иное отношение Церкви к окружающему обществу и государству.

Прежде всего гонение на веру в России носит скрытый или наполовину скрытый характер. Людей никогда не убивают и не ссылают «за имя Христово», а чаще всего под прикрытием мнимых политических преступлений. Но умереть за Христа и умереть за противодействие социальной революции – религиозно совершенно разные вещи. И это политическое прикрытие гонителей далеко не всегда оказывается мнимым. Никто не может доказать, что для коммунистов истребление веры является более важной целью, чем истребление буржуазии или укрепление своей власти. Вернее обратное. В гонении на религию в России есть, бесспорно, какой-то процент чистого, демонического богоборчества, но есть и доля (вероятно, более крупная) политического страха перед Церковью как социальным институтом, возможным центром народного сопротивления. Старые политические связи между Церковью и государством (монархическим), казалось, оправдали, особенно в первые годы революции, такие опасения диктаторов. Отсюда новая задача для

Церкви – для ее иерархических вождей – разорвать эту связь церковных и политических идей, «очистить» религиозное исповедничество от всякой примеси политической и национальной борьбы.

Во-вторых, Церковь в России живет не среди чуждого языческого общества в чаянии близкого и последнего разделения Страшного Суда, но в среде народа исконно христианского, судьбы которого всегда были неразрывно связаны с православием. Русская Церковь не может сбросить с себя ответственности за русский народ. Среди ее гонителей, среди равнодушной массы, отходящей от веры отцов, большинство – ее крещеные блудные сыны, от которых она не может отвернуться. Вот почему педагогические, миссионерские оглядки и соображения в значительной мере определяют поведение церковных деятелей. Церковь в России – Церковь меньшинства, но это меньшинство, по старой привычке и по новой надежде, сознает себя народом, не противополагает себя народу, молится о спасении России, а не одного лишь малого стада.

Эти два коренных условия и определили «новую церковную политику» почившего патриарха. После первого года борьбы с большевиками, борьбы нерасчлененной, национально-религиозной, патриарх выходит на новый путь. Он отказывается от борьбы с революционной властью и воспитывает Церковь в аполитическом исповедничестве. Понятны мотивы этой новой политики. Патриарх желал отнять у врагов всякий повод – и действительное основание – для политической борьбы с Церковью, для политической мести. С другой стороны, отказываясь от сопротивления новому строю, патриарх открывал широко двери Церкви для тех масс, рабочих и отчасти крестьянских, которые, став на сторону революции, увидели в церкви классового врага. Как известно, эта политика патриарха увенчалась двойным успехом. В самый разгар обновленческого раскола она спасла церковную организацию от ударов власти, сохранила культ и таинства для народа и начала медленный, но благословенный поход в народ, обратное завоевание Христу отпавших своих детей.

В основании этой политики лежал духовный опыт, более глубокий, нежели всякая политика, хотя бы церковная. Внутреннее очищение Церкви в огне мучений совершалось путем аскетического надрыва всех уз, связывавших издревле православную Церковь с государственной и национальной жизнью. Отречение от традиций старого строя, новый «политизм» Церкви не был вынужденным требованием тактики. Он вытекал из ощущения новой и в то же время самой древней религиозной правды. Партиарх не лгал большевикам в 1923 году, не лгал и в своем

завещании, когда проводил грань между прошлым и настоящим, когда каялся в своем поведении первых лет. Но аполитизм Церкви не означал ее отрыва от народной жизни. Отказ от теократических отношений к государству не был отказом от борьбы за душу народа. Народ – не нация, но рассеянное стадо Христово, которое надлежало собрать, укрепить, спасти. Предстояло новое крещение Руси.

В этой обстановке вождям русской Церкви менее говорили уроки древней гонимой Церкви, чем может быть, национальный опыт монгольского ига, с его тяжелой школой унижений, внешней покорности, но внутреннего очищения, собирания духовных сил. Путь Александра Невского становится символическим для русской Церкви в годы революции. Говоря церковным языком, соображения «икономии»[124] берут верх над «акривие»[125] – по-мирскому, но не совсем точно: компромисс – над радикальной принципиальностыо. Этой икопомией, этим компромиссом определяются отныне внешние отношения между Церковью и коммунистическим государством.

Таков был завет патриарха Тихона, таков был его путь, оправданный Церковью, народом и историей. Зачеркнуть его, пытаться вернуть Церковь на путь политических заговоров, сделать из нее орудие реставрации – безумное и злое дело. Те, кто стоят за него, – карловацкая иерархия за рубежом, – не только внешне, но и внутренне отрезают себя от русской Церкви и ее искупительного мученического опыта.

И, однако, при всем благоговении к личности почившего патриарха и признании его правды, можно указать одну слабую сторону его дела, в которой лежат зародыши грядущих тяжелых падений. Та форма, в которую патриарх об-

лек свои исторические акты 1923 и 1925 года, мучительно не соответствовала их подлинному церковному значению. Изложенные советским стилем, быть может, продиктованные в советских канцеляриях, акты эти с внешней стороны были унизительны для Церкви. Патриарх не допускал в них никакой лжи, но между его мыслью и словом было, несомненно, большое качественное несоответствие. Церковное общество, которое сначала не хотело признавать подлинности этих актов, скоро привыкло к ним, закрывало глаза на их форму, прощало ее из глубокого уважения к патриарху. Трудно судить теперь, насколько эта форма была неизбежна: удовлетворились ли бы враги заявлениями, облеченными в более достойные, церковно оправданные слова? Возможен вопрос: не сказался ли здесь общий в России нашего времени недостаток чувства слова, символа, формы, о котором мы говорили выше? Слишком легко

относятся к сказанному слову, еще легче к напечатанному, к советскому, газетному, которому привыкли не верить. Патриарх, несомненно, знал, что впечатление напечатанных его слов будет невелико, и эта малость общественного впечатления облегчала ему его тяжелый компромисс. Эта форма, или, вернее, это отсутствие формы, было жертвой, было унижением и, если говорить церковно точно, было грехом: малым грехом, который патриарх принял на свою святую совесть для спасения своего народ. Грех этот прощен ему на земле – верим, прощен и на небесах. Но свойство каждого ничтожного греха – оставлять за собой след: быть источником новых искушений, новых соблазнов.

§ 4

Митрополит Сергий, как и Петр, первый местоблюститель патриаршего престола, продолжал церковную политику патриарха. По отношению к советской власти она сводилась к им формулированной, не на совсем церковном языке, лояльности. Лояльность означала средний путь между обновленчеством, принявшим и благословившим коммунистическую революцию, и карловацким отколом, стоявшим за церковно-политическую контрреволюцию. Несмотря на некоторые трения, которые митрополит Сергий встретил среди иерархии (митрополит Агафангел, потом «григорьевцы»), его церковное руководство нашло одобрение со стороны огромного большинства верующих и, что особенно важно, со стороны исповедников (Соловецкая группа), которым естественно принадлежит право блюсти церковную чистоту. Опираясь на поддержку общецерковного мнения, митрополит Сергий вел деятельные переговоры с властью, целью которых была легализация православной Церкви, ее центральных и местных учреждений, духовной школы и печати. Летом 1927 года появилась декларация митрополита Сергия, которая имела целью купить у власти эти уступки. Документ этот, имеющий длительную предысторию, представляет странную и соблазнительную смесь чисто церковных, оправданных жизнью и опытом патриарха Тихона формулировок, – и политических выпадов, грубость которых заставляет предполагать их источник в казенных перьях ГПУ. Лояльность, о которой говорит здесь митрополит, понимается им, в сущности, как новый союз Церкви с властью – принципиально атеистической и не прекратившей ни на минуту гонения на Церковь. Этой власти расточаются комплименты и громы обрушиваются на ее врагов. Борьба с этой властью объявляетсяпротивоцерковным делом. При некотором внешнем сходстве с актом патриарха Тихона, этот документ, в сущности, сходит с пути аполитизма, на который поставил русскую

Церковь патриарх. Занимая определенную позицию в еще нерешенной политической борьбе, Церковь становится на сторону сегодняшних победителей. То, что было стилистическим несоответствием в устах патриарха, приобретает характер искажения действительности в устах его правопреемника. Этот акт митрополита Сергия вызвал в свое время большое негодование и за рубежом, и в России. Там он имел своим последствием раскол в патриаршей Церкви, раскол незначительный количественно, но оторвавший от митрополита Сергия многих самых стойких и крепких борцов за веру.

Однако следует признать, что русская Церковь простила митрополиту Сергию этот его неосторожный шаг. Здесь имели значение и уважение к личности митрополита, к его бескорыстию,

учености, административным дарованиям, и прецеденты писем патриарха, политику которого митрополит Сергий объявлял своей. Бесспорно, главную роль здесь сыграло малое уважение к слову и привычка судить не по букве, а по намерению говорящего. В благих намерениях митрополита Сергия никто не сомневался.

Если судить о шаге митрополита Сергия по его результатам, то следует констатировать его неудачу. Из всех проектов митрополита Сергия осуществилась только легализация Синода. Гонения на Церковь, аресты, ссылки не прекращались. Самое учреждение Синода связано было с обстоятельствами, которые делали сомнительной и его церковную полезность. Ни для кого не было тайной, что ГПУ ввело в состав Синода своего агента, из числа епископов. Это профанировало святость высшего церковного органа и подрывало уважение к нему. Более того, со временем выяснилось и направление синодальной политики, которой покупалось у власти существование нового учреждения. При замещении епископских кафедр предпочтение отдавалось людям компромисса перед стойкими ревнителями. Возвращавшиеся из ссылки исповедники вместо своих кафедр отправлялись в глухие углы. Церковь духовно обескровливалась, теряя лучшие свои силы.

Какими мотивами руководствовался митрополит Сергий в своей политике? Помимо указанного выше наследия патриарха, на первый план теперь выступает желание спасти внешнюю организацию Церкви, хотя бы ценою приглушения духа. Статистика патриарших приходов, функционирование епархиального управления составляют, объяснение, предполагаемое некоторыми, указывает на преобладание монашески-аскетических интересов митрополита Сергия над общественно-политическими. Эта черта может объяснить то пренебрежение

общественной формой, которое поражает в последних актах митрополита. На первый взгляд, она противоречит стремлению к внешней организации. Их, однако, возможно примирить, если представить себе, что, как глава русской Церкви, митрополит печется о спасении возможно большего числа душ и для них это спасение видит не в келейной молитве, а в храмовом богослужении и гарантии действительности таинств.

Окончательное осуждение политики митрополита Сергия жизнь принесла в последние годы, с началом нового кровавого гонения на религию в России. Все стремления к конкордату с государством были опрокинуты Сталиным, который теперь не делает различия между христианином и евреем, обновленцем и сергианцем. Гонение на веру в последний год свирепствует в своем наиболее чистом виде, обнажая гонителей и облегчая совесть исповедников. Массовое уничтожение храмов указывает, что власть теперь не останавливается перед уничтожением культа, ради сохранения которого митрополит Сергий принес такие жертвы. Для всех ясно, что не изъявлениями политической покорности можно купить милость гонителей. Если они останавливаются в своем походе на веру, то исключительно перед силой: народных масс внутри России или мирового давления извне.

В такой трагической обстановке митрополит Сергий дает свои интервью, в которых отрицает наличность гонений в России. Ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в авторстве этого постыдного документа. Нам сообщали, что митрополит Сергий подписал его, не читая. Он действовал в состоянии морального принуждения – в этом отличие нового шага от декларации 1927 года. Это акт не мудрости, не расчета, а отчаяния. Мы не знаем, каковы были угрозы, перед которыми склонился митрополит. Судя по письмам из России, враги .угрожали арестом епископов. Дело, стало быть, шло опять-таки о церковной организации. Для предотвращения этой или иной неведомой опасности митрополит Сергий

допустил ложь, отрицая наличие гонений в России,

допустил клевету на инославных христиан, в лице епископов римского и кентерберийского,

допустил клевету на мучеников, проливающих свою кровь за Христа, утверждая, что все они караются за политические преступления.

Последнее утверждение, произнесенное в дни кровавого гонения, облегчало работу красных прокуроров, выдавая заранее исповедников с головой их палачам. По отношению к Церкви мучеников, это было прямым предательством. Его можно сравнить лишь с поведением

живоцерковников, которые в 1923 году громили контрреволюционные происки Церкви, в то время, когда выносились смертные приговоры митрополиту Вениамину и множеству других. Кстати, и мотивы у Александра Введенского были как раз те же, что митрополита Сергия: они думали спасать Церковь.

Не знаем, смягчило ли хоть на каплю преступление митрополита Сергия страдания русской Церкви, но оно имело те последствия, которых и следовало ожидать: крушение иерархического авторитета и церковный раскол. Мы знаем, что в московских Церквах устраивались враждебные демонстрации митрополиту Сергию, что во многих храмах перестали поминать его имя. В письмах, приходящих из России, чрезвычайно редко приходится читать оправдание митрополиту; голоса обвинителей звучат очень решительно. Верующие, простившие митрополиту Сергию акт 1927 года, не смогли вынести нового греха.

Из нашего далека трудно судить о событиях в России. Hie можем сказать в какой мере, но церковному единству в России нанесен жестокий удар. Одним из косвенных последствий его явилось повышение шансов обновленцев, так как становится очень трудно, если не невозможно, провести разграничительную черту между их политикой и политикой митрополита Сергия. Жестокость последствий этого нового удара смягчается лишь тем обстоятельством, что большинство православного, особенно деревенского населения в России живет совершенно вне церковной политики и не интересуется иерархической зависимостью своего приходного храма. Многие не понимают разницы между патриаршей и обновленческой Церквами, особенно в условиях продолжающегося дробления. Многие ничего не слышали и о митрополите Сергии. При таком равнодушии «народа» поведение церковной интеллигенции приобретает особое значение. Из ее рядов рекрутируются новые кадры духовенства, выходят самые стойкие борцы за Церковь. Потеря митрополитом Сергием доверия в этой среде не подлежит сомнению.

Одним из самых роковых последствий нового раскола, внесенного в Церковь митрополитом Сергием, является утрата ею внешнего, видимого центра. До сего дня, несмотря на множество отпадений и дроблений, оставалось явным видимое преемство иерархической власти, и вместе с нею основной ствол церковного древа. Воссоздание церковного единства мыслилось как возвращение отпавших к общению с этой преемственной иерархической власть путем покаяния в грехе раскола. Так принимали в Церковь кающихся обновленцев. Ныне видимый иерархический остов

церковного корабля разбит в щепы. Русская православная Церковь является рядом сосуществующих православных общин. Единство ее может быть восстановлено уже путем всеобщего покаяния. Из него не исключаются и «чистые» противники митрополита Сергия, ибо свою чистоту им пришлось сохранить ценою раскола и восстания против законной церковной власти.

Каким образом могло случиться, что путь патриарха Тихона, столь благодатный для русской Церкви, в своем последовательном развитии привел к ее развалу? Виною именно эта роковая «последовательность», которая противоречит принципу «икономии». Компромисс допустим в определенное время и место, в определенных границах. Эти границы указываются внутренним тактом, духовной мудростью. За икономией и выше ее стоит нравственный и канонический закон, никогда не подлежащий отмене. Его нарушение может быть прощено в отдельном случае, но никогда не обращено в принцип, в норму поведения. Из малого, легкого, почти «святого» греха патриарха митрополит Сергий создал традицию – традицию лжи, которой, к счастью для России, не вынесла русская церковная совесть.

Ошибки и грехи иерархов и церковных политиков бессильны уничтожить то богатство святости, которое накопляется в русской Церкви. Кровь мучеников, исповедничество десятков тысяч, незримое подвижничество новой русскойФиваиды, жаркие молитвы малого стада – все это может с избытком уравновесить в очах Божиих и в судьбах России эти ошибки и эти грехи. Талант организации никогда не давался Востоку, особенно России. Утрата единства церковной организации (не исключающая ни наличности иерархии и действенности таинств) – последнее испытание, которое Бог посылает русской Церкви. Будем верить, что она выйдет из него снова единой, чистой, окрепшей и юной. h7 § 5

Мы, русские за рубежом, по отношению к православной Церкви в России находимся в особом положении. Мы не причастны ее страданиям, не разделяем ее кровавых испытаний, ужасов ее повседневного существования. Поэтому нам не пристало становиться в позу обличителей. Кто знает, как каждый из нас держался бы под угрозой смерти? С другой стороны, наша духовная жизнь здесь так мелка по сравнению со святостью, цветущей в России, что единство с русской Церковью является для нас мистически самым первым и важным условием жизни. Лишь в этом единстве мы обретаем силы, питание, рост. Вот почему ни при каких условиях мы не можем добровольно порвать эту связь с русской матерью-

Церковью. Мы не можем брать на себя почин откола, восстания против ее хотя бы неопытных или недостойных пастырей. Мы терпеливо должны ждать, пока русская Церковь сама устроит свою жизнь. Наша свобода здесь дана лишь для того, чтобы быть выразителями церковного голоса или голосов, заглушенных в России. От выражения своего суждения, своих оценок мы отказаться не вправе, ибо из них слагается соборная жизнь Церкви.

Значительная часть, если не большинство, зарубежной России свою церковную связь с российской Церковью осознали через подчинение митрополиту Сергию. Это было канонически безупречно. Политика митрополита Сергия причинила нам за последние годы много горечи, но мы должны были смирить себя, помня о России, переносящей горчайшие страдания. Ныне митрополит Сергий, по-видимому, сам пожелал отделить от себя зарубежную Церковь. В условиях советского террора этот зарубежный привесок является для него слишком компрометирующим. Таков вероятный смысл его весеннего акта – смещения митрополита Евлогия с поста управляющего Западно-европейской епархией. Хронологическая близость этого указа известным интервью митрополита Сергия позволяет заподозрить действительный свободный характер последнего распоряжения. Если оно было более свободно, чем его оправдание (или отрицание) гонений в России, то оно может иметь только смысл, что митрополит Сергий в своих заботах о «спасении» тридцати тысяч русских приходов решил пренебречь сотнями заграничных. Развал ничтожной эмигрантской Церкви – дело маленькое в той большой игре, которую он ведет. Всем ясно, что для митрополита Сергия дело не в личности митрополита Евлогия, который искренне проводит политику церковного аполитизма. Подчинение зарубежной Церкви митрополиту Сергию в этом пункте в такое время заставило бы ждать из Москвы новых распоряжений, источник которых приходится искать не в синоде митрополита Сергия, а в канцелярии г. Тучкова. Мы не можем дать разрушать наше скромное церковное дело по указке ГПУ.

Церковная лояльность митрополита Евлогия заставила его просить митрополита Сергия о пересмотре его указа. Успех этого ходатайства зависит от степени свободы митрополита Сергия. Во всяком случае, мы должны быть готовы к тому, чтобы определить духовную связь с российской Церковью помимо внешнего формального подчинения ее иерархам. Найти канонические формы новой жизни – дело не легкое. Одно ясно. Крушение сергианской политики не означает осуждения дела патриарха Тихона. Мы возвращаемся к дням патриарха и его последней

воле как к исходному моменту в устроении нашей церковной жизни. Это проводит резкую грань между нами и карловацкой иерархией, противниками патриарха и ослушниками его воли. Возвращение зарубежной Церкви в карловацкую юрисдикцию означало бы удушение ее в политике, в человеконенавистничестве и злобе. Дело святейшего патриарха Тихона не подлежит пересмотру. Нужно идти его новым, свободным путем, как ни трудно нащупать его в обступающем мраке.

Новая Россия

Новое общество

Ни в чем так не выразилась грандиозность русской революции, как в произведенных ею социальных сдвигах. Это самое прочное, не поддающееся переделке и пересмотру «завоевание» революции. Сменится власть, падет, как карточный домик, фасад потемкинского социализма, но останется новое тело России, глубоко переродившейся, с новыми классами и новой психологией старых. Глубина переворота зависит от того, что совершен он не только политической волей большевистской партии. Помимо указанных выше могущественных факторов, здесь действовали такие силы, как голод и разорение гражданской войны и даже годы войны «империалистической». Все било в одну точку: раздавить хрупкую в России прослойку людей умственного труда и поднять значение крепких мускулов. Борьба за существование сама совершала классовый отбор. Целых классов – помещиков, интеллигенции, старой буржуазии – уже не существует. Их место заняли новые образования. Вглядимся же в новый чертеж социального строения России.

а) Крестьянство

Крестьянство осталось по-прежнему в основании пирамиды, производящим, кормящим, поддерживающим атлантом. Но это уже не последнее, не униженное сословие: по существу, даже первое сословие «земской», неопричной России. Политическое бесправие и даже экономическая эксплуатация деревни городом не в силах парализовать ее социального подъема. Подъем этот всего менее отражается в цифрах. Его трудно показать невидящему и неверящему, потому что он заключается в невесомом, но огромной важности факте: в социальном самосознании.

Выкурив помещика, вооруженное винтовками и пулеметами, крестьянство одно время воображало, что оно с такой же легкостью может уничтожить и город, и государство. Прекратив уплату податей, уклоняясь от мобилизаций, оно с злорадством смотрело на толпы нищих мешочников, которые высылал, к нему голодающий город. На фоне грязных лохмотьев обносившейся городской культуры деревенская овчина казалась боярским охабнем. Когда деньги превратились в бумажную труху, мужик стал есть мясо и вернулся к натуральному хозяйству, обеспечивающему его независимость от города. В городе разваливались каменные дома, деревня отстраивалась: помещичий лес и парк шел на белую избяную стройку.

Это благополучие оказалось непрочным. Вооруженные отряды,

отбиравшие «излишки», декреты, приводившие к сокращению посевной площади, голод и людоедство в Поволжье и в Крыму – все это слишком памятно. Отступление партии, длительный, хотя очень медленный подъем деревни (1922–1927) и, наконец, новое разорение последних лет – все время нервирует крестьянина, дразня его трудовой аппетит, но лишая его возможности удовлетворения. В деревне, освобожденной от помещика и от наваждения земельной прирезки, проснулся небывалый голод к труду. Крестьянин словно впервые почувствовал себя хозяином на своей земле: он жадно слушает агронома, бросается на технические новинки, которые еще недавно его пугали. Он рассчитывает, строит планы – и убеждается, что, при данной фискальной системе, самое умное – скосить свой хлеб на сено. Но при малейшей передышке он показывает свою силу. Среди старшего поколения три миллиона побывавших в немецком плену вернулись энтузиастами технического прогресса. Остальные – все посидевшие в окопах или, по крайней мере, в казармах, исходившие Россию из конца в конец, целые годы питавшиеся газетой и опиумом митинговых речей, – как не похожи они на патриархальный тип русского Микулы. Многие до сих пор продолжают бриться и носить городской пиджак. Большинство, разуверившееся в новых фетишах, не вернулось к старым святыням. Мужик стал рационалистом. Он понимает русский литературный язык и правильно употребляет множество иностранных слов. Правда, это скудный язык газеты, и вместе с ним в голову входят газетные идеи. Обычный здравый смысл крестьянина предостерегает его еще от прямолинейного решения последних вопросов жизни. Он не вынесет из избы икон; не бывая в церкви по воскресеньям, он придет туда венчать, крестить, хоронить своих домочадцев. Но на земле для него уже нет ничего таинственного. Он превосходно разбирается в экономических вопросах, столь запутанных в Советской России. Он заглянул и в лабораторию власти, которая утратила для него священное обаяние. Отношение его к советскому правительству весьма сложно.

Мужик уже не склонен ломать шапки перед начальством. Как ни бьют деревню, она не забита. Мужик боится вооруженной силы, пока сам безоружен. Власть может расстрелять десяток-другой из деревенских «кулаков», может спалить все село – в случае восстания. Но когда она является в деревню без военного сопровождения, она не импонирует. Проезжего комиссара всегда могут «обложить» в совете, да и в уездном городе мужик не очень стесняется с начальником: свой брат. Демагогия является необходимым моментом коммунистической деспотии, и демагогия не проходит даром. Нельзя безнаказанно чуть не каждую

неделю собирать людей, обращаться к ним как к свободным и властным хозяевам земли, представлять им фиктивные отчеты по всем статьям внутренней и внешней политики. Крестьянин уже поверил в то, что серп и молот должны править Россией, что он хозяин русской земли по праву. А если в жизни он по-прежнему обижен, он знает, что наследники Ленина его обманывают, как прежде царские министры. Ненавидя коммунистов, он не унижается перед ними. Впрочем, и ненависть его к коммунистам лишена классового характера. Она смягчается сознанием, что в новом правящем слое все свои люди. Правда, в деревне процент коммунистов совершенно ничтожен. Но трудно представить современную крестьянскую семью, у которой не было бы родственника в городе на видном посту: командира Красной Армии или судьи, агента ГПУ, или по крайней мере студента. Поругивая молодежь, делающую карьеру, старики все же гордятся ею. Да, наконец, и сами партийцы ругают власть. Деревня знает, как много в партии «редисок»: иные и в коммунисты пошли, чтобы лучше тянуть семью или служить своей деревне в сельсовете. И деревенский террор вовсе не целит в коммунистов как таковых: зачастую он направляется рукою коммуниста. Деревня сейчас, вопреки разговорам о «кулаках», представляет небывалое единство в экономическом отношении. Но всегда находится один или несколько паразитов, желающих устроиться на чужой счет: будут ли они называться кулаками, бедняками или колхозниками, председателями или селькорами, это не важно. На них-то и сосредоточивается ненависть деревни. Несмотря на просачивающиеся кое-где требования легализации крестьянской партии, едва ли деревня имеет определенный политический идеал. Бесспорно, выросла ее политическая независимость, но трудно сказать, насколько выросло ее государственное сознание со времени анархического угара 1917–1919 годов. б) Рабочий класс

Рабочий класс, быть может, несчастнее всех в современной России. Незадачливый диктатор, претендент на роль нового дворянина, он, в отличие от крестьянина, сильно опустился. Революция дала ему титулы (герой труда), знамена, даже ордена, но лишила самого главного: его мечты. Материально его положение почти не изменилось. Кое-где, для некоторых категорий, даже улучшилось немного. На фоне общей нищеты это создавало иллюзию достижений. По «1-й категории» рабочий питался лучше учителя. Хмель социальных привилегий бросался в голову. И нужно сказать, что рабочий, воспитанный на марксизме, принимал как должное привилегии. Превосходство мозолистых рук над мозгом казалось ему бесспорным. Через 12 лет после революции, когда давно пора было

улечься классовой ненависти, рабочий находит еще удовольствие в травле инженеров, в истязании врачей. Правда, теперь это уже не торжество победителя, а слепая злоба побежденного.

Нельзя без конца упиваться привилегиями, когда они не реализуется в жизненных ценностях. Рабочий, быть может, один боролся по-настоящему за социализм, жертвовал для него страданиями, голодом, кровью. Его ослепляла мечта о земном рае. И вот он по-прежнему прикован, как каторжник к тачке, к постылому, бессмысленному труду. Обстановка, самый процесс этого труда на фабрике изменились лишь к худшему: статистика несчастных случаев об этом свидетельствует.

При номинальном 8-часовом иди даже 7-часовом рабочем дне сверхурочные часы обязательны. Дисциплина? Здесь трудно уравновесить два ряда противоположных явлений: с одной стороны, прогулы, пьянство – в размерах, невозможных на старой фабрике, с другой – опыты рационализации, тейлоризации, фордизации, подстрекательство к «соревнованиям», придирчивый контроль. Где же свобода? В мастерских шпионы занимают, в правильном порядке, места за станками, чтобы не проронить ни одного слова. Красный директор из выслужившихся пролетариев лишь раздражает вчерашних товарищей, попавших под его тяжелую руку. Комячейка из тунеядцев, которая верховодит всем на фабрике, вызывает зависть и злобу.

Не нужно забывать, какой огромный процент рабочих-социалистов делает административную карьеру – вплоть до постов в Совнаркоме и командующих армиями. Многие из них перестали быть декоративными фигурами и разбираются в деле не хуже других. Но для станка они потеряны безвозвратно. Этого кровопускания «сознательных» рабочих класс вынести не мог. Он стал стремительно падать. Его апатия сказалась в отсутствии культурных интересов. Он перестал посещать лекции, остыл к рабфакам. В то время как государство из кожи лезет, чтобы «орабочить» пауку и искусство, рабочий стал к ним совершенно равнодушен. Пролеткультура оказалась блефом. Рабочий клуб превратился в притон, и в неслыханном пьянстве и разврате рабочая молодежь убивает в себе последнюю искру социального идеализма. Вся работа интеллигенции с девяностых годов в воскресных школах пошла насмарку. Чубаровщина именно пролетарский продукт, и, конечно, никогда в своей страдальческой истории русский рабочий не падал так низко.

в) Советские служащие

Этот класс представляет самый оригинальный продукт русской революции. В нем слились в один весьма сложный сплав остатки старой

бюрократии и старой интеллигенции с «новой демократией», отчасти с верхушками пролетариата. Было бы слишком просто сказать, что в этом образовании бюрократия поглотила интеллигенцию и что мы имеем в России типично чиновничье государство. Верно то, что интеллигенция в России исчезла без остатка – интеллигенция в старом смысле, как общество, противополагавшее себя государству. Но, умирая, она завещала бюрократии частицу своего духа, кое-что от своих традиций, хотя и чрезвычайно деформированных. Упрощая, можно было бы сказать, что Россия вернулась к XVIII веку, когда не существовало противоположности между обществом и служилым классом. Конечно, нужно помнить, что это произошло ценою такого давления пресса, при котором всякая свободная деятельность становилась немыслимой. «Свободная профессия» – каторжное клеймо в России.

Саботаж был естественной, но кратковременной реакцией бессилия на государственный переворот. У части интеллигенции мотивы социального служения не допускали саботажа. Униженная, она продолжала служить народу – государству. Перед остальной массой не было выбора: служба или голодная смерть. Втянувшись в ярмо, она работала уже и за страх, и за совесть. У людей, измученных многолетней пыткой и страхом смерти, атрофировалось самое чувство свободы. Примиряясь с рабством, не хотели примиряться лишь с полной бессмысленностью жизни, стараясь вложить как можно больше смысла в свой подневольный труд. Одним из пороков старой интеллигенции было ее презрение к профессиональному труду. Редко можно было встретить в России человека, призвание которого, в его глазах, совпадало бы с профессией. Теперь почувствовали, что, составляя каталог библиотеки, охраняя музей, выполняют огромное дело – «спасение русской культуры». И в дело вкладывали все еще неистраченные силы, весь подогретый в костре революции энтузиазм жертвы.

Старая бюрократия могла дать интеллигенции свой опыт форм, рабочих приемов, свой дух профессионализма. В общем, в процессе работы, она слилась с интеллигенцией так, что уже ничего не оставалось от старого векового антагонизма. Вчерашний адвокат работает рядом с прокурором – оба юристы, – и старые политические программы уже давно не разделяют людей.

Новые люди приживались медленно. Они входили, как чужие, и занимали лучшие места. Долго длилось взаимное подсиживание, мстительный прижим победителей, злобное шипение побежденных. Новые люди были, мягко говоря, малограмотны и не имели понятия о деле,

к которому были приставлены. Зато они были полны кипучей энергии и стремлением все перевернуть вверх дном. Началась трагикомическая борьба (отнюдь не саботаж), где интеллигенция, самая передовая, вынуждена была заняться чистым охранительством, во имя здравого смысла. Шли годы, парвеню обтесывались, учились и если не становились растратчиками и прожигателями жизни (что тоже не редкость), то проявляли иногда большие способности. Во всяком случае, эта группа сообщила советскому механизму тот стремительный темп, тот беспощадный напор работы, который менее всего вяжется с классическим представлением о бюрократии. От советского служащего требуется не только исполнения предначертаний (конечно, и это, и самых противоположных притом), но и собственный почин, изобретательность, творчество. В соответствии с нелепостью основной идеи, огромный процент этих изобретений и этой работы делается совершенно зря. Но не все же зря. Есть обширные сферы чисто профессиональных заданий, которые не могут быть освещены (или искажены) идеей. Тут-то и протекает подлинно творческая работа нового служилого класса. Здесь огромная, пока еще почти только потенциальная энергия, которой лишена была императорская бюрократия и которая может быть направлена на строительство будущей России.

Но, в отличие от старой бюрократии, новому служилому классу не принадлежит власть над Россией. «Партия» держит власть в своих руках. Совслужащие лишь в ничтожной доле совмещают работу .в государственном и партийном,аппарате. Вся масса их, несмотря на огромный и бескорыстный труд, и на двенадцатом году революции остается на положении белых рабов; идеология нового государства не оставляет им места в царстве «рабочих и крестьян».

г) Нэпманы

Как известно, в России это псевдоним буржуазии, то есть торгово-промышленного класса. Тот оттенок нового, «нувориша», который звучит в этом слове, имеет свое оправдание. Вся старая буржуазия в России выкорчевана начисто. Старые семьи среди нэпманов встречаются в виде исключения. Само бытие этого класса весьма прекарно. Каждый день нэпман может ждать разорения, тюрьмы, ссылки. Государство официально защищает теорию, согласно которой нэпман откармливается, в буквальном смысле, на убой. Эти периодические бойни держат новорожденный класс в очень худом теле. Об обрастании жиром говорить не приходится. Лишь в 1923 году, в первый год настоящего, ленинского нэпа, наживались серьезные капиталы. Можно было говорить о советских миллионерах.

Через год уже с этим было покончено. Но самое существование нэпмана столь же неизбежно, как существование крестьянина. Один производит элементарные продукты, другой распределяет их. Без нэпмана, как без мужика, Россия умерла бы с голоду. Это он, в первобытной форме мешочника, спас ее в 1918–1919 годах.

Новый торгово-промышленный класс (более торговый, чем промышленный) неоднороден. И по происхождению, и по функциям он распадается резко на два слоя. Внизу – мелкий торговец, лабазник, непрестанно выделяемый деревней, как желчь – печенью. Деревенский «кулак» искони стремился завести лавку или трактир. В годы мешочничества горячка спекуляции захватила самые низы народных масс. Эти вкусы остались, несмотря на большой риск, связанный с промыслом. Городской базар, городская мелкая торговля главным образом держатся выходцами из деревни. Новый торговец сильно отличается от дореволюционного. Он много культурнее; он стремится дать своим детям среднее или высшее образование. По настроениям, это самый консервативный слой России. Но достатки его невелики, фигура его малозаметна: этой незаметностью своей он и спасается, отдавая фининспектору львиную долю своего заработка.

Внизу мелкий торговец – наверху делец-спекулянт. Это совершенно разные типы. Последний может заниматься и торговлей покрупнее – но не начинает с нее. Источник подлинного накопления капиталов в России – эксплуатация государства. Социалистическое хозяйство представляет для этого куда более широкий простор, чем бюрократическое XVIII-XIX века. В голодные годы военного коммунизма предприимчивые люди спекулировали валютой, скупали за бесценок бриллианты, торговали вагонами, хлебом, чем попало. Все эти операции рассматривались как тягчайшие преступления. За них угрожал расстрел. Пойти на них могли лишь очень ловкие люди, со связями в коммунистических кругах. В последующие годы крупный нэпман кормится главным образом вокруг трестов и других органов государственного хозяйства. Он скупает государственную продукцию и сбывает ее мелкому лавочнику. Он в сговоре с «красным купцом» или даже сам числится таковым официально. Он живет в мире растратчиков, взяточников и казнокрадов. Если не смерть, то ссылка и тюрьма всегда висят над его головой. В условиях советской экономики, лояльная организация крупного частного производства или торгового дела невозможна. Разве лишь на территории иностранных концессий.

Этот верхний, или спекулятивный, слой буржуазии в России почти

исключительно еврейский: обстоятельство весьма чреватое последствиями для национального развития России – настоящей и будущей. Причины его слишком понятны. Русский купец, оглушенный революцией, не мог и не хотел к ней приспособиться. Оставшиеся в живых русские «буржуи» поспешили обратить все имущество в золото или камни, и проедают их до сих пор. Они очутились в подполье, не понимая ничего из происходящих событий. Другое дело евреи. Во-первых, прошлое достаточно приучило их к борьбе за существование в нелегальных формах («право жительства»), равно как и к спекулятивным кредитным операциям. Во-вторых, террор в первые годы революции менее коснулся еврейской буржуазии, чем русской, ибо она имела за собой ореол угнетенной нации. В-третьих, по условиям еврейского быта, купцы и спекулянты были связаны кровными узами родства с революционерами, а значит – и с большевиками. У русского коммуниста очень редко найдется папаша лавочник, у еврейского – сплошь да рядом. Эти родственные связи были использованы в годы террора для разных более или менее нелегальных лицензий. Теперь уже не то. Когда государство бьет по нэпману, оно бьет по еврею, и знает это. Коммунистическая партия потеряла очень большой процент еврейских «товарищей», которые главным образом пополнили ряды новой буржуазии. В партии свивает гнездо антисемитизм, для которого борьба с капитализмом и еврейством (как некогда для Маркса) сливается в одно. Но то же происходит и в народных низах. Рабочий и крестьянин, даже требуя свободной торговли, ненавидит спекулянта. Для парода еврей отвечает вдвойне: и за спекулятивный тип нового капитала, и за коммунистическую партию, которую по традиции, уже устарелой, продолжают считать еврейской.

д) Партия

Партия, не советский аппарат, представляет правящий слой в России. Как ни своеобразна эта форма – «единственной государственной партии» – она уже имеет свой дубликат в Италии. Социологически такую партию нелегко определить, как большинство переходных форм, к числу которых она принадлежит. Созданная в качестве частного, притом антигосударственного союза, она сделалась главным рычагом государственного управления, мозгом и рукой диктатуры. К этому так привыкли, что не удивляются более. А удивляться здесь есть чему. Государственная партия отличается в настоящее время от всяких иных партий тем, что она не имеет сама свободного голоса, являясь в той же мере, как и государство, орудием олигархов, или даже единоличного диктатора. Партийный аппарат разветвляется параллельно с «советским»,

подчиняясь одной и той же направляющей воле. К чему этот дуализм, это удвоение работы, огромный накладной расход? Те, кто смотрит на коммунистическую партию в России как на чисто бюрократический аппарат, как на содержанку государства, не смогут ответить на этот вопрос. В действительности, партия есть организация идеи, и, поскольку она жива, она живет остатками былой идейности. В России имеется, может быть, не один миллион людей, для которых бухаринский катехизис является священным писанием. Пусть вожди, или часть вождей, уже не верят в победу. Но монополия коммунистического слова, монополия школы создали огромные кадры юношей, для которых вне коммунизма нет ничего в жизни. Наиболее верующие и наиболее чистые, как всегда, встречаются среди женщин. Среди женщин – сверстниц Ленина есть окаменелости, напоминающие многими чертами былых шестидесятниц. Но верующие тупицы встречаются и среди мужчин из бывшей революционной среды. Напрасно думают, что коммунисты в России содержатся на государственный счет. Это верно лишь относительно аппаратчиков. Остальные, напротив, нередко должны отдавать партии часть своего советского жалованья и почти весь свой досуг безвозмездно. Главная награда, конечно, – в удовлетворении честолюбия. Партия – единственные ворота в общественную жизнь. Вот почему она привлекает всех активных или беспринципных, желающих играть роль, вести толпу или проводить свои идеи, часто не имеющие ничего общего с коммунизмом. И, наконец, третий – вероятно, самый значительный слой – людей устраивающихся, лишенных честолюбия, но охочих половить рыбку в мутной воде. Если не в партии, то с партийным билетом можно прокормить себя.

От нас скрыты подробности внутренних процессов, протекающих в партии. Общая картина ясна: отчаянная борьба идейного ядра с честолюбивым и корыстным хвостом и не менее отчаянная борьба внутри ядра за потерянный ленинский путь. Ядро тает с годами, пожирает само себя, хотя остерегается следовать якобинским методам. Подчиняясь диктатуре одного, растрачивая идейный багаж, партия чем дальше, тем больше утрачивает смысл своего существования. Сталинская диктатура лучше охраняется советским аппаратом ГПУ.

Как складываются отношения между беспартийной массой и партией? Весьма различно. Они теснее в низах, слабее среди интеллигенции. В Москве большинство интеллигенции давно уже пьет чай с коммунистами. В Петербурге от этого воздерживаются до сих пор. Провинция идет посередине. Несомненно, каждый коммунист давно уже

оброс хвостом беспартийных друзей и даже родственников, его разлагающих. Но страх доноса создает вокруг коммуниста холодок, который преодолевают лишь немногие. Незримо присутствующая тень ГПУ деморализует почти все общественные отношения в России, но изолирует партию. Быть может, только последние расколы в ней и кары, обрушившиеся на оппозицию, заваливают ров между обывателем и коммунистом, который ведь почти всегда принадлежит – в глубине души, по крайней мере, – к тому или иному оппозиционному уклону.

* * *

Таковы классы современного русского общества. Его строение стало много беднее, чем в дореволюционное время. Нельзя думать, конечно, что социальная кристаллизация приняла окончательные формы. Напротив, формы эти поддерживаются и в то же время уродуются непрестанным нажимом государственного пресса. Легко представить себе, что, с устранением механического давления, буржуазия получит несравненно более значительное развитие, возродится интеллигенция, в смысле профессий свободного умственного труда, произойдет расслоение деревни. Но, с другой стороны, немыслимо, чтобы 12 тяжких лет, младенческих лет новой России, прошли бесследно для будущего. Сейчас закладывается фундамент, на котором будет строить не одно поколение.

По сравнению с императорской, революционная Россия поражает однородностью своего состава. Крайности сблизились, расстояния между классами сошлись – конечно, ценою обезглавления всего стоящего выше среднего уровня. Но новый средний уровень проходит гораздо выше былых низов. Низы поднялись если не экономически, то культурно – во всяком случае, социально. На улице русского города вы не всегда отличите по одежде и по лицу рабочего от служащего или торговца. И, что гораздо важнее, не отличите и по речи. В культурной борьбе классов победительницей оказалась «новая демократия», то есть низы интеллигенции. Это она навязала рабочему, а частью и крестьянину свойгалстук, пиджак или толстовку. Давно прошло время, когда европейский костюм был признаком барства. Если остатки старой интеллигенции чем и отличаются от «народа» по внешности, то лишь тем, что они хуже одеты. Во всяком случае, это верно относительно женщин. Работница носит шелковые чулки, и в ее костюме сказывается отдаленное влияние Парижа. Недаром в эпоху голода и ужасов гражданской войны выпиской модных журналов из Парижа кормились многие из бывших людей. В языке полуинтеллигенция тоже одержала победу, хотя здесь очень сильно и пагубно отразилось армейское влияние. Люди стали

вежливее, извиняются беспрестанно, и к старой «барышне» прибавилось «дамочка», отнюдь не означающее буржуйку. Народ в городе говорит полулитературным языком, хотя и сильно замутненным войной и революцией. Зощенко верно схватывает его слабые места, но пародий Зощенки нельзя принимать за этнографическую запись. Народ перестал ненавидеть интеллигенцию с тех пор, как сам стал производить ее. Современные студенты летом косят и жнут со своими братьями и односельчанами и ни в быту, ни в речи не отличаются от них. Можно жалеть о гибели старонародного быта, языка и фольклора, но нельзя не видеть, что общество после революции приобрело гораздо большую устойчивость и цельность. Как это ни странно, оно стало более похожим на Западную Европу некоторой общностью междуклассового культурного фонда и самым содержанием новой культуры. Впрочем, типом социального строения оно скорее напоминает русский XVIII век. Заполнение пропасти между классами, с одной стороны, и между обществом и государством (не «партией») – с другой, создает предпосылки дня нового национального сознания. НОВАЯ КУЛЬТУРА

Говоря о новой культуре, нельзя не задать себе вопроса о судьбах старой: на чем держится преемство традиции, без которого культура вообще невозможна? Зрелище вулканических разрушений не должно закрывать от нас сложных процессов жизни. Основной факт современной русской культуры – ее экстенсификация. Исполинский резервуар, искусственное озеро, наполняемое столетиями, вдруг прорвало плотины и затопило страну. Но среди этого мелководного, подчас болотистого разлива так редки глубокие воды. Россия кишит полуинтеллигенцией, полузнайками, но в ней редко встретишь «культурного» человека в старом смысле слова. Новая школа его уже не дает. Старые человеческие запасы иссякают. «Недорезанные», но задушенные теряют культурный облик. На советской службе, как на заводе Рено, не до книжки; а газету русский интеллигент читать отвык, презирая советские «Правды». За этим презрением – законным – к газете скрывается часто презрение ко всему тому политическому миру, которым газета питается. Когда на улицах Москвы и Петербурга появились, впервые после блокады, «Berliner tageblatt» и «Temps», их почти никто не читал: отвыкли. Едва ли многие из представителей старой интеллигенции могли бы назвать фамилию французского президента. Но гораздо страшнее: вместе с поверхностной политической пленкой из сознания вчерашнего интеллигента выветриваются и более глубокие слои, дававшие ему некогда право на социальную избранность.

И все же приходится удивляться, как много сил сохранилось. Произошел отбор: не опустившиеся, не превращенные в «поденщиков забот» нашли в себе неожиданные источники сил для творческой деятельности. Областью этой деятельности для многих явилась наука. В России существуют десятки университетов, тысячи научных работников. Среди этих работников большинство – молодежь, прошедшая старую школу университета или по крайней мере гимназии, выученики старых профессоров. Но рядом с ними много внеакадемических людей. Педагог или юрист, общественный деятель, придушенные революцией, вспомнили о мечтах юности, о ненаписанных диссертациях и возвращаются к научной работе. Экзамены облегчены, требования понижены. Университет спасает и от тюрьмы (относительно), и от голодной смерти. Этот приток сил отчасти компенсирует огромную убыль от смертности среди старых ученых, не вынесших голодных лет. Конечно, количество за счет качества: все посерее, это уже поскребыши, со дна котла.

В глухой провинции остатки местной интеллигенции группируются вокруг обществ краеведения, бывших «архивных комиссий». Со страстью изучают местную этнографию, областное прошлое. «Режимонализм» – единственная легальная форма патриотизма в России. Нужно молчать об отечестве, но модно пламенно говорить о крае. В этих кругах несут свое служение с аскетическим энтузиазмом, который часто связан с религиозным служением православной культуре. Русская икона – новая, открывшаяся область изучения – служит одним из мостов между двумя мирами: научным и религиозным.

Существует ли высшая школа в России? Это вопрос, на который не так легко ответить. Было время – около 1920 года, – когда почти каждый губернский город гордился своим университетом. Разумеется, такой университет, или ИНО, был не более чем Учительским институтом старого времени. Теперь число их поубавилось, но все же превышает наличие ученых сил России. Нивелировка, децентрализация и здесь сказались в упадке столичных и вообще старых (особенно украинских и Казанского) университетов и сравнительном процветании новых, областных, чаще всего восточных центров: в Саратове, Ташкенте, Баку. Многие кафедры заняты педагогами средней школы или коммунистами с партийным стажем. Но рядом с ними работают настоящие ученые старой или новой формации. Студенты? Их квалификация представляет еще большие трудности. Лишь часть их проходит через среднюю школу. Но современная средняя школа не дает особых преимуществ перед рабфаковцем или партийцем. На приемных экзаменах большинство

поражает своей общей безграмотностью. Но профессора нередко не нахвалятся их прилежанием. Упорные кроты «грызут гранит науки». Разумеется, им не наверстать пробелов общего образования. Для этого отсутствуют все средства и возможности. Ни философских кафедр в университете, ни настоящих журналов, лекций, культурной среды, наконец, которая вчера обтесывала разночинца. Но у него остается некоторая возможность выработать из себя узкого специалиста. Плохой врач, плохой инженер, но все же не фельдшер, не простой техник. А главное, почти всегда человек с большой волей, с большим вкусом к «строительству» жизни.

Пройдемся мысленно по коридорам русского университета и вглядимся в молодые лица с определенным вопросом: следует ли смотреть на них как на новое поколение русской интеллигенции или как на совершенно новый класс? Я думаю, у каждого создадутся разные впечатления. По одежде, конечно, вузовцы не очень отличаются от старого демократического студенчества – во всяком случае, более обращают внимания на нее. По лицам, бритым, грубоватым, судить трудно. Обрывки подслушанных разговоров скорее пугают: порчей литературного языка, простонародной фонетикой, морфологией, синтаксисом. Но все это еще не решающее. Вспоминаешь шестидесятые годы с их надрывом дворянской традиции, с языком «шерамуров».Думается, пропасть между современниками Герцена и Чернышевского была не многим меньше той, которую разверз между двумя поколениями русской интеллигенции 1917 год. Но не выходит ли уже последнее поколение за пределы интеллигенции, а его школа за пределы университета? Старый русский университет – по крайней мере в Москве и Петербурге – за последние годы не уступал лучшим в Германии. Но уже к Оксфорду нельзя подходить с континентальной меркой. А университеты есть и в Америке. Мы готовы сказать: меряя американским (или, может быть, австралийским, новозеландским) аршином, – университеты есть и в России.

В таком же смысле решается вопрос и о средней школе. Она выпускает людей полуграмотных, не имеющих понятия об истории, без древних и, в сущности, без новых языков, со скудными обрывками новой русской литературы. Но она сообщает известную сумму математических, естественнонаучных, технических знаний и, что особенно важно, навыков. На школьных выставках поражаешься технической ловкости маленьких дикарей. Они рисуют, лепят, конструируют модели, чертят диаграммы. Иной может построить аэроплан. Есть школы, где физические кабинеты, и

очень недурные, оборудованы руками учеников. И потом, они так много видят, так много ходят с экскурсиями и путешествуют. И музей, и фабрика на них производят впечатление. Они знакомы с элементами статистического обследования и имеют некоторое понятие об экономических явлениях. Не забудем, наконец, широкого увлечения музыкой и спортом. Из советской школы выходят односторонние марсиане, но полные активности люди, – быть может, лучше нас вооруженные для жизни.

Если средняя и высшая школа в России до некоторой степени остаются под вопросом, то бытие Академии, и после недавней ломки, не вызывает сомнений. Детище Петрове пережило Елисаветинский университет. Наука в России не погибла, но сильно стеснена в средствах своей работы. Сотни трудов в рукописях ожидают очереди в скупо отмеренных изданиях. То, что выходит, не вызывает тревоги своим качеством. Университет перестал быть семинарием ученых, но его роль заняли различные институты при Академии, музеи и даже библиотеки, где поддерживается личное общение, на совместной работе, учителя с учениками.

Судьба отдельных наук, конечно, различна. Иные погибли, иные расцвели, в зависимости от случайностей «социального заказа». Физике, например, повезло, благодаря прикладным институтам, связанным с индустрией. Русские физики, среди которых много мировых имен, ведут нелегкую борьбу за сохранение теоретической науки в университете. Но уже чистая математика сильно изувечена. Счастливы дисциплины, которые могут укрыться под сенью «Комиссии по изучению производительных сил России» (геология, почвоведение и др.). Могут работать и биологи, интересующие государство вопросами селекции, евгеники и проч. Но молодежь среди них увлекается и философскими основами науки.

Медицина, конечно, неистребима, поскольку неистребим страх смерти, даже для коммунистов. Но потребность в обслуживании советского аппарата спасла и остатки (практической) юриспруденции от угрожавшей ей, казалось, окончательной гибели.

Теоретическая экономика уничтожена монополией марксизма. Но зато развивается доселе бывшая в пренебрежении экономика практическая и описательная («идиографическая»). Доминируют, естественно, вопросы организации производства и экономической политики.

Сильнее всех пострадал историко-филологический факультет. Он потерял философию совершенно и в значительной мере историю. Лучше

сохранились филология и искусствоведение. Почти окончательно погибла, со смертью древних языков, наука классической древности и медиевистика, представленная недавно в Москве и Петербурге двумя большими (может быть, непропорционально для России) школами ученых. Презрение к католической культуре и романо-германскому миру одинаково повинны в советском дискредитировании этой науки. Из всеобщей истории уцелела новейшая, как история революций в марксистском освещении. Да еще торжествует Восток – по всей линии: филологической, исторической, археологической. На первом плане и здесь практическая потребность: подготовка дипломатов и революционеров для работы в Азии, но за этим – и бескорыстное увлечение Востоком как оборотная сторона ненависти к Западу.

Русская история спаслась, несмотря на сознательно антирусскую политику Комиссариата (Покровский). Причины – в социальном и экономическом направлении русской историографии в школах Ключевского и Платонова. Старые марксисты воспитаны на Ключевском и переиздают «Очерки смуты» Платонова, по недоразумению, как образец исторического материализма. Наука русской истории (по давней традиции!), не требующая ни иностранных языков, ни филологической культуры, издавна была уделом демократических слоев студенчества. Продолжает она привлекать их и теперь. У стариков можно заметить иногда, как реакцию против духа времени, возрастание интересов к духовной культуре России, но в печати эти интересы находят лишь слабое отражение.

Как это ни странно, необычайно расцветает изучение русской литературы (только не древней). Эта дисциплина всегда была в позорном загоне в русских университетах. Вместо художественного слова изучались нередко направления публицистической мысли – «интеллигенциология». Накануне революции небольшая, но ярко талантливая группа отдаленных учеников Потебни подняла бунт. «Формалисты» рассматривают идеи и сюжет «как явления стиля». Антигуманизм и антиидеализм новой школы создали для нее известную неуязвимость со стороны академической Чека. Большевики их терпят, хотя предпочитают им пролетарских Венгеровых с социологическим подходом. Фактически формалисты господствуют. Они развивают огромную рабочую энергию, которой соответствует не меньшая литературная продукция.

И, наконец, искусствоведение. Русская революция, в разрезе со всеми историческими прецедентами, проявила необычайную робость в разрушении памятников искусства. Это объясняется отнюдь не кротостью

народной стихии, всегда иконоборческой. Не успел улечься вихрь разрушения, как царские дворцы переименовываются в музеи. Памятники Николая 1 и даже Александра III пережили крушение кумиров. Наконец, в обеих столицах существуют высшие институты искусствоведения, целая Академия истории искусств (под именем Академии материальной культуры), и во всех этих учреждениях бьется полноценная научная жизнь. Здесь не пахнет халтурой. Здесь совершаются серьезные научные открытия. Материалы, накопленные, отчасти изученные после революции, так огромны и неожиданны, что историю древнего русского искусства теперь надо писать заново. Невероятно: в стране безбожия существуют иконописные школы и школы реставраторов иконы. как объяснить это? Здесь возможны две догадки. Во-первых, эстетизм, лежащий в основе одной из большевистских формаций. Об этом ниже. Во-вторых, суеверное уважение марксиста к памятникам «материальной культуры». Есть категория марксистов-искусствоведов, которые больше интересуются составом красок и доской, чем картиной (такова первоначальная идея Академии М. К.). За технологией красок пришлось допустить и фактуру, технику живописи. А дальше – как с литературой: марксист губит казенную бумагу классовой интерпретацией, ученый остается в границах формалистического изучения, свежего и плодотворного. Средства, отпускаемые государством для раскопок, исследований и публикаций чрезвычайно скудны. Но они с избытком восполняются энтузиазмом исследователей. Таковы обломки старого. Их, как видим, немало. Некоторые ветви старой культуры пустили свежие, многообещающие побеги. Но вся эта культурная работа старых направлений остается неорганизованной, необъединённой, Она не выходит из рамок специальных исследований. Она всегда в колодках, как и хозяйственная жизнь. Не доверяя жизненным силам новой культуры, государство сознательно губит старую. Система цензуры, созданная им, действительно превосходит николаевскую. Ее ужас в том, что она чувствует свое родство не с полицией, а с богословием: пытается не пресекать, а учить и назидать; дает «социальный заказ» и печется о «малых сих». Второе ее отличие от николаевской в том, что она нашла в России не первые побеги, а великолепное дерево национальной культуры и поставила себе целью выкорчевать его с корнем. Теперь дело идет не о стихах лишь и романах, а о русской философии, богословии, историографии, социологии. «Поле, усеянное костями» русской мысли, представляет самое потрясающее кладбище из театров великой войны. Французская революция, которая, как известно, «не нуждалась в ученых», нашла господствующим строй идей, в

котором коренилась она сама. Русская пришла незваным гостем на чужой пир. Здесь все было ей чужим и все подлежало гибели. Предстояло планомерно выкорчевать вековой лес и заменить его новой пролетарской посадкой. Не вина (и не заслуга) большевиков, если они лишь наполовину успели в этой неблагодарной задаче.

* * *

Новая культура (для иных все еще только новое варварство) не чувствует себя хозяином ни в университетах, ни в академиях. Однако к ней мы отнесли бы господствующий в искусствоведении формализм. И средняя школа в значительной мере является проводником новых веяний. Но главные органы их – митинг, газета, книга, театр, так называемая советская общественность. Серьезность новой культуры доказывается ее полной победой в художественной литературе: ей служат стихи, и проза, и театр. Нет «советской» науки, но есть «советское» искусство. Но труднее создать продажное искусство, чем продажную науку. Значит, гипотеза продажности не объясняет сути нового явления, хотя было бы невозможно отрицать глубокой деморализации литературных нравов.

Трудность в оценке новой культуры, как и всего в России, заключается в сложном соотношении между коммунистическим и национальным. Их нужно разделять, но нельзя разделять до конца, ибо, несомненно, идеология коммунизма была центром кристаллизации всех новых сил. Лживость, составляющая нормальную атмосферу интеллектуальной жизни в России – оборотная сторона тирании, – мешает уяснить до конца соотношение между новой культурой и коммунизмом. Коммунисты льстят, курят фимиам и стараются лягнуть его незаметно, чтобы тут же отпереться от неосторожных слов. Кадят идолу, чтобы обеспечить свободу служения иным, своим богам. В обстановке всеобщего идоложертвенного культа трудно разобраться в оттенках личных верований.

Представляется несомненным одно: не марксизм лег в основу новой культуры, хотя он завещал ей некоторые из своих элементов. Огромные средства, потраченные государством на пропаганду марксизма, множество журналов, марксистских институтов и академий не дали ни одного серьезного ученого, ни одного талантливого писателя. Россия изрыгнула из себя все лошадиные дозы марксистского яда, как не оставила почти ни одного из портретов и бюстов злого Карла, украшавших все витрины в 1918–1920 годах. Что осталось от марксизма – так это социальный реализм, вернее, цинизм, классовый примитив в оценке социальных явлений. Осталось общее достояние – 1 Интернационала, скорее Бакунин,

чем Маркс. Большевики сумели обязательным катехизисом своей политграмоты отбить вкус к марксизму, вызвать ощущение, близкое к тошноте, у всех, проходящих через ее мытарства. Но не нужно поддаваться иллюзиям: молодые люди, проклинающие политграмоту, не способны в большинстве случаев ни критиковать ее, ни преодолеть. Она остается в их мозгах непереваренным комом, как куча скучных, пошлых истин – но все-таки истин. Освобождение из духовной тюрьмы совершается не на путях социологической мысли. А религиозное или эстетическое преодоление марксизма все еще оставляет на дне сознания каменный балласт классовых и экономических схем.

Марксизм как экономическая доктрина определил сознание лишь первого поколения большевиков (90-е годы). Немногие из коммунистов читали Маркса. Молодежь гораздо более увлекается естествознанием. Дарвин вытеснил Маркса, и народная Россия переживает свои шестидесятые годы. Это эпоха наивного просветительства, юношеского богоборчества – казалось, давно преодоленная русской мыслью. Воскрешение Базарова после Владимира Соловьева – расплата за вековую беспочвенность русского культурного слоя. Новый натурализм – действительно широкое, народное увлечение, не только коммунистический ингредиент. В деревне молодежь спорит со стариками о громе и молнии, о всемирном потопе. Ужас в том, что партии, то есть отсталым, заскорузлым старикам ее, удалось обмануть эту юную пытливость, подменив науку научным суеверием, современную биологию почти столетним дарвинизмом. В то время как молодые биологи в России становятся виталистами и христианами, приобщающаяся к культуре масса принимает материализм как новую научную веру. В этом реальная почва антирелигиозного движения в России, которое держится не одними партийцами, а если партийцами, то второго и третьего сорта.

Марксизм всегда заключал в себе технологический слой, прикрытый у Маркса понятием «производительных сил». Ученики оставили в забросе эту богатую жилу. В Советской России она разрабатывается впервые не столько по требованию теоретической диалектики, сколько из практического интереса. Старый марксист, читавший лекции о фабричном производстве, был не в состоянии разобраться в самой простой машине. Теперь ему или его выученику пришлось стать во главе фабрики, обобранной дотла, и восстанавливать производство. Понятно, что вопросы техники играют в России главенствующую роль, затеняя даже космологические проблемы. И здесь мы имеем дело не только с партийной директивой, но и с широким, низовым увлечением. Никогда в России не

было стольких самоучек- изобретателей, как в наши дни. Над Москвой, почти над каждым домом, лес антенн и приборы радио, чаще всего домашнего изготовления. О конструктивных способностях школьника мы уже говорили выше. Много здесь, конечно, маниловщины: такова ленинская электрификация, сталинская пятилетка и прочее. Но есть и живой поток народной энергии, нашедший для себя практическое поле. Интересно, что тут, в техническом восприятии культуры, Россия встречается с ненавистным Западом, и скорее всего с дальним Западом. Мы имеем право говорить об американизме современной России, который отвечает на предсмертную мечту Ленина. Россия отвергает все глубокие слои западной культуры – от античности до либерализма, -но жадно бросается на последние слова ее нового, «американского» *дня.* Можно очертить приблизительно круг тем, актуальных на Западе, которые вместе с тем составляют комплекс «советской культуры». Тейлоризм, фордизм, радио, авиация, кинематограф, спорт во всех его видах, вопросы практической биологии: омоложение, евгеника, искусственное скрещение видов (человека с обезьяной), победа над смертью (микроб старости) и т.д., и т.п. Весь этот комплекс говорит о молодой и животной жизнерадостности, которую мы привыкли считать почти исключительным свойством англосаксонской расы. Громко кричит потребность комфорта, жажда устроиться прочно и навсегда на этой земле, не нуждающейся в преображении. Эту жажду гениально выразил Маяковский, поэт нового дня:

Надоели нам небесные сласти,
Будем жрать хлебище ржаной!

Этот голод по хлебу, впрочем, еще не получил буржуазного отпечатка. Преобладает стремление все перестроить, начать жизнь сызнова, зачеркнув историю. Отсюда социальный революционаризм, который даже для успокоившихся и обрюзгших остается догматом веры. Что Европа сгнила и что только революция может воскресить ее – в этом не сомневается никто из людей новой формации.

Что глубоко отличает современную Россию от России шестидесятых годов, так это ее повышенный интерес к вопросам искусства. О «разрушении эстетики» никто и не помышляет. Впрочем, эстетика и искусство совершенно разные вещи. Сначала об искусстве.

С изобразительным искусством у революции был краткий, но замечательный роман. С самого Октября левые русские художники (назовем их условно футуристами) поступили на службу революции – сознательно и бескорыстно. С революцией их роднила ненависть к

буржуазному искусству (сжечь Эрмитаж!), предчувствие небывалых форм жизни. Именно жизни, ибо, разочарованные в поисках новых художественных форм, футуристы провозглашали уже смерть искусству и служение жизни. Этот лозунг мог иметь только один смысл: прикладное, техническое искусство. И новые художники прежде всего явились декораторами революции. Они писали тысячи плакатов, которыми была заклеена умирающая с голоду Россия, они создавали в дни революционных празднеств великолепные декорации на разрушающихся улицах столиц. Иногда им удавались поразительные эффекты, соперничающие с революционными инсценировками Давида. Кубизм, механизм, бесчеловечность нового искусства отвечали геометрической жестокости большевиков. Этот союз для обеих сторон обещал многое. Всякая тирания нуждается в художественном помазании, без нее она недолговечна. Беда большевиков заключалась в низком уровне их эстетической культуры и, главное, в давлении масс. Рабочие и крестьяне требовали здоровой, простой пищи, то есть наивного передвижничества. Власть подчинилась, и народные праздники утратили всякий художественный интерес. Государство поощряет придворных портретистов, бездарных мазилок массовых сцен. Левое искусство выдохлось, ибо – декоративное по существу – оно не может жить без заказчика.

Счастливее оказалось художественное слово. Его брак с революцией не расторгнут доселе. Большевикам повезло удивительно. В то время как почти вся интеллигенция отвергла их революцию, почти все русские поэты ее приветствовали. (Внутренние мотивы те же, что у художников.) В годы гражданской войны Россия могла быть названа «соловьиным садом». Потом многие соловьи замолкли навсегда, и социальный заказ произвел между ними оченьсуровый отбор. Сейчас стихов почти не печатают в России. Проза вытеснила интерес к ним. Формальным наследством символизма еще живут отсталые рабоче-крестьянские поэты. Сегодняшний день принадлежит настоящему революционеру – к сожалению, разболтавшемуся Маяковскому и Пастернаку, который посвящает свой умный и холодный талант темам революции.

Художественная проза – самое живое и интересное в новой России. И притом, это в полном смысле детище революции. В России почти не осталось старых беллетристов. Молодые вышли из народа или из новой демократии. Учились «а медные гроши, зато имели богатый опыт жизни: проделали гражданскую войну – конечно, в красных рядах. Они преданы революции, воспитавшей их, и творят красную легенду боевых лет. Это дает им право на известную независимость по отношению к внутренней и

внешней цензуре. Большинство их не чувствуют себя рабами и полны гордого и оптимистического утверждения жизни, И здесь, как в живописи, влияние социального заказа, а также примитивность массового читателя сказалось обилием халтуры и воскрешением давно похороненных литературных явлений. Параллельно с передвижничеством революционной живописи возродился социально-дидактический роман 60–70-х годов. Герои Шеллера-Михайлова и Омулевского, переряженные в коммунистов, продолжают просвещать героических девушек и бороться с темным царством. К сожалению, по этой тропинке пошли почти все пролетарские писатели, доказывая духовную слабость своего класса. Немало и крестьянских идейных романов, но здесь не они задают тон. Литература попутчиков свободна от идейности. Но она одна и составляет художественную литературу в России. У новых писателей одна фамильная черта: брутализм. Их тема – примитивная, звериная жизнь, как она выражается в голоде, похоти и убийстве. Война, революция, борьба за жизнь – дают неисчерпаемый запас сюжетов. Быт деревни на первом плане. Мужик изображается пером не барина, а своего собственного сына – с беспощадным реализмом. В этом сильном, хитром, аморальном дикаре (Всеволод Иванов) трудно узнать кроткого мученика народнической литературы. Но Толстой, Чехов и Бунин уже помогают уяснить его генезис. Не все в этой новой революционной «иконе» клевета на народ. Многое надо отнести на счет оголения и озверения революционных лет. Остальное – на счет требований нового стиля. Искусство, отталкиваясь от барской рафинированности вчерашнего дня, неизбежно влечется к брутализму. На этом опасном пути, указанном Толстым, еще возможны потрясающие открытия звериной правды о человеке. Возможно и новое мощное чувство природы, не отделенной от темной глубины в человеке.

Большие эффекты достигаются методами изобразительного импрессионизма. Живопись ярких пятен, мазков, выступающих из мрака, без соединяющего линейного контура повествования, впечатляет и раздражает одновременно. Язык освободился от оков литературной речи и упивается народным говором. Тысячи новых слов, иногда очень ярких, иногда просто непонятных, затопили литературу. Русский литературный язык вступил в новую (после Карамзина) полосу влияния. Однако эти черноземные, даже навозные языковые пласты (в России, по-видимому, уже нет непечатных слов) идут на сложную барочную лепку. Влияние символизма не прошло даром для этих примитивистов. Народный «сказ» ведет в школу Ремизова, а потребность в «остраннении» повествования заставляет некоторых (Пильняк) заимствовать даже форму симфоний

Андрея Белого. Мучительный, выкрученный, патетический стиль не говорит, а кричит о зареве вчерашних пожаров. У многих русских писателей все еще прыгают в глазах «кровавые мальчики».

Почти все они кажутся или желают казаться совершенными аморалистами. Как на современном портрете, человеческое лицо значит не больше кошки или кухонной посуды. Лишь у немногих (Леонов, Федин) просвечивает нечто от старой русской жалости к человеку. Большинство не уступает в жестокости Стендалю или Флоберу.

Слабость новой литературы очевидна: в ее бесформенности, безмерности, бесстильности. Но за всем этим стоит огромная сила, еще не высвободившаяся от власти стихий, но начавшая завоевание новой земли.

Ни малейшего сравнения с литературой не выдерживает новый театр. Он представляется нам очень интересным, но совершенно беспочвенным. Вернее, социальную почву его нужно искать в ночных московских кабаре эпохи военного коммунизма, где поэты, чекисты и воры объединялись на кокаине. Содержание нового зрелища сводится к жестокому гротеску. Режиссер довольствуется превращением человека в натюрморт, а театра – в блестящий цирк. С изгнанием слова театр становится чисто декоративным искусством, но с большим динамизмом движения. Исторически гротескный театр отражает кровавый бред 1918– 1919 годов в гурманском преломлении эстетов.

Театр Мейерхольда ставит перед нами вопрос: как возможно возрождение эстетства в революционной России? Выкорчевывая религию и буржуазную мораль, почему советские цензоры останавливаются перед снобистской эстетикой. Один из напрашивающихся ответов состоит в том, что в такой эстетике видят средство разрушения морали. Но это приводит нас к дальнейшему вопросу об отношении большевизма к морали и значении имморализма в современной русской культуре.

Самое старое поколение большевиков – девятидесятники – были релятивистами в теоретических вопросах морали и аскетами в личной жизни, продолжая полувековую традицию русской интеллигенции. Но уже поколение 1900-х годов воспитывалось в атмосфере анархического индивидуализма: ранний Горький, воскрешенный Писарев, Ницше и Гамсун, Андреев и Пшибышевский, журнал «Правда». Соседство с декадентами, иной раз довольно близкое в 1905 году, привило многим марксистам изрядную долю примитивного эстетизма. Парикмахерское выражение его мы наблюдаем в Луначарском. Но за ним стоит ряд дам, ныне сановниц, и более скромных, и более заслуженных перед художественной культурой России. Этой именно группе мы и обязаны

сохранением русских дворцов и музеев. Однако стоящее за этим «консерваторством» мироощущение гораздо менее невинно. Оно оказало и продолжает оказывать большое, чаще всего разлагающее влияние на русскую молодежь пореволюционного времени. Определить его кратко можно так: это базаровщина, пропущенная сквозь брюсовщину.

1917 год сорвал с разрушенных гнезд массу авантюристов, искавших в революции сильных ощущений. Первые перебежчики из интеллигенции на службу новым господам были чаще всего люди без чести и совести. Все это создавало в годы гражданской войны остро пахнущий букет имморализма на верхах советского общества. Общаясь с продажными декадентами и жуирами, разлагались и недавние аскеты. Да и человеческая природа не выносит больших кровопусканий без наркотиков. Идейные чекисты неизбежно ищут забвения в кокаине, разврате или эстетике. Много страшнее, когда эстетический (или голый) имморализм захватывает свежие, здоровые слои революционной молодежи. Но это явление позднейших лет.

С концом героической эпопеи революции тысячи бойцов оказываются выброшенными на мель. Напившись свежей крови, они не желают «питаться падалью» добродетельного строительства. Годы идут, и это строительство постепенно разоблачается как грандиозный блеф. Начинается полоса советских буден, невыносимая для молодых умов, жаждущих подвига. Отсюда разочарованность нового поколения, приводящая к культу официально попираемой личности. Возрождается анархический индивидуализм, вообще характерный для послереволюционных эпох. Из русских прецедентов прежде всего напрашивается арцыбашевский Санин, выразивший «огарочные» настроения молодежи после 1905 года.

Девятидесятники, особенно девятидесятницы, первые забили тревогу. Начались поиски новой, пролетарской этики, долженствующей заменить этику христианскую. Эти теоретические потуги, конечно, обречены на неудачу. Но нельзя закрывать глаза на то, что в новой жизни довольно здоровых сил, которые ведут не без успеха борьбу с моральным разложением. Читая о половом бесстыдстве молодежи – тема, излюбленная и советскими романистами, – мы склонны обобщать эти явления. Они отвратительны, но едва ли типичны. Рядом со слабыми выродками растут здоровые и сильные юноши, которые умеют работать и понимают смысл общественной дисциплины. Революция создала не один имморализм, но и некоторые основы для новой этики: не пролетарской, но коллективистической. Это этика полувоенного типа: в ней много

родственного скаутизму, и красные пионеры, в сущности, несут скаутское знамя, социально окрашенное. Служение обществу – в частности, своему коллективу – заменяет личное рыцарство. Жертва и здесь является краеугольным камнем. Пионер должен помогать слабым, женщине на улице, измученной лошади, пожарному, но и милиционеру при исполнении его обязанностей. И эти требования не остаются мертвой буквой. Быть может, в этой пионерской среде только и горит в России социальный идеализм. Уже в комсомольстве к нему примешиваются (если не преобладают) личные, карьерные мотивы; в этом же возрасте происходят кризисы миросозерцания, опустошающие душу, но и очищающие ее. Среди взрослых коммунистов в настоящие годы принципиальные люди встречаются в виде исключения. Чем больше революция идет на убыль, тем слабее сопротивление коллективистической этики разлагающим началам. Мы имели бы основание прийти в ужас за народ и его будущее, если бы революционным идеализмом исчерпывались духовные ресурсы нации. По счастью, это не так. «Новая культура» не покрывает всех живых сил, которыми спасается Россия. Эти силы – вне культуры, их источники бегут из подземной глубины, и шум этих вод заглушает в России нестройный стук молотков в руках строителей Вавилонской башни.

Церковь

В настоящих очерках социально-публицистического характера нет места для изучения идей и духовных реальностей. Реальности эти появляются в них лишь постольку, поскольку облекаются в общественно организованную форму:социальной группы, класса, партии. Известно, какую огромную социально-формирующую силу представляет религия. История христианских обществ не может быть построена без истории Церкви. Для классических эпох христианской культуры общество и Церковь совпадают. Однако в эпохи упадка социальное значение Церкви сильно суживается. Историю XVIII и XIX столетий можно писать, отвлекаясь от христианских церквей и сект. Оказалось возможным и историю разложения императорской России схематически чертить без изображения церковного быта XIX века. Быть может, это было некоторым упущением. Картина дворянского упадка могла бы быть дополнена очерком церковного оскудения. Мы увидели бы приниженность духовенства, угодливых и честолюбивых иерархов, сельских священников, погрязших в пьянстве и любостяжании, распущенных монахов: во всей России едва ли удалось бы насчитать десятка два обителей, в которых теплилась духовная жизнь. Для религиозного взора это наблюдение открывает многое: из подробности общей картины оно может стать ключом, объясняющим целое. Именно здесь, в религиозном центре, иссякали духовные силы нации. Но эту связь не легко показать убедительно для всех. Зато для всех явственно совершается возрождение Церкви в очистительном горниле революции.

Один убедительный факт делает невозможным обойти Церковь в любом изображении русской революции (как возможно обойти ее в кратком очерке французской): о Церковь разбились в России волны разрушительных сил. Из всех организованных сил старой России Церковь одна устояла под напором большевиков. Церковь сделалась центром кристаллизации духовных антикоммунистических сил, ни малейшим образом не связывая себя с контрреволюцией или со старой Россией. И то и другое требует объяснений.

Если бы Церковь была столь же слаба в России, как в старой Франции, большевики, конечно не задумались бы поступить с ней по методу якобинцев: закрыть все храмы и расстрелять священников. В недостатке решимости или ненависти к христианству их подозревать не приходится. Они терпят культ потому, что рабочие и крестьяне в нем нуждаются и не

позволят отнять его. С другой стороны, несомненно, революция вызвала широкий отход от Церкви или охлаждение к ней. Однако это охлаждение было далеко от прямой ненависти. Народ стал религиозным минималистом, скептиком, если угодно, только не богоборцем, каким хотела бы его сделать коммунистическая партия. Народ допустил вскрытие мощей без всякого протеста, народ допустил, хотя и с протестом, ограбление храмов, но он не допускает их закрытия. Он по-прежнему крестит в них своих детей и отпевает покойников: в деревне даже гражданские браки большая редкость. Этот минимальный ритуализм уживается с рационалистическим разложением религиозного сознания, о котором мы говорили выше.

Почему народ не пережил активной ненависти к Церкви, подобно передовой интеллигенции? Нужно думать, что грехи духовенства не были столь тяжки в народных глазах, чтобы поставить попа на одну доску с барином. Средний тип русского священника, в своей убогой простоте, обезоруживал народное сердце. Народ не уважал духовенства, но не питал к нему злобы. Встречались среди священников и праведники, которые примиряли ожесточенных. Праведники были, конечно, во всех сословиях. Но барин – бессребреник и филантроп – оставался чужд народу в своем духовном облике и потому подозрителен. А христианская святость была насквозь понятна и обаятельна. Но Церковь была дорога не служением пастыря, а красотою обряда, с которым сросся кровно народный быт.

Вот общий фон, на котором развертывалась драма русской Церкви. Тяжек ее первый акт – режим террора и острого гонения, в который была сразу поставлена Церковь Октябрьской революцией. Кадры ее активных деятелей и сторонников сильно поредели. «Церковники» – это уже не народ, а группа, лишенная всенародной поддержки и сочувствия. Заседания Московского собора заглушаются громом гражданской войны. Из кого же состоит эта поредевшая, но сплоченная церковная среда, ведущая борьбу за Церковь? Разумеется, ядро ее составляют люди консервативного православного склада, для которых Церковь не только религиозная, но и национальная святыня. Большинство их не примирилось с горечью утраты Помазанника, и в своем противодействии революции не делало различия между Февралем и Октябрем. Многие надеялись, что Церковь объединит все живые, то есть национальные, силы и спасет Россию. Эта надежда заставляла льнуть к Церкви и людей, чуждых ее догматам, отвыкших от ее уставов. События, казалось, предназначали русскую Церковь для активной борьбы с революцией. Но Церковь не пошла по этому пути. После первых колебаний (начала 1918 г.) она

решительно вышла из политической борьбы.

Патриарх Тихон был символом аполитической Церкви, и его отказ благословить белые армии (лето 1918 г.) – знаком нового дня. Его позиции, столь трудной для многих активно патриотических церковников, невозможно объяснить оппортунизмом. Служение Церкви в годы террора было само по себе исповедничеством, которое для тысяч и тысяч стало подлинным мученичеством. Явилось ли у патриарха и окружавших его вождей Церкви тогда уже сознание обреченности белого дела? Мы не знаем. Это могло бы быть не столько политическим расчетом, сколько внутренней интуицией, прозрением в сущность еще неясных событий. Состояние народной души было скорее открыто для иерархов и пастырей, чем для увлеченных идеей интеллигентов. Но все это соображения, лишенные глубины. Истинный смысл отрицательной тактики (аполитизма) Церкви – в положительной духовной жизни, в ней раскрывающейся. В громах апокалипсических событий, обрушившихся на русскую землю, в этой, казалось, финальной катастрофе перегорали все земные, часто слишком земные, узы, соединявшие Церковь с обществом и государством вчерашнего дня. России может не быть, но вечен Христос. Сегодняшний день может быть последним днем истории: войдем в себя! Церковь аскетически и мученически отрекалась от России, слагая с себя печаль о ее земном теле. То, что заместило национальное сознание Церкви в годы революции, была святость. Ее необычайный расцвет в смертные годы – такой ответ на вывоз революции был возможен, разумеется, лишь потому, что русская Церковь не растратила живущих в ней потенций святости. Несмотря на видимую упадочность XIX века, традиция святости не прерывается в Церкви, и можно даже наблюдать к концу века нарастание этих внутренних, мистических сил. Несомненно, подготовлялось возрождение церковной жизни, хотя оно ничем еще не сказывалось в ее иерархическом и бытовом строе. Понадобилась революция, то есть последнее отчаяние, чтобы вывести святость из затвора кельи на широкую арену Церкви и мира.

Революция была мечом, разделяющим – живое от мертвого. В тех же семьях, в тех же условиях жизни одни ожесточались или оподлялись в животной борьбе за существование, другие достигали высокого просветления. Мы все знаем этих униженных и оскорбленных, которые находили силу простить врагам, нередко признавали заслуженность и справедливость самого своего падения. Сколь многие, в итоге пустой или легкомысленной жизни, находили в себе силы, подобно последнему русскому царю, умереть с мужеством и достоинством христианина. Люди

этого типа, а не политики определили судьбу русской Церкви в годы революции. Политики, пытавшиеся взяться за церковный руль, погибли в гражданской войне или ушли из России; оставшиеся в ней духовно выросли и смирились. Целые годы продолжалось это очищение Церкви кровью мучеников и аскетическим пребыванием во внутренней пустыне. То, чего не успел сделать палач Чека, доделал Тучков из ГПУ, вытянув из Церкви последние старорежимные соки в «обновленчество», в"живоцерковство». В этом расколе добросовестно запутались и люди демократического склада, обманутые лукавой диалектикой революции, подобно сменовеховцам и евразийцам. Но основную массу обновленческого духовенства составили «попы», которые больше всего на свете боялись мученических венцов и не могли вынести тяжести разрыва с государством. Если не царская, то хоть революционная, но власть, – эти люди не могли жить без политического заслона. С уходом их, аполитизм Церкви закреплен окончательно.

Для этих первых лет аскетического очищения Церкви характерно возвращение к ней значительной части интеллигенции. С отходом от Церкви народных масс это проникновение в нее нового слоя, ранее чуждого ей, заметно окрасило ее состав. В городах это бросалось в глаза при первом взгляде на молящуюся толпу, переполнявшую храмы. Разнообразны были мотивы, определявшие обращение блудного сына. Мы уже говорили о политиках. Для многих, потерявших все на свете, в беспросветном отчаянии и одиночестве Церковь была единственным прибежищем. В пошлости и гаме революционной улицы удивительной красотой звучало торжественное тысячелетнее слово и византийский обряд, уводящий из царства красных флагов. Но не из раздавленных калек, не из опустошенных эстетов слагалось новое церковное общество. Обращение интеллигенции, то есть части ее, было естественным завершением мощного движения русской культуры конца XIX и начала XX века. Школа Достоевского и Вл. Соловьева владела умами последнего предреволюционного поколения. Символизм в лице самых мудрых своих провидцев подводил к порогу Церкви. Гром революции лишь ускорил неизбежную развязку. В 1918-м и следующих годах ряд профессоров, писателей и поэтов принимают священство. Другие отдают свои силы Церкви в Богословском институте (Петроград), на церковной кафедре, теперь открытой для мирян, в тайных кружках и братствах. Новые люди принадлежали в недавнем прошлом к самым разным политическим партиям. И теперь они отличаются направлениями религиозной мысли. Преобладают мистические настроения и идеи (имяславчество);

апокалиптика упраздняет социальные и национальные проблемы. Повышенная страстность, радикализм в постановке вопросов и жизненном их решении заметно отделяют эту группу неофитов от спокойной сдержанности наследственного духовенства: так Волгу долго окрашивают в свой цвет камские воды. Интеллигентский радикализм иногда заставляет этих людей, переступающих порог Церкви, приносить изуверские жертвы. Не редкость – полное отрицание культуры, проповедь мистического нигилизма. Эти настроения особенно опасны ввиду стремительного падения старой культуры и трудности сохранения ее уровня. Есть люди, которые уже ничего не читают, кроме Добротолюбия. Но другие приносят в Церковь свою науку, свое искусство, ища освятить в ней свое творчество. В Церкви происходит огромное накопление культурных сил, лишь насильственно обреченных на молчание. Но легальная культура представляет лишь малый сектор духовной жизни России. В подпольной борьбе христианства с безбожием все преимущества культурного вооружения на стороне Церкви.

Конечно, Церковь не вобрала в себя всей старой интеллигенции. Процесс оцерковления ее замедлился через несколько лет и, кажется, остановился, разделение прошло здесь, главным образом по моральной линии. Но нельзя отрицать, что и страх духовной реакции, то есть мистико-эсхатологических идей удерживает многих на пороге. Даже среди интеллигенции церковники – это меньшинство, но меньшинство сильное, подвижническое, жаждущее завоеваний.

Выход из подполья патриаршей Церкви с освобождением патриарха (1923) знаменует начало церковной экспансии. Период аскетического сосредоточения собрал и дисциплинировал огромные силы, которые теперь отчасти устремляются на завоевание мира. Проблема России, не погибшей, но погибающей, опять становится в центре религиозного зрения. Но спасение ее мыслится не на политических путях. Отвоевание масс у антихриста, новое крещение Руси – вот поставленная цель, которая объясняет политику преемников почившего патриарха: их тягу к легальности. Среди новой демократии, среди студенческой молодежи религиозные искания заметны давно. С первых лет революции в религиозных кружках встречаются коммунисты, бывшие или даже настоящие, которые ищут духовного осмысления своей работы. Марксизм явно не может быть духовной пищей. Обыкновенно к концу университетских лет молодежь разочаровывается в нем. большинство – чтобы отдаться потоку буржуазных настроений и практическому завоеванию жизни; меньшинство – чтобы искать нового идеала. Среди

молодежи, отдавшейся науке, аспирантов на кафедры, особенно много христиан. Но не требуется большого научного аппарата, чтобы разобраться в безграмотном хламе антирелигиозной литературы. Новое поколение малоинтеллектуально. Оно решает вопросы веры нравственной интуицией. Борьба идет не между верой и разумом, но между двумя верами. И здесь обаяние мученической Церкви вырывает чистые сердца и воли из власти лживой, духовно разжиревшей коммунистической секты.

За молодежью – рабочие. Среди рабочих петроградских окраин и в годы революционного угара митрополит Вениамин пользовался большой популярностью, – как в Москве патриарх Тихон. Это было, конечно, меньшинство – люди семейного, традиционного уклада, особенно связанные с деревенской родиной. Но за последние годы церковные настроения среди рабочих растут. Они уже кое-где на скудные гроши строят храмы, преодолевая страшное сопротивление храморазрушителей. Возвращаясь в Церковь, рабочий опережает крестьянина. Он несчастно других. У него нет уже никаких политических или социальных надежд. С другой стороны, его нервная, беспокойная душевная организация более способна к идеалистическому подъему. Без идеалов он не может жить и падает на дно, не поддерживаемый бытовым и хозяйственным укладом жизни. Отсюда это соединение разгула и жертвенности, разврата и религиозности в одной и той же среде, характеризующее современное состояние рабочего класса в России.

И, наконец, в самое последнее время, поскольку можно судить отсюда, религиозное возрождение захватывает и деревню. В народных низах, в деревне, как и в городе, у Церкви есть соперник в лице баптизма и вообще рационалистического сектантства, сильно выросшего в России. Сектанты имели перед православным духовенством преимущество старых гонений и, следовательно, морального авторитета. Они умели соединять свой пламенныйевангелизм с социальным радикализмом, искренним в их среде, в отличие от скомпрометированных морально обновленцев. Они опередили Церковь в христианизации народных масс. Но постепенно и Церковь выходит на народную ниву.

Это медленный процесс, и мы присутствуем при самом его начале. Два течения: рационализация народного сознания и его христианизация – протекают одновременно и параллельно. Это значит, в глубинах происходит жестокая борьба миросозерцаний – самое важное из того, что совершается в России.

Борьбу эту нельзя рассматривать как продолжение борьбы старого с новым. Христианство – не старое, но вечное, а «новое», против чего оно

ведет борьбу, – уже слишком старо и обветшало. Нельзя думать, что успехи Церкви в России равнозначны с победами старой культуры. У Церкви нет оснований отрицать техническую или физическую направленность новой культуры. Молодежь, становясь религиозной, не перестает интересоваться спортом и машиной. Даже церковные организации молодежи, о которых доходят глухие слухи, должны считаться с этими настроениями умов. Церковь, порвавшая мнительно с кровной для нее традицией православного царства, не станет защищать интеллектуальных или эстетических идеалов XIX века – ей чуждых. Пока еще рано говорить о творчестве церковной культуры в России. Для этой работы в Церкви нет ни внешних, ни внутренних возможностей. Она живет первичным религиозным актом, по ту сторону всякой культуры, Но этот акт заключает в себе огромную динамическую энергию, источник всякого творчества. Из этого резервуара духовных сил будут питаться все живые направления русской культуры. Именно все – а не одно из них. Победа Церкви не обеспечивает торжества консервативных или прогрессивных начал в культуре. Она обеспечивает жизнь, то есть творческую глубину самой культуры. К этому можно прибавить лишь одно. Церковь не знает прерывов в своем росте, и каждый прошлый день сохраняется ею для вечности. Поэтому она воссоздает непрерывно единство прошлого и настоящего и в этом смысле является в России единственной носительницей духовного преемства – тем ковчегом, на котором спасается все живое (но только живое) в потопе революции.

Проблемы будущей России

<Первая статья>

1. Сегодняшний день

Не много месяцев прошло с тех пор, как писались последние главы, но кажется, что между ними и «сегодняшним днем» легли годы. Образы «современной» России уже отошли в историю. Многое мучительно перечитывать – не потому, что оно оказалось ложью, но потому, что перестало быть правдой. Едва начали проясняться дороги, ведущие в туманное будущее – и вот опять «занесло тебя снегом, Россия». Избави Бог публицисту пророчествовать, а тем более – о России.

В моей (ненапечатанной) схеме Россия стоит на распутье. «Революция загнивает», – писал я. «Или она найдет вождя, который смелой рукой ликвидирует коммунистическое иго, или Россия идет навстречу новым катастрофам». Мог ли я предвидеть, что страна будет поставлена перед катастрофой сознательной волей полубезумного вождя революции?

То, что происходит в России, едва поддается разумному объяснению. Но лишний раз, влекомые роком, мы убеждаемся, как узок светлый круг исторического сознания. Бессознательное, бредовое окружает его со всех сторон, и революция – один из люков, откуда темные воды Ахеронта затопляют солнечные нивы земли.

По-видимому, Сталин и Троцкий оказались единственными из стаи Ленина, которые не пожелали «гнить». Их не прельщало превращение в демократических министров или в национальных героев революционной России. Они одни предпочли бы смерть бесславию термидора. Троцкий, актер революции, воспитанный на подмостках 1893 года, живет ради своего монумента в социалистической Европе. Он хочет войти в историю как вождь второй погибшей коммуны. Сталин слишком ограничен, чтобы видеть неизбежность гибели. Секрет, разоблаченный Беседовским, объясняет все: Сталин единственный человек, который верит в мировую революцию. Мистика большевистской партии, традиции ленинского централизма, страх открыть кремлевским переворотом шлюзы народной стихии – заставляют разумных и железных людей из «старой гвардии» беспрекословно идти за маньяком, самым железным из всех. Политическая структура революции в этом отношении сходна со структурой самодержавия: они обе допускают возможность безумия власти и возлагают на народ ответственность за ее безумие.

Сейчас в России происходит не завершение Октябрьской революции, а новая революция, которая хочет ликвидировать последствия Октября.

1929–1930 год – попытка восстания против крестьянства, освобожденного в 1917 году. Сталинпонял в этом и только в этом – логика с ним), что крестьянство медленно разлагает, рассасывает, обессиливает партию; что это единственная сила национальной России, перед которой остановился коммунизм. Неважно, какими путями он пришел к этой бесспорной истине. Завещанная ему программа троцкистов, сопротивление со стороны деревни индустриальной пятилетке, растущие трудности выкачивания хлеба у крестьян – шаг за шагом привели его к новой грандиозной задаче. Задача эта совсем просто формулируется так: уничтожить около 100 миллионов русского крестьянства, заменив его или уцелевший от голодной смерти его остаток земельным пролетариатом государственных «хлебных фабрик». Никогда еще столь дерзкая мысль не воплощалась в волю государственного деятеля. Hie incipt dementia. Но, может быть, никогда еще ни один правитель не наследовал такой сверхчеловеческой власти. Как вождь революции, Сталин возглавляет дьявольскую энергию фантастического и фанатического меньшинства, овладевшего силами великого народа. Как правитель России, Сталин является преемником царей московских и императоров всероссийских с их капиталом восточной покорности 150 миллионов, не раз испытанным в былых революциях с высоты престола.

Новая революция Сталина есть классическая форма русской революции сверху, имеющая формальную аналогию с революцией Петра и материальную – с революцией Грозного. В отличие от первого Октября, ни массовое волнение, ни самая легкая зыбь не выносит наверх безумного порыва диктатора. Все совершается силою новой опричнины: нагнанных из города чиновников, красных преторианцев ГПУ да кое-каких подонков деревенской голытьбы. И становится страшно: удастся ли? То есть не «построить социализм», а разрушить все живые силы крестьянства, обратить его в рабство, без хозяйственной воли, без быта, без Церкви, без России. Сейчас решается судьба России – быть может, на столетия. Если народ не отстоит себя в этой последней борьбе, значит, он перестает быть субъектом истории. Он может стать германским, американским, магометанским – чистая глина, ожидающая горшечника. Жестокие сомнения закрадыв5ются в сердце. Что сильнее в душе народной: вековая инерция покорности, обездушенная с утратой вековой веры, или новое, свободное самосознание, выкованное революцией и ныне во имя революции разрушаемое?

Будем верить в Россию. Иначе стоит ли жить?

2. Предпосылки

Какой смысл имеет ставить проблемы завтрашнего дня, когда основная проблема сегодняшнего дня не решена? Но в том-то и дело, что сегодняшний день требует решения, превышающего средние человеческие силы. Мы в эмиграции не имеем и данных для этого решения. К сожалению, наша позиция по отношению к центральной проблеме – борьбы с большевизмом – остается, в существенном, выжидательной. Лишь в очень слабой мере мы можем пока помочь русскому народу в его горячечных судорогах. Сегодня – царство непредвиденного, стихийного, иррационального. Не нам отсюда организовать хаос.

Но завтрашний день поставит перед Россией ясные и четкие задачи, уже сейчас воочию зримые, для решения которых потребуются организованные усилия целой нации. Не нужно быть гением, чтобы работать по строительству новой России. Уже сейчас мы можем, мы должны воспитывать себя и молодое поколение для этого национального дела.

И еще одно: экскурсы в будущее, быть может, не бесполезны и для борьбы сегодняшнего дня. Живучесть большевиков, конечно, зависит от того, что Россия не видит людей, которые могут сменить их. Но еще и от того, что Россия не видит той ясной программы, во имя которой надо свергать большевиков. Туманность послебольшевистского «завтра» парализует энергию «сегодня». И если нам не дано знать, кто придет после большевиков, то мы можем гадать о том, что придет. Здесь гадать значит хотеть, хотеть значит строить, и это отнимает у гадания элемент произвольности и безответственности. Четко формулировать программу национального, дела, объединить на ней мыслящих патриотов – это значит нанести фантастической твердыне III Интернационала очень серьезный удар.

Разумеется, элемент гипотетичности остается в этих построениях. Он вносится прежде всего основной неясностью – в организации власти. Чисто политические моменты программы будут подвержены наибольшим колебаниям. Русская национальная программа допускает несколько политических вариантов. При всем желании дать большее, и мы можем здесь предложить лишь один из этих мыслимых вариантов. И мне хотелось бы с самого начала предотвратить естественные недоразумения, которые могут возникнуть по поводу предлагаемых здесь схем будущего. Что это – прогнозы или программы? Желаемая мной или только угадываемая Россия

будущего?

На это следует ответить: ни то ни другое. Можно было бы легко построить более говорящий сердцу пленительный образ России, поднять его, как хоругвь, чтобы умирать за него, зная, что прекрасное никогда не осуществится до конца в этом мире. Но я зову не умирать, а строить, для строителей нужен план, а не видение. Другими словами, я стараюсь делать поправку на материал, на средства, на силы каменщиков. И самая идея здания дана мне не в вечности, а в сегодняшнем дне истории. Это один из меняющихся в истории ликов России, который может быть осуществлен завтра. Он минимален, меряя его сверхвременным мерилом призвания России. И все же он максимален, как maximum, могущий воплотиться в наш исторический день. Вот почему это не прогноз, ибо в прогнозе неизбежно считаться с неудачами, с блужданиями. Мы достаточно искушены опытом, чтобы не поддаваться оптимизму. Русская история – трагическая вещь. Не было времени, когда бы она катилась по гладким дорогам, не сворачивая в ухабы и трясины. Будем ли иначе с завтрашнего дня? Основная, недоказуемая предпосылка этих построений – разумная и честная власть. Можем ли мы, пережившие стольких безумных или слепых правителей, рассчитывать непременно на удачу? Нельзя быть уверенным, но позволительно надеяться. Безумные или корыстные вожди могут сильно осложнить работу, заставить нас колесить, возвращаться назад, переделывать по нескольку раз исторические задания России, но им не изменить ее магистрали. Правда, они могут окончательно погубить Россию, каждый по-своему, но спасти ее из катастрофы большевизма дано для всех одинаково. Царь из дома Романовых, диктатор из отрезвевших большевиков или демократический вождь – должны будут вести страну по одному пути, если хотят слушать голос истории. Сбиться с него, колесить по оврагам, увязнуть в болоте – тысяча возможностей, огромный выбор для фантастов и доктринеров. Но национальная дорога одна.

Чтобы найти ее, нет надобности читать «по звездам», по которым ориентировались в сумерках самодержавия звездочеты русской интеллигенции. Ныне земля залита ярким солнцем, беспощадным солнцем правды, обнажающим все морщины и извилины почвы. Вернемся на землю, с сыновней любовью приникнем к ней, будем слушать голоса земли. Слушать землю и видеть землю, изучать ее. Почвоведение – самая современная наука в России.

Отныне русская идея – лишь перевод на ясный язык, смертных невнятных шепотов Геи, подымающихся из недр земли. Конец гигантомахии! Развенчивается легко-, думная Афина, рожденная из головы

Зевса. Мы возвращаемся к святилищу Деметры, милостивой, хлебообильной элевсинской царицы.

В переводе на язык прозы это значит: мы объявляем беспощадную борьбу доктринерам и максималистам, чьим бы именем они ни прикрывались. Всякий максималист есть убийца. Мы смотрим не на восторженные глаза, а на руки, залитые кровью. Сейчас развелось немало людей, соблазненных легким успехом большевизма, которые не прочь сменить в седле Сталина и хлестать измученную лошадь по глазам и шпорить до кишек окровавленные бока, пока она не издохнет. Эти люди преступники или сумасшедшие. Пора перестать сумасшедшим (распутинцам ленинцам) управлять Россией. Это первая предпосылка, на которой должны объединиться все.

Наше забвение прошлого, утрата русской традиции так велики, что найдется немало людей, которые именно безумие считают национальной традицией России, предоставляя презрительно разум в удел мещанскому Западу. Историческая память этих людей не восходит далее ста лет назад. Революция отбрасывала в прошлое свою тень вплоть до 30-х годов, и ее призрачными зарницами освещался сумрак столетия. Нам не нужно ни звезд, ни зарниц, ни даже зорь. Уже взошло солнце.

Русский народ всегда был трезвым, мудрым народом, в спокойном мужестве своем возлюбившим выше всего простоту. Но это значит, что он призван к классическому творчеству. Недаром он создал Пушкина. Классический век России только начинается.

Откуда придут рабочие завтрашнего дня, не важно. В национальной России найдется место для вчерашних монархистов, демократов, социалистов, но каждому придется принести покаяние. Внутреннее покаяние, беспощадный суд над собой, рассекающий надвое кровоточащую ткань миросозерцания. Не измена требуется, не смена вех одних на другие. Мы видим сейчас немало таких обращенных или оборотней, о которых нельзя не сказать: «И было последнее зло горше первого». Перед судом земли, перед голосом истории мы должны проверить весь наличный состав наших идей, наших идеалов, судом русской революции судить их. Важнее перемены идей перерождение духа, при котором идеи теряют не принадлежащее им царственное значение. В своих правах восстанавливаются опыт, совесть, разум и историческая интуиция.

Не много тех, которые достойны войти в Землю Обетованную – в поколении, вышедшем из Египта. Скольким из нас придется быть ворчливым зрителем при стройке новой России, путаться под ногами

рабочих, больно ушибаться – и, может быть, оставить обретенную родину для нового, уже вольного изгнания. Но годы изгнания, невыносимо долгие, даны нам для того, чтобы изгладить память о Египте, чтобы забыть – кому о чесноке, кому о котлах с мясом, чтобы стать новыми людьми, Израилем. Наши надежды и расчеты – на тех, кто остались, на то, что осталось в России, и на тех и на то, что родилось по великом исходе, созрело и окрепло в огне революции, в неслыханных страданиях утвердило свою правду. Какими же силами, социальными и духовными, располагает будущий архитектор?

Социальные силы – материал стройки:

1. Прежде всего, разумеется, крестьянство, вековечный работник, державший Московское царство и Петербургскую империю, ныне – главный враг коммунизма, о который должен разбиться его девятый вал.

2. Над ним, на его упорном, но пассивном хребте – новая демократия, созданная революцией, предприимчивая, властная, завоевавшая себе «командные высоты» в армии, в управлении, в школе.

3.Наконец, питающаяся из этих двух источников, пока еще слабая, без конца истребляемая, но воскресающая и в будущем все растущая, все более определяющая собой народную жизнь «буржуазия», торгово-промышленный класс.

Духовные силы – капитал строителя:

1. Мощное национальное чувство, которым сейчас живет вся Россия минус партия – даже не партия, а головка подпольщиков.

2. Хозяйственный голод, голод к разумному, расчетливому, то есть экономическому труду, разбуженный в деревне и широких слоях города, отрицательно обостряемый всяким нажимом государственного социализма.

3.Капитал знаний и технических навыков, все еще значительный, которым располагают недорезанные кадры старой интеллигенции.

4. Голод к знанию, охвативший массы, особенно юные поколения.

5. Возрождение религиозного чувства в духовной элите, принадлежащей ко всем классам общества.

Капитал немалый, с которым можно отважиться на грандиозное предприятие с верой в успех, с надеждой преодолеть препятствия. Препятствий тоже немало. Их можно усматривать как в целых общественных группах, так и в духовных болезнях революционной России.

1. Национальное возрождение России найдет своих врагов прежде всего в идейных элементах коммунистической партии и комсомола,

которые не могут быть истреблены и не все согласятся продать свою шпагу.

2. В некоторых слоях пролетариата, который будет жалеть не о материальных (несуществующих), но о моральных завоеваниях революции: о привилегиях красного дворянства.

3.В бандитизме, который будет рекрутироваться из голодных, из беспризорных, из партизан гражданской войны: белых крестьянских банд настоящего времени и красных банд эпохи контрреволюции.

4. В тех народах России, которые ставят или поставят своей целью отделение от нее.

Духовные сопротивления, быть может, еще более значительны:

1.Имморализм, воспитанный гражданской войной, рабством диктатуры и евангелием коммунизма. Имморализм гражданский и политический – малодушие, забитость и предательство в остатках старой России, хищничество, жестокость, разгул в новой демократии, расшатанность семьи и оголённость пола, особенно в среде молодежи, алкоголизм рабочих и т. д.

2. Безграничное невежество новых хозяев жизни.

3. Отравленность ядами атеистической и марксистской «культуры» всех новых слоев и поколений, прикасающихся к культуре вообще.

Препятствия велики, но не непреодолимы. Опираясь на творческие силы новой России с помощью Божией можно приниматься за работу.

3. Хозяйство

Не политические проблемы будут волновать освобожденную Россию. Политическая горячка революции и новое рабство, вышедшее из ее недр, надолго убили и в массах, и в интеллигенции вкус к чистой политике. Россия примет всякую власть, которая придет на смену большевиков, не справляясь о ее правовых титулах. Единственное, чего она ждет от правителей, – это выполнения очередного национального дела. Теперь более, чем когда-либо, содержание властвования доминирует над формой власти.

Перед всякой русской властью во всей остроте встанут две проблемы: хозяйственная и национальная. Под знаком их Россия будет жить десятилетия. И если вторая, несомненно, сразу же приобретает грозный характер, логически первая ей предшествует. Большевистская диктатура – прежде всего диктатура социальная, то есть экономическая. Вся невыносимая тяжесть русской жизни упирается в экономику ленинизма. Первое – может быть, единственное, о чем томится вся Россия, – это экономическое освобождение.

Как чистое отрицание, как разделка государственного социализма, как восстановление собственности, свободы труда и капитала, экономическая задача необычайно проста. Она решается в декларативном порядке. Сама жизнь, сама хозяйственная стихия, бурно освобожденная от оков, залечивая раны коммунизма, быстро повышая уровень благосостояния. Краткий опыт с нэпом в 1923 году блестяще показал это. Вот почему, сколько бы ошибок ни было совершено в первый период восстановления русского народного хозяйства, какие бы оргии хищений и растрат ни происходили, ничто не задержит экономического возрождения России. Однако лучше заранее предвидеть эти ошибки и избежать их, особенно если они могут иметь опасные – национальные и социальные – последствия.

В сельском хозяйстве есть программные предпосылки, разделяемые всеми. Это невозможность реставрации помещичьей собственности и необходимость прочного закрепления земли за крестьянством. Будущая власть обсудит исключения из первого принципа. Здесь встанут вопросы об усадьбах и усадебных землях, о мелких владениях, наконец, о совхозах, под маской которых паразитируют остатки былых экономий. Нет никаких экономических препятствий к частичному возвращению бывших владельцев в этих строго ограниченных случаях. Огромное и все

перевешивающее препятствие – в социальном самосознании крестьянства, которое боится даже тени помещика. Ни одна разумная власть теперь не рискнула бы подорвать свою популярность этой скромной мерой социального обеспечения бывшего владельческого класса. Однако время смягчает старые раны. Новые жгут больнее. Вопрос о том, заставит ли, и через сколько времени, новое рабство колхозов забыть о старом крепостничестве.

Серьезнее затруднение, поставленное самим колхозным движением. В районах, захваченных им, – а где гарантия, что им не будет захвачена вся Россия? – сметены все межи, поставлен крест над черным переделом 1917 года. Кому возвращать десоциализированные земли колхозов? Сколько хозяев уже расстреляно, сколько семейств вымрет с голода! Предстоит новый передел – на основе наличных хозяйственных сил и потребностей. Быть может, новый передел не везде пройдет гладко. Но думается, что государству лучше в него не вмешиваться. Лучше санкционировать торопливую, не всегда справедливую крестьянскую дележку, чем спускаться во львиный ров растревоженной, обозленной деревни. Урок 1917 года всем памятен.

Вопрос о формах крестьянского владения распадается на два вопроса: по отношению к государству и по отношению к старой общине. Реальное значение имеет последний. Об общине будет еще много споров в новой России. Но было бы опасно, если бы к решению этого старого вопроса мы подходили с нашей современной реакцией на коммунизм. И здесь лучшая политика – поменьше политики. Чем больше государство будет считаться с пестротой местных условий, с изменчивостью крестьянских настроений, тем лучше. Общинное и подворное хозяйство могут и должны сосуществовать друг с другом. Жизнь произведет свой отбор. Вероятно, опыт насильственного коммунизма необычайно поднимет идеал личного, собственнического хозяйства. Но было бы опасно – хотя бы в формах П. А. Столыпина – форсировать этот процесс. Столь же, разумеется, опасно ради химеры уравнительного обеспечения, искусственно покровительствовать деревенскому коллективизму.

Вопрос национализации земли есть, в сущности, вопрос о правом титуле государственного вмешательства. Если не на другой день после революции, то в будущем государственное вмешательство в земельные отношения сделается неизбежным. Быть может, придется ограничивать maximum землевладения, во всяком случае организовывать внутреннюю колонизацию, переселения. Во всех этих мероприятиях принцип верховной собственности государства в правовой психологии народа

облегчает регулирование земельных отношений. Но, конечно, современное мощное государство не нуждается в титуле собственности, чтобы обеспечить себе свободу аграрного законодательства. В конечном счете вопрос о сохранении национализации земли решится в зависимости от силы психологической, собственнической реакции на коммунизм. Свобода мобилизации земли должна быть обеспечена, во всяком случае, в любых юридических формах.

Все прошлое столетие русская интеллигенция, как и. крестьянство, были заняты проблемой распределения. Отныне на первый план выдвигается производство. Призрак помещичьего земельного фонда перестает отвлекать хозяйственное воображение от реальных источников народного богатства. Русская аграрная проблема становится проблемой агрономической. Большевики своими судорожными, часто карикатурными жестами намечают будущее русского хозяйства. Интенсификация земледелия, с одной стороны, с другой – на широких просторах степной полосы продвижение машин, грандиозные оросительные предприятия, государственная селекция, опыты новых культур – словом, полная рационализация сельского хозяйства. Приходится смиренно сознаться, что Микула Селянинович никогда не умел хозяйничать, и русское земледелие было непроизводительной растратой человеческой рабочей силы. Революция уничтожила психологические препятствия к рациональному хозяйству (традиционализм быта, этика равенства, социальная зависть) и освободила скованные хозяйственные силы народа.

Технический переворот в земледелии, вероятно, «освободит» также большое число занятых на земле рук. Аграрное перенаселение и сейчас становится весьма грозной проблемой России. Ее решение дается лишь в общей системе народного хозяйства, то есть в развитии его индустриального сектора.

Вопросы, связанные с индустрией, являются гораздо более сложными, сравнительно с аграрными. Национализация фабрик означает совсем не то, что национализация земли, что действительное государственное хозяйство, не имеющее в себе ничего утопического и связанное с весьма старыми традициями русского меркантилизма. Беда лишь в том, что главная масса этой государственной продукции бездоходна и питается паразитически за счет крестьянского и частного труда. Необходимость ее денационализации принадлежит к общепризнанным положениям даже в социалистическом лагере. Но, во-первых, нельзя утверждать, чтобы решительно все государственное хозяйство было бездоходно, или чтобы, бездоходное ныне под надзором ВСНХ, оно не могло давать дохода при

иной, более хозяйственной системе. Это голословное утверждение опровергается всем нашим прошлым. Если дорожить экономической мощью русского государства, его влиянием на общую хозяйственную жизнь страны, то нельзя, увлекаясь духом антикоммунистической реакции, разделывать все сделанное, разбазарить, раздарить или продать с торгов все государственное достояние России. Здесь национальный интерес ограничивает чисто экономическую логику. Тщательное изучение работы каждого предприятия, каждой отрасли должно определить их судьбу. Как общий принцип, государство отдает лишь то, с чем оно само не в силах справиться. Конечно, это будет львиная доля захваченного, но отсюда далеко еще до принципа общей денационализации. Именно как принцип ее не допустит русское народное сознание. Широкие массы в России, несомненно, рассматривают национализацию промышленности как положительное завоевание революции. Баланс государственного хозяйства им неизвестен, но государство понятнее, дороже капитала или частного предпринимательства.

Во-вторых, денационализация предприятий ни в коем случае не означает их реституции как акта восстановления справедливости. Не может быть и речи о возвращении «украденного». Государство не ворует, и конфискации революционного правительства в такой же мере легальны, как, скажем, захват удельных и боярских вотчин московским великим князем. Реституция одной категории собственности (промышленной) при невозможности реституциисобственности земельной, денежной или движимой ощущалась бы как новая несправедливость. Вся Россия потеряла так много, ее жертвы – прежде всего кровью – так несоизмеримы с материальными убытками, что предъявление счетов нации было бы актом национально позорным.

Но, конечно, денационализация не может вылиться в продажу с публичного торга. Промышленное или торговое предприятие есть личное, творческое дело. Сплошь и рядом оно не способно пережить своего творца. Во всяком случае, оно требует глубокого знания, личной связи, иногда жертвенной, организатора с созданным им делом. Столько путей сбыта, сколько кредитных возможностей держится исключительно на личном влиянии. Россия помнит и гордится родами многих талантливейших организаторов, без которых едва ли удастся восстановить разрушенное.

Беда лишь в том, что в большинстве случаев их представители лишены капиталов и своими силами не смогут поднять бездоходного дела. Прилив капиталов возможен лишь из-за границы. Государству предстоит

найти сложные пути, чтобы осуществить сотрудничество русской инициативы и организации с международным капиталом. Вне охранительной национальной политики, русская промышленность и торговля будут захвачены иностранцами. России грозит участь колониальной страны. Многие считают это неизбежным. Мы этого не думаем. Нерастраченная государственная мощь огромной страны может лечь внушительно на чашку весов, перевесив и бедность, и техническую отсталость. Тяга иностранного капитала в Россию велика; даже большевикам удается эксплуатировать неосторожных концессионеров. Национальная Россия может обеспечить западным капиталистам солидную прибыль и в то же время сохранить за собой руководство народным хозяйством. В формах ли смешанных русско-иностранных обществ под государственным контролем или иначе – это дело специалистов. Была бы лишь воля отстоять национальное достояние. Не с чисто хозяйственной, но с национальной точки зрения, либеральная экономическая политика была бы в России опасна. Даже переход от государственной Монополии внешней торговли требует постепенности. Государство должно сохранить в своих руках значительные возможности хозяйственного регулирования. Это «завоевание революции» переживет большевиков – отнюдь не по доктринерски-социалистическим мотивам. Оно обусловливаются современной слабостью, чтобы не сказать больше, русского промышленного класса. Его малосилие в прошлом объясняет протекционистскую политику империи. Его разгром в революции делает разумный протекционизм неизбежным.

Есть и другая сфера индустриальных отношений, в которой государственное вмешательство необходимо. Это область отношений между трудом и капиталом, весьма острых и чувствительных в послереволюционную эпоху. Несомненно, со стороны освобожденного капитала, как и крестьянства и всего общества в целом, будет оказываться огромное давление на рабочий класс: слишком естественно желание раздавить, унизить вчерашнего «диктатора». С другой стороны, диктатор этот не скоро позабудет хмель своего призрачного царствования. Не в материальных утратах дело; самая грубая капиталистическая эксплуатация, конечно, обеспечит рабочему высший уровень жизни, нежели коммунистическая. Особенно при благоприятной индустриальной конъюнктуре, которая открывается в эпоху хозяйственного восстановления. Но обостренное, избалованное классовое самосознание будет чрезвычайно чутко ко всякому моральному и политическому унижению. Вероятно, рабочий встретит без особого энтузиазма падение

коммунистической власти. Как ни тяжела сейчас его жизнь, он опасается худшего от контрреволюции. Вот почему государство должно облегчить ему трудность переходного времени. Отменив пролетарское дворянство, государство не должно допускать нового крепостничества на фабрике. Хорошо, если бы оказалось возможным сохранить большевистский Кодекс законов о труде. Освобожденная Россия должна показать своему мятежному сыну, что для нее нет пасынков. Как многое для русского будущего зависит от этих первых лет! Удастся ли направить рабочее движение, законную профессиональную и политическую акцию рабочего класса по национальному руслу, или русский рабочий через одно поколение снова вернется в лоно III (или IV) Интернационала? Английский или французский путь откроется для него, зависит в значительной мере от нашего поколения. Сейчас есть шанс, и шанс немалый: свежая память коммунистического рая. Современное поколение рабочих ни за что не пожелает вернуться в него. Ну а следующее? Историческая память так коротка. Скоро революция окрасится в легендарные, героические цвета великих воспоминаний. Тяжесть жизни, невыносимая атмосфера злобы, тоски и предательства уйдет в безвозвратное. Останется яркий лозунг, красный флаг, серп и молот. Палачам 1793 года Франция через столетие воздвигает памятники. Она начала героизировать их уже через 40 лет.

Нельзя забывать, что изолированное существование нации уже невозможно. Сейчас красная Москва оказывает огромное воздействие на сознание европейского пролетариата. В будущем это соотношение изменится в обратную сторону. Несомненно, что послевоенная Европа все более зависит в своей политической жизни от рабочих партий и их вождей. Социальный вопрос не то что поставлен, а уже практически решается. Быть может, будущий историк назовет наше время эпохой социализации. У России свои пути, на два столетия теснейшей общей жизни с Западом не могут окончиться полным духовным разрывом.

Будем ковать железо, пока горячо. Роль государства в воспитании рабочего класса весьма ограниченна. Главное выпадает на долю интеллигенции. Это мы должны приобщить красных варваров к русской национальной культуре, показать им, что они не безродные, что они вступают в наследство великих отцов. Что Россия – им, и они – России. Но, разумеется, эта проповедь будет действенна лишь в том случае, если одновременно удастся удовлетворить материальные потребности, обеспечить необходимый досуг для духовной работы. Если рабочий не будет чувствовать себя парией в новой России. Как ни важен в России

рабочий вопрос, нужно помнить, что есть вопрос еще более важный – не о рабочем, а о предпринимателе: о воссоздании и развитии класса предпринимателей, без которых немыслимо экономическое – думаю, и культурное – возрождение России. И здесь, как в сельском хозяйстве, проблема производства доминирует над распределением. Россия поставлена историей перед необходимостью предельного напряжения свих производительных сил. Наше время подобно петровскому. Большевизм бесконечно углубил экономический ров между Россией и Западом, образовавшийся в XIX веке. Засыпать эту пропасть необходимо во что бы то ни стало. Иначе Россия должна отказаться от великодержавства – уйти в Азию, примириться с положением колониальной страны.

Чуткость большевиков (впрочем, связанная с их доктриной) сказалась в обостренном внимании к проблемам техники и индустрии. Разрушители русской промышленности, они мечтают продолжать дело Витте, окарикатурив его до сталинской пятилетки. Возвращаясь к реальной политике, будем говорить лучше о «пятидесятилетке». В таких границах времени индустриализация России перестает быть химерой. Разумеется, мы не помышляем о превращении русского мужика в фабричного рабочего, России – в Англию. Естественные условия и богатство страны, все нашепрошлое- предопределяют аграрный тип России. Но Россия может и должна перерабатывать свое сырье. Россия может добиться экономической независимости от Запада. Россия должна обеспечить снабжение своей армии на случаевойны. По природе, по географическому размаху России, она призвана стать независимым хозяйственным миром. Экономическая автаркия, которая является вредной утопией для мелких государств, для России вполне достижима. Америка – хозяйственный организм, наиболее близкий России, несмотря на полярную разницу хозяйственной психологии.

Но хозяйственная психология не есть раз навсегда данная величина. В каких-то трудно определимых границах национального типа она допускает широкую амплитуду колебаний. Германия начала XX века кажется по сравнению с началом XIX совершенно иной страной.

Экономическое несчастье России в том, что она не знала развитого, организованного городского ремесла, сколькто-нибудь влиятельного в народной жизни. Национальное русское ремесло – кустарное, подсобное при крестьянском хозяйстве. В новом русском городе XVIII-XIX века, как в Польше, немец и еврей – наиболее заметные представители ремесленного труда. Вот почему молодой русский капитализм не может

воспользоваться вековыми навыками технической школы, профессиональной этики, корпоративного самосознания. Эксплуататорский и спекулятивный характер – болезнь его молодости. Однако не следует впадать в панику по этому поводу. Русский капитал имеет глубокие если не ремесленные, то торговые корни. На торговле строилась жизнь вечевых республик – новгородские земли половина Руси. Великорусский тип, в наибольшей чистоте сохранившийся в верхнем и среднем Поволжье (ярославец, костромич), – тип не столько пахаря, сколько бойкого промышленника и торговца. Не чуждый, а почвенный, глубоко национальный характер носит поэтому промышленный подъем Поволжья, московского района, Сибири последних десятилетий. И большевистская деревня все время выделяет из себя торговую и предпринимательскую аристократию.

Дворянское презрение к торговле, интеллигентское гнушание ею, несомненно, являлись сильным психологическим тормозом, отвлекавшим от производительного труда самых даровитых сынов крестьянства. Этот тормоз снят. Более того, марксизм в России развил особый пафос техники, свойственный крупнокапиталистическому миру. Ленинизм практически воспитывает в России работников капиталистического накопления. Огромный интерес к хозяйственным и техническим проблемам, которыми живет сейчас русская молодежь, – драгоценный залог хозяйственного возрождения России. Из соединения технического романтизма новой интеллигенции со стихийной экономической энергией деревни рождается ток высокого напряжения, та атмосфера, в которой сложится тип нового национального предпринимателя.

Рождение нового класса, а главное, его моральное и духовное воспитание требуют определенных творческих усилий национальной мысли. Нельзя предоставить стихии выработку нового господина русской жизни, успокоившись на том, что процесс «первоначального накопления» всегда жестокое и грязное дело. Если русскому капитализму не хватало до сих пор моральной дисциплины, то одной из причин этого являлось отсутствие морального «зерцала», кодекса чести, выработанного, например, западным средневековым купцом. Русская интеллигенция отказывалась понять разницу между торговлей и спекуляцией, между эксплуатацией и предпринимательством. Что удивительного, если сами представители торговли и промышленности легко теряли сознание этой разницы? За дворянские столетия империи при упадке сословного сознания купечества и народ отвык видеть в нем передовую силу земли, какой оно выступало некогда на земских соборах. И народ приучился

видеть в хозяйственном организаторе кулака, толстосума, мироеда. Отсюда популярность объявленного большевиками похода на «буржуя». Отсюда трудность усвоения буржуазной экономической азбуки даже в жестокой школе коммунизма. Народ, в общем, готов признать элементарный, мелкий капитал, еще не оторвавшийся от трудовой основы, но понимание функций крупного капитала ему еще не доступно. Здесь необходима большая работа экономического просвещения. И не только экономического. Пора наконец исправить историческую несправедливость и подвергнуть переоценке моральное значение хозяйства. Замечательно, что почвенная русская литература любила останавливаться на купеческом быте – именно как быте народном: Лесков, Мельников, Мамин-Сибиряк. И большая, дворянская литература, томясь по положительном герое, искала его в надуманных Штольцах и Соломиных. Литературная надуманность их ничуть не говорит против национальности этого духовного склада. Конечно, новая Россия возродит его не в патриархальном кафтане XVII века, а в костюме американского покроя. Духовный тип, сложившийся на кальвинистических дрожжах, пересадить на православную почву – довольно сложная задача. Но она разрешима в порядке не стилизации, а творческого усилия. Можно прибавить, что на русской почве этизациякапиталистического предпринимательства естественнее и легче, чем на почве католической, романской Европы.

Возражают: «С вашей реставрацией капитализма вы опоздали. На Западе он уже духовно обескровлен. Запад живет уже под знаком социализма». Согласимся для Запада. Но разве это не общий печальный закон новейшей русской жизни, что ей приходится дважды проходить основные фазы европейской истории: первый раз отраженно, синхронистически, второй – внутренне и органически – столетием позже? Революция затянулась в России от Радищева до Ленина. Романтизм, едва отразившийся на Жуковском, полнее всего звучит в А. Белом и Блоке. Даже национальное возрождение, слишком слабо намеченное после 1812 года (считая и Погодина, и славянофилов), по-настоящему расцветает лишь в XX веке. Если нашему поколению выпало дело Дантонов и братьев Гримм одновременно, то почему бы не дать и нового издания Адама Смита?

Разумеется, с поправками на социализм и вековой опыт Европы. Разумеется, не в столь победном и антихристианском стиле, как в классической Англии времен Диккенса. Будем стараться найти здесь свое русское слово. Ведь и национальная идея утратила на Западе большую долю своего творческого смысла. Парламентаризм порядком поизносился.

Русское творчество – в том, чтобы брать не последнее слово уже дряхлеющей идеи, а ее глубокое историческое содержание: найти для нее формы, соответствующее духу времени и духу нации.

4. Национальная проблема

Узел хозяйственных вопросов развязывается в России самою жизнью. Он будет разрешен даже при самом пассивном отношении общества и власти. Плохо разрешен, но разрешен. Ибо главное условие его решения – свобода. Не то с проблемой национальностей.

При насильственном свержении большевистской диктатуры Россию, несомненно, ждет взрыв национальных восстаний. Ряд народностей потребуют отделения от России, и свой счет коммунистам превратят в счет русскому народу. Первая же русская национальная власть должна будет начать с собирания России. При медленном изживании диктатуры рост или оформление сепаратистских стремлений будет сопровождать каждый поворот развинчивающегося пресса. Слитком много накопилось под этим прессом задушенных национальных сил. Освобождение их является угрозой самому бытию России.

Русские патриоты имеют основание с тревогой смотреть на будущее. Быть может, революция еще не дала нам испить до дна чаши национального унижения. На этот раз вопрос ставится о том, будет ли существовать Россия как Империя, как государственный союз народов или она вернется к исходному племенному единству в старомосковских границах Великороссии.

Многие не видят опасности, не верят в нее. Я могу указать симптомы. Самый тревожный – мистически значительный – забвение имени России. Все знают, что прикрывающие ее четыре буквы «СССР» не содержат и намека на ее имя, что эта государственная формация мыслима в любой части света: в Восточной Азии, в Южной Америке. В Зарубежье, которое призвано хранить память о России, возникают течения, группы, которые стирают ее имя: не Россия, а «Союз народов Восточной Европы»; не Россия, а «Евразия». Одни – интернационалисты, которым ничего не говорят русские национальные традиции; другие – вчерашние патриоты, которые отрекаются от самого существенного завета этой традиции – от противостояния исламу, от противления Чингисхану, – чтобы создать совершенно новую, вымышленную страну своих грез. О чем говорят эти факты? О том, что Россия становится географическим и этнографическим пространством, бессодержательным, как бы пустым, которое может быть заполнено любой государственной формой. В обоих случаях Россия мыслится национальной пустыней, многообещающей областью для основания государственных утопий.

Можно отмахнуться от этих симптомов, усматривая в них лишь новые болезни интеллигентской мысли, – к тому же не проникшие в Россию. Но никто не станет отрицать угрожающего значения сепаратизмов, раздирающих тело России. За одиннадцать лет революции зародились, развились, окрепли десятки национальных сознаний в ее расслабевшем теле. Иные из них приобрели уже грозную силу. Каждый маленький народец, вчера полудикий, выделяет слой полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя своих русских учителей. Под покровом интернационального коммунизма, в рядах самой коммунистической партии складываются кадры националистов, стремящихся разнести в куски историческое тело России. Казанским татарам, конечно, уйти некуда. Они могут лишь мечтать о Казани как столице Евразии (хотя и здесь уже появились адепты пантуранизма). Но Украина, Грузия (в лице их интеллигенции) рвутся к независимости. Азербайджан и Казахстан тяготеют к азиатским центрам ислама.

С Дальнего Востока наступает Япония, вскоре начнет наступать Китай. И тут мы с изумлением узнаем, что сибиряки, чистокровные великороссы-сибиряки, тоже имеют зуб против России, тоже мечтают о Сибирской Республике – легкой добыче Японии. Революция, укрепив национальное самосознание всех народов, объявила контрреволюционными лишь национальные чувства господствовавшей вчера народности. Многие с удивлением узнают сейчас, что великороссов в СССР числится всего 54%. И это слабое большинство сейчас же становится меньшинством, когда мы мысленно прилагаем к России оторвавшиеся от нее западные области. Мы как-то проморгали тот факт, что величайшая Империя Европы и Азии строилась национальным меньшинством, которое свою культуру и свою государственную волю налагало на целый разноплеменный материк. Мы говорим со справедливою гордостью, что эта гегемония России почти для всех (впрочем, не западных) ее народов была счастливой судьбой, что она дала им возможность приобщиться к всечеловеческой культуре, какой являлась культура русская. Но подрастающие дети, усыновленные нами, не хотят знать вскормившей из школы и тянутся кто куда – к Западу и к Востоку, к Польше, Турции или к интернациональному геометрическому месту – то есть к духовному небытию.

Поразительно: среди стольких шумных, крикливых голосов один великоросс не подает признаков жизни. Он жалуется на все: на голод, бесправие, тьму, только одного не ведает, к одному глух – к опасности, угрожающей его национальному бытию.

Вдумываясь в причину этого странного омертвения, мы начинаем отдавать себе отчет в том, насколько глубок корень болезни. В ней одинаково повинны три главнейшие силы, составлявшие русское общество в эпоху Империи: так называемый народ, так называемая интеллигенция и власть. Для интеллигенции русской, то есть для господствовавшего западнического крыла, национальная идея была отвратительна своей исторической связью с самодержавной властью. Все национальное отзывалось реакцией, вызывало ассоциации насилия или официальной лжи. Для целых поколений «патриот» было бранное слово. Вопросы общественной справедливости заглушали смысл национальной жизни. Национальная мысль стала монополией правых партий, поддерживаемых правительством. Но что сделали с ней наследники славянофилов? Русская национальная идея, вдохновлявшая некогда Аксаковых, Киреевских,Достоевского, в последние десятилетия необычайно огрубела. Эпигоны славянофильства совершенно забыли о положительном, творческом ее содержании. Они были загипнотизированы голой силой, за которой упустили нравственную идею. Национализм русский выражался главным образом в бесцельной травле малых народностей, в ущемлении их законных духовных потребностей, создавая России все новых и новых врагов. И наконец народ – народ, который столько веков с героическим терпением держал на своей спине тяжесть Империи, вдруг отказался защищать ее. Если нужно назвать один факт – один, но основной, из многих слагаемых русской революции, – то вот он: на третий год мировой войны русский народ потерял силы и терпение и отказался защищать Россию. Не только потерял понимание цели войны (едва ли он понимал их и раньше), но потерял сознание нужности России. Ему уже ничего не жаль: ни Белоруссии, ни Украины, ни Кавказа. Пусть берут, делят кто хочет. «Мы рязанские». Таков итог векового выветривания национального сознания. Несомненно, что в Московской Руси народ национальным сознанием обладал. Об этом свидетельствуют хотя бы его исторические песни. Он ясно ощущает и тело русской земли, и ее врагов. Ее исторические судьбы, слившиеся для него с религиозным призванием, были ясны и понятны. В петровской Империи народ уже не понимает ничего. Самые географические пределы ее стали недоступны его воображению. А международная политика, ее сложность, чуждость ее задач прекрасно выразились в одной солдатской песне XVIII века:

Пишет, пишет король прусский
Государыне французской
Мекленбургское письмо...

Крепостное рабство, воздвигшее стену между народом и государством, заменившее для народа национальный долг частным хозяйственным игом, завершило разложение политического сознания. Уже крестьянские бунты в Отечественную войну 1812 года были грозным предвестником. Религиозная идея православного царя могла подвигнуть народ на величайшие жертвы, на чудеса пассивного героизма. Но государственный смысл этих жертв был ему недоступен. Падение царской идеи повлекло за собой падение идеи русской. Русский народ распался, распылился на зернышки деревенских мирков, из которых чужая сила, властная и жестокая, могла строить любое государство, в своем стиле и вкусе.

К этим разлагающим силам присоединилось медленное действие одного исторического явления, протекавшего помимо сознания и воли людей и почти ускользнувшего от нашего внимания. Я имею в виду отлив сил, материальных и духовных, от великорусского центра на окраины Империи. За XIX век росли и богатели, наполнялись пришлым населением Новороссия, Кавказ, Сибирь. И вместе с тем крестьянство центральных губерний разорялось, вырождалось духовно и заставляло экономистов говорить об «оскудении центра». Великороссия хирела, отдавая свою кровь окраинам, которые воображают теперь, что она их эксплуатировала. Самое тревожное заключалось в том, что параллельно с хозяйственным процессом шел отлив и духовных сил от старых центров русской жизни. Легче всего следить за этим явлением по литературе. Если составить литературную карту России, отмечая на ней родины писателей или места действия их произведений (романов), то мы поразимся, как слабо будет представлен на этой карте Русский Север, все Замосковье – тот край, что создал великорусское государство, что хранит в себе живую память «Святой Руси».

Русская классическая литература XIX века – литература черноземного края, лишь с XVI-XVII веков отвоеванного у степных кочевников. Тамбовские, пензенские, орловские поля для нас стали самыми русскими в России. Но как бедны эти места историческими воспоминаниями! Это деревянная, соломенная Русь, в ней ежегодные пожары сметают скудную память о прошлом. Здесь всего скорее исчезают старые обычаи, песни, костюмы. Здесь нет этнографического сопротивления разлагающим модам городской цивилизации. С начала XX века литература русская бросает и черноземный край, оскудевший вместе с упадком дворянского землевладения. Выдвигается новороссийская окраина, Крым, Кавказ, Нижнее Поволжье. Одесса создает целую литературную школу.

До сих пор мы говорили об опасностях. Что можно противопоставить им, кроме нашей веры в Россию? Есть объективные факты, точки опоры для нашей национальной работы – правда, не более чем точки опоры, ибо без работы, скажу больше – без подвига, – России нам не спасти.

Вот эти всем известные факты. Россия не Австрия и не старая Турция, где малая численно нация командовала над чужеродным большинством. И если Россия с культурным ростом малых народностей не может быть национальным монолитом, подобным Франции или Германии, то у великороссов есть все же гораздо более мощный этнический базис, чем у австрийских немцев. Во-вторых, эта народность не только не уступает культурно другим, подвластным (случай Турции), но является носительницей единственной великой культурные на территории государства. Остальные культуры, переживающие сейчас эру шовинистического угара – говоря совершенно объективно – являются явлениями провинциального порядка, в большинстве случаев и вызванными к жизни оплодотворяющим воздействием культуры русской. В-третьих, национальная политика старой России, тяжкая для западных, культурных (ныне оторвавшихся) ее окраин, – для Польши, для Финляндии, была, в общем, справедлива, благодетельна на Востоке. Восток легко примирился с властью Белого царя, который не ломал насильственно его старины, не оскорблял его веры и давал ему место в просторном русском доме. (Из оставшихся в России народов прямая ненависть к великороссам встречается только у наших кровных братьев – малороссов, или украинцев, – и это самый болезненный вопрос новой России.) В-четвертых, большинство народов, населяющих Россию, как островки в русском море, не могут существовать отдельно от нее; другие, отделившись, неминуемо погибнут, поглощенные соседями. Там, где, как на Кавказе, .живут десятки племен, раздираемых взаимной враждой, только справедливая рука суперарбитра может предотвратить кровавый взрыв, в котором неминуемо погибнут все ростки новой национальной жизни. Что касается Украины, то для нее роковым является соседство Польши, с которой ее связывают вековые исторические цепи. Украине объективно придется выбрать между Польшей и Россией, и отчасти от нас зависит, чтобы выбор был сделан не против старой общей родины. И, наконец, в-пятых, за нас действуют еще старые экономические связи, создающие из бывшей Империи, из нынешней СССР, единый хозяйственный организм. Разрыв его, конечно, возможен (пример: та же Австрия), но мучителен для всех участников хозяйственного общения. Силы экономической инерции действуют в пользу России.

Сумеем ли мы воспользоваться этими благоприятными шансами, это зависит уже от нас, то есть прежде всего от новых поколений, которые вступают в жизнь там, в Советской России, и в меньшей степени здесь, в изгнании.

Удачное решение русской проблемы предполагает два ряда условий: политических и моральных.

Создание гибких и твердых юридических форм, которые выразили бы одновременно единство и многоплеменность России, является трудной, но вполне разрешимой задачей. Одну из объективных трудностей ее составляет чрезвычайное различие культурных уровней народов России, которое не допускает равенства их политических состояний. В этом факте должны найти свое ограничение все доктринерские попытки построения России как законченной и симметричной федерации (конфедерации). В державе Российской мыслимы все оттенки взаимоотношений, начиная от областного самоуправления, национальной автономии, кончая чисто федеративной связью. Не в конституциях Европы – скорее в системе Римской Империи, в эпоху ее многовекового создания может найти свои аналогии современная Россия. Одно несомненно. Двух или трехвековая эра бюрократического централизма миновала. Если мы хотим сохранить Империю, то должны перестать смотреть на нее как на Русь. Россия, Русь, Великороссия – не совпадающие, а концентрические величины, каждая из которых должна получить свои идейные (и территориальные) границы.

Структура СССР является черновым наброском будущей карты России. Уже нельзя отказаться то ее основного принципа: национального построения России. Но за пределами этнографической картины, в самой системе большевистского децентрализма, как и большевистского централизма, все остается спорным. Эта система дразнит малые народы несбыточно декларативной независимостью, на деле осуществляя диктатуру Москвы. Возможно ли дальнейшее функционирование этой системы при устранении нелегальной диктатуры партии – это большой вопрос. С другой стороны, большевики, ревнивые к военным и финансовым основам своей власти, совершенно не заинтересованы в защите русской культуры. Они предают ее на каждом шагу, вознаграждая приманкой русофобства ограбленные и терроризированные окраины. Национальная Россия не может допустить подавления русской культуры в своих рубежах (государственный язык, школа), но она, может быть, сумеет шире провести пределы экономического самоуправления. В одном, но самом важном пункте система СССР не пригодна для России. В ней нет места Руси как единству трех основных племен русского народа.

Великороссия просто приравнена к Руси ценою отрыва от последней (в самостоятельные нации) Украины и Белоруссии. И в этом заложены корни тяжких конфликтов.

Действительно, проблема Украины является самой трудной в ряду национальных проблем будущей России. Не разрешить ее – значит погибнуть, то есть перестать быть Россией. Мы присутствуем при бурном и чрезвычайно опасном для нас процессе: зарождении нового украинского сознания, в сущности, новой нации. Она еще не родилась окончательно, и ее судьбы еще не определены. Убить ее невозможно, но можно работать над тем, чтобы ее самосознание утверждало себя как особую форму русского самосознания. Южнорусское (малорусское) племя было первым создателем русского государства, заложило основы нашей национальной культуры и само себя всегда именовало русским (до конца XIX века). Настаивая на этом, мы, русские, правильнее выражаем историческую идею украи-нофильства, чем современные самостийники, предающие свой народ и его традицию его историческим врагам. Ближе мы, несомненно, и к национальному сознанию народных масс Украины, чем полонофильские или германофильские круги ее интеллигенции. И, однако, мы в качестве великороссов грешим невежеством и невниманием к южнорусской традиции, за Москвой теряем истинное ощущение Руси, а в настоящем просто недооцениваем грозного факта украинского отталкивания от нас.

В этом мощном антимосковском историческом потоке мы обязаны различать два течения: вмещающееся и не вмещающееся в границы Руси. С последним борьба до конца. Первое подлежит национальной рецепции. В державе Российской малоросс не может быть обижен или унижен в своем национальном сознании перед татарином или грузином. Напротив, его национальное самоутверждение с его символами и с исторической памятью (Мазепа!) должно быть воспринято державным сознанием той нации (русской), которой принадлежит волею судьбы, культурная гегемония в Империи.

В отличие от грозной остроты украинского вопроса, вопрос еврейский, по нашему разумению, не имеет рокового значения для России. С отделением Польши, процент еврейского населения в России чрезвычайно понизился и не превышает национального еврейского коэффициента стран Западной Европы. Современная острота еврейского вопроса в России заключается в неестественном удушении русской буржуазии и русской интеллигенции. Поэтому еврейский вопрос (для России) разрешается в общем русском хозяйственном и культурном возрождении. Разумеется, еврейский вопрос для евреев сохраняет всю

мучительность. Это вечный вопрос о смысле и возможности еврейского национального сознания и еврейской культуры в пределах христианского мира. Вопрос, имеющий огромную историческую и религиозную глубину, но выходящий совершенно из границ послереволюционного устройства России.

Не будем останавливаться здесь на конкретных юридических формах национального строительства России. Эта тема чрезвычайно трудная и ответственная. Лишь опыт жизни, связанный с тяжкими ошибками и суровым раскаянием, может воплотить в действительность чаемое свободное единство России. Здесь я коснусь лишь духовной стороны нашей работы – той, которая по преимуществу выпадает на долю интеллигенции. Говоря кратко: эта задача в том, чтобы будить в себе, растить и осмыслять, прояснять национальное сознание.

Наша эпоха уже не знает бессознательно-органической стихии народа. Эти источники культуры почти иссякли, эта «земля» перепахана и выпахана. И русский народ вступил в полосу рационализма, верит в книжку, в печатное слово, формирует (или уродует) свой облик с детских лет в школе в обстановке искусственной культуры. Оттого так безмерно вырастает влияние интеллигенции (даже низшей по качеству, даже журналистики); оттого-то удаются и воплощаются в историческую жизнь новые, «умышленные», созданные интеллигенцией народы. Интеллигенция творит эти народы, так сказать, «по памяти»: собирая, оживляя давно умершие исторические воспоминания, воскрешая этнографический быт. Если школа и газета, с одной стороны, оказываются проводниками нивелирующей, разлагающей, космополитической культуры, то они же могут служить и уже служат орудием культуры творческой, национальной. Мы должны лишь выйти из своей беспечности и взять пример с кипучей и страстной работы малых народов, работы их интеллигенции, из ничего, или почти из ничего, кующей национальные традиции. Наша традиция богата и славна, но она запылилась, потускнела в сознании последних поколений. Для одних затмилась обаянием Запада, для других – официальным и ложным образом России, для которого в искусстве- и не только в искусстве – типичен псевдорусский стиль Александра III. Мы должны изучать Россию, любовно вглядываться в ее черты, вырывать ее в земле закопанные клады.

Наше национальное сознание должно быть сложным в соответствии со сложной проблематикой новой России (примитив губителен!). Это сознание должно быть одновременно великорусским, русским и российским.

Я говорю здесь, обращаясь преимущественно к великороссам. Для малороссов, или украинцев, не потерявших сознание своей русскости, эта формула получит следующий вид: малорусское, русское, российское.

После всего сказанного выше ясна повелительная необходимость оживления, воскрешения Великороссии. Всякий взгляд в прошлое России, всякое паломничество в историю приводит нас в Великороссию, на ее Север, где и поныне белеют стены великих монастырей, хранящих дивной красоты росписи, богословское «умозрение в красках», где в лесной глуши сохраняются и старинная утварь, и старинные поверья, и даже былинная поэзия. Старинные города (Углич, Вологда), древние монастыри (Кириллов, Ферапонтов) должны стать национальными музеями, центрами научно-художественных экскурсий для всей России. Работа изучения святой древности, ведущаяся и в большевистской России, должна продолжаться с неослабевающей ревностью, вовлекая, захватывая своим энтузиазмом все народы России. Пусть Русский Север станет «страной святых чудес», священной землей, подобно Древней Греции или средневековой Италии, зовущей пилигримов со всех концов мира. Для русских и христиан эта земля чудес вдвойне священна: почти каждая волость ее хранит память о подвижнике, спасавшемся в лесном безмолвии, о воине Сергиевскойрати, молитвами державшей и спасавшей страдальческую Русь.

Но Русский Север не только музей, не только священное кладбище. По счастью, жизнь не покинула его. Его население – немногочисленное – крепко, трудолюбиво и зажиточно. Перед ним большие экономические возможности.Белое море и его промыслы обещают возрождение целому краю при научном использовании его богатств.

Московский промышленный район (здесь: Ярославль, Кострома) устоял в испытании революции. На этой земле «Святая Русь», седая старина бок о бок соседит с современными мануфактурами, рабочие поселки – с обителями учеников преподобного Сергия, своим соседством вызывая часто ощущение болезненного противоречия, но вместе с тем конкретно ставя перед нами насущную задачу нашего будущего: одухотворение технической природы современности.

От великорусского – к русскому. Это прежде всего проблема Украины. Ее судьба во многом зависит от того, будем ли мы (то есть великороссы) сознавать ее близость или отталкиваться от нее как от чего-то чужого. В последнем случае мы неизбежно ее потеряем. Мы должны признать и непрестанно ощущать своими не только киевские летописи и мозаики киевских церквей, но и украинское барокко, столь прививщееся в

Москве, и киевскую Академию, воспитавшую русскую Церковь, и Шевченко за то, что у него есть общего с Гоголем, и украинскую песню, младшую сестру песни великорусской. Эта задача – привить малорусские традиции в общерусскую культуру – прежде всего выпадает на долю южнорусских уроженцев, сохранивших верность России и любовь к Украине. Отдавая свои творческие силы Великороссии, мы должны уделить и Малой (древней матери нашей) России частицу сердца и понимания ее особого культурно-исторического пути. В борьбе с политическим самостийничеством, в обороне русской идеи и русского дела на Украине нельзя смешивать русское дело с великорусским и глушить ростки тоже русской (то есть малорусской) культуры. Та же самая русская идея на севере требует от нас некоторого сужения, краеведческого, областнического углубления, на юге – расширения, выхода за границу привычных нам великорусских форм. В охране единства Великой и Малой России одной из самых прочных связей между ними была и остается вера. Пусть разъединяет язык, разъединяет память и имя Москвы – соединяют киевские святыни и монастыри Северной Руси. До тех пор, пока не сделан непоправимый шаг и народ малорусский не ввергнут в унию или другую форму католизирующего христианства, мы не утратим нашего братства. Разрываемые националистическими (и в то же время вульгарно-западническими) потоками идей, мы должны соединяться в религиозном возрождении. И сейчас подлинно живые религиозные силы Украины от русской Церкви себя не отделяют.

От русского – к российскому. Россия – не Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси. И народы эти уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом нестройных голосов. Для многих из нас это все еще непривычно, мы с этим не можем примириться. Если не примиримся – то есть с многоголосностью, а не с нестройностью, – то и останемся в одной Великороссии, то есть России существовать не будет. Мы должны показать миру (после крушения стольких империй), что задача Империи, то есть сверхнационального государства, – разрешима. Более того – когда мир, устав от кровавого хаоса мелкоплеменной чересполосицы, встоскует о единстве как предпосылке великой культуры, Россия должна дать образец, форму мирного сотрудничества народов, не под гнетом, а под водительством великой нации. Задача политиков – найти гибкие, но твердые формы этой связи, обеспечивающие каждой народности свободу развития в меру сил и зрелости. Задача культурных работников, каждого русского в том, чтобы расширить свое русское сознание (без ущерба для его «русскости») в сознании российское. Это

значит воскресить в нем в какой-то мере духовный облик всех народов России. То, что в них ценно, что вечно, что может найти место в системе вселенской культуры. Всякое дело, творимое малым народом, как бы скромно оно ни было, всякое малое слово должны вложиться в русскую славу, в дело России. В наш век национальные самолюбия значат порою больше национальных интересов. Пусть каждый маленький народ, то есть его интеллигенция, не только не чувствует унижения от соприкосновения с национальным сознанием русского (великоросса), но и находит у него помощь и содействие своему национально-культурному делу. Было бы вреднейшей ошибкой презрительно отмахнуться от этих шовинистических интеллигенций и через головы их разговаривать с народом. Многие думают у нас сыграть на экономических интересах масс против «искусственных» национальных претензий интеллигенции. Рано или поздно народ весь будет интеллигенцией, и презрение к его духовным потребностям отомстит за себя. В титуле московских царей и императоров всероссийских развертывался длинный свиток народов, подвластных их державе. Многоплеменность, многозвучность России не умаляла, но повышала ее славу. Национальное сознание новых народов Европы в этом отношении не разделяет гордости монархов, но Россия не может равняться с Францией или Германией; у нее особое призвание, Россия – не нация, но целый мир. Не разрешив своего призвания, сверхнационального, материкового, она погибнет – как Россия.

Духовным притяжением для народов была и останется русская культура. Через нее они приобщаются к мировой цивилизации. Так это было в петербургский период Империи, так это должно остаться. Если юношество малых народов России будет учиться не в Москве, не в Петербурге, а в Париже и в Берлине, оно не останется с нами. На русскую интеллигенцию ложится тяжкая ответственность: не сдать своих культурных высот, идти неустанно, без отдыха все к новым и новым достижениям. Уже не только для себя, для удовлетворения культурной жажды или профессиональных интересов, но и для национального дела России. Здесь не важна сама по себе культурная отрасль, профессия – России нужны ученые и техники, учителя и воины. Для всех один закон: квалификация, ее непрерывный рост в труде и подвижничестве. Если великороссы составляют 54% России, то русская интеллигенция должна выполнять не 54%, а гораздо более общероссийской культурной работы, чтобы сохранить за собой бесспорное водительство.

Так национальная проблема России упирается в проблему культурную, но это не отнимает у нее ее специфического своеобразия.

Ключ к ее решению заложен в дальнейшем развитии русского национального сознания. Сумеет ли оно расшириться в сознание российское и углубиться в великорусское, оставшись русским? Две опасности угрожают бытию России. С одной стороны, шовинизм и политическая темнота господствующего народа. Чтобы Россию не разнесли на части центробежные силы, она должна иметь живой, мощный, культурно царствующий центр – великорусское сердце своего тела – и волею русского народа во что бы то ни стало отстоять свое и имперское единство. Но великоросс, утративший сознание своих сил и возможностей, объявивший войну чужеплеменной половине России, рискует погибнуть под ее развалинами. Трудно сказать, что губительнее: национальная mania grandiosa или национальныйMinderwertigkeitscomplex. Против обеих болезней одно лекарство: разумная культура русского национального сознания.

<Вторая статья>

Политическая проблема

1. Диктатура

Вся проблематичность конструкции власти в будущей России вытекает из неясности ликвидационных процессов революции. Та сила, которая сыграет наиболее активную роль в свержении коммунистической диктатуры, несомненно, сохранит надолго руководящее значение в судьбах страны. Выйдут ли ликвидаторы из недр самой партии, проведя «спуск на тормозах» и сохранив символику Октября? Закончится ли дело всероссийским погромом большевиков и попутчиков? Вмешаются ли международные силы, а через их голову – в случае войны – белая эмиграция? Все эти различные решения кризиса до известной степени предопределяют различные системы пореволюционной власти, впрочем, не единообразно и не длительно. Партийная диктатура перерождается в личную, установленная для Европы демократическая монархия весьма вероятно переродится в абсолютизм.

За хаосом бури историческая интуиция может прозревать формы, наиболее устойчивые и наиболее соответствующие народному сознанию сегодняшнего дня. Интуиция, конечно, обманывает. В прорехи рвущейся социальной ткани глядится собственная политическая воля, не очищенная от страстей. Это неизбежно. Но горький опыт разбитых иллюзий, но страдания родины требуют самоотречения. Там, где разуму ясен голос необходимости, пред ним склоняется мечта. Для тех, кто не может привести свою совесть в согласие с необходимостью, долг требует отказа от политической борьбы.

Наиболее общей чертой в наших гаданиях о будущем является предпосылка неизбежности диктатуры. Одни желали бы увековечить эту форму, видя в ней последнее слово политической мудрости. Другие стремятся свести ее kminimum’у во времени и функциях. На чем основана эта общая, нередко молчаливая предпосылка?

Было время, когда идея диктатуры вызывалась призраком – или реальностью – анархии. Пока народ праздновал свою «дикую волю», казалось, нужна была железная рука, чтобы ввести в берега его половодье. Но эта рука нашлась не там, где ее ждали. Ленин был злым смирителем народной воли. С тех пор народ показывает такую степень покорности, которая приводит в отчаяние всех друзей порядка. Конечно, анархия еще возможна – в случае насильственной развязки. Но не на ней строятся расчеты диктатуры. Они строятся теперь именно на этой безграничной покорности народа.

За 13 лет народ явил разительные доказательства бессилия защищать свою волю и свое право. Он не пошевелил пальцем, чтобы защитить избранное им учредительное собрание. 13 лет он пассивно смотрит, как воля его фальсифицируется в избирательской системе советов, позволяя говорить от своего имени продажным или враждебным ему отщепенцам. Он живет в режиме неслыханного террора, едва ли сознавая исключительность этого положения. Он дает энергичному меньшинству мять себя, как глину, вить из себя веревки.

Эта пассивность масс не может не искушать людей, одаренных волей к власти и лишенных правового сознания. Она делает диктатуру неизбежной. Значит ли это, что она ее оправдывает? До известной степени, да. Если власть не может опираться в своей самозащите на правовое чувство нации, она вынуждена опереться на силу. Иначе она будет сметена первым же авантюристом, достаточно бессовестным, чтобы поставить свою похоть выше права. Другими словами, в этом случае почти стирается различие в методах управления между властью легальной и властью тиранической, и ее социальная природа выразится именно в методах управления, а не в правовых фикциях. И демократия[126] сейчас в России возможна лишь с методами диктатуры.

Диктатура в России вызывается теми же причинами, которые делали необходимым в течение столетий самодержавие. Революция изменила здесь многое, но изменила недостаточно. Интеллектуальному росту народного сознания несоответствует уровень общественно-морального воспитания. Здесь большевики оказываются воспитателями и развратителями одновременно. Искушая призывом к общественности, провоцируя социальную активность, они убивают ее в создаваемой ими атмосфере предательства, трусости, шкурничества. Поколение, 13 лет пресмыкающееся

перед Чека, никогда не будет свободным. Свобода может быть лишь надеждой его детей.

Быть может, в царской России массы представляли еще более удобную почву для деспотизма. Но в царской России была влиятельная прослойка интеллигенции, которая держала в своих руках прессу, самоуправление, общественное мнение; держала под угрозой саму власть. И эта интеллигенция была одушевлена почти религиозным пафосом свободы. В новой России класс полуинтеллигенции стал более многочисленным и еще более влиятельным. Он не перестал понимать, что такое свобода. Самое страшное, что произошло в России, – это не истребление миллионов жизней и огромных материальных ценностей –

это вытравление чувства свободы. От Радищева до Керенского три или четыре поколения политической борьбы – все пошло насмарку. Мы вернулись – политически – в обстановку XVII века. Что более всего поражает нас в молодежи, приезжающей из России? Ее неспособность ценить свободу. С недоумением или презрением смотрит она на европейские правительства, которые, вместо того чтобы душить по тюрьмам своих врагов, предоставляют к их услугам газеты, улицу, партийные организации. О чем мечтает она, ненавидя большевиков? О том, чтобы заменить их более пригодными людьми, марксизм – научной философией или истинной религией. Свобода и для врагов кажется ей бессмыслицей. Но эта молодежь, ее идеалы – будущее России. У свободы в России, вне малого круга старой интеллигенции, нет никаких защитников.

Есть один – в сущности, только один – факт, который причинную необходимость диктатуры может превратить в необходимость целесообразную. Это спутанный узел национальных проблем. Русскому народу придется еще многие годы вести отчаянную борьбу за сохранение единства России. В этой борьбе победа возможна лишь при сохранении внутреннего единства нации. Вот почему Россия не может в ближайшие годы позволить себе роскошь свободной политической борьбы, которая на ее еще горячей почве всегда рискует превратиться в междоусобие.

Итак, диктатура. Это значит, что власть в России будет принадлежать лицу или группе лиц, которые будут править ею фактически независимо от выраженной народной воли (хотя учитывая ее и, может, даже облекаясь в ее легальные формы). Это лицо или лица будут указаны самим исходом борьбы за власть, устраняющим всех побежденных конкурентов. Они не могут быть предуказаны, избраны, предложены стране. Здесь почти все принадлежит историческому счастью, року или Провидению. Как монархия ставит судьбу государства в зависимость от случайностей рождения или наследственности в пределах одного рода, так революция ставит народ перед случайностью гениальных или бездарных вождей, от которых зависит его судьба.

По своей структуре диктатура может быть единоличной, партийной или монархической. Оставляя вопрос о монархии до следующей главы, рассмотрим диктатуру партийную.

Если под ней разуметь диктатуру коммунистической партии, то продолжение ее в России и при изменившихся социальных тенденциях вполне возможно. Это будет, впрочем, уже псевдокоммунистическая партия, для которой ее выцветшие лозунги будут становиться все большей помехой. Должен настать день, когда они будут наконец убраны и

маскарад окончится. Но еще задолго до этого момента партийная диктатура превратится в единоличную. Может быть, этот момент уже наступил в России. Все показывает, что партия уже износилась как самостоятельная политическая форма, хотя функционирует как политический аппарат.

Но сейчас речь идет о другой возможности: о новой партии, о национальной партии, которая сменит коммунистов, сохранив их политическую систему. Это проект русского фашизма, с наибольшей яркостью выдвинутыйевразийством.

Фашистский проект нам представляется наиболее утопическим и наиболее вредным вариантом русской диктатуры. Всюду, где удается фашизм, он побеждает как революция, несущая бурную пену радикальных и реакционных страстей. Огромное народное волнение, потребность коренной ломки являются предпосылками фашизма. У него с коммунизмом слишком много общих корней. В фашизме, в его организациях молодежи изживает себя та же самая буйная, тираническая активность, что и в русском комсомоле. Возможно ли раздуть догорающий пепел революции в новый пожар? Ввергнуть в новую революцию страну, едва живую от тринадцатилетней революционной горячки? Это противоречило бы всем предпосылкам народной психологии. Не только масса, но и активное меньшинство уже выдыхается, уже просит покоя, тянется к личной жизни. Оно может поддержать деспотическую власть, но не власть революционную, без передышки играющую на нервах. Не власть идеологов. Довольно политграмоты, довольно агитпросветов. Для России сейчас это кушание столь же питательно, как касторовое масло. Но для нее сейчас оно было бы и самым вредным политическим блюдом. Власть идеологов означала бы новое удушение русского творчества. Клин не всегда вышибается клином, и после марксистского отравления отрава еввразийская или иная, в лошадиных дозах, в государственном масштабе, могла бы просто прикончить русскую культуру. Совершенно безотносительно к проценту содержащейся в ней истины, если бы даже этот процент был доступен вычислению. Самый факт огосударствления мысли, науки, искусства означает их медленную смерть – поскольку речь идет о высших видах творчества, а не о декоративных или утилитарных его разновидностях.

Но и единоличная диктатура может иметь самое различное политическое и социальное содержание. Ее социальное содержание довольно однозначно определяется самыми противоположными течениями современной России. Но ее политическое лицо? Станет ли она

мостом к монархии или к демократии или же будет стремиться увековечить себя как политическую форму?

Благо России – как мы его понимаем – в том, чтобы грядущая диктатура имела демократическое содержание. Это значит – поставила бы своей целью привести народ к демократии. Будет ли она действовать с соблюдением демократической легальности, не важно. Это, может быть, и нежелательно, ибо легальность покупается ценою лицемерного извращения института. Лучше не устраивать выборов, чем подтасовывать их, лучше не иметь парламента, чем иметь подкупленный парламент. Демократический характер диктатуры в том, что ее цель (как римской легальной диктатуры) – сделать себя ненужной. Она должна готовиться к будущему, когда сможет передать власть народу. Но горе ей, если она швырнет эту власть в пространство и не найдется рук, способных ее принять. Это значит – власть достанется новому диктатору, достаточно жадному до нее или нафанатизированному идеей, который не отдаст ее никому добровольно. Тогда изживание диктатуры потребует новой революции.

2. Монархия или республика?

С известной точки зрения, мы будем правы, утверждая, что этот вопрос для современной России лишен актуальности. Принципиально он интересует лишь немногих доктринеров – или рыцарей идеи. В котле революции перекипели вековые политические страсти. Современное поколение в России примет всякую власть, которая обеспечит ей минимум свободы – не политической, а гражданской: бытовой, хозяйственной, культурной. Если бы чудом России свалилась с неба монархия, обеспечившая ей этот минимум, она, вероятно, не встретила бы сопротивления. Честные люди всех оттенков политической мысли объединились бы с ней для сотрудничества в общем национальном деле. Продолжая рассуждать теоретически, можно указать даже на некоторые преимущества, связанные с монархической формой именно для пореволюционной России.

Прежде всего, монархия облегчила бы, бесспорно, труднейшую задачу построения Российского Союза. Народы менее подозрительно относятся к чужеземной династии, чем к гегемонии чужого народа. Самолюбия окраинных патриотов, которые оскорбляются зависимостью от Петербурга или Москвы, могли бы скорее примириться с великим князем Киевским или ханом Азербайджанским. Сама династия, в личных интересах, могла бы легче освободиться от ограниченного шовинизма господствующей народности, чем демократические политики, вышедшие из среды этой народности. Династия всегда менее национальна, чем народ. Династии новой Европы вообще отличаются большой долей космополитизма. Габсбургам было легче понять национальные требования эпохи, чем немецким националистам Вены или Тироля.

Другое преимущество монархии для России заключалось бы в ее возможной культурной роли: центра кристаллизации культурного меньшинства. В том демократическом разливе, который грозит затопить в России все культурные высоты, независимая монархия могла бы сделаться спасительным островком не только для родовой, но и для духовной аристократии. Многие формы культуры были бы спасены как формы роскоши, необходимой для монархического престижа. Возникшие из придворных потребностей Эрмитаж и балет вновь укрылись бы при дворе от угрожающего духа времени. У дворцового ведомства могли бы найтись деньги не только на содержание конюшен, но и на пенсии для поэтов.

Но все это мечты – во вкусе XVIII века. В России XX века они

неизбежно обернутся вредной иди комической утопией. Это станет ясным, если мы будем рассматривать не монархию как абстрактную форму, а народ как носителя монархического сознания и династию, воплощающую монархический принцип.

Быстрое и почти бесследное исчезновение монархической идеи является одним из самых разительных фактов революции. Россия не имела своей Вандеи. Ни одно из антибольшевистских движений, возглавляемых монархистами, не решилось поднять открыто монархического знамени. Даже обычные в первые годы нелестные для революции сравнения николаевской свинины с ленинской кониной окончательно замолкли со времени нэпа. О монархии просто забыли, она оказалась никому не нужной, ее идея – совершенно пустой. В России есть еще, конечно, немногие монархисты по убеждениям, но почти никто из них не сохранил веры в близкое торжество своих идей. Даже Церковь поспешила отмежеваться от монархии, с которой была связана тысячелетиями. Но монархия не может жить без монархического сознания. В этом ее коренное отличие от республики, которая возможна и без республиканцев. В самом деле, власть одного человека или одной семьи над народом настолько противоречит современному рациональному понятию о государстве и вместе с тем природе власти как реальной силы, что может питаться только мистическим чувством или глубоким уважением к традиции. Современные монархии легко гибнут, но с трудом строятся. Их шаткие постройки держатся уже не на выветрившейся мистике, а на расчете политиков, эксплуатирующих еще не растраченный фонд традиций.

Современная Россия – страна воинствующих рационалистов или безбожников. Традиции сметены в ней так радикально, как может быть, еще ни одной революцией в мире. Революция обнажила тот психологический склад в народной душе, который определяется «простотой» как высшим критерием ценности. Все мы знаем этот чисто русский критерий в применении к искусству, к этике. С «простотой» прекрасно вяжется мужицкая республика, возглавляемая Калининым, но никак не вяжется мистика «помазанного» или наследственного царя.

С другой стороны, династия. Говорить серьезно о монархии в России – это значит говорить о реставрации Романовых. За годы революционных войн ни одно имя не завладело настолько народным воображением, чтобы на нем можно было основать надежды новой династии. Только Ульянов мог бы, если бы хотел, начать новую династию в России. Безличность революционной эпопеи, отсутствие кандидатов в русские Наполеоны

связаны именно с этой стихией"простоты», которая раскрывается в русский революции. Ни один герой не выдержал бы мужицкой усмешки. Ни один красный командир не посмел разрядиться, как Муссолини, в золото и петушиные перья. Русская революция органически не способна дать Наполеона. Остаются Бурбоны.

Но Бурбоны – то есть Романовы – это уже не безразличная политическая форма. Это имя – можно утверждать с полной определенностью – ненавистно огромному большинству русского народа. Два последних царствования крепко связали династию с дворянством и сословным строем. Вся ненавистная народу классовая пирамида упиралась в эту верхушку. Народ, который веками старался отделить царя от боярства, перестал делать это различие. Не республиканская ненависть к «тирану», а мужицкая ненависть к барину делает невозможным для него возвращение «"первого дворянина» на трон.

Народ столетиями лелеял царскую легенду, в жертву которой были принесены гекатомбы русской интеллигенции. Теперь выросло поколение, воспитанное уже на другой, антицарской легенде. При полном отсутствии исторического образования, современный юноша плохо отличает век Ивана Грозного от времени Николая II. Он искренне убежден, что рубить головы собственной рукой составляло ежедневное развлечение русских самодержцев. С эпохой Романовых связались все темные, жестокие воспоминания русского прошлого. Никто из молодого поколения не допускает, чтобы в России при царях было легче или лучше жить. Народ – и старики, и молодежь – не хотят Романовых, потому что не хотят возвращения старого. Старая династия – символ реставрации.

И это уже не просто предрассудок, воспитанный новой, антиисторической легендой. Это здоровая, реальная оценка действительности.

С чем бы могли явиться Романовы в Россию? На кого опереться? Допустим, что будущий император не лишен сознания потребностей эпохи, что он лично думает не о реставрации, а о примирении разделенных революцией классов. Но при непопулярности монархической идеи, он вынужден будет окружить себя старыми слугами, доказавшими свою верность былым самодержцам. Возвращение монарха означает прежде, всего возвращение монархистов. И не новых, покаявшихся поклонников свободы и права, а стопроцентных, не изменивших белому – вернее, черному – знамени. Худшие традиции Александра III и Николая II, которые лелеются в этой среде, будут вынесены на свет Божий из подполья эмиграции. И царь волей или неволей должен будет им

покориться. Дворянская социальная реставрация будет неизбежным последствием реставрации политической. Только древняя монархия, сильная нерастраченным авторитетом, может вести политику социальных реформ, может опираться на демократию. Последыши обречены жить и умереть со своим классом. Краткие годы реставрации, доставшиеся им чудом или иностранными штыками, они употребят для подготовки новой революции – хотя бы для нее пришлось преодолеть ту силу политической инерции, которой до сих пор не удается пробить Сталину.

Младороссы – политические мечтатели, исходящие из веры в славянофильский монархический идеал русского народа. Не они и не Струве, а Марков II будет править Россией именем царя. Эта перспектива, в связи с вековой антикультурной традицией Романовых, не сулит особенных благ ни Эрмитажу, ни русской интеллигенции. На пенсии могут рассчитывать лишь сановные жертвы революции, а из поэтов – новые Демьяны Бедные.

Так монархия из нейтральной политической формы становится – как монархия Романовых – огромной политической опасностью для России.

Все, что делает монархию невозможной, укрепляет республику. Республика существует. Это составляет ее огромное преимущество в стране, взволнованной социальной борьбой, но лишенной политических страстей. Республика не требует ломки в народном сознании. С ней молодежь, не знавшая другого строя. За нее дух простоты, владеющий ныне народной душой. Дух трезвости, расчетливости, хозяйственности, с одной стороны, дух эгалитарности, с другой, – все, что составляет моральную атмосферу новой России, говорит за республику. И это даже при отсутствии настоящего республиканского пафоса. В комплексе идей и символов русской революции чисто политическая идея играла второстепенную роль. Марксизм не мог создать никакой идеологической порфиры для народовластия. Он сам подрывал его мистику, борясь с идеей народной воли.

Эта духовная прореха может оказаться опасной в другом поколении, более чутком к духовным основам жизни и более восприимчивом к политической мечте. Рационалистическая концепция республики как удобнейшей формы демократии делает ее идеологически слабой в столкновении с мистикой монархической власти. Но рационализм не связан с республикой, как мистика – с монархией. Погружаясь в историческую традицию, создавая духовные основы демократии, будущие поколения могут найти для народовластия религиозное освещение – в Библии, в русском прошлом. Отработанный, изжитый в Европе пафос

Contrat social должен быть заменен пафосом соборности Божьей воли, которая говорит в истории столь же гласом народа, как и устами царей. Историческое воспитание должно фиксировать внимание на героических республиканских идеалах Греции и Рима, на гвельфских средневековых идеалах демократии (Флоренция), на православном народоправстве Новгорода. Тогда республика сделается не пустой формой, не меньшим злом, а положительным идеалом, освобожденным от пошлого утилитаризма, несущим в себе всю полноту цветения национальной религиозной культуры.

§ 3

.....

.....

.....

..... 4. Традиция и резолюция

Возрождение России зависит от того, удастся ли преодолеть глубокий раскол в народном сознании, образованный доктриной и фактом революции. Новое сознание должно воспринять и слить в себе все жизненное и ценное в старой и новой идее России. Это задача ныне живущего и вступающего в жизнь поколения. Это задача первой национальной русской власти.

Но не будем обольщать себя иллюзией. Страна, пережившая революцию и от несведущая свое новое бытие, не может долго (или никогда) обрести утраченное единство. Старая жизнь не умирает совершенно, ибо живет вечно в памятниках национальной культуры. Печать художественного благородства, лежащая на этой культуре, великодушная патина времени преображает и стирает зло в «вечное золото» легенды. Легенда убитой красоты и правды сопровождает новую жизнь, вышедшую из революции, потускневшей, опошленной самым фактом победы. Победа, как известно, – самое трудное испытание для идеи. Противоречия, которые вскроет в себе новая действительность, отвращение, даже ненависть, которые она (как всякая действительность) будет рождать в самых чутких, в самых нервных современниках, обеспечивает возрождение не только утопизма революционного, но и утопизма реакционно-романтического. Последний преимущественно соблазнителен для носителей высшей культуры, влюбленных в прошлое. Завоевание реакцией самых, ответственных духовных постой нации-обычный удел общества, вышедшего из революции. Такова судьба Франции. Вотуме полтора века продолжается тяжба вокруг «Великой» революции. За малыми реставрациями и революциями XIX века надо

вглядеться в борьбу идей, доселе безнадежно разделяющих Францию. Два враждующих стана определят ют сами себя именами, которые стоят в заголовке этой главы. «Традиция» и «революция» – традиция, которая революционизирует, революция, которая охраняет, – ныне, как сто лет назад, ведут смертельную войну за душу Франции. Точнее было бы говорить о двух традициях: традиции революции и традиции реакции. И в наш исторический час на весах духа перевес, несомненно, склоняется на чашку последней традиции.

Это духовное междоусобие, которое в каждом поколении готово вспыхнуть новой гражданской войной, подтачивает силы нации. Вместо плодотворной борьбы идей воздвигаются непроницаемые перегородки между ними со спертым воздухом внутри, с культом окостенелых предрассудков. Грозит ли России та же судьба?

Старая Россия оказалась менее живуча, нежели старая Франция. Социальные корни дворянства подрезаны как будто навсегда. Тургеневская усадьба едва ли когда-нибудь воскреснет. Но неистребима живая память о былом величии и славе. Не умрет Пушкин, а с ним очарование александровской и екатерининской эпохи. Надо надеяться, останутся дворцы Петергофа, Царского Села, красноречивые, но и лживые свидетели императорской славы. И для нее настанет время реабилитации.

На фоне слишком простой и деловой жизни, грубоватой повседневности, технических достижений – утонувшая империя с каждым годом будет подниматься со дна царскосельских озер. В этот императорский Китеж будут жадно глядеться тысячи юношей, мечтающих о небывалой России. Одни ли малокровные потомки старых родов, для которых фамильная история сплетена неразрывно с историей России? Но Борисов-Мусатов был сыном полупролетария. Уже теперь можно изредка встретить на фабрике и в деревне романтиков прошлого, девушек, которые за чтением Пушкина и Толстого ощущают себя не крепостной рабой, а Татьяной, Наташей, Китти. XIX век еще не так опасен для республики. Но XVIII может ее убить. Что же сказать о XVII? Старая славянофильская легенда о народном царе может воскреснуть с возрождением церковности и романтикой православного быта. Конечно, реализация этой мечты быстро убьет ее. Но в ожидании республика будет страдать тем органическим пороком, который пока обеспечивает ее стойкость в нашем поколении: она существует. Это делает ее почти безоружной перед призраком. Вот почему борьба между революцией и традицией неизбежна – борьба серьезная, жестокая, длительная. Она может стать главным духовным содержанием русского XX столетия. Если эта борьба не будет

вырождаться в заговоры и полицейский террор, она может оплодотворить русскую мысль и культуру. Подготовить и углубить грядущий народный синтез.

Что может революция противопоставить призраку своего врага? Я говорю не о жизненных удобствах, о практической годности режима, но о его идеологическом освящении, о его культурном помазании.

На первый взгляд, очень немногое. Революция – слишком юное и не очень талантливое дитя старой России. Вклад революционной идеи в великую русскую культуру малозаметен. Не остается ничего от народников 60-х и 70-х годов, от демократических передвижников. В сущности, адвокатами революции будут только Герцен и Некрасов. Быть может, еще Глеб Успенский. Традиция будет опираться на Гоголя, Достоевского, Леонтьева. Разумеется, не без натяжек. Но все же остается фактом, что самые мощные умы XIX века прошли мимо революционной эпопеи интеллигенции. И революция не построила своих дворцов. На каком же языке она будет говорить грядущим поколениям?

Революционная эпопея должна говорить сама за себя, в оголенности своего нравственного подвига. При всей культурной бедности революционного стана, он один хранил в упадочной России XIX века дух героического подвижничества. Зрелище этой неравной борьбы, революционный Плутарх, революционные святцы – долго будут воспитывать общественно-патриотическое сознание русского юношества: конечно, при условии абстракции от содержания революционных доктрин, стоявших в кричащем противоречии с мученическим подвигом и идеалом. Наша великолепная реакция – даже в Достоевском и Леонтьеве – всегда несла в себе разлагающее зерно морального порока. В борьбе с победоносной революцией она представляла партию декаданса против моральной чистоты и против жизненного христианства. Имморализм реакционной «традиции» XIX и XX века обесценивает ее воспитательное значение для будущей России.

Но революция не только святцы декабристов и народовольцев. Революция – это также безумие и злодейство большевиков. Из песни слова не выкинешь; России, как и Франции, придется принять или отвергнуть революцию целиком.

Сейчас, в разгаре борьбы, можно и должно противополагать Февраль Октябрю. Для будущего это противоположение бессмысленно. Французский радикал уже не судит тяжбу жирондистов и монтаньяров. Спор Робеспьера с Дантоном интересует лишь узкий круг историков. Так и будущая Россия будет стоять на распутье между Лениным и царем.

В свете большевизма в русской традиции вскрылись глубокие противоречия: Герцен и Бакунин, Лавров и Нечаев, народники и марксисты. Начав политическую чистку, нельзя нигде остановиться. Даже в Герцене, даже в Лаврове можно разглядеть большевистскую гримасу. Как русская монархия влачит на своих плечах опричнину, бироновщину и позор последнего царствования, так революция не может сбросить бремени Нечаева и Ленина. Это бремя морально чрезвычайно отяготительно. Но романтика революции всегда будет уравновешивать романтику старинных усадеб. Злодейства нашей эпохи будут восприниматься так, как они должны восприниматься: как историческая трагедия, героем которой является народ. Злодеяниям нет места в житиях святых, но без них немыслим Плутарх, немыслим Шекспир. Если для морального чувства народовольцы могут оправдать русскую революцию, то для исторического воображения ее реабилитация дана лишь красной эпопеей ее победы.

Но и с праведностью народовольцев, и с кровавым заревом Октября, революции, то есть ее идее трудно уравновесить традицию, понятую как консервативную идею всей тысячелетней истории России. Столетие – против тысячелетия всегда осуждено как дерзкий бунт, беспочвенный и бесполезный.

Революция должна расширить свое содержание, вобрать в себя maximum ценностей, созданных национальной историей, чтобы выдержать длительное состязание с традицией. Спор идет о том, какая идея окажется более емкой, более гибкой, чтобы охватить национальное содержание русской культуры. Подобно двум божественным началам манихейской космогонии, борьба двух идей состоит не столько в отражении, в исключении, в истреблении вражеских ценностей, сколько в их захвате, пленении, ассимиляции. Если для монархиста дело идет о том, чтобы надеть на революционера императорскую ливрею, сделать из революции побочный продукт имперской культуры, то для революции важно наложить свою печать на самую монархию, отметить революционным помазанием все творческое в наследии царей. Предстоит длительная борьба за тело Патрокла. Русская интеллигенция всегда притязала на революционное осмысление дела Петра. Нетрудно отвоевать для нее – то есть для идеи просвещения – XVIII век, «дней Александровых прекрасное начало». Остальное, то есть сумерки империи (и здесь еще предметом спора может быть «эпоха великих реформ»), можно предоставить врагу. Нужно выбирать между Николаем 1 и Герценом, между Александром II и «Народной волей».

Для революции гораздо существеннее продвинуть свои рубежи в глубь прошлого, освободить русскую традицию от оков карамзинской монархической схемы. Национальный канон, установленный в XIX веке, явно себя исчерпал. Его эвристическая и конструктивная ценность ничтожны. Он давно уже звучит фальшью, и труд русской исторической науки подорвал, искрошил старую национальную схему. Новой, революционной схемы не создано. Материалы для нее – груды камней – собраны поколениями русских историков. Но нет архитектора, нет плана, нет идеи. Революционная мысль, в плену у скудных либерально-материалистических идей, не имела вкуса к древней России, молчаливо уступая ее, как безобразную руину, своим врагам. Исключения – Костомаров, Щапов – были редки. А между тем задача нового свободного построения государства Российского, в котором пришлось бы несколько потесниться московскому двухвековому царству, чтобы дать больше места и простора пятивековой феодально-вечевой Руси- эта задача диктуется и органическим ростом исторической науки, и самой историей России. Вполне мыслима новая национальная схема, которая оказалась бы менее тенденциозной, менее узкой, нежели схема карамзинская, и в которую факт русской революции вошел бы не как непредвиденная катастрофа, а как отрицание отрицания, восстановляющее древнюю правду.

Ясно, что для этого предстоит полное перерождение доктринального наследия революции, ибо завещанные ее героям доктрины не годятся ни на какое национальное строительство. Однако национализация революции – факт уже совершившийся в недрах России. Необходимые идейные выводы из него будут сделаны, вероятно, не скоро, но они должны быть сделаны. Русское прошлое, русская культура откроются лишь для того, у кого есть глаза на духовные основы этой культуры, этого национального прошлого. Эта культура, это прошлое – плоть и цветение христианства. Без внутреннего приобщения христианству невозможно никакое истолкование русской национальной идеи. Без этого крещения революционная идея может одержать еще интернациональные победы, но она будет всегда бита «традицией» на поле национального матча. И это поражение означает, рано или поздно, гибель революции и ее идеи. Бессильный, не существующий сегодня, ее противник будет крепнуть с каждым новым успехом национального сознания. Лишь христианизация вольнолюбивого и демократического идеала спасает его национальную ценность, как примирение с Церковью делает прочными и даже незыблемыми основы нового республиканского строя.

<Третья статья>

Организация культуры

Преувеличенные надежды и мрачные предчувствия связываются с завтрашним днем русской культуры. Переоцениваются и разрушительные силы революции, и ее творческие силы. Революция – половодье, смывающее культурные насаждения и постройки: но половодье оплодотворяет – в Египте – илом и влагой засохшую землю. Революция – водопад, на динамической энергии которого спекулируют мечтатели: но забывают, что это не постоянная энергия Ниагары, а краткая бурливость потока, который завтра оставит после себя стоячие болота и мелкие воды заливных займищ. Послереволюционная Россия – богатая почва, жаждущая семени, но бедная естественными источниками энергии.

Мы говорим, конечно, лишь об энергии духовной культуры. Только здесь может идти речь об обмелении. Для хозяйственников и техников силы найдутся. Найдутся они, можно верить, и для чисто духовного (внекультурного) творчества, обладающего способностью постоянного самовоспроизведения. Но тема духовной культуры ставит особые проблемы – для России всегда мучительные. Как духовная культура, она движется приливами подземных вод, лишь отчасти и редко связанных с надземным неистовством стихий. Как культура, она всегда хозяйство: строй, лад, согласие – над хаосом и стихией. Она всегда аполитична, хотя бы все подлинно ценное в ней притекало из откровений ночных мистерий. Пьяный Богом дикарь не творит культуры: он убивает Бога и ест его плоть. Для культуры существенны: творческая аскеза, учительство, предание, иерархия. Учительство и ученичество возможны лишь при различии уровней и уважении к нему. Действительно осуществленное – или мнимо утверждаемое – духовное равенство делает невозможным движение: движение вод зависит от разницы уровней.

Русская интеллигенция считала чем-то ненормальным строительство новой русской культуры, которое начиналось с Академии наук и через полтора века пришло к народной школе. Но другого пути не бывает. Запад тоже начинал с академий, только академии его создавались еще при Карле Великом. Большевизм сознательно поставил своей задачей нивелирование культуры, и в этом преуспел, как ни в чем. Подъем народных масс сопровождался закрытием для них источников высшей культуры. В мире еще не было опыта подобного обезглавливания целой нации.

Это ставит перед русским национальным возрождением совершенно особую задачу, обозначаемую нами как организация культуры. Сама

постановка этой задачи требует оправдания.

Если под культурой понимать высшие формы духовной деятельности нации, то a priori можно оспаривать законность такой темы. Слишком много развелось нынче охотников организовывать культуру. Большевики ведь ничем иным не занимаются, как организацией пролетарской культуры. Какая, собственно, разница между организацией культуры и ее удушением?

Культура, как высшая форма творчества, прежде всего нуждается в свободе. Единство национальной культуры слагается из бессознательно ориентированного потока индивидуальных энергий, в котором каждое противоречие имеет свою ценность. Если организация означает планомерность или хотя бы воспитание, то по отношению к высшим формам творчества хочется сказать: поменьше воспитания!

Как в сфере хозяйства, так и в сфере культуры ликвидация коммунизма есть прежде всего освобождение.

И, однако, проблема организации существует. Ее необходимость вытекает из двух основных и трагических фактов большевистской диктатуры: 1) уничтожения старого образованного класса в России и 2) искусственной выгонки целого поколения в марксистском парнике. Организация русской культуры означает поэтому: 1) воссоздание культурного слоя и 2) выпрямление духовного вывиха целой нации.

Конечно, об уничтожении интеллигенции можно говорить лишь с большой осторожностью. Что характерно для революции, так это экстенсификация культуры, приобщение к ней масс «от станка и от сохи». Такая буйная демократизация сама по себе несет опасность: резкого снижения уровня, измельчания духовных вод. Эта опасность удесятеряется сознательным и планомерным истреблением дворянства и буржуазии, которые были естественным резервуаром пополнения интеллигенции. Старые кадры редеют, на смену им приходит новый тип: практически ориентированный варвар-специалист, относящийся с презрением к высшим культурным благам.

Не одна цензура повинна в оскудении русской научной литературы, но и отсутствие читателя, делающее невозможным серьезное издательское дело.

В России образовался тонкий слой, созданный нэпом, который имеет материальные возможности поддерживать высшие формы культуры: обучается в университете «бесцельным» наукам, покупает книги по искусству, составляет публику концертных зал. Личные вкусы влекут его по преимуществу к западным (или восточным) космополитическим

блюдам. Переводный роман – его любимое чтение. Духовно он является воплощением скептицизма, безразборчиво гуттирующего все экзотическое, но естественно отталкиваемого цельной, органической силой веры. Для русского духовного возрождения этот духовный тип таит большие опасности. До сформирования почвенной русской буржуазии этот класс мог бы оказаться единственным носителем высшей культуры. Во всяком случае, он может определить русский либерализм и русское западничество. Уже сейчас он явился питательной средой для развития самой значительной в России литературно-критической школы – формалистов. Другими словами, столь существенная для национального возрождения отрасль культуры, как изучение национальной словесности, может быть потеряна для русского дела.

Кажется, ликвидация нэпа ликвидирует и этот поверхностный культурный слой. При всей его духовной бессодержательности, он мог вынести на себе продукцию тех тонких и сложных форм, без которых немыслимо духовное народное хозяйство. С его отмиранием нищета становится вопиющей; впрочем, исчезновение его может быть только временным.

Что сулит все это для русского будущего? Предоставленная самой себе, Россия – «новая Америка» – может обернуться безбрежным Пошехоньем, раскинувшимся на одну шестую часть света, с островками богемной культуры берлинских и парижских кафе.

Есть сила в России – и сила огромная, – от которой можно, казалось бы, ожидать почина в организации культуры. Эта сила – православная Церковь. Она объединяет теперь в своей ограде высококвалифицированное культурное меньшинство, жаждущее творческого выражения православия. Однако мы не думаем, чтобы русская Церковь уже в ближайшие годы могла поднять на себе всю русскую культуру. Для этого у нее, прежде всего, мало и материальных возможностей. Но гораздо важнее то, что в процессе русского религиозного возрождения вопросы духовной жизни занимают и будут занимать первенствующее место, сравнительно с периферическими вопросами религиозно- культурного творчества. Радикализм возвращающейся в Церковь интеллигенции – новая фаза старого русского радикализма в соприкосновении с упадочническим обскурантизмом старой церковности – создают неблагоприятные условия для православного творчества. Революционная эпоха резко обрывает русский православный ренессанс начала XX века. Лишь следующее церковное поколение, свободное от революционного шока, сможет найти в себе душевное спокойствие, вкус и досуг для культурной работы.

Остается государство, на которое вторично, как в XVIII веке, выпадает задача воссоздания русского культурного слоя. Конечно, и государство не может идти вразрез с общим потоком народной жизни. Но получает в наследство от большевизма две задачи: удовлетворение разбуженного культурного голода народных масс и организацию технической культуры, столь необходимой для восстановления национального хозяйства. Мы не останавливаемся на этих задачах, потому что они самоочевидны, они будут выполняться «самотеком», не требуя особых творческих усилий. Для многих ими и исчерпывается русская пореволюционная культура. Такой, думается, будет внешний, показной фас России: России официальной, России демократической, России-Америки. И, однако, государство обязано взять на Тебя и третью задачу – ибо кроме него взять ее некому – сохранения высших форм национальной культуры. Трудностьзаключается в том, что здесь придется преодолеть немалое сопротивление со стороны низов. Для русского крестьянина, даже для рабочего непонятна ценность Эрмитажа, государственных театров. В голодные годы продажа картинных галерей была очень популярным низовым лозунгом. Будущее государство русское должно будет поставить перед культурным народничеством великодержавное призвание России, имеющее свое единственное оправдание, как и всякое великодержавие, во вселенском значении русской культуры.

Первая задача организации пореволюционной культуры – воссоздание культурного слоя в России – разрешима лишь через школу. Но Общая народная школа, открытая революцией для низов, долго еще не сможет подняться над уровнем рабочего техникума. Для обеспечения непрерывной работы в области духовной культуры необходимо воссоздание разрушенной системы гуманитарного воспитания и гуманитарных наук. В университете это означает восстановление историко-филологического и юридического факультетов, в строе народного образования – гуманитарной классической школы. Классическая школа была непопулярна в России, и ее широкое воскрешениё будет непонятно, да и не нужно для демократии. Более того, оно будет вредно, как вредна была толстовская школа, профанировавшая утонченную культуру гуманизма. Классическая школа в России, еще в большей мере, чем на Западе, должна быть школой элиты, рассадником культурного меньшинства, которым творится национальная, зиждущаяся на исторической традиции культура.

Эта элита не может быть уже ни сословной, ни классово-цензовой. Единственным исходом было бы создание привилегированной (в смысле

академическом), обеспеченной государственными стипендиями классической школы для избранных, лучших учеников, народных школ. Через них интеллектуальный отбор демократии, с заметной прослойкой старой и служилой интеллигенции, явился бы питомником университета. Таких школ Россия может создать очень немного, на первых порах, может быть, всего две: по одной в Москве и Петербурге. Иначе неизбежно снижение качества, растворение в пошехонском море.

Наша задача сейчас создать небольшой, но мощный, прекрасно вооруженный штаб для завоевания Пошехонья. Разжижить, обескровить первый призыв значит подорвать его творческую активность, – в конечном счете, и его педагогическое влияние. В первых школах воспитываются не народные учителя, а учителя учителей. Лишь второе или третье поколения донесут плоды новой гуманитарной школы до деревенских изб.

Много споров вызовет характер этой новой гуманитарной школы. Здесь столкнутся все течения, разделяющие ныне русское национальное сознание. Вопрос о направлении школы непосредственно отражает всю проблематику русской историософии. Вне спора остается национальная традиция: в истории, литературе, искусстве. Спорной – ее вселенская ориентированность: греческая, латинская или восточная. По нашему глубокому убеждению, греческая школа является единственно верной русской идеей. Наше христианство, наше средневековье ответвляется от греческого ствола, как католический мир от Рима. Платон живет в русской философской мысли, доселе определяя ее, а приоткрывшаяся нам глубина досократовской Греции волнует созвучием древнеславянской душе. Живой, неотвлечённой может быть в России лишь школа, построенная на Эсхиле и Платоне, с просветами в Византию и классической христианской патристики. Латинский мир не исключаются совершенно, но получает приличествующее ему вторичное значение. Проблемы Востока, столь важные в грядущих судьбах России, находят свое освещение на уроках землеведения и истории, но проект евразийцев извратить русскую идею путем ориентализации школы должен быть отвергнут.

Общая народная школа сохранит сообщенный ей революцией реально-технический характер, с заменой идеологических элементов материализма и марксизма основами национального воспитания. Их сочетание с реальной программой представляет новое задание для русской педагогической мысли, доселе строившей национальное воспитание лишь на гуманитарной основе. Вопрос о религиозном воспитании гораздо сложнее. Бесспорно, школа должна предоставить для него возможности, но сама еще не может быть на нем построена. Этому препятствует как

отсутствие религиозно мыслящего учительства, так и глубокий религиозный кризис народного сознания.

Гуманитарная средняя школа питает гуманитарные факультеты. Университет системой экзаменов замыкается от захлестывающего варварства, системой стипендий (положительная сторона советского вуза) обеспечивает приток в высшую школу из демократических низов и остатков старой интеллигенции.

От университетских кадров к организации преподавания: здесь возникает в новой постановке национальный вопрос. Чрезвычайно велик соблазн использовать университет для национализации культуры. Большевики принципиально отрицают за высшей школой значение лаборатории чистого знания, оставляя за ней лишь педагогические и социально-технические функции. Фактически, путем понижения уровня, им удалось в значительной мере изгнать науку из университета. Необходимость широкой чистки личного состава в оставшемся после большевиков хозяйстве сама по себе может соблазнить к заполнению кафедр стопроцентными патриотами. Современная доктрина: «Наука делается вГлавнауке, а вузы лишь популяризируют ее», – может найти очень много последователей в национальной России. Послевоенное поколение не понимает смысла культуры, и политическая благонадежность может очень легко заменить ученые степени. Отсюда угроза науке как служению истине, угроза культуре как сложному многоединству.

Против этой опасности должна возвысить голос вся культурная элита страны. Политические разногласия не должны мешать образованию единого культурного фронта. Ясно, что в политической борьбе, в эпоху переворотов, фельдфебель в университете, то черный, то красный, но всегда по существу тот же самый, не щадит ничего. Но и никакие юридические, никакие конституционные гарантии не спасут от него, если не будет создано независимого голоса «элиты». Свободная наука может попираться и диктатурой, и демократией, может попираться и самими учеными под флагом автономии. Только культура может спасти культуру. Только реакция стыда и негодования может помешать власти заполнить своими креатурами все ответственные посты в организации национальной культуры.

Разумеется, идея национальной культуры требует учреждения и государственной оплаты определенных кафедр, может быть, и несущественных с точки зрения международной. Но мировая республика ученых существует лишь как федерация национальных организмов, и

Rossica представляет особый научный мир, недостаточно признанный в старой, на Запад ориентированной России. Установление границ и распорядка этого мира есть задание самой русской науки и не может быть предвосхищено государством.

Следует определенно сказать: государство не призвано к высшему руководству в творчестве национальной культуры – хотя бы потому, что само содержание этой культуры не подлежит его ведению. Это содержание всегда остается не данным, а искомым, ибо национальная культура не есть завещанный предками мертвый капитал, а живая творческая сила, создающая новое, еще небывалое, еще не расцененное. Какими критериями располагает государство для определения того, что национально и что относится к культуре? Живая национальная идея в своем росте нередко впитывает в себя то, что вчера казалось антинациональным. И то, что вчера казалось апробированной культурой, сегодня – в мусорном ящике. В высших вопросах духа призвано решать лишь избранное меньшинство. Но и оно не обладает непогрешимостью, и его communis opinio вырабатывается в процессе борьбы и общих исканий. Настоящая свобода возможна при условии уважения к этому меньшинству и самоограничения меньшинства.

Но, оставляя за государством лишь роль технического организатора культуры, на кого возложить выполнение необходимой послереволюционной задачи, которую мы определили как «выпрямление духовного вывиха нации»?

Мы стоим перед фактом духовного искалечения народа, искусственно питаемого фальсифицированными продуктами или определенными ядами. Предоставить лечение времени? Но это все равно, что предоставить времени воспитание беспризорных. Время движется как старинный дилижанс, по сравнению с темпами нашего века. Исторические сроки России отмерены строго и скупо. Мы не можем ждать.

Задача воспитания – национального, культурного – народных масс сама собой падает на плечи русской интеллигенции, то есть свободно организованных культурных сил нации. Даже большевизм, обладающий всею мощью государственного аппарата, свой аппарат агитации создает отдельно от него – в партии, в «Союзе безбожников» и проч. В этой полусвободной «советской общественности» заключается огромное преимущество коммунизма, по сравнению с классической неуклюжестью полицейского государства. Но лишь отказ от монополии культурной работы обеспечивает общественным организациям необходимую им внутреннюю свободу.

Должна быть создана «Лига русской культуры», как свободный союз, поставивший себе целью пропаганду русской идеи в массах. Именно «Лига», а не государственная полиция может осуществить ликвидацию духовного наследия большевизма. Но борьба с марксизмом, с привычками классового мышления – является лишь отрицательной ее стороной. Положительные задачи Лиги – в изучении России, историческом, художественном, этнографическом, в постановке перед массами русских проблем, в воспитании культурной национальной традиции. Эта Лига должна объединить разрозненную деятельность разбросанных по всем уголкам России «краеведческих» обществ, собрать культурных одиночек, еще не расплющенных большевистским молотом. Она обеспечит провинцию разъездными лекторскими силами, дешевой народной литературой, поможет организации народных университетов и вообще дела внешкольного образования. Она поставит в центре издание органов, объединяющих всю эту национальную педагогическую работу.

Необходимым условием работоспособности Лиги должен быть широкий иедологический фронт её. Все национально годное для строительства новой России должно найти место в ее рядах. Это значит, что она должна сохранить нейтралитет по отношению ко всем острым политическим проблемам. Если это не удастся, если различные течения русской мысли будут пытаться создавать свои самостоятельные аппараты для организации русской культуры, то это будет означать срыв гражданского мира, столь необходимого после революции, и вместе с тем – для государства – необходимость рокового выбора между разными схемами национальной мысли.

Для государства, говорим мы, ибо Лига (или Лиги), в послереволюционных условиях, может работать лишь в тесном сотрудничестве с государством и с материальной его помощью. Духовным источником ее должен явиться свободный национальный подъем, вольное горение русской идеи. Но в разоренной, социально обезличенной России, в этом эгалитарном царстве нищих только государство обладает экономической силой, необходимой для всякой крупной организации. Возможные силы частного капитала, естественный питомник меценатства, на первых порах лишены национального лица. Вот почему (и это одно из многих оснований) интеллигенция должна отказаться от старой брезгливости к тому, что связано с государством. Государство есть форма народной воли, русской воли. Служба ему, жалованье его несравненно почетнее службы жалованья капитала, да еще иностранного. А вне государства жалует лишь капитал. Интеллигенция должна вернуться к

традиции XVIII века, чтобы вместе с государством нести почетную службу на фронте народного просвещения.

И, однако, сказанное выше о непригодности государства к организации культуры остается в силе. Таким образом, создается жизненное противоречие: государство, поддерживая материально национальную работу интеллигенции, не имеет права вмешиваться в нее по существу. Таково действительно идеальное решение, которое требует большого самоограничения обеих сторон: от государства – отказа от идеологических притязаний, от всякой идеократии,софократии и прочих видов лжетеократии; от интеллигенции – установления широкого идейного фронта и величайшей осторожности (воздержания) по отношению к чисто политическим и социальным задачам государства.

«Лига русской культуры» призвана к выполнению того национального дела, которое в странах фашистской диктатуры (или в идеологии евразийства) выпадает на долю партии или «отбора». Не стать партией, сохранить должную дистанцию от государства, при лояльной верности ему, – это значит спасти свободу культуры. Дело это требует большого такта и жертв, к которым мы не приучены историей. Переработка всего духовного облика интеллигенции для этого необходима. Если ее не будет, Россия будет сменять одну «идеократию» на другую, проматывая последние рубли своего культурного достояния.

Если удастся сохранить свободу, то будущее русской культуры нам не представляется мрачным. Можно верить в природную талантливость, в нерастраченность сил великого народа. Революция впервые эти силы актуализирует в небывалом размере. Самая огромность вовлеченных в культурное движение масс создает исключительные условия качественного отбора. Нужно помнить лишь одно: в экономии сегодняшнего дня первоочередной задачей является не дальнейшее накопление сырого культурного материала, а воспитание меньшинства, способного его переработать. В организации культуры национальная задача параллельна задаче хозяйственной: там воссоздание и воспитание класса предпринимателей, здесь воссоздание, на новых духовных началах, русской интеллигенции.

О Церкви в новой России можно говорить в двух планах. Рассматривая извне, это частная тема – тема об отношении государства к православным культовым организациям. Взятая изнутри, то есть по существу, это тема безмерная, тема вселенская, в которой скрыто решение и всемирно-исторических судеб России. Минимализм и максимализм одинаково уместны в отношении к церковной проблеме. И, что особенно

значительно, – между обеими установками нет зияния: это единственная сфера реальности, где малое, земное, человеческое соединяется с величайшим, небесным и божественным. Поэтому лишь здесь дано преодоление острого русского противоречия: между бескрылой практичностью и утопической беспочвенностью.

а) Государство и Церковь

Еще не закончено трагическое развертывание революции. Еще мы не знаем, где остановится ее богоборческая ярость. Будут ли закрыты все храмы в России и уничтожен публичный культ, как это намечено пятилеткой «безбожников»? Или экономизм большевиков возьмет верх над их изуверской теологией и заставит их остановиться перед тем, перед чем не отступили чистые теологи якобинского руссоизма. До сих пор можно лишь констатировать: 1) революции удалось оторвать от религии широкие массы, воспитав религиозный индифферентизм в большинстве и выковав активное богоборчество в ничтожном численно, но весьма энергичном меньшинстве; 2) революции не удалось уничтожить православной Церкви, которая в гонениях проявила большую духовную силу и способность к творческому возрождению; 3) революции удалось расколоть православную Церковь на несколько – около десятка – организаций, при наличии многомиллионного и растущего сектантского движения в народных низах. Этого достаточно, чтобы сделать невозможной – разумно и серьезно – в послереволюционной России государственную Церковь. Лишь политическая реставрация могла бы произвести этот эксперимент, одинаково роковой и для Церкви, и для государства. Внутренний религиозный опыт, выстраданный русской Церковью, заставляет ее дорожить свободой от государства. Этот принцип, еще недавно бывший лишь доктриной либеральной богословской школы, теперь завоевал признание в мистическом сердце церковности. Еще на периферии, и притом либеральной периферии (парадокс истории), сказываются соблазны огосударствления Церкви: ее перекраска в защитные революционные цвета. Но путь патриарха Тихона – то есть основное русло православной церковности – пролегает посредине между староверием православного самодержавия и обновленчески-сергианским оппортунизмом революционной синодальности. Нет сомнения, что прекращение религиозного террора и связанных с ним искушений (банька 40 мучеников), будет означать победу «аполитической» Церкви.

Перед этой Церковью открывается эпоха трудов и подвигов. Медленное завоевание народных масс потребует серьезной научной культуры и совершенной перестройки пастырского миссионерского

аппарата. Раскаленные добела мистические энергии ждут новых форм церковно-социального служения: новых братских и орденских организаций социального монашества. Наконец, изживание расколов возможно лишь в опыте истинной соборности, предполагающей большую широту духовных течений, поскольку они не разрушают единства Церкви и ее православного исповедания. Мистики и рационалисты, реакционеры-романтики и либералы-модернисты могут и должны вести свою борьбу на паперти общего храма. Только литургическое общение спасет от образования новых как мистических, так и рационалистических сект, слагающихся уже на основе богословской культуры и потому более опасных для церковного единства. Без государственного принуждения, привычного в течение веков, и без монархического папизма, строение церковного единства представляет постоянную и трудную задачу, настоящий подвиг соборности, к которому призвано ныне русское православие.

От нового государства Церковь вправе ждать лишь признания ее свободы. Значит ли это, что их отношения выльются непременно в классическую форму «отдаление Церкви от государства»? Эта формула может покрывать самое разнообразное содержание: от скрытого или открытого гонения на Церковь (Франция, СССР) до тесного сотрудничества (Америка). В России нет политической почвы для антиклерикализма. Православие уже доказало, вопреки 1600-летней традиции, свою способность примиряться со всевозможными формами власти. С другой стороны, всякая власть, дорожащая национальной культурой, не может отталкивать Церковь – в России хранительницу самых чистых и глубоких национальных традиций. Отсюда основания надеяться, что свобода Церкви в грядущей России не будет свободой изгоев и изгнанников. Государство имеет возможность, не изменяя своей религиозной нейтральности, оказывать Церкви серьезную поддержку: путем обеспечения религиозного (факультативного) преподавания в школе – для всех исповеданий, – путем материальных затрат на содержание храмов, признанных исторической и художественной ценностью, без профанирующего обращения их в музеи. От дальнейшего на первых порах лучше отказаться: субсидии обязывают и связывают. Церковь, политически лояльная по отношению к государству, должна сохранить перед ним независимость своего нравственного суда.

Здесь открываются пути для медленного, молекулярного срастания православной Церкви с тканью нового демократического общества. Священники-кооператоры и деятели профессионального движения,

епископы-ученые заполнят ров между Церковью и миром. Россия приучится видеть в рядах Церкви лучшие кадры своей интеллигенции. И Церковь благословит народ трудящихся и его власть, как благословляет она всякую плоть человеческую и всякую душу, не противящуюся Христу. Ее высшим удовлетворением будет видеть своих сынов правителями России, мужественно исповедующими свою личную веру задолго до того, как крест осенит Россию и купол Церкви покроет ее культуру.

б) Церковь и Россия

Россия без креста, Россия географическое место борьбы религий и сект, – ни один православный человек не примирится с этим. То, что кажется нормальным в самой ненормальной из цивилизаций, – вавилонское смешение языков – для нас нестерпимое уродство, тяжелый недуг вырождения. Мы жаждем целостного единства жизни и творчества. Нас мучит мечта о всенародном действии, о внехрамовой литургии, которая творится царственным священством христианской нации. Мы видим ангела русской Церкви в разодранных ризах, безутешного о погибшей красоте, и спасение остатков не примирит нас с отступничеством избранного народа.

Послереволюционная Россия – отяжелевшая, грубая, вся в алчности земного хлеба и в гордости земного могущества – Россия тракторов и пушек не может быть страной великой культуры. Сейчас бессмысленны мечты о перевале за исполинский хребет XIX века. Русский XIX век надолго останется непревзойденной вершиной нашего классицизма. Толстой, Достоевский, даже Пушкин были голосом христианского тысячелетия. За их личной гениальностью стоял углубленный и просветленный христианством гений народа. Так ощутима крестьянская (-христианская!) деревня за графом-мужиком Толстым и монастырь за грешным Достоевским. Не в занятии сельскохозяйственным трудом и не в близости к земле-природе смысл народничества как религиозной категории. Смысл его в народном массиве, хранящем память о древней правде и красоте. Европа этот массив давно разрушила, и крестьянин обернулся в ней «аграрием». В России он разрушен с революцией. Теперь у нас нет «народа», как нет интеллигенции. Остались «хлеборобы», «работники земли и леса», забывшие все начисто, tabula rasa для сельскохозяйственной арифметики.

Где, откуда на этой убогой земле подняться национальному гению? Не заменит его и изощренность мастерства, искушенность культурной традиции, чем живет Запад; Россия порвала все традиции, кроме традиции презрения к мастерству.

В России есть лишь один центр для духовного собирания народа. Есть сердце России, и пока оно не перестало биться, нельзя говорить о смерти нации. В Церкви, сжавшейся, сдавленной в темной подземной темнице, сохранились огромные, еще небывалые духовные силы. Они ждут своей актуализации. Придет пора, когда эта актуализация предстанет для них не в личном подвижничестве, а во всенародном служении. Это будет началом воскресения России.

Потеря «христианского народа» имеет и свое положительное значение. Благочестивая старушка перестает быть идеальной представительницей православного мирянства. Вместе с ней отпадает и бесхитростная установка на темноту. Христианство снова становится – как в Киеве и в Москве, как в Византии и в Риме – религией духовной аристократии. Творящие культуру слои освящают ее в купели мистерий, и оттуда воды ее текут до самой глубины народной жизни. Восстанавливается истинная иерархия духовного творчества нации. Вместе с прекращением рокового разрыва между «духовной жизнью» и «духовной культурой» создаются предпосылки для оцерковления культуры.

Оцерковление культуры – это наша христианская утопия, которую мы противополагаем всевозможным утопиям современности. Все остальные утопии реализуются в ней.

Оцерковление для нас – не подчинение внешнему авторитету Церкви. Оно есть осуществление религиозно-культурного единства, при котором Церковь не противостоит культуре, но творит ее в своих недрах. Это понятие не отрицательно-ограничивающее, но творчески-положительное. Его предпосылкой является не только признание миром религиозной правды Церкви, но и пробуждение в Церкви творчески-культурных сил. В этой утопии находят свое утоление и тоска художника по едином монументальном стиле, не мыслимом вне религиозной цельности, и тоска ученого по синтезе рассыпающейся груды наукообразных конструкций. Лишь в этой утопии вавилонская башня культуры становится храмом, оправдывающим свое священное имя (Bab-El). Купол святой Софии, как земное небо, спускается на исполинские столпы вселенского храма. А вокруг Храма уже видны очертания нового града – христианской общественности.

Два недуга, которыми больно человечество – иные думают, смертельно, – ненависть классов и ненависть наций – принципиально разрешимы лишь на почве христианства. Не , капитализм, то есть анархия личного произвола, и не коммунизм, то есть деспотия общества, а искомое

и трудноопределимое равновесие личных и коллективных хозяйственных воль. Кто же будет арбитром между личностью и государством? Нельзя сомневаться, что одним из существенных факторов решения социального вопроса является психологическая установка – на личность и общество одновременно. Но лишь в христианстве возможно парадоксальное равенство: часть целому. И лишь в православии – о, конечно, в возможности- даны предпосылки соборной общественности. Достоевский был прав, говоря, что Церковь – это наш русский социализм, – прав в смысле предвидения грядущего. Тщетно многие обращаются к современной России за решением социальной проблемы: для этого в ней отсутствуют и материальные, и моральные предпосылки. Но невозможное сегодня отодвигается в будущее. Из обломков коммунистической и капиталистической стройки медленно воздвигнутся стены христианского града.

Современное язычество с его самодовлением национальных культур делает невозможным сожительство и сотрудничество народов. Война в христианстве – по крайней мере война между христианскими народами – всегда остается делом грешным и постыдным. В нашу историческую эпоху – на другой день после мировой войны раздался явственно голос христианских Церквей о давно утраченном единстве. Но католичество, в самом имени своем несущее обетование единства, не может осуществить единства в свободе. Православие оказывается и здесь центральным материком христианского мира. Между ним и протестантизмом уже устанавливается единство если не веры, то любви. Православие уже не хочет уступать протестантизму духовной свободы, но показывает ему возможность духовной общественности. Проблема соединения Церквей необычайно трудна, но сближение Церквей, практическое единение христианства становится в порядок дня.

За расколами христианского мира встает во всей своей остроте великий спор между Востоком и Западом. Восток, начавший на наших глазах эпопею своих освободительных революций, скоро вступит в эру завоевательной экспансии. Россия, его ближайшая соседка, Россия, насыщенная восточными влияниями, становится призванной посредницей между Азией и Европой. Она имеет все основания смотреть с сочувствием на освободительное движение великих древних народов. Она может обильно и без вреда для себя черпать в сокровищнице их культуры. Но Она не предаст христианства и духовного первородства эллинства, которым она усыновлена. Если христианству, освобожденному от позорной связи с колониальными злодеяниями белой расы, суждено вырваться из роковых

границ греко-римского мира, То православие, конечно, всего ближе миру Востока, Византия так много впитала в себя этого Востока, задолго до вторичной ориентализации Московского царства. Древняя славянская мечта об Индии – мечта русских былин и сказок – осуществится не в виде новой, третьей по счету Индийской империи, а в виде новой индийской Церкви, в которой воскреснет почти угасшее христианство ап. Фомы. В свете нового возрождения – возрождения Востока, – не мечтой, а точным историческим фактом становится центральное положение России в мире. В наше время неслыханных исторических унижений, пред лицом национального отступничества России, снова раздаются голоса о ее христианском призвании. Мессианская идея – ветхозаветно-реакционная – не имеет права на бытие в христианстве. В православии особенно раскрывается идея христианского призвания всех народов и их соборного единства, исключающего подчинение: и Риму, и Царьграду, и Москве. Но остается объективная истина особой тяжести служения, возложенного на Россию, и – в прошлом – щедрости ее даров. Нельзя только забывать об отступничестве России и вытекающей из него утрате харизм. Лишь через длительное очищение, через суровую аскезу смирения (мессианство – гордыня) лежит путь к земле обетованной. Лишь с этим условием чаемая нами утопия перестает быть мечтательной и вредной.

И в самой смелой из утопий нельзя забывать об иерархии состояний, о годах духовного роста. Оцерковление культуры, к которому мы стремимся, многие именуют православной теократией. В понятии теократии на первый план выдвигается идея христианского государства или христианской власти. И вот здесь необходимо сказать со всей решительностью и силой: да, государство подлежит оцерковлению, но государство есть последнее, что подлежит ему. Из всех культурных сфер государство столь тяжко насыщено грехом, столь несомненно несет на себе печать основателя Каина, что реальная христианизация его встречает наибольшие трудности. Мнимая же или словесно символическая его христианизация ощущается современной христианской совестью – более чуткой, чем совесть предков – как невыносимое лицемерие. Нет более страшной мысли, чем та, что Христос, распинаемый в России большевиками, будет распинаться в ней православным царем. Дело не в том, что христианская теократия предполагает невозможное состояние безгрешности. Но она, во всяком случае, предполагает такую иерархию ценностей, при которой все земное подчиняется Царству Божию. Совершенно ясно, что душа человека, его мысль, его творчество, его трудовая жизнь должны прежде получить помазание Церкви – лишь тогда

будет благословен и его меч, которого он не может обнажить в порядке природном без страсти и злобы.

Но в плане утопии, в которой нет счета ни поколениям, ни векам, можно мыслить – и должно мыслить – христианскую Россию, Россию правды и свободы, которая достойна быть увенчана православным венцом. Незачем думать, что этим венцом может быть лишь царская корона. Если грядущая Россия будет страной народовластия, то она найдет церковные формы его освящения. Как древний Израиль, как православный Новгород, Россия может осуществить народную теократию. Всенародность государственного служения раскроет себя как выражение церковной соборности. Весь народ будет увенчан и помазан в лице своих вождей и судий. Но здесь порог, у которого останавливается и самая смелая из утопий.

Социальный вопрос и свобода

Социальный вопрос сохраняет для нас все ту же остроту, какую он имел для XIX века. Для современного общества это загадка сфинкса, не разрешить которой значит погибнуть. Однако со времени войны постановка его совершенно изменилась. Это изменение так значительно, что человек, социальное сознание которого воспитано в обстановке начала XX века, рискует ничего не понять в социальной современности. Во всяком случае, ему надо переучиваться с азов.

Прежде всего, социализм (берем это слово в его самом широком значении) утратил весь привкус утопичности и максимализма, который превращал его в «музыку будущего». Социализм есть самый практический, очередной и неотложный вопрос современности. В эру социализма мы уже вступили, не заметив этого, как не сразу замечает путник в горах надвинувшегося на него облака. В самом деле, момент «социальной революции», грань, отделяющая буржуазное общество от пролетарского, в сознании социалистов совпадал с «завоеванием» ими политической власти. Этот момент давно уже позади нас – с тех пор, как социалисты управляют или управляли государствами половины Европы. Правда, их появление у власти почти ни в чем не отразилось на экономическом строе. Но это уже связано с огромными трудностями социального преобразования общества – трудностями, впервые открывшимися для самих социалистов. По крайней мере в одном величайшем государстве Европы, где правят люди, свободные от этических и разумных предпосылок, социализм осуществляется всерьез вот уже четырнадцатый год, и не один десяток миллионов людей пал жертвой этого социального эксперимента.

Вторая особенность современного социального вопроса – в том, что он по содержанию своему уже не совпадает с вопросом рабочим. Все общество в целом страдает от потрясений разладившегося хозяйственного механизма. Есть общественные группы, которые оказались беззащитнее перед кризисом, чем пролетариат. Благодаря мощи своих политических и экономических организаций, рабочий класс во многих странах застраховал себя от безработицы государственной помощью. Пролетариат уже перестал быть последним из обездоленных. Но широкие слои интеллигенции, ремесленников и крестьянства совершенно беспомощны перед бедой. И наконец, «молнии разят самые высокие вершины». Каждый биржевой крах влечет за собою ряд самоубийств среди вчерашних

властителей мира. В Америке уже открываются убежища для разорившихся миллионеров. В современных экономических бурях никто не может почитать себя в безопасности.

Если для рабочего класса социализм по-прежнему может представляться делом справедливости и пафос равенства (ненависть к неравенству) определяет его классовую борьбу, то для интеллигенции и других слоев, вовлеченных в социальное движение, дело идет не о равенстве и даже не о справедливости – а о существовании. Поскольку движение получает объективную идеологическую санкцию, оно находит ее не в классовом интересе, но и не в этическом требовании, а в государственной необходимости. И в этом третья существенная черта нового «социализма». Так условимся называть в дальнейшем антибуржуазные движения нашего времени, враждебные пролетарскому социализму: фашизм, национальный социализм и прочее.

Старый социализм мог глубоко скрывать свое этическое жало – отчасти из целомудрия, отчасти по недомыслию или желчности темперамента. Его гуманитарная основа сохранялась даже в марксизме. В извращенно-отрицательных реакциях – ненависти и злобы – догорал зажженный гуманистами 30-х годов костер сострадания и ненавидящей любви. Революционный социализм вырастает из тех же слоев сердца, что «Бедные люди» Достоевского или «Отверженные» Гюго. Его упадочная линия развития ведет через сострадание – справедливость – интерес. Но до наших дней приток интеллигенции в социалистические партии был бы немыслим, если бы в социализме не сохранялся – пусть самый слабый – запах выдыхающейся эссенции романтических 30-х годов.

Новый социализм начисто свободен не только от романтизма, но и от морализма вообще. Отправляясь не от защиты угнетенных, а от сохранения общества в целом, он проникнут пафосом не справедливости, а организации. Современное общество кажется ему не то что корыстным, тираническим, жестоким, но прежде всего плохо организованным. От анархии буржуазного общества он обращается не к идеальной анархии будущего, а к порядку и мощи реального, национального государства. Это государство давно уже крепнет вместе с упадком либерализма. Война сделала его на время почти всемогущим. Свобода, жизнь всех граждан, хозяйственный строк, представлявшийся мистически неприкосновенным, оказались на годы в неограниченной власти государства. Воспоминание о днях этого героического деспотизма вдохновляет ныне, в эпоху буржуазного бессилия, перед лицом все новых грозных кризисов. Война дала почувствовать мощь организации и обаяние мощи. Пафос борьбы и

победы, державший в напряжении сотни миллионов людей, действительно оказывается выражением воли к мощи: Wille zur Macht. Само по себе начало организации как порядка может быть упоительно для прусского чиновника или для голландского лавочника. Но не ему, не этому началу консервативного порядка вдохновить выкормленное кровью поколение. Лишь в соединении с соблазном мощи организация увлекает новых революционеров. Новый социальный идеал оказывается родственным идеалу техническому, как .бы социальной транскрипцией техники: социальным конструктивизмом. Новый человек хочет строить новый город из огромных глыб человеческих масс, и государство представляется для его сожженной совести, для его оскудевшего разума единственным и притом безграничным источником энергии. Оно должно поставить на службу себе все силы и способности человека, сковать все классы цепью социального долга и разрешить, наконец, проблему разумного хозяйства и всеобщей обеспеченности.

В последней войне государство прикрывало свое абстрактно-идеальное начало живой национальной плотью. Люди умирали не за государство, а за родину. Небывалый в истории разлив национальных страстей был порождением войны. Нация оказалась сильнее класса, сильнее религии. Нация все еще полна обаянием бессознательно-творческих энергий, в ней живущих, дорогих красотой и правдой все еще не до конца омертвевших стихий народной души. И новые социальные строители эксплуатируют романтические чувства, без которых все еще не может обойтись человечество: только социальный романтизм уступил место национальному. Для многих деятелей движения национализм является не приправой необходимой демагогии, а подлинной его природой. Во всяком случае, он единственный идеальный его стержень, соответствующий моральным двигателям старого социализма.

Государство и нация доселе (в конце XIX – начале XX в.) принадлежали к консервативным ценностям политики. Новый социализм, вдохновляясь ими, показывает свое антиреволюционное происхождение. Действительно, встреча его со старым социализмом на поле социальной программы вторична и онтологически случайна. В одном акте стремятся выразить себя противоположные энергии духа. Новый социализм есть последнее слово социальной реакции. Нельзя говорить о консерватизме движения, стремящегося ниспровергнуть существующий капиталистический строй. И хотя слово «реакция» многозначно, его можно употреблять для характеристики всех сил, которые в новое время, принципиально и радикально, восстали на мир идей, породивших

Великую Революцию или порожденных ею. Для этого идейного комплекса, для всего существенного и пребывающего в нем есть одно объемлющее слово: свобода, а отрицанием свободы определяется природа реакции.

В наше время умышленно не желают понимать значения слова «свобода» и требуют его строгого определения. Строгое определение свободы встречает большие философские трудности, а отсюда заключают с поспешным торжеством о пустоте и бессодержательности самой идеи. Как будто бы легко определить «любовь», или «родину», или даже «нацию». И будто бы нужно сперва найти определение нации или отечества, чтобы умереть за них. Еще не совсем сошло в могилу то поколение (поколения), которое умело умирать за свободу как за величайшую святыню, не спрашивая ее философских определений. Вера не тождественна с богословием. Существенно не содержание свободы, а вера в свободу или пафос свободы. К тому же в политической жизни речь идет не о метафизической, а о социальной свободе: об уменьшении зависимости, о возрастании самоопределения личности по отношению к обществу и прежде всего к государству; таким образом, свобода получает достаточно определенное содержание. Правда, это содержание должно быть еще более уточнено, чтобы пол-: учить деловую пригодность в политической работе нашего времени.

Когда-то, особенно в середине XIX века, консерваторы любили противополагать свободе порядок: не власть, не мощь как биологически-эстетическую ценность, а именно порядок. Любопытно, что с того времени (1848 г.) буржуазия чувствует себя на стороне порядка, хотя социализм, и старый, и новый, не перестает упрекать ее в анархизме. Старый «порядок» и .новая «организация», казалось бы, чрезвычайно близки по своему значению. Однако порядок выражает более статическую, данную сторону социальной организации; организация в современном смысле – творчество нового порядка. Но и порядок, и организация суть силы, ограничивающие свободу, частично или целиком отрицающие ее.

Действительно, всякое социальное строительство совершается за счет свободы личностей, урезывая, умаляя ее. Всякий закон, всякий устав, образование каждой, хотя бы совершенно свободной, корпорации означает отказ (или принуждение к отказу) личности от некоторой доли ее прав. Личная свобода есть материя, из которой шьется всякая социальная одежда. Запас этой материи не может быть неистощимым; он расходуется и не пополняется ничем. Это значит, предел всякой общественной организации есть всеобщее рабство. Противоположный, низший предел

организации есть полная социальная нагота, анархия, свободная и жестокая борьба всех против всех. Между этими двумя границами совершается колебание социальных приливов и отливов. Средневековье знало широкую свободу личностей (феодальных) и групп (корпораций), правда на фоне массовой несвободы сервов. Абсолютная монархия нового времени подчинила буйную феодальную свободу всеобщего порядка. Окостенелая стеснительность этого порядка вызвала взрыв буржуазного освобождения, пытавшегося построить жизнь на свободной игре сил. Ныне государство, питаемое социальной идеей, собирается положить конец этой свободе и восстановить свой, столь недавно поколебленный абсолютизм. В Италии и России оно утверждает себя с такой беспощадностью, как ни одна тирания времен Возрождения, оставляя позади себя даже крепостную империю Диоклетиана и Константина. Фашистское государство Италии представляется более зрелым и зловещим в своем холодном демонизме, чем остервенелое безумие коммунизма. Коммунизм в России живет еще бессознательным отголоском Великой Революции. Утверждая себя как диктатуру класса, обреченного на уничтожение в процессе революции, он сам признает свою переходность и временность. Фашизм сознает себя Империей, которая хочет быть вечной, как Рим. И коммунизм, и фашизм выходят далеко за грани только экономической или социальной реконструкции общества. Для фашизма эта задача даже явственно оказывается на втором плане. Но они оба стремятся к полному овладению человеческой личностью, к совершенному использованию ее в интересах государства. Работник, солдат, производитель – вот все, что остается от человека. Государство не оставляет ни одного угла в его жилище, ни одного угла в его душе вне своего контроля и своей «организации». Религия, искусство, научная работа, семья и воспитание – все становится функцией государства. Личность теряет до конца свое достоинство, свое отличие от животного. Для государства-зверя политика становится человеческой отраслью животноводства. Ясно, что такое самосознание государства несовместимо с христианством. В явной или скрытой форме война христианству объявлена в коммунистической России, в фашистской Италии, в гитлеровской Германии. Лишь русские эмигрантские варианты национального социализма любят рядиться в православные цвета. Впрочем, православие их при этом неизбежно теряет христианское содержание, превращаясь в национально-бытовой полуязыческий ритуализм.

Какие силы в мире противостоят этому натиску универсального деспотизма, на страже свободы? В течение полутора веков свобода во всех

ее аспектах – как свобода политическая, экономическая и духовная – была связана с судьбой одного класса – буржуазии. Ее гегемония в современном обществе сообщает ему характер самого свободного из когда-либо существовавших на земле. По-видимому, это не было случайностью. Не раз в истории торжество буржуазии было отмечено расцветом свободы: в демократиях Греции, в средневековых коммунах, в вечевых народоправствах Руси. Ввиду различия духовных основ этих культур объединяющее их свободолюбие буржуазии следует объяснить ее своеобразной ролью в общественно-хозяйственной жизни. Буржуазия несет с собой начало личной инициативы, сознательного расчета, свободной и личной организации производства. Пусть иногда она не отказывается от помощи и привилегий государства. В основном она держится на вере в собственные усилия экономически-творческой личности. Буржуазия проникнута известным недоверием к государству, к его вмешательству во все жизненные сферы. Она придерживается государственного минимализма. Защищая прежде всего свою свободу хозяина, свободу хозяйственного творчества, она психологически приходит к признанию свободы вообще: свободы гражданина, свободы разума и совести. Есть одна сфера духовной свободы, которая совершенно непосредственно связана с буржуазным сознанием: это свобода мысли. Мысль для буржуа есть непременное и постоянное условие его собственного хозяйствования: строгая, аналитическая и синтетическая, вполне наукообразная мысль, которая отличает рационализм буржуазной экономики от других традиционных и социально-связанных хозяйственных форм. Творческая психология капитализма сродни психологии науки. Буржуа всегда поддерживает критическую пытливость ученого, и XIX век, губительный для многих отраслей духовной культуры, оказался исключительно счастливым для научного творчества. Но дух науки – это дух свободы.

Буржуазия европейских обществ пережила очень сложную и бурную историю. В процессе ее буржуазное обоснование свободы меняло свою идеологию. В начале новых столетий это обоснование имеет строго христианский характер. Первый капиталист проявляется перед нами в облике сурового протестанта. Пуританин, он протестует против роскоши и легкомыслия католически-дворянского «света», он замыкается в своей семье, противополагая ее, как свой «замок», государству. Его нравственный идеал построен на верности и честности, строгости к себе и другим. Это мораль долга, ветхозаветная по своей религиозной природе и охотно облекающаяся в библейские одежды. За свою веру, за свое

«истинное» христианство, в его личном духовном понимании, буржуа готов идти в изгнание и на смерть. Свобода, за которую он борется, есть прежде всего свобода христианина – Freiheit eines Christenmenschen – противополагаемая им государству и его религиозному принуждению.

За этой ранней, англосаксонской формацией буржуазии следует вторая, континентальная, преимущественно французская, торжество которой связано с циклом европейских революций. Ее религия уже потеряла христианский характер. Это религия гуманизма в оптимистической транскрипции XVIII века. Ученики Руссо и Бентама верят в мудрость природы и благость человека. Свобода является простым выводом из предпосылки натуральной гармонии. Из свободной игры личных сил создается общее счастье. Поменьше организации; законы – цепи. Долг совпадает с торжеством личной воли. Здесь революционные романтики и сухие утилитаристы (Гюго и Бентам) стоят на общей почве: дают разно окрашенные, но по существу тождественные обоснования буржуазной свободы.

В наши дни от этого гуманитарного оптимизма почти не осталось и следов. В странах его былого господства его сменил скептицизм, отрицающий возможность познания абсолютной истины. Скептицизм сделался основой буржуазного сознания во Франции, где он продолжает старую классическую и аристократическую традицию. Строящаяся на нем культура носит явно упадочный характер. В этой фазе буржуазия наследует имморализм дворянского возрождения. Свобода, которой по-прежнему дорожит буржуазия, имеет для нее двоякий смысл: возможно более удобного наслаждения жизнью и нестесненного упражнения интеллекта. Свобода мотивируется в наши дни чаще всего невозможностью познания истины и вместе с тем интересом (и полезностью) ее исканий. Свобода ученого защищается буржуазным неверием, как свобода художника – буржуазной похотливостью. Это не мешает науке и искусству нашего времени – отнюдь не буржуазным – быть творческими в высшей мере, нежели творчество предыдущего поколения: содержать в себе более духовных, даже религиозных ценностей. Нередко социальная функция духовной деятельности совершенно не соответствует ее внутренней ценности. В эпоху абсолютной монархии искусство было формой придворной роскоши. Наука и в наше время обслуживает прежде всего профессиональные потребности.

Остается фактом, что никогда в мире свобода, даже свобода высшей духовной деятельности, не была более уважаема, лучше защищена, нежели

в век буржуазного скептицизма. Но эта защита не прочна. Более того, буржуазия компрометирует свободу своим покровительством. Есть все основания опасаться, что социальное падение буржуазии увлечет за собой и падение свободы. Уже сейчас самая сильная ненависть к свободе питается справедливым отвращением к природе современного буржуа. Свобода должна найти для себя более прочное обоснование, нежели буржуазный скептицизм. Иначе она будет сметена тем или иным фанатизмом, который идет ему на смену. Скептицизм есть жизненная установка умирающих классов.

Однако не следует забывать, что духовная упадочность характеризует буржуазию главным образом романской Европы: ту, которая пришла к власти вместе с Революцией. Англосаксонский, отчасти германский мир еще хранит веру реформации, и его христианство обладает большой жизненной активностью. Кальвинистическая буржуазия в немалых слоях своих имеет чувство социальной ответственности и, пред лицом настоящего кризиса, ищет выхода, хочет участвовать в поисках общественного строя.

И еще: когда мы произносим свой окончательный суд над буржуазией, нужно помнить все ее великое и героическое прошлое: века борьбы за свободу и достоинство человеческой личности, самоотверженный подвиг исследования мира, трагические искания целостного мировоззрения – все, над чем занесен сейчас топор варвара. Буржуазия не была создательницей гуманизма, но судьбой своей она поставлена на страже его. Она связана с ним общим грехом и вместе с ним живет под угрозой кошмарной расплаты.

Свобода имеет в современном мире, кроме буржуазии, еще одного защитника: партии старого «демократического» социализма. Его прошлое, самое рождение его, казалось, не предназначало его к этой роли. Противник буржуазии, привыкший превращать отрицания в утверждения, социализм, исторически и логически, должен был защищать начало организации против свободы. Вместе с Лассалем он издевался над либеральным пониманием государства как «ночного сторожа». Он совершил немало грехов против политической свободы в середине XIX века. Это он содействовал – не только косвенно, но и прямо, рабочим голосованием, – установлению II Империи во Франции. Он вместе с Марксом и русскими народниками первого призыва отрицал всеобщее избирательное право и политическую демократию. Но времена изменились, и социализм давно уже стал синонимом европейской демократии. В самом рождении своем социализм несет печать

двойственности. Как отрицание буржуазии и революции, приведшей ее к власти, он с самого начала имел в себе черты авторитарного мировоззрения. Таков социализм Сен-Симона. Таков социализм всех утопий, многие из которых (Мор, Кампанелла) восходят к традициям абсолютизма. Таков социализм многих реакционеров XIX века, Родбертуса иРёскина – правда, лишенный актуального значения. Но исторически социализм сформировался как левый фланг революционного движения. Еще в 40-х годах социалисты сражались плечом к плечу с буржуазными демократами. Веяние Великой Революции колыхало красное знамя. Ставя ударение на равенстве, социалисты не отвергали и свободы. Далекие от отрицания революции, они лишь хотели сделать из нее последние выводы: равенство – экономическое; свобода – для всех. Это сглаживало антилиберальные шипы социализма, помогало его буржуазному перевоспитанию.

Что касается Маркса, то он стоит посредине между революционным и реакционным течениями социализма. Он, несомненно, глубоко ненавидел идейное содержание буржуазной революции: свободу, равенство и братство. Но столь же несомненно он принимал ее разрушительное дело. При всем теоретическом конструктивизме своего ума, Маркс не интересовался строительством жизни. Он не удосужился хотя бы намекнуть на то, как будет выглядеть осуществленный социализм. Разрушение – точнее, построение мощных машин для разрушения – было единственным смыслом его жизни. Поскольку ненависть к личности и свободе к нему доминирует, его психический тип приближается к типу реакционера. Да и в своих непринужденных личных оценках он всегда предпочитал деятелей реакции либералам. Его ученикам пришлось много потрудиться, чтобы отмыть черную краску с портрета Учителя.

Лассалеанцы духовно победили в лагере немецкого социализма и превратили партию социального переворота в партию социальной демократии. Германская партия, в свою очередь, на своих дрожжах подняла весь европейский социализм. В настоящее время он оказывается почти тождественным с европейской демократией. Исчезновение либеральных партий в Англии и Германии показывает, что социализм впитал в себя все содержание буржуазной демократии – без экономического либерализма, конечно, отвергнутого жизнью. Замечательно, что новейшие определения демократии – ее природы и ее идеи – странным образом отправляются не от власти народа, но от ценности личности. Но личность и ее свобода составляют метафизическое основание либерализма. Это значит, что под демократией в настоящее

время понимают либерализм, имя которого скомпрометировано устарелой экономической доктриной. Как ни странно сказать, но либерализм, социально окрашенный, составляет главное содержание и современного социализма. Вот почему либеральная буржуазия Европы охотно поддерживает социалистические правительства; ей при этом почти не приходится приносить жертв. Подобно тому, как буржуазия получила в наследство от дворянства сознание личного достоинства и общую культуру, так пролетариат делается наследником буржуазной культуры и свободы.

Однако это наследие буржуазии далеко не безвредно для социализма. Чего стоит одна прививка буржуазного миросозерцания! Это настоящая отрава, которая вошла в тело социализма – с самого его рождения. Если дворянство привило буржуазии дух Вольтера, то буржуазия пролетариату – догматический материализм. Отсюда вырастает мелкая и даже пошлая система жизненных и нравственных ценностей, которая воспитывает в рабочем, едва остывшем от революционного пыла, гедонизм мелкого буржуа. Материальный подъем рабочего класса составляет громадную заслугу социального движения XIX века. Однако оборотной стороной ее является выветривание социального идеала. По мере того как рабочий входит в мир интересов буржуазного общества, участвует в его управлении и защите, он все менее думает о его переустройстве. Все силы социализма в Германии направлены на защиту республики, в Англии – на управление мировой Империей в духе национального либерализма. Это великие и достойные задачи. Но во Франции уже социализм представляет просто отряд радикализма, занятого травлей кюре и борьбой за парламентские кресла. Гипертрофия политики замечается всюду: и это в то время, когда значение политических проблем во всем мире отходит назад перед проблемами экономическими. Демократический социализм сейчас нигде не имеет продуманной и глубокой социальной программы. Ему нечего противопоставить соблазнительным демагогическим лозунгам гитлеровцев и коммунистов.

Эта социальная немощь лишь отчасти объясняется «остепенением» старого социализма, пониманием всей трудности социальной проблемы. Отсутствие настойчивых исканий, постоянного упора в этой области свидетельствуют об общем буржуазном перерождении.

Социальный консерватизм старого социализма объясняет успехи коммунизма в рабочей среде Европы. Коммунизм один ставит социализм в порядок дня и обещает быстрое и легкое его завоевание. Как идеологическое явление, коммунизм не представляет ничего нового. Это

уцелевший обломок левого социализма, повторяющего допотопный марксизм 40-х годов. Однако торжество его в России сообщает ему новую и опасную определенность. Оставим в стороне чисто русскую природу большевизма и вглядимся в его европейское лицо. Ленин стоит ближе всех к Марксу «Коммунистического манифеста». Но оставленную Марксом бессодержательную формулу диктатуры пролетариата он заполняет определенным содержанием: полицейским абсолютизмом рабочего государства. Тем самым черная краска снова густо ложится на красный портрет Маркса. От революционного фашизма коммунизм отделяет лишь классовая рабочая структура государства и – до времени или по видимости – вненациональный характер государства. Влияние Москвы в революционной Европе, подражательность западных учеников не сулит ничего доброго в случае переворота. После Ленина пролетарская революция в Европе означает политическую и духовную реакцию.

Так два социальных стана стоят друг против друга: черно-красное знамя социальной революции и бледно-розовое- социального порядка и свободы. Победа означает построение рабочей или внеклассовой деспотии с подавлением духовной культуры и медленным угасанием культуры вообще. Победа второго не обещает выхода из тупика. Не разрешившая экономической проблемы Европа идет от кризиса к кризису, к обнищанию и упадку. Но лишь в этом стане, хотя слабыми руками и устаревшим сознанием, готовы защищать свободу.

Где же выход? Где та сила, третья между двумя противниками, которая способна начать творческое возрождение? Которая означала бы не свободу против строительства и не революцию против свободы, а свободное строительство?

Из анализа разрушительных идей нашего времени уже вытекает структура творческой идеи-силы: она должна соединить в себе утверждение свободы и утверждение организации. Как возможно это, если организация покупается за счет свободы? Очевидно, путем самоограничения свободы. Но для того чтобы самоограничение свободы было действительно свободным актом, а не стыдливой формой насилия, в свободе должны быть определены разные уровни глубины, или разные степени онтологической реальности. Утверждая себя на последней глубине, в подлинной реальности своего бытия, свобода может и должна ограничить некоторые свои обнаружения: вовне, в быту, в жизненно-хозяйственном порядке. Во имя чего? Во имя уважения к свободе других людей, их жизни, их достоинству, их спасению. Экономический строй капиталистического общества уничтожает реальную свободу масс,

свободу их духовной жизни, даже свободу их труда ради проблематической хозяйственной свободы немногих. Экономическая свобода приводит, в масштабе целого общества, к своему собственному отрицанию. Она и должна быть ограничена, подобно тому как неизбежно ограничивается, в процессе осложнения цивилизации, свобода внешнего быта: постройка жилищ, движения по улицам и дорогам, даже шумов и звуков. Теоретически это давно и всеми признано. Но жизнь требует не маленьких жертв, не фискальных и полицейских ограничений, а широкого и смелого плана социальной реформы. Подобно тому, как в наши дни строятся по плану новые города, города-сады, так же должен быть создан и осуществлен план нового общественного града. Но, чтобы с самого начала новый град не сделался гигантской тюрьмой, в основе его учредительной хартии должна быть положена неприкосновенность духовной свободы личности. И не только выражена в букве хартии, но и воплощена во всем стиле творимой культуры. Опасность действительно велика. Для огромного большинства человечества хозяйственная деятельность есть единственная форма культурной активности. Утрата хозяйственной свободы может повлечь за собой закрепощение и других, более глубоких сфер жизни. Нет государства более могущественного, нежели то, которое держит в своих руках источники материального существования. Большие духовные силы должны быть противопоставлены ему, чтобы защитить духовный мир человека. Под духовным миром мы понимаем не только глубину личной совести или мысли, по отношению к которым не властно никакое внешнее принуждение, но и социальную сферу духа – культуру, которая возможна лишь как свободная гармония личных творческих актов. Перед культурой, то есть перед выражением мысли и художественно-этической воли должно остановиться общество со своим организационным планом. Преступна самая идея организации культуры.

Между миром духовной культуры – сферой личной свободы – и миром хозяйственного и технического быта – сферой общественной организации – лежит промежуточная сфера политики. Политическая свобода не имеет той непосредственной ценности, как свобода культурная. Ее объем, то есть зависимость гражданина от государства, колеблется в зависимости от разных исторических необходимостей или случайностей. Права гражданина не подлежат столь точному и принципиальному определению, как права человека. Глубокая экономическая перестройка общества не может не повлечь за собой изменения всего политического строя. Трудовое общество, весьма вероятно, найдет для себя новые формы демократии, отличные от общества буржуазного. Это особая, сложная

тема, которой не стоит затрагивать попутно. Однако вот что необходимо подчеркнуть со всею решительностью: не может быть свободы культуры там, где ничем не ограждены права гражданина. Самодержавное государство – все равно, монархия или демократия – не способно остановиться перед кругом духовной свободы. Прежде всего потому, что отсутствуют точные грани между политикой и культурой. Правительство, пользующееся монополией прессы или хотя бы цензурой политической печати, не замедлит распространить эту монополию или цензуру на научную, философскую, религиозную мысль. Опыт современных диктатур достаточно показателен. С другой стороны, нельзя безнаказанно унижать и самую природу политической активности. Но политика неотъемлема от социальной природы человека: она тесно сращена с социальной этикой. Политика – не только борьба за интересы, права или привилегии, но и за общественные идеалы. Отмирание политики для огромной массы человечества означает отмирание социального сознания вообще. Культуры, построенные на отрицании общегражданской политики, – царства Востока или Россия – обнаруживают огромные провалы в своей иерархии ценностей. Обидно, когда политические страсти отнимают слишком много духовной энергии. Но опыт учит, что умирание политических страстей постепенно ведет к угасанию и высших культурных энергий: к духовному застою и «органической» окаменелости.

Возвратимся на минуту к самой низшей – экономической – культурной сфере. Даже здесь полное, стопроцентное убийство свободы означает убийство самой хозяйственной жизни. Без творчества, то есть без некоторой свободы работника и организатора, не может быть ни технического прогресса, ни даже сохранения достигнутого уровня. Если опыт коммунизма имеет какое-нибудь значение для мира, не только для России, то именно как опытное доказательствоневозможности абсолютного огосударствления хозяйства. Государство-вампир, эксплуатирующее нищих рабов, – такова, думается, не только русская, но и мировая схема «интегрального» социализма. Свобода должна быть существенным ингредиентом в социализации производства. Государство не может быть единственным субъектом хозяйства. Да и вопрос еще: государство ли возьмет на себя задачу хозяйственной организации или другие органы общественности: синдикаты, кооперативы, муниципальные союзы? Этот вопрос, или комплекс вопросов, и составляет главное содержание социальной проблемы нашего времени. Не индивидуализм и не этатизм в хозяйстве, а неизвестное, искомое сочетание личных и общественных сил – такова тема истинного «социализма».

Градуация свободы в хозяйственной жизни, градуация ее во всей культуре, в соответствии с подлинной иерархией ценностей, – таково задание нового града, не новой утопии, а насущнейшего, практического дела современности.

Но осуществимо ли оно? Не является ли утопией сама вера в возможность разрешения современного социального конфликта? Мы этого не знаем. Даже если бы и знали (то есть предполагали) это, долг требует напряжения всех сил для предотвращения гибели. Но кто может сказать, что он знает неотвратимость рокового конца? Нынешнее положение Европы очень мрачно и, по-видимому, ухудшается с каждым годом. Но два социальных стана, на которые она распалась, стан свободы и стан организации, сохраняют приблизительное равновесие сил. Каждый из них защищает социальную идею большого силового напряжения. В мире не до конца иссякли идеалистические энергии. Горе в ихразделённости, в ложном (ибо слишком однородном) сочетании сил. Необходимо новое переключение сил, новая перегруппировка элементов. Такое переключение мировых сил возможно. Оно не раз происходило в истории, всякий раз сопровождая рождение новой великой идеи. Идея – огромная сила в истории – конечно, не всякая, не случайная, не соответствующая исторической необходимости или долженствованию. Рождение фашизма на наших глазах было последним историческим чудом идеологического порядка. Фашизм не связан ни с одним определенным классом, ни с одной из старых социальных сил. Но дав возможность кристаллизации большой исторической идеи, выразившей почти всеобщую потребность – идеи национальной организации, – он стал силой, высшей всех классов и самого государства. Старый социализм сам был примером власти идеи. Он не столько вырастал из классовой борьбы пролетариата, сколько сам создавал ее; более того, создал самый пролетариат как класс. Ослабление социализма в наше время, время его большого численного роста, связано именно с упадком его идейной напряженности. Силы, которые он вел за собой, за знаменем социальной организации, отливают от него в черно-красный стан фашизма.

Новая идея – свободного строительства, – которой жаждет погибающий мир, может оказаться бессильной и безжизненной, если ее принять рассудочно, как компромисс или синтез двух сил. Ненавидящие друг друга силы не примут компромисса. Миром управляют страсти, а не рассудочные соображения. И невозможен искусственный синтез противоборствующих органических сил, как невозможен, например, духовный синтез Франции и Германии. Но идея свободного строительства

или вольного строя может явиться не отвлеченной, а органической, поскольку она рождается из целостной религиозной глубины. Не в создании новой религии – бессмысленное начинание! -и не в ожидании ее откровения – надежда на реализацию идеи. Эта религия существует. Она вечна. В христианстве – и только в нем – утверждается одновременно абсолютная ценность личности и абсолютная ценность соборного соединения личностей. Это достаточно выяснено русской богословской школой. Именно в ней показаны и возможности социального приложения конкретной идеи Церкви. Правда, мы знаем также, что эти драгоценные социальные выводы до сих пор не были сделаны. Из последней духовной свободы не вытекала ни свобода культуры, ни свобода гражданственности. Да и положительная социальная активность Церкви сильно упала за последние века. Однако именно теперь Церковь начинает выходить из векового социального «паралича». Это факт бесспорный для всякого, даже антицерковного наблюдателя мировой жизни. И – факт еще более значительный: новая общественная активность христианских Церквей не имеет никакого привкуса реакции, как в XIX или XVIII веках. В недрах христианства рождается новое социальное сознание. Всего ярче оно в англиканстве и некоторых течениях кальвинистического протестантизма. Особенно сильные новые течения в христианской молодежи всех исповеданий. Молодежь – это завтрашний день истории. Если судить по ее настроениям о завтрашнем дне, то три силы борются за господство в мире: фашизм, коммунизм и социальное христианство, Социальное беспокойство живет и в католичестве, живет и в православии. Пусть православная молодежь русской эмиграции соблазняется фашизмом. В самом православии заложено всего более основ для свободной общественности, хотя исторические условия чрезвычайно затрудняют ее актуализацию. Малое облачко на горизонте. Но- такое облачко несло когда-то для Илии обетование благодатных гроз, пролившихся дождями над измученной от засухи землей.

Когда христианство явит себя миру как сила общественная, его малое, но крепкое верой ядро снедается центром притяжения и кристаллизации всех живых в мире и творческих сил. Произойдет великая перегруппировка. В первую очередь призваны к положительному творчеству социалистические силы, ныне лавирующие бездейственно между либерализмом и коммунизмом. Зарождение религиозных групп в социализме – явление очень значительное и новое. Еще более значительно то, что религиозные группы в социализме проявляют всего более социальной (в отличие от политической) активности. Это указывает

направление исторической магистрали. Среди буржуазии, особенно христианской, найдутся группы, способные поставить общественное или национальное спасение выше классовых интересов. Интеллигенция по природе и социальной чуткости своей должна идти за мощной и творческой идеей. Новая, третья социальная сила, подобно фашизму, не может быть классовой, но всенародной. И, подобно социализму, она не может быть только национальной. Для христианской совести, как и для современного хозяйства, земной шар уже стал единым живым телом.

Будет ли так, мы не знаем. И это хорошо, что мы не знаем, что будущее скрыто от нас. Человечество всегда может погибнуть. И погибнуть оно может на разных путях: в коммунизме, в фашизме или в буржуазном разложении. Но спастись оно может только в христианстве.

Трагедия древнерусской святости

Когда мы вдумываемся в трагическую судьбу древнерусской культуры – и прежде всего русской Церкви, – для нас трагедия эта воплощается в двойном и взаимно связанном расколе конца XVII века: раскола раскольничьих стрелецких бунтов, и не было более ожесточенных врагов его дела, чем последователи «старой веры». Петр продолжал в государстве и быте реформу, начатую Никоном в Церкви. Реформа Никона была скромна и совершенно ортодоксальна, реформа Петра, ломала все устои древней жизни. Но приемы своего проведения, по своей насильственности реформа Никона уже предвещала революцию Петра. И в обоих случаях эта насильственность, принимавшая характер жестокого гонения была до известной степени вынужденной. Оправданием ей может служить склероз русской жизни, окостенелость ее, которая не допускала органического обновления. Старина не хотела обновляться, ее приходилось ломать – ради сохранения бытия самой России. Роковые последствия этой церковно-государственной революции слишком известны, слишком болят еще в нас, чтобы на них стоило останавливаться. В религии – конец византийской «симфонии» Церкви и государства, ведомственное включение Церкви в государство, порабощение епископата, принижение духовенства, утрата Церковью надолго своего национального лица, при переходе водительства к малороссам с их католизирующими, отчасти протестантскими тенденциями. Наиболее страшное – полная секуляризация культуры, отпад влиятельной части интеллигенции от Церкви и даже от христианства. На противоположном полюсе, в народных глубинах, – горячая, но темная религиозность, плодящая изуверские секты, в отрыве от Церкви засыхающая, безблагодатная, не творческая, но все же мощная рядом с видимой слабостью господствующей Церкви.

Возвращаясь к исходному моменту кризиса, мы стоим перед склерозом XVII века, требующим объяснения. Теория «бытового исповедничества», усматривающая в нем самую природу русской религиозности, может служить лишь к оправданию старообрядческого раскола, но не удовлетворяет того, кто умеет различить в древней Руси богатое цветение духовной жизни. Окостенелость XVII века в основном стволе русской культуры – несомненно, явление упадническое, а не первичное. Вещественным выражением ее может служить сухость московской иконописи XVII века (до немецких влияний), немощное завершение могучей русской живописи XV – XVI веков. Политическому и

религиозному кризису XVII века должен был предшествовать иной кризис, который обновил цветение русской культуры. И этот кризис – мы знаем, когда и как он развивался и чем закончился. Он тщательно, хотя, быть может, и недостаточно изучался историками русской культуры. Но он никогда не был оценен во всем его значении и во всех последствиях. Это кризис начала XVI века, известный под именем борьбы"осифлян» и «заволжцев». От духовного кровопускания, которое русская Церковь претерпела в княжение Василия III, она никогда не могла оправиться совершенно. Но, чтобы уяснить себе весь смысл этого явления, надо поставить его в связь с основной линией развития духовной жизни в Древней Руси.

2.

Многие думают, что духовная жизнь есть нечто неподвижно пребывающее в глубине изменчивого потока истории. Историк, даже историк Церкви, редко заглядывает в эту глубину. Сложная композиция его картины сплетается из взаимодействия духовных начал с мирскими, Церкви с государством, обществом, культурой. За вопросами права, организации, культуры едва брезжит духовная жизнь, не требующая объяснений, но ничего и не объясняющая, – неизменная предпосылка христианской общественности. Живая святость находит себе место в популярной агиологической легенде, но не в научной истории. Почему? Неужели невозможно освоить легенду и научному исследованию усмотреть за литературной схемой живое и, следовательно, развивающееся явление, разглядеть под нимбом конкретные личные и национальные черты. Эта работа для русской Церкви – еще в зачатке, но сделанного достаточно, чтобы поставить главные вехи: чтобы в соборе русских угодников различить поколения учеников, несущих и обогащающих греческую традицию духовной жизни. Развернутый во времени ряд этот показывает не одно преемство традиции, но и вновь загорающиеся очаги, моменты подъема, стояния и упадка, наконец роковое раздвоение – бифуркацию XVI века. Схематически это развитие духовной жизни в Древней Руси отмечают следующие имена: Феодосии Печерский – Сергий Радонежский – Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. В эту линию, разумеется, включаются лишь носители духовной жизни в узком смысле слова: подвижники-аскеты, иноки и пустынножители, чин преподобных. Вне его остаются не только святители, но и многочисленные святые миряне, столь характерные для древнерусской святости. Но как ни существенна мирянская святость для русского типа православия, она все же никогда не являлась центральной, сама питаясь духовной энергией, истекающей из

монастыря или пустыни. С другой стороны, она обнаруживает гораздо большую статичность. Трудно усмотреть следы развития в облике святого князя Древней Руси, а русский юродивый, «блаженный» сохранился в своих основных национальных чертах до наших дней. Динамичным, развивающимся в истории и определяющим историю – как ни странно это может показаться на первый взгляд – остается наиболее отрешенный от мира и истории, наиболее обращенный к вечности тип святости: лик преподобных.

3.

С Феодосием и Антонием Печерским греческий идеал монашества впервые вступает на русскую землю. У святого Антония не было и не могло быть русских учителей. Он учился в Греции, на Афоне, как и Феодосии заимствовал из Константинополя Студийский устав. Влияние греческих житий в биографии св. Феодосия, составленной Нестором (житие св. Антония не дошло до нас), несомненно. Шахматов и Абрамович вскрыли всю мозаику его литературных заимствований, не нарушающую жизненной правдивости его иконописного портрета. Греческое и русское здесь легко наслаивается друг на друга, и притом так, что выделение национальных черт не является невозможным.

Несомненно, что для преп. Феодосия, в изображении Нестора (таким он остался навсегда в памяти поколений), идеальным прототипом было палестинское монашество, как оно отразилось в житиях св. Евфимия Велтского, св. СаввыОсвященного и других подвижников V-VI веков. Не египетское, не сирийское, а именно палестинское. Это означает прежде всего, что православная Русь избрала не радикальный, а средний путь подвига. Сурова жизнь великих палестинцев, как и жизнь самого Феодосия, но по сравнению с бытом отшельников Египта и Сирии она должна показаться умеренной, человечной, культурной. Св. Феодосии не увлекался ни крайностями аскезы, ни сладостью уединенного созерцания. Из подземной пещеры, излюбленной Антонием, монастырь при нем выходит на свет Божий, расширяется в многократных перестройках, закладываются каменные стены великолепной обители, уже наделенной селами и крестьянами. Пещеры остаются для великопостного затвора, но мир предъявляет свои права. В монастыре создается больница, в монастырь стекается народ, идут князья и бояре, сам Феодосии – частый гость в княжеском тереме. Характерно, что первые подвижники Руси не искали себе иных мест, как окраины стольных городов. В воздействии на мир они нашли для себя возмещение пустынного безмолвия. Учительство Феодосия, его кроткое, но властное вмешательство в дела княжеские, в

отстаивании правды, вблюдении гражданского мира, чрезвычайно ярко изображаются Нестором, который подчеркивает национальное служение святого. Характерно, что не Антоний, а именно Феодосии делается создателем Киево-Печерской лавры, учителем аскезы, учителем всей православной Руси. Образ Антония рядом с ним очерчивается чрезвычайно бледно. Древность даже не сохранила нам жития его, если оно когда-нибудь существовало. Самая канонизация его совершилась во времена позднейшие сравнительно с Феодосием, который был канонизирован уже в 1108 году, через 34 года после кончины. Антоний тяготился человеческим общением, «не терпя всякого мятежа», не пожелал взять на себя игуменского бремени и, когда число братьев достигло 15-ти, оставил их и затворился в новой (Антониевой пещере). По-видимому, он не руководил духовной жизнью своих учеников и подражателей (кроме первого небольшого ядра), и в следующем поколении образ его потускнел в памяти печерских агиографов. Здесь Киевская Русь совершила сознательный выбор между двумя путями монашеского служения.

Можно попытаться проникнуть и дальше в этот «царский» идеал мерности – в основе, греческий *(meipios* св. Саввы) – в поисках более личных черт святости Феодосия. Мы увидим образ обаятельной простоты, смирения, кротости. В его смирении есть момент некоторого юродства – во всяком случае, момент социального уничтожения. Таков его отроческий подвиг опрощения, сельский труд со своими рабами, таково его многолетнее просвирничество, таковы его «худые ризы», все время останавливающие внимание биографа и современников: в теремах и курского посадника, и киевского князя, – «худые ризы», которые для него делаются иногда желанным источником унижения. Это личное в нем и в то же время самое русское: таков господствующий идеал во все века русской жизни.

Наряду с этим едва ли можно признать у преп. Феодосия выдающийся административный талант. Он тщательно стремился пересадить на русскую почву Студийский устав. Но в Киевском патерике, отражающем предания **XII** века, мы уже не видим строгого общежития. Не видим и в самом Феодосии игуменской строгости. Известен рассказ о беглом, который убегал, всякий раз встречая прощение святого игумена. Строгость проявляет Феодосии лишь к своеволию келаря в тех случаях, где хозяйственный расчет убивает послушание и веру.

О качестве духовной жизни Феодосия мы знаем очень мало. Не слышим ни о каких видениях (кроме бесовских) – ни о каких внешних выражениях, которые позволяли бы заключить о мистической или же

просто о созерцательной его настроенности. Много говорится о его молитве (и великопостном пребывании в затворе), но аскеза преобладает в нем над созерцательными формами духовной жизни. Это вполне соответствует и тому церковно-социальному служению, которое взял на себя преподобный. Таковой и осталась религиозность Древней (Киевской) Руси, даже в самых высоких выражениях. Все русские иноки хранят на себе печать св. Феодосия, несут фамильные его черты, сквозь которые проступает далекий палестинский облик Саввы Освященного. Здесь, в этой точке, происходит смыкание русского подвижничества с восточной традицией, здесь ответвляется русская ветвь от вселенской Лозы Христовой.

4.

Татарский погром Руси, как известно, тяжко отразился на духовной жизни. Видимым свидетельством этого является полувековой, если не более, разрыв в преемстве иноческой святости. На время лик святых князей как бы вытесняет в русской Церкви лик преподобных. Лишь В XIV веке, со второй его четверти, русская земля приходит в себя от погрома. Начинается новое монашеское движение. Почти одновременно и независимо друг от друга зажигаются новые очаги духовной жизни: на Валааме и в Нижнем Новгороде, на Кубенском озере и, наконец, в ближайшем соседстве с Москвой, в обители преп. Сергия. Для нас все это новое аскетическое движение покрывается именем св. Сергия. Большинство из его современников были его «собеседниками», испытали на себе его духовное влияние. Его прямые ученики являлись игуменами и строителями многочисленных монастырей: подмосковных, белозерских, вологодских.Духовная генеалогия русских подвижников XV века почти неизбежно приводит к преп. Сергию как к общему отцу и наставнику. После Феодосия Печерского Сергий Радонежский является вторым родоначальником русского монашества.

Сам св. Сергий не отрекается от своего духовного предка. Образ Феодосия явно выступает в нем, лишь еще более утончившийся и одухотворенный. Феодосия напоминают и телесные труды преп. Сергия, и сама его телесная сила и крепость, и худые ризы, которые, как у киевского игумена, вводят в искушение неразумных и дают святому показать свою кротость. Роднит обоих русских святых и совершенная мерность, гармония деятельной и созерцательной жизни. Преп. Сергий покоил нищих и странных в своей еще убогой обители и на смертном одре завещал своим ученикам не забывать страннолюбия. Как и Феодосии, он был близок к княжескому дворцу, принимал участие в политической жизни Руси и

благословил Донского на освободительный подвиг. Однако при ближайшем рассмотрении мы видим и новые, чисто сергиевские черты. Свою кротость и смирение Сергий простер так далеко, что является перед нами как бы совершенно безвластным и всегда готовым на унижение. Игумен нанимается плотником к монаху Даниле за решето гнилых хлебов. Мы никогда не видим его наказывающим ослушников, как это случалось делать и кроткому Феодосию. На ропот недовольных Сергий отвечает лишь увещаниями и даже, избегая борьбы, на время удаляется из монастыря. Смирение – его главная человеческая добродетель.

До сих пор преп. Сергий – ученик Феодосия, хотя, быть может, превзошедший своего далекого учителя. Но мы видим в нем и нечто новое, таинственное, еще не виданное на Руси. Я имею в виду известные видения преп. Сергия:сослужащего ему ангела, огонь, сходящий со сводов храма в потир перед его причащением, явление Пречистой с апостолами Петром и Иоанном. Русская агиография до св. Сергия не знает подобных таинственных видений. Они говорят о таинственной духовной жизни, протекающей скрытно от нас. Св. Сергий ничего не поведал ученикам о своем духовном опыте, да, может быть, ученики эти (Епифаний, хотя и премудрый) были бессильны выразить в слове содержание этого внутреннего тайнозрения. Древняя Русь, в убожестве своих образовательных средств, отличается немотой выражения самого глубокого и святого в своем религиозном опыте. Лишь в знаках и видениях да еще в начертаниях и красках иконы она сумела отчасти приоткрыть для нас покров тайны. По этим знакам мы имеем право видеть в преп. Сергии первого русского мистика, то есть носителя особой, таинственной духовной жизни, не исчерпывающейся аскезой, подвигом любви и неотступностью молитвы.

Четыре года тому назад отец Сергий Булгаков в своей актовой речи увлекательно соединил рассеянные знаки мистической жизни преп. Сергия вокруг имени Пресвятой Троицы, которой он был посвящен до рождения, которой посвятил и свою обитель. Сегодня я хотел бы указать на связь не богословия, а духовной жизни преп. Сергия с современным ему мистическим движением на православном Востоке. Это известное движение исихастов, практиков «умного делания», или умной молитвы, идущее от св. Григория Синаита с середины XIV столетия. Новую мистическую школу Синаит принес с Крита на Афон, и отсюда она широко распространилась по греческому и южнославянскому миру. Св. Григорий Палама, тырновский патриарх Евфимий, ряд патриархов константинопольских были ее приверженцами. Богословски эта

мистическая практика связывалась с учением о Фаворском свете и божественных энергиях.

С середины, особенно с конца XIV века начинается (или возобновляется) сильное греческое и южнославянское влияние на Северную Русь. В эпоху преп. Сергия в одном из ростовских монастырей изучаются греческие рукописи. Митрополит Алексий переводил или исправлял евангелие с греческого подлинника. Сам преп. Сергий[127] принимал у себя в обители греческого епископа и получил грамоту от константинопольского патриарха, повинуясь которой устроил у себя общежитие. Одним из «собеседников» преп. Сергия был тезоименитый ему Сергий Нуромский, пришелец с Афонской горы, и есть основание отождествлять ученика Сергия Радонежского Афанасия, серпуховского игумена, с тем Афанасием Русином, который списал на Афоне в 1431 году «под крилием св. Григория Паламы» сборник житий для Троицы-Сергия[128]. Библиотека Троицкой Лавры хранит древнейшие славянские списки ГригорияСинаита XIV и XV веков. В XV же веке там были списаны и творения Симеона Нового Богослова[129]. Все это еще не устанавливает прямых влияний Греции на религиозность преп. Сергия. Его духовная школа для нас загадочна. Мы не знаем других учителей его, кроме таинственного старца, благословившего отрока Варфоломея и старшего брата Стефана, под началом которого Сергий начал подвизаться, но кото-

рый оказался не в силах вынести лесного пустынножительства. Но пути духовных влияний таинственны и не исчерпываются прямым учительством и подражанием. Поразительны не раз встречающиеся в истории соответствия, единовременно и, по-видимому, независимо возникающие в разных частях земного шара духовные и культурные течения, созвучные друг другу. В свете мистической традиции, которая утверждается среди учеников преп. Сергия, его собственный мистический опыт, озаряемый для нас лишь видениями (можно сопоставить светоносные видения Сергия с Фаворским светом исихастов), приобретает для нас большую определенность.

5.

Первый русский мистик, преп. Сергий был и первым русским пустынножителем. Для него, как и для древних мистиков Востока, пустыня была учительницей богомыслия. Медведь был первым его другом в безлюдной глуши. С грустью описывает его ученик постройку будущей лавры: «исказили пустыню». С грустью принял преподобный первых своих учеников: «Аз бо, господие и братия, хотел есмь один жить в пустыне сей и тако скончатися на месте сем». Но он не противится воле

Божией, ради любви урезывая созерцание.

Таково было и все новое русское сергиевское монашество. Оно уходило в пустыню, в лесные дебри, бежало от нагонявшего мира, но уступало ему, оседало в хозяйственных обителях, строилось, создавало иногда крупные культурные очаги, опорные пункты русской колонизации. XV век – золотой век русской святости, давший более всего преподобных русской Церкви, покрывший монастырями всю Северную – тогда воистину святую Русь.

Однако в послесергиевском монашестве можно различить два течения, прежде всего географически: северное и московское. Уже сам преподобный Сергий, уступая князьям и митрополиту, отдавал своих учеников – Феодора,Афанасия, Андроника – в строители и игумены московских и подмосковных монастырей. Другие ученики его – Кирилл Белозерский, Павел Обнорский – шли на север, за Волгу, не в города, а в лесную пустыню. Здесь намечается основная бифуркация русского подвижничества, чрезвычайно существенная, ибо за географическим излучением скрывается излучение духовное: разные направления аскезы. Вполне понятно, что созерцательная духовная жизнь была главной целью северных отшельников. Белозерский край, Кубенское озеро, южная окраина Вологодских лесов: Комельская, Обнорская, Нуромская пустыни, а за ними далекое поморье – вот главные очаги «заволжских старцев».

Кириллов монастырь, после Сергиева, был для них вторым духовным средоточием, питавшим их и тогда, когда (в конце XV века) Троицкая обитель утратила былую высоту духовной жизни. После Кирилловой и в тесной связи с нею в качестве таких иноческих метрополий, рассылающих в пустыню все новые колонии, следует назвать Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере, выделившуюся из него Глушицу св. Дионисия и уже в XVI веке обитель св. КорнилияКомельского.

При изучении духовного содержания северного подвижничества мы встречаемся с двумя затруднениями: во-первых, почти все жития северных святых остаются неизданными; во-вторых, они невыгодно отличаются от московской группы скудостью содержания и чрезмерной общностью характеристик. Однако, благодаря исследованию Кадлубовского[130], мы можем бросить взгляд и в недоступные нам рукописи, со страниц которых встают образы великих святых, некогда чтимых всей русской землей, а ныне почти забытых.

Северные, «заволжские», группы подвижников хранят в наибольшей чистоте заветы преп. Сергия: смиренную кротость, нестяжание, любовь и уединение, богомыслие. Таков прежде всего величайший среди них –

Кирилл, который именуется «противящихся тихим увещанием, безымения учителем», «иже нань всуе гневающемуся благоуветливым». Эти святые легко прощают и оскорбителей своих, и разбойников, покушающихся на .монастырское имущество. Преп. Дионисий даже улыбается, узнав о похищении монастырских коней. Нестяжание в самом строгом смысле не личного, а монастырского отказа от собственности – их общий идеал жизни. Преп, Кирилл отказывается от дарственных сел с принципиальной мотивировкой: «Аще села восхотим держати, болми будет в нас попечение, могущее братиям безмолвие пресецати». Св. Кирилл предпочитает принимать милостыню. Но вот Димитрий Прилуцкий(как и Дионисий Глушицкий) отказывается даже от милостыни христолюбца, внушая ему отдать ее на питание рабов и сирот. Также отвергает дар князя преп. Иоасаф: «Злату и сребру несть нам треба». Разумеется, полнаянестяжательность есть идеал, от которого отступают даже самые строгие подвижники. По смерти святых основателей их мона-

стыри богатеют; но и изменяя заветам святого, хранят память о них.

Полная независимость от мира дает святому дерзание судить мира. Его обычная кротость и смирение не мешают ему выступать обличителем сильных мира сего. Св. Кирилл, оставивший отеческие поучения князьям, отказывается посетить князя Георгия Дмитриевича: «Не могу чин монастырский разорити». Преп. Мартиниан, напротив, появляется в Москве в хоромах великого князя (Василия II), заключившего в оковы боярина вопреки данному слову: «Не убоялся казни ниже заточения... но помяну Иоанна Златоусого глаголюща, яко прощение царево ярости львове уподобися». Григорий Пельшемский обличает князя Юрия Дмитриевича и его сына Шемяку, неправедно захвативших великое княжение.

Впрочем, эти столкновения с миром, как и всякий выход в мир, редки и исключительны. Северный подвижник жаждет безмолвия. Павел Обнорский отправился у преп. Сергия в уединение, не терпя и монастырского общежития: «Яжев пустыне молва ничем же градских мятеж разнствует». Он же именует безмолвие матерью всех добродетелей. В обнорских лесах преп. Павел поселился в дупле дуба, и Сергий Нуромский, другой великий пустыннолюбец, нашел его здесь в обществе медведя и диких зверей, кормящим птиц, которые сидели на голове его и плечах: этот один образ оправдывает имя Фиваиды, данное русским агиографом нашему северному подвижничеству.

Жития наши весьма скупо говорят о внутренней, духовной жизни святых. Все же Кадлубовскому удалось сделать очень ценные наблюдения. Из отдельных формул, не совсем обычных в русской агиографии, но

навеянных аскетикойДревнего Востока, мы можем сделать некоторые заключения: 1) внешняя аскеза, при всей суровости жизни, подчинена внутреннему деланию: на ней сосредоточивается внимание; 2)это духовное делание изображается как очищение ума и духовное соединение с Богом. «Сотвори ум твой единого Бога искати и прилежать к молитве», – учит св. Дионисий. А ученик его Григорий (Пельшемский) «в вышних ум свой вперях и сердце свое очищах всех страстных мятеж». И Павел Обнорский трудится, «зрительное ума очищая»; 3) наконец, в редких случаях это духовное делание изображается в терминах, которые являются техническими для умной молитвы в практике исихастов. Их значение становится понятным лишь в свете доктрины, в полноте раскрытой на Руси Нилом Сорским. Так, о Павле Обнорском его биограф говорит: «Зрительное очищая и свет божественного разума собирая в сердце своем... и созерцая славу Господню. Тем сосуд избран бысть Святому Духу». Те же слова повторяются дословно в более позднем житии св. Иоасафа Каменского.

Справедливость требует отметить, что оба последних жития с точной формулировкой умного делания составлены в XVI столетии, после трудов Нила Сорского. Тем не менее мы решаемся утверждать, с высокой долей вероятности, непрерывность духовной, мистической традиции, идущей от преп. Сергия к Нилу и его самого объясняющей. Момент видений, характеризующих северное подвижничество, может только укрепить нас в этом убеждении: таково видение св. Кирилла Белозерского (голос Богоматери) и явление Спасителя преп. Иоасафу. Еще одно, последнее наблюдение. Мистическое самоуглубление, бегство в пустыню не мешает северным подвижникам прославлять любовь как «главизнудобродетелей» и излучать ее при всяком соприкосновении с людьми. О ней внушает Дионисий Глушицкий и его биограф. О ней говорит Иоасафу явившийся ему Христос. И контекст, и разъяснения не оставляют сомнений в том, что эта любовь направлена не только к Богу, но и к человеку.

6.

Личность и учение Нила Сорского слишком хорошо известны; это дает нам возможность, говоря о нем, лишь прочертить линии, связующие его с русской традицией святости. Преп. Нил с учеником своим Иннокентием побывал на Святой горе и «в странах Цареграда», но до того он был постриженником Кириллова монастыря, сохранившего всю строгость первоначальной жизни. В близком соседстве с Кирилловым (в 15 верстах) он и основал свой скит в дикой болотистой чаще. Сочинения его, особенно Устав, представляют художественную мозаику цитат из

греческих отцов мистического направления. Но многие из «них, как мы видели, были известны на Руси с конца XIV века. Житие его не сохранилось, но многочисленные послания его как бы изнутри освещают ту светлую и любовную святость, которая течет из Сергиева источника. Его любовь находит слова поистине огненные. «О любимый мой о Христе брат, вожделенный Богу паче всех...», «Не терплю, любимче мой, сохранити таинство в молчании, но бываю безумен и юрод за братнюю пользу». И, однако, для умной молитвы, которой он посвятил себя, общение с людьми становится уже тяжким бременем: приходящие к нему «не перестают стужати ми, и сего ради смущение бывает нам». Его смирение так велико, что он не желает быть ничьим учителем: «Написах писание сие... братиям моим присны, яже суть моего нрава: тако бо именую вас, а не ученики. Един бо нам есть Учитель». Известно завещание Нила: «Повергните тело мое в пустыне – да изъедят е зверие и птицы; понеже согрешило есть к Богу много и не достойно погребения. Мне потщания, елико по силе моей, чтобы быть не сподоблен чести и славы века сего никоторыя, яко же в житии сем, тако и по смерти». О нестяжании его слышали и те, кто ничего, кроме этого, не слышал о преп. Ниле. Горячий противник монастырского землевладения, он выступил против него на соборе 1503 года: «И нача старец Нил глаголати, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы черньцы по пустыням, а кормились бы с рукоделием». Его любовь к бедности так велика, что он хочет распространить ее и на Церковь: «Сосуды златы и сребряны и самые священные не подобает имети, такожде и прочие украшения излишние, но точию потребные церкви приносити». Отступая здесь от господствующей русской традиции, он ссылается на авторитет Златоуста и Пахомия Великого. Но и в этой черте мы узнаем деревянные сосуды и холщовые ризы преп. Сергия.

В согласии с духовной традицией подвижничества, св. Нил не делает ударения на телесной аскезе. «О пище же и питии противу (то есть согласно) силы своего тела, более же души, окормления кийжде да творит... Здравии бо и юнии да утомляют тело постом, жаждою и трудом по возможному; старии же и немощнии да упокояют себя мало». Внутренняя аскеза, очищение страстей и помыслов на первом плане. Его скитский или монастырский устав представляет краткую, но полную энциклопедию аскетики, составленную с большим искусством, большим писательским даром и всецело по древним источникам. Венцом аскезы является «делание сердечное», «умное хранение». Описание умной молитвы дано со всею обстоятельностью, допускаемой в такого рода

вещах: «Поставити ум глух и нем... и имети сердце безмолвствующе от всякого помысла... и зрети прямо во глубину сердечную и глаголати: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя...» И так глаголи прилежно, аще стоя, или сидя, или лежа и ум в сердце затворя и дыхание держа, елико можешь...» «Мечтаний же зрак и образы видений не приемли... да не прельщен будеши...» Этой безмолвной молитвы нельзя оставлять для обычной, для «пения». После «умной» всякая иная молитва является «прелюбодеянием ума» (Григорий Синаит). Ярко описывает словами Симеона Нового Богослова исступление и восторг, озаряющий душу, отдавшуюся умной молитве: «Кой язык изречет. Кой же ум скажет? Кое слово изглаголет? Страшно бо, воистину страшно, и паче слов. Зрю свет, его же мир не имать, посреди келлии на одре седя; внутри себе зрю Творца миру, и беседую, и люблю, и ям, питаясь добре единым боговедением, соединяюсь Ему, небеса превосхожду: и се всем известно и истинно. Где же тогда тело, не вем».

Замечательна – при такой высоте и пламенности духовной жизни – та рассудительность и то понимание многообразия личных путей, которые отличают св. Нила. «Вся же естества единым правилом объять невозможно есть: понеже разнство велие имут тела и крепость яко медь и железо от века». И свои собственные советы он дает личной свободе: «аще произволяют...», «аще угодно Богу и полезно душам...», «аще кто о сих вящее и полезнейшее разумеет, и он тако да творит, а мы о сем радуемся». Св. Нил не очень доверяет человеческому руководству. Трудно найти наставника непрелестного. Поэтому он и предлагает вместо учителя «божественные писания» и «словеса божественных отцов». Но свою духовную свободу св. Нил простирает и в эту священную для древнего русского человека область писаний. «Писания бо многа, но не вся божественна». В этом круге писаний Нил устанавливает градацию авторитетов и, не презирая разума, пользуется им в трудном изыскании истины: «Наипаче испытую божественного писания, прежде заповеди Господни и толкования их, и апостольские предания, тоже и учения св. отец; ияже согласны моему разуму к благоугождению Божию и к пользе души преписую (списываю) себе и тем научаюся». Эти начала разумной критики преп. Нил применял в области агиологии, чем нажил себе немало врагов. О своих критических приемах он сам говорит так: «Писах же с разных списков, тщася обрести правы и обретох в списках онех многа неисправленна и елика возможно моему худому разуму исправлях...» Этой же критической работы он просит от своих более ученых читателей. Сочетание мистической традиции исихастов с широтой разума и духовной

свободой делает творения св. Нила совершенно исключительными в духовной литературе Древней Руси.

7.

Противоположность идей и духовных направлений Нила Сорского и Иосифа Волоцкого привели в брожение все русское духовное общество начала XVI столетия. Но задолго до Иосифа его направление уже ощутимо в учителе его Пафнутии Боровском. Духовный внук преп. Сергия по своему учителю Никите, Пафнутий был одним из ярких представителей московского, то есть южного излучения великой Троицкой обители. В его облике соединились многие черты национального великорусского типа, которые делают его столь обаятельным для В. О. Ключевского: дисциплина, хозяйственность, трудолюбие, чувство меры: «безмерия во всем убегая... все во время творя». Он много заботится о строгости уставной жизни в монастыре, но его житие мало может сказать о внутренней духовной жизни. Мы видим его строгость. Прозорливец, Пафнутий узнает по лицу, «аще который брат правило заложит в кой день», и обличает виновного. Он не допускает, чтобы иночество могло искупить грех кающегося убийцы и изгоняет его из монастыря. «Яро воззрев» «ярым оком» – иногда выражается о нем житие. Чудеса его имеют большею частью карающий смысл. Зато, прекрасный хозяин, он кормит у себя во время голода более ста человек. В сущности, портрет св. Иосифа Волоцкого уже дан здесь в черновом наброске.

Иосифа Волоцкого, благодаря трем обширным житиям его, мы знаем лучше всех северорусских святых. Мы как бы воочию видим его крепкую внушительную фигуру, его цветущую русскую красоту. Чувство меры, приличия, своеобразной церковной эстетики отличают его в такой же степени, как и твердость уставного быта. Вот идеал православного воспитания, как он дается в «Просветителе»: «Ступание имей кротко, глас умерен, слово благочинно, пищу и питие не мятежно, потребно зри, потребно глаголи, буди в ответах сладок, не излишествуй беседой, да будет беседование твое в светле лице, да дает веселие беседующему тебе». Он прекрасно читает в церкви, «как никто в те времена». У него «в языке чистота, и в гласе сладость, и в чтении умиление». Любитель церковного благолепия, он приглашает расписывать свою церковь знаменитого иконописца Дионисия. Но эстетика св. Иосифа имеет не созерцательный, а действенный характер. Он через внешнее идет к внутреннему, через тело и его дисциплину – к дисциплине духа. Потому он так настаивает на положении тела за молитвой: «Стисни свои руки, и соедини ноги, и очи смежи, и ум собери». Это молитва не окрыленная, а толкующая,

побеждающая волей и упорством. Место умной молитвы у Иосифа занимает келейное правило и противоположность церковных служб. Его не влечет к одинокому созерцанию, к отшельничеству. Идеал его – совершенное общежитие. По смерти учителя Пафнутия он обходит русские монастыри, ища, где сохранился в чистоте сергиевский устав. Только Кириллов удовлетворяет его – не духовностью, ауставностью: «не словом общий, а делы». Он отметил там «пение», ему нравилось, что «кийждо из братий стояше на своем месте... всем брашно и питие равно». Этот идеал общежития он и стремится воплотить в своем монастыре. Для него он пишет свой знаменитый Устав – не руководство к духовной жизни, а строгий распорядок монастырского быта.

Но за этим бытовым укладом и эстетикой благолепия нельзя забывать основной корень. Иосифова благочестия. Корень этот горек и даже страшен. Он объясняет нам его суровость перед лицом мира. В глубине его души живет религиозный ужас эсхатологии; «Век мой скончевается, и страшный престол готовится, суд меня ждет, претя мя огненною мукой и пламенем негасимым». Иосиф не допускает, чтобы даже «великие светильники и духовные отцы», даже святые мученики «страшный час смертный без истязания проидеша бесовского мытарства». Отсюда напряженное покаяние («сам себе мучаше»), отсюда слезы и вериги у лучших учеников его, духовной аристократии волоколамской. «У одних пансырь под свиткою, у других железа тежкие». «Вей в лычных общах и в плачевных рясках». Бьют поклоны по 1000, 2000, 3000 в день. Здесь, в этом религиозном страхе, – источник противоречия между обаятельностью, даже веселостью природного нрава Иосифа и суровостью его отношения к грешникам.

Ясно, что защита Иосифом монастырских сел вытекала не из любви его к покойной жизни. В ее основе лежал идеал социального служения монастыря. К Иосифу идут окрестные крестьяне, потеряв лошадь, корову, козу, и он дает каждому «цену их». Он убеждает бояр заботиться о своих «тяжарях», не угнетать их, хотя бы ради собственных хозяйственных интересов. Один из биографов уверяет, что под его благим влиянием «вся тогда волоцкая страна к доброй жизни прелагашеся... и поселяне много послабление имуще от господней сел». Во время голода Иосиф кормит у себя до 700 бедняков, занимает деньги на покупку хлеба, а детей (до 50) собирает в своем странноприимном доме.

Но социальное служение св. Иосифа вырастает в национальное. Горячий патриот, он собирает сведения о русских святых и монастырях, он восторженно славит святость русской земли: «Русская земля ныне

благочестием всех одоле».Средоточие этой земли – в московском великом князе, и Иосиф служит ему, развивая теорию божественной царской власти и приравнивая к ней власть великого князя задолго до венчания на царство Иоанна. «Царь убо естеством подобен есть всем человеком, властию же подобен есть высшему Богу». Еще Пафнутий поставил свой монастырь в тесную зависимость от московского государя (Ивана III). И он, и Иосиф представляют великому князю выбор игумена и общее попечение о своей обители. Иосиф любит власть, хочет видеть ее бдительной и строгой. Он вполне удовлетворен тем развитием, какое приняло самодержавие при Василии III.

Суровый к себе, Иосиф суров и к другим. Почти все его волоколамское игуменство проходит в борьбе: со своим князем (Волоцким), со своим епископом (св. Серапионом), с ересью жидовствующих, с учениками Нила Сорского. Для еретиков он требовал смерти, для кающихся – пожизненного заключения. Он убеждал великого князя в опасности прощения, и его письма имели успех. В «Просветителе» он дает православное обоснование смертной казни еретиков, которую практически применял Геннадий Новгородский по католическому образцу. Здесь, как и в спорах о монастырском землевладении, он столкнулся с «заволжскими» учениками Нила. Северные старцы красноречиво напоминали великому князю о христианском милосердии, о прощении кающихся грешников. В обеих тяжбах Иосиф вышел победителем.

8.

Противоположность между «нестяжателем» и «осифлянами» поистине огромна как в самом направлении духовной жизни, так и в социальных выводах. Одни исходят из любви, другие -_из страха (страха Божия),одни являют кротость и всепрощение, другие – строгость к грешнику, на одной стороне почти безвластие, на другой – строгая дисциплина. Духовная жизнь «заволжцев» протекает в отрешенном созерцании и умной молитве – осифляне любят обрядовое благочестие и уставную молитву. Заволжцы защищают духовную свободу и во имя сострадания дают в своих скитах убежище гонимым еретикам; осифляне предают их на казнь. Нестяжатели предпочитают собственную бедность милостыне, осифляне ищут богатства ради социальной организации благотворительности. Заволжцы, при всей их бесспорной русской генеалогии – от преп. Сергия и Кирилла, – питаются духовными токами православного Востока; осифляне проявляют яркий национализм. Наконец, первые дорожат независимостью от светской власти, последние

работают над укреплением самодержавия и добровольно отдают под его попечение и свои монастыри , и всю русскую Церковь. Начало духовной свободы и мистической жизни противостоит социальной организации и уставному благочестию. Победа Иосифа определилась сродностью, созвучием его дела национально-государственному идеалу Москвы с её суровой дисциплиной, напряжением всех социальных сил и закрепощением их в тягле и службе. Последнее объяснение легкой победы осифлян – в торжестве национально-государственных задач над внутренне-религиозными.

Самое раздвоение древнего феодосиевского благочестия по двум направлениям еще не было церковным бедствием. Не была непоправимым бедствием и борьба между ними, при всей ее ожесточенности. Настоящее несчастье заключалось в полноте победы одного из них, в полном подавлении другого. Победившие осифляне сумели соединить дело своих противников с жидовствующей и рационалистической ересью и в течение десятилетий на московских соборах судили и осуждали их. За это время много заволжцев было сослано, много скитов закрыто, много отшельников бежало на север. Монастырь св. Иосифа возглавил русскую Церковь, посылая митрополитов и епископов из своих стен, как некогда Печерский монастырь в Киеве. Через этих питомцев и учеников св. Иосифа его направление к середине XVII века окончательно утвердилось на Руси. Благочестие и труды митрополита Макария, Силвестра, Стоглавый Собор – лучшие плоды осифлянства, хотя в них (особенно в Стоглаве) заметны теневые стороны. Они станут еще нагляднее, если мы вспомним, что в жертву победителям был принесен Максим Грек вместе с возможностямивозрождения на Руси заглохшей в Греции православной культуры. Недаром расцвет нашей литературы в начале XVII столетия замирает к середине его, и XVII век в области оригинальной русской письменности является, быть может, одним из беднейших. Он живет переводами, преимущественно с латинского и польского, уже задолго до Петра ощущая свое бессилие.

В религиозной жизни устанавливается надолго тот тип уставного благочестия, обрядового исповедничества, который поражал всех иностранцев и казался тяжким даже православным грекам, при всем их восхищении. Наряду с этим жизнь как семейная, так и общественная, все более тяжелеет. Если для Грозного самое ревностное обрядовое благочестие совместимо с утонченной жестокостью (опричнина задумана как монашеский орден), то и вообще на Руси разврат и жестокость легко уживаются с обрядовой строгостью, на удивление иноземцев. Те

отрицательные стороны московского быта, в которых видели влияние татарщины, развиваются особенно с XVII века. XV век рядом с ним – век свободы, духовной легкости, окрылённости, которая красноречивее всего говорит нам в новгородской и ранней московской иконе по сравнению с позднейшей.

Многие утешаются в суровости и культурной бедности московской Руси – святостью. Внимательное изучение русских святых приводит к выводу, что золотым ее веком было XV столетие. Начало XVI века еще живет наследством прошлого. Ученики Иосифа Нила долго еще продолжают подвиг учителей. Но во второй половине столетия уже явно убывание,утечка святости, особенно если ограничиться святостью иноческой,, отвлекаясь от юродивых и святителей, которые в большом числе в это именно время прославляют русскую Церковь. В XVII веке закат святости нагляднее. В календарь русских святых это столетие внесло немногим больше десятка имен. И имена эти принадлежат местночтимым угодникам, ныне почти забытым. Замечательно, что большинство из них принадлежат северным поморским (даже сибирским) отшельникам, уже ничем не связанным с той Москвой, которая в это время горделиво мнит себя твердыней вселенского православия.

Ныне уже ясно, что основной национальный путь московского благочестия XVII века вел прямым путем к старообрядчеству. Стоглав недаром был дорог расколу, св. Иосиф Волоцкий недаром стал главным его святым. «Просветитель» – его настольной книгой. Вместе с расколом большая, хотя и узкая и слепая религиозная сила ушла из русской Церкви, обескровливая ее. Но не нужно забывать, что первое великое обескровливание совершилось на 150 лет раньше. Тогда была порвана великая нить, идущая от св. Сергия и Кирилла; с Аввакумом покинула русскую Церковь школа св. Иосифа. Отсюда видимый паралич XVII века, вытеснившего великорусскую традицию малорусской ученой школой.

Однако русская Церковь не засохла, духовная жизнь ее не иссякла. Под почвой текли благодатные реки. И как раз век Империи, столь, казалось бы, неблагоприятный для оживления древнерусской религиозности, принес возрождение мистической святости. На самом пороге новой эпохи Паисий Величковский, учение православного Востока, находит творения Нила Сорского и завещает их Оптиной пустыни. Еще святитель Тихон Задонский, ученик латинской школы, хранит в своем кротком облике фамильные черты Сергиева дома. С XIX века в России зажигаются два духовных костра, пламя которых отогревает замерзшую русскую жизнь: Оптина пустынь и Саров. И ангельский образ Серафима,

иоптинские старцы воскрешают классический век русской святости. Вместе с ними приходит время реабилитации св. Нила, которого Москва забыла даже канонизировать, но который в XIX веке, уже церковно чтимый, для всех нас является выразителем самого глубокого и прекрасного направления древнерусского подвижничества.

Сумерки отечества

Война классов или война народов? Так ставят вопрос на обоих крайних флангах современной политической Европы. Увы, если так его ставить, то приходится сказать, что выбора нет. Социальная революция, победившая в одной стране, создает непрестанную военную угрозу для мира. Но ещё несомненнее, что война, каков бы ни был ее исход ,создает угрозу социальной революции. И даже если видеть в революции большее зло, чем в войне, – к чему так склонны русские эмигранты, -то и с этой точки зрения война оказывается все-таки злом большим в условиях нашего времени. Ибо она создает революцию с большей необходимостью, чем революция войну. Это наш опыт. Современный коммунизм – дитя не капитализма, а войны, и в этом его отличие от радикального социализма довоенной эпохи. Социализм начала XX века, сохранивший революционную фразеологию 40-х годов, давно отказался от революции ради социальной реформы. Он быстрыми шагами шел к мирному завоеванию власти и приятию государственной и национальной ответственности. Только война и вызванные ею социальные потрясения обострили классовые антагонизмы и, вместе с апофеозом насилия, возродили мечту о кровавом очищении мира.

Война нашего времени питается не религиозными идеями и не династическими притязаниями – с этим все согласны: но и не экономическими интересами – марксисты ошибаются или преувеличивают. Война питается по преимуществу национальными страстями. Вне этих страстей противоположные интересы финансовых олигархий (кстати, сталкивающиеся и внутри отдельных стран) никогда не могли бы заставить народы с таким ожесточением в течение четырех лет истреблять друг друга. В условиях современных демократических обществ – а Германия Гоген-цоллернов по своей структуре была тоже своеобразной демократией – война немыслима без вольного и страстного приятия ее народом, без взрыва пламенных аффектов ненависти и мести. Демагогия, обман – говорят одни. Демагогия и обман сыграли свою отвратительную роль во внутренней политике войны, но не за обман отдали свою жизнь миллионы мучеников и тысячи героев. Они отдали ее за любовь к родине и за ненависть к врагу. К сожалению, ненависть немцев и французов друг к другу – не обман, а подлинный факт, отравляющий духовную жизнь Европы уже два поколения. Не обман, взаимное недоверие, подозрение или антипатия между Англией – Францией, Францией – Италией, Италией

– Германией, Германией – Польшей, Сербией – Болгарией и т.д., и т.д. Вся Европа, с одного конца до другого, – огромный, полузасыпанный золой костер национальной злобы.

Что составляет роковую особенность национального чувства, так это глубокая сплетенность в нем отрицательных и низменных аффектов с самыми благородными и высокими. Отечество или родина для большинства европейцев наших дней является единственной религией, единственным моральным императивом, спасающим от индивидуалистического разложения (Баррес – Моррас). Величие родины оправдывает всякий грех, превращает низость в геройство, как в эпоху примата церковного сознания злодейства принималось ad maiorem Dei gloriam. Можно бороться с корыстным интересом, с низкой страстью во имя общественного идеала. Но как бороться с тем великим началом, из которого вырастает почти вся наша культура?

Социалисты и космополиты, не видящие в национальном сознании ничего, кроме предрассудка, слишком облегчают себе задачу – теоретически, и вместе с тем практически бегут разбить себе голову об стену.

Горе не в природе национальной жизни, а в современных формах ее, в болезни национального сознания.

Прошло не более века с тех пор, как национальный принцип начал победоносно утверждать себя в государственной жизни Европы. И вот он уже разлагается – вместе со всем содержанием великой, но оторвавшейся от христианского лона культуры.

Прежде всего обратим внимание на все возрастающую насильственность и исключительность национальных чувств. Романтики, творцы современного национального сознания когда-то любовно пестовали чужих детей. Кельтский, германский, романский фольклор, универсальный мир средневековья – представляли общий фонд, откуда черпали певцы и культуртрегеры современного национализма. В наши дни подобная широта представляется невозможной. Вместе с сужением сознания растет его насильственность. В довоенной Европе десятых годов нашего века – что возмущало безоблачное небо? Не классовая борьба, смягчившаяся со временем, а исключительно национальные революционные движения. Австро-Венгрия – театр непрекращаю-щейся борьбы народов. Балканы (Македония) – дикий национальный террор. Ирландия – пороховой погреб. Всего интереснее то, что в Ирландии наиболее агрессивны не синфайнеры, а ульстерцы, которые готовили открыто гражданскую войну, организовали целую армию для борьбы

против гомруля. Консерваторы готовились защищать свой Ульстер против Британской империи! В этом факте выразилась обоюдоострость национальной опасности. Национальные революции угрожают и слева, и справа, то есть как со стороны угнетенных, так и со стороны господствующих народов.

Все насильственные энергии, накопившиеся в довоенной Европе, разрядились, не убывая, в мировой войне. И в этой войне выяснилась вторая особенность современного национализма: невозможность его удовлетворения и, следовательно, историческая бесплодность его активности. Говоря это, мы имеем в виду, конечно, не культурный, а государственный национализм, идеал которого – совпадение границ нации и государства. XIX век приучил нас видеть в национальном единстве последнее моральное основание государства. Государства, не построенные на начале национальном, казались устарелыми пережитками и даже, в силу одного факта своей многонациональности, непременно деспотизм. Великая правда национального лица культуры (социальное выражение христианской идеи личности), переносимая в политическую сферу, сделала из истории XIX века непрерывный ряд национальных войн и революций. Объединение Германии и Италии были великими историческими удачами национализма. Мы все еще слишком живем в накаленной атмосфере этих движений, чтобы сознавать отчетливо всю относительность их идей. Поразительно, что национализм был воспринят как государственная идеология даже в России, где он, последовательно проводимый, означал бы расчленение Империи. Правительства Европы, созданной Венским конгрессом, до середины прошлого века сознавали государственную опасность национализма. В России лишь Александр III сделал его официальной идеологией. Разумеется, для этого потребовалось осложнить его добавочной, но острой подробностью: насильственным обрусением инородцев, то есть около 50% страны. Эта политика в нашем поколении поставила под угрозу самое существование России.

Разрушение Австро-Венгрии и Турции, приведя к «балканизации» Европы, вскрыло огромные трудности для построения чисто национальных государств. Пестрота этнографической карты, несовпадение ее с географическими и экономическими областями приводят к безнадежным конфликтам. Единственный выход из них, пока найденный, это создание взамен старых насильственных единств новых многонациональных государств (Польша, Югославия) с неизбежным революционно-взрывчатым содержанием. Эльзас-лотарингская проблема показывает невозможность точного определения границ даже таких

классически строгих национальных единств, как Германия и Франция. Но Эльзас-Лотарингия – не Балканы. Пока Эльзас будет яблоком раздора, в Европе не бывать миру. Именно в этой полоске земли и лежал узел, соединивший восточноевропейский театр войны с западным, то есть придавший войне мировой характер. Поскольку будущая война станет исправлять недоделанное в Версале, ей придется разрушить не только Польшу, Югославию, но и Бельгию, Испанию и, может быть, Швейцарию – наверно, и Швейцарию, если она не сумеет сохранить своего нейтралитета.

Что может привести в отчаяние политика-националиста, так это неустойчивость и капризность национального сознания. Оно то расширяется, то сужается на протяжении кратких отрезков исторического времени. Из переливчатой, богатой нюансами карты народностей можно выкраивать и большие, и меньшие государственно-национальные куски. Сегодня национальное сознание стремится к объединению раздробленных, но близких этнографически и культурно народностей. Завтра хочет разбить уже сложившиеся национальные целые, пользуясь неполным, не до конца завершенным единством. Южные и северные итальянцы, даже немцы, при всех своих глубоких антагонизмах, пришли к своему – хотя и не для всех вольному – единству. Но хорваты отталкиваются от сербов, каталонцы от испанцев, а малороссы от великороссов. Если в этих прихотливых приливах и отливах национального чувства можно искать какой-либо закономерности, то мы констатируем: в начале XIX века национальности стремились к большим, в начале XX века – к малым государственным образованиям. Но это явление для нашего времени делает чрезвычайно трудным и опасным удовлетворение национального чувства. Ниже известного территориального предела и экономическая, и культурная жизнь государства становится невозможной.

Обращаемся, в-третьих, наконец, к самому содержанию национального сознания нашего времени. И тут мы усматриваем, по сравнению с началом прошлого века, глубокое вырождение. Национальное чувство романтической эпохи было прекрасно и морально глубоко своей укорененностью в почве народной жизни. Оно воскрешало впервые средневековую христианскую культуру и открывало богатую, еще цветущую бытовую и художественную жизнь народа. Национальное чувство той поры было одновременно и народничеством, и культурным откровением, то есть нисхождением и восхождением вместе. С тех пор все изменилось. «Век пара и электричества» безжалостно разрушил своеобразие народной жизни, унифицировал культурный мир. Смерть

романтизма, убыль христианского сознания подорвали средневековые традиции. Современное художественное чувство не имеет ничего общего с готикой. Национализм нашего времени, обеднев духовно, защищает не идеалы, а интересы наций, то есть государств, – общие для всех. Творчество народов утратило глубоко национальный (то есть обращенный к нации, питающийся нацией) характер – сохранив, конечно, национальные оттенки и манеры. Особенно в мире политики содержание идей националиста – француза, немца, итальянца – почти совпадает. «Законные интересы» нации, воля к власти, культурная гегемония, создание колониальной империи – для всех одно и то же. Характерно, что по мере упадка средневековых, то есть родных, традиций – европейский национализм повсеместно принимает традицию Рима. Французы, немцы и итальянцы, при всей разделяющей их пропасти, одинаково сознают себя законными и притом единственными преемниками Рима. Но Рим никогда не был нацией. Покоренным народам он нес не свою, а греческую культуру. Воспитанный на Риме национализм наших дней отрекается от своей собственной природы.

Во всяком национальном чувстве можно различать отцовское и материнское сознания – находящие себя как любовь к отечеству и любовь к родине. Родина, материнство связаны с языком, с песней и сказкой, с народностью и неопределимой, но могущественной жизнью бессознательного. Отечество, отцовство – с долгом и правом, с социально-государственной, сознательной жизнью. В соединении их было величие национального задания XIX века. Ныне, как и в прошлые исторические эпохи, отечество и родина расторгают свою связь. Национальное сознание становится исключительно рациональным, политическим, экономическим. Вместе с тем оно совпадает, по своему содержанию, с государственным сознанием вообще, то есть утрачивает право на национальное имя.

Сказать, что от старого национализма уцелели только комплексы интересов, было бы невероятно. Не интересы, а страсти. Никакой интерес не может быть удовлетворен в современной войне. Но страсть предпочитает свою и общую гибель торжеству противника. Воля к могуществу является более точным именем для содержания современного национализма.

Национальное чувство часто сравнивают с эротикой. Объектом его является нация, то есть женственное начало культуры. Нельзя отрицать, что современный националист любит свою Францию, Германию, Италию. Однако, если продолжить это сравнение, любовь к нации перестает быть

любовью к личности. Страсть к обладанию, не просветленная личным началом, становится чистой сексуальностью. И естественно, что она не убывает, а скорее возрастает в силе отрицательных аффектов любви: ненасытности обладания, ревности и ненависти. Современный национальный эрос уже не достоин быть темой трагедии в стиле Шекспира. Он являет нам сцены каждодневных и пошлых бульварных преступлений «на романтической почве».

Лишь малые нации, только что созданные или создающиеся, переживают еще медовые годы своей любви. Для великих – исчезающее чувство родины ищет для себя нового воплощения. Замечательно, что вместе с интернационализацией национального чувства не утоленная потребность в материнском лоне родины направляется по новому руслу: открывает, в границах великой, малые родины и на них переносит свою любовь. Областничество – очень заметное явление культурной жизни Запада. Как недавно Париж, казалось, был единственной родиной французских беллетристов, так теперь почти каждый писатель стремится подчеркнуть свой провинциализм. В провинции набираются вдохновений, внимательно ловя следы уходящей жизни, собирая крупицы фольклора или совершая иногда, как в Провансе, Бретани, если не воскрешение, то искусственную реконструкцию старого языка и быта. В ГерманииHeimatsliteratur имеет под собой еще более глубокую почву. Областничество, как правило, свободно от насильственных эмоций. Оно чуждо началу отцовства, которое предоставляется в удел большому национализму государства.

Областничество – не только симптом вырождения великодержавного национализма. Оно – драгоценный намек на возможную эволюцию национального сознания. Национализм должен стать на путь возвращения: от отечества к родине, к материнскому началу, утраченному вместе с иррациональными комплексами культуры.

Что же станет с отечеством? с великодержавными стремлениями наций?

Эти стремления давно уже не останавливаются в границах – столь трудно определимых – национального государства. Каждое государство-нация мечтает о гегемонии в более или менее широком круге наций – в конечном счете, о мировой гегемонии. С другой стороны, государство уже перестало быть самодовлеющим – «автаркийным» организмом. Не парадоксально ли, что в момент экономического кризиса, при неутихшей национальной злобе, государства Европы вынуждены материальными жертвами спасать своих врагов: разорение врага влечет за собою,

вследствие единства хозяйственной системы, их собственный крах. Трудно подыскать более разительное доказательство невозможности национальных эгоизмов, национальных интересов – того, что составляет единственное содержание государственного национализма. Этот парадокс может означать лишь одно: Европа – вернее, человечество – стоит на пороге мировой империи.

Вспоминается Греция Пелопоннесских войн, средиземноморский мир, ждущий объединителя: Македонию, Рим. И тогда племенные и городские патриотизмы противились чужеземному завоеванию. Но культурное и экономическое единство древнего мира делало процесс политического слияния неизбежным. Для поколений, исстрадавшихся от нескончаемых войн, римская власть несла «мир» – тот мир, который для измученных и отчаявшихся выше «справедливости». Но римский мир нес и справедливость: pax et justitia. Насильственное объединение есть естественный и единственный исход из эпохи великих войн. При всеобщем истощении победитель, кто бы он ни был, становится господином.

В настоящее время Европа, конечно, и не думает о такой перспективе. Для этого потрясений одной мировой войны явно недостаточно. Но, готовясь к новым войнам, Европа тем самым готовится к мировой империи. Сейчас не видно на горизонте той силы, которая могла бы реально осуществить притязания нового Рима. Только Германия имела волю и почти достаточные силы для этого дела. Но Германия надолго выбыла из строя. Россия еще при Александре III могла бы сыграть роль Македонии: подобно Германии, она надорвана войной и революцией. Италия имеет волю, но не силы. Франция – ни воли, ни сил. Мир был бы счастлив, если бы Британия могла дать ему свой свободный закон. Но Британия теряет куски за кусками своей собственной слабеющей империи. Состояние равновесия, в котором оказалась Европа и вместе с нею мир, делает, казалось бы, безнадежным возрождение империализма (хотя мы стоим в самом начале эпохи). И тут приобретают все свое значение робкие попытки создания европейской и всемирной федерации наций. Практически они, конечно, значат немного: тонкая паутина, опутавшая доспехи Марса. Сейчас гораздо актуальнее космополитизм биржи, который спасает международную солидарность. Но в Женеве впервые провозглашается не утопистами, а государственными людьми Европы ограничение национального суверенитета. Принципиальный отказ от войны не может означать ничего другого, как подчинение государства иному, высшему суверенитету. Отныне узконациональная политика теряет

не только религиозную, моральную, но и просто юридическую почву. Она имеет под собой достаточную базу и вне легальности, и вне морали: в реальных национальных страстях и в мнимых (но еще сознающихся реальными) интересах. Трудно быть оптимистом в наше время. Возможно, что женевские идеи должны будут пробивать толщу черепов и кору сердец пушками новых войн. Но ясно уже, что настоящая эпоха указывает лишь три исхода: разрушение цивилизации, мировую империю победителя и врастание государств-народов в мировое сверхнациональное государство. Разумеется, только в эту третью сторону могут быть направлены сознательные усилия моральной и религиозной воли. Организация мирового хозяйства, мирового права, мировой полиции безопасности отнимает у наций почти все государственные атрибуты. Нация сохраняется как организация духовно-культурного общения, как малая родина. Под сенью мировой цивилизации она возвращается к материнству. Это возвращение возможно и неизбежно при одной предпосылке – вне которой не может быть и речи о социальном спасении: при религиозном обновлении культуры. Из лона бессознательного, оплодотворенного Логосом, нация продолжает творить все самое глубокое и прекрасное, что дано человеку. Лишь страшное право меча, jus gladii, отнимается у нее и возвращается кесарю.

* * *

Все сказанное выше из опыта послевоенной Европы лишь в малой степени относится к России. Здесь сохраняется во всей своей силе своеобразие России как третьего культурного материка между Европой и Азией, со своими собственными историческими судьбами.

1.Нельзя говорить об окончательном вырождении русского национального сознания, которое еще не выполнило своих культурных заданий. Национальное дело романтизма было сорвано в 40-х годах победившим западничеством. Лишь перед самой войной мы подошли к основным проблемам познания России в прошлом ее культуры. Эта нива ждет еще своих работников.

2. Для России было бы опасно вторичное включение в «политический концерт» Европы в момент его зловещей какофонии и политического пробуждения Азии. Россия должна выдержать нейтралитет в борьбе Европы с миром цветных рас, чтобы вступить в членство подлинно мирового союза народов.

3. Россия имеет еще много неизжитых возможностей для относительной хозяйственной автаркии.

4. Россия – единственное уцелевшее «государство национальностей»

– имеет перед собой великую задачу: опытного построения политического общежития народов. При удачном решении национальной проблемы в России, ее опыт может быть перенесен на мировое поле.

5. Отказ от войны, самоограничение в пределах необъятных внутренних задач диктуется для России не только высоким идеалом, но и простым чувством самосохранения.

6. Но русский традиционный национализм должен радикально переродиться, чтобы стать в уровень со сложными задачами века. В своей окаменелой данности он представляет одно из самых сильнодействующих средств для разрушения России.

Россия Ключевского

В прошедшем 1931 году зарубежная Россия отметила двадцатилетие кончины Василия Осиповича Ключевского (ум. 12 мая 1911 г.). Настоящий год связан с иной, очень значительной, юбилейной памятью в духовной биографии Ключевского – и России. Исполнилось полвека со времени появления «Боярской Думы». Сначала на страницах «Русской мысли» (с 1880 г.), потом в отдельном издании этого классического труда Ключевского (1882) читающая Россия впервые ознакомилась, в художественном воплощении, с совершенно новой схемой русской истории. В «Боярской Думе» заключены уже идеи всего знаменитого курса, который студенты Московского университета могли слушать с 1879 года. С этих пор схема Ключевского царствует почти неограниченно. Это не одна из многих, а единственная Русская История, на которой воспитаны два поколения русских людей. Специалисты могли делать свои возражения. Для всех нас Россия в ее истории дана такой, какой она привиделась Ключевскому.

Как, из каких элементов сложился образ этой России? Какие течения мысли, какие общественные влияния стояли у колыбели России Ключевского? Что в ней отмерло, что остается живым для нас? Вот вопросы, на которые мы попытаемся дать ответ в настоящем кратком очерке, поскольку этот ответ уже подготовлен в развитии русской исторической науки.

§ 1

Историк лучше других знает, сколько субъективного заключено во всякой канонизированной схеме национальной истории. Художественному гению более, чем научному, удается впечатлеть свой образ национального прошлого, заворожить им целый народ. Ранке, Мишле, Грин дали немцам, французам, англичанам устойчивый образ родины – икону или идол, которые могут принимать жертвы, вдохновлять на подвиги. Но время проходит, и краски тускнеют под разъедающим действием критических кислот. Старая схема превращается в груду устарелых гипотез. Это значит, время ждет нового построения, нового мастера, который отлил бы накопившийся материал исследований в новую форму.

Первый национальный образ России, в большом стиле, был создан Карамзиным. Его сравнительная недолговечность не должна нас обманывать. За ним, в прошлом, стоял весь XVIII век, историки которого

влились в «Историю государства Российского». Карамзин завершитель. Это поэт Империи на вершине ее славы. Он дал классическое одеяние России, построил ее форум в стиле ампир – параллель: Захаров и Росси, – заставив ее героев говорить языком римлян. Сейчас нам не пристало глумиться над русским ампиром. Это последний большой стиль России. Такой видел Россию Пушкин. Карамзин зачаровал Пушкина и был водителем его поколения на повороте от декабрьского либерализма к николаевскому консерватизму.

Карамзин дал душу и стиль николаевской эпохе, потому что и она имела свой стиль. Однако стиль этот был уже в состоянии окаменения. Разложение карамзинского стиля началось с тридцатых, даже двадцатых годов. С разных концов – критик Каченовский, демократ Полевой, западники и славянофилы – разрывали классическую порфиру Государства Российского. Она была еще пригодна для учебников и официальных парадов: она доживает и в следующих царствованиях в холодных национальных монументах: памятник Тысячелетия России в Новгороде и Александра II в Кремле. Но душа давно отлетела. Карамзин не пережил крушения николаевской России. Шестидесятые годы обходились без схемы русской истории. Соловьев писал для специалистов; его история не стала национальной. Костомаров не имел достаточно силы, чтобы стать новым, революционным Карамзиным. Шестидесятники охотно заменяли историю этнографией. На месте былого форума образовалось пустое место, «коровий выгон» (campo vachino). Здесь легко слагались пародии: писалась «История города Глупова». Но здесь же закладывались основы России Ключевского.

Читающая Россия слишком поздно познакомилась с новой блестящей конструкцией русской истории. Счастливые слушатели Ключевского – и притом не универсанты, а студенты Духовной Академии, Александровского военного училища и Высших женских курсов – могли слышать Ключевского с начала семидесятых годов. Недавно профессор А. А. Кизеветтер [131] познакомил нас с попавшими в его руки студенческими записями курса Ключевского от 1873 года. Не без удивления мы узнаем отсюда, что в 1873 году курс Ключевского, как его знает наше поколение, уже сложился. Целые главы вошли без изменений в печатный текст. Работа последующих лет заключалась более всего в сокращениях и в художественной отделке. Не только историческое миросозерцание Ключевского, но и видение им русской истории было вполне законченным и цельным к началу семидесятых годов. Но это значит, что оно сложилось в шестидесятые. Это значит, что Ключевский был «шестидесятником».

Такой вывод покажется многим неожиданным. Для поколения начала XX века Ключевский был еще современным, передовым. Его история удовлетворяла не только художественным, но и социологическим потребностям русского интеллигентного читателя времен первой революции. Это значит только, что Ключевский, как всякий большой человек, во многом упредил свое время – был зачинателем, а не завершителем эпохи. Но корни его – в далеком прошлом. Шестидесятые годы вскормили его, дали ему запас жизненных впечатлений и социальных идей, с которыми он вышел на творчество. Семидесятые прибавили кое-что – немногое.

Шестидесятые годы оставили печальный след в истории русской философской мысли и русского слова (не науки). Это эпоха во многом скорее разрушительная, чем созидательная. Творчество жизни нередко убивало творчество культуры. Но памятником огромного разлива бушевавших сил навсегда останутся: для разрушителей эстетики – Некрасов, Репин, Мусоргский, для антиисторического народничества – Ключевский. Ключевский один оправдывает собой шестидесятые годы.

В самом общем и широком охвате, включающем разные, даже противоположные направления мысли и политики, шестидесятые годы характеризуют реализм и народничество. Реализм в понимании того времени – это антиидеализм, возвращение на землю («природа не храм, а мастерская»), к низшим, натуральным сферам жизни: к материи, к физиологии, к экономике, к этнографии. Народничество, не в революционном, а в широком смысле слова, – как бы социальная транскрипция того же натурализма: глубокий интерес и сочувствие к жизни низших классов (крестьянства) – принесение в жертву им культурной утонченности и сложности: «все для народа», но, может быть, и не «через народ» (было народничество монархическое и якобинское). Нетрудно видеть, что обе эти черты неизгладимы в облике Ключевского.

Ключевский реалист: он враг в истории «созерцательного богословского ведения» и «философских откровений». Он хочет изучить «анатомию», «физиологию» общественной жизни. Он становится проницательным художником, когда спускается в низшие социальные пласты: географическую природу русской земли, хозяйственный быт народа. Его характеристика великоруса (в 1 томе) навсегда останется классической. Но в ней сильнее всего сказалось влияние Щапова и через него этнографической школы шестидесятых годов. Ключевский, с его развенчиванием героев, с его едкой усмешкой, многим приводил на память нигилиста. Правда, делали это сближение лишь для того, чтобы сейчас же

его отбросить. Ключевский не нигилист: он слишком широк для этого, слишком верит в «нравственный капитал». Но метка нигилизма на нем недаром. Через нигилизм он прошел. Вчерашний семинарист, молодой московский студент (1862–1865) с жадностью набрасывается на передовые журналы, увлекается Добролюбовым, Чернышевским, гордится ими как «нашими», поповичами. Его письма к другу в эти годы пестрят умственно-нигилистическими выпадами. Ключевский скоро переболел эту детскую болезнь, но следы ее остались. Они в значительной степени определяют его знаменитую иронию.

Ключевский-народник сам признается нам, что все его общественное миросозерцание определилось под знаком 19 февраля 1861 года: из памяти о недавней крепостнической неволе и из размышлений о ней. Более всего привлекает его в Московской Руси – внеклассовое единство культуры; отсутствие его всего более отталкивает его от императорской России. Ключевский остался чуждым дворянской традиции Империи. В карикатурном изображении XVIII века нельзя не видеть мстящего пера, водимого рукою сына бедного сельского священника, который, конечно, чувствовал себя ближе к мужицким избам, чем к дворянским усадьбам.

§ 2

Ключевский не был бы Ключевским, если бы остался только шестидесятником. Он должен был перерасти свое время, найти в своей глубине сопротивление окружающим влияниям, чтобы выковать в себе великого историка из такой, по существу своему, антиисторической общественной материи. Есть в нем черты, столь не сходные с обликом людей его поколения, что он и для поверхностного взгляда совершенно заслоняет шестидесятника.

Ключевский не радикал. И не только в политическом смысле: чрезвычайно трудно говорить о политических взглядах Ключевского. Но так же трудно говорить и о его религиозных взглядах. Ключевского считали своим люди самых противоположных воззрений. Он был свой и в либеральном салоне гольцевской «Русской мысли», и в допотопной профессорской среде Московской Духовной Академии. Он был учителем наследника Георгия Александровича и в 1905 году приглашался на петергофские совещания во дворец. Но в то же время П. Н. Милюков рассказал[132], что в последние годы своей жизни Ключевский был в резкой опозиции правительству и даже состоял членом конст<итуционно>-дем<ократической> партии. Это свидетельство не подлежитоспариванию. Однако оно получает свое полное объяснение лишь на фоне той нервности и горечи, которая все более охватывает Ключевского в годы революции и

отчаяния в путях России. Тот же Ключевский в семидесятые годы был непроницаем для своих учеников, пытавших его на политические злобы дня, и в 1894 году неприятно поразил всю либеральную Россию своей речью над гробом Александра III. Ключевский был слишком сложен, чтобывложиться в направление. К тому же еще и скрытен. Он рано заковал себя в броню непроницаемых формул, точно и остро отточенных, столь поразительных в его буйное, богатое силами, но бесформенное, растрепанное и хаотическое время. Жизнь научила его сдержанности. Бедность и семинария были для него превосходной школой скрытности. Затаив нанесенную ему учительской несправедливостью обиду, он удивил всех своих товарищей неожиданным и неурочным выходом из семинарии до окончания курса. Какой огромной выдержкой, почтимакиавеллистической, нужно было обладать, чтобы читать курс одновременно в духовной, военной и университетской аудитории, в течение сорока лет распаленных общественных страстей, всюду увлекая и пленяя, никогда ни в чем не возбудив подозрительности разных начальств. Будь он еще сухим собирателем и критиком исторических фактов! Но сохранить объективную принудительность в своих ярких художественных характеристиках – это дано лишь настоящему искусству.

Ключевский, как художник, – прямое отрицание шестидесятых годов. Как писатель, он совершенно одинок – до самого XX столетия. Его поколение, порвав с великой карамзинско-пушкинско-гоголевский традицией, размотало все формальные достижения русского слова, разболтало

и развинтило синтаксис, засорило словарь. Даже Толстой и Достоевский, в своей свободе и беззаконии, не могут быть учителями безукоризненной русской речи. Ключевский был не только образным и ярким писателем (эти качества не были утрачены и в 60-х годах), но и строгим, чеканным, изысканным мастером. Его искусство граничило с искусственностью, не допускало ни малейшей вольности. Каждая острота отлифована, правится годами, получая классическую отточенность. В обращении со словом Ключевский может найти себе равных только среди символистов XX столетия, при всем различии их художественных средств. Непонятным, загадочным представляется Ключевский как стилистическое явление. Его можно поставить в связь с его моральной сдержанностью. Там и здесь – методическая работа над оформлением своей стихийности, отрицание «естественности», закованность в стиль. Классическая школа – в семинарии и университете, – которую Ключевский впитал в себя как наследие классического века, – отлило природную одаренность

пензенского бурсака в чекан Вергилия. Надо уметь почувствовать элементы этой античной формы, вобравшей у Ключевского всю образность и жизненность русского московского говора XVII века.

3

Ключевский – шестидесятник. В качестве такового он совершает разрыв с историческими течениями сороковых годов. Линия разрыва, которая в сфере политики и культуры прошла между Чернышевским и Герценом, в историософии проходит между Ключевским и историками-гегельянцами: Соловьевым и Чичериным. Старый спор между западниками и славянофилами утратил для Ключевского, как и для его эпохи, свою актуальность. Не то чтобы он был в какой бы то ни было степени научно исчерпан. Но был прежде времени сдан в архив, но трагическая тема его звучит и в конце столетия, и в эпоху ренессанса XX века, – с особой силой для нашего времени. Шестидесятники оказались глухи к ней потому, что сняли с порядка дня тему исторических идей. Практически западники торжествовали по всему фронту – торжествовали и в русской исторической науке. Ключевский, как ученик Соловьева, как передовой человек своего времени, конечно, находится в западнической традиции (что не мешало его сердцу порой славянофильствовать). Но он отходит от западничества как оно сложилось в исторической школе сороковых годов.

Менее всего он хочет афишировать разрыв. Он не любит полемики, избегает даже точной формулировки расхождений. С Чичериным он сводит счеты на нескольких страничках предисловия к «Боярской Думе», не называя его имени. По отношению к Соловьеву он проникнут величайшим пиететом, хочет уверить своих слушателей и нас в том, что он остается верным последователем Соловьева – не более. «Я передал вам то, что получил от Соловьева: я ученик Соловьева, вот все, чем я могу гордиться как ученый». Очередной порядок княжеского владения, колонизация Суздальской Руси, рост Москвы, корни Петровской реформы в XVII столетии – вот Соловьев в Ключевском. Чичерин, историк учреждений, завещал Ключевскому целый ряд тем, если не готовых построений: крепостное право, земские соборы, – в сущности, может быть, и самую боярскую думу. Еще значительнее для формации России Ключевского было открытие Чичериным русского средневековья: «гражданского общества» между родовым и государственным Соловьева, – иначе, «средней», удельной эпохи, в которой строение удельного княжества определяется частноправовыми и договорными отношениями.

Но, признавая в полной мере все, чем Ключевский обязан

исторической школе сороковых годов, необходимо резко подчеркнуть разделяющие их грани. Для исторической философии гегельянства основными понятиями были: национальная идея, государство и историческая личность. Правда, национальная идея, доставшаяся в удел славянофильству – философскому и публицистическому, – выпала из обихода западнической исторической и юридической науки. Но остаются государство и личность, особенно первое, как главный субъект исторического процесса. «Государство есть высшая форма общежития, высшее проявление народности в общественной сфере», – слова Чичерина. И Соловьев ему вторит: «Правительство будет всегда на первом плане для историка – для истории нет возможности иметь дела с народными массами». «Историческая личность решает задачи, которых история не в силах разрешить сама собой» (Чичерин). Именно это и отрицает Ключевский, отрицает практически, в опыте своего построения русской истории, где не государство, не правительство и не властная личность, а народ, в смысле общественных групп и классов, – на первом плане. Именно этот «негосударственный» народ, «жидкая масса», «калужское тесто» (Кавелин) всего более интересует Ключевского. Для Соловьева прогрессивный момент русской истории – в торжестве государственных начал над пережитками родового быта. У Ключевского нет и схемы этого родового быта. Древняя Киевская Русь представляется ему созданием не князей государственников, а торгового общества, пригласившего князей для военно-полицейской охраны. Со своей высокой оценкой государства Соловьев мог посвятить всю свою жизнь «Истории России» как летописи успехов этого государства, его внешнего роста, внутреннего укрепления, его борьбы с окружающим политическим миром. История Соловьева – чисто политическая история, и внешняя политика в ней занимает подавляющее место. Конечно, есть разница между университетским курсом и научной историей. Конечно, в своем курсе Ключевский не отрицает, а дополняет (или думает, что дополняет) Соловьева. Но из всей совокупности его трудов совершенно ясно, что внешняя политика его совершенно не интересовала, да и судьба государства занимала весьма умеренно.

С «Боярской Думой» Ключевский подходит вплотную к истории учерждений, к теме государственно-правовой, как бы завещанной ему Чичериным. Но подходит лишь для того, чтобы поставить ее по-новому, с первых же страниц отмежевавшись от историко-юридической школы. Старая школа изучает только «механизм правительственных учреждений.

При этом остаются в тени общественные классы и интересы, которые

за ними скрывались и через них «действовали». Но, по мнению Ключевского, «в истории политических учреждений строительный материал часто важнее самого строя». В истории Боярской Думы Ключевского интересует не столько компетенция Думы и работа ее, сколько состав: те классы общества, которые в Думе и через Думу управляли Россией. Вот почему «Боярская Дума» Ключевского развертывается в построение социальной истории России, в которой тема Думы совершенно тонет в иной, поглощающей теме правящих классов. Вполне естественно, что книга Ключевского должна была вызвать негодование историков-юристов, о которой свидетельствует полемика Владимирского-Буданова и Сергеевича. Тема Ключевского была нова, и разработка ее плодотворна, но изгнание правовой, институционной точки зрения из русской истории едва ли ее обогатило. История права и учреждений, оформляющих государство, предоставляется в удел чистым юристам. Размежевание с юристами оставило в русской истории и другой след: слабость формально-логической структуры, нечеткость исторических понятий. Напрасно пытались находить у Ключевского эту четкость. Не следует смешивать меткости и силы художественных описаний с точностью определений. Образ не заменяет понятия. Обратной стороной блестящего художественного таланта Ключевского является известная, незаметная для среднего читателя и даже порой для историка расплывчатость исторических понятий. h7 § 4

В истории классов Ключевский нашел свою социальную тему, которую он противопоставил политической теме государства и завещал всей позднейшей русской историографии. Можно с уверенностью утверждать, что классовая тема Ключевского не стояла ни в какой связи с социализмом. Это доказывается хотя бы тем, что внимание Ключевского было приковано не к одним трудящимся классам. Его курс по «Истории сословий в России» об этом свидетельствует, как и тот факт, что главный труд его, «Боярская Дума», есть история правящих классов. Менее всего Ключевский уделяет внимания буржуазии, как и пролетариату – торгово-промышленным группам Древней Руси, – и об этом нельзя не пожалеть. Но это лишний раз свидетельствует о том, что его социальная тема возникла не из европейской социальной борьбы (как русский социализм), а имеет более глубокие, народные и вместе с тем личные корни. Можно отважиться на утверждение, что Ключевский, по условиям своего рождения и воспитания, был как бы предназначен к тому, чтобы увидеть историю России в классовом разрезе. Сын сельского священника, современник освобождения 1861 года, он видел воочию столкновение двух

России, взаимное непонимание, разность их культур. Но по своему собственному семейному быту он не принадлежал ни к миру ампирных усадеб, ни к миру соломенных крыш. Он мог смотреть на тяжбу барина с мужиком еще с третьей стороны. При всем демократизме Ключевского, его бытовые связи со своим сословием были так сильны, что он не стал политическим демократом и социальным революционером: он был лишь зрителем и историком классовой тяжбы. Но для него стало уже невозможным, как для типической, родившейся в дворянстве интеллигенции, исходить из единства национального и общественного сознания России. В этом он шел своим путем, параллельным пути революционной интеллигенции. Между Ключевским и ею можно сделать еще одно сближение. Известно отвращение русских социалистов шестидесятых и семидесятых годов к «чистой» политике, к юридическим формулам либерализма. Прямой аналогией этому является социальный историзм Ключевского с его ироническим отношением к «механизму» правительственных учреждений. Впрочем,антиюридизм Ключевского не шел так далеко, как антилиберализм русских народников, он всегда изучал классы общества в их отношении к государству, к власти, и в этом чувствуется ученик Соловьева. Общество не упразднило для него государства, а лишь оттеснило на задний план исторической сцены. И в этом он выполнил лишь правильно учтенный им «заказ» своей эпохи.

Почти то же можно сказать и об экономизме Ключевского. Он сказался не только в чисто экономических его работах, но и в том значении, которое экономические факторы имеют в его исторической конструкции. Специальные его работы делают Ключевского основателем научной экономической истории в России. Весь курс его дает начало историческому экономизму как особому и очень влиятельному именно в России историческому направлению. Некоторые из учеников Ключевского могли говорить даже о его «экономическом материализме», а русский марксизм просто аннексировал в свою пользу курс Ключевского в эпоху его полулегального, допечатного существования. Однако экономизм Ключевского так же органичен и почвенен, как и созвучен передовым течениям своего времени. Здесь приходится думать не столько о марксизме, сколько о возникавшей на Западе историко-экономической школе семидесятых годов: Родбертус, Инама-Штернегг, Роджерс. Нам, к сожалению, неизвестны все эти западные влияния на Ключевского, но было бы неосторожным их оспаривать. Молодой студент, П. Н. Милюков, пришедший в аудиторию Ключевского с запасом идей новейшей западной науки (он говорит прямо о Роджерсе), нашел ее принципы выраженными в

знаменитых вступительных лекциях Ключевского. Однако следует вспомнить, что первая экономическая работа Ключевского – о Соловецком монастырском хозяйстве – была напечатана в 1869 году. Едва ли в эти годы западная историография могла дать Ключевскому вдохновляющие опыты. Ключевский опередил расцвет исторического экономизма на Западе. Русских предшественников Ключевского П. Н. Милюков справедливо видит в славянофилах. Не богословы-идеалисты сороковых годов, а позднейшие славянофилы-почвенники с любовью к быту, обряду и этнографии вводили хозяйственный быт в круг изучения русской народности: Беляев, Забелин, Валуев, Ал. Попов. По компетентному предположению Милюкова, идею торгового значения Киева (основную в его схеме) Ключевский мог найти уже у одного из историков XVIII века – у Шторха. Но хочется сказать: то, как экономическая тема ставится у Ключевского, говорит о ее гораздо более органическом, не литературном только происхождении. Ключевский принялся за изучение ее по житиям русских святых и памятникам монастырского хозяйства. Конечно, не иначе приходилось изучать экономическую историю средневековья и на Западе: таков весь сохранившийся состав исторических источников. Но Ключевский подходит к экономическим явлениям с такой теплотой, с такой бытовой и нравственной сращенностью с изображаемым миром, которые далеко выводят за пределы нормального отношения исследователя к своим «источникам». Сочинения Ключевского могут служить превосходным материалом для построения психологии и идеологии «православного», то есть церковно-бытового хозяйства. Задолго до Макса Вебера, Ключевский, не теоретизируя, нащупал религиозно-психологические основы хозяйства. В этом смысле характерно, с какой любовью выписан им портрет преп. Пафнутия Боровского, хозяйственного игумена и коренного московского патриота XV века. В разрыве с Костомаровым и либеральной интеллигенцией, которая из всех русских святых излюбила мистика и свободолюбца Нила Сорского, Ключевский выдвинул сурового трудолюбца, учителя знаменитого противника Нилова, Иосифа Волоцкого. Думается, что здесь Ключевский руководился бессознательно родовым опытом русского духовенства с его трудовым стяжанием, с его скопидомством, с его хозяйством, освященным, как и в крестьянстве, обрядностью годового церковного круга. Вот почему экономизм Ключевского, в отличие от западной науки, связан не с юридическим формами хозяйства и не с техникой (как в марксизме), а с бытом и нравственными основами жизни.

5

Ключевский был не только исследователем хозяйства и социальных отношений. Он дал в своем курсе целостное построение русского исторического процесса и во вступительных лекциях к нему – основы своей исторической философии. В этом курсе самое поразительное – исключение всей духовной культуры, при стремлении к законченному объяснению «процесса». Слушатель или читатель Ключевского ничего не узнает даже об утверждении на Руси христианства и встречается с этим фактом на окольных путях, при анализе некоторых юридических памятников. Нет и речи о влиянии Византии на культуру Древней Руси, как и влиянии (или отсутствии влияния) на нее со стороны татар. Эта односторонность курса Ключевского особенно бросается в глаза при сравнении его с знаменитым курсом Гизо. Из всех классических образцов курс Гизо обнаруживает наибольшее сходство с лекциями Ключевского: в четкости общих линий и уменье заполнить рамки схем конкретностью красноречивых фактов, в художественности изложения без ущерба для строгой научности, а главное, в том равновесии между анализом и синтезом, между построением и фактической содержательностью, которое составляет секрет большого исторического стиля. Почти не может быть сомнений в знакомстве Ключевского с курсом Гизо. Гизо был учителем Соловьева, о ГизоКлючевский говорит как о профессоре со слов своего учителя, упоминая даже о тембре его голоса. Но из сравнения с курсом Гизо парадоксальная особенность построения Ключевского бросается в глаза: у Гизо внимание равномерно распределено между социальной и духовной культурой, между правом и государственным развитием, с одной стороны, – наукой и религией, с другой. Что Ключевский пожертвовал половиной исторического содержания не из сознания своей некомпетентности, это ясно для всякого. Автор диссертации о «Русских житиях святых», в многочисленных рецензиях доказавший свой пристальный интерес к изучению духовной культуры русского прошлого, – более, чем кто-либо, был призван для синтетического построения всей русской культурной истории. Откуда же его самоограничение, его жертва?

Постараемся найти ответ в историософском кредо вступительных лекций. Здесь Ключевский развивает взгляд на историю как «предварительную ступень к социологии». Он ставит высшей целью историка открытие «законов», «закономерности», «механики исторической жизни». В другом месте он говорит «об анатомии и физиологии» общественной жизни и в «Боярской Думе» выставляет следующее утверждение: «Исторические тела рождаются, живут и умирают подобно органическим телам природы». Во всем этом мы узнаем

влияние той новой науки, «социологии», которая в семидесятых годах складывалась, с величайшими притязаниями на универсальность, на Западе и в России. В России ее идейная диктатура в широких массах интеллигенции, сменившая диктатуру естествознания шестидесятых годов, была особенно суровой. Ключевский, как передовой человек своего времени, не избежал общего духовного поветрия. Конечно, он не был социологом, не был теоретиком вообще. «Разговоры, касавшиеся теории исторического процесса, его не воодушевляли», – вспоминает Богословский. Но он чувствовал себя обязанным оправдывать своюисторическую работу перед судом Социологии. Какое значение имеет «местная» (то есть национальная) история для познания общих исторических законов? «Научный интерес истории того или другого народа определяется количеством своеобразных, местных сочетаний и вскрываемых ими свойств тех или иных элементов общежития». Это своеобразие, конечно, получает свой смысл лишь из сравнения с параллельным развитием других местных культур. Само по себе оно малоинтересно. «Культурное значение местной истории сравнительно ничтожно». Вступление Ключевского настраивает нас к ожиданию сравнительно-исторического метода исследования. Ничуть не бывало. Ключевский избегает его даже там, где оно напрашивается само собой (аналогии с западным феодализмом, например). Предисловие составлялось для очищения совести. Историк в Ключевском был терроризирован социологией и делал вид, что принимает ее социальный заказ. Только ученик его, Рожков, уже на почве марксизма, сделал опыт «социологического» построения русской истории.

Однако от социологии нельзя было отделаться предисловием. Чтобы спасти «научность» истории, в духе своего времени, Ключевскому пришлось пожертвовать историей духовной культуры. Сама по себе духовная культура, казалось бы, допускает социологическое истолкование. Но для экономической или иной материалистической интерпретации духовной культуры Ключевский обладал слишком большой трезвостью и вкусом. Идеалистическая же социология возвращала назад к Гегелю, к его диалектике и «богословию», от которых Ключевский отталкивался. Будучи не в силах дать иное, кроме описательного, «идеографического», изображения духовной жизни, и не желая портить строгости эволюционных линий своего процесса иррациональностью голых культурных фактов, Ключевский отказался от половины своей темы. Нельзя сказать, чтобы оправдание этого приема у самого Ключевского было удовлетворительно. Не будучи материалистом и доктринером, он

допускает в истории возможность творчества духовных сил: «человеческая личность, людское общежитие и природа страны – вот те три основные исторические силы, которые строят людское общество». Однако он не знает сам, что делать с личностью и особенно творимой ею духовной культурой. «А где же, может быть, спросите вы, домашний быт, нравы, успехи знания и искусств, литература, духовные интересы. Идея становится историческим фактором, когда овладевает какой-нибудь практической силой, властью, народной массой или капиталом. Политический и экономический порядок известного времени можно признать показателем его умственной и нравственной жизни». Это объяснение, читавшееся в первом издании, не особенно вразумительно. Если идеи обладают практической силой, почему они не имеют самостоятельного значения? Ключевский почувствовал неувязку и во втором издании заменил это объяснение другим, всем нам памятным: только методологически, в порядке изучения, общественные факты идут впереди духовной культуры.

Во внутренней противоречивости «социологического» введения, в неустойчивости самого текста сказалась драматическая борьба историка с духом своего времени, с его «социальным заказом». Этот заказ, конечно, не был внешне навязанным, но внутренне принятым. Тем не менее он был известной тяжестью, ярмом, которое влачил на себе историк-художник большой чуткости и широты ума, принужденный замалчивать в общем историческом курсе многие из своих заветных исторических идей.

Эти заветные мысли Ключевский любил высказывать не в академических, а в публичных чтениях, где чувствовал себя свободным от обязательной «научности». В них-то и вскрываются неожиданные противоречия в его исторической схеме – вернее, та тирания, с которой она организует его исторический опыт. В знаменитой актовой речи о преп. Сергии Ключевский говорит не только о религиозном, но и общественном и государственном значении Радонежского старца для Древней Руси. В своем курсе он не нашел ни одного слова для характеристики этого значения и даже для упоминания самого Сергия. В публичной речи о русской женщине Ключевский выражает свое твердое убеждение (даже «веру»), что русская женщина всеми своими гражданскими правами обязана влиянию Церкви. В курсе мы напрасно стали бы искать доказательств этого влияния. Но ведь это факты социального, а не чисто морального порядка. Они должны были бы найти свое место в социальной истории России. Историк, утверждавший не раз примат экономики над политикой, должен сознаться: «Умственный труд и нравственный подвиг

всегда останутся лучшими строителями общества и самыми мощными двигателями человеческого развития». Но это убеждение историка не отразилось в его историческом построении.

6

Художник сгладил шероховатости социолога, скрыл острые углы его схемы. Читая Ключевского, мы не задыхаемся от удушья, как, например, в геометризме марксистских исторических схем. Ключевский, в отличие от марксистов, не механизирует духовной культуры. Обходя ее молчанием, он, напротив, одухотворяет культуру экономическую и социальную. Под его пером она утрачивает свой схематизм, становится выражением конкретной человеческой личности. Социальная история превращается в социальную характерологию. Все мы благодарно храним в памяти блестящие портреты исторических деятелей (Грозного, Алексея Михайловича), которыми нечаянно дарит нас Ключевский, забывая на час о своей строгой, конструктивной задаче. Эти портреты освежают, одухотворяют для нас русский исторический «процесс». Однако еще более значительны у Ключевского коллективные, социальные портреты, в которых он был такой мастер: древнерусского князя, великорусского земледельца, московского боярина и служилого человека. Эти социальные портреты, несомненно, – самое прочное в наследии Ключевского. Их не коснется переоценка социальных схем и принципов исторического построения. Самое ценное и редкое в них – это своеобразное отношение художника к своей модели. Создается впечатление, что между ними нет граней времени и культуры. Что пером Ключевского древнерусский человек рисует самого себя. Это относится особенно к московскому человеку XVI-XVII веков. Сам Ключевский, подходя к XVII веку, считает его историю уже «автобиографией»: до такой степени историк живет в его исторической среде. Не только в силу исторического и художественного вживания в искусственно воскрешенное прошлое. Это прошлое было для Ключевского настоящим, его подлинной живительной средой, питавшей его юность. В Ключевском мы видим московского человека XVII века, прошедшего сквозь «нигилистический» опыт XIX века, но сохранившего нетронутым, по крайней мере, свой душевный склад. XVII век действительно не умирал в России совершенно. Оттиснутый вниз петровской дворянской культурой, он доживает, в полной моральной силе и здоровье, в крестьянстве, купечестве и духовенстве, особенно сельском, из которого вышел Ключевский. Лесков – бытописатель XVII века в XIX. Шестидесятые годы начали стремительный процесс разложения допетровского массива русской жизни. Революция, по всей вероятности,

смыла его остатки. Ключевский был последним очевидцем-свидетелем Московского царства. Даже тогда, когда уже нечему будет учиться у исследователя Ключевского, к нему будут обращаться как к первоисточнику.

Однако все отношения Ключевского к старой московской культуре – глубоко двойственно. Он высоко ставит ее моральный закал, хозяйственную крепость, жизненную доброту практического христианства. Но идейное содержание этой культуры, как и эстетические ее идеалы, для него не существуют. Он должен был смотреть на все это, с просветительской горки шестидесятых годов, как на наивное и невежественное варварство. Ничто не дает нам основания думать, что Ключевский ценил древнерусское искусство. Оно осталось навсегда запечатанным даже для Кондакова. Но научный и философский багаж Древней Руси может вызвать улыбку не только у человека шестидесятых годов. Так, ирония навсегда осталась наиболее резкой чертой в Ключевском – бытописателе и портретисте. Она спасает его от слащавости, невыносимой у славянофилов. Но она говорит и о болезненном разладе в отношении к действительности. Ирония возникает почти неизбежно там, где ум живет не в ладу с сердцем. Умом Ключевский, конечно, считал Древнюю Русь глуповатой, но сердцем отдавал предпочтение ей перед культурой своего времени, как обществу «антиков» Духовной Академии перед либеральными салонами Москвы.

§ 7

Велика историческая удача Ключевского. Полвека – огромный исторический срок, – Карамзин не выдержал и половины. Школа Ключевского до самой революции безраздельно господствовала в России. Если бы нужно было указать на самые крупные научные завоевания Ключевского, я отметил бы следующие: 1) характеристику смены различных слоев московского боярства и служилого класса – тема, особенно излюбленная «школой»; 2) очерк монастырской колонизации Русского Севера, хотя и оставшийся вместо задуманной диссертации в набросках нескольких лекций; 3) блестящее воссоздание хозяйственно-социального быта удельных столетий (XIII-XV) русской жизни, русского «средневековья». Последнее мне бы хотелось подчеркнуть особенно. Вместе с Ключевским впервые два века русской истории, от татарского завоевания до Ивана III, заполняются определенным социальным содержанием. У Карамзина и Соловьева они заняты безрадостной летописью смут и «возвышением Москвы». Ломка удельного строя московским объединительным деспотизмом представлялась единственным

светлым явлением этих столетий. Ключевский (мы видели, вслед за Чичериным) подошел к ним с любовным вниманием. Он показал, как в хозяйственной страде здесь складывался великорусский характер. Он, несомненно, преувеличил, как и Чичерин, значение вотчинных элементов удельного строя в ущерб государственным. Автор «Русских житий», по принципиальному воздержанию, с одной стороны, и по нечувствию – с другой, не пожелал оценить этой эпохи как золотого века русской святости и русского искусства. Но остается фактом: он оценил положительную работу этих веков, завещав будущему их углубленное изучение. Среди достижений Ключевского я обошел открытие им торговой Киевской Руси. Это потому, что при настоящем отношении к этому открытию русской исторической науки оно скорее должно быть отнесено в пассив Ключевского. Не то чтобы оно было опровергнуто новыми фактами и открытиями. Но оно осталось неподтвержденным, как гипотеза, облеченная в художественные краски, но лишенная исторической плоти. Пренебрежение Ключевского к археологии и лингвистике, игнорирование им племенного быта, засвидетельствованного на заре русской истории, заставляет теперь по-новому, из новых материалов строить первые столетия русской истории. Как характерно, что знаменитые «градские старцы», истолкованные Ключевским как купеческая городская аристократия, оказались библейским заимствованием!

Но, переходя к пассиву в балансе Ключевского, к 1) торговому Киеву следует присоединить: 2) резкость отрыва великорусского периода нашей истории от киевского. Получается впечатление создания новой жизни на новом месте с полным уничтожением старых государственных форм. В школе Грушевского эта мысль Ключевского получила парадоксальное противопоставление двух независимых национальных процессов: русского и «украинского». 3) Игнорирование Ключевским судеб Литовской Руси и Украины, тоже как бы выделяющее половину Руси из русского исторического процесса. 4) Отсутствие изображения колонизации, государственного роста и внешней политики России. 5) Карикатурность изображения XVIII века, вытекающую из нечувствия Империи. Нетрудно было бы показать, что все эти пробелы и провалы Ключевского объясняются недооценкой у него момента государственности и увлечением одним социальным процессом. Наконец, 6) – мы уже достаточно настаивали на этом – отсутствие в построении Ключевского духовной культуры. Подводя итоги, приходится сказать, что слабость Ключевского в том, в чем он отказывается от традиции сороковых годов: от государства, исторической личности и национальной идеи. Его сила в

разработке открытой им золотоносной жилы: социальной истории общества как совокупности классов.

§ 8

Огромное влияние Ключевского в русской историографии не сводится к одному его личному таланту. Он оказался в основном русле – с редкой чуткостью нащупал это русло – русской общественной мысли, которая с девяностых годов испытывала огромное и все растущее влияние социализма. Марксизм был политическим и радикальным выражением той тенденции интеллигентской мысли, которая в границах научного историзма удовлетворялась школой Ключевского.

Эта школа насчитывает десятки имен; к ней, в сущности, относятся все московские и петербургские историки последних десятилетий. Вне ее стоят лишь некоторые провинциалы: киевляне, харьковцы. Даже всегда противостоящий Москве Петербург на этот раз изменил своей традиции. Глава петербургской школы Платонов, по существу, является представителем той же историко-социальной школы. Совершенно в духе Ключевского он истолковал нам смуту как борьбу классов и опричнину как революционную смену правящего класса. На этом отрезке времени он усовершенствовал схему Ключевского, продвинулся дальше его – в том же направлении. В стороне стоял Лаппо-Данилевский,человек огромной культуры, мысливший в терминах философского идеализма, которого обесплодило собственное богатство. Придавленный критицизмом, он не мог отважиться на историческое построение в большом стиле и воспитал целую школу скрупулезных дипломатистов и архивистов, русскую Ecole des Chartes. Творческие петербургские силы идут в ногу с москвичами, разрабатывая темы Ключевского. Более всего посчастливилось теме московского служилого класса (Готье, Платонов, Рождественский). Усердно изучалась экономическая история – в связи с социально-административным строем (Милюков, Веселовский, Богословский, Греков, Заозерскии). Павлов-Сильванский углубился в средневековую Русь с идеями западноевропейского феодализма. Менее всего, быть может, посчастливилось чистой экономической истории (Довнар- Запольский), которая стоит еще в начале своей научной разработки. Но классовая социальная история в духе и даже догме марксизма представлена в школе Ключевского необычайно богато. Ключевский сам приветствовал первые экономические работы своего ученика Рожкова. Покровский, научная карьера которого не удалась, блеснул лишь несколькими талантливыми статьями. Свою «школу» он создал лишь теперь, в условиях, свободных от конкуренции. Но и в свободной России число историков-марксистов, и

притом настоящих историков, было очень велико. Парадоксальность этого явления особенно ощущается при сравнении с Западом, где, говоря серьезно, нет и не было ни одного марксиста-историка: тиранический схематизм доктрины претит и конкретности, и критицизму, вне которых немыслима научная история. Если в России исторический марксизм нашел для себя сравнительно благодарную почву, то это потому, что она была подготовлена для него Ключевским. Экономический историзм его, столь жизненный и конкретный, предрасполагал ко всякому экономизму, даже материалистическому. Удача Ключевского вдохновляла на дерзание. Конечно, большинству за это дерзание пришлось заплатить самой дорогой ценой – ценой вульгарности. Но поскольку в революционной России разрабатывается русская история как наука – даже в марксистском освещении, – в ней доживает себя, изуродованная и стиснутая в колодки, школа Ключевского.

Оппозиция Ключевскому в его собственной школе проявилась в одном направлении: большей оценки государства. Очагом этой оппозиции был, естественно, Петербург, город Империи, город западников, где историки ближе, чем в Москве, стояли к юристам (Сергеевич), старым врагам Ключевского. Эта оппозиция была довольно сильна в рядах молодежи, которая, застигнутая войной и революцией, не успела создать определенного направления. Вождем этой молодежи был Пресняков, талантливый, но парадоксальный, который в двух своих больших работах шел вразрез с Ключевским, подчеркивая государственную роль княжеской власти в Киевской и удельной Руси. Односторонняя"великорусскость» Ключевского вызывала давно уже на исследования западнолитовской и южноукраинской Руси (работы Лаппо и Любавского, Грушевского и его школы, Багалея и др.). Однако эти исследования не только не вошли органически в состав русской историографии, но привели к образованию «национальной» украинской школы, более всех других явлений молодой украинской культуры грозящей распадом общерусского сознания. Накануне войны начинала назревать потребность и в создании научной международной историй России, которая начисто отсутствовала. В годы революции эту потребность с большой силой и остротой выразил Виппер: историк-империалист, который в своем «Иване Грозном» показал русским историкам, при общем одобрении с их стороны, какое новое освещение могут получить русские исторические темы со стороны международной политики. Революция, которая в России была срывом не только власти, но и государства, вскрыла на месте кажущегося благополучия трагическую проблему государства в России. Историческая мысль углубляется в

проблему о государстве, его носителях, его самостоятельном бытии. Лишь условия марксистской цензуры мешают пробиться наружу этой тенденции. Но она означает – возвращение к Соловьеву, обогащенное всем социальным опытом и школы, и жизни.

Другой огромный провал Ключевского до самой революции так и не дошел до сознания представителей русской исторической науки. Русские историки, в огромном большинстве своем, чуждались проблем духовной культуры. Проблемы эти разрабатывались представителями специальных дисциплин: историками литературы, Церкви, искусства. До сих пор никто еще не попытался учесть огромный накопившийся материал специальных исследований для постановки общих вопросов древнерусской культуры. В этом отношении русская историография. представляет любопытное уродство, не имеющее себе равных на Западе, где Церковь, литература, искусство не могут найти почетного места (хотя часто и вне органической связи) во всяком общем историческом построении. Русская историография оставалась и остается, конечно, наибольшей «материалисткой» в семье Клио. Лишь в годы революции кое у кого из научных внуков Ключевского начинает просыпаться интерес к давно забытым темам духовной культуры, когда жизнь самые эти темы сделала запретными для историка в России.

Революция была кризисом русского сознания в еще большей мере, чем кризисом государства. Раскрывшаяся пропасть между «интеллигенцией» и «народом» снова поставила на очередь трагический вопрос о русской культуре и ее «идее». Мысль возвращается к проблематике сороковых годов, к переоценке вечного спора между западниками и славянофилами: о содержании и смысле древнерусской культуры, о ее всемирно-историческом «месте». Но образованный читатель, который обращается теперь за решением этих вопросов к классикам русской исторической науки, остается без ответа. В школе Ключевского он не узнает, чем была жива Россия и для чего она жила. Отдельные сохранившиеся фрагменты ее древней культуры говорят непосредственно о ценности погребенных кладов: рублевская икона, житие Аввакума. Но смысл их остается загадочным. Россия, более чем когда-либо, темна, непонятна и грозна. Но только решив ее загадку или по крайней мере став на пути, ведущем к ее решению, русская интеллигенция может плодотворно участвовать в деле духовного возрождения родины. Что умерло без остатка? Что замерло в анабиозе? Что относится к исторически изношенным одеждам России и что к самой ее душе и телу, без которых Россия не Россия, а конгломерат, географическое пространство, Евразия, СССР? Наше поколение стоит перед

повелительной необходимостью прорваться из магического круга Ключевского, из его «местной», тесной, социальной, бытовой темы, и выйти в мировые просторы сороковых годов.

Россия, Европа и мы

Стоять на высоте не всегда удобно и безопасно. Головокружение нередко отравляет радость развертывающихся далей. А если человек поднялся не для бескорыстного созерцания, а для работы, то ему – кровельщику на соборном шпиле – угрожает вполне реальная опасность свалиться в пропасть.

Русская эмиграция судьбой и страданием своим поставлена на головокружительную высоту. С той горы, к которой прибило наш ковчег, нам открылись грандиозные перспективы: воистину «все царства мира и слава их» – вернее, их позор. В мировой борьбе капитализма и коммунизма мы одни можем видеть оба склона – в Европу и в Россию: действительность как она есть, без румян и прикрас. Мы на себе, на своей коже испытали прелесть обеих хозяйственных систем. Кажется, будто мы и призваны быть беспристрастными свидетелями на суде истории.

Но это лишь кажется, это совсем, не так. Мы не свидетели, а жертвы истории. Может ли сын, потерявший мать, быть беспристрастным свидетелем в суде над ее убийцей? Есть священный эгоизм горя, который ослепляет. Мы ходим в кровавом тумане, где теряются для нас очертания реальностей. И когда, не довольствуясь, плачем Иеремии, мы пытаемся, что-то делать, как-то исполнять сыновний долг, наши руки производят неловкие жесты, наши ноги скользят, и в ослеплении благородных страстей мы наносим новые раны России.

Помимо кровавого тумана в собственных глазах, нас ослепляет двойной свет, излучающийся из Европы и России. В неверном, сумеречном этом свете возникают двойные тени двойных истин. Двойные истины дают двойную ложь. Но, чтобы жить и действовать, надо бороться с призраками. Надо воспитывать трезвую ясность сознания. Для этого есть только одно средство – кроме этического очищения страстей: надо приучиться видеть Россию в русском свете, а Европу в европейском, не путая безнадежно нашего двойного опыта.

Русское несчастье в том, что Россия и Европа живут в разные исторические дни. Я не хочу сейчас говорить о том, что разделяет Россию от Европы сущностно – изначально и навсегда. Нет, на том самом отрезке пути, на котором мы идем вместе, – послепетровском пути России – мы с Европой разошлись так далеко, что и голоса человеческого не слыхать из-за рубежа. Эта пропасть вырыта самим фактом коммунистической революции.

Россия поднята на коммунистическую дыбу. Во имя коммунизма в России истребляют миллионы, отменяется христианство и культура, воцаряется всеобщая нищета вокруг индустриальных гигантов-монастырей. Европа тоже тяжко больна, но совсем не коммунизмом. Имя ее болезни: капитализм – в плане экономическом, национализм – в плане политическом. Из соединения этих двух ныне разрушительных сил рождается хаос, накопляется ненависть, готовятся потрясения грядущих войн и революций. Это такая простая, детская истина, что не видеть ее может только наше «священное» безумие. Но отсюда происходят все наши трагические недоразумения.

Русская эмиграция, пережившая величайшую революцию, выносившая в себе кровный (и до известной степени оправданный) антиреволюционный опыт, очутилась на Западе, который живет накануне революции – во всяком случае, в предреволюционных настроениях. Может быть, революции здесь и не будет, может быть, ее удаются предотвратить – смелым и быстрым строительством новой жизни. Но остается бесспорной – устремленность Запада к новым формам жизни, муки родов его. У одних это наивный революционаризм разрушения, у других – жажда социального строительства, у третьих, наконец, «тревога» (inquietude), явное ощущение недомогания, болезни, даже смерти. Вне этих настроений в благополучном консервативном оптимизме на Западе пребывает лишь очень малое число очень ограниченных людей – преимущественно на территории Франции. У них-то и ищет себе моральной поддержки несчастная русская эмиграция. Все остальное в Европе подозрительно по большевизан-

Россия и мы ству. И ведь это правда. Хуже всего, что это правда. С известным преувеличением можно сказать, что все порядочные люди в Европе сочувствуют большевикам. По крайней мере, все люди с встревоженной совестью, устремленные к будущему. Я знаю, конечно, что и непорядочные большевизанствуют – по расчету или снобизму, – но, не о них сейчас речь. Нас мучит и волнует сочувствие большевикам со стороны Р. Роллана, Дюамеля, левых христианских священников разных исповеданий – моральной элиты Европы. Как объяснить его?

И здесь объяснение так просто, что не видеть его можно только в слепоте ненависти. Объяснение в том, что чело век, имеющий общественный идеал, стремится видеть его уже воплощенным в действительности – настоящей или прошлой. Конкретность воплощения, пусть обманчивая, дает силы жить и бороться с действительностью отрицаемой. Отсюда старые восторги русских консерваторов перед

Германией, либералов перед Англией, социалистов перед неведоммой им Новой Зеландией или Францией эпохи революции. В основе своей это все те же поиски Опоньского царства с истинной Церковью на краю земли. Даль времен или даль пространства поддерживают дорогие иллюзии. Как мемуары и исторические исследования не могли убить в русской интеллигенции романтического увлечения якобинской республикой, так и противоречивые письма путешественников по России и разноголосый хор русских эмигрантов бессилен переубедить желающих заблуждаться. Хочется верить, что где-то в мире, хоть в одной стране, осуществляется правда. Культурная далекость России, неспособность понять ее действительно безумную сложность облегчает для европейского путешественника сохранение иллюзии. Подумайте, как трудно для нас понять, что происходит в Китае! Можно с горечью думать об узости человеческого сознания, но нельзя подозревать чистоту морального отношения. Менее всего имеет на это право русская эмиграция, которая все свои оценки подчиняет одной идее. Для большинства из нас прекрасна та страна, тот режим (Италия, Болгария), где гонят коммунизм. Разве трудно понять, почему европейцу, ничего не знающему о коммунизме, но от капитализма тяжко страдающему, кажется благословенной та страна, где, по исключению, капитализм гонят, где слово «буржуа» объявлено презренным? Идейное большевизанство западного европейца коренится совсем в другой моральной почве, чем большевизанство русское. Как моральный симптом – обращенности к будущему – оно может быть расценено положительно, какой бы горечью оно нас ни исполняло. Правда, помимо моральных симптомов, есть еще волевая действительность, есть политическая и социальная целесообразность, с точки зрения, которых добродетельная глупость часто оборачивается преступлением. Мир России не замкнут наглухо от Запада. Россия не Опоньское царство. Завтра не сегодня – коммунизм может стать реальной опасностью для Европы, в случае войны или срыва социальной работы, и тогда коммунистические иллюзии европейских идеалистов могут ускорить всеобщее разрушение. Вот во имя этого будущего Европы, как и во имя настоящего России, мы обязаны кричать об истине, которой сейчас не хотят слушать. Нужно понять только, что для того, чтобы быть услышанным Европой, эмиграция должна стоять на одной с ней почве: то есть глядеть в европейское будущее, а не в русское прошлое. Minimum, которого Европа вправе требовать от нас – точная и добросовестная информация. И здесь наш грех велик – перед Россией. Годами русская эмиграция наводняла Европу фантастической информацией о

большевистской России. Всего каких-нибудь пять лет, как мы сами стали понимать – и далеко не всё, и далеко не все, – что происходит в России. Удивляться ли, что Европа, которую столько раз пугали «волком», уже не верит Павлушке, когда он говорит правду? Но правды фактов теперь уже недостаточно. Необходим верный моральный тон, чтобы победить недоверие к уже скомпрометированному источнику. Правду о коммунизме не станут слушать от защитников капитализма.

Но оставим Европу. Как ни существенна наша обязанность здесь быть свидетелями о России – еще важнее другая: слушать Россию и быть готовыми к нашему историческому часу. Худо мерить Европу на русский аршин, еще хуже мерить Россию на аршин Европы. Думается, что из смешения этих мерок оценки возникают все наши внутренние недоразумения. Отсюда противоестественное, на первый взгляд, единение под одним знаменем людей совершенно различной этической и даже политической на-

Россия, Европа и мы правленности. Отсюда непонятный для эмигранта восторг перед коммунистическими достижениями – в людях вполне приличных и иногда даже способных к здравому рассуждению.

За всеми различиями наших политических убеждений стоит основное различие – русских и европейцев. Подходя к каждому эмигранту, важнее всего знать, в какой среде он живет, на какие впечатления реагирует. Среди интеллигенции есть люди преимущественно русской и преимущественно западной культуры. Среди трудового эмигрантского народа есть большинство, живущее жизнью европейских рабочих, и меньшинство, в приложении своего труда не выходящее из круга эмиграции. У этих людей отношение к жизни совсем иное, хотя бы они читали одну и ту же газету и повторяли механически одни и те же избитые и стертые слова.

Уже противоречие между окружающей жизнью и личной культурой создает внутреннее напряжение, подкапывающее духовное равновесие, но основное социальное отличие людей – в их отношении к действительности. Есть люди, приемлющие и не приемлющие данность, примиренцы и протестанты. И в зависимости от того, какова эта представляемая, навязчивая действительность, отношение к которой определяет сознание, – Россия ли это или Европа – мы получаем схематически следующие сочетания эмигрантской волевой направленности:

русские протестанты,

русские примиренцы,

европейские протестанты,
европейские примиренцы,
протестанты русские и европейские.

Так как психологически немыслимо принимать коммунизм и капитализм одновременно – разве только в капиталистических кругах Европы, успешно торгующих с Россией, – то логически возможная шестая группа отпадает.

Протест национальной и демократической России против большевизма – это первичный и основной этос, который питал все отпочковавшиеся эмигрантские направления. Этот протест остается и поныне священным и непререкаемым. Россия стала бы трупом, если бы вся пала на колени перед терзающей ее злой силой. Наше несогласие на преступление, длящееся полтора десятилетия, само по себе искупает наше добровольное изгнание. Политическая роль эмиграции может равняться нулю. Остается моральное значение- не подвига, но просто жизненной установки, – которая оправдывает- не нас одних, но Россию. Лишь бы только ненависть к врагам России не вырождалась в ненависть к ней самой, покорившейся, не пригнетала темным злорадством, не отравляла ядами рябь его бессилия, провокаторской извращенности, свойственной побежденным. Просветленная непримиримость – вот в чем мы больше всего нуждаемся. Так трудно это, так редко и немногим дается. Непримиримость большинства всегда была темной. Может быть, поэтому она уже выдыхается.

Непримиримостью жила, и все еще живет огромная масса вчера военной, ныне трудовой эмиграции. Она не знает соблазнов Запада. Она живет почти без всякого воздействия его культуры, почти без языка. Но есть меньшинство, счастливое и культурное, для которого Запад не оказался мачехой. Одни сумели устроиться, удержаться на буржуазном уровне жизни. Для других культура Запада была тихой пристанью после кораблекрушения. В вековом налаженном строе быта и мысли, в успокоенности закатного классицизма русские скитальцы находят забвение всех проклятых вопросов. Греясь у чужого, уже догорающего очага, боятся выглянуть в ненастье и бурю, что бушует по всем пяти океанам и потрясает все материки. Судорожно хватаются за все столбы: авось устоят перед бурей. У одних это консерватизм отчаяния, у других консерватизм беспечности – рента на дожитие. Для тех и других национализм и капитализм представляются самыми сильными опорами против социалистического ветра. Ослепленные не видят страшной разрушительной силы этих мнимых «устоев», из которых один готовит

войну, а другой – социальную революцию. Они непременно рассердятся и искренне удивятся, услышав из уст не какого-нибудь радикала, а папы Пия XI обвинение их в содействии революции: «Особенно те заслуживают обвинения за свою бездейственность, кто не радеет об устранении или изменении порядка вещей, ожесточающего массы и подготовляющего таким образом переворот и разрушение общества». Не менее слепы, конечно, и те, кто из двух консер-

Россия, Европа и мы вативных устоев- национализм, капитализм – заменяет один демократией, оставляя другой неприкосновенным: демократия не защита против поднявшейся социальной бури.

И консерватизм, и либерализм суть резкие проявления русского западничества, поддерживаемого отталкиванием от современной России. Они становятся невыносимы, когда в них выражается тоска по комфорту, запоздалое упоение старой ветошью, уже доношенной Западом и бросаемой им своим духовным приживальщикам. Это социальный грех «буржуазности» в его чистом выражении.

Из этой русской среды выходят запоздалые защитники капитализма, столь редкие сейчас на Западе. Как ни странна идейно, как ни противоестественна морально защита капитализма в наши дни, нужно быть справедливым. У иных из наших «вождей» защита капитализма питается вовсе не западническими, а русскими настроениями. В России капитализм далеко еще не изжил своих творческих возможностей. Война и революция жестоко оборвали расцвет его культуры на нашей родине. Все хозяйственное сопротивление России коммунизму основано на не умирающих началах свободы труда и предприимчивости, спасающих (или спасавших) страну от окончательного удушения и голодной смерти. Отсюда ставка на капитализм в России. Что при этом забывают о разлагающем, мертвящем значении капитализма на Западе, это объясняется полной духовной изоляцией от Европы. Люди могут читать иностранные книги, встречаться с людьми Запада, но быть совершенно глухими и слепыми к его жизни и страданиям. Если эта глухота и слепота объясняются исключительно заполненностью сознания мыслью о России, то они морально простительны, что не мешает им быть политически вредными и идейно бессмысленными.

Между рядовой эмиграцией, отталкивающейся от Запада, и западническим примиренчеством ее вождей есть лишь видимость общей почвы. В лучшем случае эта общая почва определяется отрицательно: ненавистью к большевикам. Но проходят годы; старые раны зарубцовываются, а новые больше говорят о себе. Беспросветная нужда,

борьба за кусок хлеба ожесточают людей. Их отталкивание от Запада, первоначально окрашенное национально, наконец принимает ярко выраженный антикапиталистический характер. Можно ли упрекать его в низменности побуждений за то, что в основе его лежит опыт личных страданий? Жаль, конечно, что люди не задумывались раньше над социальным вопросом, пока жизнь не ударила их больно по голове. Но опыт их, пусть запоздалый, не утрачивает объективного значения от того, что он личный и кровный. Всякий ли доктринерский защитник капитализма выдержит такое личное испытание: например, смерть своего сына от туберкулеза где-нибудь в рудниках Перника или Сент-Этьена?

Впрочем, большинство молодежи, именующей себя пореволюционной, приобретает новый социальный опыт не из личного ожесточения, а из общих впечатлений западной культуры. Никто не вправе оспаривать бескорыстие и идеализм ее мотивов. Она просто более чутка, чем отцы, к окружающей, то есть европейской, действительности и – признаем это – лишена личного опыта и прежней, и на стоящей России. Так нарастает отчуждение и отталкивание, с одной стороны, между трудовой массой эмиграции и ее вождями, с другой, среди интеллигенции, между отцами и детьми. И вот из этих антизападнических, антикапиталистических настроений назревает и в массах, и в молодежи примиренчество по отношению к большевистской России.

Разумеется, это примиренчество не того тона, что у иного преуспевшего в России спеца, который, делая карьеру среди общей катастрофы, оптимистически закрывает глаза на чужие страдания: искупительные жертвы истории. Примиренчество эмигранта вырастает из его страданий. Ему начинает казаться, что жизнь в России не может быть хуже той, которая здесь гнетет его. Он начинает тосковать о возвращении. Возвращенство не политическая идея, а стихийная, низовая тяга, всегда очень распространенная в массах. Устали страдать и готовы сдаться на милость победителя. В жизненном обиходе не осталось никаких идей, которые прежде поддерживали в борьбе. Это процесс разложения и выветривания активного идеализма. Идеологические обоснования приходят позже, если вообще приходят. Люди идут с закрытыми глазами – нередко на добровольную смерть.

Но рядовые возвращенцы не создают идеологий. Идеоло-

Россия, Европа и мы гии создаются активными протестантами (против Запада) и жадно воспринимаются молодежью, готовой жертвенно служить России. В применении к этим течениям как-то неуместно говорить и о примиренчестве перед Россией, потому что в них кричит

жгучая потребность ее апофеоза. В них всегда звучит, хотя бы приглушенная, хотя бы осложненная, осанна революционной России. И вместе с этим они несут с собой более или менее выраженное оправдание зла.

Среди этих течений некоторые, сменовеховство и евразийство, были идейно значительны. Как в критике своей, так и в пересмотре русской философии истории они оплодотворили, и будут оплодотворять русскую мысль. Но над всеми ими тяготеет порок изначального морального излома.

«Пореволюционные» течения не могут примириться с унижением и падением России. Поэтому они превращают их в предмет гордости. Они не просто ищут в сложном сплетении революционных процессов светлых явлений и сил. Они говорят «да» всему процессу в целом, и, чтобы пронести это «да» сквозь мерзость и мрак действительности, они ее преображают. Выходят изображения как нельзя более похожие на картинки знатных иностранцев. И здесь и там оптимистическим пером водит одна и та же потребность – вдохновляющей иллюзии. Честь тому, кто в наши дни, как Варрон, «не отчаялся в спасении отечества». Но мало чести тому, кто это спасение усматривает во вражеском (татарском или большевистском) насилии над отечеством.

Анализируя подсознательное в «пореволюционных» течениях, прежде всего, нужно указать на их оторванность от настоящей России, на их-в нашем смысле слова – отрицательное западничество. Пусть это определение кажется странным для русских националистов. Их национализм питается отталкиванием от Запада. Их панглоссовский оптимизм по отношению к России возможен лишь при разрыве личной связи с Россией – или при утрате живых воспоминаний. Россия мыслится уже не как живой народ, а как идея, антитетическая западной действительности.

В их «любви к отечеству» прежде всего не хватает любви, которая поглощается «народной гордостью». Гордость требует насвистывать победный марш, провожая на эшафот старую Россию. Гордость заставляет закрывать глаза на страдания всего народа, влекомого насильно на искупительную жертву за человечество. Гордость заставляет отожествлять себя с сознанием не распинаемых, а распинателей, потому что с ними – молодость, с ними энтузиазм и вера в будущее.

Религиозная транскрипция этой гордости в наши дни получила имя мессианизма. Пореволюционный мессианизм означает веру в то, что Россия – предызбранная и ведущая мир на путях Божиих страна – несмотря ни на что. Ее грехи, ее злодеяния не имеют значения. Более того,

они входят диалектическим моментом в ее служение. Между ее настоящей сатанинской славой и славой грядущего Царствия Божия нет прерыва, нет отречения, нет покаяния. В отличие от мессианства еврейских пророков, русское мессианство лишено этического содержания. Вот почему оно способно обернуться иной раз и вовсе антихристианским имморализмом.

Русское мессианство есть крайняя форма реакции на западный соблазн, крайняя форма антизападничества, и потому все же западничество. Как антизападничество, оно наивно, но извинительно. И совсем иначе придется расценить его, если услышать в нем голос, донесшийся из России.

Голоса из России доносятся слабо, но все же доносятся. Кричит на всю планету величайшими в мире радиостанциями голос десяти миллионов молодых и жестоких строителей, воздвигающих свою башню на костях стапятидесяти миллионов. Но доносится и стон раздавленных – стапятидесяти. Каким звукам мы здесь отдадим предпочтение? На чем построим наш звуковой, все еще бесплотный, как бы призрачный образ России? Этот выбор основной музыкальной темы России – акт нашей свободы; совершая его, мы определяем свою собственную судьбу.

Пореволюционный пробольшевизм детей соответствует дореволюционному прокапитализму отцов. Хорошо (то есть простительно, хотя и вредно), если тот и другой проистекают из отрицательных реакций: антикоммунизма од них, антикапитализма других. Но жутко, когда налицо внутренняя соблазненность мощью врага – все того же, на Западе и в России, при всем различии масок и харь.

Эта соблазненность во многих случаях не подлежит сомнению. По отношению к молодежи, она всего резче выражается в их одержимости духами революции. Это она кричит в них охрипшим ревом своих миллионных глоток. Это ее пожар опалил их лица, потемневшие в дыму. Это ей они обязаны утратой и ясности зрения, и трезвости оценок. Преувеличенное, барочное, демагогическое, порой безумное – таков их стиль. Но это стиль революции. Как никто не заметил до сих пор, что они, заблудившиеся дети революции, не имеют никакого права на титул пореволюционности? Трезвость – первый знак пореволюционной эпохи.

Примиренчеству справа и слева, осанне капитализму и коммунизму нужно противопоставить христианский протест против двуединого врага. В настоящем состоянии мира оппозиция – единственно возможная и достойная позиция перед ним. Но оппозиция не отвлеченная, не максималистическая, а готовая на труд и работу (не только на подвиг и жест) – работу восстановления, строительства жизни. Любовь к человеку –

всегда конкретная любовь. Любовь к жизни – враг отвлеченного идеализма. Помогая новой жизни в ее победе над силами косности и смерти, нельзя насиловать жизнь. Нужно больше слушать ее голоса, чем стараться перекричать их.

В свете конкретного идеализма меркнут кумиры, обожествленные идолопоклонниками идей. Мы начинаем сознавать, что капитализм – социализм – национализм – космополитизм не абсолютные, а относительные, исторические ценности. И это открывает возможность понять, наконец, различие исторического дня России и Европы. Одновременно самая отсталая и самая передовая, зарвавшаяся вперед и павшая на дороге, проведшая для всего мира опыт новой социальной конструкции, опыт, давший бесспорный отрицательный результат, – Россия возвращается к собранности, сосредоточенности, которые являются одновременно покаянием и отдыхом, без которых ей угрожает смерть от физического и духовного истощения. Запад, упирающийся, косный, поставлен судьбой перед необходимостью идти, искать выхода, ставить новый социальный опыт. Hie salta! Ему страдания, ему труды завтрашнего (о, если бы сегодняшнего!) дня истории.

Вот почему возможно и, кажется мне, необходимо одно временно, «едиными устами», утверждать: Для Европы организацию хозяйства, для России освобождение труда.

Для Европы преодоление национализма, для России развитие национального сознания.

Для Европы демократизацию культуры, для России – борьбу за качество культуры и т.д., и т.д.

Как совместить – идейно и психологически – одно временное утверждение противоположностей, – это другой вопрос. Решение его не легко. О конкретных решениях можно говорить много и долго. Общий ключ ко всем решениям – релятивизация исторических идей. Но эта релятивизация идей не имеет ничего общего с релятивизмом основной жизненной ценности. В разных стилях строительства должна утверждаться одна и та же правда: правда достоинства человеческой личности и религиозного смысла соборного дела культуры.

Правда побежденных

Victrix causa diis placuit,
Sed victa Catoni.
Лукон

Победа

Пятнадцать лет господства, кажется, дают право на имя победителей. Победа полная, громкая, никем не оспариваемая. Победа над всеми внутренними и внешними врагами: над монархистами, демократами, социалистами, русской интеллигенцией, русским народом. Победа над буржуазной Европой и мировым общественным мнением. В день пятнадцатилетней годовщины, несмотря на невеселые картины сегодняшнего дня, есть на что оглянуться, что вспомнить кремлевскому властителю.

Пятнадцать лет тому назад, опираясь на банды дезертиров, Ленин взял, – в сущности, поднял – валявшуюся на земле власть государства Российского, убежденный сам, что «большевикам не продержаться больше нескольких недель», если не придет на помощь мировая революция. Мировая не пришла, германская обманула, – и все ошиблись: диплома ты и министры Европы, вся русская интеллигенция, сам Ленин. Оборванные толпы рабочих и горсть матросов выросли неожиданно в огромные армии, вобрали в себя партизанскую силу разгулявшейся крестьянской стихии, оформились в дисциплине старого царского офицерства. И через 2–3 года разбитые остатки белых армий садились на пароходы, и десантные отряды великих держав, предав союзников, с позором спешили вырваться из русского осиного гнезда. В оставленном Крыму, по телеграмме Троцкого, Бэла Кун мог свободно приступить к расправе: расстрелять около ста тысяч классовых врагов, добровольно сдавшихся, доверившихся великодушию победителей.

А внутри страны? Беспрерывно вспыхивающие восстания крестьян подавлены одно за другим. Великолепно функционирующая мясорубка Чеки уничтожает сотни тысяч – не врагов, а запуганных обывателей, «заложников буржуазии», уже бежавшей за пределы пролетарского государства. Выстрел в Ленина, убийство Урицкого, – тысячи невинных жертв по всей России. Рука эсера опускается: как можно бороться террором с такой властью? Завтра за покушение на палача, может быть, начнут расстреливать детей по классовому признаку!

Пока коммунисты на фронте, пока оставшиеся в тылу рабочие растаскивают по частям для мешочной торговли машины остановившихся заводов, интеллигенция страхом, голодом и патриотизмом принуждается к работе на службе революции. Она строит для большевиков из развалин раз рушенное ими государство и без счета, без меры льет в бушующие массы

свое «просвещение». Не без ее участия рабочая и солдатская молодежь загорается социалистическим идеалом, который окрашивается революционным национализмом в обороне от белых рабоче-крестьянской России. Этот революционный энтузиазм бойцов интеллигенция перекладывает в стихи и краски. Огромная, неожиданная удача! Первый, военный, этап коммунизма, свирепый, кровавый, был воспет самыми тонкими лириками, декорирован самыми передовыми художниками. В то время как почти вся русская интеллигенция оттолкнула коммунизм, большинство русских поэтов его приняли – из женственного преклонения перед силой, из жертвенного слияния с народом, из отвращения к старому гибнущему миру. У поэтов перевешивает музыка революции, у левых художников – радость разрушения и возможность творить из ничего, мнимо даруемая революцией. Самый имморализм эстетов предвоенного поколения делает легким для них приятие террора, якшание с убийцами, для иных работу в Чека.

Победа на фронте искусства, быть может, один из самых прочных элементов большевистской победы. Гражданская война будет жить в веках в том обрамлении, какое дано ей искусством. «Двенадцать» Блока навсегда останутся введением в историю Октября.

Тем временем первые попытки социалистического хозяйства в городе и деревне приводят страну на край гибели. Уже Россия вымирает от голода, фабрики бездействуют, города разрушаются без воды и огня... Ленин спас ее новой победой – над собственной партией и ее глупостью («комдураки»). Заграничные паровозы и американская помощь голодающим сдвинули страну с мертвой точки.

Победа в Кронштадте – победа над самой твердыней революции – начинает новый ее этап, когда крестьянство и воскресшая буржуазия кормят коммунизм, еще бессильный на всякое не чисто разрушительное дело. С необыкновенной быстротой раны революции затягиваются. Крестьянство свободным трудом на своей земле восстанавливает хозяйство почти до довоенного уровня и дает средства для медленного восстановления промышленности, армии, куль туры. Миллионы юношей от земли и с фабрик, скинув военные шинели, жадно рвутся к открывшимся им источникам знания. Совершенно меняется состав студенчества. Интеллигенция постепенно вытесняется новыми людьми. Литература заполняется рабочим и крестьянским молодняком. По силе и талантливости в этот период серп господствует над молотом. Блестящая литература нэпа – проза вытесняет стихи – живет эпопеей гражданской войны и пробуждением деревни. Новые, бесспорные победы на

культурном фронте: школы, театры, художественная литература.

В эти годы красный флаг над Москвой, открывшейся на конец взорам мира, привлекает к себе надежды и пламенную любовь всех угнетенных. На Западе обращаются к Москве не только рабочие, но и лучшие представители интеллигенции, задыхающиеся в злобе и хаосе послевоенной Европы, и целые народы, обездоленные Версальским миром. Было время, когда весь Восток – может быть, за исключением Японии – шел в орбите Москвы. Новые диктаторы пробужденного ислама – в Турции, в Персии, в Афганистане- искали московской дружбы. Индусские крестьяне, китайские студенты и негры молились Ленину, как новому Мессии всех порабощенных. Искусно используя этот моральный капитал революции, московская дипломатия, несмотря на польскую ката строфу, высоко поставила международный престиж СССР. Развертываясь внутри в союз многонациональных республик, бывшая Россия окрашивается в яркие евразийские цвета. Но, невзирая на сознательное подавление русской народности, значение русской культуры стоит в мире – в обоих полушариях – высоко, как никогда. Эти годы – зенит революции.

И, наконец, последнее пятилетие – «пятилетка», индустриализация, Сталин. Новая, величайшая победа одерживается коммунизмом – над крестьянством. Молот разбивает серп во имя трактора. 1930 год – год новой социальной революции, когда, под именем кулаков, уничтожается как класс русское крестьянство. Снова миллионы расстреляны, сосланы – из тех, что вынесли на своем хребте Россию нэпа. Остальные загнаны в государственные зерновые фабрики пролетариями от сохи. В освобожденной от помещиков России введено новое крепостное право. Это была победа, от которой ахнул весь мир. Многие усомнились в праве и способности русского народа на историческое существование. Более 100 миллионов людей покорно надели на себя ярмо, отметив лишь рабским саботажем и падением труда.

На рабском труде крестьянства, на голоде рабочих и горожан да на иностранных кредитах и технической помощи – строится пятилетка. И в нее вложен огромный заряд энтузиазма – русской интеллигенции, русской молодежи. Энтузиазм этот питался новой мечтой «Россия – Америка», в которой некоторый процент коммунизма растворился в техническом идеале современного, пусть государственного, капитализма. И здесь большая техническая победа. Россия покрылась гигантами заводов и станций, – подняла в 2 1/2 раза свое производство довоенного времени. Необычайность этого успеха подчеркивается острым недомоганием капиталистического мира, колоссальной безработицей и хозяйственной

безнадежностью, охватившей все народы. Пусть последний безработный Европы на жалкие пособия живет лучше, чем русский строитель пятилетки, – СССР притягивает еще больше, чем во время нэпа, буржуазный мир. Капиталисты, ищущие вложения капиталов, торговцы – сбыта товаров, и рабочие – приложения своего труда, вместе с мечтателями и искателями нового общества едут в Москву, несравненную мастерицу художественного «показа», и в большинстве случаев вывозят из Страны Советов восторженные впечатления, где прелесть экзотики, русского искусства и даже славянского характера свидетельствуют в пользу коммунистической диктатуры. Гораздо серьезнее движение II Интернационала навстречу III-му. Под влиянием тяжких поражений, падение демократии в Германии и кризиса, парализующего реформационную работу социалистических партий, европейская социал-демократия (Отто Бауер) вслед за пролетариатом все с большимсочувствием и надеждой смотрит на Восток. Не наши методы, но наше дело. Наши товарищи. «Нашим» можно простить много ошибок и даже преступлений. Быть может, для России их методы самые пригодные. Но победа социализма у них – будет нашей победой здесь, во всем мире. Руки прочь, от Советской России. Это ли не победа?

Так много побед для партии, казалось, с самого начала обреченной, для партии, поставившей себе задачу, казалось, невыполнимую – построение социализма в самой отсталой стране Европы, – неужели это все от счастья, от «везения», от исторической случайности? Говорят, Раковский любил в отчаянные минуты поднимать дух товарищей: «Большевистский бог вывезет». Имя этому богу – русская народная революция: огромные энергии, освобожденные в движении масс, которые были перехвачены и обработаны коммунистической фабрикой. Никакая глупость, никакое безумие не могли до сих пор растратить этого колоссального источника энергии. Социальное оскудение Европы устранило все внешние препятствия для большевистского опыта. Таковы главные условия их победы.

Перед памятником Ленина

Насколько можно судить отсюда, доверяясь показаниям беглецов и путешественников последних месяцев, даже самой советской печати, пятилетка кончилась крахом. Хаос, голод в стране возвращают Россию к самым мрачным годам военного коммунизма. Мы не знаем, как будут развертываться дальнейшие события. Удастся ли большевикам спланировать к новому нэпу, спасет ли их большевистский бог, или последний год пятилетки будет и последним годом их власти? Но пусть последним. Пятнадцать лет для партии революции – срок огромный, небывалый. В революции годы должны считаться за десятилетия. Все на свете проходит, пройдут и большевики. Но пятнадцать лет власти, успехов и побед- в величайшую, ответственейшую эпоху жизни России- и Европы – дают право на исторический памятник. Уже очертания этого памятника в веках менее всего зависят от самих коммунистов: от их доблести, ума и проч. 0ни зависят теперь от двух величин, с которыми связано их историческое дело. Эти величины: Россия и социализм. Если Россия не развалится, а будет жить как великое государство и великий народ, то ее революция войдет тоже как «великая» на скрижали истории. Партия, которая провела эту «великую» революцию, актеры великой исторической драмы будут жить в веках, несмотря на все разоблачения их подлинного роста, как «великие» исторические деятели.

То же самое с социализмом. Если победит в мире социализм, или даже просто трудовое рабочее общество, оно канонизирует всех борцов за рабочее дело, и в ряду этих борцов Ленину отведет одно из первых мест. Рядом с Марксом и, может быть, впереди его. И притом независимо от того, насколько усилия Ленина приблизили или отодвинули осуществление социализма.Французские коммунары, несомненно, повредили делу социализма и рабочего движения. Однако социализм чтит в них не только мучеников своего дела, но и победителей на час, провозвестников грядущей победы. Пятнадцать лет российской коммуны куда значительнее двух месяцев французской.

Но что это значит: «великий», «значительный», «грандиозный» – эпитеты, которые мы прилагаем к историческим деятелям и событиям, получившим памятники истории? В «великом» не содержится ни малейшей крупицы добра, да же утилитарной полезности. Это чисто количественный масштаб, который может представляться эстетическим только потому, что существует особая, далеко не первосортная, эстетика

грандиозного. Есть великие разрушители, великие злодеи, как есть великие океаны и горы. Гималаи не прекраснее Кавказа. Аттила,Тамерлан, Чингисхан, что бы ни говорили евразийцы, не лучше и не прекраснее убийц, которые ежедневно совершают свои подвиги во всех уголках мира. Но число жертв, выражаемое шести- семизначными цифрами, уже поднимает деятеля из мира преступного в мир великого – в глазах лишенной совести Клио. Если же эти жертвы пошли не на чистое разрушение, а вложились – безразлично, с каким результатом, – в объективный процесс истории, получили «отношение к ценности» – государства, нации, класса, учреждения, – тогда величие получает видимость положительного значения.

Почти несомненно, что мир покроется памятниками Ленина. Бесконечно тяжело думать, что ими будет, после периодов реакций, снова и снова осквернена Россия. Кто знает, не разделит ли Сталин посмертную славу своего учителя?

Значит, конец? Конец нашей тяжбы с большевиками? Процесса, который мы ведем против них перед Россией, перед миром, перед историей? Нет, не конец, а лишь начало. Мы не согласны на памятник большевикам, мы разрушаем его до фундамента. Живые свидетели преступления, мы не примиримся с пятнадцатилетней давностью. От современников мы апеллируем к потомству. Разочаровавшись в правосудии Истории, мы идем выше. «Есть Мститель там, над звездами». Это не значит, что надзвездный суд не связан с земной действительностью. Но это значит, что последние основания исторического суда лежат над историей и не меряются мерой исторического успеха.

Есть две философии истории. Для одной история есть всегда поступательное движение, развитие или прогресс или раскрытие Абсолютного Духа. Консервативный или революционный, но это всегда дифирамб действительности. Все злое и темное в историческом процессе принимается, как жертва или цена. И эта цена никогда не кажется слишком дорогой, ибо покупаемое благо мыслится бесценным и бесконечным – в необозримой перспективе будущего. С этой точки зрения – не только гегельянской, но господствующей – все к лучшему в этом лучшем из ми ров. Пала Римская Империя и цивилизация. Чудесно! На ее развалинах, из ее элементов создается более свободная, более духовная культура средневековья. Разлагается средневековый строй, и миросозерцание – Ренессанс создает еще более высокие формы, в которых мы живем. Монгольское иго помогло Руси создать свою

государственность. Деспотизм Москвы обеспечил России ее единство, опричнина демократизировала правящий класс. Смутное время, вытянув дурные соки, консолидировало Россию. И т.д., и т.д. Этот неисправимый оптимизм не смущается, как мы видим, ни бесспорным фактом попятных движений в истории, ни даже гибелью государств, народов, культур. Все это законные, необходимые паузы или понижения восходящей кривой. Закон непрерывного восхождения выводится из ограниченного опыта нескольких последних столетий и в конце концов опирается на недоказуемую предпосылку веры: религиозной, но не христианской, пантеистической (гегельянской) веры в Абсолют, раскрывающийся в истории.

Но есть другой взгляд на историю – как на вечную борьбу двух начал. Августиновское учение о двух градах лучше гегельянского уясняет возможность творческих и разрушительных процессов в истории. Откажемся оттого, что было одностороннего у Августина: от внешнего противоположения двух градов. Признаем, что внутри каждого из строящихся общественных и культурных типов идет борьба за план и стиль целого, которая оканчивается или включением его в творимый град Божий, или выпадением в небытие, неудачей, катастрофой. Ничто не предопределено истории силой естественных законов или давлением Божественной воли. Ибо история есть мир человеческий – не природный и не Божественный, – и в нем царит свобода. Как ни велико в истории значение косных, природных, материальных сил, но воля вдохновленного Богом или соблазненного Люцифером человека определяет сложение и распад природных сил. С этой точки зрения, не может в мире пройти бесследно ни слабое усилие к добру, ни малейшее движение зла. Не поглощаются они одним историческим процессом, а включаются в разные одновременно действующие процессы: созидания и разрушения. И если внимательно вглядываться в жизнь, то в видимом ее единстве всегда можно различить двоякую детерминированность: к вечности и к смерти.

Возьмем французскую революцию – великую, грандиозную, – определяющую доселе бытие французского народа. В этой революции действовали положительные силы: любовь к свободе, равенству, энтузиазм и даже самоотречение рождающейся нации. Эти силы и создали французское национальное самосознание, столь изумительное своей крепостью, и свободную гражданственность, тоже завидную на фоне рабства стольких народов. Но в этой же революции проявились поистине сатанинские силы сословной, классовой, антихристианской ненависти. 600 000 жертв гильотины – заглажены ли они счастливым исходом

французской революции? В том-то и дело, что нет. Где отмщение за террор Конвента и за безумную горячку тех героических лет? Оно, прежде всего в столетней лихорадке реакций и революций, которыми Франция изживала свою первую, «Великую» революцию. Равновесие политической жизни удалось найти после целого века войн. Второе, связанное с этим последствие – глубокий раскол внутри французской культуры, подрываемой вековой тяжбой между «традицией» и «революцией». И так как силы традиции, и среди них величайшие – средневековья, классицизма, католичества, – стоят против революционного фронта, то духовная культура победившей демократии оказывается чрезвычайно бедной. Материализм и скептицизм разлагают и политическую жизнь Франции, и самые основы моральной жизни нации. При таких условиях конечная судьба и французской демократии, и самой Франции остаются все еще под сомнением. Дело Дантона не вечно, как показа лось невечным и даже недолговечным дело Бисмарка. А в России – разве наше поколение не расплачивается сейчас за грехи древней Москвы? Разве деспотизм преемников Калиты, уничтоживший и самоуправление уделов, и вольных городов, подавивший независимость боярства и Церкви, – не привел к склерозу социального тела империи, к бессилию средних классов и к «черносотенному» стилю на родной «большевистской» революции?

Исторические тяжбы долго тянутся и оканчиваются лишь со смертью народов. Никогда, никогда не изгладятся из жизни России злодеяния пятнадцати лет победоносной революции, как не изгладятся из нее и преступления царей. Отдаленные наши потомки будут расплачиваться за злое похмелье этих лет.

Памятники, – что памятники? Их строят, потом свергают, потом опять строят и свергают. Памятники, гербы и официальная идеология новой, из революции вышедшей России не определяют еще ни ценности, ни прочности этой первой, кое-как отлившейся ее формы. Много раз будет она переливать свой общественный и политический строй, и лишь тогда, когда исчезнут из мира последние следы государства Российского, настанет пора окончательного «суда истории». Но sine praejudicio этого последнего суда, каждое мыслящее и нравственное существо не только может, но и обязано иметь свой суд и свою оценку того, что совершается в России. Пусть это будут лишь материалы для будущего суда – хотя бы показания свидетелей или аргументы тяжущихся сторон.

Список благодеяний

В одной интересно задуманной, но слабо написанной пьесе советского писателя Олеши изображена артистка, которая добросовестно хочет, для себя самой, выяснить свое отношение к большевикам. Для этой цели она завела тетрадку-дневник, куда заносит все впечатления жизни под рубриками: «Список благодеяний» и «Список преступлений» – советской власти. В сущности, каждый из нас дол жен был бы вести подобный счет, наедине с собой, будучи всегда готовым к самопроверке. Как бы ни было право и свято наше первоначальное отвержение большевизма, жизнь не стоит на месте. Было бы чудом, если бы один большевизм оказался не подвластен закону всеобщего изменения. Мало ли было примеров, когда насильственное завоевание или политическое преступление начинали режим – прочный и благодетельный. В конце концов, это судьба почти всех династий, всех режимов: они возникают из преступления. Если бы большевизм в своем развитии стал пригодной, хотя бы грубой, формой для новой, в революции рожденной России, мы были бы обязаны принять – политически, конечно, – его изначальное преступление. Политика не есть чистая этика – вернее, она лишь в ограниченной мере допускает этизацию. Таковы были мотивы, которые заставили идти навстречу большевизму сменовеховцев и левых евразийцев. Этим мотивам нельзя отказать в правомерности. Как бы только не просчитаться в балансе «благодеяний»! Не претендуя на непогрешимость, я извлекаю из памяти к пятнадцатилетнему юбилею победителей свой старый счет благодеяний и преступлений. Могу свидетельствовать, что вел его все эти годы с полной добросовестностью: нередко подавлял свои непосредственные моральные реакции, чтобы не быть несправедливым к врагу, – всегда готовый признать свои ошибки и проверить их жестокой диалектикой истории. Единственное личное удовлетворение, которое я себе позволяю это выделение благодеяний на первое место. Но и то потому, что напоследок – в порядке времени – чашка преступлений слишком быстро падает под их страшной тяжестью.

* * *

Б. Большевистская диктатура в гражданской войне раз била контрреволюционные армии и спасла революцию.

П. Разбиты были силы не только реакции, но и демократии, едва рождавшейся к политической жизни.

Б. Октябрь привел к власти не формальную, а реальную демократию –

власть рабочих и крестьян.

П. Октябрь был и остался не диктатурой рабочих и крестьян, а диктатурой пролетариата над крестьянством и интеллигенцией и диктатурой партии над пролетариатом.

Б. Октябрь дал русской революции социальную тему, выдвинув Россию в авангард мирового социального движения. «Мессианизм» России, славянофильская мечта, воплощается в жизнь большевиками.

П. Октябрь дал перевес интернациональной теме революции над ее национальной темой. Он во многом оборвал эту национальную тему (тему освобождения, тему крестьянства, хозяйственного роста). Он сделал Россию полем социалистического эксперимента, возложив на нищую и некультурную страну колоссальные издержки этого опыта.

Б. Большевизм уничтожил капитализм в России и в эпоху пятилетки насадил мощное государственное хозяйство.

П. Большевизм во много раз подорвал производительность народного труда. Государственная промышленность существует паразитарно за счет эксплуатации деревни.

Б. Большевизм несет в собственническую деревню идею солидарности, кооперации, общего дела.

П. Большевизм несет в деревню классовую борьбу, совершенно искусственно разделяя ее на группы и направляя малоимущих крестьян на хозяйственных разжиганием примитивной зависти.

Б. Большевизм дал деревне тракторы.

П. Он уничтожил рабочий скот и самого трудящегося человека.

Б. Фискальная система большевизма возлагает только на богатых и зажиточных тягости налогов. П. Именно эта система, без всяких стихийных бедствий, вызвала страшный голод 1920–1921 года, погубивший много миллионов людей и доведший Россию до людоедства, которого она не знала со Смутного времени.

Б. Большевизм сделал рабочего хозяином на фабрике.

П. Большевизм сделал пролетария рабом государства, лишив его права стачек и свободных союзов, окружив сетью шпионов, поставив его жизнь в зависимость от казенного пайка.

Б. В Советах рабочих и крестьянских депутатов большевизм создал удобнейшую для России форму примитивной демократии. Построенная на производственном принципе, она может стать основой социалистической демократии будущего.

П. Превратив выборы в комедию, а народ в голосующее стадо, большевизм скомпрометировал и идею Советов, и демократию вообще,

воспитав подданных для любого деспотического режима.

Б. Большевизм вызывает к жизни огромную общественную активность масс, вовлекая их в политические собрания, партию, организации «советской общественности» и проч.

П. Большевизм приучает к массовым демонстрациям и к выполнению начальственных заданий; он пронизывает всю ткань общественной жизни подхалимством, доносом и предательством.

Б. Большевизм ценит работу интеллигенции при ее исконном культурном деле.

П. Большевизм развращает интеллигенцию, угрозой голода и ссылки принуждая ее работать против совести и взваливая на нее в глазах народа ответственность за все промахи и преступления режима.

Б. Большевизм приобщил к культуре широкие массы в размерах, не виданных в России.

П. Да, но предварительно закрыв им доступ к истинной культуре: подменяя культуру партийным учебником и срезая начисто ее верхние слои.

Б. Большевизм дает физическое воспитание и спорт для народа, основу ее здоровья и силы.

П. В СССР спорт сделан орудием войны, и здоровье молодежи подкашивается лишениями и перегрузкой ее сил. Человеческий материал изнашивается чуть не к 30-ти годам. В 40 лет – старики.

Б. Большевизм освободил женщину и уничтожил патриархальную власть семьи.

П. Большевики уничтожают не только семью, но и любовь.

Б. Большевизм освобождает народ от предрассудков.

П. Он убивает веру в Бога, фальсифицирует науку, сводит этику не к социальному даже, а к партийному утилитаризму.

Б. Большевизм провозгласил свободу совести и терпит религиозные культы.

П. Большевики расстреляли тысячи священников, сослали десятки тысяч в Соловки и в Сибирь, разрушили и закрыли тысячи храмов без всяких политических причин.

Б. Большевики, не в пример якобинцам, тщательно охраняли в начале революции памятники искусства и высоко поставили в России музейное дело.

П. Да, но при Сталине они взрывают не только церкви, но и другие исторические памятники Москвы и давно уже по частям распродают за границу музейные сокровища русского народа.

Б. Большевики дали высокое развитие революционной живописи и театру.

П. Но живопись они тотчас же убили тенденциозным реализмом, а театр сохранили, для отдохновения вождей – от дореволюционного времени.

Б. Большевизм вписал блестящие страницы в историю русской литературы.

П. Чтобы удушить ее, в конце концов, работой на государственный заказ.

Б. Большевизм создает новое революционное сознание.

П. В слоях политически активных. В порабощенной массе он воспитывает пораженчество. В культурной политике он отравляет все истоки здорового русского национального чувства.

Б. Большевизм освободил малые народы России и организовал их национальные культуры.

П. Своим деспотизмом он делает из них врагов Москвы, то есть России, и отравляет их самобытное творчество пошлостью интернационального культурного товара.

Б. Большевизм сделал Россию защитницей всех угнетенных наций и классов. П. Ведя классовую борьбу во всех странах, он изолирует Россию в мире (даже на Востоке). Ведя маккиавелистическую политику союзов с капиталистическими странами, он предает дело социализма.

Б. Международная политика России продолжает лучшие традиции имперской дипломатии.

П. Своей противоречивостью она уничтожает свои собственные плоды.

* * *

Не довольно ли? Список благодеяний и преступлений можно продолжать без конца. Вы скажете: он тенденциозен, он навязчиво подсказывает читателю беспощадный обвинительный итог. Да, теперь, когда я его пишу, но не тогда, когда, годами, обдумывалось и взвешивалось значение этих всех фактов. Итог сложился – итог к 15-й годовщине. Я не поручусь, что дальнейшие годы его ни в чем не изменят. Но один отвод я хотел бы сделать сейчас же. Если мне скажут, что итог, был предрешен постановкой Б. впереди П. (в уступительном периоде ударение всегда в конце фразы), то я предложу желающим перевернуть порядок. Вы убедитесь, что для очень многих фактов будет невозможно сохранить диалогическую форму: утверждения и возражения. Отчего? Оттого, что за меня фактор времени, а время не обратимо. Другими словами, все свои

«благодеяния» (результат народной революции) большевики постепенно обратили в преступления, размотав, спустив по ветру не только капиталы старого режима (в чем их обвиняет реакция), но и капитал самой революции.

Кто он?

Читатель, если он имел терпение пробежать неоконченный и никогда не заканчиваемый список благодеяний и преступлений, имеет право поставить вопрос: «Да в нем ли дело? Разве мое отношение к большевизму зависит от того, всегда приблизительного, итога объективного добра и зла, который он несет?» И да, и нет. Политик считается с фактами, с реальными последствиями, а не с намерениями деятелей. Вот почему он «торгует с людоедами» и охотно видит в большевизме воплощение той силы, Die immer Bose will und nur das Gute schafft. Для политика баланс благодеяний и преступлений необходим – притом всегда подвижный и ревизуемый – на каждый день. Но наша борьба с большевизмом – не только политическая борьба. Сам большевизм не хочет быть только политикой. Он ведет войну не за тело, а за душу. Не социализм он хочет строить, а нового человека, новую жизнь, новую этику, новый быт, новую личность. Этого человека в России большевизм строит по своему образу и подобию. Партия Ленина, партия старых подпольщиков стала давно живым образом святости, на котором воспитываются, в формы которого отливаются миллионы юных существ. Эти юноши определяют собою сегодняшний и завтрашний день России. Вот почему основной наш вопрос о большевизме: не что (он делает), а кто (он есть).

Нередко приходится слышать в наши жестокие дни: не то ужасно, что делают большевики, а во имя чего они делают. Можно было бы простить им кровь, если бы она лилась за Россию, простить насилие – во имя истины. Но большевистская идеократия есть сатанократия по самому содержанию ее идеи.

Это двусмысленное утверждение содержит большую правду и большую ложь. Все зависит от того, как понимать это «во имя». Если «во имя» означает рациональное, словесное исповедание догмата, то следует сказать: как ни гнусен большевизм, можно мыслить нечто еще более гнусное,– большевизм во имя Христа. Методы ГПУ на службе церкви были бы в тысячу раз отвратительнее тех же методов на службе у безбожия, потому что есть внутреннее сродство между целью и средством, между верой и жизнью, между идеей и политикой. Оттого мы относимся с таким ужасом к увлечению большевистскими методами в христианском стане. Евразийство у власти, управляющее по большевистской системе, могло бы реабилитировать даже большевизм.

Но возможно другое понимание «имени»: как внутренней структуры

души, связанной с догматом, но гораздо более таинственными и незримыми нитями. Так, можно было бы сказать, что материалистическая вера XIX века часто соединялось с христианской структурой души. Большевизм не создал новой веры: он взял старый догмат материалистического атеизма, которым жили поколения интеллигенции, но впервые создал для этого догмата адекватного человека. И самое страшное не то, что этот человек делает, и не то, во что он верит, а то, что он есть. Но это качество души действительно органически связано с содержанием его веры, с его «во имя».

Нелегко определить ее, эту большевистскую душу в ее подлинной природе. Прежде всего, она не дана в чистом виде. Не будучи абстракцией, она реально и весьма насильственно действует, как закваска, в конкретных душах русских революционеров и комсомольцев, глубоко преобразуя их, – но все же не до конца. Всегда остается природный или культурный человеческий остаток, благодаря которому вся кий большевик лучше большевизма. В этом последнем парадоксальном преимуществе – единственность большевизма, его коренное отличие от всяких других систем и вер.

Во избежание недоразумений: в политической борьбе слишком привычно концентрировать ненависть к врагу, воплощая его в самом ненавистном социальном типе неприятельского строя. Как для большевиков поляки рисуются в образе панов, а англичане – лордов, так мы представляем большевика («типического» большевика) непременно чекистом. Русские революционеры всегда воплощали самодержавие в жандарме. Даже для французских роялистов «Surete generale» символизирует республику. Разумеется, это грубое искажение перспективы. Политическая полиция при всяком строе составляется из подонков нации. Большевиков надо судить по их лучшим образцам. И если мы придем к выводу, что большевизм своих лучших героев видит в чекистах и что это вытекает из природы его социального идеала, то и это может быть выводом, а не отправной точкой.

Но было бы столь же неверно, судить большевизм по тем его типам, во многом положительным, которые лишь отчасти им покрываются, которые созданы русской революцией и в ее истории нашли себе более полире и яркое выражение за пределами большевизма. Я остановлюсь на двух мнимых обликах большевизма, по которым его судят чаще всего его друзья и поклонники.

Первый образ я бы назвал женским лицом большевизма. Это потому, что он представлен в жизни чаще всего женщиной. Я часто думал, на

основании жизненных встреч, что образцы коммунистического идеализма изредка попадаются, – но только среди женщин. Этот тип идеализма нам всем хорошо знаком по 60-м годам. Идеализм педагогов-просветителей, наивных благодетелей человечества, непременно глуповатых, чуждых высокой культуры, но гуманных и демократически ориентированных. Таковы, по прямой линии из 60-х годов, представительницы ста рой гвардии: Крупские, Лилины, Бонч-Бруевич и проч. В литературе – Сейфуллина и Шагинян. Виринеякажется прямо слетевшей со страниц Шеллера-Михайлова. Шагинян сложнее и умнее. Но моральный воздух, который так выгодно отличает «Гидроцентраль» от множества индустриальных романов, того же качества. Не спорю, пробуждение русской деревни и мусульманского Востока может создавать такие женские типы, привлекательные при всей их ограниченности. С духом большевизма они не имеют ни чего общего. Но в Европе большевизм повертывается именно этим своим лицом. «Путевка в жизнь» есть ловко сделанная фальшивка в Европу такого сорта.

Ближе к большевикам другой тип, мужской, «героический», созданный гражданской войной. По старой терминологии – большевик, но не коммунист. В литературе он называется попутчиком. В жизни он чаще всего был представителем бунтарской силы крестьянства, поднятого революцией. Порой он ужасает нас жестокостью, но и восхищает удалью, непосредственностью, даже великодушием. Романтизм разбойничества соединяется в нем с биологической почвенностью степного зверя. Когда-то Толстой отдал дань восхищения этому образу первобытного героизма в Хаджи – Мурате. Большевики канонизировали Разина и Пугачева. До начала пятилетки вся советская литература жила эксплуатацией этой золотой жилы народного бунтарства. С ней связано лучшее в старом Леонове. Вероятно, Красная Армия вобрала в себя самый дисциплинированный отбор этого слоя. Теперь, вместе со всем крестьянством («кулачество как класс»), ему объявлена война. Во всяком случае, этот народный русский тип, со всем своим добром и злом, тоже не имеет ничего общего с коммунизмом как духовной системой. Он задыхается и гибнет в ней.

Что же остается на долю чистого коммунизма, как духовный экстракт его в русской революции? Дух партии Ленина, проникающий все – культуру, школу, общественную жизнь, нынешний мозг России, который хочет претворить все ее тело и душу, – с каким успехом, другой вопрос. Лишь в партии, лишь продвигаясь к верхам ее подпольной иерархии, мы впитываем в себя вполне ее отравленный воздух. Трудно ошибиться в

качестве и силе этой ядовитой эссенции: в ней гибнет все живое, все человеческое. Дух большевизма – не абстракция, не продукт искусственной философской обработки действительности. Это сама душа действительности, своеобразно неповторимая и все же такая смертью дышащая, что может жить, по-видимому, лишь паразитируя в чужеродной человеческой среде. В абсолютно чистом виде ленинизм не встречается. И Ленин иногда ласкал детей и слушал музыку. Но, тем не менее, дух большевизма – это в значительной степени создание Ленина, тысячекратное умножение его собственной страшной личности.

Большевик – это, прежде всего тип борца. Он закален четвертью века подпольной борьбы с царизмом и годами гражданской войны. Неудивительно, что суровость, жестокость отличают его с первого взгляда. Но суровость и жестокость, в сущности, неподходящие слова. Боевая ценность большевика определяется силой и стойкостью его ненависти. Острота ненависти, в соединении с дисциплиной, заменяет для него все прочие добродетели солдата и революционера. Самоотвержение может иногда оказаться излишним: Ленин никогда не жертвовал собой. Негодование, непосредственное выражение гнева против зла, характерные для революционного благородства, большевизму совершенно чужды. Холодная усмешка – его единственная реакция на зло. Он принимает зло как нечто естественное даже тогда, когда ведет с ним борьбу. Можно ли возмущаться против того, что составляет самую природу социальной жизни? Большевик не верит в возможность бескорыстных и благородных поступков. Везде он чует низкую подоплеку классового интереса и подлости. Справедливость, как он ее понимает, хотя предпочитает не говорить о ней, заключается в таком перемещении сил, при котором насилуемые оказались бы насильниками и наоборот. Зло, совершаемое в интересах пролетариата, заменяет для него добро. Большевик презирает моральную оценку во всем и никогда не употребляет положительных моральных характеристик: добро, справедливость и т. д. Однако он на каждом шагу пользуется самыми резкими отрицательными оценками: подлость, гнусность и т. д., показывая свою крайнюю восприимчивость к стихии зла. Он ненавидит зло потому, что является его жертвой или отождествляет себя с его жертвами. В беллетристическом изображении классического большевика (Николай Курбов, например) обязательно позорное и растоптанное детство, нередко мать-проститутка, абсолютная безрадостность и мрачность жизни. В такой обстановке вырабатывается безжалостный мститель, каким хочет быть большевик. Вот почему непролетарское происхождение (то есть бескорыстный этический мотив)

для члена партии является позорным и, в сущности, неизгладимым пятном: либо потенциальный предатель, либо мягкотелый интеллигент.

Признавая только одну добродетель – силу, большевик считает пороком только слабость – все, что расслабляет занесенный для удара кулак: и сюда, естественно, относится всякое проявление жалости, уважения к человеку, даже справедливости, в смысле оценки мотивов поведения. Нужно выработать из себя машину для боевых функций, человеческий танк, который раздавит все на пути. Укоры совести, самое предположение о их возможности оскорбительно для героя. В них видят моральное разложение, начало болезни. В последнем романе Гладкова («Энергия») герой-коммунист встречает девушку, отца которой по ошибке когда-то убил в гражданской войне. Ему неловко при этом воспоминании – он любит девушку. Но именно она сразу пресекает всякую возможность с его стороны бесполезных сожалений. Он поступил так, как должен был поступить (хотя и ошибся). Что убитый – ее отец, это не имеет ни малейшего значения.

Рисовка? Литературная фальшь? Весьма возможно. Но она скалькирована с какого-то штампа нового героического человека. Такими хотят быть русские комсомольцы. И это главное.

Еще более убийственное – ибо ненарочное, непроизвольное – свидетельство находим в фотографической хронике Левина «Жили два товарища». Студент в запальчиво-

Г. П. Федотов. Том 2 сти убивает в магазине торговца. Он арестован, и друг его (оба коммунисты) утешает его тем, что убит буржуй и что этот буржуй, вероятно, с радостью сам бы задушил их. Замечательно, что герой совсем не страдает от последствий убийства. Ни он сам, ни автор больше не вспоминают о нем. Побочный эпизод, не существенный для развития романа. Кровь стекает с коммуниста (изображенного в самых симпатичных чертах), как с гуся вода.

У Шолохова в «Поднятой целине», где с такой правдивостью изображена омерзительная картина раскулачивания, одному из участников-палачей к вечеру становится не по себе. Это не раскаяние, но что-то вроде потревоженной совести. «Жалеть, как ты смеешь их жалеть!» – кричит в неистовстве его товарищ, большевик-путиловец, и ярость сбивает его с ног в эпилептическом припадке. Настоящая одержимость, которая поневоле заставляет вспомнить о гадаринском бесноватом.

Довольно примеров. Самое поразительное в них, что они взяты из портретов положительных героев, сохраняющих много человеческих черт. Ясно, что мы имеем дело с моральной тренировкой, с своеобразной

аскезой зла, которое в вывороченной наизнанку системе ценностей становится большевистским добром.

Заметили ли вы, что в советских романах слово «зло» употребляется в положительном смысле? Это особенно бросается в глаза в последних романах Леонова, писателя, старающегося, и не без успеха, врасти в чужую ему по природе большевистскую кожу. Скутаревский на каждом шагу «зло усмехается», «зло глядит», «зло бросает слова». Здесь злоба становится синонимом силы. В старой русской литературе сила скорее была представлена добрым великаном. Сила была великодушной. Мы привыкли скорее к злобной слабости. Большевизм хочет быть злой силой, – не потому ли, что чувствует свою тайную слабость (припадочность, неврастеничность)?

Св. Георгий или Аполлон, поражающий дракона,– попробуйте представить себе большевизм в этом символе. Сразу чувствуется нестерпимая фальшь. Но дракон, огнем и серой испепеляющий человека, это его памятник. Большевизм – это реванш Пифона. Неврастеническая и злая сила, подавившая в себе окон- дательную жалость и любовь к человеку, – может ли сохранить в себе свежесть жизни, способность к природной, органической радости? На пороге XX века духовные предтечи большевизма (Горький, Арцыбашев) любили рисовать веселую и красивую жестокость ничшеанского зверя. Зрелый большевизм бежит красоты. Большевик никогда не смеется. Он скучает среди природы. Зелени ее полей он предпочитает угольную пыль рудников. Лязг машин – песне человеческого голоса. Он до сих пор не знает, что ему делать с любовью: превратить ли ее в товарищество борьбы, в безразличный чувственный акт или подавить ее совершенно. Ясно одно, ее нельзя допустить как любовь. Ибо всякая любовь – к человеку, к женщине, к земле, к искусству, к истине – расслабляет, «размагничивает» человеческую машину, функционирующую для убийства.

Будем справедливы. Суровость борьбы ожесточает чело века. Убийство жалости – требование Ничше – понятно в солдате. Многие из слишком яростных врагов большевизма завидуют ему в этой «каменной» или «стальной» бесчеловечности. Разумеется, моральный большевизм может развиваться на всякой почве – не на одной классовой ненависти. Но жестокость солдата, революционера, бандита до сих пор никогда не исключала профессиональной этики, которая знает и правила «честной игры», и законы товарищества, может иногда позволить себе великодушие к врагу. Большевизм принципиально запрещает себе не только жалость, но и всякое руководство моральным критерием – кроме интереса и

дисциплины партии. Товарищество, братство по оружию когда-то связывало коммунистов в легендарные дни гражданской войны. Недаром с такой тес кой вспоминают о них строители пятилетки. Но давно уже партия убила всякую возможность морального отношения к товарищу. Нужно быть всегда готовым раздавить слабого, предать доверчивого, уничтожить самого честного и стойкого борца, когда он стоит поперек «генеральной линии». Чего стоит одна сцена партийной чистки у того же Левина. Но литература перестает быть нашим проводником по самым глубоким кругам коммунистического ада. Освещение их несовместимо с социальным заказом. Здесь мы должны ориентироваться по политическим документам – мемуарам и показаниям перебежчиков. Теперь мы знаем, как управляется коммунистическая партия. Изумительный организационный аппарат ее сводится главным образом к искусству игры на человеческой низости. Подобранное для каждого члена партии досье его грехов и слабостей держит его в руках генерального секретаря. Система держится не на взаимном уважении, а на взаимном недоверии и страхе. Вождю выгоднее иметь дело с запутавшимися негодяями, чем с безупречным товарищем. И уж подавно легче управлять людьми, не способными иметь свое мнение и за него бороться. Отсюда эта постоянная гимнастика предательства своих убеждений, упражнения в покаянных письмах и доносах на единомышленников. Нужно унизить, скомпрометировать, возможно, больше членов партии, чтобы они не могли выйти из повиновения. Верность коммунизму, стойкость убеждений – лучшие качества бойца, последние остатки военно-революционной этики- сознательно разрушаются во имя партийной дисциплины.

Когда к большевикам приходит работать человек со стороны, беспартийный «спец», интересует ли их его честность, его сочувствие делу социализма? Нисколько. Они боятся убеждений, предпочитают иметь дело с подлецом – со Слащевым, а не с Савинковым. Они виртуозно умеют играть на человеческих пороках: знают, кого соблазнить деньгами, кого славой, кого женщиной, – но таинственный мир свободного этического самоопределения их пугает. Что сулит эта свобода? Сегодня с нами, а завтра? С нами – до каких пределов? До первой подлости? Нет, лучше уж с самого начала унизить и раздавить человека в застенках ГПУ – сделать его предателем, например,– тогда от него можно получить что угодно.

Эта работа соблазна и развращения интеллигенции проводится большевизмом в грандиозном масштабе: не привлечения, не приручения, а именно развращения. Мы с ужасом наблюдаем отсюда плоды этой провокаторской работы – в среде ученых, артистов, писателей, даже в

церкви. И не сочувствия социализму добивается власть: она требует безусловной покорности, простого выполнения директив генеральной линии.

Ложь давно уже стала второй природой большевизма. Ленин первый обосновал ее в политической игре. В настоящее время можно сказать, что коммунизм уже потерял способность различения истины и лжи, как, много раньше, – добра и зла. Истина приобрела чисто служебное, или тактическое, значение – для генеральной линии, для сегодняшнего дня. Это признается с наивным цинизмом издателями Советской Энциклопедии, историками партии. История не может угнаться за политическим заказом, меняющимся каждый день. Вчерашние полубоги, в которых верили, на которых учились, сегодня втаптываются в грязь по указке свыше. Внутрипартийные заговоры подготовляются провокацией. Кампании клеветы организуются планомерно. Вожди ведут игру, договариваются, спорят. Когда определились слабейшие, на них спускают псов. Тысячи перьев, десятки тысяч глоток во всех концах России рвут, грызут, обливают помоями товарищей, вождей, которые вчера для них олицетворяли дело революции. И во всем этом ни капли убеждения. Механизм клеветы организован как механизм клаки или рекламы.

Но нас интересует не система большевистского властвования, а строй души. Что остается в ней, что ее держит при разложении всех моральных скреп? Связь с коллективом, с партией, с могущественным сверхличным организмом. Превратиться в клеточку, не чувствовать, убить свою личность – единственный способ сохранить жизнь и способность к действию. Возможно ли это – не для муравья, а для человеческого существа? Оказывается, возможно, но при одном условии: в непрерывном действии, в борьбе, в движении. Как только машина останавливается – время нэпа, – так человеческие клетки неизбежно разлагаются. Динамизм, энергетизм могут быть поняты и самим большевизмомм нередко понимаются как подлинная его природа. Отрицать его энергетический характер невозможно. Останавливаться на нем излишне. Весь мир изумляется сверхчеловеческой энергии, вложенной в строительство пятилетки. Это та же энергия, что в годы гражданской войны, взнуздала, подняла на дыбы измученную бойней, распавшуюся Россию. Но чрезвычайно важно определить природу его энергии, его духовного двигателя.

Русские писатели, поставленные перед социальным заказом, и Европа, зрительница небывалого строительства, часто обманываются или обманывают, принимая большевистскую энергию за волю к творчеству, к

созиданию. Слово «творчество», кстати сказать, стало в России ходячей, модной монетой. Но, вглядываясь пристально в характер этого полубезумного творчества, видишь, что в основе его лежит всегда пафос борьбы. Борьба не создает ценностей, но разрушает: убивает живую силу врага и его – пусть ложные – ценности. Творчество немыслимо без любовного созерцания идеи-цели, без момента внутренней тишины и радости, хотя бы рождающей самые бурные внешние про явления. Но большевизм уничтожил в себе все источники созерцания, радости, любви, то есть все источники творчества. Он родился в войне и до сего дня остается воякой на самых разнообразных участках фронта: хозяйства, техники, быта, искусства, науки, религии. Всегда и везде уничтожение врага – главная цель. Вся соль коллективизации – в уничтожении кулачества как класса. Вся изюминка строительства «Соти» – в разрушении соседнего монастыря. Индустриализация – это таран для разрушения старой, все еще живой России. Марксизм в науке, в литературе – это не столько метод познания, сколько метод уничтожения буржуазной культуры. За всяким большевистским делом, за самой мирной работой чувствуется прицел наведенной винтовки: в священника, в крестьянина, в профессора, в вольного художника, в отца и мать старой семьи, в кондовую Русь, в счастливый уют ненавистного мещанства. Отмыслим этот военный шум, бряцание оружием – что останется? Каковы положительные цели большевизма и его грандиозного военного строительства?

Мировая революция? Но это лишь перенесение русской борьбы на мировое поле. Средство, а не цель. Социализм? Попробуем увидеть, что именно в социализме может прельщать большевиков, где наваждение, влекущее их чрез кровь и грязь, чрез уничтожение в себе человеческого образа.

Жалость, сострадание к угнетенным? Но они убили в себе жалость, организовали новое угнетение в колоссальных размерах.

Пафос справедливости, понятой как равенство? Но большевизм глумится над «уравниловкой», выделяет собственную аристократию, строит общество, явно иерархическое.

Удовлетворение материальных потребностей пролетариата? Но большевизм презирает комфорт, остро ненавидит самые вещи, образующие человеческий быт. Для него все это мещанство. Он организовывал целые кампании для разгрома утвари в рабочих квартирах. Только старые учительницы («шестидесятницы») могут усматривать в производстве вещей и комфорта цель коммунизма. Борцов не соблазнишь

«ширпотребом»: это подачка для голодной толпы.

Свободное человеческое общение в радости и труде? Но большевизм убил человека, всякую возможность радости и любования человеком.

Духовное творчество освобожденного человечества? Но большевизм опорочил заранее всякое «чистое» творчество: искусство, науку, не говоря уже о религии. Утилитарный взгляд на них не совместим с постановкой их на вершине пирамиды целей.

Так и остается борьба ради борьбы, пустой динамизм, бесцельный бег, разрушение для созидания, созидание для разрушения. Самая воля к мощи, упоение силой коллектива, бесцельной силой, является другой стороной того же пафоса борьбы и разрушения.

Так, в последнем анализе, большевизм представляется небытийственным, очищенным от всего человеческого, мертвенной работой созданного для разрушения механического двигателя. Дух большевизма – дух небытия.

* * *

Повторяю еще и еще раз. Этот чистый дух не может до конца воплотиться в человеческом существе. Или иначе: чело век не может взрастить в себе этого демона до полного убийства в себе всего человеческого. Задолго до этого предела он сходит с ума или стреляется. Русские большевики – люди, и не все то худшие из людей: отношение к ним как к бесам отвратительно и религиозно недопустимо. Но дух, сидящий в них, именно таков, и, разрушая их самих, он производит разрушительный эффект на огромном радиусе вокруг себя. Большевизм можно мыслить как демона-мстителя, выпущенного из подпольных недр старой России для ее казни. Ужас в том, что палач России (gastaldo di Dio св. Франциска) превратился в ее воспитателя. Вампирическипитаясь кровью ее страстей, он прильнул к ее телу и к ее душе, заражая ее своим гнилостным, смертным дыханием. Распад живых тканей, произведенный им, огромен. По-видимому, этот процесс не только не остановился, но и прогрессирует. Но живая душа сопротивляется, она не хочет умирать и борется с духом тления. Если она исцелится, на что мы все надеемся, опыт ведения ада не может пройти для нее бесследно. Она спасется «как бы из огня». И долго спустя после политической смерти большевизма тяжелый след его, в крови России, в отпечатках злого слова, будет отравлять ее, отравлять мир, больше всего мир строящегося социализма, который принял в свой Пантеон кумир Ленина. Вот почему, побежденные сегодня, мы не слагаем оружия. Большевикам простим, но большевизму никогда. Будем хранить и завещаем в века святую непримиримость. «Потому что

наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов зло бы поднебесных».

О национальном покаянии

И ликует, смеясь над тобой, сатана,
Что была ты Христовой звана.
В. Иванов (Car ardens).

Быть может, религиозная судьба России сейчас лишена того, что называется общественной актуальностью. Внешне побежденная, религия в России загнана в подполье. Верность Церкви, участие в ее жизни равносильны отказу от внешней не только политической, но и профессиональной работы. Социальные процессы, совершающиеся в России, приобрели стольоголенно материальный, стихийный характер, что кажется, трудно внести в их бес человечную механику такой невесомый, такой «ирреальный» момент, как религиозная вера христианского остатка. Огромное множество живущих и действующих в России людей, особенно молодых, вероятно, просто не замечают явления религиозной жизни; во всяком случае, не относятся к нему серьезно. Утверждать при этом, что падение большевиков необходимо связано с религиозным возрождением России, кажется нестерпимой фальшью. Большевизм может пасть от саморазложения своей идеи, от сопротивления экономической стихии гораздо раньше, чем религиозность в России станет заметной общественной величиной.

Но совершенно иначе встанет вопрос, когда мы от разрушения большевизма перейдем к восстановлению России. Россия для нас – не голое «месторазвитие», не условное имя Восточно-европейской равнины с конгломератом народностей, вовлеченных в техническую цивилизацию Запада. Представим себе, что нам суждено вернуться в освобожденную Россию и работать для нее остаток наших дней. Что мы увидим, что мы узнаем от России? Культура, моральный облик, самая внешность, от одежды до физического типа людей (отяжелевшего, заострившегося), так изменились, что мы можем не признать в них своих, как они в нас. Что же останется от России? Язык? Но столь переродившийся, что каждое слово будет мучительно резать ухо. Земля? Единственно неизменная, всегда любимая... но которая может стать для нас кладбищем, где среди развалин и исторических памятников нам останется только плакать о России. Среди «младого, незнакомого» племени утешит ли нас горячка американского строительства, самодовольство грошового просвещения, даже физическое здоровье новой, грубой расы – утешат ли они в гибели того, что мы все, даже не верующие в онтологический смысл этого слова, называли душой

России? Эту душу, мы ощущали безотчетно в каждой интонации родной речи, в том, что просвечивало сквозь телесно – зримую оболочку русского этнографического типа, и, сопоставляя это «безотчетное» с тем, что мы считали самым подлинным, самым русским в нашей культуре, мы спокойно констатировали их тождество. Народ и его культура были единым. Народ творил культуру.

Нетрудно видеть, что и эта культура, и душа этого народа были существенно христианскими. Вся русская литера тура XIX века в основном своем русле, да и почти во всех своих побегах, – была, по крайней мере, в этическом смысле, христианской. Для Запада это бросалось в глаза с полной ясностью: та любовь и сострадание, та жертва и нисхождение, в которых иностранцы видят пафос русской литературы, бесспорно, принадлежат к христианскому наследию в уже дехристианизированной культурной среде. Можно уточнить и дальше и признать не только христианский, но и восточно-православный характер этой культуры. Признать родство русской интеллигенции, даже в безбожном ее стане (а может быть, особенно в безбожном), с типом древнерусской религиозности. Подвижники, юродивые, страстотерпцы обернулись опрощенцами, народниками, мучениками за волю и счастье народа. Хотя отступничество от имени Христа не прошло и для них даром. Мрачные тени легли на иконописные лики безбожных праведников. Искажение, потом разложение, христианской души уже началось – в диалектике революции.

В большевизме этот процесс разложения закончился. Ему удались воспитать поколение, для которого уже нет ценности человеческой души – ни своей, ни чужой. Убить человека – все равно, что раздавить клопа. Любовь – случка животных, чистота – смешной вздор, истина – классовый или партийный утилитаризм. Когда схлынет волна революционного коллективизма, эта «мораль» станет на службу личного эгоизма. Французская революция была не менее грандиозной, планетарной, эсхатологической. Но когда волны ее потопа вошли в берега, на дехристианизированной земле поднялся и процвел мещанин – расчетливый и скопидомный стяжатель. Судьба обезбоженной России будет ли иной? Если чисто буржуазное мещанство в наш век как будто невозможно, то остаются другие формы: мещанство огосударствленное, мещанство смешанное, – наконец, мещанство социалистическое. Но и мещанство не последняя ступень человеческого падения. Человек без Бога не может остаться человеком. Обезбоженный человек становится зверем – в борьбе – или домашним животным – в укрощенной цивилизации.

Культура – эти сгустки накопленных ценностей – замедляет процесс бестиализации обезбоженного человека, задерживая его в этических, эстетических планах человеческой душевности. Вот почему слабость культурной про слойки в русской жизни беспощадно оголяет зверя. Прошедший через революцию русский человек быстро теряет не только национальное, но и человеческое лицо.

Но если это так, то восстановление России, мыслимой как национальное и культурное единство, невозможно без восстановления в ней христианства, без возвращения ее к христианству как основе ее душевно-духовного мира. При всякой иной – даже христианской, но не православной – религии это будет уже не Россия. Без религии – это не нация, а человеческое месиво, глина, из которой можно лепить все, что угодно: камень, дерево, металл, который можно дробить на какие угодно части. Имена Евразии, Восточно-европейского государства и т. п. уже указывают возможные формы ее гибели.

Это новое крещение России, конечно, может совершиться только силами ее христианского остатка. Он существует. Мы не только верим в него, но и знаем о нем. Он носит в себе образ и форму будущей России, – если ей суждено возродиться.

Если? Возможно ли здесь сомнение? Не преступно ли самое сомнение?

Есть два рода сомнения. Одно разлагает, убивает мужество, зовет к бездействию. Иное- сомнение борца. В сущности, не сомнение, а сознание опасности, которое заставляет напрячь все силы в борьбе за бесценное благо, постав ленное на карту. В борьбе, напротив, беспечность, наивная уверенность в успехе является нередко источником поражений. Римский сенат когда-то благодарил консула, легкомысленно погубившего свое войско в сражении с Ганнибалом: «Варрон не отчаялся в спасении отечества». Среди обуревающего многих безверия и пессимизма хочется приветствовать веру в Россию пореволюционного поколения. Беда лишь в том, что борьба наша не с внешним, а с внутренним, прежде всего духовным врагом. Презирать его – значит открыть ему двери. Читая страницы некоторых нашихмессианистов, нельзя отделаться от ощущения, что Ганнибал не у ворот, а в стенах города.

В недавно вышедшем романе Таманина «Отечество» автор сводит религиозные счеты с Россией. Его герой, пройдя сквозь муки первых большевистских лет, приходит к религиозному просветлению и вместе с тем к преодолению своего природного, натурального национализма. В этом я готов видеть положительный смысл идеологического романа. Зато

страшным и религиозно необоснованным мне представляется его разрыв с Россией: «Не знаю, откуда это чувство, да же почти уверенность, – что она погибла... Не строй погиб, а страна, русская нация». И еще: «Наших мучений ни одно государственное устройство уже не стоит. А родина стоит ли? Когда-то от обольщения родиной погиб целый народ. И перед нами то же, как во дни Тиверия: опять страшный выбор между родиной и Богом сделать надо».

Не знаю, какое право имеет автор (хотя бы устами героя) говорить о совершившейся гибели России. К тому же слова эти относятся к тем годам, когда сопротивление России коммунизму носило героические формы: в военной борьбе и христианском мученичестве и мужественном сопротивлении большей и лучшей части интеллигенции. С тех пор многое изменилось – к худшему. Сжался, поредел верный остаток... И все же, пока он существует, пока духовная борьба за душу России не прекратилась, мы не можем говорить о гибели России.Таманин сказал громко лишь то, что про себя шепчут многие в эмиграции; оттого и бегут в иностранное подданство, в католичество, в чужую жизнь. Честь молодежи, которая не поддалась малодушию и, наперекор всему, не потеряла веру в Россию. Однако и ей есть к чему прислушаться в словах таманинского героя. Выбор между родиной и Богом все-таки нужно сделать. Хотя бы для того, чтобы восстановить истинную иерархию ценностей, чтобы не в одном духе и смысле произносить соблазнительные слова: «За веру и отечество» (для других еще и «царя»).

Христос требует жертвы – самым дорогим и священным, что есть у человека: отцом и матерью, следовательно, и родиной. Так как Он есть вечная жизнь, то ничто живое в нем не погибает. Он вернет человеку мать и отца, вернет и родину, но вернет иными, для иной, более чистой любви. Любовь во Христе есть любовь к идеальному образу любимого лица. Она не исключает и плотской теплоты и служения целостному душевно-телесному существу, но она подчиняет все низшее, хотя бы и оправданное, хотя бы и прекрасное, духовному образу. Христианская любовь к родине не может ставить высшей целью служение ее интересам и ее могуществу, – но ее духовный рост, творчество, просветление, святость.

Впрочем, все это охотно признается современным мессианством. Ведь и для него высшее – духовное – призвание России – благая весть, которую она несет миру. Соблазн русского мессианства в другом: прежде всего в гордости своего признания.

Гордость призвания! И какого призвания... Как будто такое призвание можно носить легко и удобно, как хорошо сшитое платье. Такое

призвание, если только помнить о нем, жерновом ляжет на плечи, бросит крестом на землю, пронзит сердце кровоточащей раной. Ведь дело идет не о чем ином, как о спасении мира. Для христианского сознания только жертва имеет спасительное значение. И так как эта жертва принесена раз навсегда за весь мир, то спасение теперь может означать лишь принятие этой голгофской жертвы, лишь соучастие в ней. Так, правильно понял свое призвание польский мессианизм, основавший свою веру в Мессию-Польшу на безмерности ее страданий и ее веры.

Я думаю, что и польский мессианизм был не прав. Ибо в христианском мире не может быть народов-мессий, спасающих человечество. Каждый народ, спасая себя, участвует в общем, спасении – имеет свое, хотя и неравное по дарам и значению призвание – миссию. Но если когда-нибудь был мессианизм, относительно оправданный, то это мессианизм польский.

Русскому мессианизму всегда не хватало одного из двух существенных моментов – или страдания (в прошлом), или верности (в настоящем). Впрочем, русские славянофилы, с присущим им религиозным тактом, никогда не говорили о мессианизме России. Однако многое из этой польско-католической идеи переносилось ими на Россию. Россия, спасающая мир, – такова была их эсхатологическая утопия. Христианская неправда ее была в том, что Россия мыслилась ими во всеоружии своей государственной мощи и славы. Жертвенное спасение подменялось империализмом Кесаря. Младшее поколение славянофилов стало жертвой этого грубого нехристианского соблазна и этим сорвало дело право славного возрождения в России. Достоевский-публицист именно здесь предает художника-провидца. С тех пор утекли океаны воды. Совершилось – вернее, обнажилось воочию – религиозное отступничество России.Когда-то один из самых чутких глашатаев нашего христианского возрождения вопрошал Россию:

Каким ты хочешь быть Востоком,

Востоком Ксеркса иль Христа?

Уже поколение Александра III дало на этот вопрос ясный, хотя и бессознательный ответ. Идеал правды был принесен в жертву славе и мощи. Стилизованный по-православному,Ксеркс стал идеалом православного царя и всего русского мнимохристианского национализма. Отступничество революции было предвосхищено давно – Леонтьевым и Данилевским. Большевизм, сорвав все маски, строит Россию Ксеркса.

Если трудно издали видеть Россию, судить о происходящих в ней социальных и культурных процессах, то еще труд нее судить о

совершающемся в ее духовной глубине. Во всяком случае, нет ничего, что бы оправдывало безответственное ликование. Кричать сейчас о победе христианства в России – все равно, что затягивать свадебную песню на похоронах. Правящая, активная, молодая Россия, насчитывающая, во всяком случае, миллионы... глоток, гонит христианство с яростью одержимого. Горсть мучеников умирает в каторжных тюрьмах и ссылке. Масса не поднимается на защиту ее вчерашних святынь. Звериная борьба за жизнь поглощает ее всецело. Трудно судить, остается ли еще уголок в ее душе, доступный нездешнему Слову. Может быть, еще как вздох о невозвратном, утраченном и невозможном...

Как бы ни оценивать силы борющихся сторон, ясно од но. Сейчас происходит отчаянная борьба за душу России и ее духовную судьбу. Сколько праведников спасают Содом? Кто сочтет? В руках архангела повисли весы над бездной, и чашка их колеблется под тяжестью бедных человеческих душ. Таково должно быть наше восприятие совершающегося. Это страшно. Это страшнее, чем у постели тяжело больного в час кризиса. И в этот час – молчания и молитвы – кощунственна осанна иерихонских труб, неуместны торжественные гимны на тему: «С нами Бог! Разумейте, языци, и покоряйтеся...».

Если же не молчание, а слово, то о чем? Какое слово может быть религиозно действенно, может помочь спасительному выходу из кризиса? Только одно: вечное слово о покаянии.

Покаяние – ужас и отвращение к себе («и трепещу и проклинаю»), ненависть к прошлому, черта, рубеж, удар ножа, новое рождение, новая жизнь... Incept vita nova.

Почему Россия – христианская Россия – забыла о покаянии? Я говорю о покаянии национальном, конечно. Было ли когда-нибудь христианское поколение, христианский народ, который перед лицом исторических катастроф не видел в них карающей руки, не сводил бы счеты со своей совестью? На другой день после татарского погрома русские проповедники и книжники, оплакивая погибшую Русь, обличали ее грехи... Жозеф де Местр видел в революции суд Божий. А в православной России не нашлось пророческого обличающего голоса, который показал бы нашу вину в нашей гибели. Это бесчувствие национальной совести само по себе является самым сильным симптомом болезни. Пореволюционные националисты в этом отношении как две капли воды похожи на своих отцов: националистов школы Александра III. Если от последних христианская совесть требует покаяния в грехах старой России, то от первых, стоящих на почве революции, требуется покая- ние в ее

грехах. Каково должно быть пореволюционное христианское сознание? Оно, прежде всего, исполнено ужаса перед революцией как своим грехом, грехом своего народа и стремления начать новую жизнь, чистую от кровавых воспоминаний, хотя и на почве, политой кровью, в условиях, созданных революцией.

Вместо этого христиане говорят о переключении революционной энергии. Это значит: та ярость, та одержимость злобы, которые сегодня направлены на построение классового и безбожного Интернационала, завтра будут направлены на созидание национальной и православной России. Какой кошмар! Рука, убивающая сегодня кулаков и буржуев, завтра будет убивать евреев и инородцев. А черная человеческая душа останется такой же, как была, – нет, станет еще чернее...

Я знаю, что ничего такого не хотят пореволюционные христиане. Но, не требуя покаяния, но, преклоняясь перед разливом революционных стихий, такое будущее они готовят. Самое страшное, что в этой перспективе нет ничего невозможного. Ненависть, больная и ослепляющая, как и мания преследования, легко могут изменять свой объект. Народ, который за несколько лет до революции избивал социалистов, стал избивать буржуев, – оставшись, в сущности, самим собой. Если отвлечься от религиозной темы, то переключение революционной энергии в национальную – самое обыкновенное явление. Наполеон вырастает из Дантона, как Муссолини из Гарибальди. Только никакими переключениями зла нельзя получить ни скрупула добра. Оцерковленное, оправославленное зло гораздо страшнее откровенного антихристианства.

Бесконечно тяжело, что наше национальное возрождение хотят начинать, вместо плача Иеремии, с гордой проповеди Филофея. Бедный старец Филофей, который уже раз отравил русское религиозное сознание хмелем национальной гордыни. Поколение Филофея, гордое даровым, не заработанным наследием Византии, подменило идею русской Церкви («святой Руси») идеей православного царства. Оно задушило ростки свободной мистической жизни (традицию преп. Сергия – Нила Сорского) и на крови и обломках (опричнина) старой, свободной Руси построило могучее восточное царство, в котором было больше татарского, чем греческого. А между тем Филофей был объективно прав: Русь была призвана к приятию византийского наследства. Но она должна была сделать себя достойной его. Отрекаясь от византийской культуры (замучили Максима Грека!), варварская рука схватилась за двуглавого орла. Величайшая в мире империя была создана. Только наполнялась она

уже не христианским культурным содержанием.

Трижды отрекалась Русь от своего древнего идеала святости, каждый раз обедняя и уродуя свою христианскую личность. Первое отступничество – с поколением Филофея, второе – с Петром, третье – с Лениным. И все же она сохраняла подспудно свою верность – тому Христу, в которого она крестилась вместе с Борисом и Глебом – страстотерпцами, которому она молилась с кротким Сергием. Лампада преп. Сергия, о которой говорил Ключевский, еще теплилась до наших дней. И вот теперь, когда всей туче большевистских бесов не удалось задуть ее, вызывают, как, Вия, из гроба старца Филофея: не задует ли он?

Будем верить, что не задует и что из всех блужданий и блуда освобожденная от семи бесов Россия, как Магдалина, вернется к ногам навсегда возлюбленного ею Христа.

Новый идол

Всего несколько лет тому назад можно было утверждать, что европейскому культурному миру угрожают два врага – одинаково сильных и страшных: коммунизм и национализм. Борьба классов и борьба народов сжигала Европу, как свечу, с двух концов. Вопрос, казалось, лишь в том, какой огонь добежит скорее до середины – до точки взрыва. Суждено ли нам погибнуть в мировой войне или в мировой революции? Но было ясно и тогда, что два исхода ведут к одному. Война неизбежно приведет к революции, а революция – к войне. Поэтому все разговоры на тему о том, какое зло больше – национализм или коммунизм, – являлись, по существу, праздными. На нас, на русскую эмиграцию, Провидением возложена своя миссия: борьба с коммунизмом. Для того мы здесь, на чужой земле, чтобы выполнить наш долг. Но только ослепшие в подполье глаза могли не видеть двусторонней опасности и считать коммунизм единственным врагом человечества. Так, старый русский революционер, закрывая глаза на сложность действительности, видел в самодержавии главного врага мировой свободы и культуры.

Как недавно это было – тому назад каких-нибудь три года, – и что осталось от этой привычной политической обстановки? Коммунизм разгромлен во всем мире. Он мертв, как может быть мертво политическое движение, еще вчера казавшееся мощным и яростным. В Германии и Австрии – вчерашней цитадели марксизма – он утоплен в крови, вместе с социал-демократией. Во Франции, где еще недавно коммунизм шумел, разбухая на московской субсидии, он выдохся, присмирел, мечтает о возвращении в лоно социалистической партии, выставляя умереннейшую парламентарную программу. Троцкистский раскол, уведший от него искренние революционные силы, и охлаждение Москвы обескровили во Франции воинствующее крыло рабочего движения. В англосаксонском мире оно никогда не было сколько-нибудь влиятельным. В половине Европы – к востоку от Альп и Рейна, где развевается, в тех или иных цветах, знамя фашизма, о коммунизме не может быть и речи. Он задушен беспощадно и окончательно.

Навсегда ли? Этого мы сказать не можем. Точнее, можем сказать, наверное: коммунизм воскреснет непременно – в старой или новой идеологической одежде, – если мир не выбьется из капиталистического хаоса или повторит безумие новой войны. Ибо коммунизм есть дитя хаоса и тень войны. Смерть старого мира выделяет его бациллы как побочный

продукт разложения. Но такой коммунизм не зависит ни от Москвы, ни от идейного наследия Ленина. Ответственность за него несут те, кто держит сейчас в своих руках управление политическим и хозяйственным рулем мира.

Гибель коммунизма в центральной и восточной Европе связана с разгромом социал-демократии. Враги не разбирают оттенков «марксистской» мысли и тактики. Вчерашние братья-соперники встретились у эшафота и в концентрационных лагерях. И ясно, что не одно насилие их сломило, но также и исчерпанность, вырождение той идеи, которая объединяла оба крыла рабочего движения: идеи классовой борьбы.

Значительные группы рабочего «класса» влились в армию фашистских победителей. Они верят теперь, что осуществление их социалистических чаяний – право на труд, на достойное человека существование – принесет не победа класса, а торжество национального надклассового государства. Фашизм дает это обещание и пока встречает доверие. К сожалению, до сих пор мы не видим, чтобы это доверие было им оправдано. Еще рано судить о конце фашистского эксперимента, но пока он представляется скорее делом консолидации давшего трещину капитализма, чем серьезной попыткой его преодоления. Вот почему крушение классовой борьбы пролетариата не принадлежит к утешительным явлениям современности.

Не нам защищать идеологию классовой борьбы, отравлявшую несколько поколений моральное сознание рабочего. Но остается фактом, что сама борьба эта была в течение последнего столетия одним из мощных факторов социальной реконструкции. Именно она, вопреки всем доктринерским теориям экономического либерализма, содействовала гуманному социальному законодательству, смягчению капиталистической эксплуатации, культурному подъему народных масс. Ни один режим не склонен к самоограничению, не вынуждаемый к этому борьбой враждебных групп. В современных уцелевших демократиях именно это отсутствие серьезного рабочего давления объясняет беспечность правящих верхов, их легкомысленную работу штопальщиков перед лицом открывшегося хаоса. Вместе с рабочим классом из мира выпал сейчас один из могучих таранов прогресса. Эта сила, конечно, являлась до известной степени слепой, зачастую разрушительной, но все же оставалась огромным потенциальным источником энергии в руках смелого реформатора.

Современные экономисты указали, что численная и моральная слабость рабочего класса объясняется изменившимся характером

промышленной техники и организации. В век рационализации убывает значение мускулов и возрастает влияние мозга: инженер и технический сотрудник вытесняют рабочего. Вероятно, это так. Но этот прогресс, едва начавшийся в Америке, не сказался еще значительными переменами в хозяйстве Европы. Гораздо действеннее результаты разложения классовой психологии психологией национальной. «Сознательный пролетариат» – продукт не завода, а доктрины. Рабочий, осознавший себя, прежде всего немцем, итальянцем, французом, перестает быть пролетарием. И в этом процессе роль войны, вероятно, значительнее новых хозяйственных форм.

Самое характерное для нашего времени – это победа национальной идеи в России.

Внешняя ли опасность, несомненно, угрожающая СССР, дальнейшее ли развитие сталинского «социализма в одной стране», но политика и идеология Советов, несомненно, вступили в фазу острой национализации. Уже давно бряцание оружия в Москве заглушает мотивы интернационалистического антимилитаризма. Но раньше мы понимали эти танки на Красной площади как подготовку мировой революции. Война для Сталина и Ворошилова, казалось, была лишь формой развертывания революции. Теперь приходится сказать: дальновиднее были те европейцы, которые считали, что под красной маской СССР продолжает традиционную русскую экспансию в Азии. Именно удар из Азии на Дальнем Востоке вызвал новую кристаллизацию и в европейской политике Советов. Союз с Францией и версальской группой держав, отказ от ревизии договоров (главный фермент революции), прекращение поддержки коммунистов Европы показывают, что мечта о мировой революции погребена окончательно. Сталин никогда не был интернационалистом по своей природе: всегда презирал европейского рабочего и не верил в его революционные способности. Добившись единоличной, неограниченной власти в величайшей стране мира, что удивительного, если он приносит в жертву этой власти (и стран, с нею связанной) остатки своих былых псевдорелигиозных убеждений? Интернациональный коммунизм для него, вероятно, значит не больше, чем православие для императорской дипломатии последних столетий: необходимый декорум для защиты национальных интересов.

Вещь неслыханная, невозможная вчера: в СССР «родина» объявлена священным словом. Родина склоняется во всех падежах, комсомольцы учатся патриотизму по классическим прописям: то есть, прежде всего, национальной гордости. Первая в мире страна, самая свободная, самая мощная, самая передовая! На нее покушаются – мы дадим отпор. И враги –

это уже не мировая буржуазия, а конкретно: Япония, Германия. Нельзя думать, что все это пишется и говорится по заказу. Естественнее предполагать, что власть только открыла шлюзы, долго сдерживавшие поток бурной национальной стихии.

Вчера можно было предсказывать грядущий в России фашизм. Сегодня он уже пришел. Настоящее имя для строя СССР – национал-социализм. Здесь это имя более уместно, чем в Германии, где Гитлер явно предал национал – социалистическую идею. Сталин, изменяя коммунизму, становится национал-социалистом, Гитлер, изменяя себе, превращается в вульгарного националиста. Во всяком случае, кровное родство между фашистской группой держав, включая Россию, несравненно сильнее их национальных отличий: последние носят порой чисто символический характер.

Итак, национализм торжествует во всем мире: в демократиях, в фашистских государствах и в псевдокоммунистической псевдореспублике. В демократии национализм консервативен, являясь формой коллективной защиты интересов; в фашизме он агрессивен, борется не столько за интересы, сколько за чистую мощь и принимает форму социальной религии, требующей человеческих жертв.

Сто лет тому назад национализм совершал свое победное шествие по Европе, и тогда его буря была оплодотворяющей и творческой. Он освобождал угнетенные народы, он собирал в единство из раздробления, он поднимал целину национальной «земли», – из погребенных исторических кладов, из этнографических сокровищ зачиная новую «романтическую культуру», несравненно более глубокую и богатую, чем рационалистическая сушь универсального XVIII века. За истекшее столетие культурный национализм в Германии, во Франции, в Италии, по-видимому, себя исчерпал. Все национальные темы исследованы, разработаны и стали давно международным товаром. Правда национальной культуры, как правда личной самобытности, не перестала быть правдой. Но она стала ложью в обстановке капиталистического и научно-позитивного века, не знающего духовных национальных границ. И теперь мы присутствуем при парадоксальном зрелище: новые поколения, отталкиваясь с судорожной силой от этого интернационального наследия капиталистического века, бессильны заменить его исчерпанным содержанием национальной культуры. Национальное становится пустым словом, флагом-символом, под которым провозится старый интернациональный товар, только другой марки.

Посмотрите на воинствующую молодежь всех фашистских (и

«коммунистических») народов. За яростью, искажающей человеческие лица, за жестами вызова, ненависти, борьбы – какое содержание заполняет их черепные коробки? Какова картина их нового мира? Не одна ли и та же для всех? Гиганты современной техники, авиация, радио, интернациональный кинематограф, вытеснивший национальный театр, мораль казарменной дисциплины и верности вождям, и маршировка, маршировка без конца... Но что может быть интернациональнее техники и психологии войны? Современный солдат – это пролетарий военной индустрии. Хотелось бы отдать себе отчет в том, чем отличаются друг от друга образы родин, во имя которых народы хотят утопить в крови свое некогда живое христианское и культурное единство. Германия – это, прежде всего коллективная мощь, дисциплина, экспансия в мире. Но это точь-в-точь формула Италии, националистической Франции, а теперь и молодой России. Ради монолитности этой мощи из образа Германии исключают Гете, Канта, старый идеализм – все, чем Германия светила миру, в чем было ее подлинное национальное лицо. Муссолинипожелал исключить из образа Италии ее великое христианское средневековье, ее христианское барокко, все, что было живописного, неповторимо-своеобразного в чарующем имени Италии – для всех народов. Он оставил призрак античного Рима, абстрактный и бездушный, в котором нет (никогда не было) ни грана национальной индивидуальности, – общее наследие всех европейских народов.

Чтобы быть справедливым, надо признать, что кое-что из великого прошлого привешивается к безличному товару современного национализма: так, иногда на плакате народный костюм или даже мифологический персонаж служат средством рекламы для интернационального продукта. И как ничтожен этот национальный привесок: в Германии берется кое-что от романтиков, во Франции – нечто от классицизма XVII века, с умерщвлением самого глубокого и непосредственного в выражениях национальной души.

Уяснить природу современного национализма легче всего на международных спортивных состязаниях. Все участники подчиняются одинаковым правилам игры. Они проходят одну и ту же культуру мускулов. Их психики как две капли воды походят друг на друга. Они отличаются лишь цветом одежды и сознанием принадлежности к разным коллективам. Борьба и спорт требуют, по самой сути дела, разделения на коллективы. При достаточной страстности игроков, партии цирка, как в Византии, могут вести борьбу всерьез, до крови и убийства, и все-таки за ней не будет стоять никаких других мотивов, кроме страсти к борьбе как

таковой.

Случайность рождения бросила современного юношу, отвыкшего от мысли, равнодушного к искусству, утратившего религию, – в ту или иную «родину». Он связал при-

Г. П. Федотов митивный военный идеал с этим, а не иным коллективом. Цвет знамени – да, может быть, еще язык – напоминают ему об этом. Доставить торжество своему коллективу над остальными ценой унижения, – а еще лучше уничтожения их – вот его цель. Нередко благо своей страны отступает на задний план перед потребностью нанести вред чужой: отомстить, насытить гордость и волю к мощи, потому что для нашего-то исторического дня, бесспорно, прав Ничше, один из главных его пророков: миром движет не борьба за существование, а воля к власти.

В такой настроенности не пугает и перспектива общей гибели. Лучше смерть, чем торжество врага. Пусть погибнет этот мир, где моя страна не может занять первого места. Быть может, на голой земле, голые дикари, – мы насытим без помехи свою волю к власти. Такие голоса иногда доносятся из Германии. Но наци, с последней откровенностью безумных, разбалтывают то, что дремлет в душе современного националиста. Не нужно обманываться его победными, бодрыми маршами. В глубине души он не верит в счастливый исход. Его родина окружена кольцом врагов. Борьба народов не имеет ни конца, ни разрешения. Как Самсон, он готов обрушить колонны невидимого ему (слепому!) храма культуры и похоронить своих и чужих под развалинами.

Нельзя не обратить внимания на то, что за последние годы все самые тяжкие и возмутительные политические преступления совершались фанатиками национализма. От убийства президента Думера до убийства короля Александра, через кровь Дуки, Дольфуса, июньскую (1933) бойню в Германии, – все политические злодейства совершались «патриотами». Мы привыкли видеть руку коммунизма за каждым актом международного террора. Но нет, всякий раз перед нами оказывается жертвоприношение на алтарь отечества. Некоторые из этих злодеяний поражают своей бессмысленностью, другие – совершенной бесчеловечностью. Конечно, преступления во имя идеи еще не исключают ценности самой идеи. Зверства религиозных войн и религиозный террор в XVI-XVII столетиях еще не дискредитируют религии. Но, во всяком случае, они дискредитируют известные формы и состояния сознания. Они свидетельствуют о глубокой болезни или вырождении идеи.

Давно уже было сделано сравнение нашей эпохи с Грецией Пелопоннесской войны. Есть много очарования в греческом полисе,

крошечном городе-государстве, который, ревниво охраняя свою самостоятельность, развивал внутри городских стен свои, личные особенности великой общегреческой культуры. Но пришла пора, и греческий гений стал задыхаться в этом партикуляризме. Общение давно уже создало общегреческий koinon, а полисы боролись за гегемонию до взаимного истребления. Перед Грецией встал выбор: единство или смерть. Совершенно так же он стоит и перед новой Европой, единой в своей культуре и безнадежно разорванной политическими границами.

Еще раз будем справедливы и признаем, что современный национализм имеет по крайней мере, одну творческую задачу: это задача социальная. Для расистской молодежи «рабочая», «социалистическая» Германия – не пустая фраза. Левые круги французской и английской идеалистической интеллигенции – «Esprit», «New Britain» и др. – недаром связывают социальный реформизм, и даже революционизм с национальной идеей. Во-первых, если переходить от слов, от социалистической фразеологии к делу, то существующее национальное государство является единственной данной территорией для экономического строительства. В условиях современной таможенной войны между народами и подготовки к войне военной бессмысленно уже мечтать об организации мирового хозяйства. «Социализм в одной стране» – единственное, что остается для практического политика, и план де Мана для Бельгии учитывает эту реальную возможность. В «New Britain» группа молодых идеалистов не устает твердить, что всякие разговоры о между народном почине сейчас безответственны, что они приведут к пассивности, к убаюкиванию перспективами будущего. Единственное, что у нас есть, – это Англия, и Англия должна начать новый экономический эксперимент, «вымести свой дом» и указать дорогу другим.

Вот поистине благородная форма национальной гордости. Быть первым в жертве, в труде, в опасности; вести за собой других – не насилием, а примером: это мечта старого русского славянофильства, оживающая сейчас в религиозном мессионизме демократических стран. С последней надеждой мы смотрим на эти юные дружины (единственный христианский актив в политическом мире), слабые числом, но сильные духом. Удастся ли им совладать с силами хаоса: с эгоизмом собственников, с нетерпением масс, с ненавистью народов?

Но если мы делаем исключение для демократического мессианского национализма Запада, то окажем снисхождение и для молодого советского национализма. После пятнадцати-шестнадцати лет искушающей школы марксизма слово «родина» звучит, как голос из иного мира. Классовая

этика слепила ненавистью, как песок в пустыне. Родина – открытый в пустыне родник. Как понятно, что люди, за бывшие вкус живой воды, пьют и не могут напиться. Не устают славить красоту, силу и величие родины, еще не смея назвать ее имени. В этом возвращении образа России ее взбунтовавшимся сынам есть медленная постепенность, досадная дозировка. Сперва показалась Россия красная: в буре революции ощетинившаяся штыками против всего мира (Франция времен Конвента). Сегодня разрешено воспевать красоту родной земли в бесконечном разнообразии ее пейзажей. Сталин, вероятно, полагает, что это его земля и что ее красота увеличивает престиж республики. Пусть так. Но я не думаю, чтобы земля была такой нейтральной, пустой вещью. Есть целые миросозерцания, которые просто несовместимы с духом земли, как и с духом красоты вообще. Марксизм есть именно одно из таких миросозерцаний. Он не выносит пейзажа, как ночные привидения пения петухов. Всякое органическое начало жизни ему противно. Возвращаясь к земле, русский мальчик пьет из софийной чаши мира, и мудрость земли вступает в борьбу с безумием осатаневших машин.

Не только земля, и русская культура получила амнистию – частичную, конечно. Уже смолкают предостерегающие голоса против русских классиков. Дворянские писатели – Пушкин, Толстой, Тургенев должны сделаться учителями рабоче-крестьянской России. И мы знаем, что новый, вчера зародившийся пятидесятимиллионный читатель с жадностью поглощает наследие прошлого.

Когда думаешь здесь о страшной мощи государства в России, о монополии его «просвещения», о подлом тоне его печати, становится страшно за душу народа. Как не разложиться ей в этом разврате, составляющем самый воздух социальной жизни! Но вот – Пушкин, Толстой... Положите на одну чашку весов страницу «Войны и мира», одно лирическое стихотворение Пушкина, а на другую – пуды «Известий», тонны политграмоты... Нельзя сомневаться в результате. Никакая политическая антисоветская литература не могла бы так успешно разложить основы коммунистического миросозерцания. Старая, расстрелянная, заплеванная, изгнанная русская интеллигенция может сказать свое: «Ныне отпущаеши». Победители склоняются перед ее святыней. Еще по-прежнему запретно историческое прошлое России. Ради новых московских проспектов сносятся не только церкви, но и Китай-город. Но уже в школах учат историю. В каком духе? Нет науки, которую можно было бы изучать с ненавистью к самому ее предмету, и живая любовь к родине найдет ее и погребенной под мертвыми схемами

социологических обобщений.

Но наша терпимость к молодому русскому национализму готова идти и дальше. Быть может – кроме стран Азии, – Россия единственная земля, где национальная идея не исчерпала своего творческого, культурного содержания. Это зависит от уродливого развития этой идеи в течение XIX века. Поставленная русским классицизмом (Карамзин и Пушкин) и романтизмом (славянофилы), тема эта была снижена в шестидесятые годы до этнографии, а потом и вовсе отодвинута в сторону восторжествовавшим западничеством. Национализм эпохи Александра III уже не имел в себе ничего культурного, превратившись в апофеоз грубой силы и косного быта. Лишь в XX веке, и то ко второму десятилетию его, культурная элита начинает свое возвращение на родину. Впервые поставлен вопрос о формах и смысле древнерусского искусства и заново, со времен славянофилов, – вопрос о русской религиозности. Война и революция оборвали в самом начале это духовное русское возрождение. Мы стоим опять, как сто лет тому назад, перед загадкой России, властно требующей своего разрешения. То, что для Германии совершено поколением братьев Гримм, у нас осталось недоделанным Киреевскими и Далями. Теперь, когда тема России стала актуально (а не потенциально лишь) вселенской, на русскую интеллигенцию ложится сугубый долг изучения и осмысления судьбы России. Этим самым мы лишь наверстываем упущенное и в новом, XX веке выплачиваем старые долги XIX-го.

Но если национальная идея не исчерпала себя в русской культуре, то в политической жизни настоящей и будущей России национализм представляет несомненную национальную опасность. Россия – государство народов. Большинство из них впервые пробудились к национальной жизни, и их молодое самолюбие чрезвычайно щепетильно. Они и сейчас с трудом переносят свою зависимость от Москвы. Не в большевизме только дело. Власть более гуманная и демократическая, но ярко национальная – власть русская встретится с еще большими препятствиями на «окраинах». Победа националистических течений в Великороссии рискует просто взорвать Россию, которая не может жить в состоянии войны с 45% своего населения. Этой опасности не видит, не хочет видеть национальная эмиграция, которая, будучи убеждена, что интеллигенция развалила Россию, по мере своих сил работает для ее расчленения.

Для огромного большинства эмиграции национализм до сих пор был единственной общей формулой антибольшевистской присяги. Мы здесь, чтобы хранить верность национальной России. Эти слова имели смысл,

пока Россия была очагом интернациональной революции. Но что теперь может противопоставить эмигрантский национализм советскому?

Либерал знает, за что он отрицает советскую власть: за убийство свободы. Демократ знает тоже: за насилие над на родом, за подделку народной воли, за подавление всех форм самоуправления. Знает и специалист: за эксплуатацию трудящихся масс и профанацию самого имени социализма, сделанного вывеской для государственной каторжной тюрьмы. Знает и просто беспартийный человек с честью и совестью: за то, что власть воспитывает в России людей бесчестных и бессовестных. У человека религиозного все основания противостоять власти, сделавшей атеизм государственным исповеданием. Ну а за что националисту ненавидеть большевиков в середине второй пятилетки?

Я утверждаю, что у эмигрантского националиста нет никаких оснований (кроме злопамятства) ненавидеть большевиков. Его оппозиция основана на недоразумении. Когда недоразумение развивается, вчерашний активист превращается в возвращенца. По этому национальному мосту прошли в СССР сменовеховцы, часть евразийцев, проходят одиночки, отбившиеся от своих «частей». Давно уже Красная Армия стала кумиром зарубежных националистов. Но почему ограничиваться армией? Посмотрите на портрет Сталина 1934 года. Типичный вахмистр, вполне подстать Буденному или Ворошилову. Ни одна черта в его лице не напоминает бывшего революционера. Из-за чего же спор? Офицеры из прапорщиков военного времени – против фельдфебелей, которые заняли командные места в новой армии. Из-за этого ли борьба?

А как обстоит дело с русской культурой, которую мы призваны здесь «хранить»? Для большинства она исчерпывается пошлым романсом и патриотическим лубком прошлого столетия. Вся пропыленная, засиженная мухами обстановка глухой русской провинции, которая раньше стыдливо пряталась, теперь бесстыдно выпирает наружу, требует себе признания – на наших публичных собраниях, на литературных вечерах, на страницах журналов. Даже самые ответственные доказательства русской культуры, руководимые интеллигенцией, свидетельствуют о страшном упадке вкуса, о несомненной деградации. «Дни русской культуры» и другие предприятия того же рода дают образцы второго и третьего сорта. Подлинно творческая работа немногих – не по «хранению», а по движению русской культуры – протекает среди всеобщего равнодушия. Спускаясь еще ниже, мы встречаемся с прямой культурофобией. Одни ненавидят культуру как создание интеллигенции – политического врага. Другие – масса молодежи – убеждены, что Россия потребует от них

экзамена в воинском строе, а не в знании Пушкина.

В России уровень культуры, вероятно, еще ниже. Но там, какая духовная жажда и голод у масс, впервые дорвавшихся до книги! Из-за классового презрения к интеллигенции, творившей культуру, все сильнее пробивается уважение к ней, боровшейся за народное освобождение. Вот и оказывается, что эмигрантская националистическая молодежь равняется не по народным массам в России, а по ее военно-политическим командирам.

Одно из самых тягостных недоразумений эмигрантской «культуры» – это доныне не разорванная связь между военным национализмом и Церковью. Если в старой России Церковь была связана с государством, то в русском беженстве она оказалась связанной с одним из элементов государства: армией. Отступившая и перешедшая на мирное положение, армия продолжает смотреть на священников и даже на епископов как на своих «капелланов», обслуживающих военно-походные нужды. Этот новый социальный заказ сказался в тенденции к милитаризации Церкви. Молодежь энергично настаивает на освящении Церковью своего боевого активизма. Отсюда конфликты с духовно-мистическим и социально-культурным направлениями в церковном обществе – конфликты особенно драматические в христианских организациях молодежи.

Но эта тема приобретает всю свою остроту и болезненность в свете исторической традиции русского православия. В России Церковь некогда строила государство и в течение веков жила в религиозно-национальной атмосфере «святой Руси» как средоточия и хранилища православия. Ослабленность вселенской связи – даже с восточными Церквами – при крайней связанности с государством делала русскую Церковь одним из самых национальных организмов в христианстве. Я даже думаю, что самая формулировка религиозно-национальной идеи, чуждая древней и греческой Церкви, совершилась на русской почве. Это не когда великое открытие «новых» киевских христиан – религиозной ценности соборных личностей, народов – со временем легло тяжким бременем на выносившую его русскую Церковь: впервые в Москве XVI-XVII столетий, приведя к отрыву от вселенской христианской жизни и окостенению всего стиля жизни; вторично в XIX веке, заглушая самомнением и самодовольством ростки новой жизни, пробивающиеся со времен первого славянофильства.

Правда заключается в том, что национальная идея, по происхождению языческая, получила христианское крещение – довольно позднее – в свете учения о соборной личности. С этого момента она входит существенным ингредиентом в синтез христианской культуры. Однако необходимым

условием ее нормальной жизни является ее соподчиненность другим великим идеям, образующим полноту Истины. Вселенское принадлежит к более глубокому и первичному слою в христианстве, нежели национальное. Церковь Христова родилась как вселенская и жива лишь там, где вселенское сознание не заглохло.

В наше время в известных кругах стало трюизмом утверждение, что христианство, по природе, противно интернационализму, но что оно, по природе же, освящает национальность. Отсюда прямо выводится, что в борьбе интернационализма с национализмом, которая происходит в мире, место христианства заранее указано в национальном стане. Это положение принадлежит к числу полуистин, которые также можно назвать и полуложью. Справедливо, что интернационализм, понимаемый как механический сплав потерявших свой духовный облик народов, противен персоналистической природе христианства. Но столь же справедливо, что национализм, восставший против вселенского единства во имя обособленного эгоизма частей, не имеет ничего общего с христианской идеей человечества. Если отрицать, то надо отрицать оба начала – интернационализм и национализм одинаково, утверждая одновременно народность ивселенность. Пусть уже русские слова останутся за христианскими понятиями, а иностранные несут одиозное клеймо: marca diaboli.

Национализм сегодня, как коммунизм вчера, сделался одним из самых ярких выражений сатанинских сил, господствующих в мире. Удивляться ли этому, если вспомнить судьбу коммунистической идеи? Коммунизм, то есть общение, братство любви с нераздельным владением – «никто ничего... не называл своим» – родился вместе с христианством: это идеал жизни первоначальной христианской общины (Деян. 4: 32). Он остается идеалом для совершенного христианства – в монашестве. Но что из него сделал механизм безбожного века? Национализм, гораздо слабее укорененный в христианстве, чем коммунизм, вы рождается еще с большей легкостью. Та же судьба постигает все самые высокие ценности, когда они отрываются от животворящего Центра жизни. Наука вырождается в позитивизм, искусство в эстетизм и, замыкаясь в себя, становятся прибежищем демонических сил. Наша эпоха, поскольку это эпоха распада, порождает жестокий вампиризм восставших на Бога идей-ангелов.

Впрочем, открытый бунт не последнее зло: хуже предательство изнутри. Атеизм все-таки честнее корыстной эксплуатации имени Божия. В порядке адской иерархии национализму выпала эта горшая судьба.

Князья мира сего пытаются скрепить его религиозным цементом, учитывая практическую полезность тысячелетнего материала. Так в средневековом Риме пережигали на известь мрамор руин. Всуе поминаемое имя Божие не изгоняет демонов; безбожная суть остается. Возрастает лишь соблазн для слабых духом, увлекаемых видимостью благочестия и мнимым традиционализмом на пути и тропинки, запретные для христианина.

Каково же должно, быть наше практическое отношение к национализму, разливающемуся в массах эмигрантской молодежи? Борьба, которую надо вести с ним, не может быть борьбой за истребление. Это борьба-воспитание, просветление, облагорожение. Мы были бы преступниками, если бы в борьбе с коммунизмом пытались задушить самую идею общения, солидарности, бесклассового общества. Столь же нелепо было бы пытаться истребить идею нации, любовь к России, искание национального призвания. Отдадим должное тем русским юношам и девушкам, которые устояли перед соблазном легкого растворения в окружающем иноземном мире и выбрали трудный путь изгнанничества, нужды и борьбы. Горе их в том, что они не знают России. Бессильные представить себе ее мучительно-прекрасное, трагическое лицо, они подменяют ее, как это дела ют иностранцы, дебелой бабой в боярском костюме. И что бы найти путь к ней, к этой заколдованной красавице, они выбирают в вожди Гитлера и Муссолини, доверяясь им больше, чем Хомякову и Достоевскому. Ну что ж! Нам приходится разоблачать обман. Неустанно, черта за чертой восстанавливать сложный лик России из множества противоречивых ее отражений. И доказывать, что эта работа воссоздания распавшегося образа России есть единственное, чего Россия ждет от своих изгнанных детей. Мы можем спокойно предоставить Красной Армии заботу об охране русских рубежей, а комсомольцам и пионерам игру в солдатики. Понять, что политика здесь нам еще не дана как непосредственное народное дело, но лишь как предмет изучения, подготовки, воспитания. А главное, главное, – что может быть выполнено здесь, а не там, это – поднять упавшую нить русской культуры. Ибо в этой сфере познание есть творчество. Национальное самосознание России есть в то же время и воскрешение ее к духовной национальной жизни. И вот, углубляясь в этот огромный духовный мир, называемый Россией, мы поймем, как нелепы и даже кощунственны сусальные краски для описания его и фашистские приемы для овладения им. Россия сама нас научит своей мудрости: тому, что родное и вселенское не два, а одно и что народ тогда всего вернее

выполняет свое призвание и достигает подлинного величия, когда отвергает себя и отдает себя на служение Христу как вечной Правде.

Мать-Земля

(К религиозной космологии русского народа)

В настоящей статье, представляющей отрывок из об щей работы по исследованию русской народной религиозности, автор предпринимает изучение народной космологии по так называемым «духовным стихам». Под этим именем известны религиозные эпические песни русского народа, представляющие одну из интереснейших отраслей русского фольклора. До самого последнего времени эти песни исполнялись по всей территории России особыми специалистами-рапсодами, чаще всего слепцами. Ярмарки, приходские праздники, стечения паломников у стен монастырей были местом выступления странствующих певцов. По большей части репертуар их ограничивался религиозной или «духовной» поэзией, отмежевываясь и от богатырского, былинного эпоса, и от лирики. Источниками этой религиозной поэзии служили в большинстве случаев жития святых, переводные с греческого апокрифы, реже Библия. Многое, несомненно, принадлежит исконному славянскому фольклору, хотя христианский и церковный характер поэзии несомненен.

Историки литературы расходятся в определении времени зарождения на Руси народного религиозного эпоса. Несомненно, он уже существовал в XVII веке. Но почти все записи относятся к самому последнему времени – XIX- XX векам. Несомненно, «духовный стих» представляет остаток древней московской, допетровской культуры, уцелевшей в эпоху европеизации России.

* * *

При первом знакомстве с русской религиозной мыслью или поэзией космическая окрашенность русской религиозности, прежде всего, поражает исследователя иностранца. Известно то исключительное место, которое занимает почитание Богородицы в жизни русского православного народа. Но еще Достоевский в «Бесах» провозгласил родство религии Богоматери с религией «матери – земли», как земля, то есть природа, неизменно именуется в народной поэзии:

Богородица – мать земля сырая.

В современных богословских системах (Соловьев, Флоренский, Булгаков) учение о Софии, с ее божественно-тварным, небесно-земным ликом является центральным. И хотя учение о Софии складывалось в зависимости от западных христианско-теософических систем, но сродство современного богословия с русской народной религиозностью

несравненно. Если называтьсофийной всякую форму христианской религиозности, которая связывает неразрывно божественный и природный мир, то русская народная религиозность должна быть названа софийной. В духовных стихах расстояние между Творцом и тварным миром настолько сближено, что едва ли правильно говорить даже о творении мира там, где, для народа, речь идет о космогонии. Слово «творение» может встретиться иногда, – но еще требуется определить, какой смысл вкладывается в это слово певцом. В космологическом стихе о Голубиной Книге о «творении» не говорится вовсе. Вопросы ставятся о происхождении мира – «откуда?», – и ответы даются или в безглагольной форме, или в глаголах, которые скорее могут быть истолкованы в смысле порождения или эманации:

Начался у нас белый свет;

Или:

У нас белый свет взят от Господа.

У нас белый вольный свет зачался от суда Божия.

Другие варианты: занимался, заводился, стался... Только не сотворен. Самая корректная форма говорит не о творении, а о «держании» и «основании» мира в Боге:

Основана земля Святым Духом,

А содержана Словом Божим.

Повествуя о происхождении элементов природного мира, стих связывает их с членами антропоморфизированного Божества – как тело космическое, порожденное телом Божественным:

У нас белый свет взят от Господа,

Солнце красное от лица Божия.

Млад-светел месяц от грудей его,

Зори белые от очей Божьих,

Звезды частые-то от риз его,

Ветры буйные от Свята Духа...

Варианты весьма различны. Связь отдельных элементов, данных поэту апокрифической литературой неустойчива. Отметим некоторые интересные детали:

Дожди сильные от мыслей Божиих.

или:

Дробен дождик от слезы Его,

Ночи темные от дум Господних

или:

Ночи темные от волос Его;

или даже:

Ночи темные от сапог Божиих,

– но почти всегда происходят от Святого Духа, который мыслится здесь как дыхание Божие. Иногда сами ветры называются Божиими Духами:

Духи Божий от устов Его.

Единственный раз читаем:

Ветры буйные от кровей Божиих.

Последняя формула звучит необычайно резко даже для общей плотски-натуралистической концепции стиха. При всем наивном материализме ее мы не можем не чувствовать известной осторожности, налагаемой христианским спиритуализмом на эту натуралистическую схему. В самом деле, ответы даются почти исключительно о происхождении небесных или воздушных явлений. Для них уместны наиболее одухотворенные или наиболее поэтические элементы божественной телесности («сапоги» и «крови» являются скорее срывами певца). Стих не дерзает говорить о теле, о костях Божиих и в связи с этим отказывается ста вить вопросы о происхождении земли, моря и гор (камней). Ответы на эти вопросы легко угадываются: они становятся ясны по аналогии с происхождением тела Адамова. Но певец умалчивает о них, думается, по требованию религиозного целомудрия, подавляя в себе естественный интерес к космологии матери-земли. Этим соблюдается и известная, не очень строгая, градация в божественности высших (воз душных) и низших (земных) элементов природного мира. Вопрос о происхождении человека (Адама) тоже постав лен в стихе о Голубиной Книге, который дает на него следующий ответ:

У нас мир-народ от Адамия;

Кости крепкия от камени,

Телеса наши от сырой земли;

Кровь-руда наша от черна моря.

Конечно, и здесь отдельные моменты неустойчивы. Очи Адама взяты от солнца, мысли от облаков (однако разум от Святого Духа)... Но устойчива основная мысль. Развивая, по следам апокрифов, библейскую идею о сотворении мира, Адама из земли, певец видит в существе Адамовом те же элементы, что и в космосе. Между миром и человеком та же неразрывная связь, что и между организмом матери и сына. И если мир – божественного происхождения, то и человек обладает природой божественной – могли бы мы продолжить мысль певца, – только божественность его не второго, а третьего порядка. Он не царь земли, а сын ее. Лишь через мать свою он носит в себе печать божественности. Так,

очи его не прямо от очей Божиих, а от солнца, которое само от очей Божиих. Народная антропология подчинена космологии.

Мир, божественный по своему происхождению, вторично освящен или обожен, то есть, поднят на высшую ступень божественности, с воплощением Христа. В христианском космосе отдельные элементы его освящаются благодаря особому отношению к земной жизни Христа или Богородицы. Это отношение сообщает новый иерархический порядок элементам мироздания, о котором повествует та же Голубиная Книга:

Кипарис древа всем древам мати,
На нем распят был сам Исус Христос.
На белом Латыре на камени
Беседовал да опочив держал
Сам Исус Христос царь небесный...
Потому бел Латырь камень каменем мати.
Не требует объяснений, почему
Иордан-река всем рекам мати...
Фавор (или Сион) гора всем горам мати...

Особенно отметим круг природных явлений, освященных отношением к Богородице. В сущности, непосредственно Ею освящена только плакун-трава:

Трава травам мать плакун-трава.
Когда жиды Христа распяли,
Тогда плакала мать Божия Богородица,
Роняла слезы на сырую землю;
И оттого вырастала трава плакучая.

Нелегко заметить тенденцию певцов посвящать Богоматери все новые и новые элементы мироздания, которые исконно были связаны с иными небесными силами. Так, и кипарис становится ей посвященным:

Пресвятая мать Богородица
Гли того древа долго мучилась,
Выруняла слезки са ясных очей,
Са ясных очей в сыру мать землю.

Хочет певец посвятить ей и море, которое, однако, первоначально связано со святым Климентом. Память о греческой Корсуни и о мощах св. Климента, папы Римского, обретенных на дне морском и высоко чтимых в Киевской Руси, лежит в основе этой дедикации:

Окиян-море всем морям мати...
Что во той во церкви во соборныя
Почивают мощи папа римскаго,

Папа римскаго, слава-Клементьева.

Иногда к имени Климента прибавляется имя Петра Александрийского или же церковь связана своей гробницей со Христом, но чаще всего мы видим подымающуюся из моря церковь, так или иначе освященную Богородицей.

Из той из церкви из соборной,
Из соборной, из богомольной,
Выходила Царица небесная;
Из Океана Она омывалася,
На соборную церковь Она Богу молилася.[133]

В сущности, лишь три природных существа – «три матери» – оказываются вне христианского круга: рыба Кит, Страфиль-птица и Индрик-зверь. Но и эти чисто космические существа несут религиозное служение. Сграфиль-птиц

Богу молится за сине море,
а Индрик
Богу молится за святую гору.

Из темного описания Индрика, живущего в глубине земли, в недрах гор, можно заключить, что он управляет течением подземных вод. О Страфиль-птице говорится, что она

Держит белый свет под правым крылом,

то есть евангельская кокошь, матерински греет его. Известные черты грозности, присущие Индрику и Страфили как владыкам водных стихий (от них колеблются воды и горы), решительно стушевываются перед благодетельно-материнскими. Обратим внимание на то, что не только Индрик и Страфиль, но и все главы космической и социальной иерархии (град, церковь) именуются матерями. Не отечество[134] и не царство («царь зверей»), но именно материнство полагается в основу иерархии.

Мир, божественный в космогонии, освященный кровию Христа и слезами Богородицы, весь пронизан Святым Духом или «святыми духами», посланными Христом. В стихе о двенадцати пятницах поется, что в день Троицы Пущал Господь Святый Дух до всей земле.

Это излияние Св. Духа не ограничено Церковью, хотя в церковном быте народ чувствует особенно живо Его присутствие. Но вся земля приемлет Св. Духа, который, подрастическомувыражению одного стиха, даже воплощается в ней:

Воплотив Свята Духа
Во сырую землю,
Во всю Поселенную.

Живущий в природе святой дух ощущается народом в дыхании воздуха, ветре и благовониях земли. Вот почему всякое чудесное действие ветра приравнивается святому духу:

Святым духом Василья поднимало...

Положило их святым духом за престолом.

Самый воздух называется святым в стихе о Егории;

Што поверх воды святой Егории плавает,

Да ведь он поверх воды на святом на воздухе.

И от священного кипариса исходит Святой Дух в его благоухании:

Пошел от ней Святой Дух,

Святой Дух и ладан.

Можно поставить вопрос, в какой мере эта насыщенность Святым Духом связана с христианской эпохой человечества. Уже в самом творении или начале мира ветры называютсяБожиими духами. Неясно и место грехопадения в этой космологии. Народ помнит о грехе Адама, но насколько падение человека нарушило изначально божественный строй природы?

Есть один стих – о Егории Храбром, – в котором можно усмотреть следы космического грехопадения. Мир состоит не из одних благословенных стихий – он полон вредоносных для человека тварей и грозных природных явлений. Как примирить с божественным происхождением мира существование диких зверей, змей и гадов? Русский человек, как известно, не любит гор – наследник, в этом отношении, античного эстетического чувства. Апокриф приписывает сотворение гор, как и змей и всякой нечести, дьяволу. Но русский народный певец не пошел по этому манихейскому пути, на который иногда сворачивает русская прозаическая сказка. Стих о Егории утверждает изначальную святость мира и вместе с тем какую-то порчу в нем. «Горы толкучия», «звери рыскучие» и прочие «заставы» Егория – результат нарушения божественного миропорядка.

Станьте вы, горы, по-старому, –

говорит Егории, очищая русскую землю... И волкам:

И вы пейте, и вы ешьте поведенное,

Поведенное, вы, благословенное.

Рекам:

Теките вы, реки, где вам Господь повелел.

Стих дает и свое объяснение расстройству природного мира. Он связывает его не с грехом Адама, а с идолопоклонством, которому подпал не только человек, но и вся тварь.

Уж вы ой еси да все темные леса!

Вы не веруйте да бесу-дьяволу;

Вы поворуйте да самому Христу.

Леса, горы и реки, как и звери, подобны девицам – сестрам Егория, на которых от идолопоклонства выросла еловая кора. И очищение русской земли, ее космиургическое воссозданиеЕгорием совершается путем утверждения истинной веры. Интересно отметить, что природа и в своем падении мыслится самостоятельной, а неотраженной лишь тенью человека. Обращаясь к истинной вере, она может молиться Богу, как в стихе о Голубиной Книге. Так, посылая птицу Черногора в Окиян-море, Егории заповедует ей:

Богу молись за сине море.

Вдумываясь в изображение мировой порчи в стихе о Егории, нельзя не заметить, что она не имеет глубокого характера. Расстройство мира поверхностно: оно захватывает земную кору – горы, леса, реки, – но не самое тело земли. Под нечистью, покрывающей ее, земля остается не поврежденной – если не девственной, то матерински чистой. Среди всего космоса она образует особое, глубинное средоточие, с которым связана самая сердцевина народной религиозности.

Солнце, месяц, звезды и зори – ближе к Богу: они происходят от Божия лица. Но не к ним обращено религиозное сердце народа. Греческое православие знало персонификацию мира: царя – космоса, который изображается в короне под апостолами на иконе Пятидесятницы. Этому мужскому и царственному греческому образу соответствует русский – женский. Из всего космоса личное воплощение получает только мать-земля.

Мать-земля- это прежде всего черное, рождающее лоно земли-кормилицы, матери пахаря, как об этом говорит постоянный ее эпитет «мать-земля сырая»:

Мать сыра земля, хлеборрдница.

Но ей же принадлежит и растительный покров, наброшенный на ее лоно. Он сообщает ее рождающей глубине одеяние софийной красоты. И, наконец, она же является хранительницей нравственного закона, – прежде всего закона родовой жизни.

К ней, как к матери, идет человек в тоске, чтобы на ее груди найти утешение. Иосиф Прекрасный, проданный братьями,

К матушке сырой земле причитает:

«Увы, земля мать сырая.

Кабы ты, земля, вещая мать, голубица,

Поведала бы ты печаль мою».

К ней же взывает Иаков, неутешный отец:

Земля, земля,

Возопившая ко Господу за Авеля,

Возопи ныне ко Иакову.

К матери-земле идут каяться во грехах:

Уж как каялся молодец сырой земле:

«Ты покай, покай, матушка сыра земля».

Едва ли стоит упоминать, что земля, как в греческом мифе, помогает и призывающим ее в бою героям. Феодор-тирянин, утопая в пролитой им жидовской крови, обращается к земле:

Расступися, мать сыра земля,

На четыре на стороны, Прожри кровь змеиную,

Не давай нам погибнути.

Христианизируясь, подчиняясь закону аскезы, мать-земля превращается в пустыню- девственную мать, спасаться в которую идет младой царевич Иосаф.

Научи меня, мать пустыня,

Как Божью волю творити,

Достави меня, пустыня,

К своему ко небесному царствию.

Похвала пустыне является одной из очень древних тем монашеской литературы Востока и Запада. Но ее развитие в русском стихе подчеркивает особые интимные черты в отношении русского народа в красоте земли. Действительно, красота пустыни – главная тема стиха, который так и начинается в некоторых вариантах:

Стояла мать прекрасная пустыня.

Так как краса пустыни – девственная, весенняя, не плодоносящая красота, то она сообщает святость материнства весне:

Весна, мать красная,

Красота пустыни безгрешна, – она сродни ангельскому миру:

Тебя, матерь пустыня,

Все архангелы хвалят,

Во тебе, матерь пустыня,

Предтечий пребывает.

Недаром пустыня и отвечает «архангельским гласом». Святая красота, утешая пустынника, настраивает на тихие, светлые думы:

Есть честная древа –

Со мной будут думу думать;

На древах есть мелкие листья –
Со мной станут говорить;
Прилетят птицы райския –
Станут распевать...

Это райское состояние пустынника только оттеняет суровость его телесной аскезы. Житие в пустыне жестокое:

Тут едят гнилую колоду,
А пьют воду болотную.

Но и такая жизнь сладка царевичу, прельщенному красотой пустыни:

Гнилая колода
Мне паче сладкого меда

Здесь возникает интересный вопрос: не создается ли конфликт между аскезой и красотой («похотью очей») и как разрешает его народный певец?

Сама диалогическая форма – беседа царевича с пустыней – дает возможность различных подходов к этой труднейшей проблеме аскетики: искушению Красотой. Различия вариантов увеличивают для нас сложность проблемы, которая, несомненно, ощущается певцом, но поставлена им с чрезвычайной осторожностью. Прежде всего, отметим крайние варианты:

Я не дам своим очам
От себе далече зреть,
Я не дам своим ушам
От себе далече слышать.

Это крайний аскетический взгляд, указующий на опасность бесцельного созерцания. Он не характерен для господствующего настроения стиха, как и противоположный ему идеал бесконечного любования:

Разгуляюсь я, млад юноша,
Во зеленой во дубраве.

Или же, принимая их оба, надо подчинить их основному мотиву тихого, музыкального, обращенного внутрь сомерцания.

Во всем диалоге пустыни с царевичем она, мудрая руководительница, испытывает его суровостью телесной аскезы, но не предостерегает его от соблазнов красоты. Есть, однако, один очень существенный мотив[135], проходящий сквозь все варианты, который как будто бы действительно говорит об искушении красотой:

Как придет весна красная,
Все луга, болота разольются, Древа листом оденутся,
На древах запоет птица райская

Архангельским голосом,
Но ты из пустыни вон изойдешь,
Меня, мать прекрасную пустыню, позабудешь.

На первый взгляд, непонятно это бегство из пустыни в самом расцвете ее весенней красоты. Но следующий вариант поясняет намек пустыни:

Налетят же да с моря пташки.
Горе-горския кукушки,
Жалобно будут причитати,
А ты станешь тосковати.

Мотив весенней тоски и кукушки недостаточно ясен: это тонкая и скрытая форма тоски по любви. Замечательно, что не соловей, а кукушки искушают пустынника: то есть не сладострастие, а материнство. В песне кукушки на род слышит тоску о потерянных птенцах, по своему гнезду, по родовой жизни. Таким образом, не демонический соблазн красоты искушает в природе, а материнское сердце земли противополагается девственной красоте пустыни. Но они оба благословенны. Конфликт между ними намечен необычайно тонкими чертами и не остается непреодоленным. Царевич избирает пустыню, чтобы спасаться ее ангельской красотой.

Русский певец решительно не хочет видеть в красоте земли страстных "панических " черт. Достаточно обратить внимание на то, какие формы растительного мира символизируют красоту и силу земли. Всем древам мать – траурный кипарис, донесенный до народного воображения апокрифической книгой, рассказами паломников и крестиками из святой земли. Рядом с ним кедр и пега, – все три – хвойные деревья, то есть с подсушенной жизненностью, с бессмертной, но мертвой листвой. Из родных дерев певец называет березку и рябину рядом с кипарисом для построения сионской церкви (214) – плакучие деревья се вера. Его любимые цветы – «лазоревые», то есть холодного, небесного цвета. Лозы и розы, обвивающие гроб Богоматери, даны не по непосредственному видению, а сквозь церковно-византийский орнамент, в отвлечении от страстной их природы.

Когда в стихах поется о человеческой, женской красоте, то почти всегда в связи с материнством: такова красота Богородицы, матери Федора Тирянина. Несомненно, что, говоря о материнской красоте, певец имеет перед собой иконописный образ Богоматери, византийско-русский, то есть отвлеченный от девственной прелести и даже юности. Все это возвращает нас к исходной точке: красота мира для русского певца дана не в соблазнах страстных сил, а в бесстрасном умилении, утешительном и

спасительном, но как бы сквозь благодатные слезы.

Мы уже сказали, что мать-земля, кормилица и утешительница, является хранительницей нравственной правды. Грехи людей оскорбляют ее, ложатся на нее невыносимой тяжестью.

Как расплачется и растужится
Мать сыра земля перед Господом:
«Тяжело-то мне, Господи, под людьми стоять,
Тяжелей того – людей держать,
Людей грешных, беззаконных».

Мы видели, что земле можно каяться в грехах (отражение старинного религиозного обычая), и, при всей своей материнской близости к человеку, не все его грехи она прощает.

Во первом греху тебя Бог простит...
А во третьем-то греху не могу простить.

Измученная грехами людей, она сама просит у Бога кары для них:

Повели мне, Господи, расступитися
И пожрати люди – грешницы, беззаконницы...

На это Господь отвечает успокоительным обещанием своего Страшного Суда.

Можно сделать попытку определения особого нравственного закона земли, который, войдя в круг христианских представлений, тем не менее, сохраняет следы древней натуралистической религии наших предков. В приведенных стихах об исповеди земле «молодец» кается в трех грехах:

Я бранил отца с родной матерью...
Уж я жил с кумой хрестовою...
Я убил в поле братика хрестового,

Порубил ишо челованьице крестное. Хотя лишь третий грех является непрощаемым, но все три объединяются одним признаком: это грехи против родства кровного и духовного. Земля, как начало материнское и родное, естественно блюдет, прежде всего, закон родовой жизни. Заметив это, мы без труда выделим и отнесем к религии земли специфическую группу преступлений, которые настойчиво повторяются во всех перечнях грехов вперемежку с грехами против ритуального или каритативного закона христианской религии. С наибольшей полнотой этот перечень дается в стихе о Грешной душе, где расставшаяся со своим телом душа встречает Иисуса Христа и кается в грехах своей жизни:

Еще душа Богу согрешила:
Из коровушек молоко я выкликивала,
Во сырое коренье я выдаивала...

С малешеньку дитя свого проклинывала,
Во белых во грудях его засыпывала,
В утробе младенца запарчивала...
Мужа с женой я поразваживала,
Золотые венцы пораскручивала...
В соломах я заломы заламывала,
Со всякаго хлеба спор отнимывала...
Свадьбы зверьями оборачивала...

Грехи иного порядка, вкрапленные в этот перечень, носят бытовой и ритуальный характер, не заключая в себе особо тяжких преступлений. Центр тяжести лежит, несомненно, на группе грехов против рода и материнства. Сюда относится ворожба, заговаривание молока у коров и “заламывание” колосьев, то есть грехи против плодородия скота и нивы. Порча младенца в утробе, как и убийство рожденного ребенка или проклятие его, есть грех против плодородия женского. Разлучение мужа с женой (даже не в виде прелюбодеяния) есть тоже грех против родового семейного закона. Любопытная черта, придающая весьма архаический характер этой амартологии, – грех против религии рода чаще всего принимает форму ведовства. (Сюда же относится и оборотничество). В самом деле, функция ведьмы у славянских, как и германских, народов состоит, прежде всего, во власти над стихией рода и злым извращением родовой жизни (любви и плодородия).

Что грех против рода представляется самым тяжким в глазах народа, видно и из следующего указания величайших грехов в стихе о Голубиной Книге:

Трем грехам великое, тяжкое покаяние:
Кто блуд блудил с кумой крестовья,
Кто во чреве семена затравливал,
Кто бранит отца с матерью...
Хоть и есть грехам тым покаяние,
Приложить труды надо великие.

В стихе о Пятнице и Пустыннике грехи против рода признаются непрощаемыми. Это группа из трех или четырех грехов:

Перва душа в утробе младенца задушила...
< Вторая > Отца матерь поматерно бранила...
< Третья > Из хлеба и соли спорину вымала.

Вместо греха против родителей в этом стихе часто приводится грех против брака:

Жена шельма мужа сокрушала,

Чужие законы разлучала, –

а в качестве четвертого греха появляется заклинание молока у коров.

Замечательно, что брань, то есть грех словом, представляется в родовой религии столь же тяжкий, как и убийство. Например, вместо задушения младенца в утробе можно проклясть его:

В утробе младенца проклинала,

Крещеного жидом называла.

Вспомним страшное значение матерного бранного слова, от которого содрогаются небеса. В таинственной жизни пола, в отношениях между родителями и, детьми слово-заклятие, доброе или злое, имеет действенно-магическое знание.

Русский певец, обходя, по своему целомудрию, непосредственно сексуальную жизнь, останавливает свое внимание на религиозном значении родства между разными поколениями.Магическому значению брани и проклятия соответствует великое значение родительского благославления. Федор Тирянин, отправляясь на подвиг, призывает на помощь все священные силы:

Я надеюсь, сударь батюшка, На Спаса на Пречистого,

На мать Божью Богородицу,

На всю силу небесную,

На книгу Ивангелия,

На ваше великое благословеньице.

В стихе заздравном певцы призывают благословение небесных сил на дом, гостеприимством которого они пользуются. В одном варианте читаем:

Сохрани вас < Господь > и помилуй

Батюшкиным благословением,

Матушкиным порождением,

Нашим нищенским молением.

В религии рода имеет значение не личная чистота, а объективно-природная норма половой жизни. Вот почему в перечне тяжких грехов мы не находим блуда (греха против девства), а только прелюбодеяние, как извращение родового закона. Влияние христианства вводит лишь понятие духовного родства и духовного прелюбодеяния, возводя его даже в одно из самых тяжких преступлений против родовой религии.

Грехи против рода суть грехи против матери-земли. Придавая им нарочито тяжкое значение в иерархии зла, народ свидетельствует о своем особом почитании божественно-материнского начала. В добре своем, как и в красоте своей, мать-земля не выпускает человека из своей священной

власти. В кругу небесных сил – Богородица, в кругу природного мира – земля, в родовой социальной жизни – мать являются, на разных ступенях космической божественной иерархии, носителями одного материнского начала. Их близость не означает еще их тождественности. Певец не доходит до отождествления Богородицы с матерью-землей и с кровной матерью человека. Но он недвусмысленно указывает на их сродство:

Первая мать – Пресвятая Богородица,
Вторая мать – сыра земля,
Третья мать – как скорбь приняла.

Скорбь, то есть муки рождения земной матери, затуманивает очи Богородицы созерцанием страстей Ее Сына, да вит и матерь-землю тяжестью человеческих грехов. Религия материнства есть в то же время и религия страдания. Стих об Иосифе Прекрасном в самой поэтической и любимой народом части – плаче Иосифа – сближает мать Рахиль с матерью-землей в общих причитаниях. Рахиль представляется уже умершей, и Иосиф просится у братьев на «матушкину могилку»:

Увы, земля мать сырая!
Сырая земля мать, расступися,
Матерь моя, Рахиль, пробудися,
Прими меня, матерь, в свой гроб.

Стих о Федоре Тирянине, о герое-змиеборце, по самому сюжету, казалось бы, столь далекий от апофеоза матери, в сущности, является настоящей поэзией материнства, где нас встречают все три воплощения материнского начала. Богородица, хотя и не является лично, все время присутствует в призывании Ее имени:

За мать Божию Богородицу –

Сталинократия

Вот уже истекает второй год со времени XXVII съезда коммунистической партии, начавшего новую полосу русской революции. У нее еще нет имени, у этой полосы, четвертой по счету: военный коммунизм, нэп, пятилетка... но ее черты уже отчетливо прорисовались, даже сквозь туман, окутывающий для нас Россию. За два года много накопилось фактов, наблюдений, рассказов иностранцев и беглецов, газетных вырезок. Не пора ли подвести итоги? Пусть голоса, идущие из России, противоречивы. Нельзя ли разрешить в некоторую гармонию эти диссонансы? Конечно, новая жизнь в России еще не отстоялась. Каждый день приносит новые изменения ее лица. Но можно попытаться угадать общее направление движения. Или, иначе, найти схему, в которой противоречивые явления уложились бы без слишком большого насилия над фактами. Большего отсюда сделать мы не можем. Но не сделать этого мы не можем тоже. Чтобы жить, и жить Россией, мы должны ставить ориентирующие вехи, с полной готовностью сменить их, как только, жизнь изменит свое русло. А в России история особенно любит зигзаги... Но, со всеми этими оговорками, нужно решиться – на новый моментальный снимок России – к 1 января 1936 года.

Общее впечатление: лед тронулся. Огромные глыбы, давившие Россию семнадцать лет своей тяжестью, подтаяли и рушатся одна за другой. Эта настоящая контрреволюция, проводимая сверху. Так как она не затрагивает основ ни политического, ни социального строя, то ее можно назвать бытовой контрреволюцией. Бытовой и вместе с тем духовной, идеологической. Не будем думать, что это ограничение лишает сталинскую контрреволюцию ее значительности. Весь ужас коммунистического рабства заключался в его «тоталитарности». Насилие над душой и бытом человека, творившееся в его семье, в его углу, – было мучительнее всякой нищеты и политического бесправия. Право беспартийного дышать и говорить, не клянясь Марксом, право юношей на любовь и девушек на семью, право родителей на детей и на приличную школу, право всех на «веселую жизнь», на елку и на какой-то минимум обряда – старого обряда, украшавшего жизнь, – означает для России восстание из мертвых.

Но это лишь одна сторона картины. Другая, оборотная сторона: не прекращающиеся казни, каторжные лагеря, поезда со ссыльными в далекую Сибирь, на бесчеловечные работы, на смерть. И по-прежнему

густая, непроницаемая пелена лжи, окутывающая страну, подхалимство и предательство, униженное ползание у ног самодержца. Молодому человеку из эмиграции, собирающемуся ехать в Россию, следует ясно представить себе и эту оборотную сторону. А нам – попытаться найти некоторое подобие единства стиля. В настоящей статье мы ограничиваем свою задачу сферой политики. Революция есть, прежде всего, политический факт, и ее развитие обнаруживает политическую закономерность.

* * *

«Великих» революций не так много в новой истории. В сущности, русская революция стоит третьей в ряду – после Англии и Франции. Опыт нового времени можно дополнить историей классовой борьбы античных и средневековых республик. Если можно вывести из этого опыт; прошлого какой-либо «закон» или закономерность, то это следующее наблюдение: всякая «великая», то есть отличающаяся жестокостью классовой борьбы, революция заканчивается личной тиранией. Иногда этот «цезаризм» оказывается преходящим (Англия, Афины), иногда переходит в вековую монархию. Итальянские тирании Ренессанса существовали до Гарибальди. Наследство Гракхов и Цезаря досталось византийскому самодержавию, живущему более тысячелетия и вдохнувшему новую жизнь в самодержавие московское. Что русская революция завершилась своим Сталиным, это кажется историку в порядке вещей. «Эволюция революции» в сторону политической демократии была бы настоящим чудом. Но как же слепы и те антиэволюционисты, которые не хотят видеть в России монархического перерождения республики!

Революция в России умерла. Троцкий наделал много ошибок, но в одном он был прав. Он понял, что его личное падение было русским «термидором». Режим, который сейчас установился в России, это уже не термидорианский режим. Это режим Бонапарта. Термидорианский, то есть контрреволюционный, характер завоевания власти Сталиным был затушеван в эпоху пятилетки. Убрав своих левых врагов, Сталин принялся вдруг осуществлять их программу. Так получился «зигзаг» или излучина в течение русской революции, между нэпом и теперешней контрреволюцией, – излучина, которая имеет громадное значение для всего русского будущего. Пятилетка сделала невозможной буржуазную реставрацию и предопределилагосударственно – капиталистический характер будущей России. Но, втягиваясь в нее, вопреки своим старым идеям, Сталин едва ли повиновался «левому» революционному чутью. Вернее всего, военно-индустриальные задачи, в связи с укреплением

лично-деспотического режима, и тогда уже господство вали в его сознании. Но термидор совершился в тот момент, когда к власти пришел человек, глубоко равнодушный к мистике марксизма и ценящий в революции превыше всего личную власть.

Еще год тому назад, характеризуя сталинский режим, можно было назвать его национал – социалистическим. Казалось, с отказом от международно-революционных задач, он становился неотличимым от фашизма, особенно германского. Но нет, в своем попятном движении он давно уже оставил за собой фашизм. Для фашизма необходимы три элемента: вождь, правящий активный отбор и революционная взволнованность масс. В России не только давно уже массы вернулись в состояние политической пассивности. В России, теперь уже можно сказать, нет и партии как организации активного меньшинства, имеющей свою волю, свои традиции. Муссолини и Гитлер (как и Ленин) должны постоянно дрессировать, воспитывать и вдохновлять ряды своих бойцов. Эта обязанность принадлежит к нелегкому политическому искусству фашистского вождя. Сталину давно уже удалось убить всякую политическую активность своей партии. Годами, исподволь, на посту Генерального секретаря, он развращал ее, приучая к рабству и безыдейной службе. Теперь эта задача окончена. Организация ВКП уже не партия, то есть не группа политических активистов. Ее Программа, ее прошлое уже не весят ничего на политических весах.

Еще большинство эмиграции повторяет: в России царствуют коммунисты, или большевики; еще мечтают об избавлении России от этих большевиков, не замечая того, что большевиков уже нет, что не «они» правят Россией. Не они, а он. А если «они», возглавляемые «им», то совершенно не коммунисты, а новые люди, к которым нужно приглядеться.

Это утверждение, вероятно, покажется весьма спорным. Происходящая в России ликвидация коммунизма окутана защитным покровом лжи. Марксистская символика революции еще не упразднена, и это мешает правильно видеть факты.

А факты – вот они. Начиная с убийства Кирова (1 декабря 1934 г.), в России не прекращаются аресты, ссылки, а то и расстрелы членов коммунистической партии. Правда, происходит это под флагом борьбы с остатками троцкистов, зиновьевцев и других групп левой оппозиции. Но вряд ли кого-нибудь обманут эти официально пришиваемые ярлыки. Доказательства «троцкизма» обыкновенно шиты белыми нитками. Вглядываясь в них, видим, что под троцкизмом понимается вообще

революционный, классовый или интернациональный социализм. То есть марксизм как таковой, – если угодно, ленинизм классического русского типа. В существование «зиновьевской» оппозиции в России трудно поверить. Если бы антикоммунистический террор был лишь выражением торжества правых тенденций в партии, то мы видели бы возвращение к власти правых уклонистов. Но ни Рыков, ни Бухарин, ни Томский влиянием не пользуются. У власти остаются личные приверженцы Сталина, проделавшие с ним не одну смену вех: справа налево и обратно.

Казалось бы, в обществе «старых большевиков» нет места троцкистам по самому определению. Троцкий -старый меньшевик, лишь в Октябрьскую революцию вошедший в партию Ленина: роспуск этой безвластной, но влиятельной организации показывает, что удар наносит Сталин именно традиции Ленина – тем косным революционерам, которые не хотят понять знамений нового времени.

Борьба с марксизмом ведется не только по организационно – политической линии. Она сказывается во всей культурной политике. В школах отменяется или сводится на нетполитграмота. Взамен марксистского обществоведения восстановляется история. В трактовке истории или литературы объявлена борьба экономическим схемам, сводившим на нет культурное своеобразие явлений. Спору нет, советские популяризаторы довели марксистский «метод» до геркулесовых столбов глупости. Но ведь за ним стоят авторитеты Ленина, Плеханова, Каутского. По таким же трафарет там учились старые марксисты – доводившие Маркса до абсурда. Издевательство над марксистским методом сделалось прямо признаком хорошего тона в советской прессе. А послушайте самого вождя, когда он разговаривает с представителями народа. Вот он расспрашивает образцового колхозника о причинах его успехов. С неудовлетворением обрывает набившие оскомину рассуждения о контрреволюционной природе остальных колхозов. «Бывшие помещики, кулаки? – это неважно». Какова производительность? Вот что важно. Низовые работники еще не приспособились к новому языку: давно ли они зубрили классовые шпаргалки. Но теперь ими никому уже не удастся блеснуть перед «самим». Даешь производительность! Все прочее – чепуха.

Такова, конечно, одна из возможных интерпретаций. Но нам она представляется самой вероятной. Сталин и вся его группа никогда, быть может, не были настоящими марксистами. Читал ли Сталин Маркса, в высшей степени сомнительно. Вообще же он учился социализму по Ленину; а в Ленине ценил, конечно, прежде всего, гибкого политика и стратега, а не метафизического оракула. Сам он никогда не раскрывал рта

в доктринальных дискуссиях, раздиравших партию. Практическое дело одно его интересовало в революции. Такова и вся его группа. За немногими исключениями, полуинтеллигенты, люди, выбившиеся из самых низов, не ломавшие себе голов над книгой, но умелые экспроприаторы, убийцы, техники революции – впоследствии чекисты, офицеры гражданской войны и секретари, подобранные Сталиным. Конечно, они не могли не верить марксистской догме: хотя бы по тупости мысли и по необходимости иметь какой-то отчетливый фон сознания – для концентрации действия. Но годы, десятилетия борьбы, знакомство с самыми сложными вопросами жизни должны были воспитать в этих практиках по природе изрядную долю презрения ко всякого рода теориям. Если бы теории были столь важны для действия, то, конечно, им никогда бы не сидеть в Кремле; первое место принадлежало бы пророкам подполья: всем этим Троцким, Каменевым, Бухариным. В порядке теории любой профессор Коммунистической Академии забьет Сталина. Но Сталин платит ему презрением и рад, что может наконец открыто высказать это презрение. Ведь он тридцать лет дожидался этого случая.

Как бы низко ни оценивать культурный уровень Сталина, за годы власти – за 10 лет – он должен был многому научиться. И научился он тому, что в самых разнообразных областях жизни: в хозяйстве, в международной политике – прямолинейное следование марксистским схемам всегда приводило к поражениям: в Китае, в Германии, в строительстве пятилеток. Все победы Ленина достигались отступлением от этих схем. Сталин не мог не сделать из этого соответствующих выводов.

Те, кто хотят видеть в сталинских отступлениях от марксизма тактический маневр и признают, вопреки очевидности, неистребимость марксистской веры в большевистской партии, постулируют некоторое чудо. Они рисуют не людей, а сверхчеловеков, героев или демонов, абсолютно чуждых человеческим слабостям и страстям, неподдающихся никаким влияниям жизни и представляющих собой чистый сгусток неразлагающейся доктрины. Словом, они легковерно принимают за действительность созданный большевиками миф о самих себе. На самом деле сохранение большевистской партии и ее доктрины хотя бы в течение пятнадцати лет после победы – и то представляет явление, небывалое в истории: якобинцы разложились в три – четыре года. Но, отдавая должное организаторским способностям Ленина, следует признать, что пятнадцать-семнадцать лет для ее разложения срок более чем достаточный. Сталин с 1925 года работает над размалыванием Ленинского гранита. К 1933 году

он может считать свою задачу оконченной.

Было бы чрезвычайно интересно установить, что от старой социалистической веры сохранилось в сознании Сталина и его сподвижников. К сожалению, русский диктатор принадлежит к числу молчаливых и лукавых. Когда он берет слово, то, конечно, не для откровенных излияний. Думается все же, что представлять его абсолютным циником нет оснований. Да и в современной России, танцующей под дудку, повторяющей на тысячу ладов его директивы, остается некоторый устойчивый комплекс, неприкосновенный для критики. Этот комплекс чаще всего называется социализмом или социалистической культурой. Но что теперь в России понимают под социализмом?

Когда-то Ленин дал свое знаменитое определение: «Социализм – это Советская власть плюс электрификация ». Ленин не претендовал, конечно, на точность и полноту. Но в своем парадоксе он нечаянно выразил нечто очень существенное для духа большевизма и его эволюции. В этом определении замечательнее всего полное отсутствие социальных и этических моментов, то есть того, что составляет самую природу социализма. Не равенство, не уничтожение классов, не рабочее или пролетарское общество... Но власть и техника. Власть Советов уже была для Ленина псевдонимом диктатуры его партии. Пока власть принадлежит компартии, социализм строится, – если еще не построен. Для окончательного построения достаточно «электрификации», то есть индустриализации страны. Сталин целиком воспринял эту формулу – с тем различием от Ленина, что за ней для него нет ничего подразумеваемого (социального), что, конечно, связывало Ленина с основоположниками социализма. Эгалитарные тенденции социализма, под кличкой «уравниловки», разрушались им сознательно. С политической частью формулы произошло дальнейшее сужение, в порядке последовательных уравнений, типичных для диктатуры: пролетариат - компартия Политбюро Генеральный секретарь. Сталин может сказать совершенно спокойно: социализм – это я. Пока я у власти, страна идет к социализму. Индустриализация России остается единственным напоминанием о марксистской идее развития производительных сил. Слияние абсолютной власти с индустриализацией означает государственное хозяйство. Чем выше хозяйственная мощь государства, тем больше в стране социализма. Так смотрят на дело в России и, вероятно, там были бы очень удивлены, если бы мы потребовали для социализма других определений. От классово-пролетарского или

коммунистически-эгалитарногохарактера социализма в сталинской России не остается ничего.

Можно было бы спросить себя, почему, если марксизм в России приказал долго жить, не уберут со сцены его полинявших декораций. Почему на каждом шагу, изменяя ему и даже издеваясь над ним, ханжески бормочут старые формулы? Но всякая власть нуждается в известной идеологии. Власть деспотическая, тоталитарная больше всякой иной. Но создать заново идеологию, соответствующую новому строю, задача, очевидно, непосильная для нынешних правителей России. Марксизм для них вещь слишком мудреная, в сущности, почти неизвестная. Но открытая критика его представляется вредной, ибо она подрывала бы авторитет Ленина и партии, с именем которого неразрывно связана Октябрьская революция. Отрекаться от своей собственной революционной генеалогии – было бы безрассудно. Французская республика 150 лет пишет на стенах: «Свобода, равенство, братство», несмотря на очевидное противоречие двух последних лозунгов самым основам ее существования. Сталин не первый из марксистов, предпочитающий «ревизию» Маркса прямой борьбе с ним.

Сложнее вопрос о партии: почему не ликвидирована партия вместе с ликвидацией основ ее миросозерцания? Каков смысл коммунистической партии, очищенной от коммунизма? Но эта тема ставит перед нами вопрос о характере единодержавия Сталина.

Парадокс личного режима Сталина заключается в полной безличности диктатора. Сталин, объявленный «великим и гениальным вождем революции», не оказал ей никаких существенных услуг. Второстепенная фигура исполни теля, он исчезал в сиянии настоящих вождей – в период борьбы и побед. К власти он пришел через партийную демократию, как servusservorum, секретарь секретарей. Его власть – власть партийного аппарата диктатуры. Ни идеи, ни личные дарования здесь, ни причем. Но тогда как может Сталин подрубать опору партии, с которой он пришел к власти?

Разгадка заключается, вероятно, в том, что Сталин почувствовал узость, и шаткость партийного помоста для своего трона – в эпоху убыли революционной волны. Вероятно, он видит, что партия далеко не пользуется популярностью в стране. Если беспартийные массы ненавидят коммунистов, то Сталин хочет отвести от себя эту ненависть. Он хочет быть не вождем партии (каким был Ленин), а вождем страны. Для этого он изобретает психологически очень удачную категорию: «беспартийные большевики». Сюда относятся все советские активисты, все лояльные и усердствующие граждане. Сталин хочет быть их вождем. Он единственное

воплощение политической воли в стране. Его отношение к народу более напоминает самодержавного вождя. Иные жесты его кажутся прямо скопированными с Николая 1. Сталин, беседующий с девочкой во время демонстрации на Красной площади, поразительно напоминает Николая Павловича в кадетском корпусе; колхозницы, плачущие от восторга после посещения самого Сталина в Кремле, повторяют мотив крестьянского обожания царя Сталин, и есть «красный царь», каким бы не был Ленин.Его режим вполне заслуживает название монархии, хотя бы эта монархия не была наследственной и не нашла еще подходящего титула.

Отсутствие титулов возмещается личной лестью, возведенной в государственную систему. Нет эпитетов, слишком торжественных и величественных для Сталина, одного из самых серых и ординарных людей, выдвинутых ленинской партией. Что этот фимиам воскуряется по прямому требованию диктатора, в этом не может быть сомнения. Вопрос лишь в том, какая доля государственных соображений руководит этим новым культом, и что следует отнести на долю личного опьянения или одурения властью. Когда Сталин допускает, – а в России это, значит, требует, – чтобы писатели называли его первым стилистом, а ученые величайшим философом мира, – делается страшно за его бедную голову. Кажется, что человек ходит на грани безумия. Но здравый смысл, проявляемый им во многих жизненных вопросах, подсказывает другое объяснение: это не безумие, а поразительно низкий уровень культуры, который делает этого дикаря совершенно беззащитным перед винными парами своего всемогущества. Сталин лишен чувства смешного. Но он понимает, что, сворачивая с ленинской дороги, его власть нуждается в новой, личной санкции. Сталин должен быть величайшим гением, чтобы иметь право не считаться с догматами Маркса и заветами Ленина.

От власти – к управлению. Каков тот аппарат, с помощью которого Сталин правит Россией? Этот аппарат чрезвычайно тяжел и громоздок, лишен единства и представляет собой нагромождение органов диктатуры. С тех пор как партия утратила свое независимое идейное содержание, можно говорить об утроении государственного аппарата: советское управление, партийные органы, его дублирующие, бывшее ГПУ. Несмотря на формальное включение ГПУ, под именем Комиссариата Внутренних Дел, в общую систему советского управления, этот орган по-прежнему пользуется полной самостоятельностью. Самостоятельность политического сыска характерна для всякой деспотической власти. Но двойственность партийного и советского аппарата является странным пережитком. Вероятно, практически почти все коммунисты втянуты в

службу в советских учреждениях. Но так как их партийная иерархия не совпадает с советской и партийный билет дает или давал до сих пор огромный перевес рядовому коммунисту над беспартийным его начальником, то эта двойственность должна дезорганизовать всю систему управления. У диктатора должны быть веские основания для этой растраты административных сил. Таким основание является личная ему верность партийных секретарей. Коммунисты в России сейчас суть граждане первого класса, сверхлояльные, принесшие двойную присягу: общеполитическую – государству, и лично-вассальную – вождю. Ими диктатор распоряжается с большей свободой и уверенностью: может перебрасывать их как угодно и употреблять для надзора и контроля чисто государственных учреждений. Но эти функции партии снова пересекаются с ГПУ. Административная путаница, очевидно, терпится потому, что власть дорожит всякой лишней надстройкой диктатуры. В связи с непрекращающимся правительственным террором, это обстоятельство говорит за то, что у власти нет достаточно широкой социальной опоры. И это предположение оправдывается анализом социальных слоев, составляющих новое общество в России эпохи сталинизма. Никогда еще, за все время революции, власть не была так оторвана от широких масс, так мало «народна», несмотря на видимость (искусственную) обожания ее носителя. На кого опирается Сталин? На рабочих? Но как раз за Последний год их и без того тяжелое положение еще ухудшилось. Отмена хлебных карточек означает понижение реальной заработной платы. Главная цель стахановского движения – увеличить трудовую нагрузку полуголодного пролетариата. Недаром рабочие отвечают уже убийством пионеров нового тейлоризма.

Крестьяне? Могли ли они забыть столь недавно, всего пять лет тому назад произведенную Сталиным грандиозную революцию – или контрреволюцию – против крестьянства, гибель своей свободы, восстановление, под именем колхозов, крепостного строя? Есть ли в деревне семья, которая не имела бы среди своих близких сосланных, рас стрелянных, умерших от голода? Миллионы голодных смертей всего два года назад отметили успехи сталинского социализма по всему югу России. С тех пор диктатура даровала крестьянам дворовые участки, на которых они, неся крепостную и не ограниченную временем барщину в пользу государства-помещика, могли бы с грехом пополам кормиться. Огород, корова, свинья – могли ли примирить крестьянина с колхозным рабством? Сомневаюсь. Может быть, этой подачкой Сталин предотвратил взрыв и непосредственную угрозу мужицкого восстания. Но едва ли приобрел

популярность. Скорее следует предполагать глухую ненависть к нему со стороны как раз трудящихся классов – тех, что сделали Октябрьскую революцию. В этом, социальном, смысле Октябрьская революция проделала полный круг. Начавшись с восстания рабоче-крестьянской России, она закончилась ее полным порабощением. Народ в сталинской России является не субъектом, а объектом власти, фундаментом новой государственной пирамиды.

На кого же, в социальном смысле, опирается власть? В годы пятилетки на это можно было ответить так: на молодежь, на все, что было в России юного, наивно-жизнерадостного, героического, сохранившего веру в социальное знамя. Именно молодежь, отрываемая беспощадно от «учебы», перебрасывалась тысячами на «узкие» места строительства на заводах и в деревню, чтобы грудью перерезать колючую проволоку, заполнять своими трупами рвы -и в то же время подгонять отсталых, пассивных, выполнять роль добровольных палачей своего народа. Эта молодежь мечтала построить на земле социалистический рай. Глубоко было ее разочарование к исходу пятилетки, несмотря на цифры технических достижений. В результате стройки Россия оказалась обнищавшей и разоренной. А непосредственные результаты были так далеки от фантастических идеалов. От сюда разрыв социалистического актива со Сталиным, – разрыв, сигналом которого был выстрел Николаева. С тех пор Сталин не переставая, ведет борьбу с этой молодежью, еще вчера ему преданной. Троцкисты, зиновьевцы, леваки, добиваемые им, – это все та же молодежь. Увидев для себя опасность социалистической школы, воспитавшей утопистов, Сталин хочет заставить молодежь учиться по старинке, вводит дисциплину, экзамены, издевается над неграмотностью и некультурностью людей, которые вчера считались авангардом коммунизма. Но, выбрасывая из школы и из жизни мечтателей – утопистов, Сталин широко распахнул двери в жизнь – практикам – профессионалам. Все, кто мечтает о личной карьере или увлечены своим специальным делом, легко примиряются с новой фазой диктатуры. Более того, для них она означает подлинное освобождение и от принудительной жертвенности, и от принудительного доктринерства.

Но эта группа выводит нас из возрастной и моральной категории молодежи. Специалисты дороже в работе, в жизни, чем в школе. Подлинная опора Сталина – это тот класс, который он сам назвал «знатными» людьми. Это те, кто сделал карьеру, кто своим талантом, энергией или бессовестностью поднялись на гребень революционной войны. Партийный билет и прошлые заслуги значат теперь не много;

личная годность в соединении с политической благонадежностью – все. В этот новый правящий слой входят сливки партийцев, испытанных своей беспринципностью, чекисты, командиры Красной Армии, лучшие инженеры, техники, ученые и художники страны. Стахановское движение ставит своею целью вовлечь в эту новую аристократию верхи рабочей и крестьянской массы, расслоить ее, соблазнить наиболее энергичных и сильных высокими окладами и поставить их на недосягаемую высоту над их товарищами. Сталин ощупью, инстинктивно повторяет ставку Столыпина на сильных. Но так как не частное, а государственное хозяйство является ареной новой конкуренции, то Сталин создает новый служилый класс, или классы, над тяглым народом, повторяя еще более отдаленный опыт Московского государства. Жизненный урок показал ему слабую сторону крепостного социализма – отсутствие личных, эгоистических стимулов к труду. Сталин ищет социалистических стимулов конкуренции, соответствующих буржуазной прибыли. Он находит их в чудовищно дифференцированной шкале вознаграждения, в бытовом неравенстве, в личном честолюбии, в орденах и знаках отличия, – наконец, в элементах новой сословности. Слово «знатные люди» само по себе уже целая сословная программа. Но создание «знатного» сословия не только экономическая необходимость. В еще большей степени, быть может, это необходимость политическая. Править огромной, сведенной к ничтожеству человеческой массой – и притом ненавидящей власть – невозможно, не внося классового разделения в эту массу. Извлекая непрерывно все активные и даровитые элементы народа для создания новой аристократии, режим обеспечивает себе добровольную и крепкую основу. Деспотическая монархия, даже демократическая по своим истокам, неизбежно становится классово-образующим фактором.

Так в эволюции сталинизма подтверждается опыт всех «великих» революций: главный смысл их состоит в смене правящего слоя, образование новой аристократии означает объективное завершение революции.

В этой новой аристократии есть один элемент, заслуживающий нашего пристального внимания. Это верхи интеллигенции, старой и новой, прикормленной и прирученной диктатором. Не одни «технократы», организаторы производства введены в состав знати. Сюда относятся и лояльные ученые и верные власти писатели. Литература и искусство в России признаны за политическую силу первой величины. Они проводят непосредственные директивы Сталина не только в хозяйственных и политических вопросах, но и в создании «нового» сталинского человека.

Высокие гонорары, целая система государственного обеспечения создают в литературной среде бодрое чувство своей привилегированности, своего значения для страны. Диктатор и сам любит появляться в литературных кружках. Он держит себя меценатом и разрешает обращаться к себе за управой и милостью в случае цензурных притеснений. Максим Горький, пользующийся большим личным влиянием на Сталина, играет роль посредника в сближении диктатора с литературным миром. Результаты налицо. Сталин получил в литературе блестящую рекламу – для Запада самое убедительное оправдание своего режима. Он может досыта упиться неслыханной лестью. И, как ни невероятны по грубости многие формы этой лести, мы не считаем возможным объяснить их целиком страхом или подкупом. Вполне допустимо, что Сталин приобрел популярность в этой среде, для которой художественное ремесло – это все, нравственные основы жизни – ничто. Представляя себе новую интеллигенцию по типу старой, народнической и жертвенной, мы ничего не поймем в новой России, созданной революцией. Для новых людей смешны такие чувства, как жалость, сочувствие народу, чистота убеждений. Но достижения, но трудовой или художественный рекорд – это то, что заменяет нравственные основы жизни. Поскольку Сталин облегчает им творчество, они готовы считать его своим вождем. Для них – формалистов и бытописателей – самая постановка государственных тем не мешает, до поры до времени. Не все ли равно, о чем писать? Важно не «что», а «как». И вот Сталину удается собрать вокруг своего шаткого трона верхи русской интеллигенции. Интеллигенция с государством, интеллигенция с властью: такова ситуация, в России не повторявшаяся с начала XIX века. Действительно, новый режим в России многими чертами переносит нас прямо в XVIII век. Та же массивная тяжесть государственной пирамиды, то же строительство культуры на костях народа. Государство как организатор культуры. Революционно-рационалистический характер этой, проводимой сверху, культуры. Энтузиазм и лесть, окружающие трон. «Оды на восшествие на престол». Но в то же время и огромная техническая и научная работа в полудикой стране: географические экспедиции, Академия наук... Конечно, Сталин напоминает скорее правителей эпохи бироновщины – палачей из тайной канцелярии, живущих традицией Великого Петра... Но уже он чувствует потребность расцветить эту палаческую государственную работу блеском елизаветинского или екатерининского двора.

* * *

Неясным и неоднозначным представляется образ России на исходе

девятнадцатого года ее революции. Она все еще не нашла своего равновесия; все в ней неустойчиво, те куче, больше обещает, чем дает. Ее социальный строй сейчас почти столь же шаток, как старый режим на исходе его жизни. Новое дворянство живет военным лагерем, окруженное ненавистью подавленного народа. Найдет ли оно в себе понимание и силу совершить его раскрепощение, которое ведь принципиально совместимо с социалистической основой государственного хозяйства?

В России не может установиться надолго власть, которая не была бы признана и принята крестьянством, составляющим сейчас огромное большинство в стране. Если освобождение крестьянства, слишком робко намеченное Сталиным, не завершится ранее военного нападения на Россию, она не выдержит новой войны.

Столь же туманно духовное будущее России на ее сегодняшнем распутье. Куда идет она? К социалистическому мещанству, которое пророчил Герцен для Европы, к Пошехонью в 1/6 части света или к новому гуманизму, к новому расцвету русской культуры и осуществлению пророческих обетований XIX века?

О, если бы в этот роковой час ее жизни до России могли донестись наши мысли о ней, наши усилия, наши молитвы, а не только вопли ненависти, готовой, в союзе с ее врагами, нанести ей предательский – может быть, смертельный – удар!

Культурные сдвиги

Среди огромных перемен в бытовой и духовной жизни России, накопившихся за последние два года, не все имеют общий социологический коэффициент. Национализация революции совсем не то же значит, что ее «нормализация». Национальный мотив был первым прозвучавшим громом в годы сталинократии. И он, бесспорно, имел тогда еще революционный, «большевистский» смысл. Это была последняя форма революционного динамизма, последняя попытка раздуть огонь массового энтузиазма, потухшего после пятилетки, подбросить в костер новых дров. Можно отметить три фазы, которые проходила в России большевистская агрессия: ярость классовой войны, ярость индустриального строительства и, наконец, война в ее чистом виде, война военная. Милитаристический исход революции – ее естественный исход. Большевизм же, зачатый в войне, всегда сохранял печать своего военного происхождения. Он любил даже безграмотность ликвидировать методами военного «фронта». Когда пятилетка закончилась психологическим провалом, можно было поставить вопрос: конец ли это революции? Или у нее имеются еще ресурсы? Ответ был один. Только война может дать новый заряд энтузиазма – на этот раз революционно-патриотического. Если не массы русского народа, то его молодежь готова защищать завоевания революции от внешних, как и от внутренних врагов. Внешние основания для революционного оборончества были налицо: опасность германо-японского нападения была – и остается – весьма реальной. Но нельзя вести войну, не освобождая, так или иначе, инстинктов всенародного патриотизма. Так рождается новый сталинский патриотизм: защита отечества, уже не «социалистического». Несмотря на оборонительный, по существу, характер военных приготовлений России, в первое время психологическая подготовка к войне носила, несомненно, характер агрессивно-милитаристический. Шум оружия, демонстрации танков и пушек, угрозы всему миру – заглушали в СССР на время все другие голоса. Это был последний крик революции. С тех пор Сталин научился по-иному защищать Россию, без угроз и истерики, поняв, что ноты пацифизма, соответствующие действительному положению дел, гораздо выгоднее для России. У нее могут найтись союзники. Литвинов едет в Женеву.

С тех пор Россия меньше бряцает танками, но патриотическое сознание растет и крепнет. Оно, несомненно, находит отклик в стране.

Годами сдерживаемое, даже удушаемое чувство любви к родине, столь человеческое, получило свободу своего выражения. И здесь первоначальный революционный его момент оттесняется другими, более интимными и вечными элементами. Красота родины, ее природа, ее язык становятся предметами восторженного поклонения. Правда, и в новом аккорде звуки социального торжества доминируют: самая свободная страна, страна социализма! Но политический ингредиент входит во всякое национальное сознание. Шумные торжественные звуки народной гордости еще слишком выпирают: свидетельство о большевистском происхождении. Но уже есть и более интимные, и более тихие голоса – голоса не гордости, а любви.

До сих пор эти голоса было бы правильнее назвать патриотическими, чем национальными. Родина, которую они воспевают, – это СССР, Союз Советских Республик, но не Россия. В состав нового легализированного патриотизма принято лишь то общее содержание, которое входит в национальное чувство всех народов Союза. Говоря старым языком, это имперское, российское, но не русское сознание. Известный запрет, тяготеющий над русским национальным чувством, над историей и духовной культурой России – Руси, объясняется и политической осторожностью и глухотой просветителей к этим чисто русским мотивам. Опасным кажется дифференцировать национальное чувство народов СССР. И группа, стоящая у власти, имеет слишком пестрый племенной характер, чтобы инстинктивно принять завещание России. Им легче усвоить империалистический стиль Империи, чем нравственный завет русской интеллигенции или русского народа. Впрочем, одна дверь и здесь открыта широко. Русская литература XIX века, и притом не только в революционных ее течениях, открыта для всех. И через нее все народы СССР и русские рабочие, и крестьяне приобщаются к наследству русской культуры. Этот факт должен иметь неизмеримые последствия, пока еще не раскрывшиеся.

Если советский патриотизм можно рассматривать как национальное перерождение революции, как ее сублимацию, то остальные веяния сталинской весны несут с собой откровенный душок реставрации. Когда-то Пильняк придумал для героической эпопеи первых лет большевизма образ Памира. Теперь Россия явно спускается с Памиров в долины, где альпинисты, полу надорванные поставленными рекордами, могут утолить свой человеческий голод, потребность в отдыхе и сне. Такой смысл имеют сталинские лозунги о «зажиточной», «веселой» и «красивой» жизни. Не все же надрываться для мирового будущего! Надо, наконец, пожить и для

себя. Поколение, сделавшее Октябрьскую революцию, получает ясный ответ на свой недоуменный вопрос: «Для чего мы кровь проливали?» Рай на земле, мечта о новом человеке и новом быте сводится к точным размерам: «жирный обед», модный костюм, патефон... Для голодных и оборванных людей этот идеал имеет и оправдание, и даже эстетическую прелесть. Все то, что так недавно было грехом для социалистического сознания, – что остается грехом для всякого морального сознания – привилегии сытости и комфорта в стране нищеты и неисчерпаемого горя – теперь объявляется дозволенным. Кончился марксистский пост, и, без всякой Пасхи, без всякой мысли о воскресении, наступило праздничное обжорство. Для всех? Конечно, нет. Не забудем, что именно эти годы принесли с собой новые тяготы для рабочих и углубление классовой розни. Веселая и зажиточная жизнь – это для новых господ. Их языческий вкус находит лишнее удовлетворение своей гордости в социальном контрасте. Нигде в буржуазном мире пафос расстояния не достиг такой наглости, как в России, где он только что освободился от долгого запрета. Стахановец или ударник-инженер получает 3000 рублей, низовой рабочий – 100. Что значит этот контраст для того, кто не имеет вдоволь черного хлеба, легко себе представить. Стахановцев убивают. Может ли быть иначе?

Но на верхах жизни продолжается реставрация дореволюционного быта. Новое общество хочет как можно больше походить на старую дворянскую и интеллигентскую Россию. Поскольку оно не довольствуется элементарной сытостью и комфортом, его мечты о «красивой» жизни принимают невыносимо пошлые формы. По крайней мере, советская печать иначе не умеет говорить об этом. В описании советских приемов и празднеств новой знати сквозь Игоря Северянина явно проступает Смердяков.

Смердяков – и Шмит. Социалистическое мещанство – и бескорыстный героизм авиаторов, путешественников, полярных исследователей. Одни жадно вгрызаются в жизненные наслаждения. Другие аскетически отказываются от всего – кроме, конечно, честолюбия. Ибо идеал рекорда остается высшим моральным стимулом в СССР. И аскеты, и жуиры принадлежат к тому же классу новой «знати». Где проходит разграничительная черта? Отчасти она создается природным неравенством людей, благородством одних и мелкостью других. Отчасти она совпадает с возрастом. Герои Октября и пятилетки, поизносившие свой героизм, разбившие свои нервы, хотят пожить для себя. Молодежь, вступившая в жизнь, жаждет подвигов. В старой России почти каждый

студент был революционером в двадцать лет, обывателем в тридцать. В современной России изнашивание человеческого организма идет быстрее. Можно заметить, что Сталин и его дружина – поколение пятидесятилетних – сейчас задает тон на «веселую» жизнь. Известное размягчение должно было коснуться и самого «стального» отбора бывшей партии.

Последние годы много говорят о советском «гуманизме». Содержание этого понятия в России столь же двусмысленно, как и понятие советского патриотизма. Один из корней сталинского гуманизма чисто хозяйственный. Организаторы заметили на исходе пятилетки, что машина требует человека, который мог бы смотреть за ней. Самый совершенный американский механизм ломается в неопытных руках. Отсюда возникла проблема кадров как новый сектор индустриального фронта. Проблема создания квалифицированной рабочей силы потребовала реформы школы, переоценки общей культуры. Производство требует культурного человека: это новое открытие влекло за собою отступление не только самодовлеющего техницизма, но и марксизма в его тоталитарных претензиях. Этот производственный поток «гуманизма» скрестился с потребильным. Человек хочет есть, пить, одеваться и т. д. Потребительный гуманизм совпадает с идеалом зажиточной жизни. До сих пор этот поворот к человеку имеет чисто утилитарный, хозяйственный, почти животноводческий смысл. Советская власть поворачивается лицом к человеку, как раньше поворачивалась лицом к кролику или свинье. О гуманизме здесь говорить смешно; ибо не ставится еще ни проблема свободы, ни духовной жизни, взаимоотношение которых составляет самую тему гуманизма.

Но, по-видимому, как и в рождении советского патриотизма, Гитлер и здесь был крестным отцом. Немецкие расисты сыграли роль пьяных илотов для московских спартанцев. Если фашизм объявляет войну гуманизму, последний должен быть спасен в СССР – стране, которая первая нанесла ему страшный удар. Что такое советский гуманизм, мы еще не знаем. Но ясно, что здесь разбужены духи, с которыми может и не справиться маг. Огромное различие между СССР и странами фашизма состоит в том, что фашизм был духовной реакцией против упадочного гуманизма, тогда как в России к культуре впервые пришли массы, еще не затронутые им. Для них гуманистический XIX век, – особенно в его русском великом выражении – таит большие соблазны. И эти благородные соблазны будут возрастать в меру роста культуры, в меру понимания того языка, на котором написаны священные книги русского гуманизма. Здесь

вся наша надежда.

Есть явление в современной России более утешительное, чем героизм молодости. В героике может доживать себя пожар революционного энтузиазма. От него останется пепел и – веселая жизнь. Но иногда из оглушающего хора «ликующих, праздно болтающих» доносятся иные, неожиданные голоса. Голоса скорее тихие и одинокие. Голоса раздумья о судьбе человека, о жизни и любви, о природе, о смерти и вечности. Настоящий человек рождается в тишине одиночества, а не в гаме принуди тельной социальной активности. Этот человек не нужен ни для строительства, ни для обороны родины. Он дышит, поскольку может дышать, по недосмотру и попущению властей. Но если России суждено остаться духовной личностью, а не только географическим и политическим местом, ее будущее начинается сейчас в молчании, едва для самого себя выразимом.

Тяжба о России

Россия сейчас окутана мраком. Странно противоречивы крикливые голоса монополистов слова, которые только и слышны оттуда. Страна молчит, и мы даже не знаем, есть ли ей что сказать, или двадцатилетнее молчание убило уже всякую потребность в слове. Что сказала бы Россия, если бы вдруг кляп выпал из ее рта? Мы наблюдаем совершающиеся на поверхности процессы, социальные сдвиги и соответствующие им переломы в сознании. Но затрагивают ли эти процессы самую глубину народной жизни? Нам ясен, более или менее, правящий слой: его новая культура, его вожделения, его октябрьский национализм. Мы знаем, что этот слой вышел из народа, связан с народом более тесно, чем, скажем старое русское дворянство и интеллигенция. Но этого недостаточно, чтобы ставить между ним и народом знак равенства. Мы видим ясно, как выделяемый народом слой знатных людей обособляется от народа, строит свое благополучие на страданиях вынесшей его массы. Можем ли мы быть уверены, что эта масса, страданий которой не удается никак скрыть новым властителям жизни, разделяет их оптимизм, их волю к жизни, их упоение строительством культуры? Вопросы, на которые мы не можем дать ответа. А между тем от решения их зависит правильное понимание будущего России. Обрела ли она в революции национальную цельность, крепка ли она, вы держит ли удары внешнего врага, или первый толчок обнажит внутренние противоречия, разрушит непрочное единство и превратит ее снова – и на этот раз в обстановке бесконечно более трагической – в человеческую пыль?

Россия знает грозящую ей опасность. Правящий слой делает усилия, чтобы встретить войну не только технически, но и морально подготовленным. В спешном порядке куется национальное сознание, так долго разрушавшееся. Восстанавливается частично, кусками старая русская культура. Делаются попытки примирить массы с властью разными подачками, поблажками, смягчением рабства. Но и отсюда видно, что уступки недостаточны, восстановление медлительно. Время не терпит. Успеют ли перестроиться, примириться, когда пробьет двенадцатый час?

В этой перестройке есть участок, самый отсталый и безнадежно запущенный, на котором хотелось бы остановить внимание. Вернее даже не участок строительства, а сам строитель. Каков его нравственный облик или, выражаясь по Ключевскому, нравственный капитал, с которым он стоит перед лицом тревожной и запутанной жизни? Этот облик есть самое

неуловимое, ибо самое изменчивое в современной России. Мешает пониманию и различие социальных слоев и типов, и чередование противоречивых социальных заказов литературе, призванной отражать нового человека. Уж очень она, эта литература, изолгалась за долгие годы потаканья и приспособленья. Конечно, это зеркало, но зеркало совсем кривое, и мы не знаем, в какой мере кривизна его обусловлена законами художественного преображения и в какой мере требованиями заказчика. Но мы чувствуем, что человек – это самое важное в современной России (как, впрочем, всегда и везде), что в нем только ключ к пониманию настоящего и будущего. Не видим его, не знаем, но, должны знать и видеть, чтобы не потерять всякое чутье России. Остается ловить даже не тени, а как бы запахи живой, но в мраке протекающей жизни. Остается гадать, склеивать мозаику из случайных фрагментов рассыпающейся картины. Вести с собой вечную тяжбу за Россию, проверяя себя и себе противореча: на каждое «да» искать «нет». Это честнее, чем догматическое утверждение России чаемой, прекрасной мечты, которой, может быть, не соответствует никакая реальность. Россия нам не любовница, а законная жена. Вспомним, как Садко в поэме А. Толстого отнесся к прелестям подводных красавиц, и вместе с ним сделаем свой выбор – за «рябую девку», за живую женщину, за Альдонсу.

§ 1

Трупным воздухом тянет сейчас из России. При желании можно найти тьму отрадных вещей для утешения и надежды. Но эти струйки тления сейчас заглушают все. Это не значит, конечно, что весь воздух в России отравлен. Но сейчас ветер несет именно эту струю, и было бы лицемерием начинать речь с чего-либо другого. Подуло этим ветром с зиновьевского процесса, и многие утешают себя тем, что гниет, собственно, коммунистическая партия, а не Россия, что нам нужно радоваться ее разложению. Политически, может быть, это и так. Но мы собираемся говорить только о моральном балансе России. А здесь дело обстоит иначе. За двадцать почти лет революции партия слишком срослась с телом России, слишком обросла попутчиками, активистами, «беспартийными большевиками», чтобы ее разложение не заражало всего, что вокруг. Это заражение началось давно. Имморализм присущ самой душе большевизма, зачатого в холодной, ненавидящей усмешке Ленина. Его система – действовать на подлость, подкупать, развращать, обращать в слякоть людей, чтобы властвовать над ними, – дала блестящие результаты. Но до последнего времени гниль революции была прикрыта угольками революционного энтузиазма. Все новые поколения молодых энтузиастов

сжигали свою жизнь и совесть на костре революции. Они совершали чудовищные преступления, но их жертвенность заставляла прощать многое. Этот неподдельный энтузиазм, а не только декорации московских режиссеров обольщали стольких чужестранных гостей, даже самых честных, но скудных собственной верой, с благоговением касавшихся земли новой мессианской религии. Но вот энтузиазм умер – по крайней мере энтузиазм революции, – и иностранцы больше не обманываются. Все чаще возвращаются оттуда разочарованные. И это несмотря на бесспорные достижения последних лет, на возрастание сытости, довольства, внешней цивилизации. Режиссерам стало трудно добиваться эффектов внушения. В «седое утро» пореволюционного похмелья все отчетливее выступает та система всеобщего полицейского сыска и провокации, которая лежит в основе управления страной. В тех грандиоз-

Г. П. Федотов ных и поистине неслыханных в истории формах, которые приняла эта система, она развращает не только аппарат власти, но и весь народ. Как велико сейчас число людей, которые, вольно или невольно, не носят маски, надетой на них полицейским режиссером? Не лгут, не клевещут, не требуют казни для своих друзей, не оговаривают невинных – или даже самих себя. Разные могут быть меры и степени. Не все – немногие оказываются в положении шестнадцати, но лгут все. Вот страна, где сейчас никто, ни один чело век не может сказать правды. До последнего времени меньшинство – революционная молодежь и активисты – им ли монополию правды; их оптимизм, до известной степени, спасал Россию. Теперь петля затянута и на их шее. Ложь стала всеобщей повинностью, и в каких извращениях! Чтобы отвлечь подозрения, чтобы «украсть жизнь у тирана», люди, особенно ненавидящие его, должны больше других льстить ему и доказывать свою верность реальны ми поступками. Сейчас революционер-антисталинец, вероятно, должен иметь наилучшие связи в ГПУ, а чтобы иметь, он должен заслужить их. Злейшие враги социализма пролезают к власти, не уставая клясться именем Маркса и пролетариата, для того чтобы держать в тюрьмах и казнить защитников угнетенных рабочих и крестьян. Ленинская (или нечаевская) мораль перестает быть отравой партийного отбора; обобщаясь, национализируясь, она грозит стать всенародной. Что будет с нацией, которая вот уже двадцать лет как положила в основу воспитания своих граждан, с самого нежного детства, подражание Иуде?

Годы идут, а удушье застенка все сгущается над Россией. Сейчас оно более чем когда-либо отравляет культурную жизнь. Власть хочет сама строить культуру новой России, строить ее по-новому, не по

марксистским трафаретам. Она, в сущности, сама не знает как. Но по-прежнему командует, раздает директивы, ежечасно противоречащие друг другу. Проводить их теперь обязаны не партийцы, не испытанные марксисты, а работники культуры, для которых их ремесло, их искусство – все. Вчера они были пассивным объектом воздействия, сегодня они должны проявлять активность, угадывать веления начальства. Трудно представить себе что-либо более отвратительное, чем собрания квалифицированной интеллигенции наших дней, – по крайней мере по отчетам «Известий». Поэты, ученые, художники наперерыв выступают с унизительными покаяниями, с клеветой и доносами друг на друга. Клянутся в верности деспоту и отрекаются от идей, которым служили всю жизнь. Совсем недавно на собрании художников Рудзутак – то есть просто сталинский унтер – осмелился учить Юона, как надо рисовать и в какой манере воспитывать молодых художников. Теперь требуется «социалистический реализм», и этот лозунг развязывает наглость не вежд. Подражая пушкинскому сапожнику в роли критика,Рудзутак находит, что нарисованная кем-то лошадь не похожа на живую – в лошадях он, вероятно, знает толк. И серьезные люди, артисты, старый мастер Юонне не только должны выслушивать эту дичь, но оправдываться, давать обещания исправиться... Можно представить себе, как задыхались они от унижения и бессильной злобы в своих постелях в ту ночь. От партии, интеллигенции, спускаясь ниже, по ступенькам социальной лестницы, в России очень определенной, – на заводах, в деревне мы находим ту же атмосферу злобы и предательства. Испортить машину, пырнуть ножом выскочку стахановца, сбивающего заработок, угрюмо проголосовать резолюцию о расстреле каких-нибудь вредителей и мечтать о войне, которая покончит со всеми притеснителями – вот общественная жизнь пролетариата, все еще, по имени, господина страны. Рабочий вредительствует на фабрике, крестьянин – в колхозе – не только пассивной забастовкой, но порой, за спиной начальства, уничтожает жатву, чтобы избавить себя от лишней барщины. Он ведет упорную, партизанскую борьбу с властью – но каким оружием! Покорный на собраниях советов, он убивает выстрелом в спину председателя или секретаря; чтобы отомстить директору совхоза, он не останавливается перед тем – мы читали и это, – чтобы проломить головы его детям. Нечистая, ползучая борьба, где, сцепившись с удавом, человек сам принимает в себя что-то змеиное. Он ненавидит власть, но когда несчастный, в конец замученный беглец из концентрационного лагеря приближается к границе, окрестные крестьяне принимают участие в погоне не столько из страха ответственности,

сколько ради обещанной награды – за куль муки. Куль муки – цена крови (30 сребреников). Мучительно хочется знать, сколько их еще в России – тех, которые не прельстятся такой наградой за жизнь человека.

§ 2

Поскорее отвернуться от этой картины из дантовского ада. Есть другие изображения современной России, более утешительные и нарисованные свидетелями столь же достоверными. Это образы здоровья, кипучей жизни, бодрого труда и творчества. Здесь, в эмиграции, они хорошо известны. Последние годы мы на них отдыхаем от сталинских кошмаров. В этих положительных образах трудно лишь выделить моральную сторону, интересующую нас. Россия, несомненно, возрождается материально, технически, культурно. Народ, теперь почти уже грамотный, весь прошедший через школу, жадно тянется к просвещению. Он выделяет из себя молодую, огромную по численности интеллигенцию, которая, не щадя себя, не боясь никаких жертв, вгрызается в «гранит науки», идет на заводы, в поля – строит новую Россию, счастливую, богатую, великую. Героическая мечта этого поколения – завоевать воздух, пустыни, полярные льды. Бесстрашие русских летчиков и полярных исследователей вызывает изумление во всем мире. Сколько талантов родит русская земля во всех областях творчества: изобретателей, музыкантов, чемпионов. Как хороша русская молодежь в массовых спортивных состязаниях. Какая слаженность, какое единство координированных движений и усилий. Люди, смотревшие русские футбольные команды за границей, отмечали, что сила русской игры не в отдельных достижениях, не в атлетических талантах, а в согласованности и дисциплине. Это ново и поистине удивительно. К русской одаренности мы привыкли. Но знаем так же хорошо и русский анархизм, неохоту и нелюбовь к социальной и трудовой дисциплине. Новое поколение пре одолело эту распущенность, наследие мягкого русского барства. Конец обломовщине! Впечатление здоровья и силы, идущее от русской молодежи, не рассеивается тем, что мы узнаем о ее сексуальной жизни. В этом отношении она не хуже всякой иной молодежи нашего времени. Одно время можно было бояться, что сознательное разрушение семьи и идеала целомудрия со стороны коммунистической партии загубит детей. Мы слышали об ужасающих фактах разврата в школе, и литература отразила юный порок. С этим, по-видимому, теперь покончено. Разврат детей оказался накипью революционных лет, подобно хулиганству рабочей молодежи и детской беспризорности. Сейчас нельзя уже обобщать этих мрачных явлений. Беспризорные дети перемерли в лагерях смерти.

Хулиганство сублимировалось в танцевальный запой. Школы подтянулись и дисциплинировались. Власть поддерживает моногамную семью, борется с абортами, с половой распущенностью. Нет, с этой стороны русскому народу не грозит гибель. Еще не истощены физические резервы расы. Она размножается с поразительной и даже опасной для народного хозяйства быстротой.

На этом физическом здоровье и крепости строится, правда, очень элементарное, но уже нравственное воспитание. Порядок, аккуратность, выполнение долга, уважение к старшим, мораль обязанностей, а не прав – таково содержание нового пореволюционного нравственного кодекса. Нового в нем очень мало. Зато много того, что еще недавно клеймилось как буржуазноеи что является общечеловеческим. В значительной мере реставрировано десятословие. Правда, по-прежнему с приматом социального, с принесением лица в жертву обществу, но и лицо уже имеет некоторый малый круг, пока еще плохо очерченный, своей жизни, своей этики: дружбы, любви, семьи. И тот коллектив, которому призвана служить личность, уже не узкий коллектив рабочего класса – или даже партии, а нации, родины, отечества, которые объявлены священными. Марксизм – правда, не упраздненный, но истолкованный – не отравляет в такой мере отроческие души философией материализма и классовой ненависти. Ребенок и юноша поставлены непосредственно под воздействие благородных традиций русской литературы. Пушкин, Толстой – пусть вместе с Горьким – становятся воспитателями народа. Никогда еще влияние Пушкина в России не было столь широким. Народ впервые нашел своего поэта. Через него он открывает собственную свою историю. Он перестает чувствовать себя голым зачинателем новой жизни. Будущее связывается с прошлым. В удушенную рационализмом, технически ориентированную душу вторгаются влияния и образы иного мира, полнозвучного и всечеловечного, со всем богатством этических и даже религиозных эмоций. Этот мир уже не под запретом. Вечное заглядывает в глаза, через прошлое стучится в настоящее. Советский звереныш становится человеком.

Эти образы новой России, собранные из документов, из книг, с чужих слов подтверждаются опытно и, так сказать, зрительно, когда мы случайно сталкиваемся с советской молодежью – студентом, инженером, ученым, – приезжающей за границу. Грубоватые, внешне малокультурные, они почти всегда производят симпатичное впечатление. От них веет здоровьем и силой, и притом не злой, а сдержанной, скорее скромной, хотя и уверенной в себе силой. Разве такие бывают глаза у провокаторов и убийц?

Когда мы глядим на них, нам не страшно за Россию. Мы готовы верить в ее будущее.

§ 3

Как примирить непримиримое? Как согласовать эти два портрета Советской России, которые оба зарисованы множеством надежных свидетелей? Простейший выход из апории – принять один и отвергнуть другой. Для большинства из нас вопрос решается не исследованием, а верой. Изначальное «да» или «нет» современной России создает в нас могущественную апперцепцию, которая перемалывает впечатления жизни. К сожалению, это правило относится, почти без исключения, к молодежи, которая ради немедленного действия избавляет себя от труда мысли. Здесь вопрос ставится так: с Солоневичами или с возвращенцами? Между этими слепыми, или ослепленными, флангами эмиграция все более раскалывается пополам.

Каков же выход для зрячих? Для тех, кто не хочет брести в потемках? Нужно изощрять критическое восприятие жизни. Нужно учиться интерпретировать источники. Исследователь современной России поневоле становится историком. Да и на самом деле, она труднее поддается пониманию, чем многие древние, канувшие в Лету культуры.

Было бы слишком легко отделаться от проблемы, укрывшись за необозримую сложность жизни. В России есть все (как и в любой стране). Цельного образа построить нельзя. Можно лишь копить факты и наблюдения. Такой эклектизм не пригоден даже для истории, чем же он может помочь в лабиринте жизненных противоречий? Мы хотим найти ориентировочные вехи в хаосе явлений, отметить существенное, усмотреть общие контуры и направление событий...

Попробуем наметить некоторые из этих возможных вех. Начнем с внешнего – так сказать, территориального. Быт Солоневичей (или Чернавиных) зарисован в каторжном лагере. Героический быт имеет своей территорией вузы, студии, учебные мастерские молодежи. В концлагерях, по грубым подсчетам, томится (или томилось) до трех миллионов человек. Может быть, столько же бодро и весело думают строить новую жизнь. Одни начинают свою карьеру, другие, по незадачливости или случайности, ее окончили, – сброшены с быстро мчащегося поезда. Те, что в вагоне, не обращают внимания на исчезнувших спутников. Они слишком заняты разглядыванием волнующих новизною пейзажей. Завтра, может быть, придет и их черед. Но сегодня они веселые путешественники, строители и патриоты социалистической родины.

Быт лагерей и вузов понять нетрудно. Но 6 миллионов еще не Россия.

С кем же страна: со строителями или с мучениками? Вот на что нелегко дать ответ.

Конечно, Солоневич прав, когда говорит, что в концлагере он видел в сгущенном виде то же, что происходит во всей России. Колхоз и фабрика тоже места принудительного,крепостного труда. ГПУ, которому принадлежат лагеря, хозяйничает и над всей страной. Повсюду мучают людей, расстреливают без суда... Но ведь так же повсюду, а не только в вузах, люди учатся и работают с увлечением, строят, а не только халтурят, и даже веселятся. Люди сживаются со всем: с нищетой, с недоеданием, даже с перспективой насильственной смерти. Вуз и концлагерь только фокусы, только центры лучеиспусканий, откуда снопы белых и черных лучей прорезают всю Россию. Лучи скрещиваются, переплетаются, картина ни белая, ни черная, а очень пестрая...

Попробуем идти дальше и спросим себя, где, в какой среде преобладают концлагерные и где – вузовские цвета. Во всех профессиях есть удачники, талантливые и сильные люди, которые овладели нелегким искусством приспособляться к настроениям власти. Они искренне любят свое дело и легко соединяют личную карьеру с заботой о благе страны. Таких людей, вероятно, много в армии, в авиации, среди инженеров, ученых, художников. Вузовский тип рас ширяется, охватывая – конечно, не всю, – но значительную часть советской интеллигенции. Режим каторги вне лагерей всего полнее осуществляется для трудящейся бед ноты деревни и города. Колхозник и чернорабочий всего более придавлены государством рабочих и крестьян и всего более деморализованы им.

Не забудем осложняющих поправок. И в колхозах, и на заводе, как и в концлагере, есть своя аристократия, свои удачники: стахановцы, ударники, активисты. Строить карьеру можно начиная с самых низших ступеней. Стахановцам должны быть присущи социальный оптимизм и веселая мораль господ. С другой стороны, повсюду так легко оступиться и упасть. Сколько людей, в разгаре головокружительной карьеры, останавливаются в холодном поту, чувствуя, что незримая рука приближается к горлу. Не сегодня – завтра позовут «с вещами».

Можно было бы сказать, пожалуй, что вуз и каторга в России приобретают значение классовых дифференциаций. Господа жизни, вновь созданные революцией, с одной стороны, – а с другой – порабощенные массы. Тогда свет и тени распределялись бы ярко, как в древнем рабовладельческом обществе. Внизу эргастерий с прикованными рабами. Наверху триклиний, гдеПетроний принимает своих утонченных гостей. Или, поближе к русской действительности, крепостная девичья и гостиная

сороковых годов. Но эти параллели грешат двумя неточностями: во-первых, в современной России культурный уровень разных классов несравненно однороднее, чем в любом историческом обществе. Во-вторых, классовые различия еще неустойчивы. Лично завоеванное положение легко гибнет. Неравенство – и притом вопиющее – не приобрело стабильного характера. Бедность еще не унизительна, и богатство не дает прав на уважение.

Возможно ли подойти к интересующей нас дифференциации с количественным критерием? Кого больше: счастливых или угнетенных? У нас нет никаких данных для ответа, кроме самых априорных. Несчастных всегда больше, чем счастливых, аристократия, отбор – по самому понятию – есть меньшинство. Однако это меньшинство может быть весьма значительным, а главное, при его активности и повышенной культурности именно оно представляет современную Россию и определяет ее судьбу. Так, конечно, и в прошлом, не крепостная необозримая масса, а тонкий слой дворянства и интеллигенции творил историю России. Однако до какой-то черты. До 1917 года.

Не забудем и «болото» – обывателя. Зощенковского героя – того, который не организует, не душит, но и не чувствует себя на каторге: изворачивается в нелегкой борьбе за жизнь и хочет кое-как скрасить свое существование. Таких, вероятно, большинство. Социалистическому обществу не удалось избежать своего мещанства. Оно выполняет даже положительную морально-санитарную роль. Не участвуя в гражданской войне и лишь пассивно в бесчеловечном строительстве, эта вялая, рыхлая масса смягчает, как подушка, жестокость сильных и ненависть слабых. Здесь находит свое последнее убежище жалость. Эта бытовая бескостная масса связана, одной стороной, с господами, другой – с рабами. Без нее общество – всякое общество – раскололось бы на враждующие классы. Схематические изображения современной России слишком часто забывают о значении этой аморфной нейтральной среды.

§ 4

До сих пор мы пытались, ощупью, установить если не классовое, то психологически-бытовое расслоение России. Не забыли ли мы по дороге о нашей теме, – о морали? Разве символические категории вуза и концлагеря покрывают нравственные категории добра и зла? Конечно, нет, и здесь-то и начинается самая болезненная часть исследования.

В нашей условной классификации «концлагерь» включает в себя и палачей, и жертв. Нам трудно, невыносимо покрыть одной моральной категорией чекиста и терзаемую им жертву. К тому же русская

интеллигенция всегда была склонна идеализировать добродетели угнетенных. Но мы знаем – знали всегда, и современная Россия дает нам новые, ужасные подтверждения тому, – что рабство развращает. Есть степень насилия, которая, при отсутствии героического или святого сопротивления, уничтожает личность человека, превращает его в лохмотья, лоскутья человека. Конечно, совершенно разный стиль гнусности – палача и жертвы. Пусть безмерно более тяжка ответственность первого, но Иуда-то получается из жертвы. А также тот низ кий мститель, который убивает детей за грехи отца... Вот почему в наших надеждах на моральное возрождение России не будем рассчитывать на миллионы сталинских рабов. Поскольку мученичество их не вольное и не просвет ленное, поскольку у них, или у большинства их, нет Бога в сердце и христианской силы прощения – их страдания искажают и губят в них все человеческое и оставляют гряду щей России тяжелое наследие цинизма и злобы. Поскольку... Но к этому мы вернемся.

Обращаемся к верхнему, чистому этажу русской жизни. В нем-то так ли уж все чисто? И прежде всего, так ли однороден этот слой, который мы окрестили «вузовским». Ведь из предыдущих схем наших ясно, что он включает не только энтузиастов-юношей, но и преуспевающих карьеристов, суровых господ жизни... следовательно, и палачей? Без палачей не обойтись и в красном, чистом углу России. Вообще, чтобы что-нибудь понять в ней и что-нибудь простить ей, надо раз навсегда отказаться от требований пол ной чистоты. Но с этой оговоркой, не насильственно ли, не произвольно ли мы объединяем в понятие единого слоя юношу-студента и маститого героя гражданской войны, переменившего дюжину специальностей – прошедшего, весьма возможно, и через Чека, чтобы кончить свою жизнь краскомом, директором завода и даже директором вуза? Нет, не произвольно, ибо он сам, этот юноша, не отгораживается от господ жизни, он живет с ними общей жизнью, вдохновляется примером их подвигов, ставя их себе в образец. Но и как изолировать себя от их общества, когда они повсюду занимают первые места? Знает ли юноша, сколько крови на руке знатного товарища, которую он пожимает? Знает, конечно, но это его не смущает. Знает ли он о миллионах, томящихся без всякой вины в концлагерях? Знает, – весьма возможно, не одобряет, но не очень расстраивается. Вернее, кровь и жестокость окружающей жизни не мешают ему наслаждаться своей молодостью, сознанием своей силы и радостью «творческого» (он преувеличенно подчеркивает; творческого) труда. Счастлив он, если ему самому, выросшему не в годы гражданской войны, не довелось проливать

кровь. Но если он чуть- чуть постарше и участвовал в строительстве первой пятилетки (1930 год!), то без крови вряд ли обошлось. Эта кровь его не мучит. Едва ли он вспоминает о ней. Советская литература дает нам множество примеров того, с какою легкостью переступает современный человек через кровь. Не будем торопиться причислять его к чекистам. У него такой честный и открытый вид. Он вовсе не жесток и полон самых благих намерений: по отношению к родине, к народу, своему призванию. Не жесток, но, конечно, жёсток – в России это высшая похвала. Его можно, не обижая его, назвать толстокожим. У него мозоли не только на руках, но и на сердце. Да и как иначе он мог бы выжить и уцелеть в это жестокое время, родиться в котором он считает величайшим счастьем: С точки зрения вечной христианской и старой русской морали, у него почти нет того, что называется совестью. Вернее, она у него весьма рудиментарна. Признаем это безбоязненно, и пусть это не мешает нам любоваться его мужеством, его жизнерадостностью, его жертвенностью.

Содержание велений совести – или ее требовательность – так часто менялись во времени. В средневековье – в самые христианские столетия нашей культуры – жизнь человека ценилась очень дешево. Отправляясь в дорогу, каждый брал с собою меч или нож, чтобы обороняться от лихих людей. За такое, почти невольное, бытовое убийство совесть не упрекала... Не упрекает она и в наше время офицера и солдата, «исполняющих свой долг» на войне. Или, вернее, редко упрекает. Скажут, одно дело война, другое – революция. Не будем наивничать. Мы сами живем здесь, среди изгнанников, в большинстве – участников гражданской войны. Чувствуют ли они угрызения совести за пролитую русскую кровь? Так вот, юноши в России смотрят точно так же на кровь «белогвардейцев» или «контрреволюционеров», как здесь смотрят на кровь большевиков. Она не отягощает совести.

И здесь и там, да и не только у нас, русских, – у всего послевоенного мира совесть не та, что была в блаженные годы начала века. И наших современников – не зрителей, а участников истории – справедливо мерить меркою не XX, а, скажем, XVII века. Тогда и юный строитель Советской России перестанет нам казаться нравственным чудовищем, и мы поймем, как он может иметь такие невинные, спокойные глаза.

Поймем и простим – ему, но не строю, который делает бесчеловечие (в России, как и в Германии) законом жизни. Пожалуй, труднее простить другое: ту неизбежную и по вседневную ложь, которая кажется нам несовместимой с мужеством и героизмом. Но и здесь, проклиная строй, покоящийся на основной лжи, постараемся вдуматься в психологию

социально-неизбежной лжи.

Каждое общество существует на известном цементе социальной лжи, называть ли ее условностью, приличием или лицемерием (cant). В старой монархии лесть была неизбежной формой обхождения при дворе. Ломоносов, Державин не были подлецами, когда писали свои хвалебные оды. Благо родные люди употребляли формулы (в Московской Руси, на пример), которые нам кажутся несовместимыми с человеческим достоинством, какими, может быть, потомкам покажутся и наши формы вежливости. Культ вождей в современной диктатуре гнусен, но для участников его он не отличается от монархической верноподданности. В Англии республиканцы по убеждениям участвуют на каждом шагу в монархических манифестациях, а люди, не очень твердые в вере, подписывают 39 статей англиканской церкви. В России с такой же легкостью голосуют все предлагаемые резолюции, не смущаясь содержанием. Открытый протест невозможен и, вероятно, кажется донкихотским, несоциальным поступком. Но и в России – мы знаем это – проводят различие между добрым товарищем и подлецом. Есть подхалимство, которого не прощают. Есть предательство, которое исключает негодяя из личного дружеского общения. Понятия добра и зла существуют, хотя и сдвинуты сравнительно с христианской моралью. Делать карьеру интригой и пронырством, подставлять ножку направо и налево соперникам, выслуживаться, пуская пыль в глаза, особенно промышлять доносами, конечно, и в России мерзко, отвратительно, хотя обеспечивает нередко (как в доброе старое время Молчалиным) легкий, если и не очень прочный, успех. Честные работники, образующие советский актив, живут в одной среде с проходимцами и провокаторами. Они ими облеплены весьма густо. Режим диктатуры, особенно на ее идеологическом ущербе, чрезвычайно благоприятен для культуры подлости. Но грани между честным и подлым активом, слава Богу, не стерлись. Подлецы, время от времени, разоблачаются, – конечно, не все. Самые ловкие пролезают наверх, к подножию трона. Есть слои, или прослойки, по самой злосчастной природе их наиболее обезоруженные перед спросом на халтуру и подлость. Увы, к таким принадлежит профессия литераторов, которая невольно заслоняет для нас всю остальную интеллигенцию в России. Но можно быть уверенным: там, в России, видят границы, которых не смеет переступить человек, имеющий право на уважение. И, как бы ни отличались их границы от границ старой или христианской морали, и мы не можем отказать в уважении тем, кто, живя среди необыкновенных соблазнов, соблюдает скромный, неписаный,

но принятый для себя закон.

§ 7

И это все? Все, что мы имеем сказать в защиту России? Этим слоем толстокожих оптимистов и строителей исчерпывается все лучшее, чем жива Россия? Признаюсь, при всем уважении к этой породе, мне бесконечно больно за Россию, когда я поддаюсь малодушию видеть в них ее подлинную элиту. Эти серые герои, без Бога и без жалости к человеку, с большим вкусом к жизни и труду, – как много в них общего с молодежью Запада и Америки и как мало – со старой и древней Россией, у которой не было ни одного из их достоинств, но зато сколько им непонятного духовного благородства. Ловишь себя на сомнении: да полно, Россия ли это? Один ли язык русский и территория составляют духовное лицо России? Ведь тогда, пожалуй, и обитатели Элладского королевства тоже граждане Древней, вечной Греции.

От чекистов и рабов, от строителей и мещан хочется предпринять последнее, необыкновенно трудное «путешествие в глубь ночи», окутывающей Россию. Есть еще одна категория людей, которых мы не опросили в нашей анкете и которые не могли бы дать нам никакого ответа. Ибо это категория молчащих. В них-то и таится сейчас последняя надежда России. Говоря о молчащих, надо пояснить, кого, какую категорию молчальников мы имеем в виду. Ибо молчит, как мы сказали вначале, вся страна, за исключением строителей и подхалимов. Но у молчания есть разная глубина, разная значительность. Я бы сказал, у молчания есть разный язык. Об одном молчании мы знаем, что за ним скрывается. Мы знаем, что такое молчание ненависти или скуки. И тем и другим – а это, может быть, огромное большинство в России, – в сущности, нечего сказать. Одним нужны некоторые эффектные жесты – размозжить голову, например, – другим нужны некоторые полезные вещи – жилплощадь и кровати с шишечками. Да, в сущности, эти категории молчащих находят своих адвокатов и бытописателей. Одна в Солоневичах,другая в Зощенко. Но есть молчание, значение которого для нас неведомо. Мы знаем только, что оно существует и что звук его (звук тишины) на весах вечного бытия России перевешивает весь гром оркестра одной шестой.

Где можно подслушать это молчание? Начну с простейших примеров. Когда мы с негодованием просматриваем списки подписей под очередным иудиным письмом, всегда ли мы обращаем внимание на то, чьих подписей здесь недостает? Мы поражены, видя пропечатанным позор людей, которых привыкла любить и уважать «вся Россия». Поражены, и больше не хотим ничего знать. Ну а те, кто не подписались, кто промолчали? Так ли

их уж мало? И что означает их молчание? Оно означает если не прямую опасность для жизни и свободы, то, во всяком случае, для карьеры. Не подписавшийся человек не может рассчитывать на ответственные места; на водительство в той настоящей стройке, в которой ему, совершенно бескорыстно, наверное, хочется принять участие. Не подписавшийся вычеркивает себя из списка активных, уходит в полуподполье, жертвует драгоценными годами быстро утекающей жизни, которую он мог бы отдать целиком любимому делу, России. Он, может быть, губит свое призвание, свою жизнь, чтобы не совершить этого иудина жеста. А мы не замечаем, сколько самоотвержения погребено в пустом месте, между столбцами газетного листа. На каждое из имен популярных строителей новой культуры можно назвать не одно имя, нам известное, человека, который мог бы быть в первых рядах, а кончает свою жизнь в потемках библиотеки или в канцелярии советского учреждения. Мы знаем философов, ученых, которые не пишут книг, талантливых писателей, которые вдруг умолкли. Преклонимся перед жертвой, которая скрывается за их молчанием, и не будем интерпретировать его в духе культурной контрреволюции.

Среди благородных молчальников есть, конечно, немало людей старых традиций, которые органически не смогли принять новую жизнь и замкнулись в кругу воспоминаний. Это доживающие себя. Их значение исчерпывается поддержанием внешнего культурного преемства между поколениями, что само по себе тоже немаловажно. Но мы знаем среди людей этого круга и таких, для которых опыт грозовых лет не прошел даром. Он очистил и высветлил их культурное и творческое себялюбие, открыл им источники не подозреваемой раньше духовности. Они все простили и ничего не хотят для себя. Им не жаль даже старого, и они живут, поскольку в них сохранилась искра социального служения, лишь верой в воскресение России. Качество новой, открывшейся им духовности нам не ясно – оно, вероятно, различно у разных людей, но будем уверены, что под чудовищным прессом революции эта сдержанная, недоступная слову духовность нагнетается до давления, о котором мы, говорящие и болтающие, не имеем понятия.

Одни ли старики молчат в России? Среди онемевших писателей есть люди совсем молодые, иной традиции, люди Октября, для которых пришла пора задуматься над смыслом жизни. Чудом дошедшие до нас «письма оттуда» рисуют очень молодую культурную среду, которая живет вечными вопросами духа. Может быть, это и не молчальники в полном смысле слова. Может быть, эти юноши, каждый в своей специальности,

математике или теории искусства, пишут книги, как-то выражают себя. Но не до конца. Или говорят за четырьмя стенами, в тесном кругу друзей. Чем дальше идут годы с их охлаждением революционного и вообще социального энтузиазма, тем больше число молодых и на все 100% советских людей, которые ставят себе вечные и такие русские вопросы: зачем жить? что делать? Эти вопросы, может быть, измучат юношу, у которого так мало сил и средств для ответа, доведут его до самоубийства. Но они свидетельствуют о проснувшейся совести. Да и ответы кому-нибудь да откроются. Не свойствен русскому человеку скептицизм. Самое замечательное то, что эти вопросы, в робкой и часто рабьей маскировке, просачиваются в литературу. Иначе быть не может. Не может вся литература великого народа исчерпываться поверхностным социальным заказом. Нужно обладать тонким слухом и свободой от предвзятых идей («паразитов»), что бы подслушать по этому радио голос молчащей России. С большой чуткостью и изощренным литературным слухом у нас несет эту службу Г. В. Адамович: радиотелеграфист, который ловит в океане голос России.

Есть среди молчальников одна категория, самая много численная и лучше других известная: это люди верующие, «церковники», которые и платили, и платят за исповедание (тоже, в сущности, молчаливое) своей веры годами, десятилетиями тюрьмы, ссылки, каторги. Признание их известного социального значения следует видеть в самом факте сохранения властью остатков культа. Но не будем преувеличивать внешнее, социальное значение этого факта. Наблюдатели России последних лет – большинство, иностранцев и русских беженцев оттуда – игнорируют религиозную жизнь. Очевидно, она настолько сжалась, стала уделом такого меньшинства, и притом молчащаго, что поверхностный наблюдатель проходит мимо, не замечая самого явления. Да и как увидеть духовную жизнь, не на ходящую выражения в слове, ничем не воплощенную социально. Ибо открытый культ может быть интерпретирован по-разному, и чаще всего интерпретируется живучестью бытовых традиций в старом, уходящем из жизни поколении.

Но мы можем быть уверены: не бытовые традиции де лают людей мучениками и дают им такую силу духа на каторге и в тюрьме, о которой изредка доходят до нас скудные свидетельства. Христианство в России снова стало той героической верой, какой оно было в Римской империи, в младенческие годы Церкви. Сколько вековой ветоши должно было сгореть в очистительном огне, как обновилось и просияло вечное!

Их мало, этих избранников, но нельзя поверить, чтобы такая вера,

такое горение не имели своего лучеиспускания. Там, где горят эти потаенные огни, там смягчается злоба, расплавляется скука, по-новому освещается созидательная работа и даже – бывало и это – кое-где опускаются руки палача.

Та жизнь духа, которая связана с Церковью, не ограничена никаким культурным или классовым кругом. В этом ее значение если не для настоящего, – то для будущего России. И, конечно, центральный вопрос духовного воскресения России в том, найдут ли утоление новые смутные духовные запросы молодой России в вечном источнике, питавшем доныне духовную жизнь народа.

* * *

Здесь, в эмиграции, в наших расчетах на русское национальное возрождение, мы делаем ставку на один из двух полюсов русского общества: на рабов или на строителей. Первая ставка – на ненависть и разрушение, вторая – на примирение и созидательный труд. Этот выбор, который политически неизбежен, делает вся эмиграция. Он лежит, психологически и морально, в основе нашего разделения на пораженцев и оборонцев, которое уже начинает поглощать все наши политические группировки. По мере того как призрак войны из темных предчувствий вступает в ясный свет исторического дня, выбор становится все неизбежнее. Родина зовет. И выбор простой и ясный. Политику не на кого больше ставить, как на один из двух основных типов русской жизни. Но когда мы углубляемся мыслью в будущее и от завтрашнего дня переходим ко дню послезавтрашнему, когда гадаем о духовном облике России, тогда вспомним о третьем: о бессильных ныне и скрывающихся по пещерам и ущельям» советской жизни, о тех, голос которых не доходит до нас, но которых, поистине, не только Россия, но и «весь мир недостоин»; и на них, неизвестных, с полным сознанием риска поставим свою ставку: ставку Паскаля, ставку веры, – ставку, без которой не для кого и незачем жить.

Защита России

Эмигранты всех времен и народов боролись с оружием в руках против своей родины. Афиняне и спартанцы, гвельфы и гибеллины, французы Великой революции и русские за XIX и XX столетие. Плутарх или Иловайский прославили для нас со школьной скамьи имена великих изменников: Фемистокла, Павзания, Кориолана. У нас князь Курбский и Герцен не колебались идти с врагами России. Мы, кстати, только теперь, в изгнании, вполне оценили значение Курбского, и Герцена для русской национальной чести. Курбский и митрополит Филипп – эмигрант и святой – одни спасают достоинство России в век Ивана Грозного. Нравственный смысл измены, – хотя и трагический – заключается в том, что родина не является высшей святыней: что она должна подчиниться правде, то есть Богу. Западная Церковь, начиная с блаженного Августина, учила о допустимости для христиан принимать участие лишь в справедливой войне. Тем самым суверенитет отечества лишается своей абсолютности. Отсюда один шаг до возможности и даже обязанности бороться против не праведного, беззаконного и тиранического отечества. В средние века, в эпоху христианской культуры, в этом не могло быть сомнений.

Почему же теперь для нас, и христиан, революционеров, измена сталинской России ощущается не только как политическая ошибка, но и как моральный грех? Просто ли это наша дурная русская привычка морализировать политику и употреблять слово «подлец» в смысле английского «достопочтенный джентльмен»? Я думаю, что дело сложнее и что в нас говорит опыт нового чувства России, выношенного в боли и муках последних десятилетий. Это чувство я определил бы, за отсутствием другого слова, как чувство хрупкости России.

Когда человек не молод и уже знает, что в мире есть

защита россии смерть, тогда он относится к любимому существу с бережностью, непонятной для юноши и в которой постоянный страх борется с нежностью. Все старые счеты, незаконченная распря целой жизни, смолкают пред симптомом рокового недуга. В великую войну мы впервые испугались за жизнь России. Раньше мы могли, по политической традиции, говорить о слабости России, повторять слова о «колоссе на глиняных ногах», но в глубине души не верили им. Россия представлялась нам несокрушимо прочной, гранитной, монументальной, в стиле того памятника, который Паоло Трубецкой создал отходящей в вечность эпохе. Не только консерваторы, но и революционеры – мы были

загипнотизированы Александром III. Такую махину – можно ли сдвинуть? Легкая встряска, удар по шее только на пользу сонному великану. За Севастополь – освобождение крестьян, за Порт-Артур – конституция. Баланс казался недурен. Мы не хотели видеть, что сонный великан уже дряхл и что огромная лавина, подточенная подземными водами, готова рухнуть, похоронив под обломками не только самодержавие, но и Россию.

Война раскрыла нам глаза. Такой войны еще не было в истории. Впервые не правительства, не армии, а народы стояли друг против друга. Война на истощение, в которой не мужчины даже, а матери решают дело, вскрыла страшную слабость России. За гнилой властью, за бедной техникой мы увидели народ, который отказался защищать роди ну, народ, который сказал себе: «На что мне Россия? Плевать мне на Россию! У меня один враг – мой буржуй, а я и под немцами проживу». Была еще одна страна, под данные которой рассуждали приблизительно таким же образом. Это была древняя монархия Габсбургов: она не существует более.

В то время, когда национальное сознание казалось умершим в народе русском, все остальные народы рухнувшей Империи переживали бурный экстаз своего национального рождения. Их пробуждение, даже самое существование многих из них, мы так же прозевали, как выветривание русского патриотизма. Нам и в голову не приходило сопоставлять национальную структуру России с Австро-Венгрией. До того мы смотрели на вещи глазами победоносцевской эпохи. 1917 год поставил нас перед вполне реальной возможностью расчленения России. Оно началось, отторгло от России все западные окраины, но было приостановлено неожиданным пробуждением русского революционного патриотизма.

Для миллионов обращенных в нигилистическую веру рабочих и крестьян революция оказалась если не родиной, то центром кристаллизации нового элементарного чувства родины. Россия, освобожденная от буржуев, мужицкая Россия была своя. Ее стоило защищать, хотя и очень еще был слаб инстинкт самозащиты в изъеденном моральной гангреной организме. Новый советский патриотизм есть факт, который бессмысленно отрицать. Это есть единственный шанс на бытие России. Если он будет бит, если народ откажется защищать Россию Сталина, как он отказался защищать Россию Николая II и Россию демократической республики, то для этого народа, вероятно, нет возможностей исторического существования. Придется признать, что Россия исчерпала себя за свой долгий тысячелетний век и, подобно стольким древним государствам и нациям, ляжет под пар на долгий отдых или под вспашку чужих национальных культур.

Еще очень трудно оценить отсюда силу и живучесть нового русского патриотизма. Он очень крепок у молодой русской интеллигенции, у новой знати, управляющей Россией. Но так ли силен он в массах рабочих и крестьян, на спинах которых строится сталинский трон? Это для нас неясно. Сталин сам, в годы колхозного закрепощения, безумно подорвал крестьянский патриотизм, в котором он теперь столь нуждается. Но и сейчас, в горячке индустриального строительства, он губит патриотизм рабочих, на котором создавалась Советская республика. Мы с тревогой и болью следим отсюда за перебоями русского надорванного сердца. Выдержит ли? Выдержит ли оно новое военное напряжение, которое, вероятно, будет тяжелее прежнего, перед лицом опасностей несравненно более грозных?

Эти сомнения еще не безнадежность: вопрос – не отрицание. В России есть силы жизни, которые энергично борются с болезнетворными, смертоносными процессами. Исход не предрешен до конца. Иногда кажется, что чашки весов почти уравновешивают друг друга. Тогда для нас, для жалкой кучки эмигрантов, отрезанных от родины и даже от политического дела, может выпасть страшная роль «по-

защита россии следней соломинки». Такой соломинкой должен ощущать себя каждый из нас. Соломинкой, которая может переломить хребет перегруженной лошади.

Вот почему так не похоже наше время и наши споры на все исторические прецеденты и почему так бессмысленна сейчас политическая арифметика, сложение плюсов и минусов возможных результатов. Там, где одна из возможностей есть смерть России, расчеты смолкают.

Кто не с Россией в эти роковые дни, тот совершает, – может быть, сам того не сознавая – последнее и безвозвратное отречение от нее.

О чем должен помнить возвращенец?

За последнее время вопрос о возвращенчестве приобрел новую остроту. Изменилось нечто и в самом составе возвращенческой среды, и в отношении к ней эмиграции. Раньше мы знали, что в полпредство идут из эмигрантов или люди, безнадежно измученные и отчаявшиеся, или же просто продавшиеся. Раздумывать здесь много не приходилось. Сейчас в Россию потянулась честная молодежь, которая хочет служить родине. Среди них встречаются имена из старшего поколения, которые мы привыкли произносить с уважением. Вместе с тем стала тоньше стена, разделяющая этих людей от эмиграции. Они появляются на кафедре в эмигрантских политических собраниях. К ним начинают относиться, как к некоторому законному течению эмигрантской мысли.

Эта перемена, конечно, связана с теми сдвигами, которые происходят в России. И Россия сейчас приблизилась к нам. И Бухарина мы слушаем уже не так, как слушали бы раньше. Ведя по-прежнему борьбу с диктатурой Сталина, мы стараемся говорить и чувствовать, как бы находясь внутри России. Хотим найти общий язык и в борьбе.

Если эволюция России будет совершаться в сторону роста свободы, то в известные моменты – для одних раньше, для других позже – откроется возможность возвращения. Пока все, что мы можем сказать: момент политического возвращения не наступил ни для одной из общественных групп эмиграции. Я даже думаю, что нет пока и намека на ту эволюцию, которая бы сделала его возможным. Сталин мог изменить коммунизму, стать черносотенцем или шестидесятником, или, что всего ближе к истине, черносотенным шестидесятником, но одним он не грешит – пристрастием к свободе. Он с каждым годом пока закручивает туже свой деспотический режим, меняя его направление. Ему нужны послушные слуги и холопы, а не свободные сотрудники.

О ЧЕМ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ВОЗВРАЩЕНЕЦ? Но политическая эмиграция и беженство не одно и то же. Мы это хорошо знаем. Что невозможно для политиков и граждан, то возможно для рабочих и обывателей. Для этой категории возвращенцев отпущение грехов было дано давно – я говорю о левом нашем лагере. Но так ли просто и легко обстоит дело и с обывателем?

Приходится и здесь различать. Учителю, философу, журналисту нечего делать в нынешнем СССР, для инженера или врача путь открыт – пока, впрочем, теоретически. Для несчастного, затравленного бродяги,

ночующего под мостом (а это наш нансеновский символ), работа в России, хотя бы полуголодная, на полу каторжном заводе, представляется раем. Однако только ли эти профессиональные соображения определяют возвращение беженцев?

Если он не окончательно одурел от чтения «Известий», он должен помнить, что едет не в свободную страну, а в тюрьму. Никакая лояльность, никакая законопослушность не спасут его от неожиданного ареста, ссылки, каторжных работ – без всякой вины и даже видимого основания. Про сто по соображениям высокой политики понадобится на жим винта, определенная цифра жертв или даже бесплатная рабочая сила в лагерях – и он, как бывший эмигрант, один из первых имен в списке. Но он готов на это. Это, может быть, даже жертва, которую он приносит России. Пред этой жертвенностью можно только преклониться.

Но он должен знать и другое. Кроме жертвы и чистых страданий ему придется пройти через унижения. Они начинаются уже здесь. Он должен будет отречься от своих убеждений, подписывать заявления и анкеты, за которые ему придется краснеть. Так как в России курс меняется каждый месяц, в зависимости от прихоти самодержца, то он не знает заранее даже, на каком Евангелии или «Капитале» ему придется присягать и от чего отрекаться завтра. Если он верует в Бога, он должен скрывать свою веру; если у него есть какие-нибудь научные или даже профессиональные взгляды, он должен в любой момент утверждать прямо противоположное, если этого захочет ближайшее начальство. Он готов и на это. Это жертва честью. Советский гражданин не имеет права на личную честь. В традиции русской мысли всегда лежала тенденция недооценки чести. «Полюби нас черненькими». Это связывалось всегда даже с русским смирением. Я не верю, чтобы бесчестное смирение можно было оправдать. Но его можно простить, и простить при одном условии: если оно приемлется от безвыходности страдания.

Но есть еще и третье, о чем должен помнить возвращенец. Ему придется не только лгать и унижаться. Весьма возможно, что он должен будет стать и предателем. Он-то уж в первую голову из советских граждан – он, который должен искупить свое прошлое. И нельзя вперед давать за рок. Кто может поручиться за свои нервы в условиях научно организованных, хотя бы «моральных» пыток? В любой момент, когда понадобится состряпать бумагу, которая отправит его товарища или совсем неизвестного человека на расстрел. Глубочайший имморализм советской системы – не в терроре, а во лжи и предательстве, которые стали нормами, будничным фактом. Последние попытки постановок

стахановских процессов инженеров, последняя травля и доносы со стороны художников, ученых на своих коллег показывают, что система не изменилась. Если идеологические доносы поощряются при свете дня, можно представить себе, что творится в застенках! У советского гражданина нет выхода, кроме петли. Поэтому даже иудин грех отсюда мы не судим. Но свободный человек, который добровольно и заранее соглашается жить в условиях, которые могут принудить его стать Иудой, не заслуживает снисхождения. Никакое служение родине не оправдывает предательства. Никакая родина не стоит этой жертвы. Или можно сказать иначе: принимающие эту жертву духовно губят Россию, растлевают ее.

Граница между грехом личного унижения и предательства малозаметна в теории. Но Достоевский никогда не переступал ее: он мог защищать и любить проститутку, но не пытался оправдать Иуду. Страшно думать, что в России эта граница уже стерлась.

Если представить себе, что может ожидать там юношу, хотя и глупого, но чистого, который, не подозревая правды, хочет ехать служить родине, то всякая слабость и снисхождение с нашей стороны, а тем более умиление перед его энтузиазмом просто отвратительны. Не раскрывая ему глаза, мы сами становимся соучастниками в возможном растлении его души.

Пушкин и освобождение России

Среди тьмы русской жизни, среди казней, предательства, лжи, окутывающей все густой, непроницаемой пеленой, одна мысль сейчас утешает, дает надежду: в России читают Пушкина. Читаютне в порядке юбилейного заказа, наспех, напоказ, для проработки на собраниях. Мы знаем, что читают уже давно, много лет, – читают, как никогда раньше не читали. Пушкин стал любимым народным поэтом.

Или и это ложь, одна из подробностей генеральной линии, и Пушкина навязывают народу, как некогда навязывали Маркса? Мы так часто обманывались, и так трудно что-нибудь разглядеть сквозь советскую ложь, что и эти искусительные мысли приходят в голову. Если бы Сталину не хотелось, чтобы народ читал Пушкина, разве узнали бы мы, что его читают? Сумели бы замолчать, если не заду шить. Если Сталин хочет, чтобы его читали, что стоит ему создать культ Пушкина, подобно тому, как он создает культ стольких эфемерных героев строительства? Но нет, слишком уже вопиюще противоречие между Пушкиным и сталинизмом, чтобы можно было серьезно остановиться на гипотезе обмана. Да, и Сталин хочет нагреть себе руки в огне пушкинской славы. Здесь, в. этой точке, каким-то не постижимым образом сошлись вкусы диктатора и народа. Что же, и здесь, в эмиграции, самые жестокие враги соединяются на этом имени. Лишнее свидетельство пушкинского универсализма.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык.

Через сто лет пророчество поэта исполнилось. Исполни лось с лихвой. Не только назвали, то есть услышали о его имени, но и читают – действительно читают на всех языках России: и финн, и тунгус, и калмык. В этом, может быть, и состоит единственное подлинное достижение революции.

Да, через сто лет Пушкин дошел до народа. Вчерашние крепостные читают «Евгения Онегина» – без зависти и злобы. Современные барышня-крестьянки вздыхают над судьбой Татьяны, а не ее сенных девушек. Совершается преодоление классового сознания; в рабочем, в крестьянине родился человек, и Пушкин стоит у купели крестным отцом.

Почему не сказать и всей правды? С тех пор, как Россия потеряла своего поэта, никогда русская интеллигенция, русское общество не читали его с таким единодушным упоением, с каким должны (мы убеждены в этом) читать его сейчас в России. В XIX веке культ Пушкина теплился в

«часовне» культурного и реакционного меньшинства, почти секты. Для большинства он был слишком далек, классичен, холоден. Изумительная цельность пушкинского мира, едва поэт успел закрыть глаза, была разорвана его наследниками: Гоголем, Лермонтовым, Герценом, Хомяковым. Толстой и Достоевский заставили заглянуть так глубоко в темные извилины человеческой природы, что надолго отбили вкус к «прозрачной ясности». Лишь XX век воскресил Пушкина, – правда, ища в нем своего: своих эстетических и мистических (менее всего нравственных) ценностей... Это был Пушкин, прошедший сквозь Брюсова и Мережковского.

И вот теперь его читают так, как могли читать в 20-х годах прошлого века. С доверчивостью, почти наивной, с восторгом, почти детским, с цельностью восприятия, почти адекватной самому Пушкину. О, конечно, современный читатель – варвар. Он стоит на такой примитивной ступе ни сознания, что Пушкин для него должен быть и труден, и сложен. И все же этот читатель должен быть ближе к Пушкину и пушкинскому веку, чем все, прошедшие через Гоголя и Достоевского.

Дорого дали бы мы, чтобы узнать, что именно пленяет в Пушкине современного русского читателя. Может быть, когда-нибудь и узнаем; но сейчас осуждены на гадания. Мне думается, что в Пушкине сейчас должно нравиться цельное приятие Божьего мира, картины мирного, пре красного быта, амнистия человеку – вне героического напряжения и подвига, – человеку просто, который хочет жить и хотя бы мечтать о счастье. Это значит, не болдинские трагедии, а «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» должны, прежде всего, открывать Пушкина советскому читателю.

За мирным бытом дворянства, давно разрушенных усадеб, встает образ России в ее величии, в ее истории. Пушкин был последним у нас поэтом Империи, и вековая вражда между Империей и русской интеллигенцией немало мешала нам воспринимать Пушкина. Эта преграда пала. Народ, преемник царей, принимает державное наследство исторической славы. Пушкинский Петр, герой государственности и просвещения, должен говорить сердцу новой интеллигенции, строителям новой России. Здесь, вероятно, и есть точка совпадения правящей и трудящейся России в их общей оценке Пушкина.

Пореволюционная Россия явно ближе к XVIII веку, чем XIX-му. Она повторяет не только его уродливые гримасы: обожание техники, власть временщиков, уродливую лесть поэтов («Оды Фелице» и «Рассуждения о пользе стекла»). Дух Империи и дух просвещения – новое соединение государства и культуры, давно разорванных в России, – вот что

перекидывает мост из XVIII века в XX. И Пушкин воз рождается как поэт-завершитель, не зачинатель, как «остальной из стаи славных екатерининских орлов».

Повторяю, мы не знаем, как понимают Пушкина в России, что берут, мимо чего проходят. Но вот на чем нельзя не остановиться. Для Пушкина Империя была связана не только с просвещением, но и со свободой. Пушки» был, всегда сознавал себя певцом свободы. С отроческих лицейских лет и до последнего вздоха (предсмертный «Памятник») он не уставал славить свободу. Менялось ее содержание, революционер превращался в лояльного монархиста, политическая свобода отходила на задний план перед свободой духа, творчества, но в каждый момент своей жизни Пушкин пел свободу. Для него свобода была то же, что дыхание, что жизнь. Неужели в Москве забыли разницу между Пушкиным и Тредьяковским?

Мы читаем, что на Пушкинских празднествах в России принято декламировать «Вольность», «Кинжал», «Послание к Чаадаеву» («Гавриилиада» – слава Богу, вышла из моды).

Неужели за славянизмами полудержавинской речи ни кто в России уже не понимает ее смысла? Никто, так-таки никто, не расшифрует «девы-Эвмениды» и не узнает, кому предназначается ее кинжал? Я убежден, что такие эрудиты найдутся. Но и без комментариев, на слух ясно, что пушкинский кинжал обоюдоострый грозит на обе стороны: царям и Маратам. Как могли это проглядеть в Кремле? Кто это «исчадье мятежей»? О ком это?

Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник.

Пусть никто уже в России не помнит имени Марата (а кажется, ему было посвящено в России немало улиц и площадей). Но разве уж так трудно подставить под это имя его русский эквивалент?

Мы слышали, что в Москве решено восстановить пушкинские строки на его памятнике. Какая смелость! В стране Сталина эти слова будут гореть, как клеймо на лбу каторжника:

Что в мой жестокий век восславил я свободу
(чей это век?)
И милость к падшим призывал.
(Уже не всенародным ли требованием казней?)

Насколько спокойнее для деспота приличная строка Жуковского: «прелестью полезен» – что же, пользу можно извлечь из всего, даже из

Пушкина – до поры до времени. Теряешься в догадках, не зная, как объяснить политическую дерзость реставраторов. Пушкин сам нам подсказывает. В одной из юношеских заметок о Петре Великом он выражается о нем – несправедливо, конечно: «Петр 1 не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество». Только презрением к человечеству – или к русскому народу – можно объяснить пушкинский либерализм Сталина: это быдло никогда не поймет! А что, если поймет? Если Пушкин, наконец, станет «сеятелем свободы» в родной стране?

Февраль и октябрь

Февраль и октябрь – нельзя сказать, чтобы очень приятные месяцы русского года – надолго останутся для России политическими символами. Октябрь будет скоро праздновать двадцатую годовщину своей победы. Февраль уже отметил для себя, в молчании и скорби, двадцатилетие своих несбывшихся надежд. Но, странное дело, побежденный февраль не хочет умирать. И чем дальше идет время, чем более исчерпывает себя и духовно опустошает Октябрь-победитель, тем настойчивее встает вопрос о его преемнике. И Февраль, как легитимный претендент, как «король в изгнании», предъявляет свои права.

В каком смысле можно противопоставлять Февраль и Октябрь? Конечно, не в социологическом анализе русской революции. Исторически они оба входят в этот грандиозный процесс как его моменты. Для историка всегда останется Февраль-зачинатель и Октябрь-завершитель. Завершитель того распада государственной власти, который не в феврале, конечно, начался, но в нем дал свой первый взрыв: свалилась корона. Те же силы, которые вызвали взрыв Февраля, произвели и Октябрь. Самая глубокая и самая простая правда о 1917 годе состоит в том, что народные массы не пожелали продолжать непонятную и ненавистную войну. Лозунг «Долой войну!» все время был самым популярным, самым массовым, хотя и долго заглушался другими на него наброшенными благородными словами. Февральский переворот был произведен петроградским гарнизоном; октябрьский – самовольно демобилизованной армией. Осенью, как и весной, массы дали увлечь себя вождям, с которыми, в сущности, они не имели ничего общего и которые пытались использовать энергию стихийного обвала для своей политической работы. Люди Октября в этом успели потому, что в своем безграничном имморализме открыли все шлюзы низким страстям. Феврадисты говорили о жертвах, о долге, о родине и свободе; октябристы – о прекращении войны, о грабежах, о классовой мести. Психологически борьба была неравная. Лишь позднее Октябрь предъявил свой счет издержек: десятки миллионов трупов и десятки лет нищеты.

Смотря на вещи объективно, двадцать лет спустя, видишь, что другого исхода не было; что при стихийности и страшной силе обвала русской государственности Февраль мог бы совладать с разрушением при одном условии: если бы он во всем поступал, как Октябрь. Временное правительство – всякое правительство 1917 года – могло бы удержаться,

если бы заключило «похабный» мир и отдало высшие классы, от офицерства до интеллигенции, в жертву народной ярости. Вероятно, еще сейчас есть немало черных душ – пореволюционных и контрреволюционных большевиков, – которые не могут простить Февралю того, что он не пошел по этому пути. Но чем бы он тогда отличался от Октября? Экономической программой? Неужели стоило идти на поражение и разгром России, на истребление интеллигенции и торжество Держиморды во имя спасения капитализма?

К чести России и ее интеллигенции, в ее среде не нашлось Растопчиных, бросающих Верещагина на растерзание толпе. Впрочем, такие растопчины-крыленки имелись в изобилии, но русская интеллигенция извергла их из своей среды.

На вопрос, в чем основное различие между Февралем и Октябрем, следует искать ответа не в анализе политических событий и творящих их классов, а в сознании возглавляющих их групп. Есть немало охотников стирать эти различия и видеть в большевиках прямых и достойных за вершителей дела русской интеллигенции. Что они выросли из одного с ней ствола – от Радищева или, скажем, от Гер цена, – это бесспорно. Но уже рано, с 60-х годов, две линии русской революции разошлись достаточно далеко. Нечаев был отвергнут поколением 60-х годов. Ленин был одинок в породившей его социал-демократической среде. Он ненавидел интеллигенцию более страстной ненавистью, чем капитализм или самодержавие. Он должен был искать себе поддержки в людях полу культурных, даже полуграмотных: в Зиновьевых и Сталиных. Между ним и революционной интеллигенцией проведена черта – не его максимализмом (максимализмом нельзя было напугать русскую интеллигенцию), а его абсолютным имморализмом.

Печатью этого имморализма отмечен весь Октябрь и его дело – вплоть до последних трансформаций Сталина. Это нечаевский корень, который принес свой достойный плод в русском варианте фашизма. (Кстати, и весь миро вой фашизм поднялся на ленинских дрожжах.) Февраль не только не породил Октябрь в этом смысле, но в противостоянии ему нашел себя. Если и были в нем, в разных течениях русской интеллигенции, некоторые соблазны им морализма, то они перегорели в очистительном огне испытаний. Остатки разбитой армии духовно не разоружились. Они лишь глубже осознали свое призвание и свою духовную генеалогию. За ними стоит великий XIX век в основной линии русской свободолюбивой и человеколюбивой мысли. А еще глубже – забытые, но еще живые заветы русского деятельного христианства,

прошедшие сквозь разум западного, тоже христианского, гуманизма. Так обнаруживается, что символ Февраля, очищенный от всех случайных исторических наслоений, – есть символ гуманизма, символ деятельного, социального христианства. И, прежде всего символ Свободы.

Все остальное в Феврале – все детали его демократических программ, вся его полуякобинская, полумарксистская фразеология, неуверенная тактика – будут забыты и получат историческую амнистию. Но как забыть, что на рубеже новой исторической эпохи, на рубеже нового «тоталитарного» деспотизма, нависшего над миром, Февраль в последний раз развернул знамя свободы? Настанет время – мы не знаем, близко ли оно, – когда растоптанный, униженный человек (ведь он, в конце концов, не термит, а бессмертный дух!) взбунтуется и потребует своих прав: уже не на пищу, не на спорт, не на зрелища, а на мысль, на свободу, на нравственную ответственность. Это первое пробуждение человека и будет воскресением Февраля – в России. Вероятно, немало времени пройдет, пока духовные принципы свободы найдут свое выражение и в общественной жизни. Для этого и Февралю придется повозиться, как Николаю-угоднику, над завязшей в грязи телегой русского мужика. Придется сделать выводы политического реализма из горького опыта поражений. Новый Февраль будет тверже, суровее. Никто не сможет упрекнуть его в толстовском не противленчестве. Но, обнажая меч власти для обуздания зла, он не забудет, что этот меч поднят, в конечном счете, для защиты человека и стоящей над ним правды. В этом различие между духом Февраля и духом всех Октябрей, абсолютизирующих чисто социальные ценности. Для кого нет ничего выше рабочего класса или Великой России, те не остановятся ни перед чем ради своего идола. Насилие не только не отвратительно для них, но даже является настоящим источником злой радости. Ведь в основе всякого социального коллектива – класса и государства – живет пафос силы, а сила любит ощущать себя в насилии. Вот почему мы видим сейчас, как дух ленинского имморализма оживает в стане реакции. Точно старый большевизм, издыхающий в России Сталина, нашел для себя новую телесную оболочку. Так умирающий Святогор вливает, вместе с могильным дыханием, чудовищную силу свою Илье. В стане контрреволюции происходит настоящий процесс обольшевичения. Мало сказать: все средства хороши. Люди убеждены, что низость или жестокость средств является прямой гарантией успеха. Чем гнуснее, тем надежнее. «Мы не слюнтяи. Для нас перевешать 2–3-5 миллионов – плевое дело». Так растут у пня поваленного Белого движения ядовитые грибы новой все российской Чеки.

От чекистов настоящих и чекистов будущих, от торжествующего и раздавленного насилия да спасут нас, в эти дни траурной памяти о побежденном Феврале 1917 года, стоящие за ним тени подвижников и героев, из века в век проливавших свою кровь за освобождение человека.

Тяга в Россию

Существует ли она? Своевременно ли говорить о ней теперь, когда Россия окутана кровавым пологом и ни один человеческий, то есть подлинно человеческий, голос не слышен оттуда? Как будто надо быть безумцем, чтобы стремиться туда, на свою собственную погибель!

И, тем не менее, я утверждаю, что такие безумцы есть. Быть может, число их немного убыло за последний год, но они существуют и задают нам нелегкую психологическую загадку. Французам дана тут благодарная тема для философствований насчет «ам слав», но можем ли и мы вполне рационально разобраться в этом явлении, не спускаясь в потемки, в извилистые подземные коридоры «славянской» (то есть русской) души?

Есть существенная разница между возвращенчеством старого времени и возвращенчеством последних лет. Когда-то в «союз» шли опустившиеся, потерявшие облик человеческий. Теперь, мы знаем, там есть люди, которые, по крайней мере, сами себя уважают. Возвращенчество приняло с некоторых пор как бы идейный характер. Слово «идейный» плохо выражает его сущность. Дело тут не в идеях, а в иной, конкретной реальности: эта реальность, конечно, родина, Россия. Идеи могут быть те или другие – коммунистические или националистические, но Россия останется – тот костер, на который летят бабочки

Серьезность возвращенчества как явления состоит в том, что небольшое, зарегистрированное ядро – сжегших свои корабли – окружено широким, расплывающимся пятном сочувствующих, вздыхающих, томящихся. Если бы, то была лишь тоска по родине! Кто из нас ее не знает! Но варварский монизм (или следует назвать его тоталитаризмом?) наивной мысли торопится подсказать тождество: Россия Советская Россия большевицкая власть Сталин. Не одни иностранцы ловятся на русскую музыку и пляску. Есть и среди нас люди, которые начинают с умиления перед русской природой, русской молодежью в советских фильмах и кончают – панегириком Сталину. Таким людям не мешают даже казни. Во-первых, сейчас льется больше коммунистическая кровь. Многие испытывают при известиях о московских казнях низкое чувство удовлетворения. Ведь и популярность Грозного в народной традиции (даже научно-исторической!) связана не в малой мере с качеством проливаемой им – боярской – крови. Во-вторых, казни Сталина даже усиливают его политический престиж. Они представляют его бесспорное, – если не единственное – достижение. Перебил стольких людей – и,

казалось бы, сильных людей – и до сих пор сам цел: значит, гений. Так рассуждает детская логика.

Возвращенчество -болезнь русского национального чувства. Главная слабость русского национализма – в его органическом, каком-то животном или растительном натурализме. Растение, вырванное из почвы, засыхает. Человек свободно движется по лицу земли. Но русский чело век все еще слишком похож на растение. Для него родина, прежде всего – не мысль, и даже не слово, а звучание, тембр голоса. Вне этой узкой природной среды трудно жить. Другие народы – греки и римляне, британцы и немцы – смело бросали родину, неся ее богов и культуру в чужие страны. Но для нас и культура, и сама вера кажутся нежизненными без родного чернозема (и краснолесья). Это большая слабость, как бы неразвитость мужественной человечности. Если прибавить к этому привычку к коленопреклоненной позе, то вот уже и почти готовая формула «славянской души» и вместе с тем диагноз русского возвращенчества.

Конечно, иначе приходится судить молодежь, почти де национализированную, о родине не тоскующую, но ищущую приложения своих сил, талантов и дипломов. Здесь все гораздо проще. Юноша предпочитает быть рабом, но по своей специальности, чем безработным на свободе. Окружающая его европейская упадочная культура привила ему изрядную дозу общественного иммoрализма, или, вернее, у него никогда и не рождалось общественного сознания. Можно пожалеть его, но, во всяком случае, пора перестать умиляться над ним. Не стоит искать жертвенности в простом, естественном эгоизме.

Но все же еще раз: каким образом люди, едущие в Россию, старые и молодые, не боятся за свои головы? Жизнь в России так дешева и такая тонкая стенка отделяет благополучие устроенного существования от каторги или подвала ГПУ! Ну и это понять можно. Для молодежи здесь есть элемент риска, почти спортивного, может быть, даже повышающего остроту чувства жизни. Так, вероятно, молодежь в России, с закаленными нервами, ходит весело на краю могилы. Для других, вырванных из почвы и засыхающих, нет выбора: лучше смерть на родине, чем жизнь на чужбине. Здесь все так постыло, что хуже, кажется, быть не может. Тоже типично русская иллюзия – даже не иллюзия, а чувство: хоть гирше, да иныне. Но что можно сказать самоубийце, который находит, что за глоток русского воздуха, за один взгляд на московский переулок – не слишком дорого заплатить и смертью?

И, однако же, мне кажется, что сказать можно, хотя, подходя к этому пункту, я испытываю большое затруднение. По чему-то не раз, говоря об

этом с разными людьми, я наталкивался на непонимание. А между тем мне самому это представляется таким ясным. Дело в том, что едущий в Россию рискует не только своей головой, но и головой других людей. Рискует оказаться предателем и соучастником в их гибели. Мы знаем все, как организуются политические и вредительские процессы в России. Когда нужно погубить человека, требуют оговора его в несуществующих преступлениях от друзей, знакомых, даже незнакомых. Для получения этих оговоров людей арестуют, подвергают моральным пыткам и держат в тюрьме так долго, пока не добьются требуемого лжесвидетельства. Многочисленные оговоры на всех процессах показывают, как могущественны средства воздействия и как трудно им сопротивляться. В России это знают и, вероятно, не осуждают невольных предателей. Не бросаем в них камня и мы. Но совсем иное отношение к связанному по рукам и ногам советскому гражданину, у которого нет выбора, и к эмигранту, который на свободе имеет возможность трезво обсудить все условия своего возвращения и своей жизни в России. Он, конечно, знает об этой роковой возможности.

Вероятно, он не считает себя героем и не может поручиться за свою стойкость на допросах под пыткой. Но он успокаивает себя мыслью, что ведь эти трагедии не так часто случаются, что не всем обывателям, особенно маленьким людям, как он, приходится выступать в иудиной роли. Больше шансов за то, что эта чаша меня минует. Да, конечно, больше шансов. Ну а если все-таки выпадет в лоте рее черный выигрыш? Разве я не несу за него ответственность? Ведь мой выбор был свободен, и я предвидел этот черный шанс. Значит, я заранее согласился – на худой конец – стать предателем, послать в подвал мне неизвестного Х, чтобы подышать перед смертью воздухом России.

У Свифта в «Путешествии Гулливера» изображается фантастическая утопия деспотизма в стране лилипутов. Там, чтобы удостоиться королевской аудиенции, нужно ползти на животе, «лижа прах у подножья трона». Русская утопия рабоче-крестьянского рая прибавила к этому еще одну подробность этикета: доползши до трона, нужно выстрелить в затылок кому-то по указанию церемониймейстера. В стране Сталина это считается простой придворной формальностью.

Но спрашивается: как отнестись к путешественнику, который, зная о порядках в стране московских лилипутов, все же едет туда? Даже если не всякий иностранец, а один из десяти приглашается на высочайшую аудиенцию? Даже если эта страна его родина? «Лизать прах» – свойство человеческое, слишком человеческое. Но стрелять в затылок это уж

чересчур!

Певец империи и свободы

Как не выкинешь слова из песни, так не выкинешь политики из жизни и песен Пушкина. Хотим мы этого или не хотим, но имя Пушкина остается связанным с историей русского политического сознания. В 20-е годы вся либеральная Россия декламировала его революционные стихи. До самой смерти поэт несет последствия юношеских увлечений. Дважды изгнанник, вечный поднадзорный, он оставался в глазах правительства всегда опасным, всегда духовно связанным с ненавистным декабризмом. И как бы ни изменились его взгляды в 30-е годы, на предсмертном своем памятнике он все же высек слова о свободе, им восславленной.

Пушкин-консерватор не менее Пушкина-революционера живет в кругу политических интересов. Его письма, его заметки, исторические темы его произведений об этом свидетельствуют. Конечно, поэт никогда не был политиком (как не был ученым-историком). Но у него был орган политического восприятия, в благороднейшем смысле слова (как и восприятия исторического). Утверждая идеал жреческого, аполитического служения поэта, он наполовину обманывал себя. Он никогда не был тем отрешенным жрецом красоты, каким порой хотел казаться. Он с удовольствием брался за метлу и политической эпиграммы, и журнальной критики. А главное, в нем всегда были живы нравственные основы, из которых вырастают политическая совесть и политическое волнение. Во всяком случае, в его храме Аполлона было два алтаря: России и свободы.

Могло ли быть иначе при его цельности, при его укорененности во всеединстве, выражаясь языком ненавистной ему философии? Пушкин никогда не отъединял своей личности от мира, от России, от народа и государства русского. В то же время его живое нравственное сознание, хотя и подчиненное эстетическому, не позволяло принять все действительное как разумное. Отсюда революционность его юных лет и умеренная оппозиция режиму Николая 1. Но главное, поэт не мог никогда и ни при каких обстоятельствах отречься от того, что составляло основу его духа, – от свободы. Свобода и Россия – это два метафизических корня, из которых вырастает его личность.

Но Россия была дана Пушкину не только в аспекте женственном – природы, народности, как для Некрасова или Блока, но и в мужеском – государства, Империи. С другой стороны, свобода, личная, творческая, стремилась к своему политическому выражению. Так само собой дается одно из главных силовых напряжений пушкинского творчества: Империя и

Свобода.

Замечательно: как только Пушкин закрыл глаза, разрыв Империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали Империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали Империю. Этого само убийственного разлада – духа и сил – не могла выдержать монархическая государственность. Тяжкий обвал императорской России есть, прежде всего, следствие этого внутреннего рака, ее разъедавшего. Консервативная, свободоненавистническая Россия окружала Пушкина в его последние годы; она создавала тот политический воздух, которым он дышал, в котором он порой задыхался. Свободолюбивая, но безгосударственная Россия рождается в те же 30-е годы с кружком Герцена, с письмами Чаадаева. С весьма малой погрешностью можно утверждать: русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина. Вольнодумец, бунтарь, декабрист – Пушкин ни в одно мгновение своей жизни не может быть поставлен в связь с этой замечательной исторической формацией – русской интеллигенцией. Всеми своими корнями он уходит в XVIII век, который им заканчивается. К нему самому можно приложить его любимое имя:

Сей остальной из стаи славных
Екатерининских орлов.

Изучая движение обеих политических тем Пушкина, мы видим, что одна из них не перестает изменяться, постоянно сдвигает свои грани и, в общем, указывает на определенную эволюцию. Выражаясь очень грубо, Пушкин из революционера становится консерватором. 14 декабря 1825 года, столь же грубо, можно считать главной политической вехой на его пути. Мы постараемся лишь показать, что как в декабрьские свои годы Пушкин не походил на классического революционного героя, так и в николаевское время, отрекшись от революции, он не отрекался от свободы. Сама свобода лишь менялась в своем содержании. Зато другая тема, тема Империи, остается неизменной. Это константа его творчества. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два «Воспоминания в Царском Селе». Одно – лицейское 1814 года, то самое, которое он читал на экзамене перед Державиным, другое – 1829 года, по возвращении после долгих лет изгнания в священные сердцу места. При всем огромном различии художественной формы тема не изменилась; остались и те же сочетания образов: «великая жена», Кагульскийпамятник, столь дорогой ему по воспоминаниям отроческой любви.

Увы, промчалися те времена златые,

Когда иод скипетром великий жены
Венчалась славою счастливая Россия, –
вздыхает отрок. И зрелый Пушкин отвечает:
Еще исполнены великою Женою
Ее любимые сады.
Стоят населены чертогами, столпами,
Гробницами друзей, кумирами богов,
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининских орлов.

Героические воспоминания минувшего века окружают детство Пушкина. Летопись побед России воплощается в незабываемых памятниках, рассеянных в чудесных садах Екатерины. Личная биография поэта на заре его жизни сливается с историей России: ее не вырвать из сердца, как первую любовь.

Гроза 1812 года глубоко взволновала царскосельский лицей. Для Пушкина она навсегда осталась источником вдохновения. Но замечательно, что за ней он прозревал век еще более могучий, которого последними отпрысками были герои двенадцатого года. Слагая оды Кутузову, Барклаю де Толли, он их видит на фоне восемнадцатого века. Таков же для него и генерал Раевский – «свидетель екатерининского века» прежде всего и уже потом «памятник двенадцатого года». Пушкин никогда не терял случая собирать живые воспоминания прошлого века – века славы – из уст его последних представителей. Таковы для него старый Раевский, кн. Юсупов, Мордвинов, фрейлина Н. К. Загряжская, разговоры с которой он тщательно записывал.

Нахлынувшие в молодости революционные настроения нисколько не поколебали у Пушкина этого отношения к Империи – не только в прошлом ее великолепии, но и в живой ее традиции, в настоящей борьбе за экспансию. Чрезвычайно интересно изучать то, что можно назвать имперскими концовками в его ранних, так называемых байронических поэмах: в «Кавказском пленнике», в «Цыганах» – там, где мы их менее всего ожидаем. Казалось бы, на Кавказе сочувствие мятежного поэта должны были привлечь вольнолюбивые горцы, отстаивавшие свою свободу от наступающей России. Ведь для пленника в жизни нет ничего выше свободы:

Свобода, он одной тебя
Еще искал в подлунном свете...

Байрон и Вальтер Скотт, конечно, встали бы на сторону горцев. Но Пушкин не мог изменить России. Его сочувствие раздваивается между

черкесами и казаками. Чтобы примирить свое сердце с имперским сознанием – свободу со славой, – он делает русского пленником и подчеркивает жестокость диких сынов Кавказа. Тогда казацкие линии и русские штыки становятся сами символом свободы:

Тропой далекой
Освобожденный пленник шел,
И перед ним уже
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

Не довольствуясь этим завершающим аккордом, поэт слагает в эпилоге гимн завоевателям Кавказа – Цицианову, Котляревскому, Ермолову, не щадя жестоких красок, не смягчая исторической правды. Особенно ужасным встает Котляревский – «бич Кавказа». Стихи, ему посвященные:

Твой ход, как черная зараза, Губил, ничтожил племена,

вызвали в свое время гуманные и справедливые замечания кн. Вяземского: «Мне жаль, что Пушкин окровавил стихи своей повести... Гимн поэта никогда не должен быть славословием резни».

Здесь, несомненно, налицо погрешность против нравственного, а, следовательно, и художественного такта. Это юношеское увлечение насилием в гимне Империи находит свою параллель в оде «Вольность» – гимне свободе.

Зато в зрелых, почти совершенных «Цыганах» «имперская концовка» дает настоящее разрешение пронесшейся буре губительных страстей. Над личной трагедией проносится как примиряющее и возвышающее воспоминание:

В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал...
Где старый наш орел двуглавый
Еще шумит минувшей славой...

В «Полтаве», в «Медном всаднике» тема Империи уже не концовка и не орнамент, она составляет самую душу поэм: заглавия об этом свидетельствуют. В «Полтаве» Петр, истинный ее герой, подавляет своим грозным величием трагических любовников:

Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

Этот памятник с теми же аполлиническими и грозными чертами императора оживает и в петербургской поэме. В «Медном всаднике» не

два действующих лица, как часто утверждали, давая им символическое значение: Петр и Евгений, государство и личность. Из-за них явственно встает образ третьей, безликой силы: это стихия разбушевавшейся Невы, их общий враг, изображению которого посвящена большая часть поэмы. И какое это изображение! Нева кажется почти живой, одушевленной, злой силой:

Осада, приступ! Злые волны,

Как воры, лезут в окна...

Продолжая традиционную символику – законную, ибо Всадник, несомненно, символ Империи, как назвать эту третью силу – стихии? Ясно, что это тот самый змей, которого топчет под своими копытами всадник Фальконета. Но кто он, или что он? Теперь, в свете торжествующей революции, слишком соблазнительно увидеть в этой стихии революцию, обуздываемую царем. Но о какой стихийной революции мог думать Пушкин? Уж конечно, не стихийным было 14 декабря. Пугачевщина скорее напоминает разлив волн. Но и это толкование было бы слишком узким. Для Фальконета, как для людей XVIII века змей означал начало тьмы и косности, с которым борется Петр, скорее всего старую, Московскую Русь. Мы можем расширить это понимание: змей или наводнение – это все иррациональное, слепое в русской жизни, что, обуздываемое Аполлоном, всегда готово прорваться: в сектантстве, в нигилизме, в черносотенстве, в бунте. Русская жизнь и русская государственность – непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл Империи. А Евгений, несчастная жертва борьбы двух начал русской жизни, это не личность, а всего лишь обыватель, гибнущий под копытом коня Империи или в волнах революции.

Конечно, и Всадник Империи имеет в себе нечто демоническое, бесчеловечное:

Ужасен он в окрестной мгле.

Называя его «кумиром», поэт подчеркивает языческую природу государства. Пусть ужасный лик Петра в «Полтаве» божествен:

Он весь как Божия гроза.

Но что это за божество? кто этот «бог браней» со своей благодатью? Не Аполлон ли, раз навсегда смутивший воображение отрока поэта? «Дельфийский идол», «полон гордости ужасной» и дышащий «неземной силой».

Бесполезно было бы до конца этизировать аполлинический эрос Империи, которым живет Пушкин. Мы уже видели срыв военных строф

«Кавказского пленника». Этот срыв неизбежен в песнях войны. На бранном поле Аполлону трудно сохранить благородство своей бесстрастной красоты. Где кровь, там торжествует стихия: «И смерть, и ад со всех сторон». Пушкин любил войну – всегда, от детских лет до смерти. В молодости мечта о военной службе, в тридцать лет, в Эрзерумском походе, мчался – единственный раз в жизни – в казачьем строю против неприятеля. За отсутствием военных впечатлений, всю жизнь возился с оружием, искал в дуэлях волнующих ощущений. Даже Николай Павлович импонировал ему «войной, надежда ми, трудами».

Бесполезно поэтому видеть в Империи Пушкина чистое выражение нравственно-политической воли. Начало правды слишком часто в стихах поэта, – как и в жизни государства, – отступает перед обаянием торжествующей силы. Обе антипольские оды («Клеветникам России» и «Бородинская годовщина») являются ярким воплощением политического аморализма:

Славянские ль ручьи сольются в Русском море,

Оно ль иссякнет?

Это чистый вопрос силы. Самая возможность примирения враждующих славянских народов, возможность их братского общения игнорируется поэтом. И здесь, как в гимнеКотляревскому, Пушкин имеет против себя кн. Вяземского -и А. И. Тургенева. Зато можно представить себе, что былые друзья его – декабристы были бы с ним в этом отношении к польскому восстанию 1830 года. Имперский патриотизм был не менее сильной страстью революционеров 20-х годов, чем самое чувство свободы. Великодушное отношение к Польше императора Александра глубоко их возмущало. В этом нечувствии к Польше, к ее национальной ране, Пушкин, как и декабристы, принадлежал всецело XVIII веку.

Но если это так, если Империю нельзя очистить до значения нравственной силы, не разрушает ли она свободы? Каким образом Пушкин мог совмещать служение этим двум божествам?

Вернемся к «Медному всаднику», который дает ключ к пушкинской Империи. В этой поэме Империя представлена не только Петром, воплощением ее титанической воли, но и Петербургом, его созданием. Незабываемые строфы о Петербурге лучше всего дают возможность понять, что любит Пушкин в «творении Петра». Совестно цитировать то, что мы все помним наизусть, что повторяем ежедневно, как благие чары против тоски и смуты нашей жизни. Но, не цитируя, стоит лишь напомнить, что все волшебство этой северной петербургской красоты заключается в примирении двух противоположных начал: тяжести и строя.

Почти все эпитеты парны, взаимно уравновешивают друг друга: «громады стройные», «строгий, стройный вид», «узор чугунный». Чугун решеток прорезывается легким узором; громады пустынных улиц «ясны», как «светла» игла крепости. Недвижен воздух жестокой зимы, но легок зимой «бег санок» и «ярче роз – девичьи лица». Как торопится Пушкин набросить на гранитную тяжесть своего любимого города прозрачную ясность белых ночей, растворяющих все «громады» ее спящих масс в неземном и призрачном. И даже суровые военные потехи марсовых полей исполнены «стройно-зыблемой», живой «красивостью». Пушкин, как и Николай 1, любил военные парады. Но, несомненно, они должны были по-разному воспринимать их красоту.

Империя, как и ее столица, для Пушкина, с эстетической точки зрения, это, прежде всего лад и строй, окрыленная тяжесть, одухотворенная мощь. Она бесконечно далека от тяжести древних восточных Империй, от ассирийского стиля, в котором, например, послебисмарковская и современная Германия ищет воплотить свой идеал мощи.

Но эта эстетическая стройность Империи получает, – по крайней мере, стремится получить – и свое нравственное выражение. Пушкин по-разному видит Петра. То для него он полубог, или демон, то человек, в котором Пушкин хочет выразить свой идеал светлой человечности. Таков он в «Арапе Петра Великого», таков в мелких пьесах. «Пир Петра Великого» – этоапофез прощения. В стансах 1826 года он «незлобен памятью», «правдой привлек сердца». Но еще более чем правда и милость, подвиг просвещения и культуры составляет для Пушкина, как для людей XVIII века, главный смысл Империи: он «нравы укротил наукой», «он смело сеял просвещенье». Преклонение Пушкина перед культурой, еще ничем не отравленное – ни славянофильскими, ни народническими, ни толстовскими сомнениями, – почти непонятное в наши сумеречные дни, – не менее военной славы приковывало его к XVIII веку. Он готов посвятить неосуществленной Истории Петра Великого свою жизнь. И хотя изучение архивов вскрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он не допускает этим низким истинам омрачить ясность своего творимого Петра – подобно тому, как низость Екатерины, прекрасно ему известная, не пятнает образа «Великой Жены» в его искусстве. Низкие истины остаются на страницах записных книжек. В своей поэзии, включая и прозаическую поэзию, Пушкин чтит в венценосах XVIII века – более в Петре, конечно, – творцов русской славы и русской культуры. Но тогда нет ничего несовместимого между Империей и Свободой. Мы понимаем,

почему Пушкину так легко дался этот синтез, который был почти неосуществим после него. В исторических заметках 1822 года Пушкин выразился о своем императоре: «Петр 1 не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения...» В другом месте назвал его «revolution incarnee» со всей двойственностью смысла, который Пушкин – и мы – вкладываем в это слово.

* * *

Свобода принадлежит к основным стихиям пушкинского творчества и, конечно, его духовного существа. Без свободы немыслим Пушкин, и значение ее выходит далеко за пределы политических настроений поэта. В известном «Демоне» 1823 года Пушкин дает такой инвентарь своих юношеских, – а на самом деле постоянных, всегдашних – святынь:

Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь...

При видимой небрежности этого списка, он отличается исчерпывающей полнотой. Чем больше думаешь, тем больше убеждаешься, что к этим четырем «чувствам» сводится всеоткровенство – это его virtutes cardinales, говоря по-католически. Правда, это еще не весь поэт. Пушкину не чужды и virtutes theologales, на которые он бросает, намек в «Памятнике»: «милость к падшим». Чем дольше Пушкин живет, тем глубже прорастают в нем христианские семена (последние песни «Онегина», «Капитанская дочка»). Но «природный» Пушкин, – иначе говоря, Пушкин, созданный европейским гуманизмом, – живет этими четырьмя заветами: свободой, славой, любовью, вдохновением. Он никогда не изменяет ни одному из них, но если можно говорить об известной иерархичности, то выше других для него свобода и творчество. Он может во имя свободы указать на двери любви:

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица...

И во имя ее же поставить славу рядом с рабством:

Рабства грозный гений
И Славы роковая страсть…

Но никогда, ни на одно мгновение своей жизни Пушкин не может отречься ни от свободы, ни от творчества.

Следя за темой Империи у Пушкина, мы, в сущности, следим за политической проекцией его «славы». Приступая к свободе, не будем сразу ограничивать ее политическими рамками. Движение этой темы у

Пушкина во всей ее пол ноте может многое уяснить и в изменчивой судьбе его политической свободы.

«Свобода», «вольность» «воля»... особенно «свободный», «вольный»... Нет слов, которые чаще бросались бы в глаза при чтении Пушкина. Пожалуй, они встречаются так час то, что мы к ним привыкаем, и они перестают звучать для нас (в этом омертвении привычного совершенства главная причина нередкой у нас холодности к Пушкину). Осознаем ли мы вполне смысл таких строк:

Как вольность, весел их ночлег?..

Чувствуем ли мы всю странность этого образа:

...под отдаленным сводом

Гуляет вольная луна, –

издевающегося над всеми законами астрономии? В невиннейшей «Птичке» способны ли мы, подобно ум ному цензору, разглядеть серьезность и почти религиозную силу пушкинского свободолюбия:

За что на Бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать?

В чем только, в каких образах Пушкин не искал воплощения своей свободы! В вине и пирах, в орле, «вскормлен ном на воле», и в беззаботной «птичке Божией», в волнующемся море (это один из главных ликов свободы) и в линии снеговых гор. Свободе посвящены всецело поэмы (помимо неудавшегося юношеского «Вадима»): «Братья- разбойники», «Кавказский пленник», «Цыган».Из поздних свобода, конечно, одушевляет «Анджело».

Но, в отличие от темы Империи, тема свободы непрестанно движется. Пушкин не только находит все новые ее воплощения – от иных он отрекается, хотя у Пушкина отречение никогда не бесповоротно. За сменой форм ясно изменение в самой природе пушкинской свободы: не только в творчестве, но и в живой личности поэта.

В лицейские и ранние петербургские годы свобода впервые открылась Пушкину в своеволии разгула, за стаканом вина, в ветреном волокитстве, овеянном музой XVIII века. Парни и Богданович стоят, увы, восприемниками свободы Пушкина, как Державин – его Империи. Но уже восходит звезда Шенье, и поэт Вакха и Киприды становится поэтом «Вольности». Юношеский протест против всякой тирании получает свою первую «сублимацию» в политической музе. В сознании юного Пушкина его политические стихи – серьезное служение. В них дышит подлинная страсть, и торжественные классические одежды столь же идут к ним, как и

к революционным композициям Давида. Но у Шенье есть и другой соперник: Байрон. Политическая свобода в лире Пушкина, несомненно, созвучна той мятежной волне страстей, которая владеет им, хотя и не всецело, в начале 20-х годов: тот же взрыв порабощенных чувств, та же суровая энергия, та же мрачность, заволакивающая на время лазурь. В эти годы, на юге, море («свободная стихия») становится символом этой страстной, стихийной свободы, сливаясь с образами Байрона и Наполеона. Но как близок катарсис, аполлиническое очищение от страстей! В «Цыганах» мы имеем замечательное осложнение темы свободы, в которой Пушкин совершает над собой творческий суд: свободу мятежную он судит во имя все той же, но высшей свободы.

Алеко порвал «оковы просвещения», «неволю душных городов», и это первое освобождение – байроническое остается непререкаемым. Он прав в своем бунте против цепей условной цивилизации. Он ищет под степными шатра ми свободы и не находит. Почему? Пушкин верит, или хочет верить, что «бродячая бедность» цыган и есть желанная «воля»:

Здесь люди вольны, небо ясно...

Но этой ясности Алеко не дано. Он несет в себе свою собственную неволю. Он раб страстей:

Но, Боже, как играли страсти
Его послушною душой.

Грех Алеко в «Цыганах» не столько против милосердия, сколько против свободы:

Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли,

Порвавшему оковы закона необходимо второе освобождение – от страстей, на которое Алеко не способен. Способны ли на это сыны степей? Поэту кажется, что да. В цыганской вольности даются два ответа на роковой вопрос: легкость изменчивой Земфиры, этой пушкинской Кармен, и светлая мудрость старика, который из отречения своей жизни выносит то же благословение природной, изменчивой любви:

...вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?

В оптимизме старика цыгана слышатся отзвуки Руссо. Но, отдавая дань и здесь XVIII веку, Пушкин все же сомневается в его правде. Один ли Алеко, чужак, угрожает счастью детей природы? Последние звуки полны безысходного, совершенно античного трагизма:

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Очищение Пушкина от «роковых страстей» протекает параллельно с изживанием революционной страстности. Это первый серьезный кризис его «свободы», о котором дальше. Прощание с морем в 1824 году – не простая раз лука уезжающего на север Пушкина. Это внутреннее прощание с Байроном, революцией – все еще дорогими, но уже отходящими вдаль, но уже невозможными.

С тех пор, на севере, свобода Пушкина все более утрачивает свой страстный, дионисический характер. Она становится трезвее, прохладнее, чище. Она все более означает для Пушкина свободу творческого досуга. Ее все более приходится отстаивать от утилитаризма толпы, от большого света, в который вошел Пушкин. Она расцветает чаще всего осенью; уже не море, а русская деревня, Михайловское, Болдино являются пестунами ее. Свобода Пушкина становится символом независимости. Такова ее, приправленная горечью, последняя декларация (так называемое «ИзПиндемонте»):

Иная, лучшая потребна мне свобода...
Никому
Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать...
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья –
Вот счастье! Вот права...

Но если здесь свобода как бы снижается до себялюбия, до индивидуалистического отъединения от мира людей, то на противоположном полюсе она начинает для Пушкина звучать религиозно. Не смея касаться мимоходом чрезвычайно сложного вопроса о пушкинской религиозности, не могу не отметить, что во всех, не очень частых, высказываниях Пушкина, в которых можно видеть отражение его религиозных настроений, они всегда связаны с ощущением свободы. В этом самое сильное свидетельство о свободе как метафизической основе его жизни. Религия предстоит ему не в образе морального закона, не в зовах таинственного мира и не в эросе сверхземной любви, а в чаянии послед него освобождения.

Так он вздыхает, заглядевшись на монастырь в горах Кавказа (1829):

Туда, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине,
Туда б, в заоблачную келью,

В соседство Бога скрыться мне!

Здесь важна интуиция Пушкина, что Бог живет в царстве свободы и что приближение к Нему освобождает. Переводя из Беньяна (1834) начало его суровой пуританской поэмы, весьма далекой от всякого чувства свободы, Пушкин роняет стих, который, очевидно, имеет для него особое значение:

Как раб, замысливший отчаянный побег, –

для выражения аскетического отречения от мира. Даже перелагая монашескую, покаянную, великопостную молитву, Пушкин вкладывает в нее тот же легкий, освобождающий смысл:

Чтоб сердцем возлетать во области заочны...

И, наконец, накануне смерти, в послании к жене, он оставляет свое последнее завещание свободы, в котором явно сливаются образы беньянского беглеца и монастыря на Кавказе.

На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля,
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых не)

* * *

Вглядимся пристальнее в ту линию, которую на общем фоне пушкинского свободолюбия описывает кривая его политической свободы – свободы, сопряженной с Империей.

Пушкин начинает с гимнов революции. Напрасно трактуют их иногда как вещи слабые и не заслуживающие внимания. «Кинжал» прекрасен, и послание к Чаадаеву при надлежит к лучшим и, что удивительно, совершенно зрелым (1818 г.) созданиям Пушкина. Среди современных им вакхических и вольтерьянских шалостей пера революционные гимны Пушкина поражают своей глубокой серьезностью. Замечательно то, что в них выражается не одно лишь кипение революционных страстей, но явственно дан и их катарсис. Чувствуется, что не Байрон, ааполлинический Шенье и Державин водили пушкинским пером. А за умеряющим влиянием Аполлона как не почувствовать его собственного благородного сердца?

Конечно, срывы есть. Дионисическая стихия мятежа иногда захлестывает, и муза поэта, как в кавказском гимне Цицианову, поет кровь. Строфа из «Вольности» «Самовластительный злодей» и т. д., которая читается теперь как проклятие, исполнившееся через сто лет, конечно, ужасна. Но дочитаем до конца. Поэт, только что выразивший свою радость по поводу убийства Павла, рисует сцену II марта:

О, стыд! О, ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!
Падут бесславные удары –
Погиб увенчанный злодей!

Нравственное сознание торжествует здесь над политическим удовлетворением. Убитый тиран и убийцы-звери одинаково отвратительны поэту. Не находит оправдания в его глазах и казнь Людовика, жертвы предков. Правда, он воспевает кинжал, то есть террор, то есть убийство. Но здесь слабый убивает сильного, свободная личность восстает против тирана. Принимая войну и рыцарский поединок, Пушкин не мог возражать против тираноубийства. Но посмотрите, как нелицеприятно наносит он свои удары. Его герои – Бруг, Шарлотта Корде, Георг Занд. Убийца императора поставлен рядом с убийцей революционного тирана. В «Вольности» на роды и цари одинаково подвластны Закону:

И горе, горе племенам,
Где дремлет он, неосторожно,
Где иль Народу, иль Царям
Законом властвовать возможно!

Призыв к «восстанию рабов», угрозы смертию тиранам кончаются идеалом законной, конституционной монархии:

И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Если это декабризм, то декабризм конституционный, Никиты Муравьева, а не Пестеля.

«Деревня» рисует крепостное рабство в России мрачными, тяжелыми красками. Таким видел его Радищев. Зло действа господ, изображенные здесь, как будто вопиют о мести. Восстание угнетенных было бы в этом случае естественным, даже с художественной точки зрения, разрешением. Но мы знаем, как кончает Пушкин: падением рабства «по манию царя» и зарей «просвещенной свободы». Отметим также, что, хотя Пушкин поет о страданиях народа и грозит его притеснителям, ничто не позволяет назвать его демократом. Свобода его еще не эгоистична, она для всех. Но опасность грозит ей одинаково и от царей, и от самих народов. Для Пушкина драгоценна именно вольность народа, а не его власть. Это чрезвычайно существенно для понимания политической эволюции Пушкина. Его отход от революции вытекает из разочарования не в свободе, а в народе как в недостойном носителе свободы. Мы сказали, что освобождение Пушкина от революционных страстей протекает

параллельно с его очищением от страстей байронических. Байрон был для него и политическим героем, борцом за свободу Греции. Кризис настал, или был ускорен, в связи с политическими событиями в Европе. 1820 год ознаменовался рядом восстаний, угрожавших взорвать реакционный порядок, установленный «Священным Союзом». В Испании, в Неаполе, в Германии происходят народные движения, на которые Пушкин и его друзья отзываются радостными надеждами. В Кишиневе Пушкин сам присутствует при начале греческого восстания и восторженно провожает на войну героев гетерии. Поражение всех этих революционных вспышек оставило в поэте горький осадок. По отношению к грекам оно обострилось еще разочарованием в них как в народе, не достойным великих Предков. В конце 1823 года этот кризис нашел себе горькое и сильное выражение в известных стихах:

Свободы сеятель пустынный,–
Я вышел рано, до звезды.

Пушкин сознает себя сеятелем свободы, серьезно относясь к своему революционному призванию. Но он приходит к сознанию бесполезности своих – и общих – усилий:

Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич!
К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь! Жестокие слова, срывающиеся из-под пера (снова срыв) – не проклятие свободе, а проклятие рабам, не умеющим за нее бороться. Но это поворотный момент. Здесь, а не 14 декабря 1825 года, первое рождение пушкинского консерватизма. Не отрекаясь от идеала свободы, он уже поражен горечью ее неосуществимости. Его консервативное сознание впервые рождается из скептицизма. Это подтверждается обращенным к А. Н. Раевскому «Демоном», написанном в те же дни.

«Неистощимый клеветою» искуситель отрицает все святыни, на которых покоилась религия пушкинского гуманизма:

Он вдохновенье презирал,
Не верил он любви, свободе...

Отрицание свободы для Пушкина равносильно с клеветой на Провидение. И, тем не менее, Пушкин признается, что он подпадает под власть этих искушений («вливая в душу хладный яд»).

Свобода не теряла для Пушкина своей священности в то время, когда

он прощался с ней. Его последнее обращение к морю, как мы указали уже, имеет своей темой свободу, то есть мятежную, революционную стихию, к которой он рвался так страстно – в греческом ли восстании или в декабристском заговоре. Не об этой ли «свободной стихии» Пушкин мечтает, бессознательно (как бы обертоном), говоря о своих несбывшихся надеждах:

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег...

Эта твердая почва, на которой он стоит, -. почва России, быта, консерватизма, – не имеет еще для него ни малейшей прелести. Но свобода неосуществима, и мир постыл – именно потому, что в нем нет места свободе:

Мир опустел...
Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль самовластье, иль тиран.

Эту мысль он повторяет – только с еще большей горечью, на этот раз обращенной к самой изменчивой стихии моря, – в 1826 году в письме к кн. П. А. Вяземскому:

Не славь его! В наш гнусный век
Седой Нептун – земли союзник.
На всех стихиях человек –
Тиран, предатель или узник.

Хорошо известен политический намек, заключающийся в этих словах (слух об аресте Н. И. Тургенева), и совершенно ясно, что, обвиняя море, Пушкин еще не предпочитает ему суши, и что величайшими преступлениями для него являются те, которые совершаются против свободы.

Много лет пройдет, пока в «Медном всаднике» (1832) Пушкин не увидит в ярости бушующей водной стихии злую силу и не станет против нее с Петром:

Да умирится же с тобой
И побежденная стихия!

Что в Пушкине жив, и после прощания с морем, этот свободы, хорошо видно из «Андрея Шенье», написанного им «на суше», в Михайловском, в период «Бориса Годунова» (1825). Это стихотворение совершенно подобно «Вольности» и «Кинжалу» в своей двусторонней направленности против тирании царей и народа. Замечательно, что гибнущий под революционным топором поэт, – а с ним и Пушкин – не смеет бросить обвинения самой

свободе, во имя которой неистовствуют палачи:

Но ты, священная свобода,

Богиня чистая, нет не виновна ты...

В 1825 году Пушкин на распутье. Позади море, юг, революция – перед ним Михайловское, деревня, Россия. Нет сомнения, что его развитие в сторону «свободного консерватизма» было предопределено. Но в этот медленный, органический рост его нового чувства России 14 декабря упало, как молния. Оно сильно запутало и исказило ясность пушкинского пути. Оно заставило поэта принять решение, сделать выбор – для него, быть может, преждевременный. Оно стало исходным пунктом ложного положения, в котором Пушкин мучился всю свою жизнь. Это положение можно было бы охарактеризовать кратко: поднадзорный камер-юнкер – или певец Империи, преследуемый до самого конца за неистребимый дух свободы.

Корни пушкинского консерватизма – вполне предопределенного – многообразны и сложны. В главном он связан, конечно, с «поумнением» Пушкина: с возросшим опытом, с трезвым взглядом на Россию, на ее политические возможности, на роль ее исторической власти. Личный опыт и личный ум при этом оказываются в гармонии с основным и мощным потоком русской мысли. Это течение – от Карамзина к Погодину – легко забывается нами за блестящей вспышкой либерализма 20-х годов. А между тем национально-консервативное течение было, несомненно, и более глубоким и органически выросшим. Оно являлось, прежде всего, реакцией на европеизм XVIII века, могущественно поддержанной атмосферой 1812 года. У его истоков – «История государства Российского», в завершении – русские песни Киреевского, словарь Даля, молодая русская этнография николаевских лет. «Народность» не была только официальным лозунгом гр. Уварова. Она удовлетворяла глубокой национальной потребности общества. И Пушкин принял участие в творческом изучении русской народности как собиратель народных песен, как создатель «Бориса Годунова» и «Русалки». Мы понимаем, почему он был ближе по своим сочувствиям к Карамзину (несмотря на юношескую эпиграмму), чем к Каченовскому, к Погодину, чем к Полевому.

Но к этим органическим и оправданным мотивам историческая случайность (14 декабря) присоединяет другие, менее чистые. С одним мы уже познакомились: это скептицизм. Другой явственно и болезненно для нас встает в его письмах: это его естественная, но отнюдь не героическая потребность – определить как можно скорее свою судьбу, вырваться из Михайловского, покончить с прошлым, вступить с правительством в

лояльные, договорные отношения. Замечательно, что и этот мотив восходит все к той же свободе – на этот раз личной свободе. Пушкин жаждет вырваться из ссылки, какой бы то ни было ценой: не удастся бегство из России, эмиграция – остается договориться с царем. В этих переговорах все преимущества были на стороне императора. Николай 1 показал себя, как в отношениях с декабристами, превосходным актером, и Пушкин запутался в сетях царя.

Есть полная и печальная аналогия между отношением Пушкина к Н. Н. Гончаровой и отношением его к Николаю. Пушкин был прельщен и порабощен навсегда – в одном случае бездушной красотой, в другом – бездушной силой. С доверчивостью и беззащитностью поэта, Пушкин увидел в одной идеал Мадонны, в другом – Великого Петра. И отдал себя обоим добровольно, связав себя словом, обетом верности, обрекавшим его на жизнь, полную терзаний и бессмысленных унижений. Но как понятен источник роковой ошибки. Поэт, наскучивший своей бездомностью и скитальчеством, хочет иметь, родину, семью, быть певцом родной земли и вкусить лояльной, не блуждающей любви. Возьмем первую тему. Доселе он воспевал императоров XVIII века, носите лей свободы, и проклинал царей своего времени – Павла, Александра, изменивших ей. Почему же новый царь не может вернуться к благородной традиции свободолюбивой Империи? Пушкин не изменяет себе, он лишь хочет сковать в одно две свои верности, две политические темы своей музы: Империю и Свободу. «Стансы» Николаю, его поэтический договор с царем, где он предлагает ему идеал Петра, – разве это измена? Пушкин долго живет надежда ми, ловит в словах нового самодержца проблески просвещенной доброй воли; ошибаясь, бранится, будирует, но не разрывает новой лояльности.

Впрочем, отношения Пушкина к Николаю 1 слишком сложны, чтобы их исчерпать в нескольких строках. Столь же сложен, стал образ свободы у Пушкина в последнее десятилетие его жизни. С уверенностью можно сказать, что поэт никогда не изменил ей. Со всей силой он утверждает ее для своего творчества. Тема свободы поэта от «черни», общественного мнения, от властей и народа становится преобладающей в его общественной лирике. Иной раз она звучит лично, эгоистически: «себе лишь одному служить и угождать», иной раз пророчески-самоотверженно. Но рядом с этой личной свободой поэта не умирает, хотя и приглушается, другая, политическая тема. Все чаще она, ни когда не имевшая демократического характера, получает аристократическое обличие. Впрочем, этот аристократический либерализм Пушкина оставил больше следа в его заметках и письмах (рассуждения о дворянстве, замечания вел.

кн. Михаилу Николаевичу о Романовых-niveleurs), чем в поэзии. Нельзя, впрочем, не найти в «Борисе Годунове» отражения собственных политических идей поэта хотя бы в словах фрондирующего Пушкина, его предка, или в по хвалах кн. Курбскому.

Наконец, нельзя не видеть сжатого под очень высоким «имперским» давлением пафоса свободы в пушкинском «Пугачеве». Неслучайно, конечно, Стенька Разин и Пугачев, наряду с Петром Великим, более всего влекли к себе историческую лиру Пушкина. В зрелые годы он никогда не стал бы певцом русского бунта, «бессмысленного и беспощадного». Но он и не пожелал бросить Пугачева под ноги Михельсону и даже Суворову. В «Капитанской дочке» два политических центра: Пугачев и Екатерина, и оба они нарисованы с явным сочувствием. Пушкин, бесспорно, любил Пугачева за то же, за что он любил Байрона и Наполеона: за смелость, за силу, за проблески великодушия. Пугачев, рассказывающий с «диким вдохновением» калмыцкую сказку об орле и вороне: «чем триста лет питаться падалью, лучше один раз напиться живой крови», – это клич к пушкинскому увлечению. Оно порукой за то, что Пушкин, строитель русской Империи, никогда не мог бы сбросить со счетов русской, хотя бы и дикой, воли. Русская воля и западное просвещение проводят грань между пушкинским консерватизмом, его Империей и николаевским или погодинским государством Российским.

Конечно, Пушкин не политик и не всегда сводит концы с концами. Есть у него грехи и прегрешения против свободы – и даже довольно тяжкие. Таково его удовлетворение по поводу закрытия журнала Полевого или защита цензуры в антирадищевских «Мыслях по дороге». Но все эти промахи и обмолвки исчезают перед его основной лояльностью. Никогда, ни единым словом он не предал и не отрекся от друзей своей юности – декабристов, как не отрекся от А. Шенье и от Байрона. Никогда сознательно Пушкин не переходил в стан врагов свободы и не становился певцом реакции. В конце концов кн. Вяземский был совершенно прав, назвав политическое направление зрелого Пушкина «свободным консерватизмом». С именем свободы на устах Пушкин и умер: политической свободы – в своем «Памятнике», духовной – в стихах к жене о «покое и воле». Пусть чаемый им синтез Империи и свободы не осуществился – даже в его творчестве, еще менее – в русской жизни; пусть Российская Империя погибла, не решив этой пушкинской задачи. Она стоит и перед нами, как перед всеми будущими поколениями, теперь еще более трудная, чем когда-либо, но непреложная, неотвратимая. Россия не будет жить, если не исполнит завещания своего поэта, если не

одухотворит тяжесть своей вновь воздвигаемой Империи крылатой свободой.

Письма о русской культуре

§ 1

Русский человек

Начиная свои беседы с читателем о русской культуре, надо условиться, о чем будет речь, чтобы в дебрях частностей не исчезла главная тема. Русская культура, о которой мы будем говорить на этих страницах, это не великое ее прошлое, уже отошедшее в историю. Революция провела между этим прошлым и будущим резкую грань. В сущности, в осмыслении этой грани и состоит наша задача. Будущее скрыто от нас, но именно к нему устремлены наши взоры. Невозможность предсказаний особенно ясна на явлениях духовной культуры. Если это культура, заслуживающая этого имени, то творчество – нового – составляет самое определение ее. Но творчество свободно, не предопределено и, следовательно, непредвидимо. Попробуйте предсказать заранее научное открытие, не говоря уже о художественном произведении. Чем выше оно, тем неожиданнее, удивительнее, чудеснее. Задним числом пытаются «объяснить» его. Но, в сущности, не идут дальше общего его фона, обстановки, в которой оно увидело свет. Его рождение – богочеловеческая тайна.

Но всякое создание культуры имеет этот общий фон, который состоит из традиций, из соединенных усилий на рода, из «общего дела». Взятая из большой дали, культура обнаруживает единство – по крайней мере единство направленности. Так мы можем сказать, даже читая в пере водах: это русский автор, это французский. Лишь об этих общих чертах, общих предпосылках национального стиля и может говорить историк. Лишь в этом общем завтрашний день продолжает вчерашний; здесь возможно если не предвидение, то ожидание.

Русская литература – и русская культура в целом – до революции имела свою направленность. Она обращала к будущему свои определенные вопросы. Но эта нить резко оборвана. Возможно ли связать ее узлом в той точке (1917 г.), где она оборвалась? Я этого не думаю. Признаюсь в своей слабости. Будучи решительным противником политической реставрации, я ничего не имел бы против реставрации культурной. Со всеми своими недостатками, даже пороками, культура старой России мила мне, как и всем людям моего поколения. Нам, привыкшим к ее приволью и благородству, трудно дышать в другом воздухе. Но надо смотреть правде в глаза: мертвого не воскресить. Не

переставая помнить о нем всегда с грустью и нежностью, мы должны жить для живого, для тех детей и внуков, которые, может быть, мало радуют нас, но в которых живет наш род, живет Россия. Будущее России сейчас уже связано не с тем поколением, которое было застигнуто войной 1914 года, а с тем, которое воспитано Октябрьской революцией. О, конечно, и ему предстоит пережить много кризисов, много духовных пере ломов. Но едва ли оно будет выкорчевано с корнем, как наше. Во всяком случае, совершенно не видно, что могло бы сменить его. Ибо это поколение – вся Россия.

Но, разумеется, историк знает, что, как ни резки бывают исторические разрывы революционных эпох, они не в силах уничтожить непрерывности. Сперва подпочвенная, болезненно сжатая, но древняя традиция выходит наружу, сказываясь не столько в реставрациях, сколько в самом модернистском стиле воздвигаемого здания. Однако старина эта бывает не похожа на недавнее, только что убитое прошлое. Из катастрофы встают ожившими гораздо более древние пласты. Можно сказать, пожалуй, что в человеческой истории, как в истории земли, чем древнее, тем тверже: гранит и порфир не легко рассыпаются. Вот почему, не мечтая о воскрешении начал XIX века, мы можем ожидать – и эти ожидания отчасти уже оправдываются – воскрешения старых и даже древних пластов русской культуры. Октябрьское поколение не помнящих родства было бы бессильно что-либо создать, если бы в нем – и в нем также! – не жил гений народа. Вот почему необходимо иметь всегда перед глазами этот фон тысячелетней истории, на котором выделяются взбунтовавшиеся против него, но уже усмиряемые им «октябристы». Эти соображения определяют направление наших поисков. Мы ищем предпосылок будущей культуры России в ее настоящем, стараясь уяснить его в свете прошлого.

§ 1

Первой предпосылкой культуры является сам человек. Мы жадно вглядываемся в черты нового человека, созданного революцией, потому что именно он будет творцом русской культуры. Вглядываемся – и не узнаем его. Первое впечатление – необычайная резкость происшедшей перемены. Кажется, что перед нами совершенно новая нация. Спрашиваешь себя с волнением, и даже мукой: полно, да русский ли это человек? Перебираешь одну за другой черты, которые мы привыкли связывать с русской душевностью, и не находишь их в новом человеке. И вместе с тем сколько новых качеств, которые мы привыкли видеть в чужих, далеких национальных типах. Что осталось от «Святой» и от «вольной» Руси, но также и от Обломова, от «мальчика без штанов» и от

всех положительных и отрицательных воплощений русского национального лица? Мы привыкли думать, что русский человек добр. Во всяком случае, что он умеет жалеть. В русской мучительной, кенотической жалости мы видели основное различие нашего христианского типа от западной моральной установки. Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни и из русского сердца. Поколение, воспитанное революцией, с энергией и даже яростью борется за жизнь, вгрызается чубами не только в гранит науки, но и в горло своего конкурента-товарища. Дружным хором ругательств провожают в тюрьму, а то и в могилу, поскользнувшихся, павших, готовы сами отправить на смерть товарища, что бы занять его место. Жалость для них бранное слово, христианский пережиток. «Злость» – ценное качество, которое стараются в себе развивать. При таких условиях им не трудно быть веселыми. Чужие страдания не отравляют веселья, и новые советские песни, вероятно, не звучат совершенно фальшиво в СССР:

И нигде на свете не умеют,

Как у нас, смеяться и любить...

Мы привыкли считать, что русский человек отличается тонкой духовной организацией (даже в народе): что он «психологичен», чуток, не переносит фальши. Недавние за граничные гастроли Художественного театра показали всему свету, что талантливейшие русские артисты разучились передавать тонкие душевные движения. Им доступно лишь резко очерченное, грубое, патетическое. Самое замечательное, что в этом нет ничего нарочитого. Они хотели бы дать психологическую драму, хотели бы сохранить наследие Станиславского, они еще учатся у старых учителей. Но жизнь сильнее школы. Выйдя из нового поколения, они приносят с собой его бесчувственность, – которая не исключает, конечно, художественной одаренности.

Мы привыкли считать, что русский человек индивидуалист-одиночка, не способный к организации и общему делу. Наши большие люди всегда бунтари и чудаки, идущие своим путем, не подчиняющиеся социальной дисциплине. О чем же говорит техника новых русских актеров, спортивных команд, певческих хоров? Великолепные массовые сцены, слаженность действий, изумительная четкость коллективных движений – при сравнительной бедности личных талантов. Нет гениев, но много талантов, и таланты эти раскрываются в коллективе. Да ведь это почти торжество немецкой «умеренности и аккуратности», хотя в боевых, военных темпах. Русский народ оказывается народом солдат, а не партизанок, команд, «экие», а не искателей, одиночек, бунтарей.

Этот ряд противопоставлений можно было бы продол жить далеко. Оставляю пока без проверки, насколько основательны наши ходячие представления о нас самих. Мы привыкли, как и все народы, глядеться на себя в кривое зеркало. Но факт несомненен: все характеристики русской души, удобные в прошлом, отказываются служить для нового человека. Он совершенно другой, не похожий на предков. В нем скорее можно найти тот культурный тип, в оттолкновении от которого мы всегда искали признак русскости: тип немца, европейца, «мальчика в штанах». Homo Europaeo-Americanus. Это вечное пугало русских славянофилов, от которого они старались уберечь русскую землю, по-видимому, сейчас в ней торжествует. Такое первое впечатление, которое, конечно, нуждается в поверке.

Самый факт необычайно резкого перелома не подлежит сомнению. Недалеко искать и причины его резкости и глубины. Сама по себе революция – и какая! – не могла не перевернуть национального сознания. Ни один народ не выходит из революционной катастрофы таким, каким он вошел в нее. Зачеркивается целая историческая эпоха, с ее опытом, традицией, культурой. Переворачивается новая страница жизни. В России жестокость революционного обвала связана была к тому же с сознательным истреблением старого культурного класса и заменой его новой, из низов поднявшейся интеллигенцией. Второй источник катастрофы, – хотя и совершенно мирный – заключается в чрезвычайно быстром процессе приобщения масс к цивилизации, в ее интернациональных и очень поверхностных слоях: марксизм, дарвинизм, техника. Это, в сущности, процесс рационализации русского сознания, в который народ, то есть низшие слои его, вступил еще с 60-х годов, но который, протекая сперва очень медленно, ускорялся в геометрической прогрессии, пока, наконец, в годы революции не обрушился настоящей лавиной и не похоронил всего, что сохранилось в народной душе от московского православного наследия. Двадцать лет совершили работу столетий. Психологические последствия таких темпов должны быть чрезвычайно тяжкими. Прибавьте к этому и третье, неслыханное и небывалое в истории осложнение: то тали тарное государство, которое решает создать новый тип человека, опираясь на чудовищную монополию воспитания и пропаганды и на подавление всех инородных влияний. Эта задача удалась, – по крайней мере, в отрицательной части: новая интеллигенция, прошедшая через советскую школу и давно уже оттеснившая остатки старой во всех областях культуры и жизни, совершенно не похожа на старую и на тот «старый» народ, из недр

которого она вышла. Новый человек: Europaeo-Americanus.

Что же, значит ли это, что Россия умерла? Что СССР, союз восточноевропейских народов, лишен какой бы то ни было русской национальной окраски и нельзя уже в будущем говорить о русском народе как носителе особой национальной культуры? Заключение поспешное, но вопрос ставится именно так. Как ни дико это звучит для нашего уха, но мы должны иметь мужество смотреть прямо в лицо будущего. Нации не вечны. Тысячелетие, может быть, не слишком ранний срок для смерти нации, хотя мы не знаем никаких законов, определяющих длительность ее жизни. Поищем аналогии в истории – не для того, чтобы грубо применять их к России, но хотя бы для того, чтобы освободиться от предрассудков, от все еще не изжитых, несмотря на все катастрофы, оптимистических иллюзий XIX века.

§ 2

Аналогии бывают разные. Есть и очень успокоительные. Каждая нация проходит через глубокие кризисы, которые радикально меняют ее лицо. Оставаясь в пределах XIX века, как изменилось, и при этом не раз, лицо Германии! Германия романтизма, Германия Бисмарка и Германия Гитлера – кажутся совершенно разными нациями. Русский роман XIX века («Дворянское гнездо») сохранил нам трогательный образ немца: прекраснодушного, чистого сердцем, немножко смешного в своей наивности, преданного музам и мечтам. То было время (или реминисценция времени), когда немец в политике играл роль смешного «Михеля» и раздробленная Германия удовлетворяла свое честолюбие единственно в сфере духа. Столетие от Лессингадо Гегеля, в самом деле, венчало Германию королевой европейской мысли. За элитой мудрецов и поэтов стоял на род – трудолюбивый, честный, лояльный, добродушный. Двадцать лет (1848–1870), и Михель создает Империю. Романтические мечты молодости сданы в архив. Трезвый, практический, с волевым упорством и методичностью, он борется за производство, строит великую науку, колоссальную индустрию, могущественное государство. Надо всем начинает доминировать «воля к власти». Это путь, который в годы великой войны русская интеллигенция грубовато окрестила: от Канта к Круппу. Четыре года (1914–1918) сверхчеловеческого напряжения, и бисмарковский немец погиб. Его сменил немец Гитлера. Неврастеник, фантазер, разучившийся работать методически и отдавшийся во власть фантастической грезы. Судороги насилия он принимает за выражение силы и манию величия – за национальное самосознание. Теперь он презирает интеллектуальный труд и живет лишь пафосом войны. Из всего

великого прошлого Германии ему импонирует только «белокурый зверь» первобытного язычества. Как связать воедино эти три образа Германии? Признаемся в своем бессилии. Ясны те связи, которые идут от дедов к отцам и внукам: Гер мания Бисмарка живет капиталом мысли и трудолюбия, накопленным Михелем. Гитлер взял от отцов «волю к власти» и от дедов романтику иррационального. Но, глядя со стороны, эти три человеческих типа кажутся не имеющими ничего общего. Нужно время, которое успокоит бурю и выявит длительные, устойчивые черты на лице нации. Если... если только нация не погибнет, то есть не разрушится до конца то глубокое и неопределимое единство, которое мы называем немецким народом.

Но пример Германии скорее говорит, – хотя и без особых убедительных доказательств – о прочности национального организма, переживающего бурные катастрофы и болезни роста. Однако судьба современной Европы может навести и на более пессимистические мысли о жизни и смерти наций. Можно говорить о постепенном вывертывании национального своеобразия почти у всех великих западных наций. Современная культура все более сливает многообразие европейских типов в один – европейский. Странно говорить об этом в эпоху обостренного национализма, когда народы Европы все повернулись спиной друг к другу. Но ненависть разделяет часто кровных братьев, ненавидят чаще свое, домашнее, современная национальная ненависть является отражением внутренних политических страстей. Ненависть направлена на народы фашистские, демократические, коммунистические, то есть, в конце концов, на внутренних врагов, на тот политический тип, который хотят истребить в своей собственной стране. Прибавь те противоречия интересов, действительные или мнимые, между государствами (а это не то же, что нации), психологию страха, злопамятства, реванша или самозащиты. Среди сил, разделяющих Европу, я не вижу противоречий национального духа. Вот уже целое столетие, как этот национальный дух разлагался капиталистической научной культурой, общей всему Западу. Более всего денационализации подверглись те классы, которые были носителями новой цивилизации: торгово-промышленная буржуазия, ученая и культуртрегерская интеллигенция, артистическая богема – и, наконец, промышленный пролетариат. Национальное сознание хранилось древней и той большой литературой, которая жила традицией. Борьба между уходящей нацией и торжествующей Америко-Европой не кончена, но победа последней чрезвычайно ускорена революциями последних лет. При этом цели и лозунги революции безразличны: коммунизм в России и

фашизм в Италии (я спрашиваю себя: и расизм в Германии?) имели одинаково денационализирующее действие на подвергшиеся им народы. Все новейшие революции создают один и тот же психологический тип: военно-спортивный, волевой и антиинтеллектуальный, технически ориентированный, строящий иерархию ценностей на примате власти. Этот тип человека есть последний продукт западной цивилизации, продукт перерождения буржуазного индивидуализма. В нем нет ни чего русского, немецкого, итальянского. Особенно горестна и даже трагикомична судьба Италии. Италия дольше других наций сохраняла связь с землей, со средневековым прошлым, великим и своеобразным. Капитализм был бессилен стереть его черты. Понадобилосьмнимонациональная революция Муссолини, чтобы уничтожить старый, благородный народ и превратить его в «потомка римлян», то есть в европо-американца. Характерно это равнодушие, с каким Муссолини разрушает средневековый Рим, чтобы обнажить излюбленные им остатки Рима античного. Но всякому известно, что императорский Рим не имел своей национальной культуры, что между древним Римом и современной Италией нет ничего общего; что наследие Рима досталось не Италии, а всей Европе и что, пожалуй, среди всех европейских наций на римское духовное наследие имеет больше прав Франция. Муссолини разрушил Италию совершенно так же, как Ленин Россию и, может быть, как Гитлер Германию.

Но судьба европейских наций еще не решена. Борьба не кончена; силы духовной реакции еще находят себе опору в пробуждении религиозного чувства, в исторической памяти и"регионализме». Воскрешение к жизни стольких малых наций гальванизирует и старые, одряхлевшие. Исход этого драматического процесса не ясен. Но в прошлом мы имеем примеры гибели наций. Среди них можно найти один необычайно поучительный, – потому что он совершился без катастроф, без завоеваний, с сохранением видимой непрерывности, языковой и политической. У нас видят в языке и государстве чуть ли не исчерпывающую характеристику нации. Ну, так есть, или был, народ, который сохранил и язык, и государство, перестав быть самим собой. Я говорю о греках. Кто серьезно признает в современных греках соотечественников Перикла иСократа? А между тем литературный язык их чрезвычайно близок к классическому. В Византии писали почти чистым греческим языком, конечно с легкими переменами в словаре, но не большими, чем это обычно в многовековой истории единого народа. Римская Империя, в составе которой жили классические греки со II века до Р.Х., не была разрушена. Государство, которое мы называем условно

Византией, само себя называло Римской Империей. А между тем духовный тип византийского грека настолько далек от классического, что их можно просто считать антиподами. Как же, в какой момент времени совершилось перерождение классического типа? Для этого не надо было тысячелетия, процесс совершался гораздо более быстро, хотя и незаметно для современников. В III веке по Р.Х. греческая литература (Плотин) еще бесспорно принадлежит классической древности. В V веке столь же бесспорно – Византии. Перерождение произошло за одно столетие. IV век был временем принятия христианства и острой ориентации Империи. Этих двух чисто духовных факторов было достаточно, что бы породить новый народ из элементов старого, при полном сохранении государства и языковой традиции. Явление поразительное и угрожающее для современной Европы и России. В особенности для России.

Россия переживает сейчас процесс, совершенно подобный константиновской Империи: перемену религии и острую окцидентализацию – в масштабе всенародном. Устоит ли в этом перерождении русский национальный тип – и при каких условиях? Вот вопрос, который нас мучит. Ответ на него может дать только будущее. Сейчас ясно лишь, что борьба за русскую душу не кончена. Может быть, она только еще начинается. Опасность несомненна и грозна. Но то живое, что доле тает до нас из России, не дает права хоронить ее. Русская литература, как бы ни относиться к ней, все-таки русская, а не европейско-американская. И совсем уже русская – песня, которую там поют. Вот почему нельзя сплеча решать вопрос о гибели или перерождении русской нации, а следует более пристально вглядываться в происходящие там глубокие изменения. Полный смысл этих изменений откроется в будущем. Сейчас мы можем лишь спрашивать себя, какие черты «русскости» погибли, какие сохранились в грандиозной катастрофе старой России.

§ 3

Какими словами, в каких понятиях охарактеризовать русскость? Если бесконечно трудно уложить в схему понятий живое многообразие личности, то насколько труднее выразить более сложное многообразие личности коллективной. Оно дано всегда в единстве далеко расходящихся, часто противоречивых индивидуальностей. Покрыть их всех общим знаком невозможно. Что общего у Пушкина, Достоевского, Толстого? Попробуйте вынести общее за скобку – окажется так ничтожно мало, просто пустое место. Но не может быть определения русскости, из которого были бы исключены Пушкин, Достоевский и столько еще других, на них не похожих. Иностранцу легче охватить это общее, которого мы в

себе не замечаем. Но зато почти все слишком общие суждения иностранцев отзываются нестерпимой пошлостью. Таковы и наши собственные оценки французской, немецкой, английской души.

В этом затруднении, – по-видимому, непреодолимом – единственный выход – в отказе от ложного монизма и в изображении коллективной души как единства противоположностей. Чтобы не утонуть в многообразии, можно свести его к полярности двух несводимых далее типов. Схемой личности будет тогда не круг, а эллипсис. Его двоецентриеобразует то напряжение, которое только и делает возможным жизнь и движение непрерывно изменяющегося соборного организма. Все остальное может быть сведено к одному из этих двух центров. В этом есть известное насилие над жизнью, но менее грубое, чем в монистических построениях. При более пристальном рассмотрении каждый из центров национальной души представится нам сложным многоединством. Его, в свою очередь, можно разлагать на составные элементы. Пусть это рабочий прием, но прием, себя оправдывающий. Если он не удовлетворяет нашего – очевидно, неосуществимого – томления по духовно-национальному монизму (который может быть явлен лишь в последней гармонии Царства Божия), зато он хорошо объясняет природу исторического развития.

Если сейчас, в эмиграции, попросить кого-нибудь из рядовых беженцев дать характеристику «русскости», я уверен, что мы получим два прямо противоположных портрета. Стиль этих портретов нередко совпадает с политическим лагерем эмигрантов. Правые и левые видят совершенно иное лицо русского человека и лицо России.

Возьмем левый портрет. Это вечный искатель, энтузиаст, отдающийся всему с жертвенным порывом, но часто меняющий своих богов и кумиров. Беззаветно преданный народу, искусству, идеям – положительно ищущий, за что бы пострадать, за чтобы отдать свою жизнь. Непримиримый враг всякой неправды, всякого компромисса. Максималист в служении идее, он мало замечает землю, не связан с почвой – святой беспочвенник (как и святой бессребреник), в полном смысле слова. Из четырех стихий ему всего ближе огонь, всего дальше земля, которой он хочет служить, мысля свое служение в терминах пламени, расплавленности, пожара. В терминах религиозных, это эсхатологический тип христианства, не имеющий земного града, но взыскующий небесного. Впрочем, именно не небесного, а «нового неба» и «новой земли». Всего отвратительнее для него умеренность и аккуратность, добродетель меры и рассудительности, фарисейство самодовольной культуры. Он вообще холоден к культуре как к царству за конченных форм и мечтает перелить все формы в своем

тигеле. Для него творчество важнее творения, искание ваз нее истины, героическая смерть важнее трудовой жизни. Своим родоначальником он чаще всего считает Белинского, высшим выражением (теперь) – Достоевского. Нетрудно видеть, что этот портрет есть автопортрет русской интеллигенции. Не всего образованного русского класса, а того «ордена», который начал складываться с 30-х годов XIX века.

Однако этот столь юный, последний в русской культуре, интеллигентский слой не лишен совершенно народных корней – или, точнее, соответствий. Потому что здесь мы имеем дело не с прямым влиянием из народной глубины, а с темной, подсознательной игрой народного духа, которая в судьбе отщепенцев и мнимых апатридов повторяет черты иного, очень глубокого и вполне народного лица. Отщепенцы, бегуны, искатели, странники – встречаются не только на верху, но и в низу народной жизни. Их мы видим среди многочисленных сектантов, но также среди еще более многочисленного слоя религиозно обеспокоенных, ищущих, духовно требовательных русских людей. В них живет по преимуществу кенотический и христоцентрический тип русской религиозности, вечно противостоящий в ней бытовому и литургическому ритуализму. Эти кенотические силы народной религиозности были освобождены вместе с расколом XVII века, то есть вместе с утратой церковной цельности. Поиски духовного града начались вместе с сомнениями в безусловном православии московско-петербургского царства. Таким образом, и этот народный тип, столь ярко отраженный русской литературой XIX века, – сравнительно позднее образование – конечно, более старое, чем интеллигенция, но приблизительно совпадающее по времени с Империей. Это не значит, что у него не было истоков в Древней Руси – они были даны в кенотическом типе русской святости, – но в оторванности от почвы, в скитальчестве своем эта духовная формация принадлежит новейшей истории.

Любопытно, что у русской интеллигенции кроме народной параллели есть и другая, все отчетливее проявляющаяся к концу XIX века. Это параллель еврейская. Недаром, начиная с 80-х годов, когда начался еврейский исход из гетто, обозначилось теснейшее слияние русско-еврейской интеллигенции не только в общем революционном деле, но и во всех духовных увлечениях, а главное, в основной жизненной установке: в пламенной беспочвенности и эсхатологическом профетизме. Это была духовная атмосфера, в своей религиозной глубине напоминающаяпервохристианство, но, конечно, лишенная центрального стержня веры и потому способная рождать всевозможные, порой

изуверско-сектантские уклоны. Русские реакционеры правы, когда сближают интеллигенцию с еврейством. Они лишь извращают историческую перспективу, делая еврейство соблазнителем невинных русских юношей. Нет, орден русской интеллигенции давно сложился и вступил в единоборство с самодержавием, когда начался первый, сперва слабый, приток из гетто, притягиваемый духовным сродством. Это именно сродство заставляет близорукого западного наблюдателя рисовать «ame slave» в типично еврейских чертах. Если для многих сионистская работа в Палестине кажется делом русской интеллигенции, то Шпенглер – конечно, ненавистник ее – видит в кружках русской интеллигенции продолжение духа и традиции талмудистов. Да, был такой «особенный еврейско-русский воздух», о котором один еврейский поэт сказал: «Блажен, кто им когда-либо дышал».

И, однако, лишь иностранцу простительно не различать в единстве интеллигентско-сектантского типа славянские и семитические черты. Белинского не примешь за еврея, и о еврействе Достоевского Толстой, конечно, говорил в самом метафорическом смысле. Различие тонкое, но ощутительное, – скорее в стиле, в эстетической оправе, чем в этическом содержании, каковы и все почти национальные различия. Родство интеллигенции с народным сектантством – факт более привычный и сам по себе достаточный для того, чтобы этот интеллигентский тип сделать одной из исторических формаций русской души.

§ 4

Я думаю, многие, и даже не из правых кругов, откажутся видеть в этом интеллигентском типе самое глубокое выражение русскости. И мне самому, когда я на чужбине стараюсь вызвать наиболее чистый образ русского человека, он представляется в иных чертах. Глубокое спокойствие, скорее молчаливость, на поверхности – даже флегма. Органическое отвращение ко всему приподнятому, экзальтированному, к «нервам». Простота, даже утрированная, доходящая до неприятия жеста, «Молчание – золото». Спокойная, уверенная в себе сила. За молчанием чувствуется глубокий, отстоявшийся в крови опыт Востока. Отсюда налет фатализма. Отсюда и юмор, как усмешка над передним планом бытия, над вечно суетящимся, вечно озабоченным разумом. Юмор и сдержанность сближают этот тип русскомсти всего более с англо-саксонским. Кстати говоря, юмор, свойствен в настоящем смысле только англичанам и нам. Толстой и его круг – большой свет Анны Карениной – в Европе только в англо-саксонской стихии чувствуют себя дома. Только ее они способны уважать. Но, конечно, за внешней близостью скрывается очень разный

опыт. Активизм Запада – и фатализм Востока, но и там и здесь буйство стихийных сил, укрощенных вековой дисциплиной.

Мы должны остановиться здесь, не пытаясь утончать нравственный облик этой русскости. Вообще, мне кажется, следует отказаться от слишком определенных нравственных характеристик национальных типов. Добрые и злые, порочные и чистые встречаются всюду, вероятно, в одинаковой пропорции. Все дело в оттенках доброты, чистоты и т. д., в «как», а не «что», то есть скорее в эстетических, в широком смысле, определениях. Добр ли русский человек? Порою – да. И тогда его доброта, соединенная с особой, ему присущей, спокойной мудростью, создает один из самых прекрасных образов Человека. Мы так тоскуем о нем в нашей ущербленности, в одержимости всяких, хотя бы духовных, страстей. Но русский человек может быть часто жесток – мы это хорошо знаем теперь, – и не только в мгновенной вспышке ярости, но и в спокойном бесчувствии, в жесткости эгоизма. Чаще всего он удивляет нас каким-то восточным равнодушием к ближнему, его страданиям, его судьбе, которое может соединяться с большой мягкостью, поверхностной жалостью даже (ср. Каратаева). Есть что-то китайское в том спокойствии, с какой русский крестьянин относится к своей или чужой смерти. Эта мудрость выводит нас за пределы христианства. Толстой глубоко чувствовал дочеловеческие, природные корни этого равнодушия («Три смерти»). Нельзя обобщать также и волевых качеств русского человека. Ленив он или деятелен? Чаще всего мы видели его ленивым; он работает из-под палки или встряхиваясь в последний час и тогда уже не щадит себя, может за несколько дней наверстать упущенное за месяцы безделья. Но видим иногда и людей упорного труда, которые вложили в свое дело огромную сдержанную страсть: таков кулак, изобретатель, ученый, изредка даже администратор. Рыхлая народная масса охотно отдает руководить собой этому крепкому «отбору», хотя редко его уважает. Без этого жестко-волевого типа создание Империи и даже государства Московского было бы немыслимо.

Заговорив о Московском государстве, мы даем ключ к разгадке второго типа русскости. Это московский человек, каким его выковала тяжелая историческая судьба. Два или три века мяли суровые руки славянское тесто, били, лома ли, обламывали непокорную стихию и выковали форму необычайно стойкую. Петровская Империя прикрыла сверху европейской культурой Московское царство, но держаться она могла все-таки лишь на московском человеке. К этому типу принадлежат все классы, мало затронутые петербургской культурой. Все духовенство и купечество, все хозяйственное крестьянство («Хорь» у Тургенева),

поскольку оно не подтачивается снизу духом бродяжничества или странничества. Его мы узнаем, наконец, и в большой русской литературе, хотя здесь он явно оттеснен новыми духовными образованиями. Всего лучше отражает его почвенная литература – Аксаков, Лесков, Мельников, Мамин-Сибиряк. И, конечно, Толстой, который сам цели ком не укладывается в московский тип, но все же из него вырастает, его любит и подчас идеализирует. Каратаев, Кутузов, Левин-помещик – все это москвичи, как и капитан Миронов и Максим Максимович – пережившие петровский переворот московские служилые люди. Николаевский служака, которому так не повезло в обличительной литера туре, представляет последний слой московской формации. Мы встречаем его и на верхах культуры: Посошков, Болотов (мемуарист), семья Аксаковых, Забелин, Ключевский и Менделеев, Суриков и Мусоргский – берем имена наудачу – все это настоящие москвичи. Здесь источник русской дворянческой силы, которая, однако же, как и все слишком национальное («истинно русское»), не лишена узости. Узость Толстого и Мусоргского может принимать даже трагические формы.

§ 5

Таковы два полярных типа русскости, борьба которых главным образом обусловила драматизм XIX века. В них можно видеть выражение основного дуализма, присущего русской душе. Но это лишь последнее во времени, исторически обусловленное выражение этого дуализма. В культурных напластованиях русской души это ее московский слой и тот последний, «интеллигентский», который рождается с 30-х годов прошлого века. Но этот исторический подход к проблеме русской души сам по себе уже указывает на необходимость выйти за пределы установленного на ми дуализма. Между Москвой и интеллигенцией лежит Империя. Да и не с Москвы началась Россия. Где же среди нас русский человек Киево-Новгородской Руси?

Когда мы, вслед за Достоевским и ориентируясь на Пушкина, повторяем, что русский человек универсален и что в этом его главное национальное призвание, мы, в сущности, говорим об Империи. Ни московскому человеку, ни настоящему интеллигенту не свойственна универсальность. Но Петровская реформа действительно вывела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев. Их отличает прежде всего, свобода и широта духа – отличает не только от москвичей, но и от настоящих западных европейцев. В течение долгого времени Европа как целое жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки, чем

на берегах Сены, Темзы или Шпрее. Легенда о том, что русский человек необыкновенно способен к иностранным языкам, создана именно об этой имперской, дворянской формации. Простой русский человек – москвич, как и интеллигент – удивительно бездарен к иностранным языкам, как и вообще не способен входить в чужую среду, акклиматизироваться на чужбине. Русский европеец был дома везде.

За два века своего существования он нам знаком в двух воплощениях – скитальца и строителя. Противоречие между всей шкалой оценок старой русской и новой западной жизни рождает скептицизм, поверхностность или преждевременную усталость. Начиная с петиметров XVIII века, «душою принадлежащих короне французской», через Онегиных, Рудиных и Райских – цепь лишних людей проходит через русскую литературу. Еще недавно в них принято было видеть основное течение русской жизни. Это колоссальное недоразумение, род историко-литературной аберрации. Мы знаем и другой тип русского европейца – того, который не потерял силы характера московского человека, связи с родиной, а иногда и веры отцов. Именно эти люди строили Империю, воевали и законодательство вали, насаждали просвещение. Это подлинные «птенцы гнезда Петрова», хотя справедливость требует признать, что родились они на свет еще до Петра. Их генеалогия начинается с боярина Матвеева, Ордина-Нащокина – быть может, даже с Курбского. Их кульминация падает на век Александра. Тогда они занимали почти все правительственные посты, и между властью и культурой не было разрыва. Пушкин, «певец империи и свободы», был послед ним великим выражением этого имперского типа. Но он не исчез вполне и после николаевского разрыва между монархией и культурой. В эпоху великих реформ, на короткое время, европейцы опять стали у власти. Мы еще видели «последних могикан» в Сенате, в Государственном Совете, при двух последних императорах, когда, оттесненные от власти и влияния, они хранили свой богатый опыт, свою политическую мудрость, – увы, уже ненужную для вырождающейся династии. Но ниже, в управлении и суде, во всех либеральных профессиях, в земстве и, конечно, прежде всего в Университете, европейцы выносили главным образом всю тяжесть мучительной в России культурной работы. Почти всегда они уходили от политики, чтобы сохранить свои силы для единственно возможного дела. Отсюда их непопулярность в стране, живущей в течение поколений испарениями гражданской войны. Но в каждом городе, в каждом уезде остались следы этих культурных подвижников – где школа или научное общество, где культурное хозяйство или просто память о бескорыстном враче, о гуманном судье, о благородном человеке. Это они не давали

России застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу в костер. Если москвич держал на своем хребте Россию, то русский европеец ее строил. Но, в сущности, как мы сказали, творческий или трудовой тип европейца вырастал сам на московском корню. Пусть в жизни ему приходилось всего больше бороться с косностью и ленью москвичей, у него с ними была общность нравственного идела,была общая любовь к родной стране и к ее «душе». История Ключевского и русская музыка были его связью с Москвой. Там, где это выветривалось, европеец превращался в перекати-поле, теряя способность к созидательной работе. При иных условиях он мог превратиться в интеллигента – это верхний, дворянский исток интеллигенции, весьма отличный от демократического. Но пока он стоял на трудовом посту, он был верен России и ее московскому завету служения. Как раз в начале XX века – с особой силой после первой революции 1905 года – русский европеец, человек культуры начал стремительно разрастаться за счет интеллигенции. Могло казаться, что ему принадлежит будущее. Судьба сулила иное...

§ 6

Что в русском человеке отнести на долю «удельно-вечевой» Руси? Сознавая всю произвольность и даже фантастичность дальнейшего анализа, решимся все-таки сказать: ту сторону русской натуры, которую мы называем ее «широтой», ее вольность, ее бунтарство – не идейное или сектантское бунтарство, – а органическую нелюбовь ко всякой законченности формы. Русское сердце и поныне откликается на древнюю русскую летопись, на «Слово о полку Игореве». Можно смело сказать, что не суровые строители земли, не государственные люди, а князья-витязи, Мстиславы Удалые, викинг Святослав, новгородская вольница – говорят всего непосредственнее русскому национальному чувству. Москве не удалось, как известно, до конца дисциплинировать славянскую вольницу. Она вылилась в казачестве, в бунтах, в XIX веке она находит себе исход в кутежах и разгуле, в фантастическом прожигании жизни, безалаберности и артистизме русской натуры. В цыганской песне и пляске эта сторона русской души получает наиболее адекватное выражение. Если порою русский разгул бывает, тяжел и мрачен – тут сказались и татарская кровь, и московский гнет, – то часто он весел, щедр, великодушен. Таков разгул Пушкина, соединявшего европеизм с русской вольной волей. Много талантливых русских людей стало жертвой своей натуры (Ап. Григорьев), но до сих пор эта черта, если она хоть сколько-нибудь умерена дисциплиной и культурой, неотъемлема от русского гения. «Люблю

пьяных», – как-то против воли вырвалось у Толстого.

Мрачность и детскость и здесь поляризуют русскую вольность. И в детской резвости, в юношеской щедрости, в искрящемся веселье – русская душа, быть может, всего привлекательнее. Нельзя забывать лишь одного. Эта веселость мимолетна, безотчетная радость не способна удовлетворить русского человека надолго. Кончает он всегда серьезно, трагически. Если не остепенится вовремя (по-московски), кончает гибелью – или клобуком...

Возможно ли заглянуть еще глубже в русскую душу, за Киев и Новгород, за грани истории? Снимая, как с луковицы, слой за слоем культурно-исторические пласты, найдем ли мы в русском человеке основное, неразложимое ядро? Может быть, вопрос поставлен неправильно. Национальная душа не дана в истории. Этническая психея служит лишь сырым материалом для нее, да и психей этих множество: славяне, фины, тюрки – все отложились в русской душе. Нация не дерево и не животное, которое в семени несет все свои возможности. Нацию лучше сравнить с музыкальным или поэтическим произведеньем, в котором первые такты или строки вовсе не обязательно выражают главную тему. Эта тема иногда раскрывается лишь в конце. Может быть, XIX век более национален в этом смысле (как откровение слова), чем Киев или Москва. Нисколько не предполагая, чтобы в славянском язычестве была заложена идея русскости(где здесь отличие восточных славян от южных, то есть русских от болгар и сербов?), стоит все же всматриваться в эту таинственную глубь. Мы лучше всех культурных народов сохранили природные, дохристианские основы народ ной души. На дне величайших созданий русского слова открывается нечто общее с примитивом народного фольклора. Тютчев, Толстой и Розанов как бы дистиллируют, перегоняя в приборах высокого духовного напряжения, первобытную материю русского язычества.

Где искать ключа к нему? В этой статье мы не можем идти дальше намеков, первых ступеней, ведущих в подземные галереи русской души. Недавно В. В. Вейдле («Совр. зап.» № 64)[136] пытался нащупать – правильно, по-моему, – эту русскую стихию в родном начале. Русский славянин и в XIX веке еще не оторвался вполне от матери-земли. Его сращенность с природой делает трудным и странным личное существование. Природа для него не пейзаж, не обстановка быта и, уж конечно, не объект завоевания. Он погружен в нее, как в материнское лоно, ощущает ее всем своим существом, без нее засыхает, не может жить. Он не осознал еще ужаса ее безжалостной красоты, ужаса смерти, потому

что в нем нечему умирать. Все то, что в человеке есть ценного и высокого, – это общее, родное, неистребимое. А личное не стоит бессмертия. Моральный закон личности, ее право на свою совесть, на свое самоопределение просто не существует перед законом жизни. В нравственной сфере это создает этику мира, коллектива, круговой поруки. В искусстве – громадную чувственную силу восприятия и внушения (от Геи-земли), при большой слабости формы, личного творческого замысла. В познании, разумеется, – иррационализм и вера в интуицию. В труде и общественной жизни – недоверие к плану, системе, организации и т.д., и т.д. Славянофильский идеал – при всем своем сознательном христианстве – весьма сильно пропитан этими языческими переживаниями славянской психеи. Зато и в народном быте она нам дана уже сущностью православия. На самом деле она ничего общего с христианством не имеет и уводит нас скорее далеко на Восток. Еще шаг, и мы уже в Индии с ее окончательным провалом личности.

Но можно спросить себя: где же в этой исторически- слоевой схеме русской души ее христианский, православный слой? Но все дело в том, что и этот слой не один, и есть столько же типов русского христианства, сколько исторических типов русского человека, а может быть, и еще больше. Если каждый народ по-своему переживает христианство, то и каждый культурный слой народа имеет свой ключ к христианству или, по крайней мере, свои оттенки. Впрочем, в русской душе не приходится говорить об оттенках: все противоречия ее встают в необычайной обостренности. Попробуйте выразить одной формулой религиозность преп. Сергия и прот. Аввакума, митр. Филарета и Достоевского. А что, если прибавить сюда православный фольклор и религию Толстого? Есть мнение, широко распространенное, что русский на род отличается от других народов Европы особой силой своей религиозности. На самом деле это впечатление объясняется тем, что XIX век застает Россию и Европу на разных актах религиозно-исторической драмы. В России – в народных слоях ее – средневековье удержалось до середины XIX века. Европа XIV-XV столетий представляла бы более близкую аналогию императорской России. Но зато и крушение русского средневековья особенно бурно и разрушительно. В отношении к религии масс и интеллигенции сейчас уже нет заметной разницы между Россией и Европой.

Такова наша схема. Грубая и недостаточная, как и все схема вообще. Ее можно усовершенствовать, развивая в деталях. Но тогда, пожалуй, лес исчезнет за деревьями. Думается, что для поставленной нами цели – для определения предпосылок пореволюционной культуры, историческая

схема русского человека плодотворнее, экономичнее «онтологических» или «феноменологических» схем. Ее достоинство, по крайней мере, в том, что она не грешит всегда соблазнительным монизмом.

§ 7

Теперь мы можем подойти к ответу на основной вопрос: что, какие исторические пласты в русском человеке разрушены революцией, какие переживут ее? Ответ, в сущности, ясен из предыдущего. Истребление старого, культурного слоя и уничтожение источников, его питавших, должно было снять в духовном строении русского общества два самых верхних его слоя. Имперский человек и интеллигент погибли вместе с «буржуазией», то есть с верхним этажом старого общества. Что касается имперского типа, человека универсальной культуры, то остатки его еще сохраняются в рядах «спецов». С некоторого времени власть спохватилась, что истребление высшего культурного слоя наносит непоправимый урон технике. За оставшимися стариками стали уха живать. Но в них ценили именно узких специалистов: как выразился один неглупый человек, заколачивали гвозди золотыми часами. Их широкая культура, никому не нужная, даже оскорбительная для нового правящего слоя, доживает в пределах чрезвычайно малых кружков и даже семейств. Новый образованный класс дает исключительно спецов, лишенных часто самых элементарных основ общей культуры (даже грамотности). С другой стороны, никогда, со времен Московского царства, Россия не была отгорожена от Европы такой высокой стеной. Эта стена создана не только цензурой и запретом свободного выезда, но и необычайным национальным самомнением, прямым презрением к буржуазной, «догнивающей» Европе. В этом существенная разница между полуграмотной, технической интеллигенцией Петра и такой же интеллигенцией Сталина... Сталинская повернулась спиной к Европе и, следовательно, добровольно пресекла линию русского «универсального» человека.

Сложнее была судьба интеллигенции в узком смысле слова. Прежде всего этот класс, во всей ярости своего необычайного типа, не дожил даже до революции. После 1905 года он быстро разлагался, сливаясь с «культурным» слоем. Он не мог пережить крушения политической мистики, профанированной жалким русским конституционализмом; новая блестящая религиозно-философская культура русского ренессанса XX века, лишенная всякого этического пафоса, деморализовала его своими соблазнами. Война вовлекла его в поток нового для него национального сознания. В 1917 году революционный энтузиазм интеллигенции был подогретым блюдом. Его корни были неглубоки, и объем этой социальной

группы – единственный, на которую могло вполне опереться Временное правительство, – очень сжался. Октябрьский переворот ударил по ней всей своей тяжестью. Принципиальные, непримиримые – они никак не могли принять торжествующего насилия. Неудивительно, что в борьбе с ним они истекали кровью. Уцелевшие были выброшены в эмиграцию, заполнили советские тюрьмы и концлагеря. Немногие сумели приспособиться к условиям советской службы и, превратившись в спецов, утратили постепенно всякое орденское обличие. Мельница звериного быта молола неумолимо. С волками жить – по-волчьи выть. Кто не мог приспособиться, выбрасывался из жизни. Новая интеллигенция, приходящая на смену, органически предана советскому строю, чувствует свою кровную связь с народом и с правящим классом, а потому даже в оппозиционности своей – скажем даже, предвосхищая будущее, даже в революционной борьбе с властью – не может переродиться в тот беспочвенно-идейный, максималистический и эсхатологический тип – не говоря уж об орде не, – который мы называем русской интеллигенцией.

Однако этот погибший тип не остался вовсе без преемника. Сектантство и духовное странничество не умерли в народе, как об этом свидетельствует настойчиво безбожная пресса. Революция вызвала к жизни даже новые сектантские – почти всегда эсхатологические – образования. С другой стороны, часть старой интеллигенции нашла свою духовную почву в Церкви. Здесь последние остатки разбитого ордена могли утолить свою духовную жажду из того источника, который тайно и породил ее. В Церкви они сохранили, конечно, свои психологические черты: беспокойство и максимализм, жажду целостной, святой жизни. Здесь они оказались на одной почве с народным странничеством. Нужно помнить, что духовные границы между Церковью и сектантством после революции пролегают иначе, чем прежде. Гонения сблизили, психологически, разные исповедания. То, что осталось от старого ордена, – есть фермент для брожения всей религиозной массы. Но пока эта сила совершенно выброшена из культурного строительства или добровольно ушла из него. Для сегодняшнего дня русской культуры можно считать интеллигентский тип совершенно вымершим.

Остается московский человек с его непреодоленными, в нем живущими предками. Народные массы, из которых продуцируется в советской школе новый человек, до самого последнего времени жили в московском быте и сознании. Самая радикальная идеологическая катастрофа не в силах пересоздать душевного склада. В интернационалисте, марксисте и т.д.– кто бы он ни был – нетрудно узнать

деревенского и рабочего парня, каким мы помним его в начале века. Как ни парадоксально это звучит, но homo Europaeo-Americanus оказывается ближе к старой Москве, чем к недавнему Петербургу. Парадокс разрешается очень просто. Homo Europaeo-Americanus менее всего является наследником великого богатства европейской культуры. Придя в Европу в период ее варваризации, он усвоил последнее, чрезвычайно суженное содержание ее цивилизации – спортивно-технически военный быт. Технический и спортивный дикарь нашего времени – продукт распада очень старых культур и в то же время приобщения к цивилизации новых варваров. Москвичу, благополучно отсидевшемуся в русской деревне от двухвековой имперской куль туры, не нужно делать над собой никакого нравственного насилия, чтобы идти в ногу с европейцами, проклявшими как раз последние века своей культуры. Удивительнее может показаться легкость религиозного отречения. Но это особая, очень трудная тема. В остальном московского парня нужно было только размять, встряхнуть хорошенько, погонять на корде, чтобы сбить с него старую лень и мешковатость. То, что делала с новобранцем старая казарма, то делают теперь партия и комсомол: тренируют увальней и превращают их в дисциплинированных солдат. Для дисциплины – особенно военной – московский человек дает необыкновенно пригодный материал. Из него строилась старая, императорская армия, лучшая в мире, быть может, по качеству своей «живой силы». Вековая привычка к повиновению, слабое развитие личного сознания, потребности к свободе и легкость жизни в коллективе, «в службе и в тягле» – вот что роднит советского человека со старой Москвой. Москва была не бедна социальными энергиями – скорее наоборот, они заглушали в ней все личное: недаром государственное хозяйство Москвы носило полусоциалистический характер. Теперь Сталин и сознательно строит свою власть на преемстве от русских царей и атаманов. Царь-Пугачев... Перенесение столицы назад в Москву есть акт символический. Революция не погубила русского национального типа, но страшно обеднила и искалечила его.

Русская вольница, конечно, неистребима. Жила она в царской Москве, живет и в сталинской. Она прошумела бунтом первых лет революции, она кричит о себе разгулом, все время подрывающим основы коммунистической дисциплины, она живет в беззаветной удали русских летчиков, полярных исследователей. Все то, чем красна сейчас русская жизнь и русское искусство, напоминает о героических веках русского прошлого. Русская вольность – не то что свобода, но она спасает лицо современной России от всеобщего и однообразного клейма рабства.

Натуры сильные ищут и находят выход своим силам. Наличие этих сил может давать надежду – сейчас еще далекую – на освобождение.

Но сохранились ли самые глубокие – славянско-языческие пласты русской души? Этого мы не знаем. Могучий процесс рационализации убивает безжалостно все подсознательно-стихийное, засыпает все глубокие колодцы, делает русского человека поверхностным и прозрачным. Но до конца ли? Нет ли таких медвежьих углов, где еще живут старые поверия, не порвалась древняя связь с землей? Ведь сохранилось же знахарство и шаманство – о чем нам время от времени сообщает советская этнография. Почему же не сохраниться более смутным и тонким комплексам родовой пантеистической душевности? Знаем, что кое-что сохранилось, что недаром пишет Пришвин, – кто-то дол жен сочувственно читать его. Но не знаем, достаточно ли это сохранившееся, чтобы по-прежнему питать большую русскую литературу. Ибо в этом вся значительность этого темного, русского пятна. Исчезнет оно, и русская литература, может быть, навсегда утратит свои подземные ключи, свою глубину. Лишенная чувства формы, она никогда не сможет стать чем-либо, подобным латинскому и французскому гению – культурой законченного совершенства. Ее путь другой. Даже духовная глубина Достоевского приоткрывает карамазовскую и шатовскую глубину – земли...

К сожалению, наш вопрос остается без ответа. И на этом безответном вопросе мы должны поставить точку – или многоточие – в предварительных поисках пореволюционного человека как основы будущей русской культуры.

Завтрашний день

(Письма о русской культуре)

На чем основано убеждение многих из нас, что на другой день после революции русская культура должна пережить небывалый расцвет? На анализе настоящего, на исторических аналогиях? Или на любви, которая «всему верит», которая живет мифами – мифами прошлого и будущего, на вере в чудо, которая одна, для слабых душ, способна дать силы жить?

Кажется, довольно мы жили иллюзиями и дорого заплатили за них. Если все пережитые испытания, гибель нашей России и нашей Европы не способны излечить нас от иллюзий, значит, зря мы были приглашены на «пир небожителей». Ничего не забыли, ничему не научились. Иллюзии двигают миром? Да, бесспорно. Но на его погибель. Сейчас, куда ни посмотришь, видишь марширующие миллионы, готовые поджечь мир с четырех концов и уже начавших грандиозное разрушение во имя соблазнительной и лживой мечты. Они все в бреду великих иллюзий, во власти мании величия. Конечно, истина тоже нуждается в батальонах, которые сражались бы и умирали за нее. Но вера, движущая ее бойцов, иного качества. Jeunesse catholigue чем-то в духовном складе, а не только в содержании credo, отличается от молодежи коммунистической или фашистской. На кого же будет похожа наша, национальная и православная, молодежь, которая примет участие в строительстве России? Это вопрос решающий для ее будущего. Россия ждет от нас зрячей, трезвой любви. К тому же трезвость – одно из лучших качеств великоросса, москвича, который сейчас, как мы старались показать в предыдущем письме[137], становится хозяином русской жизни. Итак, исторические аналогии, анализ настоящего? Что касается аналогий, я боюсь, что нас еще дразнит болотный огонек французской революции. Видя блестящий расцвет французской культуры с двадцатых годов XIX века, мы склонны объяснять его влиянием пережитой катастрофы. Мы говорим: революция освобождает скованные силы. Старый режим, не будучи, может быть, столь жестоким, как думали революционеры, своей инерцией, ленью и со словными привилегиями глушил народные силы. Освобождение гражданина стало освобождением и таланта. С другой стороны, те героические страсти, которые революция разбудила в своих сынах, не потухли бесплодно: они, сублимируясь, «переключились» в высшие сферы: романтической поэзии, истории, социологии.

Боюсь, что это представление покоится тоже на иллюзии.

Между революционным пожаром и культурным расцветом эпохи Реставрации лежит духовная пустыня: Империя. При Наполеоне литература была скована так, как никогда в старой монархии. Свободой пользовался собственник и предприниматель, а не мыслитель и художник. И, что, пожалуй, еще хуже, страна не ощущала потребности в иной свободе: поэзия и мысль, за ничтожными исключениями, как будто были парализованы. Если отвлечься от грома военных побед, Франция жила внутренними процессами буржуазного накопления. То были безличные, серые будни, в которых «трудились» разные Горио и Гранде.

Воскресение французской культуры было связано со всем не с революционной бурей, а скорее с ее отрицанием – с той огромной духовной реакцией против XVIII века, которая носит общее имя романтизма. Чтобы быть совсем точным, своеобразие и сила французского XIX века заключается в борьбе и синтезе идей реакции и революции, романтизма и просвещения. УжеСен-Симон (его ученик Конт) выступают с планом синтетической конструкции, где рационализм XVIII века уживается с преклонением перед католичеством и «органическими» основами средневековья. А дальше новая волна, тоже двухсоставная: революционный романтизм, Гюго, Ламеннэ... Но почти все революционеры 30-х годов начинали с «ультра» романтической и католической реакции. Именно она дала им ту пламенную страсть, которой была лишена потухшая и превратившаяся в быт революция.

Нет, аналогия французской революции не за нас. Ну а сама русская действительность? Что говорит анализ настоящего в смысле возможных прогнозов?

Было время, когда действительность давала веские основания для надежд. В самый разгар гражданской войны и свирепейшего террора в стране горела духовная жизнь. В эпоху нэпа это напряжение вылилось в значительную литературу, может быть переоцененную нами, но которая, конечно, не имеет себе равной в революции французской. Поэты старой России и новые писатели, вышедшие из народа, сливались в общем мажорном ощущении жизни. Буря событий захватила их, как дионисическое опьянение. Жизнь казалась чудесной, всеобещающей. Весело шагали по трупам – навстречу какому-то сияющему будущему. За литературой, театром – вставали массы, жадно рвущиеся к просвещению, наполнявшие залы популярных лекций, аудитории рабфаков. Жизнь была неприглядна, голодна и дика, насилие торжествовало повсюду, но, глядя на эти честные, взволнованные лица молодых и стариков, впервые дорвавшихся до культуры, хотелось верить в будущее. Увы, теперь от этих

надежд мало что осталось.

Уже в годы нэпа волна пошлости и стяжательства нахлынула, затопляя бескорыстный идеализм «света и знания». Но во второе, сталинское, десятилетие от этого идеализма уже ничего не осталось. Сперва он был переключен на техническое поле строительства, на военный энтузиазм, на паршютничество, полярный миф и прочее. Но чем дальше, тем больше романтизм техники уступает место делячеству, устройству личной карьеры. Лозунг «счастливой жизни» отразил второе спадение идеалистической волны, которое кажется окончательным. То, что наступило потом, – массовый террор, ликвидация коммунистической идеологии, всеобщее подхалимство и рабство, – какая культура возможна в этом отравленном воздухе? И мы видим: советская литература кончается, удушенная, обескровленная, за отсутствием какой бы то ни было свободы и творческой воли к жизни.

Что это? Неужели Сталин, один Сталин сумел так изгадить, засорить все ключи жизни, заболотить все революционные воды? Как бы ни была велика личная вина этого отверженного человека, позволительно выразить убеждение, что и без Сталина этот результат был предопределен характером русской революции и ее господствующей идеологии.

Свобода никогда не была основной темой русской революции. В большевизме она превратилась в ее прямое отрицание. Французская революция могла на годы, на десятилетия тиранически попирать свободу, сперва в ярости, потом в утомлении гражданской войны. Важно было то, что она ее провозгласила. Именно пафос освобождения вы звал во Франции, да и во всей Европе на рубеже XIX века тот духовный взрыв, который был одним (одним только!) из элементов культурного возрождения начала века. Социализм исходит из частичного отрицания свободы – свободы экономической. Его тема – не свобода, а организация, то есть порядок. Русский большевизм вообще понял социализм как тоталитарное огосударствление жизни. Свобода была и остается для него главным, смертельным врагом. Поэтому-то Октябрьская революция оказалась не освобождением, а удушением культуры

Вначале это могло казаться не так. Массы, участвовавшие в революции, действительно переживали праздник освобождения. Их свобода была двусмысленна и не имела никакого отношения к свободе мысли, слова, культуры. Это свобода от господ, от самого существования господ с оскорбительным сознанием социального неравенства. Говоря по-русски, воля, а не свобода. Но воля как стихийное буйство разлившейся жизни – она была, и она несла, как буря на парусах, тех, кто ей отдавался,

кто мог, как Блок, «слушать революцию». Отсюда вещая значительность конца десятых и культурный подъем двадцатых годов в России нэпа. Но постепенно большевизм осуществил свои потенции: прибрал к рукам, «организовал» все духовное хозяйство. С 1922–1923 года марксизм становится обязательным в науке, с тридцатых годов – сталинизм в литературе. Там, где организация побеждала, наступала медленная смерть от удушения. И сейчас Россия – духовная пустыня. Такой результат неизбежен во всяком тоталитарно-тираническом государстве, какова бы ни была идея, положенная в его основу. В России такой идеей оказался марксизм. Я сомневаюсь, чтобы марксизм, даже в условиях наиболее благоприятных, в обстановке совершенной свободы, мог лечь в основу значительной культуры. Какова бы ни была его ограниченная ценность в политической экономии и в социологии, в нем совершенно отсутствует тот воздух, в котором может дышать человеческая личность. Марксизм культурно возможен как прививка к чему-то иному: даже у Маркса – к его классическому и гегельянскому гуманизму. Страна, всерьез сделавшая марксизм единственной основой воспитания, превращается в «собачью пещеру», где могут выживать только низкие ростом.

Я не закрываю глаз на то, что русский большевизм, в особенности сталинизм, весьма далеко уклонился от настоящего марксизма. Чрезвычайно огрубляя его, с другой стороны, ассимилировал его с иными, чуждыми ему, хотя столь же элементарными идеями: с философским волюнтаризмом, с культом вождей – в последней редакции, даже с великорусским национализмом. Это дало возможность дышать и в собачьей пещере, – но все же каким спертым воздухом! Жизнь возможна и в России, но какая убогая! О культурном расцвете в странах марксизма нельзя и мечтать.

Но марксизм был и сойдет. Много ли уже сейчас от него осталось? Он отравил духовным туберкулезом одно поколение – лет на пятнадцать, – но это поколение еще не вся Россия. Правда, это поколение первенцев революции, самое горячее, активное – ему ли, казалось, не лепить, не оформлять податливой, пластичной массы, растопившей все старые формы быта и жаждущей новых? Новое творчество жизни оказалось бездарным, и вместе с тем лживым и порочным – весь духовный профетизм революции. Да, но это для первого поколения. Освободившиеся или освобождающиеся от марксизма октябрята революции – они-то могут уже работать? Нет, ибо за сменой всех идеологий русской революции – бывших и будущих – остается ее фон: тоталитарной несвободы. В этом удушающем рабстве, в той легкости, с которой народ это рабство принял, (называл его в первое

время свободой), не один лишь общий закон революционного процесса: от анархии – к деспотизму. Здесь сказывается московская привычка к рабству, культура рабства в московские и петербургские столетия истории. В свободе нуждалась, свободой жила интеллигенция, которая вместе с дворянством была выжжена революцией. Москвич, пришедший ей на смену, никогда не дышал свободным воздухом: состояние рабства – не сталинского, конечно, – является для него исторически привычным, почти естественным.

Мы часто говорим о национализации русской революции. Но что это значит? Это значит, что в ней победил не Ленин и не Бакунин, боровшиеся друг с другом первые годы, а Иван Грозный. Сталин и есть перевод его на современность.

§ 2

Духовная бескрылость, бездарность русской революции может доставлять злорадное удовольствие всем ее врагам. Но это факт глубоко печальный для русского народа и его будущего. Потому что это будущее кипит в котле революции. Потому что долго еще поколения, идущие нам на смену, будут нести ее печать. Нелегко будет стереть ее – да, можно спросить себя, удастся ли это когда-нибудь до конца?

Ну а как обстоят дела с нашей реакцией – с тем другим духовным источником, который должен питать наше будущее? Потому что нельзя забывать: реакции бывают жизненные, глубокие, плодотворные. Общественные реакции как бы существуют для того, чтобы дух, утомленный и раз очарованный злой суетой настоящего, мог произвести свой examen de conscience, углубиться в себя и выносить в своих недрах новую творческую идею грядущего. В борьбе этой идеи с торжествующей, но уже изношенной идеей настоящего и задан духовный контрапункт эпохи.

Наша реакция? Нельзя не удивляться и не огорчаться ее духовным бессилием. Нас не удивляет бездарность революции: чего и ждать от учеников Ленина? Но здесь, в эмиграции, собраны – мы любим повторять – лучшие силы русской интеллигенции. Вся их энергия сосредоточена на одном помысле – на отрицании революции. И эта революция так уязвима: ее неправда и ложь самоочевидны. Почему же критики едва поднимаются над уровнем злобы дня? А там, где она решается на обобщения, она не выходит из повторения общих мест.

Мне кажется, разгадка этой бескрылости русской реакции заключается именно в том, что она давно уже сказала свое слово и теперь ей остается лишь повторять самое себя. Парадоксальность положения

состоит в том, что у нас ре акция предшествовала революции, против которой она направлена. Это оказалось возможным потому, что замысел революции был выражен задолго до ее осуществления. И не только замысел, но и революционное движение. В этом огромное наше отличие от революции французской, совершенно импровизированной, творимой по вдохновению и страсти. У нас революционная мысль исчерпала себя задолго до возможности воплощения. Подобно романтической девочке, истощившей все свои силы в книжной, вымышленной любви, русская революционная интеллигенция растратила свое вдохновение задолго до решительного часа истории. Ее зенит падает на семидесятые годы. Но то же самое можно сказать и о ее отрицательном спутнике. Зенит реакции падает на восьмидесятые годы. Она была далеко не бедна духовно, наша реакция. От Тютчева (и да же Пушкина) через Достоевского к Леонтьеву и Розанову – мы имеем блестящий ряд мыслителей, каждый из которых дал свой ответ на замысел, если не на действительность, русской революции. Эти ответы – мы их знаем наизусть. С начала XX века русская интеллигенция, даже революционная, совершила над собой чудо самоотречения. Она воскресила своих врагов и приняла в свое сердце большую долю их стрел. Значительная часть контрреволюционной критики давно уже вошла в само революционное сознание – за исключением большевиков, конечно. Вот почему нашему поколению, несмотря на все ужасы, которые мы видим своими глазами, по существу отрицания революции уже нечего сказать.

Я не забываю, что кое-что эмиграция все-таки дала. (Нам приходится говорить только об эмиграции, так как реакции внутрироссийской мысли мы не знаем.) Это новое исчерпывается несколькими книгами религиозной философии и – евразийством. Впрочем, религиозная философия наша представляет прямое продолжение дореволюционной традиции, слишком резко оборванной грубой рукой: то есть и это не со всем новое. Евразийство – явление действительно новое. Теперь, когда оно как политическое течение умерло, можно беспристрастно оценить тот вклад в науку о России, который оно внесло. Даже не сочувствуя вполне его слишком прямолинейным суждениям и прямым историческим ере сям, нужно признать значительность новых проблем, поставленных им. Но если евразийство – единственный путь русской реакционной мысли на революцию, – то это все же не много: это не соответствует грандиозности исторического феномена революции, хотя, конечно, и превышает намного культурное убожество этого феномена.

Русская революция и русская реакция – обе были разогретым блюдом,

явлениями запоздалыми, давно уже изжитыми русским самосознанием. Даже специфическая идеология большевистской революции – марксизм – была сполна изжита в девяностые годы, когда русский марксизм дал действительно много ценных теоретических трудов и вообще был самым творческим сектором социалистической Европы. Старая болезнь русской интеллигенции – разорванность бытия и сознания, жизнь в двух планах, которая раньше создавала гамлетов и доктринеров, теперь отомстила за себя безмыслием и бескультурностью политического дела.

Но это было бы с полбеды, если бы политика оставила культуру в покое; мудрецы могли бы на время предоставить историческую авансцену бандитам и удалиться «в катакомбы, в пещеры». Однако тоталитарная политика преследует их и под землей, тащит на площадь, требует от них всенародного унижения истины: не только предательства, но и пошлости. Демагоги от интеллигенции изготовления отвратительных помоев, которыми они кормят обращенных в свиней обитателей счастливых островов Цирцеи. Одни ли большевики? Увы, эта духовная болезнь (в Германии она называется «политизацией») оказывается чрезвычайно заразной; идя с Востока, как чума, она захватила пол-Европы. Но, может быть, сама Россия, заразив весь мир и, перестрадав свое, приобретает иммунитет? Может быть, освободившиеся от большевиков поколения отшатнутся от всяких форм тоталитарного насилия над духом, возжаждав свободы? Это большой вопрос, может быть, самый основной вопрос русской судьбы. Не имея на него точного ответа, мы можем искать лишь элементов решения.

Оглянемся вокруг нас. Мы живем среди людей, сделавших из отрицания большевизма свое profession de foi. Людей, которые надеются принять участие в строительстве русской культуры – сами или в лице своих детей. И что же? Политизация свирепствует вокруг, быть может, с не меньшей силой, чем в России или в Германии. Люди живут идеей – idee fixe – политической борьбы с большевизмом, подчиняя все остальные ценности, даже самые духовные, этой борьбе. В политическом утилитаризме мы не уступаем шестидесятникам. Какое там! В сущности, многие из нас вполне готовы к тоталитарному строю – только, конечно, не коммунистическому. Для многих важнее не свобода, а символы, во имя которых попирается свобода. Они предпочитают символ нации символу пролетариата, двуглавый орел – серпу и молоту. Вот и все. В этом смысл 1933 года. Пришествие к власти Гитлера было для русской эмиграции суровым испытанием. Приходится сознаться, что в целом она его не выдержала. Тот восторг, с которым многие следят за успехами Гитлера,

еще более широкая популярность Муссолини доказывают, что не свобода привела в изгнание сотни тысяч эмигрантов. Борьба идет не за свободу, и даже не за Россию, а за свою Россию, Рос сию своих воспоминаний и грез – против России сегодняшнего дня. Поразительно, что с тех пор, как Сталин объявил себя русским националистом и принялся казнить большевиков, он приобрел даже популярность среди части, – правда, немногочисленной – русской эмиграции. Та необычайная по гнусности атмосфера, которая сейчас царит в России, не прекратила тяги к возвращению. Молодые «патриоты», для которых принципиально нет ничего выше нации, едут, или готовы ехать, в царство опричнины, не смущаясь кровавым насилием, которое там составляет закон обыденности.

Мы не знаем, что происходит там, в самой России, в глубине задавленных человеческих душ. Но не будет слишком смелым предположить, что и там невыносимые страдания и бессилие вызывают те же реакции. И там должны быть люди, мечтающие о Гитлере – своем или чужом – не освободителе, а мстителе. Повторяющие старую, такую русскую, хотя и в украинской транскрипции, пословицу: «Хоть гирше, та инше». Пусть большинство не желает, – наверное, не желает – никакого тоталитаризма, пресытившись одним до тошноты. Но едва ли оно, воспитанное в рабстве, сумеет дать отпор меньшинству, которое пожелает навязать ему «инший» вид тоталитарного рабства. Не нужно забывать, что советский актив не знает и не хочет знать никаких форм свободной культуры; что для него невообразима сама идея открытого противоречия, борьбы взглядов; что даже для беглецов из ада европейская свобода печати кажется непонятной и почти отвратительной. О свободе в России томятся многие. Говорят даже, что теперь это единственное объединяющее всех настроение. Но говорящие сейчас же прибавляют: впрочем, это самая скромная свобода, бытовая. Хотят иметь уверенность, засыпая, что не проснутся под чекистским наганом, хотят иметь возможность покупать хлеб и продавать изделия своего личного труда. Быть спокойным за жизнь своих близких, за завтрашний день. Все эти вожделения так легко осуществить в любом тоталитарном режиме, чуть-чуть полегче сталинского. Для этих людей гитлеровская Германия должна казаться раем.

Я знаю, что, говоря о политических условиях русской культуры, мы имеем уравнение со многими неизвестными. Многое зависит от того, в какой форме произойдет ликвидация большевистского периода русской истории. Война, восстание или эволюция режима? В случае насильственной развязки смена одного тоталитаризма другим

представляется весьма вероятной. Многие скажут: фашизм придет на смену сталинизму, и это уже огромный шаг вперед. Я отвечу: сталинизм есть одна из форм фашизма, так что этот исход равнозначен укреплению выдыхающегося фашизма с обновлением его идеологии. Новая идея вдох нет новую энергию в работу опричников-организаторов. Перемена личного состава лишь усилит их злобность: новая метла чище метет... Что касается эволюционного исхода, то как уменьшаются за последние годы его шансы! Сталин позаботился о том, чтобы отрезать себе и своим все пути к мирному отступлению.

Но пусть даже, вопреки вероятностям сегодняшнего дня, отступление окажется возможным и сталинский ре жим сможет эволюционировать – в сторону, скажем, нормализации. Это не увеличивает шансов свободы для завтрашнего дня. Позволяю себе повторить написанное мною когда-то: «Поколение, воспитанное Чека, не может рассчитывать на свободу. Свобода может быть уделом только его детей». Сейчас, через десять лет ягодо-ежовского воспитания, можно только повторить, с еще большей уверенностью и большей Горечью, эти слова.

Нет, решительно нет никаких разумных человеческих оснований представлять себе первый день России «после большевиков» как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется над Россией после кошмарной революционной ночи, будет скорее то туманное «седое утро», которое пророчил умирающий Блок. И каким же другим может быть утро после убийства, после оргии титанических потуг и вся кого дурмана, которым убийца пытался заглушать свою совесть? Утро расплаты, тоски, первых угрызений... После меч ты о мировой гегемонии, о завоевании планетных миров, о физиологическом бессмертии, о земном рае – у разбитого корыта бедности, отсталости, рабства – может быть, национального унижения. Седое утро...

Но довольно каркать. Не оказались ли мы во власти контрреволюционных настроений, рисуя эти Мрачные кар тины? Сегодняшний застенок Сталина не должен парализовать у нас зрения и слуха, обращенных к созидательным процессам революционной России. Ее почти поголовная (или приближающаяся к таковой) грамотность. Рабочие и крестьяне, обучающиеся в университетах. Новая интеллигенция, не оторванная от народа: плоть от плоти и кость от кости его. В результате – огромное расширение культурного базиса. Книги издаются – и читаются – в неслыханных раньше количествах экземпляров. Не только для беллетристики, но и для научной популяризации открыт широкий рынок. Удовлетворять проснувшиеся культурные запросы масс не успевает

советская интеллигенция, несмотря на огромный рост ее кадров. Кажется, надолго России, в отличие от стран старой Европы, не угрожает безработица и перепроизводство интеллигенции.

Правда, в настоящее время эта огромная экстенсификация культуры покупается, в значительной мере, за счет понижения ее уровня. Меряя масштабом старой России или новой Европы, приходится сказать, что в СССР, в сущности, нет настоящей ни средней, ни высшей школы. Никто не умеет грамотно писать, мало кто чисто говорит по-русски. Невежество в области истории, религии, духовной культуры вообще – потрясающее. Ученые, даже естественники, жалуются на отсутствие смены. Новая академическая молодежь явно не способна справляться с работой стари ков. Обнаруживается опасный разрыв между поколения ми... Но это не страшно, это дело поправимое. Можно нажить и грамотеев, и ученых: была бы охота, а охота есть. Нужны ли молодые ученые? Можно воспитать их за границей. Поднять уровень школы? Нет ничего невозможного. Конечно, если рассчитывать не на годы, а на десятилетия. Область научно-образовательной культуры во всем подобна культуре хозяйственно-технической. Все то, что измеряется количеством, может быть нажито энергией и трудом. По вычислениям Пражского Экономического Кабинета, русский рабочий живет сейчас хуже, чем до революции. Кто виноват в этом? Глупость хозяйственных руководителей? Органический порок хозяйственной системы? Или просто давление военной опасности, истощающей все силы народа в работе на оборону. И то, и другое, и третье (даже коммунистическая система) – факты преходящие, допускающие изменение. При огромности производительных сил России, с ее почти полной автаркией, возможности ее хозяйственного роста неограниченны. Изживется так или иначе ложная система, уйдут головотяпы, откроется дорога пусть для медленного, но постоянного и, в принципе, безграничного хозяйственного роста. Тоже и с просвещением. Медленно, очень медленно разлившиеся воды достигнут предела, и начнется подъем уровней. Если низовая тяга к знанию, хотя бы только техническому, достаточно велика, – а в этом пока нет причин сомневаться, – это обещает в будущем грандиозный подъем цивилизации. Все то, что может быть достигнуто средствами внешней, научно-технической цивилизации, в России будет достигнуто. И здесь формула Блока: «Новая Америка». Мечта Ленина об электрификации России – его убогая предсмертная мечта – конечно, осуществима. Для десятков миллионов людей в России, для большинства нашей молодежи в эмиграции – это все, о чем они мечтают. С такой мечтой нетрудно быть оптимистом. Все дело лишь в

требовательности по отношению к жизни, к своему народу, к России. Чего мы ждем от нее, чего для нее хотим?

Вот здесь-то и сказывается, что все мы – я говорю об остатках, или «остатке», русской интеллигенции – глубоко разойдемся в вопросе о том, что должно считать истинной или достойной целью культуры. Многие из нас остаются верны понятию «цивилизации», господствовавшему в России шестидесятых годов. Бокль, которого кое-кто из нас читал в детстве, остается и сейчас для многих учителем. Его цивилизация слагается из роста технических и научных знаний плюс прогресс социальных и политических форм. В основе этого понимания культуры лежит завещанная утилитаризмом идея счастья или, вернее, удовлетворения потребностей. Человеческая жизнь не имеет другого смысла, и комфорт, материальный и моральный, остается последним критерием цивилизации. Все мы помним отчаянную борьбу против такой идеи цивилизации, которую повели в России Достоевский и Толстой, в Европе – воз рождение философии и «модернистского» искусства. С легкой руки немцев, мы теперь противопоставляем культуру цивилизации, понимая первую как иерархию духовных ценностей. Цивилизация, конечно, включается в культуру, но в ее низших этажах. Культура имеет отношение не к счастью человека, а к его достоинству или призванию. Не в удовлетворении потребностей, а в творчестве, в познании, в служении высшему творится культура. В дисгармонии она рождается, протекает нередко в трагических противоречиях, и ее конечное стремление к гармонии остается вечно неудовлетворенным. Но высшее напряжение творчества на рода (или эпохи), воплощенное в его созданиях или актах, одно оправдывает его историческое существование.

Еще недавно, в довоенной России начала XX века, последнее, духовное и качественное понимание культуры, казалось, побеждало, если не победило окончательно, утилитарное в количественное. С тех пор мир пережил страшную реакцию. В войне, в революциях, в экономических кризисах и катастрофах снова, с необычайной мощью, заявили о себе низшие, элементарные стихии культуры. Вопрос об оружии и вопрос о хлебе – вытеснили сейчас все запросы духа. Даже социальные проблемы, переживаемые с большой остротой, решаются теперь не в терминах свободы или справедливости, а в терминах хлеба и оружия, то есть национальной экономики и мощи. В то же время война вскрыла глубокий кризис в самой идее гуманистической культуры. Тупики, к которым она пришла во многих своих областях – нагляднее всего в искусстве, – вызвали глубокое разочарование в самом смысле культуры. Умы, самые

утонченные и передовые, возжаждали грубости и простоты. В спорте, в технике, в политике ищут спасения от вопросов духа. Сплошь и рядом эти жизненные установки совмещаются с религиозной – в религии авторитарной и искусственно примитивной, в которой вытравлено все гуманистическое и культурное содержание. Современный фашизм и коммунизм именно поэтому оказываются соблазнительными для многих тонких умов, ренегатов гуманистической культуры.

Отсюда понятно, что перспектива индустриальной, могущественной, хотя и бездушной или бездуховной России не всех пугает. Старые демократы и молодые фашисты могут объединиться в безоговорочном оптимизме по отношению к России завтрашнего дня.

Поспешим оговориться. Есть уровень нищеты, беззащитности, материальных страданий, перед которыми должны умолкнуть все вопросы о смысле культуры. Хлеб становится священным в руках голодного, и даже праща в руках Давида, вышедшего на Голиафа. До тех пор, пока на род в России ведет полуголодное существование, лишен самых насущных вещей – одежды, бани, лекарств, бумаги, я не знаю еще чего, – только снобы могут отфыркиваться от экономики. Сейчас цивилизация – самая низменная, техническая – имеет в России каритативное,христианское значение. Вопрос об оружии сложнее. Россия, конечно, не Давид, но и не Голиаф – пока. Во всяком случае, не она угрожает, а ей угрожают враги, могущественные, безжалостные. Постольку оправданна, отчасти, военная тенденция ее индустриализма.

Все это должно скоро измениться и даже превратиться в свою противоположность. Хлеб может быть священным символом культуры, комфорт – никогда. Но импульс технического энтузиазма, сейчас вызываемый необходимостью, будет действовать долго в силу инерции. Накопление богатств в социалистических формах не более почтенно, чем погоня за богатством буржуазным. Если этот идеал станет главным содержанием жизни 1/6 части земного шара, то следует сказать: эта страна потеряна для человечества, этот народ зря гадит (а он не может не гадить) свою прекрасную землю. Его историческая ценность меньше ценности любого крохотного племени, затерянного в горах Кавказа или в Сибирской тайге, которое сохранило, по крайней мере, свои песни и сказки, художественные формы быта и религиозное отношение к миру. Россия – Америка, Россия – Болгария, Россия – Пошехонье, раскинувшееся на пол-Европы и Азии, – это самый страшный призрак, который может присниться в наш век кошмаров. Что же сказать, если этот счастливый пошехонец окажется вооруженным до зубов Голиафом, воплощающим в

себе опасность для всего мира? Голая, бездушная мощь – это самое последовательное выражение каиновой, проклятой Богом цивилизации.

Пусть мы горсть, окруженная к тому же со всех сторон предателями, пусть нас остается хоть три человека, но мы никогда не примиримся с таким будущим России. В своем великом прошлом она дала миру иные поруки. В пору материалистического усыпления Запада, совсем недавно, она горела костром изумительной духовности. Она была «звана Христовой». Она была в числе великих наций – Греция, Франция, Германия, – которым попеременно принадлежала духовная гегемония человечества. Вознесшаяся так высоко, она так низко пала. Может быть, сейчас она утратила свои права на первородство. Ей предстоит долгий и трудный путь искупления. Но отказаться совсем от своего лица, от своего мучительного борения с Богом – ради культуры танков и двуспальных кроватей – никогда! Можно отказаться от великодержавности политической, смириться перед силой, забыть честолюбивые мечты... Но нельзя забыть о великом призвании. Ибо призвание – это не слава, а жертва, не притязание, а долг. Речь идет не о том, чтобы рождать гениев. Земля может устать родить, а мы не можем «прибавить себе росту ни на локоть». Речь идет о том, чтобы трудиться, мучиться, искать, чем утолить наш духовный, не физический только голод. В сущности, всего лишь о том, чтобы не обманывать этого голода и не заглушать его в себе анестезирующими снадобьями. Испания давно, конечно, не мечтает о мировой Империи времен Карла V. Но она никогда не забудет о легендарных дняхСервантеса, Кальдерона, Лопе де Бега. Веками будет она жить в воспоминаниях, и, если аскетический труд подготовит удобренную почву, почему не настать тому дню (Испания может надеяться), когда таинственная, непокупаемая благодать, gratia gratis data, не оросит дождем ее изжаждавшуюся землю? Совет Шпенглера – решительно отказаться от непосильной больше культуры ради легкой, дающейся в руки цивилизации – есть отступничество, лишь прикрытое маской стоицизма. Если современная Германия примет этот совет, отступничество сделается национальным. Германия ради владычества над миром предаст свою душу. Неужели России идти по этому малодушному пути?

Что же, не запутались ли мы в бесплодном противоречии? С одной стороны, трезвый анализ запрещает возлагать чрезмерные надежды на близкое будущее русской культуры. Мы ждем седого утра и безрадостного дня. С другой, отказываемся примириться с этой перспективой. Сердце как будто бы тут не в ладу с головой. Должны, но не можем. Идем, но не хотим идти.

Конечно, это обычное трагическое противоречие истории – между необходимостью и долженствованием. Оно мучительно-неразрешимо лишь на высотах метафизической мысли: в проблеме предопределения и свободы. В жизненной действительности оно никогда не дано нам в такой остроте. Лишь долженствование дано во всей абсолютности. Необходимость историческая всегда относительна. Это лишь поток, течение событий, нас увлекающее. Нужно плыть против течения. Вот и все.

Но нужно сказать себе со всею твердостью – сказать всем мечтающим о строительстве русской культуры, всем молодым энтузиастам, младороссам, пореволюционерам,христианским националистам: против течения! Иначе мы предадим Россию, самое святое ее души.

Оглядываясь на прошлое, мы приходим к убеждению уже более утешительному. Было ли это когда-нибудь иначе? Все поколения русской интеллигенции, как до них строители Империи, – не шли ли против течения, против косности или против традиции русской жизни? И чем глубже взрывают почву, чем духовнее труд и подвиг, тем сильнее сопротивление, тем неизбежнее одиночество. Как страшно одиночество Достоевского! И все же победа приходит, – быть может, поздно, посмертная победа и относительная, конечно, -в ту меру, в которой историческая материя способна вместить идею. Но победы возможны. Только пути к ним ведут не через языческое подчинение стихиям жизни, как хочет внушать нам снова и снова органический (или революционный) консерватизм, а против потока, в преодолении инерции и тяжести земли. Под знаком креста.

Еще одно, последнее. Спрашивают: на что ставить? То есть, помимо нашей собственной веры и воли, на какие объективные моменты русской жизни можно опереться в работе для будущего? Без этой точки опоры наши упования рискуют оказаться скорее грезами, а строительство – только жертвой. Эти опорные точки не должны приобретать преувеличенных очертаний в наших глазах, превращаться в миражи. Но они должны быть.

Ну так вот. Все надземные, открытые сейчас течения русской жизни не за нас. Я говорю и больше: все победоносные завтра – тоже против нас. Но должны быть и те, что с нами. Не может их не быть там? если они есть, хотя и слабые, за рубежом России. Тот страшный пресс, который давит в России все живое, – он сплющивает в лист слабых, – то есть почти всех. Но сильные, немногие, под этим давлением сохранившие дух, должны вырастать в святых и героев. И мы положительно знаем, от надежных

свидетелей, что герои и святые там есть. Будем строги и произведем отбор. Герои и святые вообще не очень жалуют культуру, это правда. Хоть из их жизни и смерти вырастает впоследствии и культура, для них нечаянная. Но есть и герои культуры, есть и святые культуры. О них мы тоже знаем. Многие из героев живут отрицательными импульсами борьбы: из них выйдут больше вики новой идеи, победители завтрашнего дня. Это не наши. Но, за вычетом всех чужих, видится ясно тот чудесный «остаток», в котором живет сейчас дух России и который завтра начнет актуализироваться в ее культуре. Это наше противоречие предоставляется нам сильным не количеством, а качеством. Один кристалл цветной соли может заметно окрасить стакан воды. В строении химического тела присутствие малого количества вещества имеет конструктивное значение. В материалистическую и империалистическую Россию завтрашнего дня войдет, как жало в плоть, нечто совсем иноприродное, кажущееся чужим, на самом деле самое свое, русское из русского. Его присутствие вызовет противоречие, борьбу, кристаллизацию сил. Унисона не будет, однотемной, тоталитарной, усыпляющей одноголосицы. Культура России, даже и завтрашнего дня, будет контрапунктической. Слабая сегодня, даже завтра, духовная элита будет ра- У нее есть могущественный союзник: русское прошлое. К этому прошлому уже обращаются все как к источнику сил: одни к Писареву, Чернышевскому, другие к Суворову и Николаю 1. Но этим сталинским отбором героев не исчерпать русского наследия. Шила в мешке не утаишь. Толстого не спрячешь. Великие усопшие, вечно живые, будут строить, вместе с нашими детьми, духовную родину, которая оказалась не по плечу нашему поколению.

А перед нами, живыми, есть скромная, но необходимая, аскетическая задача. Приготовление земли для будущих посевов. В культуре не все от гения, многое от труда, дисциплины и расчета. Есть много конкретных проблем организации культуры, национального воспитания, культурной пропаганды, которые мы можем ставить для себя уже сей час, которые, во всяком случае, должна ставить для себя наша молодая смена. И, прежде всего мы должны прояснить для себя два основных вопроса: какой мы хотим видеть русскую культуру? И какие препятствия надо преодолеть на путях к ее созиданию?

Создание элиты

(письма о русской культуре)

§ 1

В то время как мы пишем эти строки, где-то, в темных подвалах политического мира, принимаются решения, которые надолго определяют судьбу России. Нет сомнения, что ближайший день русской культуры сложится в тесной зависимости от политического исхода русской революции. Отстоит или нет Россия свою независимость, оборонит ли свою Империю-Союз или будет отброшена к границам Великороссии; сохранится ли, в смене власти, преемство Октября и созданного им отбора, или хозяевами России, на известное время, явятся эмигранты – под защитой немецких штыков, – нам не дано знать. Но вся внутренняя жизнь России на поколения определится развязкой затянутого Сталиным узла. Россия может развиваться в новую трудовую демократию или пройти через фашизм, то есть еще через новую форму фашизма, через новую идеократию, новую чекистскую организацию культуры. Можно ли при такой неясности делать какие-либо прогнозы о ее культуре? Не крайнее ли это легкомыслие и дерзость?

Тем не менее, мы смеем утверждать, что есть некоторые общие темы русского культурного развития, которые независимы, или почти независимы, от политики. К кругу таких тем принадлежит и поставленная нами в настоящем письме. Каков бы ни был политический смысл русской революции, ее культурное содержание может быть описано, с крайней схематичностью, следующим образом: русская культура, доселе творимая и хранимая интеллигенцией, спускается в самую глубину масс и вызывает полный пере ворот в их сознании. То обстоятельство, что в первый период революции большевики пытались организовать всю культуру вокруг марксизма, имеет случайное значение. Этот период проходит или уже прошел. Вместо марксизма много других идей и идеологий могут быть еще брошены в котел, где плавится новое народное миросозерцание. Существенным остается одно: всенародный, или, скромнее, демократический, характер новой русской культуры. Никто не думает, конечно, что в России высшая математика или философия стали доступны массам. Но культура перестала быть замкнутой или двухэтажной. Старое противоположение интеллигенции и народа потеряло свой смысл. От центра к периферии движение интеллектуальной крови совершается без задержек и перебоев. Россия в культурном смысле стала единым

организмом. Этот факт непреложен и неотменяем. Никакие реакции и перевороты не могут изменить его: не могут отнять книгу у народа или воздвигнуть стену между массами и национальной культурой. Из этого факта мы исходим, и последствия его пытаемся оценить.

То, что произошло в России, не представляет ничего странного и небывалого. Россия просто приблизилась, по своему культурному строению, к общеевропейскому типу, где народная школа и цивилизация XIX века уже привели к широкой культурной демократизации. Однако в России, в условиях небывалой революции, этот давний и неизбежный процесс демократизации культуры был не только форсирован. Благодаря сознательному и полусознательному истреблению интеллигенции и страшному понижению уровня, демократизация культуры приобретает зловещий характер. Широкой волной текущая в народ культура перестает быть культурой. Народ думает, что для него открылись все двери, доступны все тайны, которыми прежде владели буржуи и господа. Но он обманут и обворован. Господа унесли с собой в могилу – не все, конечно, – ключи, – но самые заветные, от потайных ящиков с фамильными драгоценностями. Университеты открыты для всех, в России насчитывается до 700 высших школ, но есть ли хоть одна высшая школа, достойная этого имени, равная по качеству старому университету? В этом позволительно сомневаться. Рабочий или крестьянский парень, огромными трудами и потом стяжавший себе диплом врача или инженера, не умеет ни писать, ни даже правильно говорить по-русски. Приобретя известный запас профессиональных сведений, он совершенно лишен общей культуры и, раскрывая книгу, встречаясь с уцелевшим интеллигентом старой школы, на каждом шагу мучительно чувствует свое невежество. Специалистом он, может быть, и стал – очень узким, конечно, – но культурным человеком не стал и не станет. И не потому, конечно, что у него нет поколений культурных предков, что у него не голубая кровь. В старой, полудворянской России «кухаркин сын», пройдя через школу, мог овладеть той культурой, которая сейчас в рабоче-крестьянской России ему недоступна. Причина ясна и проста. Исчезла та среда, которая прежде перерабатывала, обтесывала юного варвара, в нее вступавшего, лучше вся кой школы и книг. Без этой среды, без воздуха культуры школа теряет свое влияние, книга перестает быть вполне понятной. Культура как организующая форма сознания распадается на множество бессвязных элементов, из которых ни один сам по себе, ни их сумма не являются куль турой.

Дело не в грамотности и не в запасе благородных и бес полезных

сведений – по истории, литературе, мифологии. Можно легко допустить, что с годами, ценой большого напряжения школьной дисциплины, в России добьются сносной орфографии и даже заставят вызубрить конспекты по греческой мифологии. И все это останется мертвым грузом, забивающим головы, даже отупляющим их, если не совершится чудо возрождения подлинной культуры; если, перефразируя в обратном смысле слова Базарова, мастерская не станет храмом.

Выражаясь в общепринятых ныне терминах, в России развивается и имеет обеспеченное будущее цивилизация, а не культура, и наше отношение к этому будущему – оптимистическое или пессимистическое – зависит от того, к какому стану мы примыкаем, к стану цивилизации или культуры. Водораздел проходит довольно четкий – как здесь, в эмиграции, так и в рядах старой интеллигенции там, в России. Это различие можно определять по-разному, как различие качества и количества или образования гуманистического и реалистического. Последнее определение можно формулировать точнее, культура построена на примате философски-эстетических, а цивилизация – научно-технических элементов. Но мы и без определений понимаем, в чем дело. Начиная с девяностых годов русская интеллигенция разделилась на два лагеря – не по политическим настроениям, но как раз по линии различного понимания культуры. Бои между людьми культуры и цивилизации велись жаркие, даже ожесточенные. К началу войны они заканчивались относительным торжеством культуры. Философия, эстетика овладевали твердынями «заветов», завоевали позиции в толстых журналах, в школе в газете. Однако их торжество было недолговечным. Народные массы оставались чуждыми этому культурному ренессансу. Они едва просыпались от средневекового сна к диковинкам соблазнительной цивилизации. Чудеса науки и техники действовали неотразимо на детские умы, вчера еще жившие верой в чудотворные иконы и мощи. Обвал старого религиозного мировоззрения был резок и катастрофичен. Вместе с тем обнаружились новые ножницы между интеллигенцией и народом, совершенно обратные рас хождениям шестидесятых и семидесятых годов. Народ оказался духовно в XVIII веке, когда интеллигенция вату пила в XX. Большевистская революция не создала этого конфликта – она лишь трагически углубила его.

В известном смысле можно сказать, что большевизм был возвращением к традициям шестидесятых годов. Конечно, в нравственном смысле нельзя и сравнивать Ленина с Чернышевским. Но умственный склад их был сходен, не даром Чернышевский вошел в творимую легенду

революции как предтеча большевизма. Можно было бы утверждать даже, что большевики кое в чем смягчили вандализм Писаревых, никто уже не думал теперь о разрушении эсте тики или о развенчании Пушкина. В этом смысле усилия последнего поколения рыцарей культуры не прошли даром. Им мы обязаны тем, что разрушительный разлив русской революции остановился перед некоторой культурной преградой. Без «Мира искусства» была бы невозможна «Охрана памятников старины». Характерно, что беспощадное разрушение церквей и старины началось уже тогда, когда ушел в могилу или в тюрьму первый интеллигентский строй сподвижников Ленина: все эти Луначарские, Каменевы, Троцкие (или Троцкия), которые не остались чужды культуре XX века. Сталин от нее совершенно свободен, как и тот низовой, полуграмотный слой, который он вызвал с собою к власти. Культурный вандализм большевизма разгулялся тогда, когда революционный дух его уже выдохся. Этот парадоксальный факт показывает, что самый страшный враг культуры в России – не фанатизм, а тьма, и даже не просто тьма, а тьма, мнящая себя просвещением, суеверие цивилизации, поднявшее руку на культуру.

Мы здесь, за рубежом, мучительно переживаем распродажу картин из Эрмитажа как неисцелимую рану, нанесенную русской культуре. Не думаю, чтобы широкие массы в России были хоть сколько-нибудь ею взволнованы. Продать картины, чтобы купить машины или хлеб, – должно было казаться естественным. Тем более что убыль качества покрывалась ростом количества. Эрмитаж все разрастается, захватывая чуть ли не весь Зимний дворец свезенными отовсюду музейными вещами. Бесконечные экскурсии, де филирующие целый день по его залам, смогут ли заметить исчезновение нескольких шедевров в этом море картин, от которого голова идет кругом? Для них, для цивилизации – все на месте. И цивилизации нужен музей, но по-другому нужен, чем культуре. Одни люди влюбляются в картину и целую жизнь посвящают ее культу, другие – глазеют, спеша отбыть «культурную» повинность и сделать «социологические» выводы из запечатленной на полотне трагедии.

Но ведь такой была, в массе своей, и русская интеллигенция шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годов. Эти поколения еще не исчезли из жизни, а, исчезая, оставили наследников. Современная молодежь и здесь, за рубежом, опять откровенно предпочитает техническую цивилизацию – эстетической и философской культуре. Для старых семидесятников и для молодых людей «тридцатых» годов драма русской культуры одинаково не существует. Просвещение в России разливается неудержимо. Тираж книг доходит до миллионов. Все

шероховатости и пробелы сегодняшнего дня будут завтра исправлены, и Россия действительно догонит и обгонит Америку.

Да, Америку... Ее догнать нетрудно. Не сомневаемся, что «Новая Америка» сможет многое организовать и лучше старой. Но что же в ней будет от России? Почему этот евразийский континент стоит нашей любви более чем все другие, превращающиеся на наших глазах в унылое единообразие планеты?

Мы, не согласные на Россию-Америку – и чающие для нее иного, высшего будущего, обязаны наметить мост от нашей мечты к действительности. Что делать нам здесь сейчас и завтра там, чтобы, если возможно, отклонить «ход истории», согнуть «железную необходимость»? Словом, еще раз обойти Гегеля, как Ленин раз уже обошел Маркса. Против течения!

Разумеется, жизнь и смерть культуры, в отличие от цивилизации, заключают в себе огромный элемент иррационального. Никто не знает, почему расцветает и почему чахнет искусство. Все наши самые героические усилия не могут создать гения, который определяет на века содержание культуры и дает ей известную форму. Но мы можем создать условия благоприятные – не для появления гениев, а для их роста и их влияния. Да разве одни гении движут культурой? Тысячи работников ведут плуг по указанной учителем борозде. Культура, как и цивилизация, нуждается в организации, в школе, в трудовой дисциплине. И Адам был призван «возделывать рай» – иными приемами, конечно, чем возделывает свое поле американский фермер. А гениев мы имели достаточно за истекший век. Вряд ли другой народ имел столько великих людей за одно столетие. Бог не обидел Россию. Только бы нам оказаться достойными этого наследства. И не только сохранить, но и творчески приумножить его – что, в сущности, одно и то же.

Проблема культуры, в отличие от цивилизации, имеет два аспекта, допускающих оба сознательное воспитательное и общественное усилие. Культура отличается от цивилизации, во-первых, иной направленностью интересов; во-вторых, приматом качества над количеством. В настоящий исторический день обе проблемы сводятся к одной: как воссоздать в России тот разрушенный революцией культурный слой, который был бы способен поднять качество культурной работы и передвинуть центр интересов с вопросов техники к вопросам духа.

2

Создание элиты, или духовной аристократии, есть задача, прямо противоположная той, которую ставила себе русская интеллигенция.

Интеллигенция нашла готовым культурный слой, главным образом дворянский по своему происхождению и отделенный от народа стеной полного непонимания. Она поставила своей целью разрушить эту стену любой ценой, хотя бы уничтожения самого культурного слоя, ради просвещения народа. Опуститься самим, чтобы дать подняться народу, – в этом смысл интеллигентского «кенозиса», или народничества. Русское народничество как культурное умонастроение много шире того социально-политического течения, которое называется этим именем. За немногими исключениями, почти вся интеллигенция разделяла его основные предпосылки. И это было для нее тем легче, что основной темой предшествую щей, петровской, императорской эпохи было «просвещение». Просвещение предполагает истину данной, систему культурных ценностей уже установленной. Для торжества истины нужно лишь приобщить к ней темные массы. Просвещение, или цивилизация, России была, конечно, насущной необходимостью, вопросом ее существования. Но преобладание этой темы налагает на весь XVIII век, при всем его внешнем великолепии, печать элементарности. Творческая эпоха, в сущности, начинается валександровские годы, чтобы через несколько десятилетий смениться просветительным народничеством. Различие между просвещением петровским и народническим весьма существенно, хотя легко ускользает от наблюдателя. Просветитель стремится поднять до себя просвещаемую массу, на родник – спуститься до нее. Конечно, и народник спускается, чтобы поднимать, – по крайней мере, в своем дневном сознании, – и просветитель должен популяризировать, то есть принижать свою истину. Но для последнего всего дороже истина, для первого – народ, то есть люди. Первый движется интеллектуальным и эстетическим увлечением истиной, второй нравственным стремлением к Равенству. Каких только жертв не приносит народник на алтарь равенства! Н. К. Михайловский резко формулировал юношеские крайности своего поколения: «Пусть нас секут! Мужика секут же». Это жертва свободой, то есть самым дорогим для русской интеллигенции. Что же сказать о науке, искусстве, философии? Щедрин любил высмеивать благонамеренные общества, которые выпускают «101 том трудов». Какие общества имел в виду сатирик? Вероятно, те исторические, географические и филологические общества, труды, которых являются теперь для нас неисчерпаемым источником познания России и исполняют нас законной гордостью за русскую науку. Щедрин смеялся над трудами академий. Вряд ли ему приходило в голову смеяться над учебниками для народных школ. Народная школа была со зданием

интеллигенции, ее гордостью. Академия наук казалась роскошью, излишеством. Звание народного учителя и было самым почетным в России. Звание профессора было – и осталось – почти бранным словом. Считалось аксиомой, что культура (то есть цивилизация) растет снизу, а не сверху. Я знал одного старого чудака, который говорил: «Ведь и человек растет не с головы, а с ног». Существование образованной элиты в безграмотной стране считалось аномалией, чем-то вроде помещичьих оранжерей и крепостных балетов. Большевики, при всем своем марксизме, разделяли (и даже до крайности обострили) это народническое понимание культуры. Они сделали опыт: все для народа, ценою разрушения высших этажей культуры. Университет был полуразрушен, зато СССР гордится почти поголовной грамотностью. Но вот при первой попытке поднять эту грамотность хотя бы до уровня грамотности орфографической встретилось неожиданное (!) препятствие: то, что называется на условном милитаристическом жаргоне – проблема кадров. Нет учителей. Чтобы создать народных учителей, надо иметь приличную среднюю школу, чтобы создать среднюю школу, надо иметь университет. Так, на собственном, то есть народном, лбе большевики опытно проверили народническую философию культуры и отрицательно оправдали дело Петра. Да, в отсталой и девственно невежественной стране нужно начинать с Академии наук, а не с народной школы. Таким путем шел весь мир. Западная Европа имела «Академию» при Карле Великом, а народную школу лишь в XIX веке. Просвещение разливается, как вода, заполняя высокие водохранилища, чтобы переливаться, если не через край, то по желобам или шлюзам, все в более низкие водоемы. Народничество предпочитало более органические сравнения: с ростом дерева, например. Земля при этом представлялась источником творческих сил: все из народа. Народ, и именно низы его, творит из себя свою интеллигенцию, которая поднимается все выше и выше, не отрываясь от массы. Таков идеальный порядок культуры, нарушенный аристократическим или буржуазным грехопадением. Что можно возразить на это? Оставаясь в границах органических символов, приходится сказать, что земля сама ничего не производит. Семя падает сверху в ее лоно, которое лишь питает его. Растение столько же дитя солнца, как и земли. Безотцовская, лишь материнская, народническая или земная сила всегда остается темной и бесплодной. Порыв личности к свету, к солнцу, к свободе неизбежно создает надрыв, если не разрыв ее связей со средой, с материнским лоном народа. Неизбежна драма непонимания, отчуждения, борьбы. Народ идет за духовными вождями против воли, упираясь, – всякий народ, хотя бы и

высококультурный. Масса, в которую бросали просвещение подвижники XVIII века, была еще почти исключительно дворянской, как дворянской, и даже вельможной, была та чернь, которую бичевал Пушкин. Есть, правда, расстояния, которые оказываются пропастью. Такие пропасти могут поглотить государство, это был случай России. Но для России заполнение пропасти требовало методов просвещения, а не народничества, от Академии к народной школе, а не обратно.

Но теперь вопрос ставится уже не о возврате от народничества к просвещению, а о дальнейшем шаге – от просвещения к творчеству. За просвещение мы можем быть спокойны. И государство, и народ, то есть все слои его, одинаково в нем заинтересованы. В сущности, оно нуждается лишь в материальных средствах и организации. Оно может пока еще – и долго – совершаться в России самотеком, то есть по инерции, силой разбуженной в массах жажды знания.

Иное дело творчество, то есть культурное творчество. Работа для него потребует методов, коренным образом отличных от народнических. Методов не только непривычных для нас, но и прямо враждебных нашим «заветам».

Поставить творчество впереди просвещения – то же самое, что в хозяйственной жизни подчеркнуть производство перед распределением. Логически может ли быть иначе? Прежде чем распределять, нужно, чтобы было что распределять. Лишь XIX век с его титаническим, почти стихийным ростом производства, как и культурного накопления, приучил нас поверхностно скользить над проблемою производительных сил. Социализм сводился к проблеме распределения. Понадобилось тоталитарное осуществление социализма в СССР, чтобы вопросы производства встали в порядок дня. Производство падает. Мощный поток хозяйственной энергии, вчера, казалось, неистощимой, иссякает, как степной ручей. Нужны планомерные и сознательные усилия, чтобы оживить его. Сюда относится борьба с «уравниловкой», премиальные тарифы, стахановщина, восстановление кадров, техническое образование. Обобщая, можно было бы сказать: создание неравенства, или технической элиты. Следует признать, что основное направление технической политики выбрано правильно. Страна должна создать свою техническую элиту, если хочет выбиться из нищеты. Лишь органическое головотяпство режима (отчасти совпадающее с самым духом большевизма) губит все разумные начинания.

В сфере духовной культуры меньше места плановому вмешательству, организации, больше свободе, иррациональным силам духа. Но основная

проблема воспитания и здесь та же самая: создание элиты, культурного неравенства. Потрясенные фактом общественного неравенства – действительно безнравственного и уничтожающего возможность подлинного национального общения, – мы проглядели ценность и вечность духовной иерархии. Должно быть расстояние между учителем и учеником, между писателем и читателем, между мыслителем и популяризатором. Иначе нечему будет учить. Напряженность восходящего движения к культуре пропорциональна расстоянию ее полюсов, – если только связь между ними не утрачена: так сила тока пропорциональна разности потенциалов. Конечно, расстояние между полюсами должно быть заполнено посредствующими деятелями; строение культурного мира ступенчато,иерархично. Академик не должен, да и не может, не умеет преподавать в народной школе. Вот то, чего у нас не одни большевики, но почти никто не понимает. Непосредственное творчески-трудовое общение происходит между смежными звеньями иерархии. Тогда – и только тогда, – по слову Данте, nunni tirati son e tutti tirano – «все влекомы, и все влекут».

И, наконец, отрешаясь от всех соображений педагогической целесообразности и даже общественного блага, надо отдать себе отчет в том, для чего, собственно, существует культура. Культура ли для народа или народ для культуры? Единственный смысл существования нации – в ее творчестве: в открытой ею истине, в созданной красоте, в осуществленной или прозреваемой ею правде. Хотя сказано, что суббота для человека, но человек – для Бога. Суббота относится к цивилизации.

Наша радость о Греции, наша благодарность ей за созданное ею вечное достояние омрачается, правда, мыс лью о рабстве, об узости того социального слоя, который был носителем ее культуры. Но кому серьезно придет в голову отказаться от этого наследия), есть в духовном смысле отвергнуть его) лишь потому, что оно пахнет рабством? Или от великой русской культуры, – которая почти вся вскормлена крепостным строем? Неравенство, в самых тяжких социальных формах, до нынешнего дня было необходимым условием высшей культуры: таков закон социального грехопадения. Лишь наше время – впервые в истории мира – благодаря неслыханному накоплению материальных средств сделало возможным – покамест только теоретически – культуру, построенную если не на равенстве, то на общности, на всенародном общении, на бесклассовом, в экономическом смысле, обществе. Это наше счастье, наша привилегия. Сумеем ли мы воспользоваться ею? Лишь в том случае, если на почве экономического почти-равенства сумеем создать культурное неравенство,

иерархию духовной элиты. Надо постоянно повторять это, кричать об этом – в наши дни, когда не в одной России, а в половине Европы торжествующая демагогия хочет обезглавить элиту и утопить ее в красном, черном, коричневом, но, по существу, всегда сером национальном однообразии.

§ 3

Создание элиты в России дело не столь безнадежное, как может показаться с первого взгляда. Прежде всего, в какой-то мере, она существует. В России работают ученые с мировым именем. Время от времени выходят художественные издания, тонкие книги по литературе и искусству. Доходят изредка письма, свидетельствующие о неистребимости старой интеллигенции. Старый режим оставил большевикам в наследство не только сотни ученых, но и тысячи «аспирантов». Ими и по сию пору питается русская советская наука. Большинство писателей – выходцы из иной среды, дети новой России и, в смысле культуры, вряд ли удовлетворяют строгим требованиям. Но элита или, вернее, ядро ее существует. Она рассеяна, придавлена, из мучена, лишена корпоративного сознания. Но она не только существует, она способна расти. Этот прирост ее, или ее накопление, может совершаться из трех источников: из подрастающих поколений старой интеллигенции, из нового правящего слоя и из народных низов.

Мы знаем, что многие из представителей интеллигенции, стареющей, обессиленной и уходящей из жизни, су мели, ценою героических усилий, дать своим детям образование, соответствующее требованиям старой России. Молодежь духовно далеко ушла от отцов, большинство прошли через комсомол и через увлечение сталинским строительством, но культурный отпечаток сохранился. Сейчас они, конечно, пережили горькое похмелье. Иные сумели чудом сохраниться и духовно. Эта молодежь и будет носительницей культурного преемства.

Новый правящий слой, который сформировался в России и уже резко отталкивается от народной массы, связан исключительно с государством и службой. При всем старании его внешне подтянуться и лакироваться, при всех усилиях его цивилизации, внутренне он остается совершенно варварским. Сравнение с обществом директории или наполеоновской Империи окажется далеко не в его пользу. Новые люди подчас играют в меценатов, ведут дружбу с писателями, подражая Сталину, но, конечно, ни в какой элите им нет места. Однако они стараются дать своим детям лучшее образование: приглашают частных учителей, учат иностранным языкам. Золотая молодежь вступает в жизнь морально развращенной,

падкой на привилегии, жадной до успеха. Но по своему уровню она может быть вторым источником для питания элиты. Влияние потомков старой интеллигенции, перелом духовной направленности может спаять их в один слой.

Наконец, выходцы из народа. Мы знаем, что пора равенства в России прошла, что массы отброшены назад в своем социальном быте и самосознании. Тем не менее, порыв революции для них не прошел бесследно. Тяга к знанию, к цивилизации огромна. Среди пробивающих себе дорогу посредственностей, сильных только волчьей хваткой или лисьей способностью к приспособлению, есть и настоящие таланты. Вспомним хотя бы об успехах музыки, о советских певцах и пианистах. Правда, талант одно, а куль тура другое. Гениальный Шаляпин, как и очень талантливый Горький так и не могли до конца слиться с русским культурным слоем. Но при огромном материале и строгом отборе даже сейчас возможен приток культурных единиц из низов. Несколько сотен из миллионов. Впоследствии пригодная система образования значительно расширит этот приток.

Каким образом из этих материалов может создаться элита? В двух словах: путем отбора и концентрации. Культурных людей в России еще немало. Но они рассеяны, рас сыпаны в ее страшных пространствах. Погруженные в море варварства, они окрашиваются в его защитный цвет. Лишенные общения, они обречены на бесплодие. Соберите их, сделайте их участниками национальной беседы, и жизнь вспыхнет, как огонь из сухого дерева под фокусом оптического стекла. Этот отбор и концентрация могут, и должны, происходить двумя путями: государственным и частным. Не может не быть государственной в наше время организации науки. В России, вероятно, нет ни одной подлинной высшей школы. Но есть Академия наук. Она раз бухла, наводнена полуучеными и политическими агитаторами. Нужно начать с ее чистки. Очищенная, Академия и в настоящее время будет представлять солидное ученое учреждение, – какого не было у Петра, когда он задумывал создание науки в России. Академия без труда отберет из 700 высших (!) школ профессорские кадры для одного университета. Другой она может обслуживать сама. Не будем бояться, что, оттягивая все лучшие силы в центр, мы обездолим провинцию. Задача восстановления центров стоит на первом плане и должна проводиться бесстрашно. Два университета на Россию, уже сейчас, но настоящих, – это не слишком смелая мечта. Трудно найти студентов. Но здесь отбор лучших учеников производится из десятков тысяч школ. Можно представить себе, что такой строгий отбор даст исключительно

даровитый состав молодежи, с которой можно начинать дело. Ее подготовка будет все-таки недостаточной. Для будущих студентов должны быть сразу же открыты две классические школы, весьма замкнутые и привилегированные, как и первые университеты. Но привилегии обеспечиваются исключительно знаниями и способностями. Через 10 лет историко-филологические факультеты, наиболее обескровленные теперь, будут пополняться прекрасным составом слушателей, каких не имел и наш старый демократический университет. Главное дело университета будет состоять не в чтении популярных лекций, а в лабораторно-семинарских занятиях для подготовки будущих ученых. Неизбежно придется посылать молодежь за границу – на первое время в широких размерах – для научного усовершенствования: Слишком долго длилась искусственная изоляция России от Европы за десятилетия революции. И, прежде всего этот путь на Запад должен быть открыт для сотен молодых ученых новой формации – даже для тех, кто занимает в России командные места. Большинство из них, конечно, претерпят deminutio capitis, как и вся масса высших школ превратится в технические и общеобразовательные курсы. Просветительная работа, количественная и экстенсивная; может не прерываться и не сокращаться. Она лишь потеряет свои необоснованные претензии и титулы.

Таков государственный план воссоздания научной элиты. Захочет ли государство проводить его, мы не знаем. Если пореволюционная власть останется в руках людей, созданных революцией, то мы не можем ожидать от них настоящего понимания культуры и ее задач. Культурной элите придется, может быть, выдержать нелегкий бой – за Академию, за университет, за классическую школу. Но эта борьба не безнадежна. Проблема качества и проблема кадров пробивают уже в России самые темные мозги.

Во всяком случае, перед остатками и новыми ростками интеллигенции остается другой путь: путь общественного, вольного воспитания элиты и создания в России культурного воздуха. Когда интеллигенция получит возможность дышать и думать вслух, она почувствует непреодолимую тягу к объединению – в кружки, в группы, в общества. Одна потребность говорить на своем языке, с людьми, понимающими собеседника с полуслова, сделает свое дело. Ведь до сих пор интеллигенция в России живет как колонии европейцев среди цветных рас – с той только разницей, что здесь белые находятся в рабстве у цветных. Эта интеллигенция давно отвыкла от политики, потеряла всякий вкус к ней. Зато работа культурная приняла для нее характер почти

религиозного служения. Задача воссоздания культуры в России может стать делом жизни и призванием целого поколения – я хочу сказать, чисто формальная задача культуры – безотносительно к ее ценностному содержанию. Объединения интеллигенции могут иметь различные формы: от салонов и кружков до правильно организованных культурных обществ. Их цели и работа могут быть самыми разнообразными: религиозные, философские, исторические, литературные, «общества ревнителей русского языка и грамматики», «общества любителей латинского и греческого языка» и т. п. В самых глухих местах невозможна специализация: культурные люди просто тянутся друг к другу отвести душу за чашкой чая, поговорить о новой или старой книге. Но выше уже необходимо разделение интересов и труда. Нечего бояться пуризма и педантизма. Старый опыт интеллигентской кружковщины предостерегает скорее от другой опасности: дилетантского всезнайства. Да и самая задача новой элиты иная: не решение всех вековечных вопросов жизни, а культурное воспитание для работы, для восхождения по ступеням духовной иерархии. Когда приходится бороться за русский язык или за культурную грамотность, кружки или салоны должны проявлять такую же строгость, как университеты. Доступ в них должен быть труден и ограничен. Важно лишь одно: чтобы в основе этой замкнутости не лежало никаких старых сословных или политических реминисценций. Старая интеллигенция должна соединиться с новой на единственном условии равного качества. Новые люди принесут с собой новые взгляды; возникнет плодотворная борьба идей, которая помешает интеллигентским группам выродиться в бесплодных хранителей заветов, себя переживших и никому не интересных.

Гораздо важнее всякой просветительной литературы в России завтрашнего дня создание литературы для избранных, для немногих. Книг, совершено свободных от заботы – не о читателе, конечно, но о грамотности читателя. Вы не понимаете? – значит, это не для вас. Ищите более подходящей литературы, только и всего. Для кого же тогда писать? Опыт эмигрантской литературы показывает, что 300 читателей уже обеспечивают сбыт книги. Триста читателей из необъятной России найдутся на всякую книгу. Печатать мы будем, но это потребует от всех нас жертв. Интеллигенции придется изменить свое отношение к книге как к почти бесплатному общественному продукту, за которым идут в библиотеку. Некоторые книги надо будет вырезать из скромного бюджета, покупать их ценою поста.

За всеми внешними формами организации элиты и ее работы стоит ее

духовная организация. Говорят нередко, что старая русская интеллигенция была орденской. Она имела не внешнюю организацию ордена, но его внутреннее самосознание. Была исполнена сознанием своей миссии и своей выделенности из толпы. Выделенности не для привилегий, а для страданий и борьбы. При всех изменившихся условиях, при иной, противоположной даже направленности, новая элита не менее старой нуждается в орденском самосознании. Только ее образцом будет не столько масонство, сколько средневековый клир, организовавший свою латинскую культуру вокруг общезначимой и всенародной Церкви. Жертв и страданий новое подвижничество во имя культуры потребует немало – может быть, не менее политического подвижничества старой интеллигенции. Однако новая антикенотическая направленность требует и новой этики: этики не столько самоуничижения, сколько достоинства. Ныне поставленная на колени перед властью и народом, новая элита во имя достоинства куль туры должна потребовать и уважения к себе. Должна научиться бороться за свое собственное достоинство и право, умея отличать достоинство от интересов и право от привилегий. Она должна занять в обществе подобающее ей место: не привилегированной касты, но всеми признанной духовной аристократии. Место первого среди равных.

§ 4

Достоинство интеллигенции – не в противопоставлении ее народу. Перо и кисть не должны противополагаться серпу и молоту. Если будущая Россия, как, впрочем, и вся пережившая социальную революцию Европа, будет организована корпоративно или профессионально, интеллигенция должна занять свое место среди трудовых корпораций или союзов. Идея труда не противна высокому строю культуры – более того, она созвучна нашему современному пониманию творчества. Мы все ставим ремесло подножием искусству. Современный университет в своей организации хранит следы своего корпоративного происхождения; это последняя из сохранившихся средневековых гильдий. Художники Ренессанса все сознавали себя людьми ремесла и цеха. Таковы и средневековые миннезингеры. Лишь романтизм противопоставил вдохновение труду, и в этом было его трагическое заблуждение. Мы все – и люди науки, и люди искусства – возвращаемся теперь к древним и вечным основам искусства-ремесла – technéars – и не гнушаемся высоким званием работника. Признаюсь, «работ ник науки» звучит для меня честнее, чем «ученый», в котором много самомнения. Кто, по совести, может назвать себя ученым? Мы все учимся и учим, и в этом видим наше право на уважение. А творческим должен быть всякий труд, труд столяра не менее труда

живописца.

Поэтому интеллигенция не должна возражать против включения ее в систему общенациональных трудовых корпораций. Но в то же время она должна бороться за первое место, среди них. Ненормально, чтобы это место было занято металлистами, как в коммунистической России, или земледельцами в возможной России крестьянской. Первое место интеллигенции предполагается иерархией ценностей в системе национального производства. Мысль, слово, форма и звук важнее, выше практических материальных вещей, ибо имеют более близкое отношение к цели культуры, к самому смыслу существования наций. Telos, конечная цель, определяет место каждого звена в системе иерархии. Место мыслителя и художника непосредственно вслед за святым и рядом со священником в нормальной иерархии. Но святость не принадлежит к иерархии социальной.

Корпоративная организация интеллигенции, конечно, не должна означать непременно корпоративной организации ее труда и творчества. Труд ее может быть или совершенно личным (поэт), или корпоративным (академический ученый), или лично-общественным (музыкант), но корпорация сейчас более чем когда-либо, необходима для защиты социального достоинства интеллигенции. Мы сознательно говорим о достоинстве, а не об интересе, ибо не считаем задачей дня борьбу за материальные интересы интеллигенции. Более того, мы боимся, что борьба за материальные интересы, за более высокое вознаграждение может повредить ее достоинству. Внутри каждой профессии, как интеллигентной (!), так и механической (!), неизбежна далеко расходящаяся шкала вознаграждений – от ученика до мастера, и до мастера единственного в своем цехе. Но между цехами не должно быть принципиального неравенства. Нам не следует притязать на уровень жизни, высший уровня рабочей или крестьянской семьи – при условии, если народное хозяйство даст возможность для всех жить безбедно. Более того, нам духовно легче переносить и бедность, ибо наш труд дает высшее удовлетворение. Художник готов голодать ради своего искусства, но ни один ремесленник не будет голодать ради своего ремесла, ибо он не служит ремеслу, а живет им.

Неравенство материальное, вырастающее на почве куль туры, может компрометировать ее достоинство в глазах масс, как богатство Церкви или даже слишком большая ее обеспеченность содействует росту сект и антицерковных движений. С другой стороны, соблазн комфортабельной жизни может вызвать прилив в ряды интеллигенции людей, ей чуждых по

духу, карьеристов, которых и сейчас более чем достаточно в ее рядах. Ей лучше очиститься от лишних элементов, облегчиться от буржуазного наследства, чтобы с орденской суровостью отдаться своему строгому служению.

Но, отказываясь от лишних рублей, интеллигенция тем более должна настаивать на уважении к ней – в стране, где попирание интеллигенции так долго было возведено в систему.

Эта защита достоинства прежде всего, требует ограждения независимости своего труда от всякого вторжения самоуверенного невежества. Мы не можем принять никаких приказов и указаний в области нашей компетенции. Ныне в России сапожники (фигуральные) учат художников, а вахмистры – писателей. Русская интеллигенция глубоко унижена или сама себя унизила. Это ее великий грех перед культурой и Россией. Нелегко ей будет изгладить из памяти народной эти позорные страницы вольного и невольного рабства. Но она должна искупить их. Искупить самоотверженной борьбой за свободу своего святого ремесла.

В прошлом, в первые годы революции ее свобода нередко попиралась рабочим или человеком из народа, впервые ворвавшимся в храм культуры и учинившим в нем порядочный погром. В будущем опасность угрожает, кажется, не от рабочего, а от солдата. Политически Россию завтрашнего дня, в ее трудной международной и международной обстановке, трудно представить себе иначе, чем в форме военной или полувоенной диктатуры. Опыт всех современных диктатур показывает, как трудно дается им самоограничение. Наш век соблазняет тоталитарностью, и генерал, привыкший решать политические и социальные вопросы своего времени, кончает декретами в области поэзии и музыки. Такая перспектива обязывает быть на страже. Интеллигенция должна оградить свою духовную свободу от всех покушений, откуда бы они ни исходили, снизу или сверху, от рабочего, крестьянина или солдата, от партийного, государственного и даже – случай, конечно, для России фантастический, – клерикального вмешательства.

Но это ограждение достоинства культуры не исчерпывается долгом политической независимости. Еще большее значение, пожалуй, имеет восстановление должных иерархических отношений между учителем, или мастером, и учеником. Эта давно уже разрушенная в России иерархия требует того, чтобы ученик относился с уважением к учителю, который посвящает его в тайны своего искусства или науки. Учитель не софист, торгующий мудростью, а служитель мудрости. Признание высшей ценности требует уважения к тем, кто стоит на высшей ступени

посвящения или искусства. Не уважая себя, заискивая перед народом, интеллигенция в прошлом приучила народ относиться к ней без всякого уважения. Революция породила целые поколения самоуверенных полузнаек, которые снисходят до спецов, но мстят им презрением за прошлое неравенство. А между тем без искреннего сознания неравенства нельзя и представить себе культурного восхождения. Всякий работник культуры, занимающийся не только личным творчеством, но и учительством, должен начинать с того, чтобы вызвать в ученике, безотносительно к его уровню, сознание своего невежества. Ученичество начинается со смирения. За смирением – трудовая аскеза. Кто не хочет идти методом Сократа – и сказать от всего сердца: «Я ничего не знаю», не может быть допущен в строящийся храм. Здесь не должно быть никакой преступной снисходительности. Никто не должен читать перед аудиторией глумящейся или даже скучающей. Никто не должен учить тех, в ком не встречает достаточного уважения. Культура не должна быть недоступной, но не должна быть и общедоступной. Она окружена кольцом если не огня, то трудового искуса, и путь к ней, особенно к ее вершинам, должен рисоваться по образу искания Грааля.

Конечно, прежде чем заставить народ так относиться к своему служению, интеллигенция должна сама поверить в него. Для этого нужен глубокий переворот в самой культу ре и ее понимании. Культура должна быть понята религиозно, или она будет растоптана тяжелым сапогом демагога. На уважение не может претендовать ни легко продающаяся, скептическая буржуазная интеллигенция, ни раболепствующая интеллигенция тоталитарных народов. И здесь и там культурная элита находится в процессе своего разложения. Воскрешение ее требует, прежде всего, воссоздания духовной иерархии ценностей и потом уже социального воспитания и организации, ей соответствующих. «Ищите, прежде всего, Царствия Божия...»

§ 5

Остается последнее большое сомнение. Отрекаясь от традиции народничества и призывая русскую интеллигенцию на новый, культурно-аристократический путь, не совершаем ли мы духовной измены? Измены не только нашим отцам – тем, что сами так легко отрекались, – но и чему-то высшему. За культурно-политическим кенозисом русской интеллигенции, не скрывается ли более глубокий кенозис – религиозный? Да, так оно и есть, конечно. В отрицании государственно-культурного идеала ренессанса (Петра) русское народничество бессознательно выражало отношение к нему русской религиозной души. Кенотично

Г. П. Федотов. Том 2 было русское христианство с младенческих своих лет. Первым русским народником можно признать преп. Феодосия Печерского. Народ, возлюбивший во Христе превыше всего образ убого смирения, народ, хранивший до наших дней – единственный во всем христианском мире – культ юродивых, имеет, несомненно, свое особое религиозное призвание. Посягать на него не значит ли совершать отступничество от того, что является самым заветным в душе народа?

Борьба с народничеством очень распространена в наше время. Но часто она ведется с таким пафосом, на таком языке, что христианин не может не почувствовать себя уязвленным. В борьбе против народничества, как в борьбе против Толстого (или в современной борьбе против иудаизма) сплошь и рядом, сознательно или бессознательно, происходит восстанание против Христа.

Кенозис есть одна из существеннейших идей, или, точнее, один из основных фактов христианства. Может быть, главный, – но не единственный. На нем нельзя строить ни политики, ни культуры – в этом убедил нас и горький опыт истории. Но на нем можно строить духовную жизнь, и это обязывает нас в отношении к нему к крайней осторожности.

Культура, как и политика, не принадлежит к самому глубокому и высшему плану бытия. Но бытие многопланно, и христианство сложно. Его истина, объемлющая все истины, есть совпадение противоположностей, coincidentia oppositorum; то, что отрицается в одном из низших планов, утверждается в высшем. В вере, в личной религиозной жизни для тех, кто воспитан в русской православной традиции, нет ничего выше кенотического опустошения. Но даже и здесь, в отрыве от других данных христианского опыта, кенозис может быть соблазном.

Христианская любовь двухстороння: она нам открылась одновременно и как Эрос, любовь восходящая, творческая, радостная, и как Агапе – нисходящая, сострадательная, жертвенная любовь. Сейчас много спорят о том, какая любовь является по преимуществу христианской. Бесполезный спор: они не могут существовать одна без другой. Чистый Эрос приводит к язычеству, чистая, кенотическая Агапе – к моральному атеизму. Конечно, культура вырастает из Эроса – из творческой радости об истине, о красоте. Но в этической сфере Эрос изменяет нам и нуждается в кенотическом восполнении. Впрочем, может быть, не только в восполнении. Эрос, сам себя опустошающий в жертвенном снисхождении – к миру и человеку, – есть все же высший образ любви. По крайней мере, таков завет русского христианства.

Вот почему, восстанавливая иерархический стройкультуры, не будем

думать, что этот строй есть уже строй Царствия Божия. Последнее слово мудрости – о собственном невежестве. Последнее слово земной красоты – в обезображенном крестной мукой Лице.

Было бы глубоко печально, – хотя исторически и диалектически естественно, – если бы будущая русская интеллигенция замкнулась в гордом самодовлении. Ее борьба за достоинство своего служения не должна закрывать от нее последней правды о своей человеческой нищете. Отстаивая себя перед господствующим уже народом и его вождями, она должна по-прежнему склоняться перед нищим и страдальцем. Нищета и страдание – метасоциальны. Это духовные категории падшего мира. Склоняясь перед ними, мы склоняемся перед Тем, Кто один может искупить все страдания мира и превратить в чудесные сокровища его нищету.

Федерация и Россия

Должна ли и может ли предполагаемая федерация народов включить Россию?

Самый вопрос этот получает разный смысл, смотря по тому, ставится ли он с точки зрения Запада или России. Для западноевропейца он означает колебание осторожности, старую привычку к постепенности, к умеренным решениям: сначала попробуем объединить Запад, народы своей культуры, прежде чем будем раздвигать границы объединения на Восток. Всемирная федерация – это в плане утопии, европейская – в плане реальности. А Россия – в Европе ли?

С точки зрения русского, этот вопрос означает послед нее убежище русского национализма. Объединяйтесь сами, если хотите. Может быть, Европа, в самом деле, переросла век национальных государств – особенна малых государств. Но Россия сама по себе целый союз народов, по территории – одна шестая света, не Европа, не Азия, а особый, себе довлеющий мир. Недавняя историософия евразийства приходит на помощь этому националистическому рефлексу, чтобы доказать, что Россия ни хозяйственно, ни культурно в Европе не нуждается.

В противность этому, мы готовы утверждать, что, как европейская федерация немыслима без России, так и культурная жизнь России немыслима без Европы.

Для Европы что проку в том, что она, покончив со своими вековыми распрями, разоружится и наладит мирное сожительство своих народов, если на Востоке она будет постоянно видеть перед собой стену штыков (или танков)? Сможет ли она вообще разоружиться, если Россия останется вооруженной? Как будут разрешаться конфликты, возникающие из территориальных, этнографических и стратегических отношений на западной границе России? Пусть Россия не чисто европейская держава. Но она, во всяком случае, и не чисто азиатская. На свое несчастье или счастье, она не имеет ни на Западе, ни на Востоке четких рубежей. Это предопределяет для нее необходимость политически жить в сложном мире как европейских, так и азиатских народов. Ее изоляция невозможна и нелепа. Еще в XVI веке, когда Москва культурно жила за искусственно созданной китайской стеной, политически она должна была войти в круг западных держав: искать дружбы с римским цесарем, с Данией, с Англией – хотя бы для того, чтобы обороняться от ближайших соседей-врагов. Балтийские, польские, даже балканские интересы России принадлежат не

к искусственным «империалистическим» наростам на ее политике, а к органическим темам ее истории. Загнать в Азию Россию еще никому не удавалось, не удастся это и самим русским, если бы они того захотели. Оставаясь в Европе и давя на нее всей своей огромной тяжестью, Россия может быть или страшной для нее опасностью, или одним из существенных элементов ее равновесия. С Петра Великого Россия жила общей жизнью с Европой, не раз в критические часы истории – 1813, 1914 годы – помогала спасаться в общей беде. Неужели Ленин мог одним разом переломить тысячелетнюю историю России? Что этого не случилось, доказывает сам его преемник своим неожиданным выходом за западные рубежи. При всей гибельности разбойных приемов Сталина, самое на правление его интересов доказывает, что об изоляции России не может быть и речи. Она остается, как была, неразрывно связанной со всем комплексом восточноевропейских политических сил.

Впрочем, можно поставить и другой вопрос: о какой федерации идет речь? О европейской ли? Пока вопрос о федерации ставится чисто теоретически, ее можно ограничивать как угодно: Европой, Западной Европой – и в этом ограничении видеть признак благоразумия. В действительности, идея федерации принадлежит Англии. Но Англия, точнее Британская Империя, это не чисто европейское государство. Ее доминионы и колонии раскинуты по всем частям света. Одной шестой – СССР с его 170 миллиона ми – она может противопоставить одну четвертую и 450 миллионов. Если большая часть этого политического тела находится вне Европы, можно ли говорить о европейском характере федерации? Но Англия уже сейчас надеется на участие в ней Соединенных Штатов Америки. Лорд Лотиан, британский посланник в Вашингтоне, является одним из творцов этого замысла. Наконец, эта самая Британская Империя в целом ряде точек соприкасается, географически или политически, с азиатскими владениями России: на Дальнем Востоке, в Афганистане, в Персии, на Черном море. Здесь находится источник бесконечных конфликтов – или основа для договорных отношений. Как показал опыт русско-английского сближения при императоре Николае II, интересы двух мировых Империй не могут быть признаны непримиримыми. Англия будет договариваться с Россией в Азии, как она будет договариваться с ней же (в союзе с Францией) в делах Восточной Европы. Но время простых разговоров прошло, как проходит и время вооруженных угроз. Наступает эпоха правового творчества, то есть властно обязывающих решений. Россия необходима для организации мира почти в такой же степени, как и Британская Империя.

Но нужна ли самой России организация мира, нужна ли России Европа?

Россия сейчас в ссоре с Европой. И не Сталин, конечно, первый рассорил их. В Сталине эта ненависть к Европе лишь созрела до дьявольского замысла: разжечь мировую войну, чтобы на пепелище Европы, среди пустынь былой христианской цивилизации, построить могущество русского красного царства. Но ссора началась задолго до Сталина и даже независимо от коммунизма. Ведь и коммунизм является, или являлся, гримасой русского европеизма, искажением русской боли за Европу. Ссора восходит к 1917 году и питается горечью русских унижений. Русское национальное чувство было уязвлено глубоко поражением, разделом, падением России и, не желая взять на себя ответственность, не имея мужества покаяния, стало искать виновника вне себя – на Западе, недавно еще связанном с Россией круговой порукой войны. Это извращение русской боли за Россию одним из первых выразил Блок в своих «Скифах», чудесные стихи которых должны были подсластить измену – не Западу, а самой русской идее: славянской, христианской, культурной традиции России. С тех пор русское скифство гуляет по ту и другую сторонурубе- жа. Оно совершенно подобно тому отречению от Европы, которое, на почве того же унижения и бессильной злобы, совершили две дочери уже западной (римской) Европы: Италия и Германия. В свете этих скифских настроений многим казалось, что Россия может жить как Россия и, пережив Европу и что ей вообще незачем связывать свое будущее с обреченным миром.

Безумное ослепление, самоубийственная мысль!

Автаркия России может быть оправдываема, на худой конец, лишь экономически. Подобно Соединенным Штатам, российский материк представляет условия, почти удовлетворяющие требованиям хозяйственного самодавления. Но разве об этом сейчас речь?

Разве от экономической только неурядицы погибает мир? Но уже политическая автаркия России, как мы видели выше, является вредной утопией. И на Западе, и на Востоке Россия вросла всеми своими членами глубоко в другие политические миры. Ее нельзя оторвать сиг мировых силовых систем, как нельзя разрубить сиамских близнецов.

Что же сказать об автаркии культурной? О перспективах русского будущего в случае гибели Европы? Тяжело говорить об этом сложнейшем вопросе в нескольких строках. Но надо выразить свое убеждение, основанное на опыте тысячелетней истории. Вот оно. Россия и Запад имеют не совсем тождественные истоки; это определяет, вероятно,

навсегда, особенность двух христианских миров. Но и Византия, и Рим восходят к той же Греции. Это объясняет сравнительно легкую возможность общения и взаимного оплодотворения. Петровская Россия была не изменой – или не только изменой, – но и обретением собственной сущности в заимствованных формах культуры. Лишь благодаря Западу, Россия могла выговорить свое слово. В своей московской традиции она не могла найти тех элементов духа (Логоса), без которых все творческие богатства останутся заколдованной грезой. С Европой она проснулась и, мужая, работая, борясь, до конца опиралась на опыт и разум западной сестры, которой уже начала щедро платить за науку. Ныне эта связь жестоко порвана вместе с истреблением целого культурного слоя, бывшего хранителя этой связи. Результатом было общее оскудение и опошление. Первым роковым признаком недуга было падение литературы – последний демонстрируется в лесах Финляндии, в разгроме русских дивизий.

С этой интерпретацией можно спорить, можно искать других причин русских поражений и русского упадка под коммунистической властью. Эти другие причины существуют, смешно было бы отрицать их. Думается только, что и после освобождения России от сталинизма ей не жить цветущей культурной жизнью, если она сохранит китайскую стену, отделяющую ее от Запада, или если этот Запад погибнет как культурный мир.

Есть один элемент христианской культуры, нам всем дорогой, любовно выращенный в петербургский период нашей истории и теперь выкорчеванный без остатка. Это свобода, которая с таким трудом пробивалась в крепостнически-самодержавном царстве, но, наконец, сделалась неотъемлемой частью русской жизни. Эта свобода целиком выросла на почве западной культуры как результат сложного воздействия духовных сил. В византийско-московской традиции у нее не было никаких корней. В этом и состояла трагедия русского славянофильства и вообще русского национального свободолюбия. Вот почему с такой невероятной легкостью свобода могла быть выкорчевана из сознания русских масс, лишенных общения с внешним миром, принесших в марксистскую школу лишь древние инстинкты Московии. Коммунизм сгинет вместе со своими идеологическими катехизисами. Но Московия останется. Останется тоталитарное государство, крепкое не только полицейской силой, но и тысячелетними инстинктами рабства. Разбить его может лишь новый – столь же тоталитарный, то есть религиозный – идеал свободы, который некогда разложил и старую Московию. Но сейчас свобода жива лишь на христианском Западе и ведет отчаянную борьбу с обступившими ее

силами тьмы. Война ведется не только на полях сражений, но и на всех участках культурного фронта: в искусстве, в философии, в теологии. От исхода этой борьбы зависит участь мира на много веков. От нее зависит и участь России. Судьбы России решаются на линии Мажино, в Атлантическом океане, в снегах Финляндии. Странно, дико сложилась история. Русские войска умирают за свое собственное рабство. Финны сражаются не только за свою свободу, но и за свободу России.

Новое отечество

Dulce et decorum est pro patria топ.

Гораций

Патриотизм есть последнее убежище негодяя.

Д-р Джонсон и Лев Толстой

Современная война в своем пафосе, в своих осознанных и полуосознанных целях таит одно противоречие. Вскрыть его нужно не для того, чтобы бередить раны, по старой русской привычке, но чтобы помочь его преодолению. По отношению к военной политике люди разделяются на два лагеря. Одни считают, что говорить сейчас, до победы, о мире преждевременно. Другие думают, что важно выиграть не только войну, но и мир. Страшнее всего проиграть мир после всех нечеловеческих усилий и жертв. Проиграть мир после победы, значит, очутиться опять лицом к лицу с хаосом, как после 1918 года, не справиться с демонами, разбуженными войной, и беспомощно – и уже безнадежно – поплыть по течению к конечной гибели. О защите будущего мира нужно думать уже сейчас со всем напряжением умственных и духовных сил. Признаемся, что мы разделяем мнение людей этого лагеря и потому не считаем преждевременным говорить о противоречиях войны.

Основное противоречие ее – между интернационализмом ее целей и национализмом сражающихся народов.

Еще осенью 1939 года, в первые дни войны, интернациональная нота ясно прозвучала в устах английских и французских ответственных вождей. Эта война не только ради самозащиты. Она должна привести к установлению нового международного порядка. Мир должен быть гарантирован прочно, общей властной организацией, отличной от без властной Лиги Наций. С тех пор эта нота не переставала звучать, в последнее время всего громче в устах американских государственных деятелей (Кордель Холл). К сожалению, Атлантическая хартия, единственный обязывающий документ со стороны «союзных наций», очень скупо говорит о новом порядке, стоя скорее на старой позиции само определения народов. Эта скупость, конечно, не случайна: она говорит о больших трудностях, стоящих на пути к новому строю.

Трудности множатся по мере развития войны. Если, с одной стороны, медленно – слишком медленно – растет и укрепляется экономическая, военная и политическая связь между союзными державами, то, с другой, растет и обостряется национализм порабощенных Германией народов.

Неслыханные насилия и унижения национального чувства вызывают естественную человеческую реакцию. Даже люди, вчера равнодушные к судьбам отечества, потеряв его, переживают по отношению к нему вспышку страстной любви. Хорошо говорить о будущем порядке тем, кто живет в уютном прадедовском доме и думает застраховать его от пожара и войны. Но о чем могут думать миллионы беженцев, выгнанных с родины, или люди, превратившиеся во «внутренних эмигрантов», как не о возвращении родины? Воз вращение, «старый порядок» – становится сладостной меч той. Активные, горячие, живущие борьбой мечтают о мести. По человечеству нельзя осудить их. Миллионы истребляемых евреев, сербов, как и униженных и оскорбленных французов, голландцев и норвежцев, горят сейчас одной мыслью: уничтожения Германии. Легко себе представить, что ни о чем другом не думают и в Советской России. По крайней мере, ни один звук не донесся оттуда, который мог бы быть истолкован в смысле универсальных целей войны. Там война переживается как национальная, отечественная, освободительная. О том же и только о том говорит и генерал де Голль в своей программе: восстановление Франции и ее Империи – вот идеал свободной или «воюющей» Франции. Без сомнения, этот взрыв патриотических чувств в порабощенной Европе является одним из мощных факторов победы. Люди, потерявшие национальное сознание, легко примиряются с немецким завоевателем. Нельзя не предпочесть, политически и морально, национализм де Голляпацифизму Де-Мана. Но ясно, каким огромным препятствием для организации мира является весь этот котел кипящих, взаимно непримиримых национальных страстей.

Нет, не «свободные» (то есть порабощенные) народы и не СССР пронесут сквозь ад войны образ нового мира. Если кто может думать о нем, если у кого не захлестнуло разума вол ной «праведной» злобы, то это две великих англосаксонских демократии. Здесь еще есть люди, которые помнят не только о победе, но и о мире. Но и здесь нет единства. Мы видим две Америки: Америку Рузвельта, великодушную и дальновидную, сознающую ответственность за оба полушария, – и другую Америку, вчера еще изоляционистскую, которая теперь согласна лишь на войну во имя национальных целей. Вероятно, та же борьба происходит и в старой Англии, но до нас доходят сюда лишь слабые ее отголоски.

Невозможно видеть в этом споре о целях войны старую тяжбу реалистов и идеалистов. Слишком ясно, что в данном случае реалисты просто слепцы, которые идут к своей и все общей погибели. Их реализм – паралич ума и воображения, а не рассудительность опыта, законно

ищущего в прошлом опоры для жизни. Даже тогда, когда «идеалисты» и «реалисты» говорят как будто об одном и том же: о гарантиях будущего мира, о международном правопорядке, – они говорят о разных вещах. Для одних речь идет о поддержке старого национального отечества средствами международной полиции, для других – о создании нового сверхнационального единства. Последний вопрос, разделяющий их, есть вопрос о суверенитете. Кому принадлежит верховный суверенитет: сегодняшнему национальному государству или сверхнациональному государству завтрашнего дня?

Безумна и революционна наша жизнь с ее неслыханными темпами. Она ставит проблемы, которые далеко опережают сознание большинства. Многое, бывшее вчера утопией, сегодня становится неотложной необходимостью. Есть объективные требования жизни, которые вытекают не из нравственных идеалов передового меньшинства, а из собственной логики. Было время, когда социализм или проблема вечного мира были идеалом, постулатом нравственного сознания. Теперь как социализм в новом аспекте организованного мирового хозяйства, так и пацифизм в форме принудительного международного порядка диктуется самосохранением нашей культуры. Нам уже не дано решать, что лучше, что хуже: организованное или свободное государство, национальный или международный суверенитет. Здесь выбор не между двумя формами жизни, а между жизнью и смертью.

Проблема, поставленная сейчас жизнью, есть обуздание национального государства, а не одной Германии, как склонны часто упрощать дело. Германия действительно воплощает сейчас дух агрессии. Но одна ли она им одер жима? Уберите Германию с карты Европы – даже без вся кой возможности ее возвращения, – можете быть уверены, что преемник ей скоро найдется, если оставить неприкосновенной систему сосуществования суверенных государств.

§ 1

Есть доля правды в утверждении, что национализм становится мировой опасностью лишь в фашистском, тоталитарном государстве. Уничтожение фашизма есть, таким образом, лучший путь к обеспеченному миру. Действительно, в настоящую эпоху мы не видим воинственных демократий. Но сам фашизм является скорее порождением национальной горячки, чем ее отцом. Это верно, по крайней мере, для Германии и Италии. А Япония сумела воплотить тоталитарно-национальный идеал и вне своеобразных форм фашизма. Искоренение политического фашизма еще не спасает от острого националистического

заболевания. И этот национализм всегда найдет для себя тоталитарные формы. Демократия не пригодна для народа, который де лает войну идеалом своей жизни. Для тоталитарного, военного воспитания деспотизм в том или ином виде единственно возможная государственная система.

Не следует придавать, поэтому решающего значения тому факту, что за двадцать лет от Версальского мира до новой войны агрессорами являются фашистские державы (да и здесь сомнительно понимание Японии как фашистской страны). Опыт этого двадцатилетия учит другому: опасности суверенного национального государства и в то же время его беззащитности. Оно опасно в своей силе, беззащитно в своей слабости. Никто не спас Манчжурии, Абиссинии, Албании, Австрии, Чехии, несмотря на существование мирового арбитра – в Женеве. Лига Наций не имела суверенитета, а суверенитет народов (кроме агрессоров) оказался для них роковым преимуществом: это он был источником их беззащитности.

Люди, ориентированные на прошлое, и притом не очень давнее, мнимые реалисты, живущие в XIX столетии, отвечают: когда же это было иначе? Безопасность – вредная утопия. Жизнь опасна, свобода опасна. Война стара, как человечество. Войны задерживали прогресс, но не могли остановить его. Мир – не вечный, но длительный – покоится не на сверхнациональной организации, а на временном равновесии сил.

Говорящие так не отдают себе отчета в том, что чудовищная техника наших дней в корне изменила все условия жизни. Теперь количественные различия, обусловленные техникой, переходят в качество. Невозможна свободная езда по дорогам, пересекаемым тысячами автомобилей. Не возможно сохранение личных патриархальных отношений хозяина и рабочего в современной фабрике. Невозможна свобода войны и мира для государств, вооружения которых способны взорвать на воздух всю нашу цивилизацию. Война перестала быть бурей, грозой, подчас живительной. Она стала чем-то вроде болезни, все разлагающей и неизлечимой. За двадцать лет еще не были залечены раны первой войны. Экономическое расстройство, порожденные ею, превратилось в общий кризис. Вызванный ею же подрыв демократического сознания привел к фашистскому обвалу в половине Европы. Ослабление великих европейских наций поставило на очередь восстание цветных материков против гегемонии белой расы. И через двадцать лет новая война начинается с того места, на котором остановилась первая. Реванш побежденной Германии, в союзе с ненасытившимися партнерами старой антигерманской коалиции, делает новую войну продолжением первой. Это значит: война не кончается, не

может кончиться, пока не останется камня на камне от нашей цивилизации или пока эта цивилизация не найдет своего политического единства.

Изолированное государство более не может существовать. Оно не способно организовать ни своего хозяйства в слишком узких границах, ни своей безопасности слишком слабыми силами своих армий. Оно должно найти в себе силы для более широкой интеграции или погибнуть.

Как ни нова и ни беспримерна мощь современной тех-

Г. П. ники, сама проблема интеграции политических организмов, принадлежащих к культурному единству, стара как мир. Время от времени человечество или, вернее, отдельные его цивилизации чувствуют себя стесненными в старых политических рамках. Под влиянием новых культурных потребностей, но почти всегда путем войны старые общества-государства вступают в новые высшие соединения. Греко-римские городские общины сливаются в Империи, феодальные княжества – в национальные государства. Процесс тяжелый и мучительный. Нелегко иберу или галлу подчиниться римскому игу или Великому Новгороду смириться перед Москвой. Но история неумолима. Ценой отказа от узкой независимости-суверенитета культура покупает себе возможность жизни, роста, процветания уже не в Нормандии, не в Новгороде, не в Афинах, – а во Франции, в России, в космополитической «Римской Империи».

Опыт Рима особенно поучителен для нашего времени. Рим интегрировал не одну национальную культуру, а все многообразное единство средиземноморских культур, уже давно тяготевших к единству, несмотря на пестроту национальных и местных антагонизмов. И культура, которую он защищал своим мечом, была не его национальной, римской или греко-восточной – по своему сознанию, уже вселенской. И все же то был очень болезненный процесс. На пути к единству пролились реки крови. Старые отечества не хотели умирать. Рим и Карфаген, Рим и Босфор, Рим и Галлия, – сколько жестоких вековых поединков! Несмотря на далеко зашедшее культурное единство средиземноморского мира, национальные или локальные чувства были сильны. Замечательно, что они были сильнее у варваров, чем у культурных греков или сирийцев. Не одно гражданское вырождение Востока было тому причиной, но и космополитическое сознание, прокладывающее дорогу римской государственности. Сейчас мы живем в таком же противоречивом мире, объединенном хозяйством, наукой, техникой, укладом жизни, в значительной мере даже искусством. Действительно, искусство наших дней, в его высших и низших проявлениях, одинаково удалилось от

романтического идеала национального искусства, которым жил XIX век. По существу, культурные различия между народами Европы не более значительны, чем между княжествами средневековой Франции, и совсем уже несравнимы с пестротой древ них культур Средиземноморья. Но политика и здесь, как и везде, отстает от жизни. Государственное сознание остается прикованным к старым суверенитетам, зажатым в узкие национальные границы. Отсюда кровавые муки родов нового великого отечества.

Что это будет за отечество? Костная мысль пугается огромностью встающего мира и хочет облегчить себе пере ход к нему. Завещанные XIX веком привычки эволюционной мысли соблазняют ложным реализмом постепенности. Не все сразу. Мы не созрели до мирового отечества. Ближайший этап перед нами – это система федераций: Центральноевропейская,Восточноевропейская, Дунайская, или Балканская, плюс уже существующие: Британская, Российская и т. д. Для многих сейчас это единственно мыслимое завершение войны. Но что же это за решение? Что оно решает? Какая из этих федераций обладает действительной автаркией? Какая может обеспечить свою безопасность своим собственным мечом? Ведь это чистый предрассудок, – хотя и лестный для представителей великих наций, – что только малые государства нежизнеспособны, беззащитны и опасны для общего мира. Как ни бессмысленны мелкие конфликты юго-востока Европы, не они взорвали мир. Конфликты между великими державами куда опаснее: франко-германский, германо-русский, германо-славянский. Европа, разделенная на четыре-пять федераций, представляет такой же пороховой погреб, как и Европа тридцати национальных государств. Да и легче разрешаются конфликты в великом целом, чем в малом. Не Балканской федерации замирить вековую ненависть ее народов; это по силам какой-нибудь пан-Европе. Совершенно так же, как распри народов Кавказа разрешатся не Кавказской федерацией, а, по крайней мере, Всероссийской. Следовательно, и осуществление великой Федерации не труднее, а легче осуществления малых, вопреки близорукому реализму постепеновцев.

Отказавшись от идеи областных федераций, не возвращаемся ли мы к знаменитому проекту пан-Европы? Но , война произнесла над ним свой окончательный суд. Европа без Англии, центрированная вокруг Германии, – теперь это чисто немецкий идеал. Но если Англия или даже Англо-Америка становятся средоточием и даже организующей силой, то это уже не Европа – по крайней мере, в географическом смысле. Англосаксонский мир, расселившийся по всем частям света, плюс истощенная войной

Европа, которая может быть теперь только придатком к нему, – вот первые очертания будущего отечества. Культурно и духовно это все та же Европа, то есть предел распространения былой греко-римской и христианской культуры, еще по ныне живых и живительных в своем наследии. Кто присоединится к этой духовной Европе из вне лежащего мира, сейчас невозможно предвидеть. Это будет делом текущего политического дня, тогда как создание «европейского отечества» – дело, подготовленное тысячелетней историей. Европа уже существует как нация в культурном смысле, хотя и разделенная междоусобицами, – она должна лишь создать для себя политическую форму.

Дальнейший рост этой океанической Европы зависит от напряжения культурных сил, – по крайней мере, социальных и политических. Здесь могут быть всякие неожиданности. Так, Китай или Индия, при всей глубокой несродности нам их древних цивилизаций, в настоящее время разделяют наши нравственно-политические предпосылки, выросшие на христианской основе. Быть может, они даже являются лучшими защитниками этих начал, чем сама духовно надорванная Европа. С другой стороны, всем прошлым своим связанные с Европой Германия и Россия, по край ней мере сейчас, остаются вне Европы как духовно-политического единства. Фашизм несовместим с традициями ста рой Европы – более того, он для нее смертелен. Лишь внутренне и свободно преодолев фашизм, страны диктатуры могут искренне согласиться на вступление в новое великое отечество. Преодоление фашизма здесь не единственное условие. И простой национализм, до известной степени законный, но реакционный и несовместимый с завтрашним днем истории, будет противиться отказу от государственного суверенитета. Для патриота это будет казаться непосильной жертвой. Отчаяние и безнадежность иного существования облегчают объединение порабощенных народов. Но сильные, победоносные или хотя бы и побежденные, но стойкие до конца не пойдут – долго не пойдут – на акт, который будет им представляться национальным само убийством.

Но, может быть, здесь и лежит подводный камень, обрекающий на крушение все планы нового политического мира? Вне Европы останутся огромные массивы, ранее входившие в ее состав. Не расшатает ли это с самого начала задуманное построение? Думается, что трудности, вытекающие из ограниченности будущего отечества, не являются не преодолимыми. Существенно лишь то, чтобы оно сосредоточило в своих руках подавляющий экономический и военный потенциал, который бы делал борьбу против него невозможной. Тогда разоружение мира

перестанет быть утопией. Государства и народы, цепляющиеся за свою суверенность, могут быть связаны с мировой державой договорными отношения ми, делающими и для них возможным участие в экономической и культурной организации мира. Конечно, главная опасность именно здесь: опасность будущих конфликтов и войн, связанных с независимостью национальных государств. Возможно, что недоделанное в этой войне будет до кончено в будущей, как ни страшно об этом думать. Во вся ком случае, выбора нет: единство или гибель.

Утопизм, которым отличаются почти всегда разговоры о едином отечестве, характеризует не самую цель, а Предполагающиеся средства к ней. Утопична, в самом деле, мысль, что пятьдесят независимых государств могут в один прекрасный день на общей конференции – в Женеве или Вашингтоне, – никем не принуждаемые, совершенно свободно отказаться от своего суверенитета. Но совершенно не утопична, например, мысль о возможном завоевании мира – в одном или двух поколениях – сильнейшей мировой державой. Завоевание Европы Гитлером уже почти совершившийся факт. Если мы верим, что это завоевание не окончательное и что Германии не удастся удержать за собой завоеванный материк, то наша уверенность вытекает, прежде всего, из характера-завоевателя. Германии не дано pacis imponere morem. «Новый порядок», который несет Гитлер, есть порядок господства, а не сотрудничества. В жертву одной расе, то есть народу, обрекаются на гибель и рабство десятки миллионов. Народы Европы не могут примириться с такой участью. Но с потерей суверенитета они теперь уже примирились бы, если бы Гитлер или другой властелин действительно нес им блага прочного мира, экономического процветания и известной культурной свободы. Недаром столько социалистов Франции и Бельгии на первых порах поторопились признать немецкое завоевание. Мир и единство – слишком соблазнительные вещи для современного человека. Не одна трусость и низкий расчет загнали Деа, Бержери и Де-Мана в гитлеровский стан. Но великая задача, которая решалась некогда с успехом Цезарем и с меньшим успехом Наполеоном, не по плечу Гитлеру. Его государственные идеалы слишком низменны. Бисмарк на его месте, может быть, сумел бы действительно покорить и замирить Европу.

Счастье наше – если не слишком возмутительно говорить о счастье среди бойни и кладбища, – что мы имеем альтернативу Германской Империи в федерациях англосаксонского мира. За последние полвека Англия сумела, хотя и не до конца, перестроиться из насильственно сколоченной Империи в свободный союз народов. Отдельные части этого

союза, как и само целое, как и ранее оторвавшаяся от него великая Северо-Американская республика, связаны федеративными узами большей или меньшей прочности. Это первый в истории удачный опыт федеративной государственности в великодержавном масштабе. Его удача дает возможность иначе оценивать пресловутую утопичность федерации как основы мирового государства.

Империя или федерация? Эта альтернатива не точна, если дело идет о форме будущего мира. Британия есть Империя в форме федерации, где средневековые титулы монарха являются символами единства свободных народов. Реально возможна лишь антитеза между свободой и принуждением. Но и она в чистом виде беспочвенна. Не может быть государства, построенного лишь на одной свободе, как и на одном принуждении. Сила и принуждение всегда были и будут фактором государственно-образующим. Но прочность государства зависит от добровольного признания. Свобода и сила, добровольность и принуждение должны быть положены в основу создания и новой государственности. Война облегчает, а не затрудняет это создание. Она приучает людей к необходимости принуждения, к добровольной или недобровольной жертве своей свободой. Чего не могла добиться старая Лига Наций от своих суверенных членов, того может легко потребовать коалиция победителей, опирающаяся на силу победоносных армий. Новое федеративное отечество имеет своей политической предпосылкой гегемонию победителей.

«Гегемония – значит господство? Господство – значит угнетение? – скажут многие, учившиеся думать по плакатам, а таких теперь большинство. – Вы предлагаете нам вместо немецкой или русской Империи Англосаксонскую федерацию? В чем преимущества?» Ответить легко ссылкой на конкретный опыт. Тому, кто мог спастись из лаге рей любого тоталитарного государства, сохранив свою голову от фашистских идеологий, жизнь не только «угнетенного» индуса, но и негра в африканских колониях представляется раем. Да и сама структура Британской Империи, как и Соединенных Штатов Америки, исключает политическую тиранию, оставляя, самое большее, возможность экономических и социальных преимуществ правящего слоя. Вместе с социальной демократизацией, идущей гигантскими шагами, сами эти преимущества капиталистического класса сойдут на нет. Останутся, вероятно, неравенства в уровне жизни, в оплате труда между разными ассами и народами; такое ли это непереносимое зло?

Федеративность нового общества, исключающая «сплошной» централизм, Сохраняет старое отечество с ограниченными функциями.

Международная политика и хозяйство выходят из его компетенции, но за ним остается значительная доля культурной политики, полиции и правосудия. Превращаясь из суверенного государства в штат, оно сохраняет свою символику, пышность исторических костюмов и традиций. Это облегчает переход для гражданского сознания. Старое отечество существует, хотя и не посылает своих сынов на смерть для защиты своих интересов и престижа. Лояльность и подданство разделяются между великими и малыми отечествами, возвращая Европу в мир оклеветанного феодализма. Феодализм, то есть разделение суверенности между рядом политических сфер, раскрепощает личность от всепоглощающего этатизма, который встал угрозой для свободы. Недаром наша свобода родилась с Великой хартией в недрах феодализма.

Опасность грозит совсем с другого конца: не от насилия, а от безвластия или от бездействия власти. Лига Накий погибла от нежелания гегемонов 1919 года обнажить меч на защиту ее законов. Новая власть победоносных демократий стоит с самого начала перед необходимостью военного и политического принуждения для умиротворения и организации мира. Разоружить народы, пресечь немедленно национальные вендетты, избиение меньшинств, политический террор, бесконечные и бесплодные пограничные тяжбы... Сколько труда, сколько пота и крови предстоит отдать, прежде чем наша старая планета будет вновь пригодна для жизни разумных существ. И если кто-нибудь при мет на себя ответственность за общее дело, возьмет почин и водительство, народы благословят его, какие бы ошибки и даже злоупотребления он себе не позволил. Власть не всегда средство эксплуатации. Бывает – и не так редко, – что она является орудием для осуществления высокой миссии. И нет миссии выше и благороднее, чем осуществление нового не средиземноморского, не римского, а европейского в культурном смысле или, чтобы не обижать Америки и не забегать вперед истории, скажем – «Атлантического» мира: Pax Atlantica.

§ 2

Для нас, русских, как для большинства людей нашего времени, отечество слишком слилось с нацией; нам трудно – для многих невозможно – и помыслить разрыв между ни ми. Во всяком случае, он не кажется заманчивым, – скорее всего он пугает. Мы привыкли думать, что национальная культура нуждается в государственной охране, как черепаха в скорлупе, и что без брони государства она рискует погибнуть в борьбе за жизнь. Формулируя так наше традиционное отношение к нации, мы обнажаем его слабость. Оно действительно вытекает из малодушия или из

неверия в силу духа. Его можно было бы признать за выражение национального атеизма. Конечно, у русского общества никого да не было того особенного вкуса к государственности, которым отличаются, например, современные немцы. В нас говорит не столько любовь к принуждению, сколько привычка к нему. Несмотря на весь наш вековой протест против давления государства на культуру, мы сжились с этим бытом и, когда наши духовные силы были надорваны революцией, оказались беззащитными перед соблазнами старого, уже разрушенного мира.

А между тем история совсем не подтверждает предполагаемого совпадения государства и национальной культуры. Это совпадение бывает скорее исключением, чем правилом. Нам заслоняет перспективу XIX век со своей мечтой – построить государство на чисто национальной основе. Мы принимаем за действительность мечту романтиков и патриотов прошлого столетия.

Но прежде, чем говорить о фактах, надо условиться о понятиях. Что мы понимаем под нацией? Конечно, здесь мы не имеем возможности обосновывать наше определение; важно хотя бы установить его.

Нация, разумеется, не расовая и даже не этнографическая категория. Это категория, прежде всего культурная, а во вторую очередь политическая. Мы можем определить ее как сов падение государства и культуры. Там, где весь или почти весь круг данной культуры охвачен одной политической организацией и где, внутри ее, есть место для одной господствующей культуры, там образуется то, что мы называем нацией. Не народ (нация) создает историю, а история создает народ. Английская нация создалась лишь в XIV веке, французская – в XI веке, после многих веков государственной жизни. Культурное единство, достаточное для образования нации, довольно трудно определимо по своему содержанию. В него входит религия, язык, система нравственных понятий, общность быта, искусство, литература. Язык является лишь одним из главных, но не единственным признаком культурного единства. Швейцария – нация без языкового единства, может быть и Россия – СССР – так же.

Это культурное богатство не дается сразу ни одной этнографической народности, но постепенно наживается ею в ее исторической жизни. Но очень часто культурное единство вовсе не вмещается в рамки общей государственности. Простое обозрение великих исторических культур показывает, что национальные, то есть охваченные государством, культуры встречаются реже, чем культуры сверхнациональные.

Древность дала нам два великих национальных государства –

результат географической изоляции, – где границы культуры и государства почти совпадают: это Египет и Китай. Но вавилонская культура не смогла создать для себя политического единства: в одной Палестине, культурной провинции Вавилона, было место для десятка малых государств. Никогда не знала политического единства и великая культура Индии. Вот почему Индия никогда не была нацией и если станет ею, то этим она обязана только английскому воспитанию. Культура Греции развивалась в сотнях маленьких отечеств. С нашей точки зрения, нельзя говорить о греческой нации, но лишь о греческой культуре. Объединительные тенденции эллинистического мира завершились в Империях, где греческая культура была брошена в плавильный тигель с иными культурами Востока и Запада. В христианском средневековье народы жили в тес ном духовном и культурном единстве, которое никогда не получало другого единства в государственной сфере, кроме символического: «Священной, Римской Империи». Столь же универсальна и многогосударственна была и культура ислама. Лишь на наших глазах, Кемаль-Паша, выученик либеральной Европы, создает чисто национальное турецкое государство. Для старого государства Османов не «турок», а «правоверный» было символом отечества, как «христианин», «католик» для средневековой Европы и даже Руси («крещеный», «православный»).

В новую эпоху из распада католического мира создаются действительно национальные государства: Англия, Франция, Испания... Но наряду с ними существуют вплоть до XIX века исторически создавшиеся, не национальные, а чисто территориальные политические единства. Австрия погибла лишь в 1918 году – и сейчас многие ее оплакивают. Все мы знаем, что Германия и Италия лишь в прошлом веке осуществили свое единство, то есть, создали государственную броню для своих уже древних и великих культур. Опоздавшие на пир, одни набросились с жадностью на сомнительные яства и теперь морально расплачиваются за невоздержание. Конечно, не случайно, что фашизм, то есть острое национальное заболевание, поразил, прежде всего, эти страны – новорожденного и потому особенно острого национального сознания. Замечательно, что величайшие свои культурные достижения Италия дала в век Возрождения (или еще в средневековье), а Германия в век Канта и Гете (или еще в Реформации), когда обе эти страны имели политического национального существования. Италия его вообще не знала с римских времен до Виктора- Эммануила II. И вот этот давно лелеемый романтический национальный идеал, едва осуществившись, на наших глазах стал отравлять источники той самой культуры, которая его создала,

глубоко исказил ее некогда прекрасные черты и привел эти народы на край духовной гибели.

Ну а Россия? На первый взгляд, она кажется примером национально-государственного образования. Мы все были воспитаны в этом карамзинском убеждении. Но карамзинская схема, коренящаяся в московских официальных традициях XVI- XVII веков («Степенная книга»), есть насилие над историческими фактами. Киевская Русь – эпоха высшего культурного расцвета Древней Руси – не была государством, а лишь системой связанных культурно, религиозно и династически, но независимых государств. Потом на столетия Русь вступает в систему мировоймонголо-татарской Империи. Освобожденная, она создает национальное государство под властью Москвы, но Западная Русь остается за его рубежом. Задолго до воссоединения с зарубежной Русью, Москва разливается широко натуранский Восток и Юг, приобретая характер Евразийской Империи. Узкая провинциальная культура Москвы оказывается непригодной для организации и одушевления этой колоссальной Империи. С Петра Россия считает своей миссией насыщение своих безбрежных пространств и просвещение своих многочисленных народов не старой, московской, а западноевропейской цивилизацией, универсальной по своим тенденциям. Как считать национальным государство Екатерины? В глазах самой интеллигенции и власти, Россия является сонмом народов, скрепленных династией, которая несет им свет с Запада. Фелица, киргиз-кайсацкая царевна, друг Вольтера и Дидро. Национализация русской культуры и государственности есть медленный процесс, развивающийся в XIX веке. Еще при Николае 1 слово «национальный» было символом революционного. Но именно к этому царствованию относится не очень удачное начало национализации русской культуры. Однако этот процесс идет параллельно с возрастающей слабостью Империи. Два последних царя, воспитанные славянофилами, пытались обрусить Империю и вооружили против нее целый ряд ее народов. Национализм сказался одним из ядов, разложивших императорскую Россию.

Так за все тысячелетие своей истории Россия искала национального равновесия между государством и культурой и не нашла его. На этом пути вообще исторические удачи были только исключениями. Да, Франция и Англия – исторические счастливцы. Но обобщение их опыта в XIX веке завело в тупики. Для многих малых народов, для чересполосных насельников, то есть для большинства, осуществление национального государства оказалось невозможным. Версаль окончательно доказал это.

Для иных «великих» вставала другая опасность. Государства, заполнившие границы национальной культуры, не желали останавливаться на них и переливались через край, стремясь превратиться в Империи. Но Империя несовместима с принципом национального государства: она или несет сверхнациональную культуру, или, обезличивая малые народы, пре вращает их в чернозем для возращения одной нации. Lebensraum выдуман не Гитлером. XIX век, начавшийся эрой освободительного национализма, заканчивается борьбой империализмов. Дети и внуки гарибальдийцев завоевывают Ливию и Абиссинию, тщатся поработить славян. Едва объединившаяся Германия возобновляет свой забытый с XV столетия Drang nach Osten. Франция и Англия уже успели создать себе колониальные Империи. Но все Империи лишь этапы на пути к единой Империи, которая должна поглотить их всех. Вопрос лишь в том, кто будет ее строить и на каких основах.

Историческая неудача национального государства способна вызвать у многих горькие чувства. Что и говорить, национальное отечество имеет свои преимущества. Оно теплее, милее сердцу; оно согревает строгий закон гражданства любовью к той живительной духовной родине, которую защищает закон. Татарин мог любить Россию, а хорват Австрию. Но их любви не хватало той глубины и полноты оттенков, которые возможны для русского или немца. С другой стороны, насыщенность национальными эмоция ми сообщала чрезвычайную силу веления отечества. Национальное государство внутренне гораздо крепче, спаяннее, чем Империя или федерация. Однако это его преимущество немедленно же оборачи- вается его пороком. Эгоизм национального государства особенно страшен потому, что питается не только низменными, но и очень высокими чувствами. Убаюканные немецкой музыкой и стихами Гете, немцы легче идут на истребление славян. Так и для нас образ «Святой Руси» облегчал всяческие насилия над инородцами. Парадоксальным образом Гете и Толстой в наши дни делаются воспитателями национальной ненависти. Но это есть уже предательство, измена самой национальной культуре. Связь ее с государственностью, которая берет ее под свою высокую руку, оказывается губительной для культуры.

В завершение всего, представление о том, что за борьбой великих держав стоят еще защищаемые ими великие национальные культуры, оказывается анахронизмом. Европейские культуры уже перестали быть национальными в смысле романтиков. Научно-технический и социальный рационализм XIX века убил остатки выращенных средневековьем и связанных с почвой национальных культур. Умолкла народная песня,

вымирает народное искусство. Нигде, кроме маскарадов, не носят национальных костюмов. А народная душа? Школа, газета и фабрика еще до радио и синеманивелировали ее. Что всего важнее, самое значительное в мире духа, в религии, в искусстве, в философии сейчас не носит национального отпечатка. Передовая литература, живопись, музыка сейчас космополитичны. И никакая фашистская акция ничего не в силах изменить в этом факте. Фашисты всех стран говорят о национальной культуре, но, кроме исторических символов и имен, они вкладывают в нее одно и то же содержание. Если бы мы могли мысленно разрезать черепа десятка молодых людей, принадлежащих к Hitler-Jugend, кБалилле, Фаланге и т. д., то увидели бы, что эти черепа набиты одним и тем же: спорт, техника, авиация, военное дело и военные забавы, культ мужества и насилия, товарищества и жестокости, религия государственности, и притом в одних и тех же формах – везде до утомительности одно и то же. Различна лишь направленность ненависти. И эта ненависть к чужому – не любовь к своему – составляет главный пафос современного национализма не в одних фашистских странах. Национальный фашизм оказался товаром для экспорта. Претенциозный борец против рационализма буржуазного общества, он представляет типический продукт современной механизации жизни. Но это лишает смысла всю его борьбу – титаническую и безумную. Немцы могут разрушить весь мир во имя великой Германии, – которая не будет отличаться от фашизированной Франции, Америки или России.

Нет, современное государство – плохая защита для национальной культуры. Оно оказывается для нее скорее губительным. Вот почему отмирание национального государства не несет с собой никакой катастрофы для культуры нации. Более того, оно ее освобождает. Но здесь необходимо внести одно существенное различение в понятие национальной культуры.

В состав всякой культуры входят элементы более или менее национальные и универсальные. К универсальным в наше время принадлежат наука, техника, спорт и т. д. Но и среди национальных элементов более общи и абстрактны хозяйство и политика, чем, например, искусство, язык и быт. Грядущая универсализация государства может угрожать только политике и хозяйству, которые по необходимости если не целиком, то в значительной степени становятся планетарными. Но хозяйство и политика представляют, вместе с наукой и техникой, наиболее рационализированные пласты культуры. Другими словами, универсализируется рациональная культура- та, которая всеобща по своему строению. Национальной, коренящееся в иррациональных слоях

духа может уцелеть и жить, если только найдет в себе жизненные силы. Не от Атлантической Империи грозит ему гибель, а от истощения и скудости собственных сил.

Проблема сохранения национальной культуры совпадает с гораздо более важной – единственной важной – спасения культуры вообще. Стало ясно, как день, что на обездушенном, техническом разуме-рассудке она существовать не может. Человек, утративший связь с миром духовным и с миром органическим, делается жертвой своей собственной техники. Машина и оружие истребляют своих создателей. Все наши планы, мечты и молитвы о спасении покоятся на одной предпосылке: на великой духовной революции, способной возродить и переродить человечество, дав ему новые силы для жизни и творчества. Чтобы жить, человек должен найти утраченные связи с Богом, с душевным ми- ром других людей и с землей. Это значит в то же время, что он должен найти себя самого, свою глубину и свою укорененность в обоих мирах: верхнем и нижнем. Оба эти мира говорят с ним на языке иррациональных символов. Общение с ними способно возродить, в новом смысле, и национальную культуру, освобожденную от своих рациональных элементов.

Есть одно чрезвычайно привлекательное, хотя и ограниченное явление в культуре нашей эпохи, которое дает ключ к возрождению творческого национализма. Это областническая, или так называемая региональная, литература. Среди зрелища демонических кошмаров, которое являет большое искусство наших дней, областничество остается базисом, где течет, хотя бы и скудный, источник живой воды.

Жионо и Рамюз, может, быть, самые значительные писатели Франции, – во всяком случае, самые глубокие и чистые. Чем отличается областническая литература от национального эпоса, о котором мечтали романтики? Главным образом отсутствием государства. Здесь человек-крестьянин живет лицом к лицу с Богом и землей. Власть как будто ушла, оставив один вечный символ жандарма, который «не без ума носит меч». Государству-жандарму платят деньгами и кровью, но уже не несут ему своей любви. Нация перестала питать духовно. Франция, Германия, Россия превращаются в идолы прошлого, условная краса которых способна соблазнять риторов, не поэтов. Но Жионо, Рамюз и Пришвин спасают бесценное и вечное, что еще живет во Франции и в России.

Но государство ведь тоже не целиком от дьявола. Оно имеет свое призвание. Его идеальное имя – справедливость. Его закон есть несовершенное выражение нравственного императива. Разум человека и творимая им социальная культура имеют тоже свои права. Восстание

против разума – иррационализм современного искусства и политики – есть безумие и грех. Не к уничтожению рационального мы призываем, а к известному размежеванию сфер. Рациональное перерастает нацию. Иррациональное остается уделом нации и ее органических подразделений: племенной, областной, родовой жизни. Есть символ, который мог бы уяснить и закрепить нашу мысль. В былое время, еще совсем недавно, отец и мать. вводили ребенка и юношу в сферу национальной культуры. Их роль в этом посвящении была не одинакова. От матери ребенок слышал первые слова на родном «материнском» языке, народные песни и сказки, первые уроки религии и жизненного поведения. Отец вводил отрока в хозяйственный и политический мир: делал его работником, гражданином и воином. Разделение между рациональным и иррациональным содержанием культуры до известной степени совпадает с различием материнского и отцовского в родовой и национальной жизни. Этому различию соответствует, или должно соответствовать, двойное именование того национального целого, в которое посвящается ребенок-юноша. На английском языке оно звучало бы как fatherland и motherland. Наш язык знает не совпадающие по значению, но всегда волнующие слова: отечество и родина. Не совершая насилия над русским языком, легко убедиться, что отечество (страна отцов) связывает нас с миром политическим, а родина-мать с матерью-землей.

То, что совершается в нашу эпоху, не есть разрушение отечества или родины. Но это их необходимое и, конечно, болезненное разобщение. Древний галл не потерял отечества, став гражданином Римской Империи. Если же он потерял родину, которую обрел вновь в глубине средневековья, то это было следствием рационализма греко-римской культуры. Наше отечество не гибнет, но расширяется до океанских масштабов. Моя родина остается конкретной и многоликой: Россия, Великороссия, Поволжье, Саратовский край. Родине своей я отдаю полноту эмоциональной любви, освобожденной от политических страстей (злой эротики). Отечеству отдаю свой разум и волю, направленную на постоянную реализацию справедливости в несовершенных исторических ее проекциях.

Нужно только помнить, что ни отцовское, ни материнское не исчерпывают мир личности. Последнее оправдание личной жизни – в духе, а дух по ту сторону (выше) рационального и иррационального. И материнская, и отцовская культура могут питаться, «одухотворяться» им и в этой мере выражать движение человечества к его высокой цели. Но никогда им не вместить полноты духа, не заменить личной, сверхорганической и сверхрациональной жизни и ее условия – свободы.

Рождение свободы

Полнеба охватила тень.

Лишь там, на западе, брезжит сияние...

«Человек рождается свободным, а умирает в оковах». Нет ничего более ложного, чем это знаменитое утверждение.

Руссо хотел сказать, что свобода есть природное, естественное состоящие человека, которое он теряет с цивилизацией. В действительности, условия природной, органической жизни вовсе не дают оснований для свободы.

В биологическом мире господствуют железные законы: инстинктов, борьбы видов и рас, круговой повторяемости жизненных процессов. Там, где все до конца обусловлено необходимостью, нельзя найти ни бреши, ни щели, в которую могла бы прорваться свобода. Где органическая жизнь приобретает социальный характер, она насквозь тоталитарна. У пчел есть коммунизм, у муравьев есть рабство, в звериной стае – абсолютная власть вожака («вождя»).

В XVIII веке на природу смотрели романтически – или, вернее, теологически. На нее переносили учение Церкви о первозданной природе человека и помещали библейский потерянный рай в Полинезии. Но в наше время биология недаром ложится в основу всех новейших идеологий рабства. Расизм корнями своими уходит в биологический мир и, будучи никуда не годной философией культуры, ближе к природной или животной действительности, чем Руссо.

Руссо, в сущности, хотел сказать: человек должен быть свободным, или: человек создан, чтобы быть свободным, – и в этом вечная правда Руссо. Но это совсем не то, что сказать: человек рождается свободным.

Свобода есть поздний и тонкий цветок культуры. Это нисколько не уменьшает ее ценности. Не только потому, что самое драгоценное – редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на ее вершинах, находят свое выражение его самые высокие стремления и возможности. Только по этим достижениям можно судить о природе или назначении человека.

Впрочем, даже в мире культуры свобода является редким и поздним гостем. Обозревая тог десяток или дюжину высших цивилизаций, нам известных, из которых слагается для современного историка (Тойнби) некогда казавшийся единым исторический процесс, мы лишь в одной из них находим свободу, в нашем смысле слова, – и то лишь в последнем

фазисе ее существования. Я, конечно, имею в виду нашу цивилизацию и наше время, оставляя пока неопределенными границы нашего в пространстве и времени.

Все остальные культуры могут поражать нас своей грандиозностью, пленять утонченностью, изумлять сложностью и разумностью социальных учреждений, даже глуби ной религии и мысли, но нигде мы не найдем свободы как основы общественной жизни.

Личность везде подчинена коллективу, который сам определяет формы и границы своей власти. Эта власть может быть очень жестокой, как в Мексике или Ассирии, гуманной, как в Египте или в Китае, но нигде она не признает за личностью автономного существования. Нигде нет особой, священной сферы интересов, запретных для государства. Государство само священно, и самые высшие абсолютные требования религии совпадают с притязаниями государственного суверенитета.

Греция не исключение. Ни наша благодарная к ней любовь, ни признание единственности ее высшей культуры, ни даже поколения наших предков, боровшихся за свободу с Плутархом,вместо Евангелия, в руках, не могут заслонить основного факта: наша свобода не была обеспечена в Греции.

Греки сражались и умирали за свободу; но под свободой они понимали или независимость своего города-отечества, или его демократическое самоуправление. Это была свобода для государства, на которую не могла притязать ни личность, ни меньшинственная группа. Нас обманывает часто вольность и легкость жизни в классическую пору афинской демократии – в те короткие полтораста лет, которые отделяют греко-персидские войны от македонского завоевания. Но эта вольность – результат разложения, скорее распущенность, чем закон жизни. Новые торгово-промышленные классы подорвали крепость патриархальных деревенских нравов, наука софистов разлагала древнюю веру; в образовавшейся пустоте легче стало жить, то есть наслаждаться жизнью без помехи устарелых норм. «Буржуазная» свобода Афин напоминает судьбу свободы в пореволюционной Франции. За полтора века оказались подорваны все нравственные устои демократии, и Афины, как и вся Греция, сделались легкой добычей Филиппа.

Но даже на время наибольшей свободы Афин падает процесс и казнь Сократа, изгнание Анаксагора и Протагора и – что гораздо страшнее – социальная утопия Платона. Величайший из философов Греции был теоретиком абсолютного, тоталитарного государства. Быть может, только в Софокловой «Антигоне» брезжит заря нашей свободы: пророчество,

предвосхищение совершенно иной духовной эры.

Исключительность, единственность свободы не должна нас смущать. Только грубое биологическое или социологическое мышление, оперирующее с количествами, с повторяемостями, со средними величинами, может видеть в единственности порок. Да, свобода – исключение в цепи великих культур. Но сама культура – исключение на фоне природной жизни. Сам человек, его духовная жизнь – странное исключение среди живых существ. Но ведь и жизнь, как органическое явление, – тоже исключение в материальном мире. Конечно, здесь мы вступаем в область неведомого, но много оснований на стороне тех теорий, которые считают, что только на планете Земля могли создаться благоприятные условия для возникновения органической жизни. Но что значит Земля в Солнечной системе, что значит Солнце в нашем Млечном Пути, что значит наша «галаксия» во Вселенной?

Одно из двух: или мы остаемся на внешне убедительной, «естественно-научной», точке зрения и тогда приходим к пессимистическому выводу. Земля – жизнь – чело век – культура – свобода – такие ничтожные вещи, о которых и говорить не стоит. Возникшие из случайной игры стихий на одной из пылинок мироздания, они обречены исчезнуть без следа в космической ночи.

Или мы должны перевернуть все масштабы оценок и исходить не из количеств, а из качеств. Тогда человек, его дух и его культура становятся венцом и целью мироздания. Все бесчисленные галаксии существуют для того, что бы произвести это чудо – свободное и разумное телесное существо, предназначенное к царственному господству над Вселенной.

Остается не разрешенной – практически уже не важная – загадка значения малых величин: от чего почти все ценностно-великое совершается в материально-малом? Интереснейшая проблема для философа, но мы ее можем оставить в стороне.

Свобода разделяет судьбу всего высокого и ценного в мире. Маленькая, политически раздробленная Греция дала миру науку, дала те формы мысли и художественного восприятия, которые, даже при сознании их ограниченности, до сих пор определяют миросозерцание сотен миллионов людей. Совсем уже крохотная Иудея дала миру величайшую или единственно истинную религию – не две, а одну, – которую исповедуют люди на всех континентах. Маленький остров за Ла-Маншем выработал систему политических учреждений, которая, – будучи менее универсальной, чем христианство или наука, – тем не менее, господствует в трех частях света, а ныне победоносно борется со своими смертельными

врагами.

Ограниченность происхождения еще не означает ограниченности действия или значения. Рожденное в одной точке земного шара может быть призвано к господству над миром; как всякое творческое изобретение или открытие, оно стремится стать общим достоянием человечества. Не все ценности допускают такое обобщение; многие остаются навсегда связанными с одним определенным культурным кругом. Но другие – и самые высшие – существуют для всех. Это о них сказано: «ничто человеческое мне не чуждо». Все народы призваны к христианству. Всякий человек, в большей или меньшей степени, способен к научному мышлению. Но не все признают – и обязаны признавать – каноны греческой красоты. Все ли народы способны признать ценность свободы и осуществить ее? Этот вопрос сейчас решается в мире. Не теоретическими соображения ми, а только опытом возможно решить его.

Рождение свободы

О чем идет речь? О какой свободе? Пора, наконец, определить нашу тему. Но сделать это надо покороче, без лишних сложностей. В наше время определения свободы требуют, прежде всего, ее враги. Они утратили способность понимать ее; самые простые вещи начинают представляться для них чудовищно трудными. Раздувая эти трудности до абсурдов, они делают из свободы философскую бессмыслицу. Однако и они, и всякий читатель имеют право на ясный и точный ответ: что здесь, на этих страницах, понимается под свободой?

Итак, мы говорим о свободе не в философском или религиозном смысле. Наша свобода не свобода воли, то есть выбора, которую ничто, никакое ослепление греха или предрассудков не способно до конца отнять у человека; та кой свободой обладает и комсомолец, и член Hitlei-Jugend.

Это и не свобода от страстей и потребностей низшей природы, к которой стремятся стоический философ и ас кет; Эпиктет осуществлял ее в рабстве, святые находили ее в добровольной темнице кельи.

Но это и не динамическая «свобода социального строительства и разрушения, которой охвачена фашистская молодежь, отдающая свою личную волю в полное подчинение вождям ради этого чувства коллективной мощи и власти. Наша свобода – социальная и личная одновременно. Это свобода личности от общества – точнее, от государства и подобных ему принудительных общественных союзов.

Наша свобода отрицательная – свобода от чего-то, и вместе с тем относительная; ибо абсолютная свобода от государства есть бессмыслица.

Свобода в этом понимании есть лишь утверждение границ для власти государства, которые определяются неотъемлемыми правами личности. Будучи относительной, в своей мере и в формах, по-разному определяясь в разных странах современной демократии, она, однако, зиждется на некоторых абсолютных предпосылках, которые мы должны установить. Утрата их, полная релятивизация свободы для нее смертельна: по нашему убеждению, это и является главной причиной современного помрачения свободы.

Федотов. Том 2 Рассматривая длинный список свобод, которыми живет современная демократия: свобода совести, мысли, слова, собраний и т. д., мы видим, что все они могут быть сведены к двум основным началам; именно к двум, а не к одному, к прискорбию для логической эстетики. Этот дуализм свидетельствует о различии исторических корней нашей

свободы.

Главное и самое ценное ее содержание составляет свобода убеждения – религиозного, морального, научного, политического, и его публичного выражения: в слове, в печати, в организованной общественной деятельности. Исторически вся эта группа свобод развивается из свободы веры.

С другой стороны, целая группа свобод защищает личность от произвола государства независимо от вопросов совести и мысли: свобода от произвольного ареста и наказания, от оскорбления, грабежа и насилия со стороны органов власти определяет содержание конституционных гарантий, за которые велась вековая борьба с монархией. Они нашли себе выражение в характерном английском акте-символе, известном под именем Habeas Corpus. Пользуясь этим символом, мы могли бы назвать эту группу свобод свободой тела в отличие от другой группы – свободы духа.

Разнородность их природы уясняется из одного простого рассуждения. Идеальный христианин, святой, может без ропота отдать свое тело, имущество и жизнь тирану, даже видеть в этом непротивлении свой долг – подражания Христу. Но он не поклонится идолам, не отречется от Христа по требованию императора. Величайшие конфликты государства с церковью происходили по преимуществу из-за этой свободы – духа; конфликты государства со светским обществом – пре имущественно по вопросам свободы тела.

Разумеется, слово «тело» мы употребляем в очень широком смысле; оно включает как собственность лица, так и его честь, – то есть не только физическую, но и социальную его индивидуальность, за исключением духовной; или, выражаясь иначе, все, что принадлежит личности, но не является ею самой. Вера и убеждение не принадлежат ей, но она сама скорее принадлежит им; в некотором смысле, ее подлинное бытие с ними совпадает.

Быть может, большинство демократов в наши дни убеждены, что эти свободы – завоевание нового времени: английской революции XVII века или даже французской XVIII-го. Пуритане и якобинцы кажутся для многих отцами нашей свободы, а революция вообще местом ее рождения. Отсюда оптимистический взгляд на исход новейших революций. Они представляются неизбежно тяготеющими к свободе и осуществляющими ее после тяжелых испытаний.

Какую роль в развитии нашей свободы играли великие исторические революции, мы увидим дальше. Но, прежде всего, необходимо

подчеркнуть и, не уставая повторять, что свобода зарождается в средневековье, хотя своего полного развития достигает в XIX веке. То христианское средневековье, которое было родиной всей нашей культуры, как от личной от культуры классического мира, было и родиной свободы. Magna Charta датируется 1214 годом.

Но задолго до английского восстания баронов против Иоанна Безземельного Европа видела войны и революции, которые велись за свободу. Конец XI века был полон громом потрясений, народных движений и международных войн. Самым боевым лозунгом тех лет была свобода – только свобода в особом смысле: libertas Ecclesiae. И это возвращает нас к истокам первичной свободы – веры.

Западная церковь пережила кризис Римской Империи и хранимой ею эллинистической культуры. Она победоносно встретила волны варварских вторжений и покорила их кресту и Риму. Она не растворилась в германских королевствах и не слилась с ними в «симфонии», подобной византийской, но сохранила свою независимость от государства, и даже более – свою учительную и дисциплинарную власть над ним. Однако до теократии дело не дошло. Варварская стихия восставала против римской опеки. Установилось двоевластие, двойное подданство. Внешним выражением его было двойное право – каноническое и национальное, двойная юрисдикция – духовная и светская. Но еще важнее, что каждый человек был подданным двух царств: града Божия и града земного. В его сердце сходились и часто сталкивались оба суверенитета, из которых один – и только один – притязал на абсолютное значение. Церковь брала себе душу, король – тело. Размежеваться было трудно, ибо жизнь сложнее этого дуализма. Сложность вызывала постоянный конфликт, по существу неразрешимый. И в этом конфликте создалось и окрепло первое, хотя и смутное, сознание свободы.

Человек должен был выбирать; волей судеб каждый христианин становился судьей в споре двух высочайших авторитетов: папы и императора. В грандиозных конфликтах XI-XIII веков все общество раскалывалось надвое в этом споре. При этих условиях, каковы бы ни были социальные основы общества, не могло быть и речи об абсолютности светской власти. Даже отвлекаясь от самого содержания духовного суверенитета, даже в нелепом предположении, что им могла бы быть любая нехристианская религия, самый факт церковно-государственного дуализма ограничивал власть государства, создавал сферу личной свободы. Но, конечно, вдумавшись, мы понимаем, что никакая иная из известных нам религий не могла бы выполнить этой роли: для этого она должна быть

одновременно религией абсолютного вечного и в то же время связанного, соотноси тельного с телесным и земным. Ни потустороннее язычество, ни потусторонний спиритуализм (буддизм, платонизм) не могли бы создать религиозной сферы, высшей, чем государство, но чересполосной с ним. Ислам не в счет, ибо там, как и в Византии,высшая духовная власть совпадает с государственной.

В католической Европе у Церкви был один важный шанс в борьбе за ее свободу: феодальный характер государства. Конечно, буйное и воинственное рыцарство причиняло Церкви много зла и хлопот. Церковь встречала больше послушания среди городских коммун, среди рабочих первых индустриальных городов Италии и Нидерландов. Но бароны, хотя бы и гибеллины, ослабляли королевскую власть, раздробляли светский суверенитет. Перед Церковью не возникало угрозы Левиафана.

Обращаясь к самому феодальному миру, мы наблюдаем в нем зарождение иной свободы, менее высокой, но, может быть, более ценимой современной демократией – той, которую мы условились называть свободой тела. В феодальном государстве бароны – не подданные, или не только подданные, но и вассалы. Их отношения к сюзерену определяются договором и обычаем, а не волей монарха. На территории если не всякой, то более крупной сеньории ее глава осуществляет сам Права государя над своим крепостным или даже свободным населением.

Формула «помещик-государь», хотя и не свободная от преувеличения, схватывает основную черту этого общества. В нем не один, а тысячи государей, и личность каждого из них – его «тело» – защищена от произвола. Его нельзя оскорблять. За обиду он платит кровью, он имеет право войны против короля. Восстание баронов в Англии 1214 года и Magna Charta были не революционным взрывом, началом новой эры, а одним из нормальных эпизодов политической борьбы.

Во время коронации английских королей, в самый торжественный момент, когда монарх возлагает на свою голову корону, все пэры и пэрессы, присутствующие в Вестминстерском аббатстве, тоже надевают свои короны. Они тоже государи, наследственные князья Англии. Сейчас это символ уже почти не существующих сословных привилегий. Но я хотел бы видеть в нем символ современной демократической свободы. То, что было раньше привилегией сотен семейств, в течение столетий распространилось на тысячи и миллионы, пока не стало неотъемлемым правом каждого гражданина.

В западной, демократии не столько уничтожено дворянство, сколько весь народ унаследовал его привилегии. Это равенство в благородстве, а не

в бесправии, как на Востоке. «Мужик» стал называть своего соседа Sir и Monsieur, то есть «мой государь», и уж во всяком случае, в обращении требует формы величества: Вы (или Они).

Мы говорим не о пустяках, не об этикете, но о том, что стоит за ним. А за ним Habeas Corpus, распространенный постепенно с баронов-государей на буржуазию городских общин и на весь народ. В Magna Charta граждане Лондона разделяют некоторые привилегии баронов. В XI-XIII веках повсюду в Европе существовали свободные городские общины, коллективные сеньории, наделенные привилегия ми общей и личной свободы. Освобожденные города тяну ли за собой деревни. Крепостное право смягчалось и отмирало под влиянием свободного воздуха городов. Таков схематический рост свободы. Действительность была много сложнее. Важно отметить, что в своем зарождении правовая свобода (свобода тела) была свободой для немногих. И она не могла быть иной. Эта свобода рождается как привилегия, подобно многим плодам высшей культуры. Массы долго не понимают ее и не нуждаются в ней, как не нуждаются и в высоких формах культуры. Все завоевания деспотизма в новой истории (Валуа, Тюдоры, Романовы, Бонапарты) происходили при сочувствии масс. Массы нуждаются в многовековом воспитании к свободе, которое нам на рубеже XIX-XX веков уже казалось, может быть ошибочно, законченным.

Люди, воспитанные в восточной традиции, дышавшие вековым воздухом рабства, ни за что не соглашаются с такой свободой – для немногих, – хотя бы на время. Они желают ее для всех или ни для кого. И потому получают «ни для кого». Им больше нравится царская Москва, чем шляхетская Польша. Они негодуют на замысел верховников, на классовый эгоизм либералов. В результате на месте дворянской России – Империя Сталина.

Мы нисколько не хотим идеализировать средневековье. Свободолюбивые бароны были, большей частью, жестоки ми господами для своих подданных. В хищнике, разбойнике, тиране нам трудно узнать отца нашей свободы. Как трудно поверить, что за духовную свободу боролась католическая Церковь, сжигавшая еретиков на кострах. Свобода совести, конечно, и не снилась князьям средневековой Церкви. Свобода была им нужна не для верующей личности а для «Церкви», то есть для ее иерархии. Впрочем, и папы должны были делиться ею с университетами, как бароны с купцами. Важно было то, что в результате их борьбы за Свободу призрак тоталитарного государства на Западе рассеялся на много веков. Несмотря на все реакции времен Ренессанса, и абсолютной

монархии, всевластию государства был положен предел. И этот предел был указан двумя началами, по-видимому, всегда необходимыми для осуществления свободы: плюрализмом власти и абсолютным характером духовных (религиозных) норм.

Переход от средних веков к новому времени принес не расширение, а умаление свободы. Блестящий культурный Ренессанс в политической сфере означал появление тирании в Италии и королевского абсолютизма в заальпийской Европе. Создается централизованное национальное или территориальное государство на развалинах средневековых сословных вольностей. Парламенты теряют свой авторитет, Etats Generaux перестают собираться, постоянные армии и зародышевая бюрократия вытесняют феодальный aide et conseil.Ограничивается, если не исчезает совсем, плюрализм власти – одно из условий свободы. Другое, духовное условие поколеблено также, вместе с упадком или затмением религиозности.

Церковь отступает от своих универсальных позиций, замыкается в стенах храма. Кесарь начинает владеть не только телом, но отчасти и душой подданных. Сопротивление его посягательствам на духовную сферу жизни становится редким и слабым. Томас Мор, гуманист и мученик за свободу Церкви, составляет редкое исключение.

Может быть, напоминание об этом потускнении свободы на заре великолепного дня нашей культуры способно принести некоторое утешение в наши дни ее вторичного затмения. Рано еще хоронить свободу. Социалистическая революция теперь, как некогда национальное государство, питается кровью свободы. И теперь, как во время Ренессанса, существует угроза окончательной смерти свободы, то есть завершения нашей культуры в тоталитарном государстве. Но если эта опасность была предотвращена однажды, ее можно победить и теперь. Важно лишь помнить, каковы были условия, сделавшие возможным ее преодоление.

* * *

Культура Ренессанса с ее победным ростом деспотизма нашла свой предел в Реформации. Всякая попытка построить генеалогию современной свободы, минуя Реформацию, обречена на неудачу. Линия, связывающая непосредственно Ренессанс с Просвещением, Леонардо да Винчи с Ньютоном, пригодна для истории науки, но не для историй свободы. Конечно, утверждение реакционеров-католиков, что вся современная «индивидуалистическая» свобода порождена грехопадением Лютера, есть огромное преувеличение. Но оно содержит в себе зерно истины. После католической борьбы за свободу Церкви (XI-XII вв.) религиозные войны эпохи Реформации (XVI- XVII вв.) знаменуют второй этап в развитии

свободы.

Не следует только представлять дело таким образом, что провозглашенный Лютером принцип свободного толкования Библии сыграл эту революционную роль. На самом деле авторитет католической Церкви был сейчас же заменен авторитетом новых пророков; за пророками следовали схоластики, создавшие протестантские катехизисы. Аугсбургское или вестминстерское исповедание сами по себе ничуть не свободнее Тридентскогокатехизиса. Фанатизм новых сект нисколько не уступал нетерпимости старой Церкви. Протестанты жгли или вешали еретиков с не меньшим усердием, чем католики. Более того, там, где Ре формация передала власть над Церковью князьям – в Англии, в Германии, в скандинавских странах, – государственный абсолютизм получил новое подкрепление за счет католической Церкви. Тюдоры становятся «правителями Церкви» и в силу этого владыками совести. Но для судеб свободы имел огромное значение тот факт, что в Англии – именно в Англии – господствующее «англиканское» исповедание не смогло стать религией всего народа. Религиозная буря, поднявшаяся с начала XVII столетия, привела не к единству новой реформированной Церкви, а к образованию множества сект, боровшихся страстно, но безуспешно за господство. Менее всего можно было ждать признания свободы со стороны религиозных радикалов; в XVII веке скорее можно было встретить сторонников терпимости – как тогда говорили, «латитудинаристов» – в государственной Церкви, среди сторонников Стюартов. Английская революция, или, правильнее, гражданская война, не принесла ничего для свободы – ни религиозной, ни политической. После тирании Кромвеля Англия вернулась к исходной точке, к реставрацииСтюартов с прежними темами борьбы: Церковь и секты, король и парламент. Свобода пришла вместе с терпимостью – конечно, ограниченной – лишь к концу века, когда выяснилась невозможность религиозного объединения Англии. Вторая, «Славная», революция принесла с собой действительный Habeas Corpus и свободу главным сектам протестантизма; католикам и евреям пришлось ждать ее до XIX столетия.

Почти то же мы видим и в Америке. Здесь не англиканская Церковь, а конгрегационалисты или пресвитериане пытались установить режим вероисповедного единства в отдельных колониях. Удушливая атмосфера нетерпимости Новой Англии была не лучше старой: в Коннектикуте вешали квакеров. Однако дробность сект и их чересполосица заставляли создавать островки свободы для совместной жизни иноверцев: таков Род-

Айленд.

Так постепенно создавалась свобода, или ее оазисы, в мире нетерпимости, принималась не принципиально и не радостно, а по необходимости – как неизбежное зло. Но уже «из необходимости создавалась добродетель». На перекрестках духовных дорог встречаются люди, – и число их растет, – которые утверждают свободу как принцип, которые исповедуют религию свободы. Для этих избранных умов, для Мильтона, Джорджа Фокса, для Роджера Вильямса свобода неотъемлема от христианства. И тезис этих утопистов, заблудившихся в жестокий век религиозных войн, восторжествовал. Свобода оказалась практичнее насилия. Принудительное единство грозило бесконечной войной и гибелью культуры; свобода ее спасала.

* * *

Терпимость поневоле мало радует. Если бы будущее свободы зависело от утраты духовного единства, от наличия расколов и ересей, это не сулило бы ничего доброго для более счастливых времен – для Европы, вновь обретшей цельность своей культурной жизни. По счастью, христианская свобода имеет более глубокие корни, чем практическую безвыходность. Прошли века, и убеждение немногих утопистов времен Реформации вошло в плоть и кровь большинства христиан. Мало кто посмеет защищать в наши дни идею насильственного спасения. Самые авторитарные Церкви ныне стоят на почве свободы – быть может, не до конца, не с полной искренностью, но это другой вопрос. Важно хотя бы то, что они не смеют утверждать насилие ради спасения, ради любви, как утверждали наши предки в течение веков или даже тысячелетии. Христианство во многом созрело, стало мудрее, совестливее за последние века. Среди тяжелых неудач и поражений, даже гонений, которые ему случается переживать, оно могло углубиться в свои истоки, лучше осознать, «какого оно духа». Вне всякого сомнения, христианство сейчас ближе к опыту ранней Церкви, ближе к Христу, чем во времена его призрачного господства над миром.

Быть может, никто с такой силой не утверждал смысла свободы для христианской Церкви, как это сделал Достоевский в своей знаменитой «Легенде». Достоевский, конечно, не иерарх и даже не богослов. Но поразительно, что никто из реакционеров победоносцевской России не посмел прямо восстать против самозваного пророка. Никто не сказал: это ересь. Делали только вид, что «это нас не касается»: речь идет о папизме.

В Евангелии от Иоанна и в Павловых посланиях есть много вдохновенных слов о свободе. Но они говорят о той глубокой, последней

свободе, путь к которой ведь может вести и через отрицание свободы. По крайней мере, такова была тысячелетняя диалектика богословия. Свобода, о которой мы говорим здесь, свобода социальная, утверждается на двух истинах христианства. Первая – абсолютная ценность личности («души»), которой нельзя пожертвовать ни для какого коллектива – народа, государства или даже Церкви («девяносто девять праведников»). Вторая – свобода выбора пути – между истиной и ложью, добром и злом. Вот именно эта вторая страшная свобода была так трудна для древнего христианского сознания, как ныне она трудна для сознания безбожного. Признать ее – значит поставить свободу выше любви, значит признать трагический смысл истории, возможность ада. Все социальные инстинкты человека протестуют против такой «жестокости». Если можно вытащить за волосы утопающего человека, почему же нельзя его вытащить «за волосы» из ада? Но в притче о плевелах и пшенице сказано: «оставьте их вместе расти до жатвы». И в древнем мифе о грехопадении, который лежит в основе христианской теодицеи, Бог создает человека свободным, зная, что этой своей страшной свободой человек погубит прекрасный Божий мир. И Бог желает спасти падший мир не властным словом («да будет»), а жертвой собственного Сына. Как же может эта жертва отменить свободу, ради которой она и была принесена? В свете этого откровения мы скорее признаем, что ошибалось и грешило полтора тысячелетия христианское человечество, чем, что ошибся Бог, создав свободным человека, или ошибся Христос, взошедший на крест, чтобы спасти человека в свободе.

Но времена изменились. Новый этап борьбы за свободу начинается в XVIII веке. Люди, не помнящие истории, склонны вообще начинать историю свободы с этого века или даже с французской революции. На самом деле в век Просвещения произошла лишь – и то неполная – секуляризация свободы. Изменились ее идеалы, ее обоснование, – как говорили недавно в России, ее «во имя». Если отвлечься от особенностей идеологии французского просвещения и взять в целом два последних века Европы с их борьбой за свободу, торжеством свободы и ее упадком, – то мы увидим две могущественные силы, которые вынесли свободу и ныне предают ее: науку и капитализм.

На рубеже XVII-XVIII веков, после бесплодного надрыва религиозных войн, надолго скомпрометировавших религию, лучшие умы ищут спасения в науке. От фанатических страстей уходят в мир чистых истин математики и механической физики. Здесь нет обмана, нет произвола; здесь истина одна для всех. И разум, открывший новые миры умопостигаемых и все же реальных объектов, не только находит в их прохладном воздухе временное

успокоение своей тоски по абсолютному, он приходит к убеждению, что уже обладает этим абсолютным ключом к тайнам бытия. Весь мир и жизнь начинают мыслиться по образу математических величин и их материальных субстратов. Ньютоновская физика и все производное от нее естествознание – даже социология – до наших дней владели умами и пытались утвердить себя в качестве религии разума, на место обанкротившегося христианства.

Новая наука, как всякая наука, нуждается в свободе. Эта свобода есть «свобода исследования», свобода от догматических предпосылок, свобода выбора между возможными заключениями. Такая свобода необходима для ограниченного числа ученых. По существу, она не нужна даже для популяризаторов и педагогов, не говоря о массах. Но, благодаря огромному, почти религиозному значению науки в новое время, идеалы ученых стали идеалами всего общества, то есть всех образованных или полуобразованных слоев его. Школа на всех ступенях стремилась к развитию критической мысли и к усвоению элементов научного метода. Каждый юноша, хоть бы на самое короткое время своей жизни, приобщался к армии работников науки и заражался ее патриотизмом, тем более что образование XIX века было почти исключительно интеллектуальным.

Свобода научного исследования находила себе мощную поддержку в свободе хозяйственной предприимчивости, которую несла с собой молодая буржуазия. Она не нуждалась более в опеке государства. Прежде ценимое покровительство его становилось, или ощущалось, путами. Ученики Адама Смита приветствовали неограниченную свободу торговли, конкуренции, экономического эгоизма. Всеобщее счастье должно было родиться из борьбы всех против всех.

Но, утвердившись в хозяйстве, в этом центре социальной жизни, свобода распространяется быстро на все сферы: политику, быт, семью, воспитание, гигиену, общественную мораль. Всюду ограничивается, минимализируется значение норм, авторитетов, принуждения, порядка. Общей предпосылкой становится оптимистический взгляд: свободная борьба стихий в личности и обществе сама по себе приводит к гармонии или к повышению творческих энергий. И в течение двух или трех поколений жизнь оправдывала эти надежды. XIX век был одним из величайших веков в истории человечества: одним из самых творческих и, уж конечно, самым гуманным и самым свободным.

Свобода мысли на высотах культуры, свобода хозяйства в ее центре взаимно поддерживали друг друга. Они покоились на одном принципе –

рационализме. Зомбарт верно уловил сродство между пробуждением экономического рационализма в итальянском Возрождении и первыми шага ми научной мысли. В середине XIX века положение не изменилось. Банкир или фабрикант не только ради интереса, но и бескорыстно сочувствует успехам науки, ее борьбе против всех суеверий и торжеству народных революций, свергающих или ограничивающих власть королей.

Свобода мысли в истории новых веков сменила свободу веры, как либеральная, – то есть минималистическая – концепция государства – заняла место феодального плюрализма власти. Вернее, произошла перестановка ударений. Как будто бы новая чета свобод преемственно связана со старой. Свобода веры предполагает свободу неверия. Но, когда свобода неверия (сомнения, исследования) становится центральной, меняется все человеческое содержание ее: из целостной, объемлющей все ценности и все стремления человека, она становится чисто интеллектуальной. Подобно этому, плюрализм власти, защищая личность, не подрывал государства, ни его нравственного достоинства. Новый либерализм, не отменяя, конечно, государства, его дискредитирует и обезоруживает. Впрочем, не одно государство...

Здесь необходимо сделать существенную оговорку. Наблюдая народные политические движения XIX века – борьбу за свободу и равенство, – мы видим, что под поверхностью рационалистических идей в них живет со всем иное содержание. Не за свободу исследования и не за свободу хозяйства французские студенты и рабочие умирали на баррикадах. Они умирали за свободу вообще, то есть за целостный идеал преображения жизни, за новую землю и новое человечество, за эсхатологическую утопию. Даже самая организация политических партий, столь существенная для современных демократий, менее всего напоминает научную ассоциацию или хозяйственный трест. В Англии, родине всех партий, они преемственно связаны с сектами XVII века, или, точнее, с теми мирянскими союзами, «ковенантами» для защиты веры, которыми так богата история английской Реформации. Партии XIX и XX веков, превратившиеся (и то не до конца) в органы защиты групповых интересов, все еще покоятся на идеологической основе, на признании (а не исследовании) некоторых истин, или теоретических положений, и на общности нравственных оценок. Консерватизм, либерализм, социализм – не научные системы, хотя они и стремятся к научному обоснованию. Это определенные мировоззрения, то есть системы общественно-моральных оценок, за которыми стоят философские начала, принимаемые на веру как основа жизни. Для XIX века это были еще крипто-религиозные силы.

Силы открыто религиозные, великие исторические Церкви в новое время редко принимают участие в борьбе за свободу. Чаще всего они оказываются в лагере врагов свободы. Со времени Ренессанса Церковь выпустила из своих рук водительство культурным движением человечества. Это движение пошло по таким путям, которые вызывали ее вполне справедливое недоверие и осуждение. Не изменяя своим вечным началам, она не могла, конечно, принять механической системы мира, ни оптимизма Руссо, ни утилитаризма либералов, ни детерминизма марксистов... Но все эти ереси ложились в основание новых освободительных движений. Впрочем, еретическое обоснование свободы никак не может оправдать союза с обветшавшими форма ми социального строя. Проклиная беззаконную свободу, цеплялись за все остатки рабства или угнетения. Каждый шаг свободы, каждое новое раскрепощение личности, класса или народа встречало наиболее сильное или принципиальное сопротивление со стороны Церквей. Отсюда прочно сложившееся убеждение нового либерализма, что для торжества свободы нужно «раздавить гадину». В опыте новых веков освободительное движение забывало о христианском своем происхождении. Оно ищет мнимой генеалогии в язычестве Древней Греции или в неопаганизме Ренессанса.

Впрочем, этот разрыв между религией и свободой не типичен для англосаксонского мира, то есть для родины свободы. Трагический разрыв остается господствующим фактом для европейского континента, и особенно для стран, связавших свою свободу с легендой французской революции: для Франции, Италии, Испании, России.

* * *

Трудно понять, каким образом Великая французская революция могла считаться колыбелью свободы. Так думают люди, для которых ярлыки и лозунги важнее подлинных исторических явлений. Верно то, что революция шла под великим лозунгом свободы, равенства и братства, но верно и то, что в истории Франции не было эпохи, когда эти начала предавались бы так жестоко, как за четверть века революционной эпохи. Эти лозунги, или воплощенные в них идеи, были, конечно, созданием не революции, а XVIII века. Созданием революции была централизованная Империя. Революция нашла в старом режиме, вместе с устарелыми привилегиями и неоправдываемым уже гражданским неравенством, многочисленные островки свободы: самоуправление провинций, независимость суда (парламентов), профессиональные корпорации, университет. Она уничтожила все это, решившись на то, на что не посмели

Бурбоны в своей двухвековой работе по разрушению средневековых свобод. Она осуществила равенство без свободы – в противоположность тому, что повторяется обычно, – конечно, равенство лишь гражданское. Грандиозное, административно-совершенное здание Империи закрепило все положительные «завоевания» революции, раздавив всю ее идеологию. Империя Наполеона не есть ни реакция против революции, ни ее несчастное извращение, но логически не обходимое завершение. Революция так радикально выполола мечту о свободе, и даже потребность в ней, что никакая серьезная оппозиция не угрожала Империи. Она могла бы существовать хотя бы целое столетие, если бы ее не свергла иноземная интервенция. О прочности, об органичности Империи на почве, жирно политой кровью революции, свидетельствует уже тот факт, что Франция еще раз вернулась к этой форме деспотизма и жила в ней два десятилетия; Вторая Империя точно так же была свергнута лишь внешним врагом. Но еще долго спустя бонапартизм, в том или ином виде, угрожал III республике, которая унаследовала сама почти всю свою административную организацию от той же Империи.

Свободу Франции и Европы спасла Англия, и спасла дважды: отстояв свой остров от Наполеона – единственный оазис свободы в Европе 1812, как и 1940 года, – и подарив – вместе с императором Александром – конституционную партию Франции 1814 года. Только с Реставрацией начинают всходить слабые ростки французской свободы: представительные учреждения, либеральная пресса, свободное слово парламентской оппозиции. В то время политическая мысль французского либерализма искала опоры в английских учреждениях. Революция была предметом ужаса для поколений, еще хранивших живые воспоминания о ней. Лишь тогда, когда сошли в могилу последние свидетели, в 1830-х годах начинает твориться, в книгах Мишле и Луи Блана, легенда Революции, которой живет сейчас республиканская Франция. Эта легенда сама по себе может иметь освобождающую силу, подобно легенде Вильгельма Телля, не имеющей, как известно, никакого исторического оправдания. В ней британская свобода прикрыта фригийской шапкой. Но двусмысленность, создавшаяся из этого переодевания, не всегда безвредна. Рецидивы якобинства угрожают и современной Франции: Россия заплатила за увлечение Мишле (через немца Блосса!) миллионами лишних жертв Чека.

Не одна Франция получила свою конституцию из-за Ла-Манша. Все европейские конституции XIX века восходят к тому же британскому источнику. Если рецепция британских учреждений оказалась возможной и

плодотворной, то это, прежде всего потому, что вся Западная Европа была одной семьей народов. Они все прошли ту же историческую школу, имели не только в памяти, но и в крови рыцарство, католицизм, Реформацию. Ростки свободы жили повсюду, хоть и приглушенные веками абсолютизма. Лишь с точки зрения конституционных учреждений переход от абсолютизма к представительному строю был или казался революционным. Для «личных субъективных» прав не было революции; было лишь расширение и развитие их содержания. Если взять самые реакционные из монархических режимов старой Европы, – например, Австрию Меттерниха, – ее культурная жизнь покажется необычайно свободной по сравнению с культурами Азии, не знавшей феодально-христианского опыта, со старой Москвой или даже с современной ей николаевской Россией. Свобода для Европы не есть новейшее завоевание, но лишь пышное прорастание от древних корней.

Обращаясь к той стране, которая в эту эпоху была «детоводительницей к свободе», мы видим, что в ней более чем где бы то ни было в Европе, свобода утверждается не только на новых, но и на древних основаниях. Конечно, и в Англии либерализм питался и экономически ми мотивами капитализма, и научным мировоззрением нового времени. Это столь хорошо знакомая – и единственно знакомая – нам, русским, линия Локка, Бентама, Милля, Спенсера. Но рядом с ней живет другая, христианская традиция свободы, сильная особенно в «свободных Церквах». Гладстон сделал для свободы мира больше, чем какой-либо другой политический деятель Англии. Но Гладстон был и теологом; притом теологом не одной из многочисленных сект, но государственной Церкви Англии. До последнего времени лидеры рабочего движения Англии выходили из сектантских проповедников. Антихристианский радикализм начала XIX века был скорее временным увлечением. И если положительная религия в Англии, как и повсюду, переживала в XIX веке процесс медленного выветривания, ее нравственные приложения живы и поныне; да и чисто религиозные силы в достаточной мере еще питают политическую жизнь. Что касается феодальной свободы, то она переживает себя и в широком самоуправлении, в развитии всех форм «социального» (внегосударственного) права и даже в общественном значении аристократии; аристократия эта активна и часто прогрессивна, участвует во всех сферах жизни; хранимое ею феодальное начало личной чести передается всей нации. Идеал джентльмена, еще чисто сословный лет сто тому назад, теперь становится общенациональным. Мы не знаем, конечно,

правда ли, что «британцы никогда не будут раба ми». Но безусловная правда, что тот тиран, вождь или «спаситель», который попытается поработить Англию во имя равенства или во имя славы, должен будет раскусить весьма крепкий орех.

* * *

Кризис свободы за последние полвека связан с упадком тех двух основ, на которых она пыталась утвердиться в новое время: капиталистической экономики и научного позитивизма. Свободная игра гигантски выросших производительных сил привела не к гармонии, а к разрушению. Вот почему задача освобождения сменилась задачей организации. Началась с возрождения покровительственных тарифов, окончи лось попытками построения социалистического хозяйства. В эпоху, когда экономические проблемы занимают центральное место, потребность экономической организации распространяется на все сферы жизни. Она поддерживается небывалым ростом техники, которая сама по себе требует принудительной организации: автомобильного движения, радио, надземных и воздушных путей. Неорганизованная техника означает столкновение, взрыв, разрушение, смерть. Но пробудившееся, и праведное, стремление к разумному устроению жизни выражается и в растущей системе социального обеспечения и социальной гигиены, всюду ограничивающей старую свободу, понимаемую в смысле невмешательства. Кстати, кризис парламентаризма отчасти объясняется этой же новой потребностью в рациональном и сложном законодательстве. Старая парламентарная машина создавалась не столько для управления, сколько для обуздания правителей; не для отбора компетентных законодателей, а для отражения общественных настроений. Времена изменились, и конституционная машина отказывается выполнять работу, для которой она не создана.

Кризис миросозерцания открылся в конце прошлого века, когда во Франции Брюнетьер провозгласил «банкротство науки». Наука, конечно, не обанкротилась, а делает ежедневно поразительные открытия и изобретения. Но обанкротилась научная вера или суеверие, которое ждало от науки ответа на все проклятые вопросы жизни. Оказалось, что чем дальше развивается наука, тем более она удаляется от чаемого единства. В решении пограничных, метафизических вопросов ученые безнадежно расходятся друг с другом. И уж во всяком случае, из системы точных наблюдений над фактами никак не удавалось вывести систему норм. Ученый, как и последний невежда, стоит так же беспомощно перед проклятыми вопросами: в чем смысл жизни? как жить? что добро и что

зло?

Когда это стало ясно для широких кругов, ученый потерял то религиозное обаяние жреца истины и пророка лучшего будущего, которым он был недавно окружен. Исследование истины перестало быть делом каждого. Техника вообще заслонила чистое знание. Интеллектуализм во всех его проявлениях оказался не ко двору. Новая ересь – иррационализм торжествует повсюду: в новейшей психологии, в искусстве, в философии.

При таких условиях «свобода исследования» стала узкопрофессиональным интересом ограниченного круга ученых. Политики, ведущие за собой массы, перестали с ней считаться. Ученому просто задают задачи для обслуживания национальных или политических интересов, не считаясь с его взглядами или убеждениями. Нет такой грязной работы, которая не возлагалась бы на современного ученого в «передовых» коммуно-фашистских странах. Самое поразительное – та легкость, с которой огромное большинство ученых принимает «социальный заказ». Это показывает, что ученый сам перестал уважать науку, что его отношение к ней стало «формалистическим». Его интересует работа, техника ее, а не содержание открываемой или приоткрываемой им истины. Современный ученый не собирается умирать за науку, как умирал пуританин, гугенот или католик за свою веру.

Впрочем, это все общеизвестно. И наша тема была – рождение свободы, а не ее упадок. Но некоторые выводы из этого анализа все же можно сделать.

Известное ограничение или затмение свободы неизбежно в переживаемую нами эпоху социальной революции. До тех пор, пока задача организации нового общества, хотя бы в грубых чертах, не будет осуществлена, свободе придется приносить жертвы.

Если единственное основание нашей свободы – буржуазная свобода хозяйства и научная свобода исследования, то они, вместе с политическими свободами, из них вытекающими, вряд ли способны пережить этот кризис. Тогда это не помрачение свободы, а ее смерть.

К счастью, корни нашей свободы гораздо глубже. Рожденная в христианском средневековье, она пережила свое затмение в абсолютизме меркантилистического государства; она имеет шансы пережить и социалистическую революцию.

В тех странах, которые сейчас являются ведущими в борьбе за демократию, христианские корни свободы еще живы; есть еще люди, способные умирать не только за родину, не только за равенство, но и за свободу. Для ее новой победы и для дальнейшего роста и укрепления ее в

мире, необходим ряд условий. Вот важнейшие из них:

Возрождение в мире абсолютного, то есть религиозного, начала, которое могло бы ограничить, обуздать и исправить все относительные – праведные и неправедные – притязания государства

Раскрытие этого абсолютного начала как религии личности и свободы.

Ограничение суверенитета национально-социалистического государства: сверху – международным принуди тельным союзом, снизу – федеративными и автономно-групповыми образованиями, возвращающими общество, в более совершенных правовых, демократических формах, к феодальным началам его юности.

Россия и свобода

1

Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России. Не в том, конечно, смысле, существует ли она в СССР, -об этом могут задумываться только иностранцы, и то слишком невежественные. Но в том, возможно ли ее возрождение там после победоносной войны, мы думаем все сейчас – и искренние демократы, и полуфашистские попутчики. Только прямые черносотенцы, воспитанные в разных «Союзах русского народа», чувствуют себя счастливыми в Москве Ивана Грозного. Большинство среди апологетов московской диктатуры – вчерашние социалисты и либералы – убаюкивают свою совесть уверенностью в неизбежном и скором освобождении России. Чаемая эволюция советской власти позволяет им принимать с легким сердцем, а то и с ликованием, порабощение все новых народов Европы. Можно потерпеть несколько лет угнетения, чтобы впоследствии жить полноправными участниками самого свободного и счастливого общества в мире.

С другой стороны, прошлое России как будто не дает оснований для оптимизма. В течение многих веков Россия была самой деспотической монархией в Европе. Ее конституционный – и какой хилый! – режим длился всего одиннадцать лет; ее демократия – и то, скорее в смысле провозглашения принципов, чем их осуществления – каких-нибудь восемь месяцев. Едва освободившись от царя, народ, пусть недобровольно и не без борьбы, подчинился новой тирании, по сравнению с которой царская Россия кажется раем свободы. При таких условиях можно понять иностранцев или русских евразийцев, которые приходят к выводу, что Россия органически порождает деспотизм – или фашистскую «демотию» – из своего национального духа или своей геополитической судьбы; более того, в деспотизме всего легче осуществляет свое историческое призвание. Обязаны ли мы выбирать между этими крайними утверждениями: твердой верой или твердым неверием в русскую свободу? Мы принадлежим к тем людям, которые страстно жаждут свободного и мирного завершения русской революции. Но уже давно горький опыт жизни приучил нас не смешивать своих желаний с действительностью. Не разделяя доктрины исторического детерминизма, мы допускаем возможность выбора между разными вариантами исторического пути народов. Но с другой стороны, власть прошлого, тяжелый или благодетельный груз традиций, эту свободу выбора чрезвычайно ограничивает. Ныне, когда после революционного

полета в неизвестность Россия возвращается на свои исторические колеи, ее прошлое, более чем это казалось вчера, чревато будущим. Не мечтая пророчествовать, можно пытаться разбирать неясные черты грядущего в тусклом зеркале истории.

§ 2

В настоящее время не много найдется историков, которые верили бы во всеобщие законы развития народов. С расширением нашего культурного горизонта возобладало представление о многообразии культурных типов. В своей статье в № 8 «Нового журнала» я старался показать, что лишь один из них – христианский, западноевропейский – породил в своих недрах свободу в современном смысле слова – в том смысле, в котором она сейчас угрожает исчезнуть из мира. Не буду возвращаться к этой теме. Сегодня нас интересует Россия. Ответить на вопрос о судьбе свободы в России почти то же, что решить, принадлежит ли Россия к кругу народов западной культуры; до такой степени понятие этой культуры и свободы совпадают в своем объеме. Если не Запад – то, значит, Восток? Или нечто совсем особое, отличное от Запада и Востока? Если же Восток, то в каком смысле Восток?

Восток, о котором идет речь всегда, когда его противополагают Западу, есть преемство переднеазиатских культур, идущих непрерывно от шумеро-аккадской древности до современного ислама. Древние греки боролись с ним, как с Персией, побеждали его, но и отступали перед ним духовно, пока, в эпоху Византии, не подчинились ему. Западное средневековье сражалось с ним и училось у него в лице арабов. Русь имела дело сперва с иранскими, потом с татарскими (тюркскими) окраинами того же Востока, который в то же самое время не только влиял, но и прямо воспитывал ее в лице Византии. Русь знала Восток в двух обличиях: «поганом» (языческом) и православном. Но Русь создалась на периферии двух культурных миров: Востока и Запада. Ее отношения с ними складывались весьма сложно: в борьбе на оба фронта, против «латинства» и против «поганства», она искала союзников то в том, то в другом. Если она утверждала свое своеобразие, то чаще подразумевая под ним свое православно-византийское наследие; но последнее тоже было сложным. Византийское православие было, конечно, ориентализированным христианством, но, прежде всего оно было христианством; кроме того, с этим христианством связана изрядная доля греко-римской традиции. И религия, и эта традиция роднили Русь с христианским Западом даже тогда, когда она не хотела и слышать об этом родстве.

В тысячелетней истории России явственно различаются четыре

формы развития основной русской темы: Запад – Восток. Сперва в Киеве мы видим Русь свободно воспринимающей культурные воздействия Византии, Запада и Востока. Время монгольского ига есть время искусственной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком (Литва и Орда). Москва представляется государством и обществом существенно восточного типа, который, однако же, скоро (в XVII веке) начинает искать сближения с Западом. Новая эпоха – от Петра до Ленина – представляет, разумеется, торжество западной цивилизации на территории Российской Империи.

В настоящей статье мы рассматриваем лишь один аспект этой западно-восточной темы: судьбу свободы в Древней Руси, в России и в СССР.

§ 3

В Киевскую эпоху Русь имела все предпосылки, из которых на Западе в те времена всходили первые побеги свободы. Ее Церковь была независима от государства, и государство, полуфеодального типа – иного, чем на Западе, – было так же децентрализовано, так же лишено суверенитета.

Христианство пришло к нам из Византии и, казалось бы, византинизм во всех смыслах, в том числе и политическом, был уготован как естественная форма молодой русской нации. Но византинизм есть тоталитарная культура, с сакральным характером государственной власти, крепко держащей Церковь в своей не слишком мягкой опеке. Византинизм исключает всякую возможность за рождения свободы в своих недрах.

К счастью, византинизм не мог воплотиться в киевском обществе, где для него отсутствовали все социальные предпосылки. Здесь не было не только императора (царя), но и короля (или даже великого князя), который мог бы притязать на власть над Церковью. Церковь и на Руси имела своего царя, своего помазанника, но этот царь жил в Константинополе. Его имя было для восточных славян идеальным символом единства православного мира – не больше. Сами греки-митрополиты, подданные Византии, менее всего думали о перенесении на князей варварских народов высокого царского достоинства. Царь – император – один во всей вселенной. Вот почему церковная проповедь богоустановленности власти еще не сообщала ей ни сакрального, ни абсолютного характера. Церковь не смешивалась с государством и стояла высоко над ним. Поэтому она могла требовать у носителей княжеской власти подчинения некоторым идеальным началам не только в личной, но и в политической жизни: верности договорам, миролюбия, справедливости. Преп. Феодосии

бесстрашно обличал князя узурпатора, а митрополит Никифор мог заявлять князьям: «Мы поставлены от Бога унимать вас от кровопролития».

Эта свобода Церкви была возможна, прежде всего, потому, что русская Церковь не была еще национальной, «авто кефальной», но сознавала себя частью греческой Церкви. Ее верховный иерарх жил в Константинополе, не доступный для покушений местных князей. Перед вселенским патриархом смирялся и Андрей Боголюбский.

Важно, конечно, и другое. Древнерусский князь не воплощал полноты власти. Он должен был делить ее и с боярством, и с дружиной, и с вечем. Менее всего он мог считать себя хозяином своей земли. К тому же он и менял ее слишком часто. При таких условиях оказалось возможным даже создание в Новгороде единственной в своем роде Православной демократии. С точки зрения свободы, существенно не верховенство народного собрания. Само по себе вече ничуть не более князя обеспечивало свободу личности. На своих мятежных сходках оно подчас своевольно и капризно расправлялось и с жизнью, и с собственностью сограждан. Но само разделение властей, идущее в Новгороде далее, чем где-либо, между князем, «госпожой»,вечем и «владыкой» давало здесь больше возможностей личной свободы. Оттого такой вольной рисуется нам, сквозь дымку столетий, жизнь в древнем русском народоправстве.

В течение всех этих веков Русь жила общей жизнью, хотя скоро и разделенная религиозно, с восточной окраиной «латинского» мира: Польша, Венгрия, Чехия и Германия, скандинавские страны далеко не всегда враги, но часто союзники, родичи русских князей – особенно в Галиче и Новгороде. Основное христианское и культурное единство их с восточным славянством не забыто. Восток же обернулся своим хищным лицом: кочевники-тюрки, не культурные иранцы соседят с Русью, опустошают ее пределы, вызывают напряжение всех политических сил для обороны. Восток не соблазняет ни культурой, ни государственной организацией. Церковь не устает проповедовать необходимость общей борьбы против «поганых», и здесь ее голоса слушались охотнее, нежели предупреждений против латинян, исходящих от греческой иерархии.

Словом, в Киевской Руси, по сравнению с Западом, мы видим не менее благоприятные условия для развития личной и политической свободы. Ее побеги не получили юридического закрепления, подобного западным привилегиям. Слабость юридического развития Руси – факт несомненный. Но в Новгороде имело место и формальное ограничение княжеской власти в форме присяги. Традиция под именем «отчины» и

«пошлины» в средние века была луч шей охраной личных прав. Несчастье Руси было в другом, прямо обратном: в недостаточном развитии государственных начал, в отсутствии единства. Едва ли можно говорить об удельной Руси как о едином государстве. Это было династическое и церковное объединение – политически столь слабое, что оно не выдержало исторического испытания. Свободная Русь стала на века рабой и данницей монголов.

Двухвековое татарское иго еще не было концом русской свободы. Свобода погибла лишь после освобождения от татар. Лишь московский царь, как преемник ханов, мог покончить со всеми общественными силами, ограничиваю ими самовластие. В течение двух и более столетий Северная Русь, разоряемая и унижаемая татарами, продол жала жить своим древним бытом, сохраняя свободу в местном масштабе и, во всяком случае, свободу в своем политическом самосознании. Новгородская демократия занимала территорию большей половины Восточной Руси. В удельных княжествах Церковь и боярство, если не вече, уже замолкшее, разделяли с князем ответственность за судьбу земли. Князь по-прежнему должен был слушать уроки политической морали от епископов и старцев и прислушиваться к голосу старшего боярства. Политический имморализм, результат чужеземного корыстного владычества, не успел развратить всего общества, которое в своей культуре приобретает даже особую духовную окрыленность. Пятнадцатый век – золотой век русского искусства и русской святости. Даже «Измарагды» и другие сборники этого времени отличаются своей религиозной и нравственной свободой от московских и византийских Домостроев.

Есть одна область средневековой Руси, где влияние татарства ощущается сильнее, – сперва почти точка на карте, потом все расплывающееся пятно, которое за два столетия покрывает всю Восточную Русь. Это Москва, «собирательница» земли русской. Обязанная своим возвышением прежде всего татарофильской и предательской политике своих первых князей, Москва, благодаря ей, обеспечивает мир и безопасность своей территории, привлекает этим рабочее население и переманивает к себе митрополитов. Благословление Церкви, теперь национализирующейся, освящает успехи сомнительной дипломатии. Митрополиты, из русских людей и подданных московского князя, начинают отожествлять свое служение с интересами московской политики. Церковь еще стоит над государством, она ведет государство в лице митрополита Алексия (наш Ришелье), управляя им. Национальное освобождение уже не за горами. Чтобы ускорить его, готовы с легким

сердцем жертвовать элементарной справедливостью и завещанными из древности основами христианского общежития. Захваты территорий, вероломные аресты князей-соперников совершаются при поддержке церковных угроз и интердиктов. В самой московской земле вводятся татарские порядки в управлении, суде, сборе дани. Не из вне, а изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, проникала в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политическим падением Орды. В XV веке тысячи крещеных и некрещеных татар шли на службу к московскому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражая его восточными понятиями и степным бытом.

Само собирание уделов совершалось восточными методами, не похожими на одновременный процесс ликвидации западного феодализма. Снимался весь верхний слой населения и уводился в Москву, все местные особенности и традиции – с таким успехом, что в памяти народной уже не сохранилось героических легенд прошлого. Кто из тверичей, рязанцев,нижегородцев в XIX веке помнил имена древних князей, погребенных в местных соборах, слышал об их подвигах, о которых мог бы прочитать на страницах Карамзина? Древние княжества русской земли жили разве в насмешливых и унизительных прозвищах, даваемых друг другу. Малые родины потеряли всякий исторический колорит, который так красит их везде во Франции, Германии и Англии. Русь становится сплошной Московией, однообразной территорией централизованной власти: естественная предпосылка для деспотизма.

Но старая Русь не сдалась Московии без борьбы. Большая часть XVI столетия заполнена шумными спорами и залита кровью побежденных. «Заволжские старцы» и княжее боярство пытались защищать духовную и аристократическую свободу против православного ханства. Русская Церковь раскололась между служителями Царства Божия и строителями Московского царства. Победили осифляне и опричники. Торжество партии Иосифа Волоцкого над учениками Нила Сорского привело к окостенению духовной жизни. Победа опричнины, нового «демократического» служилого класса над родовой знатью означало варваризацию правящего слоя, рост холопского самосознания в его среде и даже усиление эксплуатации трудового населения. Побежденные принадлежали, несомненно, к уходящим, к отвергнутым жизнью слоям. Это была реакция – совести и свободы. В данную эпоху «прогресс» был на стороне рабства. Этого достаточно, чтобы прельстить гегельянцев – Соловьевых и прочих попутчиков истории. Но разве не позволительно остановиться на одном из поворотных моментов русской жизни испросить себя: что было бы, если

бы «ближней раде» Адашевых, Сильвестров и Курбских, опираясь на земский собор, уда лось – начать эру русского представительного строя? Этого не случилось. Князь Курбский, этот Герцен XVI столетия, с горстью русских людей, бежавших из московской тюрьмы, спасали в Литве своим пером, своей культурной работой честь русского имени. Народ был не с ними. На род не поддержал боярства и возлюбил Грозного. Причины ясны. Они всегда одни и те же, когда народ поддерживает деспотизм против свободы – при Августе и в наши дни: социальная рознь и национальная гордость. Народ имел, конечно, основания тяготиться зависимостью от старых господ – и не думал, что власть новых опричных дворян несет ему крепостное право. И, уж, наверное, он был заворожен зрелищем татарских царств, падающих одно за другим перед царем московским. Русь, вчерашняя данница татар, перерождалась в великую восточную державу:

А наш белый царь над царями царь,
Ему орды все поклонилися.

§ 4

Московское самодержавие, при всей своей видимой цельности, было явлением очень сложного происхождения. Московский государь, как князь Московский, был вотчинником, «хозяином земли русской» (так называли еще Николая II). Но он же был преемником и ханов-завоевателей и императоров византийских. Царями называли на Руси и тех, и других. Это слияние разнородных идей и средств власти создавало деспотизм если не единственный, то редкий в истории. Византийский император в принципе магистрат, добровольно подчиняющийся своим собственным законам. Он, хотя и без всяких оснований, гордился тем, что царствует над свободными, и любил противополагать себя тиранам. Московский царь хотел царствовать над рабами и не чувствовал себя связанным законом. Как говорил Грозный, «жаловать есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же». С другой стороны, восточный деспот, не связанный законом, связан традицией, особенно религиозной. В Москве Иван IV и впоследствии Петр показали, как мало традиция ограничивает самовластие московского царя. Церковь, которая больше всего содействовала росту и успехам царской власти, первая за это поплатилась. Митрополиты, назначаемые фактически царем, им же и свергались с величайшей легкостью. Один из них, если не два, были убиты по приказу Грозного. И в чисто церковных делах, как показала Никоновская реформа, воля царя была решающей. Когда он пожелал уничтожить патриаршество и ввести в русской Церкви протестантский синод, и это сошло для него безнаказанно.

Все сословия были прикреплены к государству службой или тяглом. Человек свободной профессии был явлением немыслимым в Москве, – если не считать разбойников. Древняя Русь знала свободных купцов и ремесленников. Теперь все посадские люди были обязаны государству натуральными повинностями, жили в принудительной организации, перебрасываемые с места на место в зависимости от государственных нужд. Крепостная неволя крестьянства на Руси сделалась повсеместной в то самое время, когда она отмирала на Западе, и не переставала отягощаться до конца XVIII столетия, превратившись в чистое рабство. Весь процесс исторического развития на Руси стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием: создания Империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бес конечно разрастающееся государство. Есть основания думать, что народ в XVI-XVII веках лучше понимал нужды и общее положение государства, чем в XVIII-XIX. Сознательно или бессознательно, он сделал свой выбор между национальным могуществом и свободой. Поэтому он несет ответственность за свою судьбу. В татарской школе, на московской службе выковался особый тип русского человека – московский тип, исторически самый крепкий и устойчивый из всех сменяющихся образов русского национального лица. Этот тип психологи чески представляет сплав северного великоросса с кочевым степняком, отлитый в формы осифлянского православия. Что поражает в нем, прежде всего, особенно по сравнению с русскими людьми XIX века, это его крепость, выносливость, необычайная сила сопротивляемости. Без громких военных подвигов, даже без всякого воинского духа – в Москве угасла киевская поэзия военной доблести, – од ним нечеловеческим трудом, выдержкой, более потом, чем кровью, создал москвитянин свою чудовищную Империю. В этом пассивном героизме, неисчерпаемой способности к жертвам была всегда главная сила русского солдата – до последних дней Империи. Мировоззрение русского человека упростилось до крайности; даже по сравнению со средневековьем – москвич примитивен. Он не рассуждает, он принимает на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть нечто для него более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость узаконенных жестов, поклонов, словесных формул связывают живую жизнь, не дают ей расползаться в хаос, сообщают ей даже красоту

оформленного быта. Ибо московский человек, как русский чело век во всех своих перевоплощениях, не лишен эстетики. Только теперь его эстетика тяжелеет. Красота становится благолепием, дебелость – идеалом женской прелести. Христианство с искоренением мистических течений Заволжья превращается все более в религию священной материи: икон, мощей, святой воды, ладана, просвир и куличей. Диететика питания становится в центре религиозной жизни. Это ритуализм, но ритуализм страшно требовательный и морально эффективный. В своем обряде, как еврей в законе, москвич находит опору для жертвенного подвига. Об ряд служит для конденсации моральных и социальных энергий.

В Московии моральная сила, как и эстетика, является в аспекте тяжести. Тяжесть сама по себе нейтральна – и эстетически, и этически. Тяжел Толстой, легок Пушкин. Киев был легок, тяжела Москва. Но в ней моральная тяжесть принимает черты антихристианские: беспощадности к падшим и раздавленным, жестокости к ослабевшим и провинившимся. «Москва слезам не верит». В XVII веке неверных жен зарывают в землю, фальшивомонетчикам залива ют горло свинцом. В ту пору и на Западе уголовное право достигло пределов бесчеловечности. Но там это было обусловлено антихристианским духом Возрождения; на Руси – бесчеловечием византийско-осифлянского идеала.

Ясно, что в этом мире не могло быть места свободе. Послушание в школе Иосифа было высшей монашеской добродетелью. Отсюда его распространение через Домострой в жизньмирянского общества. Свобода для москвича – понятие отрицательное: синоним распущенности, «наказанности», безобразия.

Ну а как же «воля», о которой мечтает и поет народ, на которую откликается каждое русское сердце? Слово «свобода» до сих пор кажется переводом французского liberte. Но никто не может оспаривать русскости «воли». Тем необходимее отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха. Воля есть, прежде всего, возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют, и равные, стесняет и мир.

Воля торжествует или в уходе из общества, на степ ном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля – всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбой ник – это идеал московской воли, как Грозный – идеал царя. Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культуре пустыни, дикой природы,

кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, – разбойничества, бунта и тирании.

Есть одно поразительное явление в Москве XVII века. Народ обожает царя. Нет и намека на политическую оппозицию ему, на стремление участвовать во власти или изба виться от власти царя. И в то же время, начиная от Смуты и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум народных – казацких – стрелецких – бунтов. Восстание Разина потрясло до основания все царство. Эти бунты показывают, что тягота государственного бремени была непосильна: в частности, что крестьянство не примири лось – и никогда не примирялось – с крепостной неволей. Когда становится невмочь, когда «чаша народного горя с краями полна», тогда народ разгибает спину: бьет, грабит, мстит своим притеснителям – пока сердце не отойдет; злоба утихнет, и вчерашний «вор» сам протягивает руки царским приставам: вяжите меня. Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. Как в лесковском рассказе"Чертогон» суровый патриархальный купец должен раз в году перебесить я, «выгнать черта» в диком разгуле, так московский народ раз в столетие справляет свой праздник «дикой воли», после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина.

Нетрудно видеть, что произошло бы в случае победы Разина или Пугачева. Старое боярство или дворянство было бы истреблено; новая казачья опричнина заняла бы его место; С. М.Соловьев и С. Ф. Платонов назвали бы это вторичной демократизацией правящего класса. Положение крепостного народа ничуть не изменилось бы, как не изменилось бы и положение царя спеременой династии. Ведь и Романовы вступили на престол при поддержке казаков и тушинцев. Крепостничество вызывалось государственными нуждами, а государственные инстинкты смутно жили в казачестве. Народ мог только переменить царя, но не ограничить его. Больше того, он не пожелал воспользоваться самоуправлением, которое предлагал ему царь, и испытывал как лишнее бремя участие в земских сборах, которые мог ли бы, при ином отношении народа к государственному делу, сделаться зерном русских представительных учреждений. Нет,государство – дело царское, а не народное. Царю вся полнота власти, а боярам, придет пора, отольются народные слезы.

Если где и теплилась в Москве потребность в свободе, то уж, конечно, в этом самом ненавистном боярстве. Не взирая на погром времен Грозного, эти вольнолюбивые настроения нашли свой выход в попытках

конституционных ограничений власти царя Василия, Владислава, Михаила. Боярство стремилось обеспечить себя от царской опалы и казни без вины – habeascorpus. И цари присягали, целовали крест. Не поддержал народ, видевший в царских опалах свою единственную защиту – или месть, – и первая русская конституция оказалась подлинной пропавшей грамотой.

Москва не просто двухвековой эпизод русской истории – окончившейся с Петром. Для народных масс, оставшихся чуждыми европейской культуре, московский быт затянулся до самого освобождения (1861 г.). Не нужно забывать, что купечество и духовенство жили и в XIX веке этим московским бытом. С другой стороны, в эпоху своего весьма бурного существования Московское царство выработало необычайное единство культуры, отсутствовавшее и в Киеве, и в Петербурге. От царского дворца до последней курной избы Московская Русь жила одним и тем же культурным содержанием, одними идеалами. Различия были только качественными. Та же вера и те же предрассудки, тот же Домострой, те же апокрифы, те же нравы, обычаи, речь и жесты. Нет не только грани между христианством и язычеством (Киев) или между западной и византийской традицией (Петербург), но даже между просвещенной и грубой верой. Вот это единство культуры и сообщает московскому типу его необычайную устойчивость. Для многих он кажется да же символом русскости. Во всяком случае, он пережил не только Петра, но и расцвет русского европеизма; в глубине на родных масс он сохранился до самой революции.

§ 5

Стало давно трюизмом, что со времени Петра Россия жила в двух культурных этажах. Резкая грань отделяла тон кий верхний слой, живущий западной культурой, от народных масс, оставшихся духовно и социально в Московии. К народу принадлежало не только крепостное крестьянство, но все торгово-промышленное население России, мещане, купцы, и, с известными оговорками, духовенство. В отличие от неизбежных культурных градаций между классами на Западе, как и во всяком дифференцированном обществе, в России различия были качественные, а не количественные. Две разные культуры сожительствовали в России XVIII века. Одна представляла варваризированный пережи- ток Византии, другая – ученическое усвоение европеизма. Выше классовой розни между дворянством и крестьянством была стена непонимания между интеллигенцией и народом, не срытая до самого конца. Некогда могло показаться, что этот дуализм, или даже самое ощущение интеллигенции

как особой культурной категории есть неповторимое, чисто русское явление. Теперь, на наших глазах, с европеизацией Индии, Китая, мы видим, что тоже явление происходит повсюду на стыке двух древних и мощных культур. Взгляд на Россию с Востока или, что то же самое, глазами западного человека, который видит в ней «Скифию», необходимая предпосылка для понимания Империи. Но, признав это, сейчас же следует сказать: поразительна та легкость, с которой русские скифы усваивали чуждое им просвещение. Усваивали не только пассивно, но и активно-творчески. На Петра немедленно ответили Ломоносовым, на Растрелли – Захаровым,Воронихиным; через полтораста лет после петровского переворота – срок небольшой – блестящим развитием русской науки. Поразительно то, что в искусстве слова, в самом глубоком и интимном из созданий национального гения (впрочем, то же и в музыке), Россия дала всю свою меру лишь в XIX веке. Погибни она как нация еще в эпоху наполеоновских войн, и мир никогда бы не узнал, что он потерял с Россией.

Этот необычайный расцвет русской культуры в новое время оказался возможным лишь благодаря прививке к русскому дичку западной культуры. Но это само по себе показывает, что между Россией и Западом было известное сродство: иначе чуждая стихия искалечила бы и погубила национальную жизнь. Уродств и деформаций было немало. Но из галлицизмов XVIII века вырос Пушкин; из варварства 60-х годов – Толстой, Мусоргский и Ключевский. Значит, за ориентализмом московского типа лежали не тронутыми древние пласты Киево-Новгородской Руси, и в них легко и свободно совершался обмен духовных веществ с христианским Западом. Могло ли быть иначе? Кто из нас, даже сейчас, может равнодушно перелистывать страницы киевской летописи, у кого не проходит холодок по спине от иных строк вечного «Слова о полку Игореве»?

Вместе с культурой, с наукой, с новым бытом Запада приходит и свобода. И при этом в двух формах: в виде фактического раскрепощения быта и в виде политического освободительного движения.

Мы обычно недостаточно ценим ту бытовую свободу, которой русское общество пользовалось уже с Петра и которая позволяла ему долгое время не замечать отсутствия свободы политической. Еще царь Петр сажал своих врагов на кол, еще бироновские палачи вздергивали на дыбу всех заподозренных в антинемецких Чувствах, а во Дворце, на царских пирах и ассамблеях, устанавливался новый светский тип обхождения, почти уравнивающий вчерашнего холопа с его повелителем.

Петербургский двор хотел равняться на Потсдам и Версаль, и вчерашний царь московский, наследник ханов и василевсов, чувствовал себя европейским государем – абсолютным, как большинство государей Запада, но связанным новым кодексом морали и приличий. Мы как-то не отдавали себе отчета в том, почему русский император, который имел полное «божественное» право казнить без суда и вины, жечь или сечь любого из своих подданных, отнять его состояние, его жену, не пользовался этим правом. Да и невозможно себе представить, чтобы он им воспользовался – даже самый деспотичный из Романовых, как Павел или Николай 1. Русский народ, вероятно, стерпел бы, как терпел при Иване IV и Петре 1, – может быть, по-прежнему находил бы удовольствие в казнях ненавистных господ; были же попытки на родной канонизации Павла. Но петербургский император постоянно оглядывался на своих немецких кузенов; он был воспитан в их идеях и традициях. Если народ кланялся ему в ноги или лез целовать его самого, это ему, вероятно, не доставляло никакого удовольствия. Если же он забывался, увлекаясь соблазном самовластия, дворянство напоминало ему о необходимости приличного обращения. Дворянство, возводя на трон одних государей или убивая других, добилось того, что император стал называть себя первым дворянином.

Агенты власти, сами принадлежали к тому же кругу, следовали примеру свыше. Дворянин был свободен по закону от телесных наказаний; по жизненному, неписаному уставу он был свободен и от личных оскорблений. Его мог ли сослать в Сибирь, но не могли ударить или обругать. Дворянин развивает в себе чувство личной чести, совер- шенно отличное от московского понятия родовой чести и восходящее к средневековому рыцарству.

Указ о «вольности дворянства» освободил его от обязательной службы государству. Отныне он может посвящать свои досуги литературе, искусству, науке. Его участие в этих профессиях освобождает и их; они действительно становятся свободными профессиями – и тогда, когда пополняются плебеями, разночинцами, преимущественно из духовного сословия. Из дворянского ядра вырастает русская интеллигенция – до конца связанная с этим сословием своими добродетелями и пороками. Россия (кроме Китая) была единственной страной, в которой дворянство давалось образованием. Окончание средней и даже полусредней школы превращало человека из мужика в барина – то есть в свободного, защищало до известной степени его личность от произвола властей, гарантировало ему вежливое обращение и в участке, и в тюрьме.

Городовой отдавал честь студенту, которого мог избивать лишь в особо редкие дни – бунтов. Эта бытовая свобода в России была, конечно, привилегией, как везде в начальную пору свободы. То был остров петербургской России среди московского моря. Но этот остров беспрерывно расширялся, особенно после освобождения крестьян. Его населяли тысячи в XVIII веке, миллионы – в начале XX-го. В сущности, это бытовая свобода была самым реальным и значительным культурным завоеванием Империи, и это завоевание было явным плодом европеизации. Оно совершалось при постоянном и упорном противодействии «темного царства», то есть ста рой Московской Руси.

Гораздо печальнее была судьба политической свободы. Она виделась столь близкой и осуществимой в XVIII, особенно в начале XIX века. Потом она стала отдаляться и казалась уже химерой, «бессмысленными мечтаниями» при Александре III и даже Николае II. Она пришла слишком поздно, когда авторитет монархии был подорван во всех классах нации, а еще углубившаяся классовая рознь делала необычайно трудной перестройку государства на демократических началах.

Носителем политического либерализма у нас долго, едва ли не до самого 1905 года, было дворянство. Вопреки марксистской схеме, не буржуазия была застрельщицей освобождения: оставшись культурно в допетровской Руси, она была главной опорой реакции; вплоть до появления, в конце XIX века, нового типа европейски образованного фабриканта и банковского деятеля. Но дворянство если не в массе своей, костной и малокультурной, то в европейски образованных верхушках долгое время одно представляло в России свободолюбие. Более того, в течение всего XVIII века и в начале XIX русские конституционалисты почти исключительно вельможи: члены Верховного тайного совета при Анне, граф Панин при Екатерине, при Александре – Мордвинов, Сперанский, кружок интимных друзей императора. Долгое время Швеция со своей аристократической конституцией вдохновляла русскую знать; потом пришла пора французских и английских политических идей. Если бы вся Европа в XVIII веке жила в форме конституционной монархии, то весьма вероятно, что и Россия заимствовала бы ее вместе с остальными реквизитами культуры. После французской революции это стало затруднительным. Европейский политический ветер подул реакцией, да и русские императоры не имели охоты восходить на эшафот, повторяя европейские жесты.

Но пересадка политических убеждений – конечно, возможная (ср. Турцию и Японию) – гораздо труднее и опаснее, чем заимствование наук и

искусств. Это показал неудачный «замысел верховников». Анализ событий 1730 года показывает, во-первых, что большинство столичного дворянства желало ограничения самодержавия; во-вторых, что оно недостаточно этого желало, чтобы преодолеть свою собственную неорганизованность и рознь. В итоге предпочли привилегиям верховников общее равенство бесправия. Таков смысл событий 1730 года, и он весьма пахнет Московией. Шляхетство того времени, в сущности, разделяет крестьянскую подозрительность к свободе господ. Вместо того чтобы утвердить ее для немногих (для вельмож) и по том бороться за ее расширение на все сословия, в пределе – на всю нацию, – единственно, возможный, исторический, путь, – предпочитают рабство для всех. Так велика власть Москвы в сознании культурных или полукультурных потомков опричного дворянства.

Весь драматизм российской политической ситуации выражается в следующей формуле: политическая свобода в России может быть только привилегией дворянства и европеизированных слоев (интеллигенции). Народ в ней не нуждается, более того, ее боится, ибо видит в самодержавии лучшую защиту от притеснений господ. Освобождение крестьян само по себе не решало вопроса, ибо миллионы безграмотных, живущих в средневековом быте и сознании граждан не могли строить новую европеизированную Россию. Их политическая воля, будь она только выражена, привела бы к ликвидации Петербурга (школ, больниц, агрономии, фабрик и т. п.) и к возвращению в Москву: то есть теперь уже к превращению России в колонию иностранцев. Сговор монархии с дворянством представлял единственную возможность ограниченной политической свободы. Французская революция с ее политическим отражением 14 декабря 1825 года делала этот сговор невозможным. Оставалось управлять Россией с помощью бюрократии, которая и становится новой силой, по идеям Сперанского, при Николае 1.

Со времени декабристов, отчасти еще в их поколении, освободительные идеи усваиваются и развиваются людьми, оттиснутыми или добровольно отошедшими от государственной деятельности. Это совершенно меняет их характер: из практических программ они становятся идеологиями. С 30-х годов они выращиваются в теплицах немец кой философии, потом – естественных и экономических наук. Но источник их неизменно западный; русской либерализм, как и социализм, имеет свои духовные корни в Европе: или в английской политической традиции, или во французской идеологии – теперь уже Франции 40-х годов, – или в марксизме. Русский социализм уже с Герцена может

окрашиваться в цвета русской общины или артели, он остается европейским по основам своего миросозерцания. Либерализму эта национальная мимикрия совсем не удалась.

Есть два кажущихся исключения. Славянофильство 40-х годов было, несомненно, движением либеральным и претендовало быть национально-почвенным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что источник его свободолюбия все в той же Германии, а русское прошлое ему плохо известно; русские учреждения земский собор, с действительностью. Неудивительно, что, пустив корни в России; славянофильство скоро утратило либеральное содержание. Когда же оно победило и взошло на трон в лице Александра III (сПобедоносцевым), оно оказалось реакционным ту пиком в явно московском направлении.

В 60-х годах оно, довольно широкое, но политически не оформленное течение (ненигилисты), носит определенную национальную окраску. Я имею в виду Молодую русскую этнографию, сливающуюся с народничеством, историков типа Костомарова, Пыпина, Щапова, Аристова; к ним примыкает кружок национальных композиторов, – прежде всего, конечно, Мусоргский – и передвижники в живописи: Репин и Суриков. Одни из них, как Костомаров, правильно ищут русских корней в далеком, замосковском прошлом. К сожалению, они не приобрели большого влияния в русском обществе. Костомаров защищал побежденных (Новгород, феодальную Русь). Русская интеллигенция предпочла усвоить московскую историческую традицию митрополита Макария и Степенной Книги, пропущенную сквозь Гегеля. С необычайной легкостью, без ощущения всего трагизма русской истории она – вслед за Соловьевым и Ключевским – приняла как нечто нормальное (вроде европейского абсолютизма) московско-татарское поглощение Руси, с непонятным оптимизмом ожидая всходов западной свободы на этой почве. Другие из радикалов увлекались стихией бунта, открывая ее в костной тяжести Москвы. С тех пор студенчество не перестает петь разбой ничьи песни, и «Дубинушка» делается чуть ли не русским национальным гимном. Но мы видели, как мало общего разбойная воля имеет со свободой. Мусоргский, Суриков, идеализация казачества, раскола и разинщины, несомненно, воодушевляли революционную армию. Однако если бы эта идеология направила революцию, она сообщила бы ей национально-черносотенный характер. 60-е годы, сделавшие так много для раскрепощения России, нанесли политическому освободительному движению тяжелый удар. Они направили значительную, и самую энергичную часть его – все революционное движение, – по антилиберальному руслу. Разночинцы,

которые начина ют вливаться широкой волной в дворянскую интеллигенцию, не находят политическую свободу достаточно привле-кательным идеалом. Они желают революции, которая не медленно осуществила бы в России всеобщее равенство – хотя бы ценой уничтожения привилегированных классов (знаменитые 3 миллиона голов). Против дворянского либерализма – даже либерального социализма Герцена – они начинают ожесточенную борьбу. Раннее народничество 60«- 70-х годов считает даже вредной конституцию в России как укрепляющую позиции буржуазных классов. Многое можно было привести в объяснение этой поразительной абберации: погоню за последним криком западной политической моды, чрезвычайный примитивизм мысли, оторванной от действительности, максимализм, свойственный русской мечтательности. Но есть один, более серьезный и роковой, мотив, уже знакомый нам. Разночинцы стояли ближе к народу, чем либералы. Они знали, что на роду свобода не говорит ничего; что его легче поднять против бар, чем против царя. Впрочем, их собственное сердце билось в такт с народом; равенство говорило им больше свободы. Конечно, и здесь сказалось все то же московское наследие.

Потом они поумнели. Уже народовольцы признали борьбу за политическое освобождение. В конце века обе господствующие социалистические партии недвусмысленно ведут борьбу за демократию. Правда, марксизм пони мал свою свободу инструментально, как средство в борьбе за диктатуру пролетариата: вскрывая «буржуазную подоплеку» освободительного движения, он унижал и обессмысливал свободу в глазах неискушенных в тактических тон костях масс. Но здесь уже веял не старый «русский дух», а новый западный душок, или сквозняк, который дул от утопического коммунизма 40-х годов в еще неведомое и нега данное царство фашизма.

И все же пятидесятилетие, протекшее со времени Освобождения, изменило весь облик России. Интеллигенция вы росла в десятки, сотни раз. Уж ей навстречу поднималась новая рабоче-крестьянская интеллигенция, которая, случалось, выносила на гребне волны такие яркие имена русской куль туры, как Максим Горький и Шаляпин. В 1905 году, казалось, исчезла вековая грань между народом и интеллигенцией: народ, утратив веру в царя, доверил интеллигенции водительство в борьбе за свободу. Переход дворянства в лагерь реакции искупался развитием новой либеральной буржуазии. Старое земство, великолепная школа свободной общественности, работало превосходно в ожидании своей демократизации. Профессиональное и кооперативное движение

воспитывало общественно-трудовую демократию. Народная школа, уже выработавшая план всеобщего обучения, быстро разлагала московскую формацию поверхностным просвещением. Уже любителям русского фольклора приходилось ездить за остатками его на Печору. Еще пятьдесят лет, и окончательная европеизация России – вплоть до самых глубоких слоев ее – стала бы фактом. Могло ли быть иначе? Ведь «народ» ее был из того же самого этнографического и культурного теста, что и дворянство, с ус пехом проходившее ту же школу в XVIII веке. Только этих пятидесяти лет России не было дано.

Первое прикосновение московской души к западной культуре почти всегда скидывается нигилизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, потерявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и социальной этики. О хулиганстве в деревне заговорили с началом столетия. Учитель делается первым объектом дерзких шуток, интеллигенция как класс – объектом ненависти. После крушения революции 1905 года – и слишком поспешного отхода от народа ведущих слоев русской культуры – намечается новая рознь. В своих, почти пророческих, статьях Блок слушал нарастающий гул народной ненависти, грозившей поглотить блестящую, но хрупкую нашу культуру. Порою тот или иной выходец из новой на родной интеллигенции (Карпов в своей книге «Пламя») бросал страстный вызов старой «буржуазной» интеллигенции, с которой он не успел еще слиться, как слились (или почти слились) Горький или Шаляпин. В этой перспективе все новейшее развитие России представляется опасным бегом на скорость: что упредит – освободительная европеизация или московский бунт, который затопит и смоет молодую свободу волной народного гнева?

Читая Блока, мы чувствуем, что России грозит не революция просто, а революция черносотенная. Здесь, на пороге катастрофы, стоит вглядеться в эту последнюю, антилиберальную реакцию Москвы, которая сама себя назвала по-московски Черной Сотней. В свое время недооценили это политическое образование из-за варварства и дикости ее идеологии и политических средств. В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но ведь с ним связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский, и царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам. Наконец, есть основание полагать, что его идеи победили в ходе русской революции и что, пожалуй, оно переживет нас всех.

За православием и самодержавием, то есть за московским символом веры, легко различаются две основные традиции: острый национализм,

оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам – евреям, полякам, немцам и т.д., и столь же острая ненависть к интеллигентам, в самом широком смысле слова, объединяющем все высшие классы России. Ненависть к западному просвещению сливалась с классовой ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику – ко всему средостению между царем и народом. Самый термин «черная сотня» взят из московского словаря, где он означает организацию (гильдию) низового беднейшего торгового класса; для московского уха он должен был звучать как для Токвиля «демократия». Словом, Черная Сотня есть русское издание или первый вариант национал-социализма. При фанатической ненависти, при насильственности действий, принимавших легко характер погрома и бунта, движение таило в себе потенции разинщины. Власть, дворянство вскармливали его, – но на свою голову. Губернатор не всегда мог справиться с ним, и пример Илиодора в Царицинепоказывает, как легко черносотенный демагог становится демагогом революционным. Не мешает остановиться на этой неприглядной реакции побежденной Москвы в те роковые годы, когда недаром вспомнили старое пророчество: Петербургу быть пусту.

6

Русская революция за 28 лет ее победоносного, хоть и тяжкого бытия пережила огромную эволюцию, проделала не мало зигзагов, сменила немало вождей. Но одно в ней оста лось неизменным: постоянное, из года в год, умаление и удушение свободы. Казалось, что дальше ленинской тоталитарной диктатуры идти некуда. Но при Ленине меньшивики вели легальную борьбу в Советах существовала свобода политической дискуссии в партии, литература, искусстве мало страдали. Об этом так странно вспоминать теперь. Дело не в том, конечно, что Ленин, в отличие от Сталина, был другом свободы. Но для человека, дышавшего воздухом XIX века, хотя и в меньшейстепени, чем для русского самодержца, существовали какие-то неписаные границы деспотизма, хотя бы в виде привычек, стеснений, ингибиций. Их приходилось преодолевать шаг за шагом. Так и до сих пор в тоталитарных режимах, введя пытку, еще не дошли – до квалифицированных публичных казней. Иностранцы, посещающие Россию через промежуток нескольких лет, отмечали сгущение неволи в последних, убежищах вольного творчества – в театре, в музыке, в синематографе. В то время как русская эмиграция ликовала по поводу национального перерождения большевиков, Россия переживала один из самых страшных этапов своей Голгофы. Миллионы замученных жертв отмечают новый поворот диктаторского руля. На последнем

«национальном» этапе – а, казалось бы, он должен был вдохновлять художника – русская литература дошла до пределов наивной беспомощности и дидактизма; следствие утраты последних остатков свободы. Второе, и еще более грозное явление. По мере убыли свободы прекращается и борьба за нее. С тех пор как замерли отголоски гражданской войны, свобода исчезла из программы оппозиционных движений – пока эти движения еще существовали. Немало советских людей повидали мы за границей – студентов, военных, эмигрантов новой формации. Почти ни у кого мы не замечаем тоски по свободе, радости дышать ею. Большинство даже болезненно ощущает свободу западного мира как беспорядок, хаос, анархию. Их неприятно удивляет хаос мнений на столбцах прессы: разве истина не одна? Их шокирует свобода рабочих, стачки, легкий темп труда. «У нас мы прогнали миллионы через концлагеря, чтобы научить их работать» – такова реакция советского инженера при знакомстве с беспорядками на американских заводах; а ведь он сам от станка – сын рабочего или крестьянина. В России ценят дисциплину и принуждение и не верят в значение личного почина – не только партия не верит, но и вся огромная ею созданная новая интеллигенция.

Не одна система тоталитарного воспитания ответственна за создание этого антилиберального человека, хотя мы и знаем страшную мощь современного технического аппарата социальной перековки. Тут действовал и другой социально-демографический фактор. Русская революция была еще невиданной в истории мясорубкой, сквозь которую были пропущены десятки миллионов людей. Громадное большинство жертв, как и во французской революции, пало на долю народа. Далеко не вся интеллигенция была истреблена; технически необходимые кадры были отчасти сохранены. Но как ни слепо подчас действовала машина террора, она поражала, бесспорно, прежде всего, элементы, представлявшие, хотя бы только морально, сопротивление тоталитарному режиму: либералов, социалистов, людей твердых убеждений или критической мысли, просто независимых людей. Погибла не только старая интеллигенция, в смысле ордена свободолюбия и народолюбия, но и широкая народная интеллигенция, ею порожденная. Говоря точнее, произошел отбор. Народная интеллигенция раскололась – одна влилась в ряды коммунистической партии, другая (эсеро-меньшевистская) истреблена. Интеллигенция просто – большевизмом не соблазнилась. Но те в ее рядах, кто не пожелал погибнуть или покинуть родину, должны были за годы неслыханных унижений убить в себе самое чувство свободы, самую

потребность в ней: иначе жизнь была бы просто невыносимой. Они превратились в техников, живущих своим любимым делом, но уже вполне обездушенным. Писателю все равно, о чем писать: его интересует художественное «как», поэтому он может принять любой социальный заказ. Историк получает свои схемы готовыми из каких-то комитетов: ему остается трудолюбиво и компетентно вышивать узоры...

В итоге не будет преувеличением сказать, что вся созданная за двести лет Империи свободолюбива формация русской интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею проступила московская тоталитарная целина. Но вый советский человек не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из Московского царства, слегка приобретя марксистский лоск. Посмотрите на поколение Октября. Их деды жили в крепостном праве, их отцы пороли самих себя в волостных судах. Сами они ходили 9 января к Зимнему дворцу и перенесли весь комплекс врожденных монархических чувств на новых красных вождей.

Вглядимся в черты советского человека, – конечно, того, который строит жизнь, а не смят под ногами, на дне колхозов и фабрик, в черте концлагерей. Он очень крепок, физически и душевно, очень целен и прост, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего – необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой, и его высшее честолюбие – отдать свою жизнь за коллектив: партию или родину, смотря по временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека XVI века? (не XVII, когда уже начинается декаданс). Напрашиваются и другие исторические аналогии: служака времен Николая 1, но без гуманности христианского и европейского воспитания; сподвижник Петра, но без фанатического западничества, без национального самоотречения. Он ближе к москвичу своим гордым национальным сознанием, его страна единственно православная, единственно социалистическая – первая в мире: третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, то есть западный мир; не знает его, не любит и боится его. И, как встарь, душа его открыта Востоку. Многочисленные «орды», впервые приобщающиеся к цивилизации, вливаются в ряды русского культурного слоя, вторично ориентализируя его.

Может показаться странным говорить о московском типе в применении к динамизму современной России. Да, это Москва, пришедшая в движение, с ее тяжестью, но без ее косности. Однако это

движение идет по линии внешнего строительства, преимущественно технического. Ни сердце, ни мысль не взволнованы глубоко; нет и в помине того, что мы, русские, называем странничеством, а французы – inquietude. За внешним бурным (почти всегда как бы военным) движением – внутренний невозмутимый покой. Мы здесь со страстным любопытством следим за эволюцией советского человека сквозь его условную, заказную литературу. Мы с радостью, граничащей с умилением, наблюдали, как на маске железного большевистского робота 20-х годов постепенно проступают черты человеческого лица. Может быть, – и это даже вероятнее, – что то была скорее эволюция цензуры или литературной политики партии, чем живой жизни. Все-таки советский человек, хотя бы с наганом в руках, был человек. И ему свойственны были, вероятно, и тогда, когда они считались запретными, и дружба, и любовь к женщине, и даже любовь к родине. Но в тоталитарном строе государство воспитывает людей, их чувства, их мысли, самые интимные. И мы приветствуем официальное воскрешение человечности, мы радуемся, узнавая в советском герое черты любимого русского лица.

Эта эволюция далеко не закончена и происходит с частыми и болезненными перебоями. Еще слово «злой», как в первые годы Чека, употребляется в положительном смысле; иной раз злою называется даже русская земля. Война принесла с собой, естественно, аналогию мести и жестокости. Но та же война разбудила ключи дремавшей нежности – к поруганной родине, к женщине, жене и матери солдата. Нет пока никаких признаков пробуждения религиозного чувства. Новая религиозная политика (НРП) остается в пределах чистой политики. Но и это со временем придет, если религия действительно составляет неотъемлемый атрибут человека; когда-нибудь метафизический голод проснется и в этом примитивном существе, живущем пока культом машины и маленького личного счастья.

Завершится ли эта внутренняя эволюция возрождением свободы, это другой вопрос, на который опыт истории, думается, не принадлежит к инстинктивным или всеобщим элементам человеческого общежития. Лишь христианский Запад выработал в своем трагическом средневековье этот идеал и осуществил его в последние столетия. Только в общении с Западом Россия времен Империи заразилась этим идеалом и стала перестраивать свою жизнь в согласии с ним. Отсюда как будто следует, что если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды придется опять искать на Западе.

Многие думают, что на этот раз России незачем идти так далеко: она

уже накопила в своей литературе такие ценности свободолюбия, которые могут зажечь священный огонь в новых поколениях. Думать так – значит страшно переоценивать значение книги в развитии души. Мы почерпаем в книгах лишь то, чего ищет наше сознательное или бессознательное «я». Вспомним, что Шиллер остается классиком в школах Германии, что Евангелие читалось в самые мрачные и жестокие века христианской истории. Комментаторы или дух времени всегда приходят на помощь, чтобы обезвредить духовные яды. В России давно уже читают с увлечением классиков, но там, по-видимому, не приходит в голову перенести в современность сатиру Гоголя или Щедрина. Да и только ли свободолюбию учат русские классики? Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия, Толстой – анархии, Пушкин примирился с монархией Николая. Как читают классиков в Советской России? В дни лермонтовского юбилея все писали о поэте «Валерика» и «Родины» как о русском патриоте, дравшемся на Кавказе за российское великодержавие. В сущности, только Герцен из всей плеяды XIX века может учить свободе. Но Герцен, кажется, не в особом почете у советского читателя.

Если же солнце свободы, в противоположность астрономическому светилу, восходит с Запада, то все мы должны серьезно задуматься о путях и возможностях его проникновения в Россию. Одно из необходимых условий – личное общение, – сейчас чрезвычайно облегчено войной. Война в освобождении России – факт двусторонний. Ее победоносный конец, бесспорно, укрепляет режим, доказывая, путем проверки на полях битв, его военное превосходство перед слабостью демократий. Этот аргумент действует даже на иных либералов из русской эмиграции. Но, с другой стороны, война открывает для миллионов русских воинов возможности личного общения с Западом. Для того чтобы демократические идеи Запада могли импонировать москвичам, необходимы два условия – в сущности, сводящиеся к одному. Запад должен найти в своих идеалах опору для более удачного, более человечного решения социального вопроса, который до сих пор, худо ли, хорошо ли, решала лишь диктатура. Во-вторых, московский человек должен встретить в своем товарище, воине-демократе, такую же силу и веру в идеал свободы, какую он сам переживает, или переживал, в идеал коммунизма. Но это означает для демократа, отрицательно, нетерпимость ко всякой ти- рании, каким бы флагом она ни прикрывалась. Наши предки, общаясь с иностранцами, должны были краснеть за свое самодержавие и свое крепостное право. Если бы они встретили повсеместно такое же раболепное отношение к русскому царю, какое проявляет к Сталину

Европа и Америка, им не пришло бы в голову задуматься над недостатками в своем доме. Льстецы Сталина и Советской России сейчас враги русской свободы. Или иначе: лишь борясь за свободу на всех мировых фронтах, внешних и внутренних, без всяких «дискриминаций» и предательства, можно способствовать возможному, но сколь еще далекому освобождений России.

Судьба империй

Империй призрачных орлы…

В марксистской литературе принято считать империализм политическим продуктом зрелого капитализма, в который Европа вступила приблизительно с 80-х годов прошлого столетия. Экономические мотивы (борьба за рынки, сырье и помещение капиталов) действительно отмечают новейшую колониальную политику европейских Империй. Но экономика – лишь одна из многих сторон политической экспансии, которая стара, как мир. Здесь социология непосредственно продолжает биологию. Борьба за власть есть лишь политическое выражение всеобщей борьбы за существование. Можно было бы утверждать, как историко-социологический постулат, что каждое государство или даже каждое политическое образование (род, племя, орда) непрерывно раздвигает границы своей территории за счет соседей до тех пор, пока не встретит достаточно сильного сопротивления. В результате устанавливаются более или менее твердые границы, но всегда оспариваемые, всегда подвижные. Война в истории более постоянное явление, чем мир. Даже в периоды длительного мира нельзя забывать, что он лишь результат равновесия враждебных сил. Границы государства не статические формы, а силовые линии, где скрещиваются и уравновешиваются внутреннее и внешнее давления. Равновесие постоянно нарушается, и тогда происходит расширение, сжатие или гибель государства.

Вся история может быть рассматриваема (и даже пре имущественно рассматривалась в узкополитической историографии) как смена процессов интеграции и дезинтеграции. Можно называть первый процесс ростом, развитием, объединением или же завоеванием, порабощением, ассимиляцией; второй – упадком, разложением или освобождением, рождением новых наций, в зависимости от того, какая государственность или народность стоит в центре наших интересов. Галльские войны Цезаря принесли с собой смерть кельтской Галлии и рождение Галлии римской. Разложение Австро-Венгрии есть освобождение – Чехии, Польши и Югославии. Объективная же или сверхнациональная оценка историка колеблется. Рост государства означает расширение зоны мира, концентрацию сил и, следовательно, успехи материальной культуры. Но гибель малых или слабых народов, ими поглощенных, убивает, часто навеки, возможность расцвета иных культур, иногда многообещающих, быть может, качественно высших по сравнению с победоносным

соперником. Эти гибнущие возможности скрыты от глаз историка, и потому наши оценки великих Империй или, точнее, факта их образования и гибели содержат так много личного или условного. В отличие от евразийцев, мы признаем безусловным бедствием создание монгольской Империи Чингисхана и относительным бедствием торжество персидской монархии над эллинизмом. С нашей точки зрения, Империя Александра Великого и его наследница – Римская – создали огромные культурные ценности, хотя в случае Рима нельзя не сожалеть о многих нераспустившихся ростках малых латинизированных культур. Враги греческого гуманизма, которых так много в наше время, конечно, другого мнения. Борьба эллинства и Востока еще продолжается в нашей современной культуре.

Когда экспансия государства переходит в ту стадию, которая позволяет говорить об Империи? На этот вопрос не так легко ответить. Во всяком случае, нельзя сказать, что Империя есть государство, вышедшее за национальные границы, потому что национальное государство (если связать национальность с языком) явление довольно редкое в истории. Может быть, правильное определение было бы: Империя – это экспансия за пределы длительно устойчивых границ, перерастание сложившегося, исторически оформленного организма.

Историки давно говорят о Египетской Империи для эпохи азиатских завоеваний Рамесидов, о Вавилонско-Ассирийской и Персидской Империях – в их расширении за пределы Междуречья и Ирана до берегов Средиземного моря. Рим превращается в Империю, когда выходит из границ Италии; европейские державы, – когда приобретают обширные колониальные владения за океаном. Но завоевание или ассимиляция немцами западных славян или русскими славянами финнов не создавали Империи. Выход государства, даже непрерывно растущего, из его привычной геополитической сферы есть тот момент, когда количество переходит в качество: рождается не новая провинция, но Империя, с ее особым универсальным политическим самосознанием.

* * *

Наши привычные понятия о государстве сложились в опыте XIX века, когда национальное государство из исключения превратилось в норму, в тип государства вообще. Современное государство-нация есть продукт скрещения двух первоначально враждебных сил: романтизма и французской революции. Романтизм, с его переоценкой всего иррационального в человеке и культуре, строил идею народа на подсознательных или полусознательных элементах его жизни, каковы

язык, фольклор, языческая религия природы. Народ романтиков совпадал с языковой общиной. Французская революция сделала народ (конечно, другой, насквозь рассудочный народ) сувереном, единственным носителем государственной власти. Народы Европы, порабощенные революционной Францией, в борьбе против нее прошли через ее школу. Их культурный, бытовой, религиозный национализм превратился в политический. Каждый народ (нация) имеет право на свою государственность, и только национальные государства оправ даны. Такова была вера XIX века. И его внешнеполитическая история сводилась главным образом к революционно-военной перекройке европейской карты по национальным границам. Для одних (немцев, итальянцев) это было движение к единству, для других – к отделению, освобождению от наций-завоевательниц. Некоторые страницы этой истории достойны Плутарха. Нельзя без волнения читать о героях и мучениках освободительных движений в Италии, Польше, Ирландии. Счастливые, немцы и итальянцы, создали свои крепкие национальные государства уже в XIX веке. Даже более слабые, балканские народы, добились своей независимости, пользуясь слабостью Турции и поддержкой мощной России. Несчастным пришлось отдать до первой мировой войны, которая принесла долго чаемое освобождение полякам, ирландцам, чехам и другим австрийским славянам. Но задолго до того, как процесс национализации Европы завершился или, вернее, достиг своего возможного апогея, началась эра нового империализма. Конечно, и он не сводился к голой экономике. И в нем говорила воля к власти, пафос славы (Киплинг) или голос тщеславия. Но для великих европейских держав конца XIX века колониальная экспансия была хозяйственной необходимостью. Все растущая индустрия требовала заокеанского сырья (хлопок, каучук), изобретение двигателей внутреннего сгорания вы звало колоссальную потребность в нефти и борьбу за ее ограниченные естественные источники. Наконец, победоносный капитализм, по природе своей не способный удовлетворяться внутренними рынками, начинает погоню за внешними. Политическое господство становится формой, орудием и броней экономической эксплуатации. Старые колониальные Империи Англии и Голландии просыпаются от вековой дремы для новой лихорадочной работы. Поздно пришедшие народы спешно строят свои новые Империи за морем: Франция, Бельгия, Италия, Германия. Впрочем, sero venientibus ossa. Для Германии не нашлось уже «места под солнцем» Африки и Азии, достаточно рентабельного, и она обратила главную ось своей экспансии на Ближний Восток. Здесь она проникла в империалистическую зону сил Англии и России, что и была одной из

главных причин первой вели кой войны. В эту войну вступили уже не европейские народы или нации, а мировые Империи, подобные драконам, головы которых еще умещались в Европе, но туловища покрывали почти весь земной шар.

Конфликты, приведшие к войне, были двух порядков: национальные и империалистические. Национальной, в старом смысле слова, была борьба Франции и Германии из-за Эльзас-Лотарингии, борьба немцев и славян на Дунае, внутри и вне Австро-Венгерской монархии. Империалистическая экспансия поссорила Германию с Англией и Россией. На Версальской конференции явно преобладали мотивы национальные, даже этнографические. Ее идеальным планом, на практике оказавшимся неосуществимым, было воплощение старой романтической мечты: для каждой народности свое государство. Крушение нескольких Империй позволило кроить новые государства в Европе щедро и, на первый взгляд, безболезненно. Вопрос о колониях, о переделе мира и мировых богатств стоял на втором плане.

Вторую войну можно понять лишь в теснейшей связи с первой, как ее второй акт. Основной силой взрыва было болезненно-раздраженное, в результате поражения, национальное чувство Германии, самой динамической нации Европы. В ее сознании давно уже национальные мотивы неразрывно сплетались с империалистическими. Это значит: пафос освобождения становился для нее волей к власти. Гитлер и выставил для нее программу в сущности беспредельного господства: сначала в Восточной Европе, потом в Европе вообще, – наконец, во всем мире. С поразительной легкостью ему удалось осуществить две части своей программы. Впервые со времен Наполеона Европа подчинилась единому «порядку». Этот порядок, то есть господство Германии, приняла и Франция, казалось бы, ее вечный и непримиримый враг. На службу мечу стали и новые идеологии, в которых расовые и буржуазно-классовые мотивы сплетались с самыми передовыми, сверхнациональными и социалистическими. Бессилие и малодушие находили опору в стремлении к миру, к европейскому единству, к универсальной организации.

Потеря чувства меры (как в случае с Наполеоном) и ас сирийское варварство методов завоевания сгубили Гитлера и Германию. Он нес народам не мир на основе права и порядка, который побежденные могли бы принять скрепя сердце, но унижение, порабощение, для многих физическое истребление. В результате Германия вызвала против себя взрыв национальных чувств и страстей, который оказался сильнее потребности в порядке и единстве. Англия и Россия боролись за свое

существование. Движения сопротивления возродили революционный национализм, напоминающий эпоху наполеоновских войн. Второй акт мировой войны окончился крушением германского варианта миро вой Империи.

В результате этих двух «раундов» старая Европа с ее сложившейся системой международных отношений отошла в вечность. Погибли или погибают все ее Империи, кроме России, на равновесии которых держался мир. Нет больше Австро-Венгрии, Турция ушла из Европы, Италия потеряла все колонии, Германия – конечно, временно, – не существует даже как государство. Франция сведена на степень второстепенной державы, которая делает бессильные попытки спасти свою распадающуюся заморскую Империю. Англия, хотя и дважды победоносная и способная к героической борьбе, ослаблена тяжким кровопусканием и вынуждена сама начать ликвидацию – своей Империи. В отличие от Франции, она проявляет в этом процессе свертывания много проницательности и великодушия. Она действительно стремится перестроить свою Империю в добро вольную федерацию наций, преимущественно англосаксонской культуры. Но, занятая огромными внешними трудностями, она бессильна помочь Европе в организации хаоса.

Этот хаос создан не только военными потрясениями. Если погибли империи, то и государства-нации не смогли организовать жизни в образовавшейся политической пустоте. Прежде всего, выяснилась утопичность чисто этнографической государственности. Историческая чересполосица племен, естественные географические рубежи (Богемия), исторические воспоминания и притязания делают национальную проблему Восточной Европы неразрешимой. Чем дальше мы идем по путям мнимых решений, тем больше накопляется ненависти, к старым прибавляются новые не справедливости, открываются источники новых конфликтов. С другой стороны, национальное чувство в наши дни, столь беспощадное к слабым соседям, оказывается неожиданно и жалко покорным перед торжествующей силой. Чехословакия добровольно отдалась московскому властелину. А ведь Франция и Чехословакия были классическими странами современного демократического национализма. Почти все силы сопротивления в Европе, боровшиеся с Гитлером, предают теперь свою родину новому восточному завоевателю. Точно цель всей их борьбы была в том, чтобы переменить одного тирана на другого.

Нет, не национальное сознание способно сейчас организовать мир; скорее оно мешает новой организации, стремится увековечить хаос.

Нечего и говорить о том, что за столетие индустриального капитализма оно растеряло все те великие ценности, которые некогда национальный романтизм писал на своем знамени. Культура – или бескультурность – современных наций становится все более космополитической, безнадежно однообразной. Национальные традиции служат больше для декоративной рекламы внутренне пустой технической цивилизации.

* * *

Итак, ни равновесие Империй, ни мирное строительство малых наций не даны для новой исторической эпохи. Пока над руинами и хаосом Европы высятся два гиганта, два победителя, вознесенные мировой войной на небывалую высоту. Для всех ясно, насколько неустойчиво новое равновесие. При всяких обстоятельствах дуализм политических сил, направления которых пересекаются почти во всех точках общего «жизненного пространства», неизбежно приводит к их столкновению. Правда, сейчас нет недостатка в карликах, которые, в страхе от приближающейся грозы, пытаются играть роль посредников между гигантами. Но их политический вес слишком ничтожен, чтобы поддерживать шатающееся равновесие. В данном случае нельзя даже говорить о столкновении как о событии будущего. Борьба между двумя Империями уже ведется методами дипломатии, экономики, пропаганды. Даже прямые военные действия идут, хотя и под прикрытием чужих флангов. Сейчас СССР ведет войну в Греции и в Китае, как ранее вел ее в Иране и во всей уступленной ему, но подлежащей покорению территории Восточной Европы. Для СССР вой на еще продолжается; мир не подписан, да он и не должен быть подписан. Сталин явно выступил в качестве преемника Гитлера не только в сфере былого фактического господства Германии, но и ее притязаний. Для правящего слоя в России дело идет о господстве над миром путем завоевания и революции.

Америка не мечтает о мировом господстве. Она думает больше об организации своей безопасности, но, поняв уже, что мир стал слишком тесен для безопасности одиноких. Она уже преодолела свой врожденный изоляционизм и пытается организовать мировой хаос. Пока еще только долларом и хлебом, не адекватными пулеметам и пушкам ее вездесущего противника. Но военный потенциал Америки огромен. В случае военного столкновения ее победа несомненна, по крайней мере при настоящем соотношении воо- ужений и сил. Ее беда в том, что она не умеет реализовать свой военный потенциал в обстановке мира, главным образом благодаря «викторианской» отсталости своего политического мышления.

Но Америке не чужда мысль о мировом единстве. Она пыталась

воплотить ее в бескровном призраке ОН, этом ухудшенном издании Лиги Наций. По-видимому, она сей час уже не верит в нее. В мире, разделенном пополам не примиримыми противоречиями, не может быть никаких Объединенных Наций. Но как ни компрометирует это жал кое учреждение великую идею единства, она сейчас жива, как никогда. Жива, несмотря на разлив национальных страстей, несмотря на подготовку третьей войны. Ведь эта война готовится не для защиты национальных, ограниченных интересов, но во имя организации мира. Сталин, подобно Гитлеру, мыслит эту организацию как порабощение и подчинение мира своей социальной системе и единой воле господина; Америка и Англия – как союз юридически равных, как федерацию демократических народов.

До сих пор идея мирового государства не защищается правящими кругами англосаксонских союзников. Они вынуждены считаться с самолюбиями средних и малых народов, с узким национализмом своих собственных стран. Потеря национального суверенитета пугает. XIX век держит в плену их сознание. Но уже Черчилль имеет смелость говорить о Соединенных Штатах Европы. Но уже Маршалл требует единой экономической организации Европы как условия американской помощи для хозяйственной реконструкции. И в перспективе атомного оружия Америка вместе со всеми демократиями Запада настаивает на частичном ограничении суверенитета. Однако это частичное ограничение означает отказ от права войны и от свободы вооружений. При современной атомной технике оно, в сущности, означает всеобщее разоружение и создание мировой армии. Лишенное права войны и мира, государство перестает существовать как суверенное. Оно вынуждено отказаться и от внешней политики, которая станет внутренней политикой рождающегося сверхнационального государства.

При неизбежном сопротивлении России этот план является совершенно утопическим. Но попробуйте мысленно устранить Россию, и он завтра же станет реальностью Мысленное устранение, конечно, не поможет реализации. Но мы видели, что почти стихийный ход событий (включающий и сознательную волю правительства России) ведет к войне, которая может реально устранить либо Россию, либо Америку со всеми оставшимися демократиями мира.

Все вероятности говорят в пользу того, что новое миро вое государство, или новая универсальная Империя, родится, как и все бывшие Империи, в результате войны, а не мира. Теоретически мыслимо, конечно, образование федерации народов в результате совершенно свободного соглашения равных. Хотя мир никогда не знал такого опыта, но новое,

небывалое – как, например, фашизм или коммунистическая революция – рождается на наших глазах. Однако совершенно свободный отказ от суверенитета предполагает слишком высокий уровень политической морали. Об этом позволительно было мечтать в XIX или в начале XX века, когда старая Европа стояла в апогее своей политической цивилизации. Женевская Лига Наций давала ей последний шанс. С тех пор, в результате двух страшных войн; политическая мораль европейских народов пала так низко: как, может быть, никогда за время всей христианской истории. Политическая фразеология находится в кричащем противоречии с политическими реальностями. Для всех практических соображений можно принять, что сейчас на роды мира движутся близоруким эгоизмом, ненавистью и, всего больше, страхом. Это значит, что они готовы принять единство, только продиктованное силой, только в форме Империи.

Сила еще не значит завоевание, Империя еще не значит господство. Сейчас история предлагает народам мира два варианта Империи, из которых один является действительно небывалым, хотя и вполне возможным. Эти два варианта соответствуют двум возможным победителям, на долю которых выпадает организовать мир.

Легко себе представить, как будет выглядеть мир в случае победы России. Распространение коммунистической системы по всему земному шару. Истребление высших классов и всех носителей культуры, дышавших воздухом свободы и не желающих от него отказаться. Массовые казни в первые годы, каторжные лагеря на целое поколение. Закрепощение всех профессий на службу всемирному госу- дарству. Управление им, централизованное в Москве, при фиктивной независимости федеративных наций.

Постепенное (а может быть, и быстрое) заглушение всех высших сфер культуры за счет технического знания. До сих пор краски этой картины взяты из действительного опыта России и Восточной Европы. Идя дальше, можно представить себе, что в обстановке мира и технической цивилизации материальные потребности покоренных народов будут удовлетворены, чего никогда не было достигнуто в СССР. Парии Азии и негры Африки впервые наедятся риса досыта. Вероятно, они будут благословлять свою судьбу. Мировая Империя Москвы будет прочна, как древние тоталитарные Империи – Египта, Китая, Византии. Конечно, удушение свободы поведет к постепенному падению не только духовной культуры, но, в конце концов, и самого технического знания. Конец «прогресса». Медленное понижение уровней. Одряхление, которое может тянуться века, чтобы закончиться новым варварством. В этом прогнозе не

предусмотрено одно: способность человеческого духа к творческим взрывам вроде рождения новых религий или реформации старых, которые могут разрушить или преобразовать самые твердые, неподвижные цивилизации.

Менее ясен, но более светел другой вариант Империи: Pax Atlantica, или лучше Pax Americana. В случае победы Америки, Англии и их союзников единство мира должно отлиться в форме действительной, а не мнимой федерации. Такова сама структура и Соединенных Штатов, и Британского Commonwealth. В настоящее время англосаксы и не представляют себе власти, организованной вне самоуправления. Даже молодой империализм Америки, при всей жадности к стратегическим базам, начинает с освобождения своих старых колоний. Опасность Атлантического варианта Империи не в злоупотреблении властью, а скорее в бездействии власти. У свободных народов нет вкуса к насилию, и это прекрасно. Но в настоящее время у них нет и вкуса к власти, и это опасно.

В отличие от России, Америка не может не считаться со своими союзниками, из которых Англия, или ведомая ею Федерация доминионов, представляет еще серьезную силу. Самолюбия и эгоизмы европейских народов тоже создают немалые препятствия. Они безропотно покорятся самой гнусной из тираний, но будут роптать при легких ограничениях суверенитета. Заставить их войти в мировую Империю, организованную в форме федерации, нелегко. Нужна большая воля и большая гибкость, чтобы добиться повиновения слабых в рамках демократической законности. Юная федерация не может быть федерацией равных по существу, но лишь по форме. Лишь время и общее разоружение сделают излишней гегемонию сильного и возможным уравнение политического влияния. Если сильный откажется от своей тяжелой ответственности, мир снова развалится, и уже безнадежно.

Но опыт двух войн показал, что англосаксонские демократии, часто пассивные во время мира, находят в себе волю и способность к героическому напряжению в роковой час. Чувство ответственности может заменить для них вкус к власти.

Итак, нет основания бояться порабощения народов в случае победы Америки. Экономические интересы, конечно, потребуют своего удовлетворения. Надо признать, что спасение мира стоит известных материальных жертв в пользу победителя. Да и распространение в Европе опасения американской эксплуатации страшно преувеличены. Пока что Америка бросает миллиарды для восстановления Европы, и не видно,

чтобы она получила что-либо взамен.

Атлантическая Империя столь же мало предполагает единство экономической системы, как и единообразие политическое. Социализм и капитализм в разных дозах могут уживаться в общих экономических рамках. Пример социалистической Англии показывает, что в наши дни не экономика соединяет народы или разводит их по разным лагерям. Общие основы англосаксонской цивилизации не изменились с отказом Англии от капиталистической системы. Но, конечно, необходимость регулирования мирового хозяйства в единой Империи чрезвычайно усилит сама по себе социалистические тенденции отдельных стран.

Здесь кончается возможность предвидения. В отличие от четких очертаний коммунистической Империи, общество, построенное на свободе, таит в себе неограниченные возможности. Где свобода, там и возможность конфликтов. Где борьба, там и возможность поражений. Но также и необычайных побед. Мы знаем, что западная цивилизация тяжко больна; международные столкновения лишь один из симптомов общего недуга. И по устранении их остается возможность социальных потрясений, моральных кризисов, духовных бурь. В конце концов, вопрос о спасении на шей культуры есть вопрос духа. Но если будет устранена угроза войны между народами, если будет достигнуто все общее разоружение, человечество получит еще одну отсрочку – как древняя Ниневия в книге пророка Ионы.

Одной из главных проблем грядущей Империи будет установление отношений между членами западной семьи и возрождающимися народами Востока. Но это тема будущего. Сейчас Восток еще слишком слаб технически, чтобы не включиться, охотно и с выигрышем для себя, в новую федеративную Империю. Как удержать его в ней, по достижении им технического совершеннолетия, это проблема наших детей и внуков, которая, конечно, займет когда-то главное поле истории.

Ceterum censeö нельзя забывать о третьей возможности – возможности не победы одной из двух Империй, а всеобщего разрушения и гибели, если столкновение произойдет в условиях приблизительного равенства сил и оружия.

* * *

Остановимся на одном из возможных исходов. Какая судьба ожидает Россию в случае ее поражения? Если бы Россия была национальным государством, как Франция или современная Германия, ответ был бы сравнительно прост и не столь для нее трагичен. Да, она, конечно, прошла бы через ужасы разорения, унижения, голода, через которые сейчас

проходит Германия, с той только разницей, что, в отличие от Германии, ей не привыкать стать к голоду и рабству. Для большинства ее населения падение ненавистной власти, даже ценой временной иностранной оккупации, явится освобождением. Ведь американцы не собираются колонизировать Россию; как Гитлер, или истреблять ее «низшие» расы. Но дело осложняется тем, что Россия не национальное государство, а многонациональная Империя; последняя, единственная в мире, остающаяся после ликвидации всех Империй. Было бы чудом, если бы она вышла невредимой из ожидающей ее катастрофы, в тех географических очертаниях, в которых ее застала революция.

Правда, Россия является Империей своеобразной. По своей национальной и географической структуре он занимает среднее место между Великобританией и Австро-Венгрией. Ее нерусские владения не отделены от нее морями. Они составляют прямое продолжение ее материкового тела, а массив русского населения не отделен резкой чертой от инородческих окраин. Но Дальний Восток или Туркестан, по своему экономическому и даже политическому значению, совершенно соответствуют колониям западных государств. Типологическое, то есть качественное сходство с Австро-Венгрией еще значительнее. Однако процент господствующего великорусского населения в Империи Рома новых был гораздо выше немецкого в Империи Габсбургов. Это сообщало России несравненно большую устойчивость. Сходство будет полнее, если вместо Австро-Венгрии последних десятилетий взять Германскую Империю до 1805 года. Русские и немцы играли одну и ту же цивилизаторскую и ассимилизационную роль. Правда, среди подданных Германии были страны древних и богатых культур. Вместо одной Русской Польши, Германия имела три: Польшу, Венгрию и Богемию. Однако с подъемом культуры народностей России и соответствующим ростом их сепаратизмов Россия приближалась к типу Австро-Германии.

Но мы не хотели видеть сложной многоплеменности России. Для большинства из нас перекройка России в СССР, номинальную федерацию народов, казалась опасным маскарадом, за которым скрывалась вся та же русская Россия или даже святая Русь.

Как объяснить нашу иллюзию? Почему русская интеллигенция в XIX веке забыла, что она живет не в Руси, а в Империи? В зените своей экспансии и славы, в век «екатерининских орлов», Россия сознавала свою многоплеменность и гордилась ею. Державин пел «царевну киргиз-кайсацкой орды», а Пушкин, последний певец Империи, предсказывал, что имя его назовет «и ныне дикой тунгуз и друг степей калмык». Кому из

поэтов послепушкинской поры пришло бы в голову вспоминать о тунгузах и калмыках? А державинская лесть казалась просто непонятной – искусственной и фальшивой. Но творцы и поэты Империи помнили о ее миссии: нести просвещение всем ее народам – универсальное просвещение, сияющее с Запада, хотя и в лучах русского слова.

После Пушкина, рассорившись с царями, русская интеллигенция потеряла вкус к имперским проблемам, к национальным и международным проблемам вообще. Темы политического освобождения и социальной справедливости завладели ею всецело, до умоисступления. С точки зрения гуманитарной и либеральной, осуждались Империя, все Империи, как насилие над народами, но результаты этого насилия принимались как непререкаемые. Более того, XIX век для большинства интеллигенции означал служение национального сознания до пределовВеликороссии. Россия была необъятно велика, и мало кто из русских образованных людей изъездил ее из конца в конец; непоседливых манила сказка Запада. Но, и путешествуя по России, русский не выходил из своего привычного уклада: объяснялся везде по-русски, видел везде одну и ту же русскую администрацию и туземцев, побогаче и познатнее, уже входящих в быт, язык и культуру завоевателей. Интеллигенция возмущалась насильственной русификацией или крещением инородцев, но это возмущение относилось к методам, а не к целям. Ассимиляция принималась как неизбежное следствие цивилизации. Еще полвека или век, и вся Россия будет читать Пушкина по-русски (так понимался «Памятник»), и. все этнографические пережитки сделаются достоянием музеев и специальных журналов.

Есть еще одна неожиданная сторона русского западничества. Россией вообще интересовались мало, ее имперской историей еще меньше. Так и случилось, что почти все нужные исследования в области национальных и имперских проблем оказались предоставленными историкам националистического направления. Те, конечно, строили тенденциозную схему русской истории, смягчавшую все темные стороны исторической государственности. Эта схема вошла в официальные учебники, презираемые, но поневоле затверженные и не встречавшие корректива. В курсе Ключевского нельзя было найти истории создания и роста Империи.

Так укоренилось в умах не только либеральной, но отчасти и революционной интеллигенции наивное представление о том, что русское государство, в отличие от всех государств Запада, строилось не насилием, а мирной экспансией, не завоеванием, а колонизацией. Подобное убеждение свойственно националистам всех народов. Французы с

гордостью указывают на то, что генерал Федерб с ротой солдат подарил Франции Западную Африку, а Лиотэ был не столько завоевателем Марокко, сколько великим строителем и организатором. И это правда, то есть одна половина правды. Другая половина, слишком легко бросающаяся в глаза иностранцам, недоступна для националистической дальнозоркости.

Несомненно, что параллельный немецкому русский Drang nach Osten оставил меньше кровавых следов на страницах истории. Это зависело от редкой населенности и более низкого культурного уровня восточных финнов и сибирских инородцев сравнительно с западными славянами. И, однако, – как упорно и жестоко боролись хотя бы вогулы в XV веке с русскими «колонизаторами», а после них казанские инородцы и башкиры. Их восстания мы видим при каждом потрясении русской государственности – в Смутное время, при Петре, при Пугачеве. Но с ними исторические споры покончены. Несмотря на искусственное воскресение восточно-финских народностей, ни Марийская, ни Мордовская республики не угрожают целости России. Уже с татарами дело сложнее. А что сказать о послед них завоеваниях Империи, которые, несомненно, куплены обильной кровью: Кавказе, Туркестане?

Мы любим Кавказ, но смотрим на его покорение сквозь романтические поэмы Пушкина и Лермонтова. Но даже Пушкин обронил жестокое слово о Цицианове, который «губил,ничтожил племена». Мы заучили с детства о мирном присоединении Грузии, но мало кто знает, каким вероломством и каким унижением для Грузии Россия отплатила за ее добровольное присоединение. Мало кто знает и то, что после сдачи Шамиля до полумиллиона черкесов эмигрировало в Турцию. Это все дела недавних дней. Кавказ никогда не был замирен окончательно. То же следует помнить и о Туркестане. Покоренный с чрезвычайной жестокостью, он восставал в годы первой войны, восставал и при большевиках. До революции русское культурное влияние вообще было слабо в Средней Азии. После революции оно было такого рода, что могло сделать русское имя ненавистным. Наконец, Польша, эта незаживающая (и поныне) рана в теле России. В конце концов, вся русская интеллигенция, – в том числе и националистическая – примирилась с отделением Польши. Но она никогда не сознавала ни всей глубины исторического греха, совершаемого – целое столетие – над душой польского народа, ни естественности того возмущения, с которым Запад смотрел на русское владычество в Польше. Именно Польше Российская Империя обязана своей славой «тюрьмы народов».

Была ли эта репутация заслуженной? В такой же мере, как и другими европейскими Империями. Ценой эксплуатации и угнетения они несли в дикий или варварский мир семена высшей культуры. Издеваться над этим смеет только тот, кто исключает сам себя из наследия эллинистического мира. Для России вопрос осложняется культурным различием ее западных и восточных окраин. Вдоль западной границы русская администрация имела дело с более цивилизованными народностями, чем господствующая нация. Оттого, при всей мягкости ее режима в Финляндии и Прибалтике, он ощущался как гнет. Русским культуртрегерам здесь ничего было делать. Для Польши Россия была действительно тюрьмой, для евреев гетто. Эти два народа Империя придавила всей своей тяжестью. Но на Востоке, при всей грубости русского управления, культурная миссия России бесспорна. Угнетаемые и разоряемые сибирские инородцы, поскольку они выживали, – а они выживали, – вливались в русскую народность, отчасти в русскую интеллигенцию. В странах ислама, привыкших к деспотизму местных эмиров и ханов, русские самодуры и взяточники были не страшны. В России никого не сажали на кол, как сажали в Хиве и Бухаре. В самих приемах русской власти, в ее патриархальном деспотизме, было нечто родственное государственной школе Востока, но смягченное, гуманизированное. И у русских не было того высокомерного сознания высшей расы, которое губило плоды просвещенной и гуманной английской администрации в Индии. Русские не только легко общались, но и сливались кровью со своими подданными, открывая их аристократии доступ к военной и административной карьере. Общий баланс, вероятно, положительный, как и прочих Империй Европы. И если бы мир мог еще существовать как равновесие Империй, то среди них почетное место занимала бы Империя Российская. Но в мире уже нет места старым Империям.

Национально-романтическое движение докатилось до пределов России с некоторым запозданием. Но сразу оно приняло и политический характер. Быть может, это соответствовало и слабости романтического национализма (славянофильства) в самой Великороссии. Тяготение к западной культуре (через посредство России) долго перевешивало в меньшинственныхинтеллигенциях их этнографическую связь со своими народами. Но неизбежное наступило. Одним из первых Рунеберг, создатель Калевалы, положил начало финской литературе, создавая новую нацию из того, что было лишь этнографической народностью. Во второй половине столетия возрождаются или просто рождаются на свет эстонская и латышская литература – будущие нации, творимые поэтами. Тогда же

происходит новый расцвет древних литератур Кавказа – грузинской и армянской. Одной из первых, в начале XIX века, романтическое веяние коснулось и оживило литературу украинскую. Уже к середине века, в Кирилло-Мефодиевском братстве, украинское движение принимает политический характер.

Пробуждение Украины, а особенно сепаратистский характер украинофильства изумил русскую интеллигенцию и до конца остался ей непонятным. Прежде всего, потому, что мы любили Украину, ее землю, ее народ, ее песни, считали все это своим, родным. Но еще и потому, что мы преступно мало интересовались прошлым Украины за три-четыре столетия, которые создали ее народность и ее культуру, отличную от Великороссии. Мы воображали, по схемам русских националистов, что малороссы, изнывая под польским гнетом, только и ждали, что воссоединиться с Москвой. Но русские в Польско-Литовском государстве, отталкиваясь от католичества, не были чужаками. Они впитали в себя чрезвычайно много элементов польской культуры и государственности. Когда религиозные мотивы склонили казачество к унии с Москвой, здесь ждали его горькие разочарования. Московское вероломство не забыто до сих пор. Ярче всего наше глубокое непонимание украинского прошлого сказывается в оценке Мазены.

Новый этап в создании украинской нации падает на вторую половину XIX века. Бессмысленные преследования украинской литературы перенесли центр национального движения из Киева во Львов, в Галицию, которая никогда не была связана ни с Москвой, ни с Петербургом. Это имело двойные последствия. Во-первых, литературный язык вырабатывался на основе галицийского наречия, а не полтавского или киевского, то есть гораздо более далекого от великорусских говоров.

Польский, а не русский язык стал источником новых от влеченных и научных словообразований. Русский мог без труда понимать Шевченко, но язык Грушевского был ему не понятен, казался искусственным. Как будто не все литературные языки были искусственными при своем создании – русский язык Ломоносова или латинский Энния! Но мы по-прежнему упрямо продолжали считать малороссийский язык лишь областным наречием русского, хотя слависты всего мира, включая Российскую Академию наук, давно признали это наречие за самостоятельный язык. То, что этот язык из языка фольклорной поэзии сделался языком отвлеченной мысли, на котором уже существует большая научная литература, окончательно решает вопрос об украинской нации. Грушевский может быть назван ее создателем.

На наших глазах рождалась на свет новая нация, но мы закрывали на это глаза. Мы были, как будто убеждены, что нации существуют извечно и неизменно, как виды природы длядоэволюционного естествознания. Мы видели вздорность украинских мифов, которые творили для киевской эпохи особую украинскую нацию, отличную от русской. Но мы забывали, что историческая мифология служила лишь для объяснения настоящей реальности. Нации не было, но она рождалась, – рождалась веками, но в ускоряющемся темпе в наши дни. 1917 год был актом ее официального рождения.

То обстоятельство, что центр движения был в Галиции, обособляло и политически новую нацию от общей судьбы народов России; облегчало для нее переход от федеративной идеологии Костомарова и Драгоманова к идее «самостихийности».

Было еще одно движение среди народов России, центр которого оказался за рубежом и которое мы совершенно проглядели. Это было пантюркское движение, связывавшее литературное и политическое пробуждение русских татар с возрождением Молодой Турции.

Русские националисты первые заметили опасность, угрожающую Империи. Они ответили на нее усилением русификации, травлей инородцев, издевательством над украинцами и еврейскими погромами. Они старательно раздували искры сепаратизмов. Два последних императора, ученики и жертвы реакционного славянофильства, игнорируя имперский стиль России, рубили ее под самый корень. Революционная интеллигенция лишь накануне первой революции пошла навстречу национальным движениям меньшинств. Некоторые из левых партий (не большевики) включили в свою программу федеративный строй Российской республики. С этим и застал нас 1917 год.

Трудно возразить что-либо против идеи федерации. Это прекрасная, разумная программа. Для малых народов она обещает и свободу, и преимущества жизни в великом, века ми сложившемся организме. Экономические блага имперской кооперации бесспорны, так же как и преимущества военной защиты. Может быть, если бы федеративный строй России осуществился в 1905 году с победой освободительного движения, он продлил бы существование Империи на несколько поколений. Но, к сожалению, народы, – по крайней мере, в наше время – живут не разумом, а страстями. Они предпочитают резню и голод под собственными флагами.

Как страстно славяне ненавидели «лоскутную» Австро-Венгрию, и как многие теперь жалеют о ее гибели. Старая Австрия давно уже

перестала быть Габсбургской деспотией. С 60-х годов она перестраивалась на федеративный лад. Некоторые из ее народов – венгры, поляки – уже чувство вали себя хозяевами на своей земле, для других время полного самоуправления приближалось. Все вообще пользовались той долей политической свободы, какая была не мыслима в царской России. И, однако, они предали свое отечество в годину смертельной опасности.

В 1917 году демократическая интеллигенция, полгода управлявшая Россией, октроировала федеративное самоуправление некоторым из ее народов. Но в обстановке развала и падения военной мощи России федерация уже не удовлетворяла. А когда в Великороссии победил большевизм, от нее побежали, как от чумы. Большевики силой оружия собрали Империю и террором, как железным обручем, держат уже почти три десятилетия ее распадающийся состав.

Многим казалось, даже среди непримиримых врагов большевизма, что решение национальной проблемы в СССР принадлежит к самым удачным их достижениям. Оно сводится к двум принципам: полная культурная автономия и никакой политической.

Отсутствие политической свободы прикрывалось обильными поблажками национальному тщеславию. Даже имя России было уничтожено. Одиннадцать республик СССР жили «под своими собственными флагами»: по конституции они имели даже право на отделение. В первые годы революции национальные силы всех народов, кроме велико русского, не только освобожденные, но и получившие государственную поддержку, привели к. расцвету национальных культур. Значительная часть интеллигенции нашла удовлетворение в культурном народничестве. Конечно, вся власть принадлежала коммунистической партии, а партия управлялась из Москвы.

Этот расцвет продолжался недолго. Большевизм был системой не только политической, но и, прежде всего идеологи ческой. Национальный романтизм, неизбежно принимавший идеалистическую окраску, был ему ненавистен. На десятках языков Союза должны были печататься и читаться только полные собрания сочинений Маркса и Ленина. Это было достигнуто, с прибавлением од Сталину. Для этого понадобилось задушить национальные литературы (особенно украинскую и тюркскую) с истреблением значительной части их интеллигенции. С тех пор национальные движения были загнаны в подполье. – Но это значит, что опять, как в царские времена, на окраинах скопляются центробежные силы, готовые взорвать мнимофедеративнуюИмперию. И чем более они сдавлены прессом НКВД, тем эффективнее должен быть их взрыв после

освобождения.

Большевистский режим ненавистен и огромному большинству великороссов. Но общая ненависть не спаивает воедино народов России. Для всех меньшинств отвращение от большевизма сопровождается отталкиванием от России, его породившей. Великорусс не может этого понять. Он мыслит: мы все ответственны, в равной мере, за большевизм, мы пожинаем плоды общих ошибок. Но хотя и верно, что большевистская партия вобрала в себя революционно-разбойничьи элементы всех народов России, но не всех одинаково. Русскими преимущественно были идеологи и создатели партии. Большевизм без труда утвердился в Петербурге и в Москве, Великороссия почти не знала гражданской войны; окраины оказали ему отчаянное сопротивление. Вероятно, было нечто в традицияхВеликороссии, что питало большевизм в большей мере, чем остальная почва Империи: крепостное право, деревенская община, самодержавие. Украинец или грузин готовы преувеличивать национально-русские черты большевизма и обелять себя от всякого сообщничества. Но их иллюзии естественны.

Железный занавес тоталитарной лжи мешает нам видеть ясно, что происходит за пределами общеизвестного застенка. Но есть три факта, которые заставляют предполагать рост сепаратизмов в СССР. Во-первых, по свидетельству беглецов, «националы» составляют заметный процент населения концлагерей. Их присутствие там не» уравновешивается представительством политических течений или партий Великороссии, ибо таковых не существует. В бесформенной оппозиционной массе, смешанной с уголовными, выделяются, хотя бы с ярлыком шпионов, только представители малых народов России.

Во-вторых, после второй войны правительство уничтожило пять республик (или областей) за сотрудничество с немцами. Республики невелики, но показательны; до других ведь и не дотянулась германская оккупация. Украины уничтожить было нельзя без всесоюзного позора, но, кажется, и она заслуживала той же участи. Мы знаем об украинских воинских частях, сражавшихся вместе с немца ми, об украинской Церкви, об эмбрионе украинского правительства. Пораженчество, конечно, захватило и Великороссию, но на Украине оно сказалось много ярче.

И, наконец, мы видим то, что происходит в эмиграции, среди нас. Можно утверждать, что зарубежные настроения не вполне соответствуют внутрисоветским: преувеличения революционеров неизбежны. Но нельзя думать, что они совершенно оторваны от советской действительности; по крайней мере, для нас, великороссов, война и новая эмиграция принесла

скорее подтверждение наших оценок. И вот, среди всех групп русской эмиграции представители других националь- ностей России блистают своим отсутствием. Они строят свои собственные организации, даже не пытаясь установить какие-либо связи с русскими товарищами по борьбе или собратьями по судьбе. Более того, ни с чьей стороны мы не встречаем такой ненависти, как со стороны украинцев, которых мы-то считали – ошибочно – совсем своими. Как далеки мы от времен старой эмиграции, когда, в чаянии грядущей революции, вожди всех народов России объединялись в борьбе «за нашу и вашу свободу»!

Нетрудно предвидеть, что, в случае военного поражения России, произойдет не только падение советского режима, но и восстание ее народов против Москвы. Даже те экономические и политические мотивы, которые могли бы говорить в пользу их связей с Великороссией, превращаются в свою противоположность в условиях поражения. Быть с Россией значит разделить ее ответственность, ее тяжкую судьбу. С другой стороны, перед победителем встанет вопрос, подобный тому, который стоит после поражения Гер мании. Как обеспечить мир и в будущем от висящей над ним угрозы русской агрессии? Большевизм умрет, как умер национал-социализм. Но кто знает, какие новые формы примет русский фашизм или национализм для новой русской экспансии? Если бы не было никаких сепаратизмов в России, их создали бы искусственно; раздел России все равно был бы предрешен. Фактическое положение сделает возможным произвести его в согласии с волей большинства ее народов, в условиях демократической справедливости. На плечи победителей, ко всем их мировым проблемам, ляжет добавочная тяжесть: организация хаоса на территории Восточной Европы. Мировая Империя – нелегкое предприятие. Но военная оккупация облегчит первые шаги.

Перспективы войны и поражения России способны потрясти не одних националистов, но и всякого русского, не совсем потерявшего связь со своим народом и его культу рой. Теоретически есть еще шанс – кажется, единственный шанс – предотвращения новой войны: это падение большевистской власти в России. От скольких ужасов оно изба вило бы мир! Не будем говорить сейчас, возможно ли оно, – нам представляется, что шансы его ничтожны. Но в судьбе России как обреченной Империи этот вариант ничего не меняет. Снятие страшной тяжести, висевшей над народами России тридцать лет, означает взрыв всех подспудных, революционных и центробежных сил. Пока русский народ будет сводить счеты со своими палачами, в общем, неизбежном хаосе большинство национальностей, как в 1917 году, потребуют реализации своего

конституционного права на отделение. Вероятно, произойдет гражданская война приблизительно равных половин бывшей России. Если да же победит Великороссия и силой удержит при себе народы Империи, ее торжество может быть только временным. В современном мире нет места Австро-Венгриям. Если миром будет править единая власть – единственный шанс его спасения, – она будет обязана прекратить всякое насилие одних народов над другими. Ликвидация последней частной Империи станет вопросом международного права и справедливости.

Для самой России насильственное продолжение имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу. Не может государство, существующее террором на половине своей территории, обеспечить свободу для другой. Как при московских царях самодержавие было ценой, уплаченной за экспансию, так фашизм является единственным строем, способным продлить существование каторжной Империи. Конечно, ценой дальнейшего ухудшения ее культуры.

* * *

Finis Russiae? Конец России или новая страница ее истории? Разумеется, последнее. Россия не умрет, пока жив русский народ, пока он живет на своей земле, говорит своим языком. Великороссия, да еще с придачей Белоруссии (вероятно) и Сибири (еще надолго), все еще представляет огромное тело, с огромным населением, все еще самый крупный из европейских народов. Россия потеряет донецкий уголь, бакинскую нефть, – но Франция, Германия и столько народов никогда нефти не имели. Она обеднеет, но только потенциально, потому что та нищета, в которой она живет при коммунистической системе, уйдет в прошлое. Ее военный потенциал сократится, но он потеряет свой смысл при общем разоружении. Если же разоружения не произойдет, то погибнет не одна Россия, а все культурное человечество. Даже чувство сожаления от утраты былого могущества будет смягчено тем, что никто из былых соперников в старой Европе не займет ее места. Все старые Империи исчезнут.

В конце концов, имперское сознание питалось не столько интересами государства – тем менее народа, – сколько похотью власти: пафосом неравенства, радостью унижения, насилия над слабыми. Этот языческий комплекс для России XIX века означал кричащее противоречие между политикой государства и заветами ее духовных вождей. Русская литература была совестью мира, а государство пугалом для свободы народов. Потеря Империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный

облик.

Освобожденная от военных и полицейских забот, Россия может вернуться к своим внутренним проблемам – к построению выстраданной страшными муками свободной социальной демократии. Но после тридцатилетия коммунизма русский человек огрубел, очерствел, – говоря слова ми народного стиха, покрылся «еловой корой». Вероятно, не одно поколение понадобится для его перевоспитания, то есть для его возвращения в заглохшую традицию русской культуры, а через нее – и русского христианства. К этой великой задаче должна уже сейчас, в изгнании, готовиться русская, интеллигенция вместо погони за призрачными орлами Империи. 00.htm – glava23

О гуманизме Пушкина

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе.
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
А. Блок (1921)

Не всем и не во всем может помочь Пушкин. Блоку, пожалуй, он уже не мог помочь, как и большинству модернистов нашего фашистского и предфашистского времени. Им нужны иные, более могущественные средства, чтобы спасти их от разложения. Но я принадлежу к тому поколению, или душевной формации, для которых Пушкин еще не утратил своей целительной и возрождающей силы. В часы тоски и отчаяния, сомнений в человеке и человечестве мы раскрываем Пушкина, все равно на какой странице, и медленно пьем, – как назвать этот напиток? – не воду, конечно, но и не вино, – а какой-то божественный нектар, который вливает успокоение, надежду и любовь к человеку. Словом, Пушкин для нас это то, чем был для Тургенева русский язык, уже не целительный для нас с тех пор, как мы узнали всю ту меру или безмерность лжи, какую он способен нести в мир. Но Пушкин жив, и пока он жив, еще не умер гуманизм, ибо Пушкин и есть наш великий гуманист, в каком-то смысле, может быть, даже единственный.

В последнее время – вероятно, с легкой руки Горького, а может быть, и под влиянием русского народничества – слово «гуманизм» у нас утратило свой настоящий смысл и стало употребляться как синоним гуманности. В этом понимании гуманистами оказываются и Некрасов, и Глеб Успенский, то есть люди, гуманизму совершенно чуждые и даже враждебные. Слово «гуманизм» родилось в Италии в XV столетии и всегда употреблялось для обозначения куль туры Ренессанса, или всей, или одного из ее аспектов, пре имущественно литературного. Но что может быть более чуждого гуманности, чем великолепный и жестокий век Леонардо да Винчи или Борджиа? Без всяких объяснений

О ГУМАНИЗМЕ ПУШКИНА и доказательств предлагаем такое краткое определение: гуманизм есть культура человека как творческой личности. Это покроет все – от Петрарки до Бердяева. Но человек как страдающее существо, нуждающееся в спасении, каким он дан в христианстве и в старом социализме, не человек, «преследующий свое счастье», каким его видит буржуа, а человек, создающий ценности, – вот

человек гуманизма.

В России струя гуманизма всегда была чрезвычайно слабой. Рядом с Пушкиным, но, конечно, на большой дистанции, можно назвать разве одно большое имя – Вячеслава Иванова. Не случайна и связь обоих с классической древностью: едва ли возможен гуманизм вне предания Греции. Но если бы даже мы имели одного Пушкина, мы не смеем роптать: живет же англосаксонский мир с одним Шекспиром!

Приглядитесь пристальнее к гуманизму Пушкина: из каких элементов составлен его драгоценный сплав?

Несколько лет тому назад, когда мне пришлось писать о Пушкине, я напал на одно стихотворение, где поэт сам дает совершенно точное определение своего миросозерцания. Это всем известный «Демон» («В те дни, когда мне были новы...»).

Когда возвышенные чувства
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь...

Демон (Раевский?), который искушал его тогда отрицаельно утверждал ту же систему ценностей

Он звал прекрасное мечтою:
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе

Формула Пушкина четырехчленна: слава, свобода, искусство и любовь. Демон отрицает три из них. Понятно, что он не отказывается от славы. Гордость и похоть власти составляют самую основу демонизма. Слава – это единственное, что и фашизм оставляет от гуманизма и что дало Муссолини ложную претензию считать себя преемником Ренессанса. Для Пушкина характерно то, что он в своей ясной цельности не желает ничего уступить демону. Отрицать гуманизм для него значит «искушать Провидение». Иначе Лермонтов. Его демон говорит о себе, вслед за Байроном: «Я дух познанья и свободы», и этим начинает роковой раскол в мире ценностей, взорвавший русскую культуру.

Четырехчленная формула пушкинского гуманизма может показаться искусственной. Я предлагаю читателям проверить ее на любом из созданий Пушкина, – предварительно дочитав до конца эту статью.

Какое место занимал Пушкин в истории гуманизма вообще? Итальянский Ренессанс выше всего поставил славу и творчество. Любовь досталась ему по наследству от средневековья:Петрарка связан с Данте и трубадурами Прованса, которые изобрели любовь. О свободе мало

помышляли гуманисты, скитавшиеся по дворам тиранов. Свобода, столь обаятельная для Пушкина и его современников, есть дитя XVIII века, как французской, революционной, так и германской, гуманистической, его традиции. В послепушкинской России Лермонтов и Гоголь отказались от славы и этим нанесли Империи первую смертельную рану. Радикализм 60-х годов пытался убить всех четырех пушкинских богинь, как и самого Пушкина. Не без труда они воскресали одни за другой, в борьбе и примирении с ценностями других, негуманистических порядков, пока, на конец большевизм не покончил со всеми... кроме славы. Верный своей фашистской природе, он возродил лишь культ Империи и войны (Суворов, Кутузов и проч.).

Но вернемся к Пушкину. Действительно ли служением четырем богиням – Славе, Свободе, Музе и Любви – исчерпывается его отношение к миру и жизни? Конечно, нет. Ведь их мы находим и на Западе, во французском романтизме, например, но в совершенно иной тональности. Сами по себе они совместимы с горделивой отъединенностью творческой личности (Байрон), с олимпийским презрением к жизни простых людей (Гете), даже с острой ненавистью к их быту и судьбе (Ничше, Блок). У Пушкина мы дышим особенным, ему свойственным, воздухом велико душной человечности, которая близка уже к гуманности XIX века, хотя и не совпадает с ней. Ведь написал же Пушкин о своем «Памятнике», то есть на своем памятнике:

Что чувства добрые я лирой пробуждал...

И милость к падшим призывал.

Добрые чувства (то есть этика человечности) и милость к падшим не были главным для поэта. Почти никогда они

О ГУМАНИЗМЕ ПУШКИНА не были и темой или содержанием его поэзии. Упоминает он о них в «Памятнике», только становясь на точку зрения «народа», который будет его читать. Но они были тем не зримым этическим фоном (а у всякого искусства есть свой этический фон), на котором легко и непринужденно возни кали создания его музы.

Милость к падшим, то есть сострадание у Пушкина всегда соединялось с сорадованием, как соединялись они еще у апостола Павла, но очень часто разлучались в поздней христианской традиции. Сорадование, пожалуй, было ближе сердцу Пушкина, чем его печальная сестра, – темы пиров, дружбы, лицейских годовщин. Но в «Повестях Белкина», «Капитанской дочке» находим то внимание, то участие к судьбе маленького оскорбленного человека, которым будет потом жить чуть не вся русская литература XIX века. Пушкин не проливает слез, не

пронзается до глубины зрелищем человеческих страданий, как Достоевский или Некрасов. Страдания не омрачают для него основной благости и красоты мира, но он не закрывает на них глаз и подходит к ним со вздохом дружеского участия. Невозможно представить себе лицо Пушкина искаженным пре зрением и ненавистью к человеческому роду, каким больны почти все писатели нашего времени. Читая их, слишком часто чувствуешь, что автор хочет плюнуть вам в лицо. Пушкин если и ненавидел, то одних подлецов. И сама ненависть его легка: он не мечтает об убийстве, с него достаточно и эпиграммы.

От острой, жгучей ненависти своих западных современников (якобинцев, Байрона) Пушкин рано вернулся к тому своему, у нас неповторенному, гуманизму, который позволительно назвать христианским. В этом и заключается, в сущности, простая разгадка его тайны. В последние десятилетия у нас грешили против Пушкина, пытаясь объяснить его «тайну». Многие авторы хотели сделать из него глубокого христианина, иные – даже мистика. Пушкин, как поэт – эхо, откликался на все; не мог пройти равно душно мимо образа Мадонны или даже литургической поэзии Церкви. Но, увлекаясь его немногочисленными библейскими поэмами, не забудем, что он перелагал и Коран. Читая его «Монастырь на Казбеке», не будем думать, что вчерашний вольтерьянец серьезно собирается окончить свою жизнь в монастыре. Но что он глубже, чем Гете или даже Шекспир, способен чувствовать раскаяние, это бес спорно («Когда для смертного...»). Что он дышал более чистым и крепким христианским воздухом, чем его западные собратья, не пережившие «обращения», это тоже не подлежит сомнению.

Эти христианские влияния, умеряющие его гуманизм, Пушкин почерпнул не из опустошенного родительского дома, не из окружающей его вольтерьянской среды, но из глубины того русского народа (начиная с няни), общения с которым он жаждал, и путь к которому сумел проложить еще в Михайловском. Невзирая на холод целого века Просвещения, подпочва русской жизни была и долго еще оставалась религиозно-горячей, и этого подземного тепла было достаточно, чтобы преобразить гуманизм Пушкина. В своем сознательном мире Пушкин всегда был западником, или, по Достоевскому, всечеловеком. В подсознании он воспринял от своего народа больше, чем кто-либо из его современников. Только это и позволило ему стать великим национальным поэтом не Московии, не Руси, но России.

Примечания

[1] - Федотова Е. Н. Георгий Петрович Федотов // Федотов Г. П. Лицо России. Paris, 1967. С. 1.

[2] - Федотов Г. П. Лицо России. С. II.

[3] - Цит. по: Федотов Г. П., Лицо России. С. 11-V.

[4] - . См.: Федотов Г. П. Лицо России. С. II-V.

[5] - Федотова Е. Н. Из воспоминаний о Г. П. Федотове // Мейер А. А. Философские сочинения. Paris, 1982.

[6] - Федотов Г. П. Лицо России. С. XII.

[7] - Федотов Г. П. Лицо России. С. XIII-XIV.

[8] - Федотов Г. П. Боги подземелья: О культуре гробниц в меровингской Галии // Россия и Запад. Пг., 1923., № 1. С. 11–35; Он же. К истории средневековых культов // Анналы. Пг,, М,, 1923., № 2. С. 273–278; О н ж е. Чудо освобождения // Сборник статей в честь Н. И. Кареева. Л., 1925. С. 72–89; Он же. Феодальный быт в хронике Ламберта Ардского // Средневековый быт. Л. 1925. С. 7–49.

[9] - Федотов Г. П. Абеляр. Пг., 1924.

[10] - Федотов Г. П. Лицо России. С. XIX.

[11] - См.: Федотов Г. П. О русской церкви: Письмо из России // Путь. Париж, 1926, №2. С. 3–12; Он ж е. Об антихристовом добре // Там же. 1926, № 5. С. 55–66; О н ж е. Зарубежная церковная смута // Там же. 1927, № 7. С. 119–120; Он ж е. К вопросу о положении русской церкви // Вестник русского студенческого христианского движения. Paris, 1930, № 10. С. 13–17

[12] - Богданов Е. Три столицы // Версты. Paris, 1926, № 1. С. 147–163; О н ж е. Трагедия интеллигенции. // Там же. 1927, № 2. С. 145–184.

[13] - См.: Вишняк М. В. «Современные записки». Воспоминания редактора. Indiana, 1957. С. 243–244.

[14] - Там же. С. 243–257.

[15] - Там же. С. 244.

[16] - Там же. С. 245.

[17] - Федотов Г. П. Св. Филипп, митрополит Московский. Paris, 1928; Он же. Святые Древней Руси: X-XVII

[18] - См.: Федотов Г. П. Социальное значение христианства. Paris, 1933.

[19] - См., например: Федотов Г. П. Оксфорд // Путь. 1937, № 54. С. 57–62; Он же. После Оксфорда // Современные записки. 1937, № 4. С. 430–444.

[20] - См.: Федотов Г. П. Новый Град // Новый Град. 1931, № 1. С.

[21] - См.: Руднев В. Политические заметки (Еще о «Новом Граде») // Современные записки. 1932, № 50. С. 438–455.

[22] - См.: Православное дело. Париж, 1939. С. 5–8.

[23] - См.: Федотов Г. П. И есть, и будет: Размышления о России и революции. Paris, 1932; Он же. Сталинократия // Современные записки. 1936, № 60..С. 374–387.

[24] - Федотов Г. П. Лицо России. Paris, 1967. С. XXV.

[25] - Fedotov G. P. The Russion Religious Mind: Kievan Christianity. The Tenth to the Thirteenth Centuries. Cambridge, Mass., 1946; Fedotov G. P. A Treasury of Russian Spirituality. T.-Y„ 1948; Fedotov G. P. The Russian Religious Mind. Vol. II. The Middle Ages: The Thirteenth to the Fifteenth Centuries. Cambridge, Mass., 1966.

[26] - Федотов Г. П. Лицо России. Paris. 1967. С. XXXIII.

[27] - См.: Федотов Г. П. Новый Град. Нью-Йорк, 1952; О н ж е. Христианин в революции. Paris, 1957; Он же. Лицо России. Paris, 1967; О Н ж е. Россия, Европа и мы. Paris, 1973; О н ж е. Тяжба о России. Париж, 1982. Он ж е. Защита России. Paris, 1988.

[28] - Иваск Ю, Молчание. Памяти Г. Федотова // Опыты. Нью-Йорк, 1953, № 1. С. 151–154.

[29] - Федотов Г. П. Письма бл. Августина (Classis prima) // К 25-летию учено-педагогической деятельности И. М. Гревса. Сб. ст. его учеников. СПб, 1911. С. 107–138.

[30] - Там же. С. 138.

[31] - Федотов Г. П. Абеляр. Пг„ 1924. С.10.

[32] - Федотов Г. П. Новый Град. Нью-Йорк, 1952. С 269.

[33] - См.: Федотов Г. П. Чудо освобождения // Сб. статей в честь Н. И. Кареева. Л„ 1925. С. 73.

[34] - Там же. С. 72.

[35] - Федотов Г. П. Чудо освобождения. Л., 1925. С. 273.

[36] - См.: Федотов Г. П. Эсхатология и культура // Новый Град. 1938, № 13. С. 45–46.

[37] - Федотов Г. П. Новый Град. Нью-Йорк, 1952. С. 320.

[38] - Федотов Г. П. Новый Град. Нью-Йорк, 1952. С. 322.

[39] - Там же. С. 326.

[40] - Федотов Г. П. Новый Град. Нью-Йорк, 1952. С. 238.

[41] - Там же. С 331.

[42] - См.: Федотов Г. П. Новый Град // Новый Град. 1931, № 1. С. 3–7.

[43] - Федотов Г. П. Новый Град. Нью-Йорк, 1952. С. 373.

[44] - Там же. С. 374.

[45] - Там же. С. 375.

[46] - Там же. С. 376.

[47] - См.: Вишняк М. О судьбах России // Современные записки. 1931, № 4. С. 428; С. 449–457; Руднев В. Политические заметки (Еще о «Новом Граде») // Там же. 1932, № 50. С. 438–455.

[48] - См,: Федотов Г. П. Лицо России // Свободные голоса. Пг,, 1918, № 1. Стб, 11–20.

[49] - Там же. Стб. 12

[50] - Федотов Г. П. С.-Петербург, 22 апреля (5 мая) 1918 г. // Там же. Стб. 1.

[51] - Там же.

[52] - Там же.

[53] - Федотов № 1. Стб. 3.

[54] - Там же. Стб. 4.

[55] - Федотов Г. П. Лицо России. // Свободные голоса. Пг,, 1918. № 1 Стб. 13.

[56] - Там же. Стб. 16.

[57] - Федотов Г. П. Лицо России // Свободные голоса. Пг,, 1918. Стб. 17–18.

[58] - Федотов Г. П. Письма о русской культуре: 1. Русский человек // Русские записки. Paris; Shanghai,l938, № 3. С. 239.

[59] - Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции // Версты. Paris, 1927, № 2. С. 145.

[60] - Федотов Г. П. Зачем мы здесь? // Современные записки. 1935, № 58. С. 433–444.

[61] - Федотов Г. П. Зачем мы здесь? // Современные записки. 1935, № 58. С. 434.

[62] - Там же.

[63] - Там же. С. 435.

[64] - Федотов Г. П. Зачем мы здесь? С. 438.

[65] - Там же. С. 439.

[66] - Там же. С. 440.

[67] - Там же.

[68] - Федотов Г. П. Зачем мы здесь? С. 440.

[69] - Там же. С. 442.

[70] - Там же.

[71] - Там же.

[72] - Там же.

[73] - Федотов Г. П. Зачем мы здесь? С. 444.

[74] - Там же.

[75] - Федотов Г. П. Революция идет // Современные записки. 1929, № 39. С. 306

[76] - Там же.

[77] - Федотов Г. П. Россия Ключевского // Современные записки 1932, № 50. С. 340.

[78] - Кизеветтер А. Из размышлений о революции // Современные записки. 1930, № 42. С. 344–363.

[79] - Федотов Г. П. Россия Ключевского // Современные записки. 1932, № 50. С. 341

[80] - Федотов Г. П. Россия Ключевского. С. 346.

[81] - Там же. С. 347.

[82] - Там же. С. 348.

[83] - Там же. С. 349.

[84] - Там же. С. 352

[85] - Федотов Г. П. Россия Ключевского. С. 352.

[86] - Там же. С. 359.

[87] - Там же. С. 360.

[88] - Там же. С. 362

[89] - Там же.

[90] - Федотов Г. П. Россия Ключевского. С. 352.

[91] - См.: Федотов Г. П. Лицо России // Свободные голоса. Пг., 1918, № 2; О н же. Мысли по поводу Брестского мира // Свободные голоса., Пг., 1918, № 1.

[92] - Федотов Г. П. Письма о русской культуре: 1. Русский человек // Русские записки. Пг„ 1938, № 3. С.239.

[93] - См.: Федотов Г. П. Мысли по поводу Брестского мира // Свободные голоса. Пг. 1918, № 1. Стб. 23–24; О н

[94] - Там же.

[95] - Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции // Версты. Paris, 1927, № 2. С. 156–157.

[96] - Там же. С. 156. Противоположную точку зрения см.: Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы. М.; Л., 1952. С. 232, 356.

[97] - См. Иванов М. С. К проблеме богословского наследия Древней Руси (XI – начало XIII в.) // Богословские труды. Сб. 29. М„ 1989. С. 22.

[98] - Там же. С. 21.

[99] - Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции // Версты. Paris, 1927, № 2. С. 155.

[100] - Федотов Г. П. Мысли по поводу Брестского мира // Свободные голоса. Пг., 1918, № 1. Стб. 26.

[101] - Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции. С. 150.

[102] - Там же. С. 163.

[103] - Федотов Г. П. Революция идет // Современные записки. 1929, № 39. С. 324.

[104] - Там же. С. 325.

[105] - Там же. С. 326.

[106] - Федотов Г. П. Революция идет. // Современные записки. 1929, № 39. С. 326–327.

[107] - Там же. С. 327.

[108] - Там же. С. 307.

[109] - См.: Федотов Г. П. И есть, и будет: Размышления о России и революции. Paris, 1932.

[110] - Федотов Г. П. Новая Россия // Современные записки. 1930, № 41. С. 276

[111] - Там же. С. 295.

[112] - Там же. С. 296.

[113] - Там же.

[114] - Там же. С. 307.

[115] - Там же. С. 308.

[116] - Федотов Г. П. Новая Россия. С. 309.

[117] - Там же. С. 311.

[118] - Федотов Г. П. Сталинократия // Современные записки. 1936, № 60. С. 374–387.

[119] - См.: Федотов Г. П. Тяжба о России // Современные записки. 1936, № 62. С. 358–375

[120] - Там же. С. 375.

[121] - Там же. С. 373.

[122] - Датировано 1 июня 1901 г., с. Шахматове.

[123] - Богданов Е. Трагедия интеллигенции // Версты. Paris, 1927, № 2.

[124] - Икономия – церковное строительство, спасение душ.

[125] - Акривие – идеальная правильность, прямизна учения и жизни.

[126] - Ввиду многозначности слова «демократия» приходится употреблять его в трех смыслах: 1) существующего в Европе парламентарно-демократического режима; 2) свободного, правового государства; 3) народовластия вообще, во всем разнообразии его исторических форм.

[127] - См.: Путь N.5. Благодатные заветы преп. Сергия русскому богословствованию.

[128] - Орлов А. С. Иисусова молитва на Руси в 16 веке. СПб., 1914. П. Д. П. CXXXV.

[129] - Архангельский А. С. К изучению древнерусской литературы. Творения отцов Церкви в древнерусской письменности. СПб., 1888. С. 141, 142. Примеч. СПб., 1888.

[130] - Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. Варшава, 1902.

[131] - «Первый курс В. О. Ключевского» в Зап < адном > Русск < ом > научи < ом > инст<итуте> в Белграде. Вып. 3. 1931.

[132] - В сборнике «В. О. Ключевский. Характеристики и воспоминания». Изд. Научи. Слова. М., 1912. См. также «Последние новости». Январь 1932 г.

[133] - Даже храм гробу Господня в Иерусалиме иногда оказывается посвященным «Святой святыне Богородице».

[134] - «Отец» вместо «мати» в немногих вариантах стиха о Голубиной Книге.

[135] - Оставшийся непонятным для Ю. М. Соколова, которому принадлежит прекрасный этюд об этом стихе: «Весна и народный

аскетический идеал». Рус. фил. вести., 1910 (3–4).

[136] - Ср. также мой опыт «Стихи духовные». YMCA-Press, 1935.

[137] - Русские записки. 1938. № 3.

Содержание

Судьба и грехи России профессор Георгий Петрович Федотов 1
С.-Петербург, 22 апреля (5 мая) 1918 г. 2
Лицо России 5
Мысли по поводу брестского мира 10
Три столицы 13
Трагедия интеллигенции 29
- Извинения автора 30
- More scholastico 31
- Пролог в Киеве 37
- Пролог в Москве 41
- Царское село 45
- Арбат 49
- Екатерининский канал 54
- Таврический дворец 60
- Кремль 66

На поле куликовом 71
Изучение России 91
Революция идет 95
- 1. Когда зашаталась империя? 96
- 2. Дворянство 101
- 3. Бюрократия 106
- 4. Интеллигенция 111
- 5. Буржуазия 118
- 6. Народ 124
- 7. Новая демократия 130
- 8. Партийная псевдоморфоза 133
- 9. Была ли революция неотвратимой? 138

Будет ли существовать Россия? 144
К вопросу о положении Русской Церкви 156
Новая Россия 168
- Новое общество 169
- Церковь 193

Проблемы будущей России 200
<Первая статья> 201
1. Сегодняшний день 202
2. Предпосылки 204
3. Хозяйство 209
4. Национальная проблема 219
<Вторая статья> 231
Политическая проблема 232
1. Диктатура 233
2. Монархия или республика? 238
<Третья статья> 247
Организация культуры 248
Социальный вопрос и свобода 264
Трагедия древнерусской святости 280
Сумерки отечества 298
Россия Ключевского 307
Россия, Европа и мы 327
Правда побежденных 337
Победа 338
Перед памятником Ленина 342
Список благодеяний 346
Кто он? 351
О национальном покаянии 362
Новый идол 370
Мать-Земля 384
Сталинократия 398
Культурные сдвиги 411
Тяжба о России 416
Защита России 432
О чем должен помнить возвращенец? 435
Пушкин и освобождение России 438
Февраль и октябрь 442
Тяга в Россию 446
Певец империи и свободы 450
Письма о русской культуре 469

Письма о русской культуре 469
Завтрашний день 490
Создание элиты 505
Федерация и Россия 524
Новое отечество 529
Рождение свободы 546
Рождение свободы 550
Россия и свобода 567
Судьба империй 591
О гуманизме Пушкина 612
Примечания 616